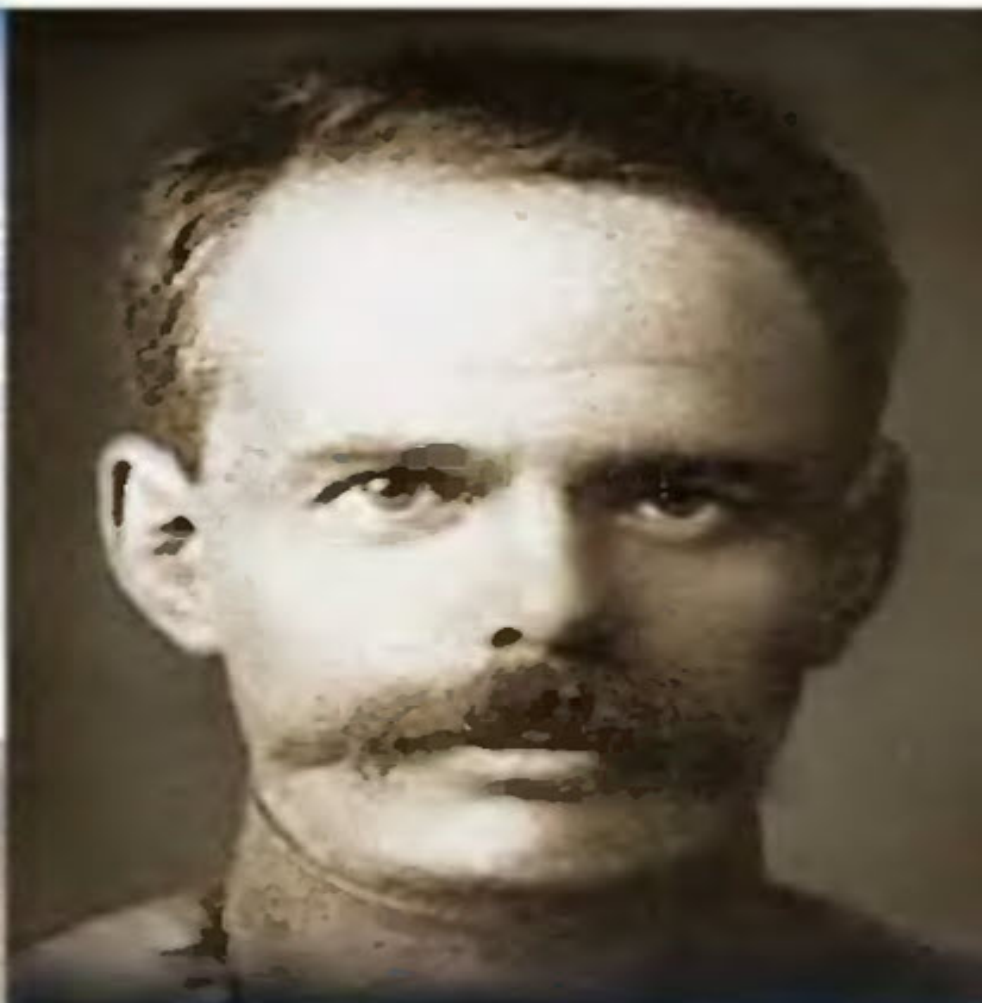


БАРОН УНГЕРН



Леонид
Юзефович



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Имя командира Азиатской конной дивизии, генерала Романа Федоровича Унгерн-Штернберга в истории Белого движения связывают, в основном, не с полководческими заслугами, а с жестоким террором в Забайкалье и Урге. Но если бы не барон Унгерн, жизнь которого в силу различных обстоятельств была переплетена с Монголией, часть этой страны — Внешняя Монголия, вероятно, до сих пор оставалась бы в составе Китая. При этом сам он считал, что освобождение монголов из-под власти Пекина — только первый шаг, и его миссия — восстановить империю Чингисхана для «спасения человечества».

Автор — известный писатель Леонид Юзефович, воссоздавая биографию Унгерна, использовал архивные документы, письма и устные рассказы людей, чьи предки или родственники оказались втянутыми в монгольскую эпопею барона. Он попытался пристальнее взглянуть на эту крайне противоречивую личность, но еще внимательнее — на окружение «кровавого» барона и время, в котором ему довелось жить.

[Адаптировано для AIReader]



-
- [Леонид Юзефович](#)
 -
 -

- [ОТ АВТОРА](#)
- [«СТРЕЛА В КОЛЧАНЕ БОЖЬЕМ»](#)
- [МАЯК НА ДАГО](#)
- [РОБЕРТ И РОМАН. ОТ АВСТРИИ ДО АМУРА](#)
- [МОНГОЛЬСКИЙ МИРАЖ](#)
- [ЮАНЬ ШИКАЙ И КАРЛ XII](#)
- [ОЧИЩЕНИЕ И КАРА](#)
- [ЧЕЛОВЕК ИЗ КУРАНЖИ](#)
- [ОСОБЫЙ МАНЬЧЖУРСКИЙ ОТРЯД](#)
- [«КОРОЛЕВА БАЙКАЛА». ЧИТА И ДАУРИЯ](#)
- [ДАУРСКИЙ ВОРОН](#)
- [«ВЕЛИКАЯ МОНГОЛИЯ»](#)
- [ПРИНЦЕССА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА](#)
- [СМЕРТЬ ФУШЕНГИ. НОВЫЕ ПЛАНЫ](#)
- [КАППЕЛЕВЦЫ](#)
- [ИЗ АКШИ — НА ЮГ](#)
- [ПРОПАВШАЯ ДИВИЗИЯ](#)
- [СЕМЬ ГОЛОСОВ](#)
- [ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ](#)
- [РОЖДЕНИЕ УЖАСА](#)
- [СЕВЕРНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. НА КЕРУЛЕНЕ](#)
- [НА ВЕРШИНАХ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ](#)
- [СЛЕПОЙ БУДДА](#)
- [ТЮРЬМА](#)
- [ШТУРМ. 1-2 ФЕВРАЛЯ](#)
- [ШТУРМ. 3-4 ФЕВРАЛЯ](#)
- [«НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ НИ МУЖЧИН,](#)
- [ПИР ТРУПОЕДОВ](#)
- [КОРОНАЦИЯ](#)
- [НА ГРАНИЦЕ И В ГОБИ](#)
- [ЦАГАН-ЦЭГЕН. ОРЕЛ И ДРАКОН](#)
- [СВЕТ С ВОСТОКА](#)
- [РЕЛИГИЯ ИЗНАЧАЛЬНЫХ ИСТИН](#)
- [КРОВЬ НА ЛОТОСЕ](#)
- [РЕЖИМ](#)
- [ВЛАСТЬ И БЕССИЛИЕ. ПОЧВА КОЛЕБЛЕТСЯ](#)

- БАКИЧ И ДРУГИЕ
- ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИЛИ «КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ»?
- НАКАНУНЕ
- СЕВЕРНАЯ ВОЙНА
- КРУШЕНИЕ МЕЧТЫ. НА СЕЛЕНГЕ
- ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД
- ЗАГОВОР
- МЯТЕЖ
- ОДИНОКИЙ ПЛЕННИК
- СУД И КАЗНЬ
- РАССЕЯННЫЕ И МЕРТВЫЕ
- СОКРОВИЩЕ
- ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
- НА РАССТОЯНИИ
- ЭПИЛОГ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

A

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [INFO](#)
- [СЕРИЯ](#)
- [СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)

- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)

- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)

- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)

- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)

- [234](#)
 - [235](#)
 - [236](#)
 - [237](#)
 - [238](#)
 - [239](#)
 - [240](#)
 - [241](#)
 - [242](#)
 - [243](#)
 - [244](#)
 - [245](#)
-

ЖИЗНЬ[®] ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1736

(1536)

Леонид Юзефович

**БАРОН УНГЕРН:
САМОДЕРЖЕЦ ПУСТЫНИ**

**Р. Ф. УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ
И МИР, В КОТОРОМ ОН ЖИЛ**



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

© Юзефович Л. А., 2015

© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2015

Полки стояли как изваянные, молчаливые и такие тяжелые, что земля медленно уходила под ними вниз. Но не было знамен с полками... Над равниной всходило второе солнце. Оно шло невысоко. Ослепленные полки закрыли глаза, узнав в этом солнце все свои знамена.

Всеволод Вишневский. 1930 год

*Но Наполеона у нас не предвидится.
Да и где же наша Корсика? Грузия,
Армения? Монголия?*

Максимилиан Волошин. 1918 год

*В каждом поколении есть души
счастливые или проклятые, рожденные
неприкаянными, лишь наполовину
принадлежащими семье, месту, нации,
расе.*

Салман Рушди. 1999 год

*Смысла железные двери величиной в
пядь
Открываются ключами примеров
величиной в локоть.*

Гунтан Банби Донме. XVII век

ОТ АВТОРА

Летом 1971 года, ровно через полвека после того, как остзейский барон, русский генерал, монгольский князь и муж китайской принцессы Роман Федорович Унгерн-Штернберг был взят в плен и расстрелян, я услышал о том, что он, оказывается, до сих пор жив. Мне рассказал об этом пастух Больжи из бурятского улуса Эрхирик неподалеку от Улан-Удэ. Там наша мотострелковая рота с приданным ей взводом «пятьдесятчетверок» проводила выездные тактические занятия. Мы отрабатывали приемы танкового десанта. Двумя годами раньше, во время боев на Даманском, китайцы из ручных гранатометов поджигали двигавшиеся на них танки и теперь в порядке эксперимента на нас обкатывали новую тактику, не отраженную в полевом уставе. Мы должны были идти в атаку не вслед за танками, как обычно, не под защитой их брони, а впереди, беззащитные, чтобы расчищать им путь, автоматным огнем уничтожая китайских гранатометчиков. Я в ту пору носил лейтенантские погоны, так что о разумности самой идеи судить не мне. К счастью, ни нам, ни кому-то другому не пришлось на деле проверить ее эффективность. Китайскому театру военных действий не суждено было открыться, но мы тогда этого еще не знали.

В улусе имелась небольшая откормочная ферма. Больжи состоял при ней пастухом и каждое утро выгонял телят к речке, вблизи которой мы занимались. Маленький, как и его монгольская лошадка, издали он напоминал ребенка верхом на пони, хотя ему было, думаю, никак не меньше пятидесяти, из-под черной шляпы с узкими полями виднелся густой жесткий

бобрик седины на затылке. Шляпу и брезентовый плащ Больжи не снимал даже днем, в самую жару.

Иногда, пока телята паслись у реки, он оставлял их и выходил к дороге полюбоваться нашими маневрами. Однажды я принес ему котелок с супом. Угощение было охотно принято. В котелке над перловой жижей с ломтиками картофеля возвышалась баранья кость в красноватых разводах казенного жира. Первым делом Больжи объел с нее мясо и лишь потом взялся за ложку, попутно объяснив мне, почему военный человек должен есть суп именно в такой последовательности: «Вдруг бой? Бах-бах! Все бросай, вперед! А ты самое главное не съел». По тону чувствовалось, что это правило выведено из его личного опыта, а не взято в сокровищнице народной мудрости, откуда он потом щедро черпал другие свои советы.

В следующие дни, если Больжи не показывался у дороги во время обеденного перерыва, я отправлялся к нему сам. Обычно он сидел на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. При этом в глазах его заметно было выражение, с каким мы смотрим на текучую воду или языки огня в костре, словно степь с дрожащими над ней струями раскаленного воздуха казалась ему наполненной тем же таинственным вечным движением, волнующим и одновременно убаюкивающим. Под рукой у него всегда были две вещи — термос с чаем и выпущенный местным издательством роман В. Яна «Чингис-хан» в переводе на бурятский язык.

Я не помню, о чем мы говорили, когда Больжи вдруг сказал, что хочет подарить мне сберегающий от пуль амулет-гау, который в настоящем бою нужно будет положить в нагрудный карман гимнастерки или повесить на шею. Впрочем, я так его и не получил. Обещание не стоило принимать всерьез; оно было не более чем способом выразить мне дружеские чувства,

что не накладывало на говорившего никаких обязательств. Однако назвать это заведомой ложью я бы не рискнул. Для Больжи намерение важно было само по себе, задуманное доброе дело не обращалось от неисполнения в свою противоположность и не ложилось грехом на душу. Просто в тот момент ему захотелось сказать мне что-нибудь приятное, а он не придумал ничего лучшего, как посулить этот амулет.

Подчеркивая не столько ценность подарка, сколько значение минуты, он сообщил мне, что такой же *гау* носил на себе барон Унгерн, поэтому его не могли убить. Я удивился: как же не могли, если расстреляли? В ответ сказано было как о чем-то само собой разумеющемся и всем давно известном: нет, он жив, живет в Америке. Затем с несколько меньшей степенью уверенности Больжи добавил, что Унгерн — родной брат Мао Цзэдуна, «вот почему Америка решила дружить с Китаем».

Имелись в виду планы Вашингтона, до сих пор считавшего Тайвань единственным китайским государством, признать КНР и установить с ней дипломатические отношения. Это можно было истолковать как капитуляцию Белого дома перед реалиями эпохи, но с нашей стороны законного злорадства не наблюдалось. Газеты скупое и без каких-либо комментариев, что тогда случалось нечасто, писали о предполагаемых поставках в Китай американской военной техники. Популярный анекдот о том, как в китайском Генеральном штабе обсуждают план наступления на северного соседа («Сначала пустим миллион, потом еще миллион, потом танки». — «Как? Все сразу?» — «Нет, сперва один, после — другой»), грозил утратить свою актуальность. Впрочем, и без того все опасались фанатизма китайских солдат. Говорили, что ни на Даманском, ни под Семипалатинском они не сдавались в плен. Об этом

рассказывали со смесью уважения и собственного превосходства — как о чем-то таком, чем мы тоже могли бы обладать и обладали когда-то, но отбросили во имя новых, высших ценностей. Очень похоже Больши рассуждал о шамане из соседнего улуса. За ним безусловно признавались определенные способности, не доступные ламам из Иволгинского дацана, в то же время сам факт их существования не возвышал этого человека, напротив — отодвигал его далеко вниз по социальной лестнице.

Говорили, что китайцы стреляют из АКМ с точностью снайперской винтовки, что они необычайно выносливы, что на дневном рационе, состоящем из горсточки риса, пехотинцы преодолевают за сутки чуть ли не по сотне километров. По слухам, территория к северу от Пекина изрезана бесчисленными линиями траншей, причем подземные бункеры так велики, что вмещают целые батальоны, и так тщательно замаскированы, что мы будем оставлять их у себя за спиной и постоянно драться в окружении. Успокаивали только рассказы о нашем секретном оружии для борьбы с миллионными фанатичными толпами, о превращенных в неприступные крепости пограничных сопках, где под слоем дерна и зарослями багульника скрыты в бетонных отсеках смертоносные установки с ласковыми, как у тайфунов, именами («Василек»). Впрочем, толком никто ничего не знал. На последних полосах газет Мао Цзэдун фигурировал как персонаж одного бесконечного анекдота, между тем в Забайкалье перебрасывались мотострелковые и танковые дивизии из упраздненного Одесского военного округа.

Из китайских торговцев, содержателей номеров, искателей женьшеня и огородников, которые наводнили Сибирь в начале XX столетия, из сотен тысяч голодных землекопов послевоенных лет нигде не осталось ни души. Они исчезли как-то вдруг, все разом;

уехали, побросав своих русских жен, повинуюсь не доступному нашим ушам, как ультразвук, далекому и властному зову. Казалось, шпионить было некому, тем не менее мы почему-то были убеждены, что в Пекине знают о нас всё. Некоторые считали шпионами бурят и монголов или подозревали в них переодетых китайцев. Когда я прибыл в часть по направлению из штаба округа, дежурный офицер сказал мне: «Ну, брат, повезло тебе. У нас такой полк, такой полк! Сам Мао Цзэдун всех наших офицеров знает поименно». Самое смешное, что я этому поверил.

Поверить, что Унгерн и Мао Цзэдун — родные братья, при всей моей тогдашней наивности я не мог, но волновала сама возможность связать их друг с другом, а следовательно, и с самим собой, пребывающим в том же географическом пространстве. Лишь позднее я понял, что Больжи вспомнил про Унгерна не случайно. В то время должны были ожить старые легенды о нем и появиться новые. В монгольских и забайкальских степях никогда не забывали его имени, и что бы ни говорилось тогда и потом о причинах нашего конфликта с Китаем, в иррациональной атмосфере этого противостояния безумный барон просто не мог не воскреснуть.

К тому же для него это было не впервые. В Монголии он стал героем не казенного, а настоящего мифа, существом почти сверхъестественным, способным совершать невозможное, умирать и возрождаться. Да и к северу от эфемерной государственной границы между СССР и МНР невероятные истории о его чудесном спасении рассказывали задолго до моей встречи с Больжи. Наступал подходящий момент, и он вставал из своей безвестной могилы в Новосибирске, давно затерянной под фундаментами городских новостроек.

Унгерн — фигура локальная, если судить по арене и результатам его деятельности, порождение конкретного времени и места. Однако если оценивать его по идеям, имевшим мало общего с идеологией Белого движения; если учитывать, что его планы простирались до переустройства всего существующего миропорядка, а средства соответствовали целям, это явление совсем иного масштаба.

Одним из первых в XX столетии он прошел тот древний путь, на котором странствующий рыцарь неизбежно становится бродячим убийцей, мечтатель — палачом, мистик — доктринером. На этом пути человек, стремящийся вернуть на землю золотой век, возвращает даже не медный, а каменный.

Впрочем, ни в эту, ни в любую другую схему Унгерн целиком не укладывается. В нем можно увидеть фанатичного борца с большевизмом, евразийца в седле, бунтаря эпохи модерна, провозвестника грядущих глобальных столкновений Востока и Запада, предтечу фашизма, создателя одной из кровавых утопий XX века, кондотьера-философа или самоучку, опьяненного грубыми вытяжками великих идей, рыцаря традиции или одного из тех мелких тиранов, что вырастают на развалинах великих империй, но под каким бы углом ни смотреть, остается нечто ускользающее от самого пристального взгляда. Фигура Унгерна до сих пор окружена мифами и кажется загадочной, но его тайна скрыта не столько в нем, сколько в нас самих, мечущихся между желанием восхищаться героем и чувством вины перед его жертвами; между надеждой на то, что добро приходит в мир путями зла, и нашим опытом, говорящим о тщетности этой надежды; между утраченной верой в человека и преклонением перед величием его дел; наконец, между неприятием нового мирового порядка и пугающим ощущением близости архаических стихий, в любой момент готовых прорвать

тонкий слой современной цивилизации. Есть известный соблазн в балансе на грани восторга, страха и отвращения; отсюда, может быть, наш острый и болезненный интерес к этому человеку.

«СТРЕЛА В КОЛЧАНЕ БОЖЬЕМ»

1

В 1893 году крещеный бурят и практикующий тибетский врач Петр Бадмаев подал своему крестному отцу Александру III докладную записку под выразительным названием: «О присоединении к России Монголии, Тибета и Китая». Он предсказывал, что маньчжурская династия скоро будет свергнута, дни ее сочтены, и советовал уже сейчас начать планомерную работу по утверждению в Срединной империи русского влияния, не то неизбежной после падения Цинов анархией воспользуются западные державы. Бадмаев предлагал тайно вооружить монголов, подкупить и привлечь на свою сторону ламство, занять ряд стратегических пунктов типа Ланьчжоу, наконец, организовать депутацию из Пекина, которая попросит русского государя принять Китай заодно с Тибетом и Монголией в свое подданство. «Европейцам пока еще не известно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управлял, и что они совершенно равнодушны, к какой бы национальности ни принадлежала династия, которой они покоряются без особенного сопротивления», — уверял царя Бадмаев.

Подобные идеи выдвигались и раньше. Еще Пржевальский писал об отсутствии у китайцев склонности к военному делу и считал возможным быстро завоевать весь Китай; по его мнению, для этого потребуется армия немногим большая, чем имели Кортес и Писарро при покорении империй ацтеков и

инков. Отчеты Пржевальского предназначались для Военного министерства и до Александра III, по-видимому, не доходили, иначе на сопроводительной записке Витте, представившего ему бадмаевский проект, он не оставил бы резолюцию: «Все это так ново, необыкновенно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха».

Тем не менее Бадмаев получил на расходы два миллиона рублей золотом и выехал в Читу, где первым делом выстроил себе двухэтажный каменный дом^[1] в центре города. Из Читы он совершил несколько поездок в Монголию и Пекин и вернулся в Петербург лишь через три года, когда вступивший на престол Николай II отказал ему в новых субсидиях. Никаких ощутимых результатов его деятельность не принесла, но будущий вектор имперской политики Бадмаев предугадал верно. Россия утвердилась в Маньчжурии, была построена Китайско-Восточная железная дорога, возник Харбин, Внешняя Монголия стала зоной русской экономической экспансии. В Тибет, который Бадмаев называл «ключом Азии», с секретными миссиями направлялись казачьи офицеры из бурят, и англичане, в 1904 году войдя в Лхасу, искали там несуществующие склады с русскими трехлинейками.

А за четыре года до того, как бадмаевская записка легла на стол Александра III, Владимир Соловьев, будучи в Париже, попал на заседание Географического общества. Среди однообразной публики в серых костюмах его внимание привлек человек в ярком шелковом халате; это был китайский военный агент, как называли тогда военных атташе, генерал Чэнь Цзитун (у Соловьева — Чен Китонг). Вместе со всеми Соловьев «смеялся остротам желтого генерала и дивился чистоте и бойкости его французской речи». Не сразу он понял, что перед ним представитель не только

чуждого, но и враждебного мира. «Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления, — передает Соловьев смысл его обращенных к европейцам предостережений. — Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем участие у нас нет ни надобности, ни охоты: вы сами готовите средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас».

Соловьев не подозревал, что такого рода заявления были рутинным приемом китайской дипломатии тех лет. Делались они с целью получить финансовые займы от западных стран, для чего полезным считалось немного их попугать. В европейских штабах прекрасно знали, что Поднебесная империя безнадежно дряхлеет, что ее армия вооружена фузеями и алебардами, что лишь магические пушки, нарисованные на стенах крепостей, призваны защитить их от огня современной артиллерии, поэтому Чэнь Цзитун адресовал свою речь не военным, а куда более впечатлительной публике, к тому же способной повлиять на общественное мнение. Ожидалось, что в итоге правительство Франции предоставит Китаю желанный кредит, дабы заполучить могущественного в будущем союзника.

Женатый на француженке Чэнь Цзитун, автор книг и статей во французской прессе, прекрасно чувствовал дух времени и строил свои расчеты не на пустом месте. Соловьев, например, с юности был одержим мыслью о восточной угрозе, причем, по его словам, тут он «не был одинок». Это была общеевропейская фобия, а для тогдашних интеллектуалов — еще и метафора слабости духовно скудеющего Запада^[2], но скоро у Соловьева появился единомышленник иного ранга: Вильгельм II, обеспокоенный растущей военной мощью Японии, начал мушкетировать тему «желтой опасности» в переписке с Николаем II. «Двадцать-тридцать миллионов обученных

китайцев при поддержке 1/2 дюжины японских дивизий и под командой пылких, неудержимо ненавидящих христиан японских офицеров — вот будущее, которое мы должны предвидеть не без душевного волнения», — писал царю кайзер.

В 1895 году он разослал государственным деятелям и выдающимся личностям Европы, среди них Николаю II, литографическое воспроизведение картины, иллюстрирующей его опасения. Это полотно Вильгельм II выдавал за собственное, хотя сам он лишь набросал эскиз; настоящим автором был художник Герман Кнакфус. На картине изображена женская фигура в античном шлеме, символизирующая Германию, за ней теснятся аллегории других стран Европы, а перед ними, в вышине — восседающий на драконе Будда в окружении грозowych облаков. Подпись гласила: «Европейские народы, храните ваши самые драгоценные блага».

Вся эта риторика маскировала колониальные интересы Германии в Китае, но имела и другую цель. Убеждая царя, что миссия России — стать защитницей «креста и старой европейской культуры против вторжения монголов и буддизма», кайзер хотел отвлечь союзницу Парижа восточными авантюрами. Соловьев понятия не имел, что параллельно Вильгельм II побуждал Японию к войне с Россией, обещая ей свой благожелательный нейтралитет. Напряженное «ожидание исторической катастрофы на Дальнем Востоке» для Соловьева стало доминантой последних лет жизни. Он искренне верил, что перед лицом общей для всех европейских народов опасности наступит примирение христианских конфессий, именно поэтому панмонголизм — «имя дико» — «ласкал» его слух.

Из книги французских монахов-лазаристов Гюка и Габе, в 40-х годах XIX века побывавших в Тибете, Соловьев почерпнул сведения о тайном «братстве или

ордене келанов» (от тибетского *колон*, как называли главных советников далай-ламы) с их грандиозными религиозно-политическими замыслами. Они якобы стремились «завладеть верховной властью в Тибете, потом в Китае, а затем посредством китайских и монгольских вооруженных сил покорить великое царство Оросов (Россию. — Л. Ю.) и весь мир, и воцарить повсюду истинную веру перед пришествием Будды Майтрейи». Имелось в виду входящее в систему Калачакра пророчество об эсхатологической войне Шамбалы с неверными, но Соловьев, подставив на место «келанов» реальных японцев («вождей восточных островов»), в 1900 году, в «Краткой повести об Антихристе», с впечатляющей детальностью описал будущее нашествие азиатских полчищ на Европу.

Предыстория такова: «Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они (японцы. — Л. Ю.) провозгласили великую идею панмонголизма, т. е. собрания воедино, под своим главенством, всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т. е. европейцев»^[3]. Эта сугубо книжная идеология в итоге, по Соловьеву, становится роковой для Европы, откуда она пришла в Японию. Пророчество Чэнь Цзитуна сбылось, хотя и в несколько ином смысле — Запад выковал себе на погибель оружие не материальное, а идейное.

Отныне события развиваются стремительно, в течение жизни одного-двух поколений. После занятия Кореи, следом — Пекина, где на престоле свергнутых Цинов утверждается один из наследников микадо, японец по отцу и китаец по матери, новая сверхдержава приступает к завоеванию Азии, а затем и всего мира. Уничтожены архаические государственные

структуры Поднебесной империи, ее армия реформирована японскими инструкторами. Пополненная тибетцами и монголами, она первый удар наносит на юго-восток: англичане вытесняются из Бирмы, французы — из Тонкина и Сиама. Заверив русское правительство, будто собранная в Китайском Туркестане четырехмиллионная армия предназначена для похода на Индию, богдыхан вторгается в Центральную Азию, занимает Сибирь, движется через Урал. Навстречу ему наскоро мобилизованные дивизии спешат из Польши, Санкт-Петербурга и Финляндии, но при отсутствии предварительного плана войны и огромном численном превосходстве неприятеля «боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью». Корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. После победы богдыхан оставляет часть сил в России «для преследования размножившихся партизанских отрядов», а сам тремя армиями переходит границы Германии. Одна из них терпит поражение, но одновременно «во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков». Очутившись «между молотом и наковальней», Берлин капитулирует, «ликующие французы братаются с желтолицыми», теряя всякое представление о дисциплине. Следует приказ перерезать не нужных теперь легкомысленных союзников, что однажды ночью «исполняется с китайской аккуратностью». В Париже побеждает восстание рабочих, «столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке Востока».

В результате вся Европа, включая Великобританию, сумевшую откупиться от ужасов нашествия миллиардом фунтов, за ней — Америка и Австралия, куда снаряжаются морские экспедиции, признают вассальную зависимость от богдыхана. Что касается

мусульманского мира, он в этих катаклизмах попросту отсутствует. Судьбы ислама Соловьева не занимали, ему казалось, что эта религия, как и народы, ее исповедующие, целиком принадлежит прошлому.

Во время Русско-японской войны этот сюжет стал широко известен, потом о нем надолго забыли, но еще позже, когда никакая фантастика не могла соперничать с реальностью Гражданской войны в Сибири и японские дивизии дошли до Байкала, вспомнили вновь.

2

В 1918-1919 годах в забайкальских газетах регулярно появляются корреспонденции из Монголии некоего М. Волосовича^[4]. Корректируя Соловьева реалиями последних лет, напоминая, что в Сибири теперь «японофильская ориентация господствует от Байкала до океана и возглавляется бурятом» (намек на происхождение атамана Семенова), Волосович дает прогноз ближайшего будущего: «Восприняв германскую идею мирового владычества и сверхчеловечества, Япония при благодушном попустительстве белой расы организует Китай, Монголию, бурят, русский Дальний Восток, Маньчжурию, Корею и т. д., а затем двинет их на Сибирь и Европу. Японофильствующий Восток упадет к ногам Токио, как спелый плод. На Запад будут двинуты народы, роль коих — сложить свои головы *пур л'оппарар де Жапань* и своими трупами вымостить дорогу для триумфального шествия японцев. В авангарде пойдут буряты, затем монголы, за ними главная масса пушечного мяса — китайцы. Русские с Дальнего Востока будут убивать русских из Сибири, русские из Европы будут брошены на западных славян. Следом для романских и англосаксонских народов наступит очередь испытать все ужасы желтого

нашествия. Начнутся смуты «сознательных рабочих», европейцы будут выметены из Европы или обращены в рабов желтолицых».

На исходе Первой мировой войны и в разгар Гражданской трудно поверить, что после покорения азиатами Европы настанет долгий период процветания и религиозного синкретизма, как в свое почти идиллическое время думал Соловьев. Если столь кошмарной оказалась война между народами одной расы, а ныне — внутри одного народа, столкновение «двух враждебных рас» не вызывает у Волосовича никаких иллюзий.

Установив причину глобальной опасности, он с легкостью находит и средство спасения, тоже, разумеется, единственное: Запад может быть спасен только Монголией, ибо она «сильна своей религией и готова объединиться духовно под главенством ургинского первосвященника». Монголы — «антагонисты японцев и китайцев», «страна их пространством великая, дух воинственный и независимый», но необходимо позаботиться о том, чтобы им выгоднее было заключить союз не с японцами, а с белой расой. В этом случае при покушении Японии на мировое господство, когда неисчислимая масса послушных Токио китайских войск двинется на север, «летучая» монгольская конница ворвется в Китай и «учинит такую диверсию, что китайцам станет не до наступления». Затем, «пользуясь диверсией», англичане ударят из Индии и Тибета, русские — из Туркестана; Пекину придется прекратить войну, Япония останется в одиночестве и вынуждена будет отказаться от своих претензий.

Соловьевские всадники Апокалипсиса у Волосовича превратились в картонных солдатиков, которых он вдохновенно передвигает по карте из гимназического учебника. Итоговый вывод сформулирован с предельной

простотой и краткостью: «Кто будет иметь преимущественное влияние в Монголии, будет иметь таковое же и в Центрально-Восточной Азии, а после — и на всем земном шаре».

В сущности, это перефразированный главный тезис знаменитого Меморандума Танаки, военного министра Японии. В том же 1919 году он провозгласил: «Чтобы завоевать Китай, мы должны завоевать Маньчжурию и Монголию. Чтобы завоевать весь мир, мы должны завоевать Китай».

Эти слова могли бы принадлежать Унгерну. Для него мировое зло воплощалось не в японцах, как для Волосовича, и цель «желтого потопа» он представлял себе иначе, нежели Танака, но все трое сходились в одном: путь к владычеству над миром проходит через Монголию. Волосович и Танака считали ее не более чем перышком, способным склонить замершие в равновесии чаши весов на ту или иную сторону, однако Унгерн относился к ней по-другому. Мало изменившаяся со времен Чингисхана, Монголия представлялась ему островом в море буржуазной европейской культуры, под чье развращающее влияние отчасти попали уже и сама Япония, и даже «недвижный» Китай.

Идеи Унгерна питались низведенным до уровня дежурной темы русской журналистики мифом о «желтой опасности», но с обратным знаком. «Существует не желтая опасность, а белая», — говорил он^[5]. Страдающей стороной объявлялся Восток, призванный противостоять агрессору, чтобы в конце концов стать его благодетелем. Унгерн верил, что лишь азиатское вторжение принесет Европе спасительное обновление, внутри ее самой такой силы больше не существует. Недаром в его планах радикального переустройства мира важное место отводилось буддизму — религии, как считал Соловьев, крайне

опасной для христианской цивилизации, ибо, в отличие от исламской, «идея буддизма еще не пережита человечеством».

Немало одиночек и до и после Унгерна искали точку духовной опоры на Востоке, но никто не пытался привязать ее к местности с целью создать стратегический плацдарм для борьбы с социализмом и либерализмом. Учение Будды волновало многих русских и западных интеллигентов, но только Унгерн собирался нести его в Европу на острие монгольской сабли. При этом образцом для него оставалась рухнувшая Поднебесная империя, которую он мечтал возродить ради «спасения человечества».

Как буддист и проповедник паназиатизма Унгерн отпугивал белых эмигрантов, но он же сделался вдохновляющим примером тех успехов, каких может добиться в Азии европеец, разделяющий туземные идеалы. Вероятно, именно в этом качестве Унгерн в начале 60-х годов XX века заинтересовал ЦРУ США: в нем увидели тип Куртца, героя «Сердца тьмы» Джозефа Конрада, для которого роль вождя африканского племени была еще и средством добычи слоновой кости для пославшей его в джунгли компании. Чтобы изучить опыт остзейского барона, ставшего монгольским ханом и едва ли не живым божеством, в ЦРУ составили библиографию посвященных ему мемуаров, статей и доступных архивных документов на нескольких языках^[6]. Однако вряд ли это кому-либо пригодилось на практике. Имитировать можно манипулятора, но не одержимого; роль, но не жизнь и судьбу. Растворенное в личности сознание собственной миссии тоже имитации не поддается.

При всем том идеология Унгерна проста, если не элементарна. В плену у красных этот сын доктора философии Лейпцигского университета и враг западной

цивилизации, с солдатской категоричностью оперируя словами «должен» и «подлежит», сам вкратце высказал свое кредо: «Восток должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочая, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, которая образовалась три тысячи лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности».

3

В 1920 году, когда Унгерн гонялся за партизанами по забайкальским сопкам, в баварском Байройте, городе Рихарда Вагнера, состоялась первая встреча Адольфа Гитлера с членами известного впоследствии «Общества Туле». Одним из них был Рудольф Гесс, ассистент кафедры геополитики в Мюнхенском университете, которую возглавлял Карл Хаусхофер, бывший немецкий военный атташе в Токио и будущий президент Германской академии наук. Его идеи оказали сильное влияние на молодого Гитлера.

Хаусхофер, в частности, выдвинул гипотезу о том, что прародиной ариев была Центральная Азия, район нынешней Гоби. Примерно три-четыре тысячелетия назад климат здесь изменился, цветущие долины превратились в пустыню, после чего арийские племена переселились частью в Индию, частью — на север Европы; следовательно, их прародину, легендарную страну Туле, традиционно отождествляемую с Исландией или Гренландией, нужно искать на Востоке. Подтверждением этой гипотезы служил буддийский миф о Шамбале — таинственной подземной стране мудрецов и праведников. Они рассматривались как носители эзотерической культуры народа, в древности

обитавшего на территории современных Монголии, Тибета и Амдо. Как считалось, предание о Шамбале в фантастической форме отражает исход ариев, стоявших на более высокой цивилизационной ступени, чем те племена, что пришли им на смену и создали этот миф.

В 1930-х годах гипотеза Хаусхофера стала одной из официальных научных доктрин Третьего рейха. Центральная Азия с Монголией и Тибетом трактовалась как колыбель германцев, как потаенное мистическое сердце мира. Отсюда совсем близко и до Меморандума Танаки, и до Волосовина с его уверенностью в том, что хозяин Монголии обретет власть над всей планетой, и до попытки Унгерна именно здесь начать строительство нового мира.

В этом пункте идеи Хаусхофера вошли в соприкосновение с иной традицией, восходящей к Елене Блаватской с ее «Тайной доктриной». Ссылаясь на некие рукописи из гималайских монастырей, она утверждала, будто в Тибете находятся центры сакрального знания, сохраненного для человечества полубожественными старцами-махатмами. Немного позже француз Жозеф Сент-Ив д'Альвейдр локализовал место их обитания. С помощью телепатических посланий, которые, как он утверждал, присылал ему далай-лама, Сент-Ив подробно описал существующий под Гималаями священный город Агарту (Агартти, Агартхи), чьи обитатели тайно контролируют ход мировой истории через избранных ими народоводителей верхнего, наземного мира. Наконец в 1922 году, в Нью-Йорке, вышла книга Антония Фердинанда Оссендовского «Люди, звери и боги», имевшая колоссальный успех по обе стороны Атлантики. В Германии среди ее читателей были Гесс, Хаусхофер и, возможно, сам Гитлер, а в Советской России — эзотерик Александр Барченко, небезуспешно

убеждавший ОГПУ в возможности поставить могущество Шамбалы на службу мировой революции. Умалчивая о Сент-Иве как источнике своего вдохновения, Оссендовский оперировал исключительно личными впечатлениями, якобы вынесенными из встреч с монгольскими князьями и ламами, и одним этим вызывал доверие к себе. Его красочные рассказы о подземном «царстве Агарты» обеспечили новым кредитом поблекшие к тому времени фантазии французского мистика.

В Улясутае князь Чультун-бэйле, позже убитый по приказу Унгерна за мнимое сотрудничество с китайцами, будто бы поведал Оссендовскому следующее: «Уже более 60 тысяч лет как один святой с целым племенем исчез под землей, чтобы никогда не появляться на ее поверхности. Много людей с тех пор посетило это царство — Сакьямуни, Ундур-гэгэн, Паспа, хан Бабур и другие, но никто не знает, где оно лежит... Его владыка — царь вселенной, он знает все силы мира и может читать в душах людей и в огромной книге их судеб. Невидимо управляет он восемьюстами миллионов людей, живущих на поверхности земли».

Книга Оссендовского появилась через год после смерти Унгерна, но это не значит, что ему не известно было ее содержание. Автора он знал лично и часами беседовал с ним в мае 1921 года, накануне похода из Монголии в Забайкалье. Поговаривали, что Оссендовский «подогревал» его мистицизм.

Петр Врангель, белый генерал и командующий Русской армией, а в годы Первой мировой войны — полковой командир Унгерна, отмечал, что «острый пронизательный ум» странно уживался в нем с «поразительно узким кругозором». Точность этой несколько высокомерной характеристики сочетается с ее ограниченностью. Унгерн знал языки, много читал; в аттестации, составленной его сотенным командиром в

1913 году, говорится, что он выписывает несколько журналов и «проявляет интерес к литературе не только специальной, но и общей». Однако это была, видимо, совсем не та литература, на которой воспитывался Врангель.

Круг чтения Унгерна определить едва ли возможно, в своих письмах, приказах и на допросах в плену он ни разу не сослался на какого-то автора и не назвал ни одной книги, кроме Библии. По рассказам, барон отдавал предпочтение философии. С юности при нем будто бы всегда была какая-нибудь философская книга, которую он «для удобства чтения разрывал на отдельные листы» и в таком виде возил с собой, но «философией» для его соратников могло быть все, что не беллетристика, включая сочинения оккультного и неомифологического толка.

История знает не столь уж редкий тип политика, чье самоощущение Кромвель выразил известной формулой: «Стрела в колчане Божьем». В XX веке эти люди уже не удовлетворялись старыми, в рамках той или иной конфессии, представлениями о владельце этого колчана, избравшем их своим орудием. Унгерн являл собой именно такой психологический тип, а как следствие — окружал себя ламами-прорицателями, взятыми напрокат из монгольских монастырей, и то просил своего агента в Пекине обратиться к какому-то «гадальщику», характеризуя его словом «мой», то пользовался услугами одной из офицерских жен, умевшей хорошо гадать на картах. Его суеверие вытекало из безотчетного чувства, подсказывающего, что при той исторической роли, которая отведена ему Провидением, он не может не получать указаний свыше, нужны лишь посредники между ним и его незримыми водителями. Раздражавшие соратников барона «грязные ламы», «кривоногие пифии»-, «степные кудесники» должны были принимать и

расшифровывать сигналы, поступающие от тех, кто привел его в Монголию и вручил ему власть над этой страной.

В тибетской тантре путь к овладению тайными магическими силами начинается с власти над собственным телом, ибо оно как часть мироздания подчиняется единым для всего сущего законам; других инструментов у человека попросту нет. Приблизительно так же Унгерн хотел понять смысл собственной судьбы, чтобы через нее постичь явленный в нем самый вектор мировой истории. Все это не формулировалось, не домысливалось до конца, тем более не проговаривалось прямо, но, видимо, существовало как субстрат его мировоззрения и давало ему ту энергию, какой отличались первые адепты кальвинизма с их верой в божественное предопределение. Латинское *amor fati* могло бы стать девизом Унгерна. В протоколах его допросов слово «судьба» всплывает регулярно, а в резюме одного из них отмечено: «Признал себя фаталистом и сильно верит в судьбу»^[7].

Ламы говорили Оссендовскому, что когда-нибудь обитатели Агарты выйдут из земных недр. Этому будут предшествовать вселенская кровавая смута и разрушение основ жизни: «Отец восстанет на сына, брат на брата, мать на дочь. А затем — порок, преступление, растление тела и души. Семьи распадутся, вера и любовь исчезнут». Вся земля «будет опустошена, Бог отвернется от нее, и над ней будут витать лишь смерть и ночь». Тогда «явится народ, доселе неизвестный»; он «вырвет сильною рукою плевелы безумия и порока, поведет на борьбу со злом тех, кто останется еще верен делу человечества, и этот народ начнет новую жизнь на земле, очищенной смертью народов».

Ту же апокалиптическую картину современности Унгерн рисовал в письме князю Цэндэ-гуну: «Вы знаете, что в России теперь пошли брат на брата, сын на отца, все друг друга грабят, все голодают, все забыли Небо». Без труда вписывалось в реальность и предсказание о неведомом народе с «сильною рукою» — в нем Унгерн увидел кочевников Центральной Азии.

В 1919-1920 годах, наездами бывая в Харбине, он часто встречался там с неким Саратовским-Ржевским^[8], которого ценил за «светлый ум и благородное сердце», и доверял ему «свои сокровенные мысли». Суть их состояла в следующем. Примерно к исходу XIV века Запад достиг высшей точки расцвета, после чего начался период медленного, но неуклонного регресса. Культура пошла по «вредному пути»; она перестала «служить для счастья человека» и «из величины подсобной сделалась самодовлеющей». В эпоху, когда не было «умопомрачительной техники» и «чрезвычайного усугубления некоторых сторон познания», люди были более счастливы. Буржуазия эгоистична, под ее властью западные нации быстро движутся к закату, и русская революция — начало конца всей Европы. Единственная сила, могущая повернуть вспять колесо истории — кочевники азиатских степей, прежде всего монголы. Сейчас, пусть «в иных формах», они находятся на той развилке общего для всех народов исторического пути, откуда Запад когда-то свернул к своей гибели. Монголам и всей желтой расе суждена великая задача — огнем и мечом стереть с лица земли разложившуюся европейскую цивилизацию от Тихого океана «до берегов Португалии», чтобы на обломках старого мира воссоздать прежнюю культуру по образу и подобию своей собственной.

«Мистицизм барона, — писал знавший его в Монголии колчаковский офицер и поэт Борис Волков, — убеждение в том, что Запад — англичане, французы, американцы — сгнил, что свет — с Востока, что он, Унгерн, встанет во главе диких народов и поведет их на Европу. Вот все, что можно выявить из бессвязных разговоров с ним рада лиц».

За «мистицизмом» Унгерна стояла настолько расхожая, что ее источником он считал Библию, мысль о скором конце одряхлевшей Европы, обреченной, как некогда Рим и Византия, быть разрушенной несущими свежую кровь новыми варварами. Владимир Соловьев сформулировал неизменно повторяющуюся историческую схему, не многим отличную от варианта князя Чультун-бэйле: «Тогда поднялся от Востока народ безвестный и чужой...» Брюсов вопрошал: «Где вы, грядущие гунны, / Что тучей нависли над миром?..» Блок провидел «свирепого гунна», который будет «...в церковь гнать табун. / И мясо белых братьев жарить!», а Максимилиан Волошин в 1918 году, когда Унгерн принял командование монгольской конницей в отряде атамана Семенова, надеялся, что «встающий на Востоке древний призрак монгольской угрозы» заставит Россию преодолеть внутреннюю распрю. Сам Унгерн тоже, надо полагать, не случайно подчеркивал тот сомнительный факт, что его род ведет происхождение от гуннов.

Воплощением этих судьбоносных всадников стали для него монголы. Прозябающие на периферии мировой истории, не принимаемые в расчет ни западными политиками, ни большевиками, они должны были принести в мир испепеляющий, очистительный огонь, но сами не могли осознать свою миссию. Во многом из того, о чем говорил и писал Унгерн, угадывается уверенность в том, что он послан судьбой в Монголию с целью пробудить дремлющие здесь могущественные силы. «Дать толчок» — одно из любимейших его

выражений. Оно постоянно встречается в его письмах и протоколах допросов.

МАЯК НА ДАГО

1

Весной 1921 года, в разговоре с Оссендовским, Унгерн изложил ему свое родословие: «Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. В жилах моих предков течет кровь гуннов, германцев и венгров. Один из Унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. Даже трагический Крестовый поход детей не обошелся без нашего участия: в нем погиб Ральф Унгерн, мальчик одиннадцати лет. В XII веке, когда Орден меченосцев появился на восточном рубеже Германии, чтобы вести борьбу против язычников — славян, эстов, латышей, литовцев, — там находился и мой прямой предок, барон Гальза Унгерн-Штернберг. В битве при Грюнвальде пали двое из нашей семьи. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике и аскетизму, с их жизнью связано немало легенд. Генрих Унгерн-Штернберг по прозвищу Топор был странствующим рыцарем, победителем турниров во Франции, Англии, Германии и Италии. Он погиб в Кадиксе, где нашел достойного противника-испанца, разрубившего ему шлем вместе с головой. Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей в Балтийском море. Барон Петр Унгерн, тоже рыцарь-пират, владелец замка на острове Даго, из своего разбойничьего гнезда господствовал над всей морской торговлей в Прибалтике. В начале XVIII века был известен Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией и прозванный за это «братом Сатаны». Морским разбойником был и мой дед: он собирал дань с

английских купцов в Индийском океане. Английские власти долго не могли его схватить, а когда наконец поймали, то выдали русскому правительству, которое сослало его в Забайкалье».

Унгерн-Штернберги были внесены в дворянские матрикулы всех трех прибалтийских губерний, и официальный родоначальник назван точно — Иоганн (Ганс, Гальза) фон Унгерн, живший, правда, не в XII, а в XIII веке. Другая ветвь рода, согласно фамильной легенде, происходила от двух братьев Унгар, или Унгариа, столетием раньше переселившихся в Прибалтику из Галиции. В них текла венгерская кровь, а отсюда недалеко уже и до воинов Аттилы — гунны традиционно, хотя без особых на то оснований, считались предками мадьяр.

Впоследствии Унгары превратились в Унгернов и, породнившись со Штернбергами, присоединили их родовое имя к своему. Баронский титул был пожалован им шведской королевой Кристиной Августой в 1653 году. Тогда же, видимо, они получили свой герб с лилиями, шестиконечными звездами и девизом «Звезда их не знает заката». Между вассалом рижского архиепископа Иоганном фон Унгерном, женатым на дочери туземного князя Каупо, и Романом Федоровичем Унгерн-Штернбергом генеалогический словарь насчитывает 18 родовых колен. За семь столетий род разветвился, его представители расселились по всей Прибалтике, но наибольшее число поместий принадлежало им на севере Эстляндии, в Ревельском и Гапсальском уездах. Последний включал в себя часть материка и несколько островов, крупнейший из которых — Даго, по-эстонски Хийумаа. Во времена Ганзы и Ливонского ордена его скалистые берега служили пристанищем пиратов. Здесь этот промысел никогда не считался предосудительным.

По свидетельству современника, Унгерн «с явной охотой говаривал, что ощущает в душе голос пиратов-предков». Он упоминал о них даже в разговорах со случайными людьми, и в этой упорной апелляции к пращурам присутствует, кажется, не только гордость, но и потребность осмыслить аномалии собственной души. В контексте родовом, семейном, патология облагораживалась ее фатальной неизбежностью.

Унгерн воспринимал фамильную историю как цепь, чьим последним звеном является он сам, но из этой цепи почему-то оказались выброшены два главнейших звена — отец и дед. Морской разбойник, якобы грабивший английские корабли в Индии, приходился ему не дедом, а прапрадедом. Скорее всего, ошибся Оссендовский, хотя вовсе не исключено, что Унгерн сам укоротил свое родословие и сделал это сознательно. О ближайших предках по отцовской линии он вспоминать не любил — возможно, не только из-за плохих отношений с отцом, но еще и потому, что оба были людьми сугубо мирных занятий. Дед до самой смерти занимался малопочтенным, с точки зрения внука, делом — управлял семейной суконной фабрикой в Кертеле на Даго, а отец, будучи доктором философии, жил в Петербурге и подвизался при Министерстве государственных имуществ. Для Унгерна они, видимо, были досадным буржуазным наростом на величественном древе рода, целиком состоящего из рыцарей, пиратов и мистиков^[9].

Непосредственно от прапрадеда, который, по его словам, в Индии стал буддистом, проще было перейти к самому себе. «Я, — рассказывал он Оссендовскому, — тоже морской офицер, однако Русско-японская война заставила меня бросить мою профессию и поступить в Забайкальское казачье войско».

Отчетливо видны три момента, сближающие его собственную жизнь с жизнью прапрадеда — море, буддизм и Забайкалье, куда тот был сослан. Окруженная преданиями, эта фигура наверняка волновала Унгерна в отрочестве, но еще, может быть, сильнее — впоследствии, когда он начал замечать, а отчасти придумывать символическое сходство их судеб.

Реальный Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн-Штернберг не был ни моряком, ни тем более пиратом и грозой Индийского океана. Все свои морские путешествия он совершил в качестве пассажира, хотя в юности добирался до Мадраса, где во время Семилетней войны его арестовали англичане — вероятно, просто как иностранца, которым дорога в Британскую Индию была категорически заказана.

Он родился в 1744 году в Лифляндии, после окончания Лейпцигского университета оказался в Варшаве, при дворе польского короля Станислава Понятовского, дослужился до камергера, затем переехал в Петербург, а в 1781 году купил у своего университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гогенхельм на острове Даго и прожил здесь до 1802 года, когда был судим и сослан в Тобольск, а не в Забайкалье, как говорил Унгерн. Там спустя десять лет он и умер.

В 1818 году литератор и путешественник Павел Свиньин в книге «Воспоминания на море» описал его преступление: «В продолжение десяти лет злодей сей в осенние бурные ночи переставлял маяки с одного места на другое, дабы корабли, обманувшись ложным светом, разбивались у берегов острова. Тогда он с шайкою своею нападал на них».

Двадцатью годами позже француз Астольф де Кюстин, проплывая на пароходе мимо Даго, услышал от спутника, а впоследствии изложил в своей книге «Россия в 1839 году» более романтическую версию этих

событий. Барон Унгерн-Штернберг, блестящий аристократ, в расцвете сил покинул русский императорский двор и поселился в своих владениях на «диком» острове Даго, потому что «возненавидел весь род людской». Здесь этот мизантроп «начал выказывать необычайную страсть к науке». Чтобы ничто не отвлекало его от занятий, он пристроил к замку высокую башню, которую называл «библиотекой». На самой ее вершине находился его кабинет — «застекленный со всех сторон фонарь-бельведер». Только по ночам и только в этом уединенном месте барон «обретал покой, располагающий к размышлениям». В темноте стеклянный бельведер светился так ярко, что издали казался маяком и «вводил в заблуждение капитанов иностранных кораблей, нетвердо помнящих очертания грозных берегов Финского залива». Эта «зловещая башня, возведенная на скале посреди страшного моря, казалась неопытным судоводителям путеводной звездой», и «несчастные встречали смерть там, где надеялись найти защиту от бури». Спасшихся моряков убивали, уцелевший груз становился добычей барона. Это продолжалось до тех пор, пока негодяя не выдал гувернер его сына, случайно ставший свидетелем одного из таких убийств. Барона-разбойника судили в Ревеле и сослали на вечное поселение в Сибирь.

Там, впрочем, он вел жизнь, немногим отличавшуюся от его жизни на родине. В Tobольске у него был собственный дом, ссыльный преступник устраивал приемы, которые посещал сам губернатор. В 1805 году на одном из них присутствовали члены посольства графа Головкина, проезжавшего через Tobольск в Китай. При этом, как отметил посольский секретарь Шубарт, все приглашенные отлично знали, что гостеприимный хозяин не только «направил много

судов на скалы с помощью фальшивых сигналов маяка», но будто бы еще и застрелил собственного сына.

Эта история стала европейской уголовной сенсацией, о владельце Гогенхельма писали как об одном из наиболее выдающихся преступников современности. «Сердце обливается кровью, человечество (чувство гуманности. — Л. Ю.) содрогается при воспоминании об ужасном злодеянии барона***, владельца острова Даго!» — восклицал Свиньин. Прошло, однако, совсем немного времени, и там, где раньше видели экзотическую уголовщину, стали усматривать трагедию мятежной души. Сделавшись настоящей находкой для романтиков, Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн-Штернберг растворился в персонажах романов, драм и поэм, имевших подчас весьма отдаленное сходство с прототипом, как, например, герой байроновского «Корсара»^[10]. После него благородные разбойники расплодились и надолго вошли в моду, а их прародитель превратился в демонического бунтаря, преступающего божественные заповеди не из банальной алчности, но, как считал де Кюстин, «из чистой любви к злу, из бескорыстной тяги к разрушению».

Он же пишет: «Не веря ни во что и менее всего — в справедливость, барон полагал нравственный и общественный хаос единственным состоянием, достойным земного бытия человека, в гражданских же и политических добродетелях видел вредные химеры, противоречащие природе, но бессильные ее укротить. Верша судьбами себе подобных, он намеревался, по его собственным словам, придти на помощь Провидению, распоряжающемуся жизнью и смертью людей»^[11].

Иначе говоря, перед нами мрачный экспериментатор, который на доступном ему пространстве взялся вернуть мир к его изначальной

сути, извращенной «вредными химерами» современной морали. Этот ключ к сердцу «кровавого» барона спустя столетие подойдет и к его праправнуку. Фигура начальника Азиатской дивизии, «сумрачного бойца», как называл его харбинский литератор Альфред Хейдок, тоже будет окружена мифами и тоже станет знаком тех еще смутных идейных веяний, которые, как всегда на переломе эпох, должны быть в ком-то воплощены, прежде чем будут сформулированы и высказаны.

2

Преступление «хозяина Даго» потрясало уже одним тем, что маяк, символ надежды и спасения, он сделал орудием зла, вестником гибели. Однако правдивость этой истории вызывает сильные сомнения.

Маяк Дагерорт (от шв. *dager* — свет, и *ort* — мыс), по-эстонски — Кыпу, был построен во времена Ганзейского союза и существует по сей день. На протяжении столетий каждую ночь с 15 марта до 30 апреля и с 15 августа до 30 сентября на вершине его сложенной из булыжного камня 36-метровой башни, на каменной решетке, обеспечивающей тягу, разводили громадный костер из сухих смолистых дров. Зажигали его спустя час после захода солнца и тушили за час до восхода. В тихую погоду свет был виден на расстояние до 15 миль.

Купив имение Гогенхельм, Унгерн-Штернберг по обычаю обязан был взять на себя весьма обременительную заботу о маяке. На поддержание огня ежегодно требовалось около двух тысяч кубических сажень дров, а за триста лет, в течение которых существовал Дагерорт, лес вокруг вырубил, дрова приходилось возить издалека, да еще и с подъемом в

гору. На содержание маяка новый хозяин Гогенхельма просил у казны пять тысяч рублей серебром в год, но получал только по три тысячи, а с 1796 года, после смерти Екатерины II — вообще ничего. Маяк тем не менее продолжал действовать. Барон возложил поставку дров на своих крепостных, за что избавил их от других повинностей. Никакой башни с «застекленным бельведером» он не строил, а при тогдашнем способе эксплуатации маяка сама мысль о возможности подавать с него «ложные сигналы» кажется маловероятной.

Разумеется, обманные огни можно было зажигать и в других местах, но это обвинение снял с барона венгерский исследователь Иштван Чекеи. Его интерес к нему пробудил роман Мора Йокаи «Башня на Даго», и после Первой мировой войны Чекеи приехал в Эстонию, чтобы попытаться узнать правду^[12]. Изучив материалы судебного процесса 1802 года, он обнаружил, что о фальшивых маяках в них нет и речи, обвинение в убийстве моряков также не выдвигалось. Оказалось, что барон всего лишь вылавливал и присваивал себе грузы с потерпевших крушение кораблей, не соблюдая, правда, регламентировавших этот промысел норм берегового права^[13]. По мнению Чекеи, подлинной причиной столь сурового приговора стала имущественная тяжба между Унгерн-Штернбергом и бывшим владельцем Гогенхельма, графом Штенбоком, в то время — эстляндским генерал-губернатором. По-видимому, его же стараниями вскоре после процесса в Ревеле вышла анонимная книжка, где впервые была обнародована версия о пиратстве. Тираж скупил и уничтожил семья подсудимого, уцелел единственный экземпляр^[14].

Чекеи увидел в Унгерн-Штернберге не кровожадного разбойника в чине камергера и с

университетским образованием (это-то и волновало!), а трагическую жертву собственной исключительности в чуждой и грубой среде: «Барон был человеком прекрасного воспитания, необыкновенно начитанным и образованным. С молодости он вращался в высших сферах, был бесстрашным моряком, знающим и трудолюбивым землевладельцем, хорошим отцом. Он был строг как к себе, так и к окружающим, однако справедлив, славился щедростью и проявлял заботу о своих людях. Кроме того, он построил церковь. При всем том он страдал ностальгией по прежней жизни и отличался нелюдимостью. Местная знать не могла по достоинству оценить незаурядную личность барона».

Если бы праправнук прочел эту характеристику, он мог бы применить к себе почти каждое слово. Роман Федорович Унгерн-Штернберг обладал теми же феодальными добродетелями, какие приписывал Чекеи своему герою — храбростью, щедростью, стремлением заботиться о подчиненных. Точно так же он слыл нелюдимом и страдал от непонимания окружающих. Он тоже получил хорошее воспитание, знал языки, компетентно рассуждал о буддизме и конфуцианстве, что не мешало ему жечь людей живьем и отдавать воспитанниц Смольного института на растерзание солдатне. Тип палача-философа только еще входил в жизнь Европы, и современники замирали перед ним в растерянности. Чтобы устранить это противоречие, одни искренне считали вымыслом жестокость Унгерна, другие столь же искренне подвергали сомнению его образованность. Первые предпочитали говорить о «вынужденной суровости при поддержании дисциплины»; вторые, вопреки фактам, называли барона «дегенератом».

Приблизительно так же Чекеи воспринимал его прапрадеда. Он был уверен, что этот начитанный и даровитый человек никак не мог быть пиратом и

пострадал дважды: сначала от судебного произвола, затем — от фантазии романистов и поэтов. Однако легенды редко возникают на пустом месте. Похоже, в самой личности «хозяина Даго» было нечто такое, что заставляло верить в историю с ложным маяком, как позднее верили любому рассказу о свирепости его потомка.

Наверняка Унгерн знал о прапрадеде гораздо больше, чем рассказал Оссендовскому. Одна деталь позволяет предположить, что он сознательно уподоблял себя этому человеку. По приезде из Польши в Петербург Отто Рейнгольд Людвиг, вынужденный выбрать единственное из трех своих имен, русифицировал второе из них и стал Романом. Это же русское имя взял себе его праправнук, при крещении названный по-другому.

РОБЕРТ И РОМАН. ОТ АВСТРИИ ДО АМУРА

1

В плену Унгерн сказал, что не считает себя русским патриотом, и своей «родиной» назвал Австрию. Действительно, родился он не на Даго, как обычно указывается, а в австрийском Граце. В советских энциклопедиях датой рождения называется 10 (22) января 1886 года, хотя он появился на свет 17 (29) декабря 1885 года, то есть на 24 дня раньше^[15]. Очевидно, в Австро-Венгрии родители зарегистрировали рождение сына по григорианскому календарю, но в России, при поступлении его в гимназию или при оформлении каких-то бумаг, писарь, переводя григорианский календарь в юлианский, ошибся и вместо того, чтобы вычесть 12 дней, наоборот прибавил их к исходному числу. Полученная таким образом дата перекочевала в документы других канцелярий; после революции ее сочли данной по старому стилю и, соответственно, приплюсовали еще 12 дней. В итоге Унгерн стал моложе почти на месяц.

Столь же фиктивно его имя, под которым он вошел в историю. По традиции, принятой в немецких дворянских семьях, новорожденный, чтобы иметь не одного, а сразу троих небесных покровителей, при крещении был назван тройным именем — Роберт Николай Максимилиан. Позже последние два были отброшены! а первое заменено наиболее близким по звучанию начального слога славянским — Роман. Оно ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с

летописными князьями, и с суровой твердостью древних римлян. К концу жизни это имя стало казаться как нельзя более подходящим его обладателю, чьи презрение к смерти, воинственность и фанатичная преданность свергнутой династии были широко известные по отцу, Теодору Леонгарду Рудольфу, сын стал Романом Федоровичем.

Отец, младший ребенок в семье, имел четверых старших братьев и на серьезное наследство рассчитывать не мог. Однако в 1880 году, 23-летним юношей, он женился на девятнадцатилетней Софи Шарлотте фон Вимпфен^[16], уроженке Штутгарта. Невеста, видимо, принесла ему неплохое приданое. Супруги много путешествовать по Европе, пока не осели в Граце. Их первенец Роберт родился лишь на шестом году брака. Еще три года спустя появился на свет второй сын, Константин Роберт Эгингард.

После переезда семьи в Ревель^[17], летом 1887 года, Теодор Леонгард Рудольф совершил поездку по Южному берегу Крыма с целью изучить возможности развития там виноградарства. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы Унгерн-старший изложил в солидном сочинении с цифрами и схемами, но как доктор философии заодно высказал ряд соображений, столь же любопытных, сколь и неуместные в соседстве с таблицами сравнительного плодородия крымских почв. «Россия, — пишет он, например, — страна аномалий. Она одним скачком догнала Европу, миновав ее промежуточные стадии на пути к прогрессу». В доказательство этого тезиса приводится следующий факт: от проселочные дорог Россия сразу перешла к железным, а шоссейных практически не знала. В то время мало кто

задумывается о том, что, прямо с проселка встав на рельсы, страна вот-вот покатится по ним к революции.

Сочинение Унгерна-старшего — труд профессионала, знакомого и с почвоведением, и с химией, что не исключает склонности автора к своеобразному романтическому прожектерству. Если сын всерьез будет вынашивать планы создания ордена рыцарей-буддистов для борьбы с революцией, идея отца хотя и скромнее, заквашена на тех же дрожжах: для пропаганды виноделия среди крымских татар предлагалось учредить «класс странствующих учителей». Этих бродячих проповедников автор изображал чуть ли не героями, предупреждая, что их миссия потребует «много самопожертвования», и «при выборе таких лиц следует поступать с крайней осмотрительностью». Конечно, крымские татары как мусульмане с понятной враждебностью относились к виноградной лозе, но стремление обставить хозяйственное предприятие конспирологической атрибутикой, облечь его в формы жертвенного служения и подвижничества все-таки не совсем типично для нормального чиновника. Зная младшего Унгерна, в отце можно угадать зародыш тех черт, которые проявятся в сыне.

В 1891 году супруги Унгерн-Штернберги развелись, пятилетний Роман и двухлетний Константин остались с матерью. Через три года она вышла замуж за барона Оскара Хойнинген-Хюне. Второй ее брак оказался более удачным, Софи Шарлотта прожила с мужем до самой своей смерти в 1907 году и родила еще одного сына и двух дочерей.

Впоследствии сложилось мнение, будто она мало уделяла внимания первенцу, который с детства был предоставлен самому себе. Если даже и так, это не отразилось на его отношениях с единоутробным братом и сестрами. Они оставались вполне родственными даже

после того, как мать умерла. Однако с отчимом Унгерн сразу не поладил и не слишком уютно чувствовал себя в семье, что не могло не сказаться на его характере. С родным отцом он, похоже, никаких связей не поддерживал на протяжении всей жизни. Не осталось ни малейших следов его участия в судьбе сына.

Во время Гражданской войны рассказывали, что отец Унгерна был убит крестьянами в 1906 году, при «беспорядках» в Эстляндской губернии, и это навсегда «положило в сыне глубокую ненависть к социализму». Такого рода историями часто оправдывают тех, чью жестокость невозможно объяснить только рациональными причинами. О легендарном душегубе Сипайло, состоявшем при Унгерне в Монголии, тоже говорили, будто в ургинских застенках он мстит за свою вырезанную большевиками семью. Во всяком случае, словарь прибалтийских дворянских родов, изданный в Риге перед Второй мировой войной, датой смерти Теодора Леонгарда Рудольфа (Федора) Унгерн-Штернберга называет 1918 год, а ее местом — Петроград. Обстоятельства, при которых он погиб или умер, неизвестны.

2

До четырнадцати лет Роман обучался дома, в 1900 году поступил в Ревельскую Николаевскую гимназию, но через два года был исключен. «Несмотря на одаренность, — пишет его кузен Арвид Унгерн-Штернберг, — он вынужден был покинуть ее из-за плохого прилежания и многочисленных школьных проступков». Решено было, что при его характере ему больше подойдет военное учебное заведение. Отчим остановил выбор на Морском кадетском корпусе в Петербурге, куда и отдал пасынка в 1902 году (в

бумагах полагалось указывать последнее место учебы, и для того, видимо, чтобы скрыть факт исключения из гимназии, перед поступлением в Морской корпус Унгерна ненадолго приписали к частному пансионату Савича). Родной отец во всех этих хлопотах никак не участвовал. Хотя в то время он жил в Петербурге, билет на право брать мальчика в отпуск был выписан на другое лицо.

Семью годами позже Унгерн аттестовался начальством как «очень хороший кадет», который «любит физические упражнения и очень хорошо работает на марсе», при этом ленив и «не особенно опрятен». Сохранился внушительный список его «проступков», регулярно караемых сидением в карцере. Все это преступления достаточно невинные: «вернулся из отпуска с длинными волосами», «курил в палубе», «бегал по классному коридору», «не был на вечернем уроке Закона Божия», «потушил лампочку в курилке перед входом офицера», «дурно стоял в церкви», «угонялся от утренней гимнастики» и т. д. Постоянно фигурируют какие-то состоящие под строжайшим запретом, но дорогие сердцу шестнадцатилетнего кадета Унгерн-Штернберга «ботинки с пуговицами».

О его характере можно судить по тому, что он способен был сбежать из-под ареста, пока дежурный уносил посуду после обеда, и вызываяще «разгуливать по шканцам». При этом подростковое бунтарство сочеталось в нем с мрачностью и застенчивостью. При чтении реестра его проказ нельзя не заметить, что почти все они совершались не в компании сверстников, а в одиночестве.

Со временем он начинает хуже учиться. Автор очередной аттестации, указывая на его грубость и неопрятность, делает далеко идущий вывод: «Весьма плохой нравственности при тупом умственном развитии». В последнее поверить трудно, тем не менее

в 1904 году Унгерн оставлен на второй год в младшем специальном классе. Еще через полгода родителям предложено «взять его на свое попечение», поскольку поведение их сына «достигло предельного балла (4) и продолжает ухудшаться». Мать и отчим предупреждены, что в любом случае, возьмут они его домой или нет, из корпуса он будет отчислен.

«Вскоре после начала Русско-японской войны, — не без умиления рассказывает его первый биограф Николай Князев, — на утренней поверке как-то недосчитались троих гардемарин младшего класса; одного из них, конечно, звали Романом». Ничего подобного не было, хотя сам Унгерн тоже говорил, что добровольно оставил Морской корпус, дабы попасть на войну с японцами. Документы это опровергают, но можно допустить, что положение второгогодника было для него унижительно, отношения с начальством испортились вконец, поэтому он решил ехать на фронт и «предельным баллом» по поведению сознательно провоцировал свое исключение.

В доме отчима Унгерн прожил три месяца, пока шло оформление вольноопределяющимся в 91-й Двинский пехотный полк, но повоевать ему не удалось. На Дальний Восток он попал в июне 1905 года, когда бои уже прекратились. Рассказы о полученных им ранениях и Георгиевском кресте (или даже трех) за храбрость — легенда. Правда, послужной список Унгерна сообщает, что он был награжден «светло-бронзовой» медалью «за поход в Русско-японскую войну», а всем нижним чинам, прибывшим в действующую армию после сражения под Мукденом, которое Николай II постановил считать концом войны, давали такую же медаль, но «темно-бронзовую». Это позволяет допустить, что в каких-то диверсионных вылазках Унгерн все-таки участвовал ^[18].

Вольноопределяющийся должен был прослужить в армии один год. По истечении этого срока Унгерн вернулся в Петербург и поступил сначала в Инженерное военное училище, где проучился очень недолго, затем — в Павловское пехотное. Здесь он благополучно прошел «полный курс наук» и в 1908 году был произведен в офицеры, но не в подпоручики, как следовало бы ожидать по профилю училища, а в хорунжие 1 — го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Странное для «павлона», как называли павловских юнкеров, производство и назначение Арвид Унгерн-Штернберг объяснял тем, что его кузен мечтал служить в кавалерии, а выпускнику пехотного училища «возможно было осуществить это желание только в казачьем полку». Назначению предшествовала обязательная в таких случаях процедура приписки к одной из забайкальских станиц.

То, что из всех казачьих войск он выбрал именно второразрядное Забайкальское, его враги объясняли «шкурным» стремлением получить большие «проездные и подъемные», а поклонники — увлеченностью «просторами и дебрями Забайкалья», которые «приглянулись» ему по дороге в Маньчжурию и где могла найти приют его «мятущаяся душа». Скорее всего, ошибались и те и другие. Как раз в то время поползли слухи о надвигающейся новой войне с Японией, и он, видимо, хотел находиться поближе к будущему театру военных действий. Кроме того, забайкальцами командовал генерал Эдлер фон Ренненкампф, а Унгерн состоял с ним в родстве — его бабушка по отцу, Наталья Вильгельмина, была урожденная Ренненкампф. Возможно, это тоже сказалось на его выборе, ибо позволяло надеяться на некоторую протекцию по службе.

В мирное время Забайкальское казачье войско выставяло четыре «первоочередных» полка шестисотенного состава — Читинский, Нерчинский, Верхнеудинский и Аргунский, в котором начал службу Унгерн. Полк базировался на железнодорожной станции Даурия вблизи китайской границы и в окрестных поселках. Здесь Унгерн, раньше мало имевший дело с лошадьми, быстро стал превосходным наездником. «Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив», — аттестовал его командир сотни.

Когда в августе 1921 года он попал в плен к красным, на одном из допросов было сделано краткое описание его внешности. В нем отмечено: «На лбу рубец, полученный на востоке, на дуэли». По словам Врангеля, хорошо запомнившего этот шрам, рана от полученного тогда шашечного удара заставляла Унгерна всю жизнь мучиться «сильнейшими головными болями» и «отражалась на его психике». Говорили, будто из-за нее он временами даже терял зрение.

В начале XX века дуэли в русской армии не были запрещены, напротив, поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традицию столетней давности искусственно реанимировали сверху, соответственно усилился элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Поединок перестал быть интимным делом двоих; необходимость дуэли определялась офицерскими судами чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и начальники дивизий. Они же выступали арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в писанный закон, священный некогда ритуал утратил былую значимость.

В дивизии, где служил Унгерн, произошел, например, такой инцидент. Один офицер нанес другому «оскорбление действием», и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с дистанции в 25 шагов, после чего и помирились. Вскоре, однако, выяснилось, что накануне секунданты одного из офицеров предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь «внешними формальностями». Те отказались, и двоим офицерам, решившим вместо дуэли устроить ее имитацию, пришлось покинуть полк.

Казалось бы, дело исчерпано, виновные наказаны, тем не менее начальник дивизии был возмущен. «Нравственные правила и благородство исчезают в офицерской среде, — пенял он полковым командирам, — и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность». Негодование было вызвано тем, что изгнанию не подверглись и секунданты противной стороны. Ведь они, выслушав порочащее их постыдное предложение, не потребовали сатисфакции, а довольствовались докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности еще двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения^[19].

Обвинить Унгерна в «мещанских взглядах на нравственность» не мог бы никто, но через полтора года службы в Даурии ему пришлось оставить полк. Причиной послужила не дуэль, а опять же то обстоятельство, что она не состоялась в ситуации, когда обойтись без нее было нельзя.

На попойке в офицерском собрании Унгерн поссорился с сотником Михайловым, и тот при всех назвал его «проституткой». Барон почему-то смолчал и мало того, что в ближайшие дни не послал обидчику вызов, но даже не потребовал извинений. Возмущенные

офицеры созвали суд чести, однако на нем Унгерн не захотел ничего объяснять. Что побудило его так себя вести, неизвестно. В трусости его никто никогда не обвинял, тем не менее и ему, и Михайлову предложили перевестись в другой полк. Их поединок так и не состоялся, а шрам на лбу Унгерн получил уже на новом месте службы, в Благовещенске-на-Амуре. Правда, это была не «дуэль», как говорил он сам, а тоже пьяная ссора, на сей раз прямо на месте перешедшая в рубку шашками.

Об этом в 1926 году, в Пекине, написал бывший офицер Голубев, причем поименно перечислил входивших в состав суда чести и решавших участь барона офицеров-аргунцев. Сам Унгерн говорил, что свой шрам он получил «на востоке», а в Иркутске, где проходил допрос, так можно было сказать только про Дальний Восток, но никак не про соседнее Забайкалье. Вдобавок есть в этой загадочной истории с сотником Михайловым какая-то лежащая на характер Унгерна психологическая убедительность. Видимо, у него имелись веские причины не только отказаться от дуэли с человеком, назвавшим его «проституткой», но и объяснить причины своего отказа.

По другой, менее обоснованной версии, пьяная ссора, в которой Унгерну разрубили лоб, произошла в Даурии. После излечения он вызвал обидчика на дуэль, а поскольку тот не принял вызова, оба были исключены из офицерского состава полка.

Так или иначе, но Унгерн перевелся в Амурский полк — единственный штатный полк Амурского казачьего войска. В 1910 году он покинул Даурию, чтобы вернуться туда через восемь лет и превратить название этой станции в символ белого террора и едва ли не иррационального ужаса.

Как всюду на русском Дальнем Востоке, немалый процент жителей Благовещенска, где располагались квартиры Амурского полка, составляли китайцы и корейцы. После недавних слухов о близящейся войне с Японией относились к ним с подозрением. В каждом узкоглазом парикмахере, содержателе бань, торговце пампушками или гороховой мукой готовы были видеть переодетого офицера японского Генерального штаба. В местных куртизанках тоже подозревали агентов иностранных разведок.

В 1913 году приамурский генерал-квартирмейстер Будберг разослал командирам полков следующее циркулярное письмо: «Штаб Приамурского военного округа получил совершенно секретные сведения, указывающие на то, что во многих общеувеселительных учреждениях, находящихся в пунктах расположения войск округа, очень часто можно встретить гг. офицеров в обществе дам, обращающих на себя внимание своим крикливым нарядом, говорящим далеко не за их скромность. При выяснении этих лиц нередко оказывалось, что таковые именуют себя гражданскими женами того или иного офицера, а при более подробном обследовании их самоличности устанавливалось, что их можно видеть выступающими на подмостках кафешантанов в качестве шансонеток или же находящимися в составе дамских оркестров, играющих в ресторанах разных рангов на разного рода музыкальных инструментах, причем большая часть таких шансонеток и музыкантш — иностранки. Интимная близость этих особ к гг. офицерам ставит их в отличные условия по свободному проникновению в запретные для невоенных районы, т. к. бывая в квартирах гг. офицеров, они пользуются не менее

свободным доступом ко всему тому, что находится в квартирах их — как секретному, так и несекретному. А если к этому прибавить состояние опьянения и связанную с последним болтливость, то становится ясно, что лучшим условием для разведки являются вышеизложенные обстоятельства, а самым удобным контингентом для разведывательных целей являются: шансонетки, женщины легкого поведения, дамы полусвета, оркестровые дамы. Причем в каждой из них есть еще и тот плюс, что в силу личных своих качеств (как, например, красота) каждая из них может взять верх над мужчиной, и последний, подпав под влияние женщины, делается послушным в ее руках орудием при осуществлении ею преступных целей включительно до шпионства».

В то время в программу русских цирков входила женская борьба, проводились первенства. Женщины-артистки в многоязычных, бурно растущих городах Дальнего Востока тем более никого не удивляли, но под пером приамурского генерал-квартирмейстера они предстают созданиями могущественными, коварными и крайне опасными. Капитаны и поручики легко становятся их жертвами. Кажется, Будберга больше тревожат сами офицеры, чем те сведения, которые могут получить от них иностранные разведки через благовещенских или хабаровских «оркестровых дам» и кафешантанных певичек. Сквозь формы армейского циркуляра, комичного в архаически-казенном обличии «злых женок», прорывается печальное сознание слабости современного мужчины^[20].

К Унгерну подобные опасения не относились ни в коей мере. Если он и посещал популярный у офицеров публичный дом «Аркадия» (полковое начальство регулярно предупреждало об опасностях этого «заведения»), едва ли такие визиты доставляли ему

много радости — женщины никогда его не волновали. С однополчанами он тоже близко не сходил, так как «в умственном отношении стоял выше среднего уровня офицеров-казаков» и держался «в стороне от полковой жизни». Играла роль и его застенчивость, от которой он окончательно не избавился даже в зрелые годы. Один из мемуаристов назвал ее «дикой».

В юности Унгерн много читал на разных языках. Немецкий и русский были для него одинаково родными, хотя по-русски он говорил «с едва уловимым акцентом». Об этом пишет служивший под его началом Князев, добавляя, что «мысли отвлеченного характера легче и полнее барон выражал по-французски», а по-английски «читал свободно». В разговорах с Оссендовским, как пишет он сам, Унгерн попеременно пользовался всеми этими четырьмя языками.

«Обладает мягким характером и доброй душой», — свидетельствует служебная аттестация, выданная ему в 1912 году. К этой характеристике следует отнести без иронии, но с немаловажной поправкой: пьяный, Унгерн был способен на самые дикие выходки. Похоже, результатом одной из них стала пощечина, уже на фронте, при неизвестных обстоятельствах, полученная им от генерала Леонтовича. Алкоголь рано стал его проклятием и одновременно спасением от депрессии, которой, судя по всему тому, что о нем рассказывали, он страдал с молодости. Другим эффективным способом борьбы с ней были разного рода рискованные предприятия, в его лексиконе — «подвиги».

Однажды Унгерн заключил пари с офицерами-однополчанами. Он обязался, не имея при себе ничего, кроме винтовки с патронами, и питаясь только «плодами охоты», на одной лошади проехать несколько сотен верст по глухой тайге без дорог и проводников, а в заключение еще и «переплыть на коне большую реку». Об этом пари слышали многие, но маршрут

называли разный. В качестве начального и конечного пунктов указывались Даурия и Благовещенск, Благовещенск и Харбин, Харбин и Владивосток. Соответственно расстояние колебалось от 400 верст до тысячи, а в роли «большой реки» выступали то Зея, то Амур, то Сунгари. Врангель в своих мемуарах отправил Унгерна в тайгу на целый год, но дал ему в спутницы собаку. Другой мемуарист заменил лошадь ослом, а к собаке добавил охотничьего сокола; этот любимец барона будто бы постоянно восседал у него на плече, навсегда оставив там следы своих когтей. В основном, однако, сходились все — совершенно не зная дальневосточной тайги, Унгерн прошел намеченный маршрут точно в срок и пари выиграл. Сам он объяснял свою затею тем, что «не терпит мирной жизни», что «в его жилах течет кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги».

Как выпускника пехотного училища Унгерна поначалу приставили к пулеметной команде, но вскоре он добился более подходящей для себя должности начальника разведки 1-й сотни. Сотня имела единственный знак отличия — серебряную Георгиевскую трубу за поход в Китай в 1900 году; Россия тогда вместе с Англией, Францией, Германией и Японией подавила Ихэтуаньское («боксерское») восстание, в котором Владимир Соловьев увидел первое движение просыпающегося «дракона», первую зарницу грозы, несущей гибель западной цивилизации.

Полковая жизнь текла заведенным порядком. Офицеры ходили в наряд дежурными по полку, готовили свои подразделения к парадам в табельные дни, руководили стрельбами, следили за перековкой и чисткой лошадей, за хранением оружия, за чистотой казарм, конюшен и коновязей. По утрам с нижними чинами обычно занимались урядники, офицеры вели послеобеденные занятия в конном строю или «пеше по-

конному». Другие обязательные предметы: гимнастика, рубка и фехтование, укладка выюка, «прикладка», полевой устав. Еженедельно проходили «беседы о войне».

Новая война с Японией так и не началась, возможностей совершать подвиги в Благовещенске оказалось не больше, чем в Даурии. На быструю карьеру рассчитывать не приходилось, очередной чин сотника Унгерну присвоили в установленные сроки, на четвертом году службы. Гонимый гарнизонной скукой, в 1911 году он отпрашивается в полугодовой отпуск и уезжает в родной Ревель. Между тем в Монголии, на окраине доживающей последние месяцы Поднебесной империи, назревают события, в которые ему предстоит вмешаться дважды — через полтора года, а затем еще семь лет спустя.

МОНГОЛЬСКИЙ МИРАЖ

1

Пржевальский сравнил жизнь монгольских кочевников, когда-то покоривших полмира, с потухшим очагом в юрте. Позже один из русских свидетелей пробуждения потомков Чингисхана и Хубилая заметил, что великий путешественник ошибался, как ошибся бы случайный путник, войдя в кибитку монгола и по отсутствию в ней огня заключив, что очаг уже потух. Тот, кто живет среди кочевников, знает: «Стоит только умелой руке хозяйки, вооруженной щипцами, сделать два-три движения, как из-под золы появляется серый комок. Насыплет она на него зеленоватого порошка конского помета, подует на задымившийся порошок, и вспыхнет огонек, а если подбросить на очаг несколько кусков аргала (сухой навоз. — Л. Ю.), то перед удивленным взором путника блеснет яркое ровное пламя, ласкающее дно чаши, в которой закипает чай».

К началу XX века сотни, а спустя десятилетие — тысячи русских крестьян-колонистов, купцов и промышленников проживали в Халхе^[21] еще при первом императоре маньчжурской династии Цин подпавшей под власть Пекина. Были проведены скотопрогонные тракты, возникли кожевенные заводы, шерстомойки, фабрики, ветеринарные пункты; сибирские ямщики стали полными хозяевами на 350-верстной дороге между русской Кяхтой и монгольской столицей — Ургой, но все это не шло ни в какое сравнение с масштабами китайской колонизации. Туземное население Халхи не достигало полумиллиона, и нарастающий с каждым годом поток ханьских переселенцев угрожал самим

основам кочевой жизни. Здесь могла повториться трагедия Внутренней Монголии, где распаивались пастбища, посевы чумизы и гаоляна оттесняли кочевников в безводные пустыни. Их стада гибли, а сами они превращались в грабителей и бродяг.

В Халхе этот процесс только начался, зато грозил пойти ускоренными темпами. Хошунных^[22] князей лишали власти в пользу пекинских чиновников; законные и, главное, незаконные поборы китайских властей перешли все мыслимые пределы. «Под лапами китайского дракона глохнет дух предприимчивости, убивается стремление к возрождению национальной культуры. Все обрекается мертвящему застою», — вполне в духе Владимира Соловьева, ненавидевшего всяческую «китайщину», делился своими наблюдениями один из тогдашних русских путешественников по Синьцзяну. По его словам, единственно «страхом немилосердного возмездия, каковое постигло поголовно истребленных джунгар», Пекину удастся удерживать монголов «в рабском повиновении».

При торговых операциях китайским коммерсантам не составляло труда обмануть простодушных номадов^[23]. Процветало ростовщичество; на русском дальневосточном жаргоне выражение «евреи Востока» было обычным обозначением китайцев. Фактически все монгольское население, от аймачного хана-чингизида до последнего бедняка-арата, оказалось в долговом рабстве у китайских фирм. Однако покорность монголов казалась безграничной, неспособность к сопротивлению — фатальной, как у их любимейшего животного, верблюда, который при нападении волка лишь кричит и плюется, хотя мог бы убить его одним ударом ноги. Пржевальский писал, что всякая тварь может обидеть это неприхотливое несчастное создание, даже птицы расклеивают ему натертые седлом ссадины между

горбами, а он только «жалобно кричит и крюком загибает хвост».

Правда, еще в годы Русско-японской войны во Внутренней Монголии начал действовать отряд князя Тогтохо-гуна. Петербургские и сибирские газеты именовали его «партизанским», хотя от заурядной шайки хунхузов он отличался не больше, чем капер от пирата, — грабил преимущественно китайских поселенцев. Несколько удачных стычек с правительственными войсками мгновенно сделали Тогтохо национальным героем со всеми присущими этому званию атрибутами, какими награждает своих любимцев народ, не разучившийся творить мифы — чудесной силой, вездесущностью, неуязвимостью для стрелы и пули.

Россия тайно снабжала повстанцев ружьями устаревших систем, а после того, как Тогтохо потерпел окончательное поражение, предоставила ему убежище в Забайкалье. Русские доброжелатели пафосно призывали монголов «сбросить с себя маразм пасифизма, привитого им желтой религией», но мало кто верил, что это произойдет в сколько-нибудь ближайшем будущем. Скрытый под золой огонь вспыхнул неожиданно даже для тех европейцев, кто годами жил в Халхе.

Синьхайская революция в Китае свергла маньчжурскую династию, все императоры которой покровительствовали буддизму и сами считались перерождениями бодисатвы Маньчжуши. Как предсказывал Бадмаев, это повлекло за собой распад Поднебесной империи: Тибет и Монголия, объяснив свое подчинение Пекину личным договором с императором Канси и его преемниками, отказались признать власть Китайской республики. Буддизм здесь становится знаменем национального возрождения.

В декабре 1911 года князя Внешней Монголии провозглашают ее независимость. Учреждается монархия, ургинский первосвященник Богдо-гэгэн Джебцзун-дамба-хутухта VIII торжественно восходит на престол. Со дня его коронации начинается новое летоисчисление: Халха вступает в «эру Многими Возведенного», то есть всенародно избранного, монарха — Богдо-хана^[24].

В начале первого года этой «эры» Унгерн из Ревеля возвращается в Благовещенск. За событиями в Китае он внимательно следит по газетам. Республиканское правительство не готово смириться с утратой северной провинции, китайцы перебрасывают на запад Халхи войска из соседнего Синьцзяна; во Внутренней Монголии разгорается повстанческое движение, поддерживаемое Ургой. Монгольские князья требуют восстановить в правах династию Цин, тот же спекулятивно-легитимистский лозунг выдвигает и правительство Богдо-гэгэна. Россия сохраняет нейтралитет, но весьма и весьма благожелательный по отношению к молодой монархии. Иркутский военный округ безвозмездно поставляет монголам оружие, вместе с ним появляются инструкторы из забайкальских казаков-бурят. В Урге основана военная школа со штатом русских преподавателей-офицеров.

Унгерн подает рапорт с просьбой направить его в Монголию, но ему отказывают. Опасаясь, что и эта война, как Русско-японская, закончится без его участия, он решает выйти в отставку и поступить в монгольскую армию как частное лицо. В июле 1913 года он пишет на высочайшее имя прошение об увольнении в запас. Подлинная причина, естественно, не раскрывается. Вероятно, ссылка на плохое состояние здоровья в возрасте двадцати семи лет кажется ему неубедительной, поэтому выбрана иная мотивировка:

«Расстроенные домашние обстоятельства лишают меня возможности продолжать военную Вашего Императорского Величества службу».

Пока прошение совершает долгий путь по инстанциям, он добивается разрешения покинуть полк до официальной отставки. Приказ о зачислении сотника Унгерн-Штернберга в запас без мундира и пенсии приходит из Петербурга спустя пять месяцев. К этому времени в Благовещенске его давно нет ^[25].

В конце августа 1913 года молодой русский колонист Алексей Бурдуков, доверенный представитель крупной сибирской фирмы, должен был из Улясутая возвращаться в свою факторию на реке Хангельчик в Кобдоском округе на северо-западе Монголии. Перед отъездом он зашел в местное русское консульство, чтобы, как обычно, прихватить с собой пакеты с письмами и посылками в Кобдо. Здесь консул Вальтер попросил его немного задержаться, сказав, что даст ему в дорогу интересного спутника, и не без улыбки, надо полагать, показал принадлежавшее этому человеку командировочное удостоверение, как ни в чем не бывало завизированное консульской печатью. Его текст Бурдуков через много лет воспроизвел по памяти: «Такой-то полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик (общееармейское соответствие чину сотника. — Л. Ю.) Роман Федорович Унгерн-Штернберг отправляется на запад в поисках смелых подвигов».

Скоро явился владелец этого оригинального удостоверения. «Он был поджарый, — вспоминал Бурдуков, — обтрепанный, неряшливый, обросший желтоватой растительностью на лице, с выцветшими застывшими глазами маньяка. По виду ему можно было дать лет около тридцати, хотя он в дороге и отрастил

бородку. Военный костюм его был необычайно грязен, брюки протерты, голенища в дырах. Сбоку висела сабля, у пояса револьвер, винтовку он попросил везти своего *улачи* (проводника. — Л. Ю.). Вьюк его был пуст, болтался только дорожный брезентовый мешок, в одном углу которого виднелся какой-то маленький сверток».

Как выяснилось, Унгерн только что прискакал из Урги (более 700 верст) и рвался немедленно ехать дальше, в Кобдо (еще 450). «Русский офицер, скачущий с Амура через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, производил странное впечатление», — подытоживает свои наблюдения Бурдуков. Не менее странным было и то, что к экстравагантной формуле, объясняющей цель его командировки и, похоже, с иронией употребленной теми, кто выдал ему такой документ, сам Унгерн относился совершенно серьезно. В дороге он сообщил Бурдукову, что едет в Кобдо с намерением поступить на монгольскую службу, присоединиться к отряду Дамби-Джамцана, о чьем существовании узнал из газет, и вместе с ним «громить китайцев».

2

Дамби-Джамцан-лама, чаще называемый просто Джа-ламой — фигура фантазмагорическая даже для Монголии начала XX века, еще живущей в круговороте вечно повторяющихся событий, в вечном настоящем, где спрессованы и неотличимы друг от друга слои разных исторических эпох. Такие люди появляются на рубеже времен, чтобы, используя мифы уходящего времени, утвердиться в том, что идет ему на смену. Разбойник и странствующий монах, знаток тантры и авантюрист с замашками тирана-реформатора, он всю

жизнь балансировал на грани реальности, причем с неясно выраженным знаком по отношению к линии между светом и тьмой. В 1929 году, через шесть лет после его смерти, монголы еще допытывались у Юрия Рериха, кем на самом деле являлся Джа-лама — святым хубилганом-перерожденцем или мангысом, злым духом.

По одним сведениям, он — астраханский калмык Амур Санаев, по другим — торгоут Палден, но обе версии его происхождения сходились в том, что родился Джа-лама в России. Рассказывали, что мальчиком он попал в один из монгольских монастырей, в числе наиболее способных учеников был отправлен в Тибет и много лет провел в знаменитой обители Дрепунг близ Лхасы. Однажды в пылу богословского спора он случайно убил товарища по монашеской общине и бежал в Пекин. Благодаря знанию тибетского и монгольского языков ему удалось получить хорошее место при ямыне, где составлялись календари для окраинных провинций, служившие средством идеологической обработки национальных меньшинств империи, но оседлая жизнь скоро ему прискучила. Джа-лама оставил службу, бросил жену-китайку, сменил чиновничий халат на курму странствующего ламы и растворился в необозримых пространствах Центральной Азии. В 1900 году он прибил к экспедиции Козлова, по его заданию ездил в Лхасу, посетил Кобдо и вновь бесследно исчез, чтобы появиться еще через 12 лет, когда отряды Ургинского правительства начали осаду удерживаемой китайцами Кобдоской крепости.

До этого момента все варианты биографии Джа-ламы, включая вышеизложенный, носят апокрифический характер, но теперь его жизнь приобретает свидетелей-европейцев и становится достоянием писаной истории. Именно тогда он провозгласил себя не то правнуком ойратского князя Амурсаны, полтора века назад восставшего против

маньчжуров, не то самим Амурсаной, вернее — новым его перерождением.

В Монголии, как и в Тибете, новые воплощения разного рода подвижников и праведников никого не удивляли, и это придавало особую окраску политическому самозванчеству. На Западе и в России самозванец обязательно должен был быть приближен во времени к тому лицу, чье имя он возлагал на себя и чья смерть объявлялась мнимой, но здесь проблемы временной совместимости не существовало. Не было нужды отрицать и гибель героя. Будущий спаситель родины вполне мог физически умереть много столетий назад, а не заснуть волшебным сном, как в немецком предании спят в горной пещере рыцари Фридриха Барбароссы, а в чешском — короля Вацлава, чтобы пробудиться и прийти на помощь своему народу в трудный час его истории.

Для ойратов, западных монголов, такой фигурой стал джунгарский князь Амурсана. В 1755 году он поднял антиманьчжурское восстание, был разбит, бежал в Россию и умер от оспы в Тобольске. Требование Пекина выдать тело было отвергнуто Петербургом, но соратнику Амурсаны, князю Шидр-вану, повезло меньше. Его задушили, после чего, согласно легенде, у императора родился сын с красной полосой вокруг шеи — это означало, что в нем возродился дух Шидр-вана. Чтобы лишить его плотского пристанища, все тело младенца по кусочкам выщипали сквозь дырку в монете-чохе, но когда спустя год императрица вновь родила сына, его кожа оказалась пестрой, покрытой оставшимися от прежней казни шрамами. В третий раз воплощенный Шидр-ван был убит с помощью лам-чародеев и больше уже не возрождался, но над Амурсаной, умершим и похороненным в Тобольске, такие заклинания не были произнесены, он сохранил способность к новым перерождениям.

Хотя реальный Амурсана сотрудничал с Пекином, искал поддержки императора Канси в борьбе за ханский престол, в легенде о нем все это было забыто. Верили, что рано или поздно он придет с севера во главе большого войска, освободит народ от китайского владычества и создаст могучее царство, основанное на принципах добра и справедливости. Амурсана превратился в ойратского мессию, соединив в себе качества идеального земного правителя с небесным мандатом и сказочного героя, способного ловить пули на лету или низводить с небес радугу и вешать на нее свои вещи. Весной, когда служащие сибирских скотопромышленных фирм в Монголии, на зиму уезжавшие домой, возвращались обратно, монголы интересовались у них, не слышно ли в России каких-нибудь известий об Амурсане.

В 1912 году этот долгожданный национальный избавитель наконец явился среди своего народа, чтобы, как пел ойратский рапсод Парчен-тульчи, «собрать подданных» и «кочевать на своей основной родине». Джа-лама возглавил один из осаждавших Кобдо монгольских отрядов армии, а после того, как город был взят, превратился в самого могущественного человека на северо-западе Халхи. Через год это уже не нищий бродячий лама, а владетельный князь. У него около двух тысяч семей данников, сотни солдат, масса челяди. Его ставка вблизи монастыря Мунджик-Хурэ отличалась необычайной правильностью планировки. В центре возвышалась огромная белая юрта самого Джа-ламы, которую в разобранном виде перевозили на двадцати пяти верблюдах. В ставке поддерживалась исключительная чистота. Запрещено было испражняться не только на зеленую траву, что не допускалось и монастырскими уставами, но даже на землю. Кочевники воспринимали это как шокирующее нововведение.

Джа-лама не пил, не курил и сурово наказывал за пьянство. Лам, уличенных в этом грехе, он «расстригал» и принуждал поступать к нему в солдаты. В нем можно заметить черты восточного владыки, стремящегося к модернизации на западный манер. Своих цириков (солдат) Джа-лама одевал в русскую военную форму, сам под монашеской курмой носил офицерский мундир, выписывал из России сельскохозяйственные машины, собираясь приучить часть данников к земледелию, но при этом требовал поклонения, безусловной покорности и лично пытал врагов, сдирая у них полосы кожи со спины. Согласно древнему обычаю, после взятия Кобдо его знамена были освящены кровью побежденных. Он собственноручно, по особому ритуалу, заживо вырезал сердца у пленных китайцев.

Власть и влияние Джа-ламы отчасти основывались на мистическом страхе перед ним. Считалось, что ему покровительствуют духи, а он умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Бурдуков, живший вблизи Мунджик-Хурэ и заезжавший к нему в гости, однажды по ошибке сфотографировал его на уже использованной пластине, где был заснят он сам. Два кадра совместились, при проявлении снятый издали и, следовательно, маленький Бурдуков очутился на правом рукаве большого Джа-ламы, который позировал на близком расстоянии. Это истолковали как сотворенное им чудо.

Венгр Йожеф Гелета, сидевший в одном из сибирских лагерей для военнопленных и в 1922 году попавший в Ургу, со слов знакомых монголов излагает характерную историю о том, как казаки в погоне за Джа-ламой окружили его на берегу озера Сур-Нор: «Перед ним была водная гладь, позади — преследователи. Монголы из расположенного рядом небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джа-лама будет схвачен. Внезапно

они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону и вместо того, чтобы скакать к Джа-ламе, спокойно стоявшему в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. «Он там! — кричали казаки. — Он там!» Но «там» означало разные места для каждого из них. Разделившись, они поскакали в разные стороны, затем вновь съехались вместе и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. Каждому из них казалось, что он убивает Джа-ламу».

Гелета честно признается, что не был свидетелем случившегося, но Оссэндовсквй, имевший слабость вводить себя как действующее лицо в услышанные от других истории, будто бы собственными глазами видел, как Джа-лама ножом распорол грудь слуги, а тот в результате оказался цел и невредим. Он же рассказывает, будто перед штурмом Кобдо, чтобы поднять боевой дух осаждающих, Джа-лама силой внушения развернул перед ними картину прекрасного будущего освобожденной от китайцев Монголии и воочию показал судьбу тех, кто падет в завтрашней битве. Якобы его таинственной властью цирики увидели шатер, «наполненный ласкающим глаза светом», здесь на шелковых подушках восседали монголы, павшие под стенами Кобдоской крепости; на столах перед ними стояли блюда с дымящимся мясом, вино, чай, печенье, сушеный сыр, изюм и орехи; герои «курили золоченые трубки и беседовали друг с другом».

3

Едва Бурдуков и его спутник отъехали от Улясутая, Унгерн, не довольный скоростью движения, принялся хлестать нагайкой проводника, требуя, чтобы тот гнал вскачь. Перепуганный улачи припустил коней, и

всадники «лихо понеслись по Улясутайской долине». Пятнадцать станций-уртенов до Кобдо миновали за трое суток. Почти на каждой станции Унгерн «дрался с улачами»; Бурдукову было стыдно перед монголами, что в России «такие невоспитанные офицеры», и он недобрым словом поминал консула, подсунувшего ему в попутчики этого сумасшедшего, сказать которому что-либо поперек было «просто опасно».

Бурдуков, крестьянский сын, мальчиком попал в Монголию, прожил здесь всю сознательную жизнь и относился к монголам как равный, без сантиментов, но с уважением. Он никак не мог руководствоваться известной рекомендацией Пржевальского, считавшего, что европейцу в Центральной Азии «необходимы три проводника — деньги, винтовка и нагайка». Категоричность своего совета Пржевальский оправдывал нравами местного населения, «воспитанного в диком рабстве» и признающего «лишь грубую осязательную силу». Впоследствии Унгерн сохранит составляющие этой идеологии, но сделает упор не на рабстве, а на преклонении перед силой, и поставит это в заслугу монголам — в противовес европейцам, которые вместе с уважением к сильному потеряли одухотворяющее начало жизни.

Барон оказался неумолимым наездником, но человеком до крайности молчаливым. Бурдуков пытался разузнать у него, с какой целью он прибыл в Монголию, в ответ Унгерн кратко прокомментировал содержание своего командировочного удостоверения, сообщив, что ему «нужны подвиги», что «восемнадцать поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел». На ночлегах, готовясь к службе у Джа-ламы, он записывал выученные задень монгольские слова и учился их произносить.

«Особенно запомнилась мне, — пишет Бурдуков, — ночная поездка от Джаргаланта до озера Хара-Ус-Нур.

По настоянию Унгерна мы выехали ночью. Сумасшедший барон в потемках пытался скакать карьером. Когда мы были в долине недалеко от озера, стало очень темно, и мы вскоре потеряли тропу. К тому же дорога проходила по болоту вблизи прибрежных камышей. Улачи остановился и отказался ехать дальше. Сколько ни бил его Унгерн, тот, укрыв голову, лежал без движения. Тогда Унгерн, спешившись, пошел вперед, скомандовав нам ехать за ним. С удивительной ловкостью отыскивая в кочках наиболее удобные места, он вел нас, кажется, около часу, часто попадая в воду выше колена, и в конце концов вывел из болота. Но тропку найти не удалось. Унгерн долго стоял и жадно втягивал в себя воздух, желая по запаху дыма определить близость жилья. Наконец сказал, что станция близко. Мы поехали за ним, и действительно, через некоторое время слышался вдали лай собак. Эта необыкновенная настойчивость, жестокость, инстинктивное чутье меня поразили».

В сентябре 1921 года, в Иркутске, между пленным Унгерном и членом Реввоенсовета 5-й армии Мулиным состоялся следующий диалог: «Где ваш адъютант?» (Вопрос Мулина.) — «Дня за два (до начала мятежа в Азиатской дивизии. — Л. Ю.) сбежал. Он оренбургский казак». — «Это Бурдуков?» — «Нет, Бурдуков скот пасет».

Мулин совершил классическую ошибку, в годы Гражданской войны стоившую жизни многим несчастным по обе стороны фронта — он перепутал скотопромышленника Бурдукова с унгерновским порученцем и экзекутором Бурдуковским. Однако показателен ответ барона. Он не только помнил давнего спутника по трехдневной поездке из Улсута в Кобдо, но и знал, что тот жив, до сих пор живет в

Монголии. Очевидно, история их знакомства не исчерпывалась этим мимолетным эпизодом.

Бурдуков уверяет, что по прибытии в Кобдо он видел Унгерна лишь однажды — на следующий день, когда оба они явились в местное русское консульство. На этот раз Унгерн выглядел иначе, был гладко выбрит и в чистом обмундировании, которое одолжил у старого приятеля, казачьего офицера Резухина, служившего в расквартированном здесь полку^[26]. Это была их последняя в жизни встреча.

Свои воспоминания Бурдуков писал в конце 1920-х годов, в Ленинграде, надеялся на публикацию и по понятным причинам предпочел умолчать о дальнейших контактах с «кровавым» бароном, если даже они имели место. Он кратко сообщает, что и консул, и начальник русского гарнизона без энтузиазма отнеслись к идее Унгерна поступить на службу к Джа-ламе^[27]. Всякое волонтерство было ему запрещено, после чего барон вынужден был вернуться в Россию. Создается впечатление, будто он тотчас же и уехал; между тем Унгерн прожил в Кобдо более полугода. Бурдуков, постоянно туда наезжавший, мог с ним встречаться, а то и свозить его в недалекий Гурбо-Ценхар, ставку Джа-ламы. Этот человек, о котором тогда говорила вся Монголия, являл собой тип азиатского лидера, напрямую связанного с потусторонними силами. Унгерн позднее мыслил себя таким же вождем.

ЮАНЬ ШИКАЙ И КАРЛ XII

1

В начале 1930-х годов Арвид Унгерн-Штернберг начал собирать материалы для задуманной, но так и не написанной биографии своего знаменитого кузена. Когда он обратился к общим родственникам с просьбой прислать воспоминания о нем, последовало предостережение одного из них: «Если писать биографию Романа, опираясь только на достоверные факты, она будет бесцветной и скучной. При более художественном описании появляется опасность пополнить и без того большое количество рассказываемых о нем историй».

Однако даже авторы, не претендовавшие на «художественность», вставляли перед загадкой внезапного превращения заурядного белого генерала в монгольского хана и Бога Войны. Истоки этой метаморфозы искали в его первой поездке в Монголию, расцвечивая ее совершенно фантастическими подробностями. Врангель писал, что в боях с китайцами он проявил чудеса храбрости, получил в награду княжеский титул и был назначен командующим всей монгольской кавалерией; другие утверждали, будто барон с шайкой головорезов грабил караваны в Гоби; третьи отсылали его к хунхузам. На самом деле, поскольку служить у Джа-ламы ему запретили, он поступил сверхштатным офицером в Верхнеиудинский казачий полк, частично расквартированный в Кобдо, и жил здесь без особых приключений, надеясь, видимо, что затухающая война вспыхнет вновь, но этого не случилось. Вскоре было подписано русско-китайское

соглашение об автономии Внешней Монголии, и весной 1914 года, получив из Благовещенска документы о своей отставке, Унгерн уехал в родной Ревель.

Как сообщает его кузен Арвид, уже тогда он «приобрел обширные познания о стране и населяющих ее людях». По словам Князева, Унгерн «услыхал голос подлинной, мистически привлекавшей его Монголии» и «до краев наполнился настроениями», которые вызывают «ль причудливые храмы» и «зеленые ковры необъятных падей, и люди ее, как бы ожидающие могучего толчка, чтобы пробудиться от векового сна». Если отбросить красоты стиля в прозрачный намек на то, что в итоге монголы дождались-таки человека, давшего им этот «могучий толчок», все примерно так и обстояло. Унгерн не раз говорил, что еще во время первой поездки в Халху «вера и обычаи монголов ему очень понравились».

В Кобдо он стал изучать монгольский язык, на котором впоследствии изъяснялся достаточно сносно. Писали, будто ему удалось завязать «большие знакомства с князьями, гэгэнами и влиятельными ламами», но это вряд ли. Еще сомнительнее известие, что тогда же, «не будучи ревностным сыном лютеранской церкви», он втайне «принял ламаизм». Увлечение буддизмом — всего лишь вариант обычного для людей его типа дилетантского интереса к «мудрости Востока».

Этот интерес разделял знаменитый впоследствии философ, граф Герман фон Кайзерлинг — земляк в дальний родственник Унгерна, по матери происходивший из рода Унгерн-Икскюлей. Он был пятью годами старше, но они могли познакомиться еще в детстве или в ранней юности. Во всяком случае, Кайзерлинг не раз упоминал об Унгерне в своих книгах. Оба принадлежали к тесному кругу эстляндской аристократии, не случайно, видимо, позднее младший

брат Унгерна, Константин, женился на дочери Кайзерлинга. В 1911-1912 годах тот совершил кругосветное путешествие, побывал в Японии, в Китае и в Индии, а по возвращении в Эстляндию написал прославивший его имя двухтомный «Путевой дневник философа». По впечатлению, которое эта книга произвела на современников, ее можно сравнить разве что с «Закатом Европы» Шпенглера. Из-за начавшейся вскоре войны она увидела свет лишь в 1919 году, но была закончена пятью годами раньше; Унгерн, вернувшись из Кобдо, мог читать ее в рукописи. «Я был настолько одержим Востоком, что долго не мог представить себя западным человеком», — тогда же заметил Кайзерлинг. В этом Унгерн был его духовным двойником^[28].

В отличие от Кайзерлинга он не пытался перенести на бумагу свои монгольские впечатления, но ему, должно быть, приятно было чувствовать себя странником, прикоснувшись к совсем иному миру. Восток был в моде, интерес слушателей подогревал воображение. Недаром в родственном кругу бытовало мнение, что Роман обладает богатой фантазией и сам верит в собственный вымысел. Как правило, это свойство приписывают тем, кому симпатизируют, заблуждаясь относительно степени самообмана, но в любом случае оно предполагает горячность и увлеченность рассказчика. Обычно молчаливый, замкнутый, Унгерн с близкими людьми бывал другим. При их сочувственном внимании он мог возбуждать в себе волнующее сознание пережитых в Азии чудес, как герой «Дара» Владимира Набокова, путешественник по Монголии и Тибету: «Во время песчаных бурь я видел и слышал то же, что Марко Поло — «шепот духов, отзывающих в сторону», и среди странного мерцания

воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц».

Впрочем, Унгерна больше занимали азиатские чудеса иного рода. Однажды, беседа с кузеном Эрнстом о ситуации на Дальнем Востоке, он заметил: «Отношения там складываются таким образом, что при удаче и определенной ловкости можно стать императором Китая»^[29]. Имелся в виду генерал Юань Шикай, президент Китайской республики, пытавшийся основать собственную династию, но слышится тут и какая-то личная нота, иначе собеседник не запомнил бы эту фразу и не повторил бы ее два десятилетия спустя в разговоре с биографом Унгерна. Пример Юань Шикай показывал, что в разрушенных структурах власти путь к ее вершине может быть сказочно короток.

Еще в Кобдо, говорил Унгерн, он впервые задумался о возможности с помощью монголов восстановить в Китае маньчжурскую династию. В то время это были вполне умозрительные размышления, но под конец жизни план реставрации Цинов, чтобы мощью возрожденной Поднебесной империи воздействовать на революционную Россию и буржуазную Европу, станет его навязчивой идеей. Умрет он в убеждении, что «спасение мира должно произойти из Китая».

2

Барон Альфред Мирбах, муж единоутробной сестры Унгерна, писал о нем, ссылаясь на мнение жены: «Только люди, лично знавшие Романа, могут объективно оценить его. Одно можно сказать: он не как все».

Если тут легко заподозрить преувеличение, вызванное родственными чувствами, то схожее свидетельство оставил живший в Монголии русский поселенец Иван Кряжев, лицо абсолютно не

заинтересованное. Он помнил Унгерна по жизни в Кобдо в 1913 году и рассказывал, что барон вел себя «так отчужденно и с такими странностями, что офицерское общество хотело исключить его из своего состава, но не смогли найти за ним фактов, мавших честь мундира».

И далее: «Унгерн жил совершенно наособицу, ни с кем не водился, всегда пребывал в одиночестве. А вдруг ни с того ни с сего, в иную пору и ночью, соберет казаков и через весь город с гиканьем мчится с ними куда-то в степь — волков гонять, что ли. Толком не поймешь. Потом вернется, запрется у себя и сидит один, как сыч. Но, оборони Бог, не пил, всегда был трезвый. Не любил разговаривать, все больше молчал»^[30].

Рассказ Кряжева об Унгерне завершается точным и выразительным наблюдением: «В нем будто бы чего-то не хватало». Ошибки тут нет — не ему чего-то не хватало, а именно «в нем». Эта пустотность выдавала себя в глазах. Бурдуков говорит о «выцветших, застывших глазах маньяка»; другой мемуарист описывает их как «бледные», третий — как «бездушные, оловянные», четвертый вспоминает о «водянистый, голубовато-серых, с ничего не говорящим выражением, каких-то безразличных». По-видимому, у него плохо развиты были около-глазные мышцы, чья игра придает взгляду бесконечное множество оттенков. Обычно этот физический дефект связан с недоразвитием эмоциональной сферы.

«Сердце, милосердие в нем отсутствовали», — писал служивший под началом Унгерна полковник Торновский. Он же одной фразой очертил тип этого человека, едва ли сложившийся только под влиянием ницшеанства, без опоры в органике: «Сирых и убогих не терпел».

По словам современника, не однажды с Унгерном встречавшегося, тот «совершенно не заботился о производимом впечатлении, в нем не замечалось и тени какого-либо позерства». Это столько же говорит о силе характера, сколько об отсутствии потребности в чисто человеческих связях. Унгерн не корректировал свое поведение реакцией собеседника, она его не интересовала. Эмоциональная блеклость позволяла не замечать чужих чувств, считать их не заслуживающими внимания, не имеющими ценности.

Здесь же берет начало его странная для немецкого аристократа неопрятность, даже неряшливость — нестриженные усы и волосы, грязная, а то и рваная одежда, но тут не было и намека на вызов унылой мещанской аккуратности или условностям военной касты. Он неделями не менял белья и не отдавал его в стирку, а выбрасывал, когда оно превращалось в лохмотья. Комнаты, где он жил, содержались в ужасающем беспорядке и почти не имели мебели. Многие отмечали его «умеренность в питье и пище, особенно в последней». Рассказывали, будто он, как монгол, питается лишь бараниной и чаем, хотя не может обходиться без хороших папирос. Враги называли его кокаинистом и наркоманом, но прямых свидетельств об употреблении им наркотиков нет. Правда, в одном из писем упоминается курение опиума в дружеской компании, членом которой он был, однако редкий европеец в Китае обходился без такого опыта. Есть лишь один аргумент в пользу того, что эта сторона жизни была ему знакома: мечтая создать «орден военных буддистов» по типу монашеских орденов, Унгерн исключал употребление его членами алкоголя, но допускал гашиш и опиум, чтобы «дать возможность русскому человеку тешить свою буйную натуру».

Общеизвестны его неприхотливость, бессеребренничество, отсутствие интереса к женщинам,

однако этот житейский аскетизм тоже был формой мизантропии — привязанность окружающих к земным благам и уладам оправдывала отношение к ним как к существам низшего порядка. «В его небрежности в одежде для чуткого ума ясно звучали горделивые ноты сознания своего превосходства», — неуклюже, но проницательно замечает Князев. Так Наполеон на вершине могущества продолжал носить простой серый сюртук, не скрывая, а, напротив, подчеркивая обтянутое им брюшко.

Впоследствии Унгерн попытается сравнивать себя с Николаем I и Фридрихом Великим, другие найдут в нем сходство с Павлом I, хотя в роли начальника Азиатской конной дивизии и диктатора Монголии он больше всего будет напоминать шведского короля Карла XII с его неукротимой воинственностью и презрением к радостям плоти. Многие Унгерн-Штернберги в прошлом служили шведской короне, Даго и Ревель — бывшие владения Швеции. Мальчиком Унгерн наверняка прочел немало книг о великих полководцах, жизнеописание самого прославленного из шведских королей он мог знать с детства и помнил, что Карл XII был человеком высокообразованным, но отличался солдафонской грубостью манер, крайней неопрятностью, неряшливостью в одежде, невзыскательностью в пище и абсолютным равнодушием к женщинам. Тот же набор воинских и одновременно монашеских добродетелей числился и за Унгерном. Это не значит, что он сознательно подражал королю-аскету, скорее — представлял собой схожий тип личности, но какая-то память об оригинале, с которого снята копия, в нем, возможно, присутствовала.

Своих солдат и офицеров Унгерн считал «жалким подобием людей», «толпой голодных кровожадных шакалов, рыскающих в поисках добычи», а изредка

попадавшихся среди них интеллигентов презирал за мягкотелость и чрезмерную разборчивость в средствах. Неспособность подняться над предрассудками современной морали была таким же грозным обвинением, как отсутствие моральных принципов. Унгерн постоянно жаловался, что окружен не теми людьми, каких ему хотелось бы видеть возле себя, но таких, похоже, не существовало в природе. Возможно, его болезненная тяга к оккультизму была порождена еще и поисками опоры за пределами человеческого круга общения. Интимный контакт с иной реальностью мог восполнить ущербность отношений с людьми.

Нет смысла противопоставлять жестокость Унгерна его бескорыстию или идеализму, как то делали современники, старательно сортируя его достоинства и пороки, раскладывая их на разные чаши весов, чтобы установить точное соотношение в нем добра и зла. Одно тут вытекает из другого и связано с важнейшей особенностью личности параноидального склада, каковой, несомненно, являлся Унгерн — сознанием собственной исключительности как объективного факта. Человек такого типа смотрит на себя как на единственно живого в окружении фантомов, применительно к которым позволено все, поскольку они — лишь эманация неких сил и начал, а не такие же люди, как он сам ^[31].

О проблемах с психикой говорит и безумиям энергия Унгерна, какой обладают люди с навязчивыми идеями. Эта энергия, порой превосходящая, кажется, меру физических возможностей, тем более изумляла в сочетании с астеническим сложением барона. «Худой и изможденный с виду, но железного здоровья», — заметил о нем Врангель.

Его внешность все описывают почти одинаково, в то же время, в зависимости от симпатии или антипатии к

нему, по-разному акцентируют одни и те же черты. Это человек высокого роста, сухой, тонкий, держится очень прямо. У него короткое туловище и длинные ноги — «кривые», как характеризуют их недоброжелатели, или «кавалерийские», как предпочитают выражаться поклонники. Руки тоже длиннее обычного, а голова непропорционально мала по сравнению с шириной плеч. Волосы светлые, с рыжеватым оттенком, не слишком густые. Такого же цвета лохматые брови и довольно большие («свисающие») усы. Высокий выпуклый лоб, правильной формы нос. Между узкими губами, при молчании плотно сжатыми, в разговоре видны торчащие вперед верхние передние резцы. Впрочем, враг Унгерна может описать его нос как «тупой», волосы — как «редкие», усы назвать «желто-серыми», а зубы — «гнилыми, лошадиными».

Авторы беллетризованных воспоминаний, рассчитанных на широкого читателя, рисовали портрет барона в соответствии с представлениями о нем как о фигуре демонической. Колчаковский офицер Алешин при первой же встрече с Унгерном сумел заметить, что один его глаз выше другого, что их взгляд свидетельствует о «зловещем безумии» и «опасной силе читать мысли людей». Шрам на лбу, который вовсе не бросался в глаза, Алешин изображает как «ужасный, пульсирующий набитыми кровью венами».

Эмигрантский журналист, видевший Унгерна только на фотографиях, замечает, что такие лица, «дышащие свирепостью и дикой волей», были у викингов, «рубившихся на кровавых тризнах». Оссендовский, напротив, говорит о лице, «похожем на византийскую икону». Спокойный наблюдатель находит в нем родовые черты: лицо «достаточно ординарно, с сильно выраженным тевтонизмом остзейского типа, но отнюдь не прусского». Он же добавляет: «Походная жизнь и привычка повелевать, жизнь в условиях узковоенной

среды, все это наложило на него отпечаток солдатчины, хотя и не очень заметный».

ОЧИЩЕНИЕ И КАРА ОТ ПРУССИИ ДО ПЕРСИИ

1

В 1910 году один из дальних родственников Унгерна, служивший в Генеральном штабе, передал секретные документы австрийскому военному агенту Спанокки, был арестован, судим и сослан в Сибирь, но из-за этого случая никакого клейма изменников на Унгерн-Штернбергах, разумеется, не лежало. Как для большинства прибалтийских дворян, родиной для них была пусть не Россия, но Российская империя, и в 1914 году они пошли на войну точно так же, как если бы им предстояло воевать не с немцами, а с французами, англичанами или китайцами. Один из кузенов Унгерна, Фридрих, после разгрома армии Самсонова под Сольдау в отчаянии бросился на пулеметы, не желая пережить поражение и гибель товарищей. Тем не менее многие чуткие натуры остро переживали двусмысленность своего положения немцев на русской службе, да и высокий процент немецких фамилий среди высшего офицерства придавал некоторую деликатность этой темь.

В забайкальском и монгольском окружении Унгерна людей с такими фамилиями окажется немало; ему, вероятно, психологически проще было находить с ними общий язык, при этом общность происхождения если и учитывалась, то считалась фигурой умолчания. Рассказывали, будто в Урге он приказал расстрелять человека, на людях неосторожно заговорившего с ним

по-немецки. При всей недостоверности этой истории сам факт ее возникновения явно не случаен^[32].

Известие о начале войны, которой мало кто хотел, которая «у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук» (С. Цвейг), обернулось неожиданным взрывом энтузиазма. Отнюдь не казенное воодушевление охватило Париж, Петербург, Лондон, Берлин и Вену. Даже те интеллигенты, кто очень скоро увидят в этой войне только вселенский кошмар и повальное безумие, признавали, что в порыве масс было нечто величественное. Реакция оказалась чрезвычайно схожей по обе стороны готовых развернуться фронтов. В ней парадоксальным образом еще раз проявилось единство Европы перед лицом общей судьбы. Эта война, как ни одна до нее, породила надежды на грядущее обновление мира, и Унгерн, может быть, подобно Томасу Манну, призывавшему войну как «очищение и кару», надеялся, что в стальном вихре исчезнет лицемерная буржуазная культура Запада, что сила положит конец власти капитала и избирательной урны. Кроме того, ему просто хотелось воевать, неважно, с кем и за что. «Это только теперь, за последние тридцать лет выдумали, чтобы воевать за какую-то идею», — говорил он впоследствии.

Не подозревая о существовании Константина Леонтьева, «русского Ницше», Унгерн мог бы повторить его признание: «Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны». Самого Ницше он, скорее всего, читал или, по крайней мере, знал из вторых рук, как любой мало-мальски образованный человек тех лет. Особенно если учесть, что ему приписывали увлечение философией. Отголосок ницшеанства слышен и в том, как Унгерн объяснял причину своей симпатии к монголам: «У них психология

совсем другая, чем у белых; у них высоко стоит верность, война; солдат — это почетная вещь, и им нравится сражение». В то же время русским он не доверял потому, в частности, что они «из всех народов самые антимилитаристские», и «заставить их воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо».

Не исключено, что к страстному желанию воевать примешивались и соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда Унгерн окончательно оказался не у дел, и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, тридцатилетний неудачник без семьи, без профессии, с туманными планами на будущее, он должен был страдать от неудовлетворенного честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы.

19 июля, на второй день всеобщей мобилизации, Унгерн был зачислен в 34-й полк Донского казачьего войска. Эрнст Унгерн-Штернберг сообщает, что его кузен воевал в составе несчастной 2-й армии Самсонова, был ранен, но окружения и плена сумел избежать. Впрочем, все сведения о том, где у как провел он первые месяцы войны, проверке не поддаются. Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с начала декабря 1914 года, выйдя из госпиталя, он воевал в 1-м Нерчинском полку и вновь, как в Даурии, носил на мундире желтые цвета забайкальского казачества. В том же полку командиром сотни, а затем полковым адъютантом служил Григорий Семенов; тогда Унгерн с ним и подружился. Будущий атаман был пятью годами младше, но в этой паре ему всегда принадлежала роль старшего.

Нерчинский полк входил в 10-ю Уссурийскую дивизию. Весной и летом 1915 года, во время «великого отступления», она составляла конный резерв 5-й армии

Западного фронта и «моталась», как вспоминал Семенов, по «угрожаемым участкам», прикрывая отходящую на восток пехоту. Нередко казакам приходилось контратаковать в пешем строю. Однажды Унгерна ранило, когда он собственноручно перерезал колючую проволоку перед вражескими позициями, для чего нужно было находиться в первых рядах атакующих. Потеряв сознание, он повис на проволочных заграждениях и остался бы там висеть, если бы не любовь к нему казаков, рисковавших жизнью ради его спасения.

В 1916 году уссурийцев перебросили на Юго-Западный фронт, в Карпаты. В то время начальником дивизии был генерал-майор Крымов, через год покончившей с собой после неудачи корниловского выступления, а командиром Нерчинского полка — полковник Врангель, будущей преемник Деникина, главком Русской армии. В мемуарах он отзывается об Унгерне без симпатии, даже, пожалуй, с неприязнью. Для него это был «тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн-Рида». Всегда «оборванный и грязный», барон спал на полу среди казаков своей сотни и ел с ними из одного котла. На Врангеля он производил впечатление человека, который, «будучи воспитан в условиях культурного достатка», совершенно «отрешился» от норм породившей его среды. Полковой командир тщетно «пытался пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик».

Когда мало кому известный генерал семеновского производства стал хозяином Монголии, его предшествующая жизнь окрасилась в легендарные тона. Кто-то даже пустил слух, будто он командовал личным конвоем Николая II. Унгерна повышали в чинах, осыпали орденами, назначали на должности, о которых он тогда и мечтать не смел. На самом деле за два года

войны он дослужился до есаула, а выше командира сотни так и не поднялся.

Представленный к восьми наградам, включая Георгиевское оружие, Унгерн из-за пьянства и плохих отношений с начальством получил только пять: офицерского Георгия 4-й степени, ордена Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 3-й и 4-й степени и Святого Станислава 3-й степени. Ранений он имел ровно столько же, сколько наград. Дважды при этом оставался в строю, в остальных случаях возвращался в полк с еще незажившими ранами.

«В боевом отношении выше всяких похвал», — свидетельствует выданная ему аттестация. Врангель тоже признавал за ним поразительное бесстрашие при отсутствии дисциплины. Продвижение по служебной лестнице его не занимало, Унгерн долго отказывался от должности сотенного командира, потому что при таком назначении лишился бы возможности лично бывать в разведке. Он под огнем крокировал неприятельские позиции и при этом, пользуясь своим прекрасным немецким, перекрикивался с австрийскими солдатами. В той же аттестации говорится, что вся его служба — «сплошной подвиг», что он «участвовал в десятке атак, доведенных до удара холодным оружием». Однополчанин вспоминал: «На врага он бросался в классическом унгеровском стиле — сломя голову».

Не обходилось и без преувеличений. Якобы каждый офицер, приезжавший с Юго-Западного фронта, рассказывал о его подвигах. При отходе в тыл Унгерн будто бы неизменно исчезал из полка и появлялся вновь, едва полк возвращался на позиции. Он будто бы неделями пропадал в тылу противника, корректировал огонь русской артиллерии, сидя на дереве прямо над австрийскими окопами, а командир полка, слышав его голос, прятался под стол, заранее зная, что барон опять предложит какую-нибудь немыслимую авантюру. Некто

Ignota писал: «Его письма родным с фронта напоминали песни трубадура Бертрана де Борна: они дышали беззаветной удалью, опьянением опасности. Он любил войну, как другие любят карты, вино и женщин».

Однако чтобы любить не войну вообще, а именно эту войну с ле загаженными окопами, вшами и разъедающим сознанием бессмысленности происходящего, надо было обладать извращенным чувством жизни, если не ненавистью к ней. Патриотизмом, верностью родовым традициям или чтением Ницше храбрость Унгерна объяснить нельзя. Рассказывали, будто в атаку он скакал, как пьяный или «как лунатик, с застывшими глазами и качаясь в седле». Если это и гипербола, его способность наслаждаться «опьянением опасности» сомнению не подлежит. Люди такого сорта невыносимы в мирной жизни, незаменимы на войне, но опасны даже там.

«Этот тип, — замечает Врангель, — должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны и с прекращением смуты так же неизбежно должен был исчезнуть».

Унгерн был представлен к чину войскового старшины, но получить его не успел, хотя впоследствии считал свое производство состоявшимся. Его карьера завершилась внезапно. 22 октября 1916 года, находясь в краткосрочном отпуске, он с позиций поехал в прифронтовые Черновцы и ночью, пьяный, пришел в гостиницу «Черный орел» с требованием предоставить ему номер. Швейцар отвечал, что не имеет права сделать это без письменного разрешения коменданта города. Тогда Унгерн решил проучить какого-то здешнего лакея, который плохо к нему относился, когда двумя неделями раньше он жил в этой гостинице,

долечиваясь после ранения, и тут же отправился на поиски обидчика. Швейцар «увивался» рядом и «кричал, что это безобразие». Рассердившись, Унгерн «хотел ударить его шашкой в ножнах, но промахнулся и разбил стекло в дверях». Так излагал дело он сам, хотя швейцар утверждал, что первый удар пришелся ему по лицу, а стекло в дверях пострадало уже от второго.

В третьем часу ночи со словами «Кому тут морду бить?» барон явился в комендантское управление, но дежурный, прапорщик Загорский, переговорив по телефону с комендантом города, отказался выдать ему разрешение занять гостиничный номер. Взбешенный Унгерн поступил с ним так же, как со швейцаром — ударил сначала кулаком в лицо, потом шашкой в ножнах «по голове возле правого уха». На суде он говорил, что не помнит, насколько точны были его удары, но кузену Эрнсту позднее признавался: «Я выбил несколько зубов одному наглому прапорщику».

Конец истории был скорее комическим. «Наглый прапорщик»- побегал за подмогой, и когда комендантский адъютант Лиховоз прибыл на место происшествия, то обнаружил Унгерна заснувшим в кресле. Лиховоз беспрепятственно отстегнул у спящего буяна шашку, а затем арестовал его.

Замять дело не удалось, потерпевшие подали жалобу в корпусной суд. Оттуда запросили в полку аттестацию обвиняемого. Она оказалась гимном во славу его воинских доблестей и сыграла важную роль. В конце ноября был оглашен вердикт: заключение в крепости сроком на два месяца. Оговаривалось, однако, что Унгерн должен отбывать наказание при части. В сущности, ему вынесли условный приговор, за что, по словам Эрнста Унгерн-Штернберга, следовало благодарить Врангеля. Тот «употребил все свое влияние, чтобы Роман так легко отделался», но, решив избавиться от беспокойного барона, вскоре утвердил им

же, видимо, инспирированное постановление старших офицеров полка об отчислении Унгерна «в резерв чинов». В этом качестве он и попал на Персидский фронт^[33].

2

С началом войны Персия заявила о нейтралитете, но успехи немцев в Европе, а турок — на Кавказском фронте и в Месопотамии заставили Тегеран поколебаться в принятом решении. Правительство сомневалось, а в стране уже разгорался джихад, направленный против русских и англичан. С гор спустились курды, к столице подтягивались повстанцы-муджахеды под руководством немецких и турецких офицеров. Осенью 1915 года в северные провинции Персии был введен русский экспедиционный корпус генерала Баратова. Чуть позже в его состав вошла Забайкальская казачья бригада, которой командовал генерал-майор Семенов, троюродный брат будущего атамана. Пока Унгерн состоял под судом, Семенов решил перевестись в эту бригаду. Его будто бы обошли наградой за оборону какого-то ущелья в Карпатах; обидевшись на начальство в лице Врангеля и Крымова, он подал рапорт о переводе в Персию и прибыл туда в январе 1917 года. Унгерн присоединился к нему чуть позже.

Штаб экспедиционного корпуса располагался в Урмии. Значительную часть жителей города составляли ассирийцы (айсары, айсоры), считавшие себя потомками уцелевших после падения Ниневии великих завоевателей древности. Они исповедовали христианство несторианского толка и еще в VI веке бежали в Персию от гонений в православной Византии. Отсюда их проповедники добирались до Китая и Тибета,

а позже обратили внимание на Великую степь, где еще при Чингисхане обратили в несторианство часть монголов. В 1914 году эти воинственные «черногорцы! Персии», как назвал ассирийцев один русский дипломат, сразу приняли сторону России против своих исконных врагов, курдов и турок. Те ответили резней. Спасаясь от нее, айсары из Персидского Курдистана и соседних турецких вилайетов устремились в Урмийский округ, под защиту русских войск. Сюда же прибыл несторианский патриарх Маар Шимун XIX Беньямин, носивший титул «патриарха Востока и Индии».

В Урмии, как в своих мемуарах сообщает Семенов, Унгерн «взял на себя организацию добровольческой дружины из местных айсаров». В его изложении дело обстояло следующим образом: поскольку армия начинала разлагаться, они с Унгерном «решили создать добровольческие дружины из инородцев», дабы «оказать давление на русских солдат если не моральным примером несения службы в боевой линии, то действуя на психику наличием боеспособных, не поддавшихся разложению частей».

Это обычное для Семенова желание — изобразить себя прозорливым государственным мужем, каковым он являлся якобы даже в те времена, когда был простым есаулом. На самом деле два ассирийских батальона под командой русских офицеров существовали в корпусе Баратова с весны 1916 года. Они были приданы забайкальским казакам и вместе с ними участвовали в операциях против курдов задолго до того, как Семенов с Унгерном появились в Персии. Из беженцев-ассирийцев была создана еще и партизанская дружина, «страшная по тысячелетней ненависти к курдам в персам», как характеризовал ее Виктор Шкловский, в то время — помощник комиссара Временного правительства на Персидском фронте. Он встречал этих дружинников на урмийском базаре. Они шли «в штанах

из кусочков ситца, в кожаных броднях, с бомбой за широким поясом, и персиянки показывали на них детям и говорили: «Вот идет смерть».

Есть данные, что в действительности айсары ведут происхождение от арамейцев Сирии, но если даже и так, мнимые потомки хозяев Ниневии, «логовища львов», оказались достойны своих апокрифических предков. Эти нищие и гордые обитатели гор проявили себя бесстрашными воинами. Шкловский пишет, что в боях сам патриарх Мар-Шимун и его епископы «ходили в атаку в штыки и дорезывали пленных»^[34].

Как пишет Семенов, «блестяще» показавшие себя в боях «айсарские дружины» находились «под начальством беззаветно храброго войскового старшины барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга». На самом деле ассирийские батальоны состояли под командой полковника Андреевского, командиром урмийской дружины считался «патриарх Востока и Индии», а фактически ее возглавлял Ага Петрос Элия, в прошлом — американский каторжник. При нем имелась группа русских инструкторов во главе с полковником Кондратьевым; в нее, по-видимому, и входил Унгерн. Об этом эпизоде своей жизни сам он никогда не вспоминал, разве что в разговоре с Оссендовским туманно упомянул некий давний план «поднять Азию на Германию». Возможно, имелась в виду идея использовать ассирийские части на Западном фронте, но до дела так и не дошло.

О Лоуренсе Аравийском, с которым его будут сравнивать, Унгерн в то время вряд ли что-нибудь слышал, зато мог знать о Вильгельме Васмусе (Васмусе Персидском). Этот бывший германский консул в Бушире тоже принадлежал к числу тех европейцев, для кого Восток стал родиной души. Если Унгерн скоро выучит монгольский и китайский языки, будет одеваться как

монгол и женится на маньчжурской принцессе, то Васмус владел классическим фарси и наречиями южноперсидских горцев, носил их одежду, соблюдал их обычаи, а в 1915 году взял в жены дочь племенного князя Ахрама. В его интерпретации этот брак символизировал союз двух древнейших ветвей арийской расы — иранской и германской. Под эгидой тестя Васмус начал собственную войну с Британской империей. Созданная им шпионская сеть раскинулась по всему Ближнему Востоку и доставила англичанам множество неприятностей, вплоть до поражения при Кут-эль-Амаре в апреле 1916 года. Отчасти благодаря информации Васмуса турки под командой немецкого генерала фон дер Гольца окружили и вынудили капитулировать 9-тысячный британский экспедиционный корпус [\[35\]](#).

Оптимальной формой государственного устройства Унгерн считал теократическую монархию, каковой была Монголия с 1911 года, но еще в Урмии он мог заметить, что на тех же основах строилось и самоуправление ассирийской общины. Духовная и светская власть принадлежала патриарху, и его сан передавался по наследству — правда, не от отца к сыну, ибо патриархи давали обет безбрачия, а от дяде к племяннику. Родословную этой династии предание возводило к Симону, единоутробному брату Иисуса Христа, казненному в Реме при Траяне.

В годы Гражданской войны Унгерн поведет борьбу не просто с выскочками-большевиками, а с очередной реинкарнацией тех демонических сил, которые, по его словам, создали III Интернационал «три тысячи лет назад», в Вавилоне, и окончательно восторжествовали после падения двух противостоявших им великих империй — Романовых и Цинов. Подобные представления не слишком отличаются от ассирийского

и монгольского вариантов того же мифа о пребывающем в мире древнем зле и того же обостренного войной чувства близости ионических чудовищ, рвущихся на поверхность земли, но удерживаемых какой-то сакральной преградой.

Никитин, русский консул в Урмии, видел под Оранаям ассирийский каменный храм Марен-Мем — маленький, без окон и украшений. «Этот храм, — рассказывал он Шкловскому, — не был разрушен курдами. Мало того, они оставили в живых даже родню христиан, священников храма. Объяснялось это тем, что, по преданию, под этим храмом заключен Великий Змий, который вышел бы, если бы храм разрушили».

Схожая легенда существовала в Монголии, где все окончилось менее благополучно. Роль посвященного Богородице несторианского храма здесь исполнял огромный камень в степе возле Улясутая; вместо Великого Змия под ним были заточены собранные отовсюду и заклятые неким ламой злые духи. Рассказывали, будто их выпустили на волю сами же унгерновцы. Не то из любопытства, не то желая отомстить монголам, перешедшим на сторону красных, они сдвинули с места священный камень и освободили пригнетенное им мировое зло.

Весной 1917 года забайкальцы в состав дивизии Левандовского совершили поход в персидский Курдистан. Среди них было много бурят, и спустя десять лет тот же урмийский консул Никитин, в эмиграции ставший евразийцем, увидел в этом походе проявление таинственных «ритмов Евразии». Сравнение с персидским походом Александра Македонского он считал «мелодекламацией нашего лжеевропеизма», настаивая на иной аналогии: «Кампания в Персии должна вызывать в памяти не македонские фаланги, а всадников Хулагу, тогда великого монгольского хана».

Теперь русская армия двинулась в эти края по воле Великого Белого Царя, то есть Николая II, но за 600 с лишним лет мало что изменилось. Так же медленно тянется под знойным азиатским солнцем конная колонна, так же на развилке дорог направляет ее выставленный головным дозором «маяк» — «плосколицый скуластый казачина-бурят» со своей пикой и «всяким добром, притороченным к седлу». Он — вылитый воин Хулагу, «зорко глядят раскосо поставленные глаза, стоит не шелохнется большеголовый, широкогрудый, мохнатый и злой конек лго». Немногим отличается от него и русский казак на такой же низкорослой лошадке. Он лишь пошире в плечах, выше ростом, и ноги ниже свисают под лошадиным брюхом: «Так и кажется иной раз, что конек его о шести ногах».

Никитин вспоминал: «Эти освоители евразийских пространств, эти «пари», как они сами меж собой перекликаются («паря», то есть «парень». — Л. Ю.), поражали меня своей способностью быть у себя в самых глухих углах Центрального Курдистана. В этих гиблых местах наши читинцы, аргунцы, нерчинцы и др. рысили на мохнатых коньках своих, как у себя дома, ходили дозорами, разведывали, языка добывали, и все это проделывали, так сказать, в терминах своей забайкальской географии: ущелья оставались у них и здесь «падями», курдские сакли — «фанзами», курды — «манзами», просо — «чумизой», а кукуруза — «гаоляном». Все плоды земные для наших «парей» были безразлично «ягодой», будь то виноград, инжир или дыня». Никитину кажется, что эта на редкость естественная приспособляемость типична для обитателей евразийских просторов, что она есть «свойство духа, как бы сжимающего громадные пространства через их уподобление».

Доказывая, что Россия сочетает в себе черты Востока и Запада, евразийцы вспоминали киевского Святослава, половцев, монгольское иго, но серьезным аргументом в пользу этой идеи могли бы стать судьбы двоих современников — Семенова и Унгерна. Для них Чингисхан, Хубилай и Хулагу были не просто элементами геополитической концепции, а реалиями того времени и тех мест, где жили и действовали они сами.

В Монголии время имело иную плотность, чем в Европе. Нынешний ургинский хутухта был восьмым перерождением тибетского подвижника Даранаты (Таранатхи), жившего 200 с лишним лет назад; джунгарский хан Амурсана мог явиться в образе Джа-ламы с маузером на боку. Собираясь возродить северо-восточную часть империи Чингисхана, Семенов и Унгерн опирались на подмеченную Никитиным у забайкальских казаков способность сжимать «громадные пространства через их уподобление» — только тут речь шла о пространствах исторических, разделенных столетиями, а не верстами.

ЧЕЛОВЕК ИЗ КУРАНЖИ

1

Григорий Михайлович Семенов родился 13 (25) сентября 1890 года в забайкальской станице Дурулгуевской, точнее в одном из ее караулов — Куранжинском, расположенном на правом берегу Онона. Его отец, Михаил Петрович, был местный уроженец, казак с сильной примесью бурятской и монгольской крови; мать, Евдокия Марковна, в девичестве Нижегородцева, происходила из крестьянской семьи.

Основным источником богатства караульских казаков был скот. В семеновских табунах ходило до полутора сотен лошадей, овечьи гурты насчитывали три сотни голов. Пастухи-буряты на зимние пастбища угоняли стада в Монголию, и хозяева часто ездили туда их проводить. Отсюда любопытная закономерность — чем богаче казак, тем с большим уважением относился он к кочевникам по обе стороны границы, знал их язык, обычаи, имел представление о «желтой религии». Объединенные принадлежностью к казачьему сословию, буряты и русские в пограничных с Монголией районах нередко рождались между собой. В кабульских станицах люди со смешанной кровью составляли большинство. Напротив, крестьяне, особенно переселившиеся сюда после Столыпинских реформ, кочевников презирали, их образ жизни полагали разновидностью безделья и постоянно стремились распахать принадлежавшие им степные угодья. Эти отношения скажутся на расстановке сил во время Гражданской войны в Забайкалье.

В Куранже, где большинство жителей были неграмотными, Семенов-старшей считался образованным человеком. Его домашняя библиотека хранилась «в семи ящиках». Среди книг имелись сочинения по буддизму и по истории Монголии. Будущий атаман, как вся отцовская родня, с детства свободно говорил по-монгольски и по-бурятски. Мальчиком он много читал и в 14 лет уговорил отца выписать какую-то газету, став «первым в Куранже подписчиком».

По окончании двухклассного училища в Могойтуе он попробовал поступить в Читинскую гимназию и, как рассказывал один из его апологетов, «с полным успехом» выдержал экзамен, но «за отсутствием вакансий был вынужден остаться вне стен учебного заведения». Два года ему пришлось просидеть дома, одолевая с репетитором курс гимназических наук и помогая отцу управляться со стадами. В лубочно-пропагандистских биографиях атамана говорится, что в это время он увлекся археологией и палеонтологией. За звучными терминами стоит вот что: Семенов нашел в окрестностях Куранже какие-то кости («кости мамонта»), каменный топор и «посуду из морских раковин величиной с тарелку». Как раз тогда по распоряжению наказного атамана в станицах собирали всевозможные раритеты для войскового музея в Чете, куда он и отдал («пожертвовал») свои находки.

Детство Семенова всегда описывалось в агиографическом ключе («В Могойтуе он буквально поражал свою родню по матери усидчивостью и трудолюбием»). Подчеркивались его простота, чувствительность, близость к народу. Это должно было разрушить представления о нем как о беспринципном властолюбце и послушном вассале Токио. В том же стиле объяснялось, почему будущий атаман выбрал военную карьеру: «Сдача Порт-Артура страшно тяжело

отозвалась на его впечатлительной натуре, тут же он решил сделаться офицером».

В 1908 году Семенов поступил в Оренбургское казачье юнкерское училище и через три года вышел хорунжем в 1-й Верхнеудинский полк. Почти сразу он попал в Монголию, в военно-топографическую команду, производившую «маршрутные съемки», а по окончании работ был оставлен в Урге. Одна из сотен Верхнеудинского полка охраняла там русское консульство.

Осенью 1911 года в Ургу съехались князья и высшие ламы; Халха готовилась провозгласить независимость. Начались уличные волнения. Ламы выходят из монастырей, толпа бьет стекла во дворце пекинского наместника-амбана. Семенов привозит его в русское консульство, затем со своим взводом разоружает группу китайских солдат в центре города, чтобы они не провоцировали толпу, и берет под охрану Дайцинский банк. Правда, о перепуганном амбане, и китайских солдатах, и банке, которому якобы грозили «неминуемый грабеж и расправа со служащими», известно только от самого Семенова, изображавшего себя спасителем.

«Двадцати лет от роду, — напишет Семенов уже в эмиграции, преувеличивая, как всегда, масштаб собственных скромных акций, — мне пришлось впервые стать на путь политической деятельности, вмешавшись в создание истории страны великого Чингисхана». Это выразилось в том, что ему поручили перевести на монгольский язык устав казачьей строевой службы и дали помощника-монгола, через которого он, видимо, обзавелся влиятельными знакомыми. «Намсарай-гун, кандидат на пост военного министра Монголии, изучал у меня современное военное дело», — сообщается в его мемуарах. Между тем кандидат в министры брал уроки у вчерашнего юнкера исключительно по той причине,

что других учителей, способных что-то объяснить ему на родном языке, поблизости не нашлось.

Разумеется, его труды высоко оценили новые друзья, «ставшие во главе правительства» независимой Халхи. Они обратились к русским военным властям с просьбой позволить ему начать работу «по организации национальной монгольской армии на современных началах», проще говоря — поступить инструктором в военную школу. Этому помешал перевод в другой полк, хотя сам Семенов утверждает, будто консул, недовольный проявленной им инициативностью, потребовал выслать его в Россию.

Перед отъездом он загулял с монгольскими приятелями («проводы затянулись») и просрочил время, когда должен был выехать к новому месту службы. Ему грозило взыскание, но «власти национальной Монголии» не бросили в беде столь значительную персону, как двадцатилетий взводный в чине хорунжего. Правительство распорядилось немедленно по прибытии на очередной уртон (ямская станция) выдавать ему самых лучших лошадей. В итоге 350 верст от Урги до Кяхты на 12 переменных лошадях он проскакал за 26 часов вместо обычных трех дней. «Это, безусловно, рекорд для всадника, принимая во внимание гололедицу и жестокий мороз», — замечает Семенов. Его биограф еще более безапелляционен: «Мировой рекорд скорости верховой езды на морозе».

Описание этих подвигов завершается рассказом о встречах с Чойджин-ламой — главным в Халхе оракулом, родным братом Богдо-гэгэна VIII и самой закрытой фигурой в его окружении. «Я часто беседовал с ним», — уверяет Семенов, что очень маловероятно. Будто бы Чойджин-лама обладал таким могучим даром предвидения, что уже тогда, в 1911 году, предсказал России «падение царской

власти», Гражданскую войну т даже «роль в ней» самого Семенова.

В Чите он окончил бригадную фехтовально-гимнастическую школу, в начале 1914 года попал в Нерчинский полк, стоявший на станции Гродеково под Владивостоком, с здесь, погонявшись по тайге за хунхузами, пришел к мысли, что его знание Монголии может пригодиться при дипломатической карьере, но в казачьем полку абсолютно бесполезно. Семенов решил выйти в отставку и поступить во владивостокский Институт восточных языков. Война помешала осуществить этот план.

Выше среднего роста, с необъятной грудью и громадной, рано полысевшей головой, он от природы обладал большой физической силой и ловкостью, а фехтовально-гимнастическая школа отточила эти данные. В его мемуарах попадаются сообщения типа: «Я встал и, подойдя к ближайшему, начал наносить ему удары в лицо». Или: «Я нанес короткий удар в подбородок коменданту, сразу сваливший его с ног». Позднее читинские газеты подобострастно писали, будто прежде всего богатырская сила и мастерское владение холодным оружием привлекли к атаману благосклонное внимание японцев, признавших в нем самурая по телу и духу.

Его личная храбрость вне сомнений. Как, впрочем, и решительность, и способность не терять самообладание в опасных ситуациях. Вдобавок ему сопутствовала удача — за всю войну он ни разу не был ранен. В ноябре 1914 года, когда прусские уланы захватили знамя Нерчинского полка, Семенов, с группой казаков возвращаясь из разведки, наткнулся на этих улан и сумел отбить у них полковой штандарт. За это он был награжден Георгием 4-й степени. В первые месяцы войны награды сыпались густо; через три недели,

отличившись вновь, Семенов получил Георгиевское оружие, зато последующие три года его пребывания на фронте орденами не отмечены.

«Бойкий», «толковый», «неглупый», «ловкий» — вот набор эпитетов, которыми характеризовал его Врангель, отмечая умение быть популярным среди казаков, «склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели». Здесь, однако, недостает одного важного определения: талантливый. Были в нем и сердечность, и неподдельная страстность, и представление о долге. На фронте, в разоренной белорусской деревне он подобрал осиротевшего мальчика Гришу, увез его с собой в Забайкалье и вырастил как родного сына.

2

В мае 1917 года, после Персии находясь на Румынском фронте, Семенов пишет докладную записку на имя Керенского, в то время военного министра, и с однополчанином отправляет ее в Петроград. Суть записке — предложение создать из кочевников Восточной Сибири части иррегулярной кавалерии на «принципах исторической конницы времен Чингисхана». Семенов предлагал на добровольной основе сформировать в Забайкалье отдельный конный монголо-бурятский полк и привести его на фронт с целью «пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы инородцы, сражающиеся за русское дело». Если отбросить риторику, можно предположить, что прагматичный Семенов хотел переждать в тылу смутное время развала армии, а когда ситуация изменится к лучшему, прибыть на фронт во главе лично им сформированной и преданной ему

боевой единицы. Она могла стать фундаментом быстрой карьеры.

После Февральской революции, чтобы выпустить пар сепаратистских настроений и сохранить армию, Военное министерство пошло на ее «национализацию»^[36], появились национальные батальоны, полке и даже дивизии — украинские, кавказские, латышские и пр. В условиях повального дезертирства были созданы маломощные, но широко рекламируемые как образцы воинской стойкости отряды с устрашающими наименованиями и кладбищенской эмблематикой — «штурмовые бригады», «ударные батальоны», «батальоны смерти». Свой монголо-бурятский полк Семенов видел в этом ряду, и момент выбран был удачно: вскоре прешло распоряжение откомандировать автора записке в столицу.

В обвинительном заключение по его делу, которое спустя много лет было вынесено советским военным трибуналом, указывалось, будто летом 1917 года Семенов намеревался «организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять с тем, чтобы обезглавить большевистское движение». Этот пункт обвинения основан на его собственных мемуарах, но вряд ли Семенову тогда могло прийти в голову что-либо подобное. Скорее всего, он сочинил свой план задним числом, а НКВД воспользовался его слабостью неизменно изображать себя на авансцене истории.

В августе 1917 года Семенов с мандатом Временного правительства и крупной суммой денег, полуденных в Иркутском казначействе, прибывает в Читу с ее подступающим к самым окраинам роскошным сосновым бором и немощеными улицами, которые в

сезон ветров засыпали сухим навозом, чтобы спасти горожан от туч песка и пыли. Этот город, где Семенов когда-то не сумел поступить в гимназию, через год станет его столицей, но пока что он всего лишь есаул в невнятном ранге комиссара «по образованию добровольческой армии» и командира несуществующего полка. От него все норовят избавиться. Наконец после двухмесячных мытарств он с десятком казаков и несколькими офицерами добирается до пограничной китайской станции Маньчжурия.

Отсюда Семенов рассылает вербовщиков в Баргу и Внутреннюю Монголию, заручается поддержкой бурятских националистов. С огромным трудом ему удастся сколотить отряд, по месту формирования названный Особым Маньчжурским. К январю 1918 года в нем насчитывалось около пяти сотен туземных всадников и примерно полтораста русских казаков и офицеров. С этой значительной по местным масштабам силой Семенов бросает вызов Чите, где власть уже перешла к большевикам.

3

В отличие от Унгерна, особым пристрастием к спиртному Семенов не страдал, хотя выпить любил. Напиваясь, не зверел, напротив — становился покладистым. Он принадлежал к тем натурам, на кого алкоголь действует умиротворяюще, да и вообще по характеру не был жесток. По природной доброжелательности он легко соглашался с аргументами собеседника, но не потому, что считал их убедительными, а просто из нежелания спорить и портить отношения. Случалось, что под влиянием разных людей он отдавал противоречащие одно

другому распоряжения. «По натуре в высшей степени добрый и отзывчивый, но бесхарактерный и безвольный», — характеризовал его генерал Ханжин.

Представление о нем как о человеке податливом и не имеющем собственного мнения было всеобщим. Член войскового правления Гордеев, земляк и детский товарищ атамана, говорил: «Я хорошо знаю Семенова. По моему мнению, он ни над чем не задумывается. Что-нибудь скажет одно, а через десять минут — другое. Кто-нибудь из близких людей может посоветовать что-то, Семенов с ним согласится, а через некоторое время соглашается с другим. Такие свойства характера привели к тому, что он совсем измельчал». Впрочем, доверять этой характеристике не стоит, мало кто способен по достоинству оценить младшего товарища, когда тот вдруг совершает головокружительную карьеру. Подобный взлет всегда кажется незаслуженным и несправедливым.

На самом деле за мягкость часто принимали его беспринципность, за безволие — осторожность и осмотрительность. Полковнику Джону Уорду, начальнику британского экспедиционного отряда, он показался похожим на тигра, «готового прыгнуть, растерзать и разорвать», а его глаза — «скорее принадлежащими животному, чем человеку».

Один из колчаковских офицеров определил Семенова как «умного, вернее, очень хитрого человека», но отметил, что «настоящим атаманом своей казачьей вольницы он не являлся, наоборот, эта вольница диктовала ему свои условия». Наблюдение спорное: трудно понять, где кончалась его реальная зависимость от приближенных и начинался миф о ней. В этом мифе брала начало легенда, будто атаман, как истинный государь, окружен злыми советниками, скрывающими от него правду.

Считалось, что он не знает о творящихся его именем безобразиях. «Семенов-то сам хорош, семеновщина невыносима!» — пишет генерал Сахаров; в Забайкалье то же самое повторялось почти всеми на все лады. Крестьяне-старообрядцы, уходя партизанить в сопки, заявляли, что идут воевать не с Семеновым, а с семеновщиной. Точно так же мужики с молитвенным благоговением произносили имя Ленина и резали коммунистов. Тут сказались архаические модели поведения, следование традиции, в которой власть священна и борьба ведется не с ее верховным носителем, а с чем-то от него отдельным, настолько же противоположным ему по духу, насколько внешне близким. Окружение Семенова — оборотни, завладевшие рыцарским оружием атамана, чтобы на него пала пролитая ими кровь. В действительности он быстро избыл зависимость от соратников первых месяцев своего атаманства, но, возможно, поддерживал легенду о ней как парадоксальное средство укрепления личного авторитета. Этим он отделял себя от преступлений им же созданного режима.

Его биограф писал, что с 1917 года за ним, как «за головным журавлем, без всяких компасов и астроблуд указывающим верный путь в теплые страны, тянется вереница верящих и преданных ему спутников». Под «компасами и астроблудами» разумеются идеологические установки — Семенов и вправду обходился без них. «Он вообще не идеалист», — говорил о нем Унгерн, объединявший в этом слове понятия «идеализм» и «идейность». Перед англичанами и американцами атаман являлся в образе демократа, покровителя дальневосточного отделения Лиги свободы и прав человека, японцы видели в нем олицетворение русского национального духа. Для сторонников единой и неделимой России он — сепаратист, лелеявший планы передачи Монголии российских земель за Байкалом;

для позднейших русских фашистов из Харбина — масон, работавший по инструкциям французской ложи «Великий Восток» и создавший у себя в армии «жидовские части»; для следователей НКВД — фашист, еще в годы Гражданской войны носивший на погонах знак свастики^[37].

«Семенову не хватало ни образования, ни широкого кругозора», — писал Врангель, признаваясь, что не в состоянии понять, каким образом этот заурядный человек мог «выдвинуться на первый план Гражданской войны». Многие видели в нем посредственность, а его сказочную карьеру объясняли случайным сплетением обстоятельств. «В нормальное время, — заметил эмигрантский историк Балакшин, — он вышел бы в отставку в чине генерал-майора и доживал век в почете и уважении своих станичников, но судьба избрала для него другой путь». Далее перечисляются его звания и титулы: «генерал-лейтенант в 30 лет, верховный главнокомандующий в глава Белого движения»^[38], «равный среди монгольских князей» в пр. Все это непосильным грузом легло на его плечи. По словам Балакшина, Семенов наивно верил, что «простым выполнением своего долга справится с ролью, навязанной ему судьбой». Эта точка зрения в эмиграции была достаточно популярной — она отказывала атаману в способности ответить на вызов истории, но не в личном достоинстве.

Другие не были к нему столь снисходительны. Семенова называли «смесью Ивана Грозного с Расплюевым», представляли то кровавым деспотом, то ничтожеством, то претендентом на российский престол, то чуть ли не большевиком. Он предпринимал попытки перейти на службу к красной Москве, но примерно тогда же генерал Сахаров, убеждавший его начертать на знамени «всем дорогое имя» Михаила Романова, из

разговора с ним вынес твердую уверенность, что он — настоящий монархист, и лишь обстоятельства не позволяют ему открыто выкинуть лозунг борьбы за реставрацию Романовых. О нем писали как о грубом необразованном казаке и как о человеке, который владеет английским и китайским, специально изучал буддизм, издал сборник своих стихотворений «Казачья лира», переводил на монгольский язык стихи Пушкина и Лермонтова.

Развязанный при нем террор возмущал даже всякое перевидавших колчаковских офицеров, но сам он не был ни фанатиком, ни извергом. Диктатор областного масштаба, он не послал ни одного солдата за пределы Забайкалья (не считая неудачной вылазки в Иркутск в январе 1920 года), но пытался перекроить карту Азии и мечтал о создании новых государств. На выдаваемых от его имени наградных листах помещались шашка и винтовка, перекрещенные на фоне земного шара, — эмблема, весьма схожая с коммунистической символикой. Казаке считали его казаком, буряты — бурятом, монголы уповали на него как на защитника их интересов, даже евреи видели в нем заступника и покровителя.

Как ни странно, всё, что говорилось и писалось о Семенове — почти правда. Он был и тем, и другим, и третьим, равно как не был некем. Может быть, это и позволило ему продержаться у власти дольше, чем любому другому из вождей Белого движения.

ОСОБЫЙ МАНЬЧЖУРСКИЙ ОТРЯД

1

Семеновский отряд пополнялся по тому же принципу, что и Запорожская Сечь. У русских волонтеров некто никаких документов не спрашивал, задавал всего три вопроса: «В Бога веруешь? Большевиков не признаешь? Драться с ними будешь?» Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на довольствие. Поскольку платили хорошо, на станцию Маньчжурия стекался всякий сброд. Присваивали офицерские чины, щеголяли чужими наградами. Как обычно в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Китаец-парикмахер выдавал себя за побочного отпрыска японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова и фигурировал при штабе, пока не был разоблачен и выпорот.

Вопреки расхожему мнению ссыльные и каторжники шли служить не только к красным. «Хуже всего здесь контрразведка, куда собрались отбросы жандармов, охранных агентов и разнузданная молодежь самого садического типа», — писал об Особом Маньчжурском отряде (ОМО) военный министр Омского правительства Будберг. Среди представителей этой золотой молодежи с уголовным прошлым были сын министра двора Фридерикс, убивший из-за наследства родного брата; обвинявшийся в шпионаже в пользу Германии барон Тизенгаузен; известный петербургский шарлатан

Волков, он же «великий маг Али», укравший у своей любовницы, генеральши Самойловой, драгоценности на сто тысяч рублей. Все они попали в Забайкалье по судебным приговорам, а теперь оказались в отряде Семенова. Из-за таких фигур аббревиатуру ОМО расшифровывали как «Осторожно, может ограбить».

«Гражданская война в России дала много Пожарских, но очень мало Мининых», — обмолвился однажды Семенов. Сам он быстро решил свои финансовые проблемы благодаря японцам^[39]. Те сделали ставку на него, а не на Колчака, слишком тесно, по их мнению, связанного с англичанами и американцами. Зато управляющий КВЖД, генерал Хорват, к Семенову отнесся настороженно и военную власть в полосе отчуждения вручил Колчаку. Подчиниться ему атаман отказался наотрез. Адмирал называл семеновцев «хамами», «бандой», но эта «банда» быстро превращалась в серьезную силу. На японские деньги Семенов закупал снаряжение вплоть до радиостанций, обзавелся артиллерией, приступил к оборудованию бронепоездов, а Колчак сумел поставить под ружье не более семисот человек, разбросанных по всей магистрали и вооруженных лишь трехлинейками. К весне 1918 года Семенов имел впятеро больше. Правда, из трех с половиной тысяч бойцов русских насчитывалось не более трети. Личный состав отряда был преимущественно азиатский: китайцы (в том числе хунхузы), монголы всех племен, буряты, корейцы.

Первая попытка продвинуться в Забайкалье окончилась неудачей, но в начале апреля Семенов вновь перешел границу и с налету захватил сначала Даурию, затем станцию Мациевская, где едва не погиб — раненного в ногу, его извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь под видом добровольцев к нему присоединился

батальон японской императорской армии в 400 штыков. «Маленькие ростом, великие своим воинским духом, щеголеватые и веселые, японские солдаты в теплый весенний вечер выскакивали из вагонов, кокетливо иллюминированных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого было по национальному японскому и русскому флагу, они оживленно размахивали этими эмблемами русско-японской солидарности» — так бывший адъютант Семенова описывал первое появление японцев в Забайкалье. Для него это было «повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине».

Из Мациевской, взятой после упорного боя, Семенов устремляется к Чите. К концу апреля захвачена станция Оловянная, атаман с авангардом выходит к берегу Онона, но красные успевают взорвать мост. Подрывником выступает не кто-нибудь, а лично командующий Забайкальским фронтом эсер-интернационалист Сергей Лазо. Минеры, не желая рисковать жизнью под прицельным огнем казаков, стрелявших с другого берега, отказались ползти к реке, чтобы еще раз поджечь потухший от дождя запал, тогда Лазо сделал это сам, причем только третья попытка оказалась успешной.

Невозможно установить точную численность семеновских частей и противостоящих им красных отрядов. Все постоянно движется, меняется, сотни людей перебегают от Лазо к Семенову и обратно. Дезертируют тоже сотнями. Мобилизации, которые пытается проводить каждая из сторон, вызывают ненависть к ней в увеличивают не столько ее собственные силы, сколько армию противника. Реквизиции проводят те и другие, врагом становится тот, кто сделал это первым.

Разделение по имущественному признаку почти не прослеживается. Сплошь и рядом богатые крестьяне и даже казаки выступают сторонниками советской власти, а бедные поддерживают Семенова. Под прикрытием красного или трехцветного знамени сводят старые счеты из-за выгонов в пахотных землях. Появление в ОМО бурятских и монгольских всадников, привлеченных обещанием вернуть отнятые у них под пашню степные угодья, толкнуло крестьян в противоположный стан. Среди бойцов Лазо в ходу был лозунг «Грабь тварей!», то есть бурят. К тем из них, кто сражался на стороне красных, относились презрительно: «Как я встану рядом с ясашным?» Для казаков такой проблемы не существовало, их отношение к степнякам было несравненно более уважительным.

Человек мог оказаться по ту или иную сторону фронта по причинам, не имеющим ничего общего с идеологией. Парень из Читы при красных пошел служить в вокзальную охрану, потому что ревновал невесту, работавшую там кассиршей; к ней постоянно приставали мужчины, в он охранял ее бдительнее, наверное, чем вокзал от семеновских диверсантов, с приходом белых соперник настроил на него донос. Несчастный жених поплатился арестом, бежал и в конце концов попал к партизанам. В те дни люди выбирали судьбу на годы вперед, хотя еще не догадывались об этом.

Идейное противостояние пока что смутно осознается и не без труда формулируется даже верхушкой враждебных станов, а на низовом уровне принимает карикатурные формы еле корыстно используется в житейских ситуациях. На отбитой у Лазо железнодорожной станции казачий офицер заказывает местному портному-еврею новый мундир. Закончив работу, портной из страха перед заказчиком

отказывается взять у него деньги. Тот рад не платить, но не желает чувствовать себя должником и, чтобы избавиться от моральных неудобств, заявляет, что портной — большевик, раз он против денег, и приказывает его выпороть.

Большинство населения не понимало, кто, с кем и из-за чего воюет. В эмиграции один офицер с грустью вспоминал разговор, состоявшийся между ним и какой-то женщиной на улице только что захваченного белыми городка. Та никак не могла взять в толк, на чьей стороне сражаются победители. «Мы красных бьем», — объясняет офицер, но такой ответ не избавляет его собеседницу от сомнений. Если есть воители, значит, как испокон веку ведется, должны быть и те, кого они защищают. «Вот вас и защищаем», — находится наконец офицер. Тогда, растрогавшись, женщина благодарно крестит его и говорит: «Ну слава Богу! А то ведь все нынче промеж себя дерутся, про нас-то уж и позабыли».

Фронт замирает у Оловянной, затем Лазо внезапно переходит Онон. Наступление началось на Пасху, когда семеновцы отмечали праздник, а сам атаман уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается, но положение уже безнадежно. Своем последнем оплотом Семенов сделал пограничную пятивершинную сопку Тавын-Тологой, укрепив склоны окопами и рядами колючей проволоки, однако не удержал ее и был отброшен в Китай.

Лазо вступил в переговоры с представителями китайской военной администрации. Те прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а командующему преподнесли мешок дефицитного сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чай у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазо приказал адъютанту немедленно, любыми путями раздобыть

рафинад. С трудом сумели отыскать несколько кусков. Лазо гордо выставил их на стол и, как пишет его жена, «в разговоре с китайцами сделал тонкий намек на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности если он подмочен».

На этой благостной ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семеновым, но ощущение хаоса подспудно присутствует даже в них. Семеновский офицер, спустя десять лет напечатавший в харбинской газете «Наш путь» заметки об этих днях, вспоминает какие-то свои командировки, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь одно — то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и так же незаметно переходит в ночь. Над миром властвуют сумерки. Это ощущение пронизывает весь его сбивчивый рассказ, чья главная историческая ценность состоит в нарастающем при чтении чувстве тревоги от многократно и на разные лады повторяемого: «Свет солнца, притемненный дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним».

2

Из мемуаров Семенова следует, что Унгерн присоединился к нему в конце ноября или в начале декабря 1917 года. Произошло это на станции Даурия, где размещался лагерь германских и турецких военнопленных. Из них Унгерн сколотил что-то вроде военно-полицейской команды, которая быстро покончила с гарнизонной солдатской вольницей и грабежами в пристанционном поселке. С тех пор у

некоторых семеновских офицеров остались вестовые-турки, славившиеся умением варить кофе.

Неясно, когда Унгерн покинул Персию, но путь из Урмии в Даурию пролег через Ревель. Сохранившийся в бумагах Арвида Унгерн-Штернберга рукописный рассказ Альфреда Мирбаха, мужа сестры Унгерна, частично заполняет временной пробел между двумя его экзотическими должностями — инструктором ассирийских дружин и начальником пленных немцев, умиротворяющих буйства своих русских охранников.

Мирбах сообщает, что осенью 1917 года они с Унгерном и братом Унгерна по матери, Максимилианом Хойнинген-Хюне, оказались в Иркутске. Как и зачем все трое туда попали, из его воспоминаний понять нельзя, но дело проясняется, если вспомнить, что Мирбах тогда отбывал ссылку на севере Иркутской губернии, в Балаганске. Перед войной он возглавлял Охранное отделение в Лодзи и еще двух южных округах Царства Польского в сохранил тесные связи с жандармским полковником Мясоедовым, раньше служившим в Польше. В 1915 году Мясоедова обвинили в шпионаже в пользу Германии, судили и повесили, а Мирбах, тоже угодивший под суд, отделался ссылкой. Хаос в растущее влияние большевиков заставляли опасаться за жизнь бывшего жандарма, и, видимо, по просьбе сестры! Унгерн с семнадцатилетним Максимилианом отправился в Сибирь. Они вывезли Мирбаха из Балаганска в Иркутск, и туда же затем приехала его жена.

В то время уже не нужно было обладать прозорливостью Чойджин-ламы, чтобы предсказать надвигающуюся Гражданскую войну. Зная, что Семенов находится в Забайкалье, Унгерн решил ехать к нему. Мирбах собирался составить ему компанию, но в конце концов передумал. Брать с собой жену и ел юного брата было рискованно, отправлять их домой одних — опасно.

Втроем они отправились обратно в Ревель, а Унгерн — в Даурию. Скорее всего, с этой ситуацией связана и смерть его отчима, Оскара Хойнингглн-Хюне, чуть позже при невыясненных обстоятельствах убитого в Красноярске. Иначе как тревогой за судьбу сына и дочери невозможно объяснить его появление там зимой 1918 года.

В мемуарах Семенов пишет, что успех «самых фантастических» его предприятий стал возможен благодаря «тесной спайке» с бароном. Первые месяцы их эпопеи — это героический период движения. Вожди его бедны, одиноки, гонимы и красными, и старой администрацией КВЖД во главе с неблагодарным Хорватом, забывшим, что они поймали и расстреляли претендовавшего на его место харбинского большевика Аркуса. Этот период изобилует историями о чудесах, какие обязательно существуют в официальной мифологии тех режимов, чьи создатели взяли ниоткуда, из полнейшей безвестности, как Семенов. Такие истории придают им подобие легитимности. Случайность тут всегда играет важнейшую роль, ибо в ней являет себя Божественный Промысел, а смекалка и отвага, как у младшего сына в сказке, становятся главным оружием героя в борьбе с вооруженной до зубов неправдой. Здесь атаман в барон с горсткой верных сподвижников разоружают тысячи развращенных большевистской пропагандой нижних чинов, члены Маньчжурского совета пасуют перед воинским эшелоном, где якобы находятся казаки, а на самом деле никого нет. Свечи, зажженные в окнах пустых вагонов, обманывают большевиков, а китайские солдаты пугаются покрытого брезентом бревна, принимая его за пушку, в послушно выполняют предъявленные им требования.

В январе 1918 года Семенов назначил Унгерна комендантом Хайлара — крупного железнодорожного

узла и второго по численности русского населения города в зоне КВЖД. Поначалу местная публика не приняла его всерьез, но он быстро показал, на что способен: военный врач Григорьев, публично выступавшей против невесть откуда свалившегося на хайларцев барона, был расстрелян без суда. Впервые в жизни Унгерн отдал приказ убить человека, но не похоже, чтобы его терзали какие-то сомнения еле угрызания совести. Оправдываясь перед Семеновым, он ссылался на то, что «в условиях зарождающейся Гражданской войны всякая гуманность и мягкотелость должны быть отброшены». Для него это было тем проще, что в его распоряжение находилась сила, абсолютно чуждая любым интеллигентским слабостям. Семенов потому и отправил Унгерна в Хайлар, что там был развернут штаб монгольской «бригады».

Ее появление у семеновцев имело свою предысторию. В 1916 году, во время волнений во Внутренней Монголии, восстали харачины, самое воинственное из монгольских племен. Год спустя, теснимые китайцами, они совершили набег на Цеценхановский аймак Халхи; в бою с ними был ранен будущей председатель монгольской Народно-революционной партии Сухэ-Батор, в то время — пулеметчик войск Ургинского правительства. Потерпев неудачу, харачины двинулись в Баргу и в сентябре 1917 года подошли к ее столице — Хайлару. Их насчитывалось около восьмисот всадников под командой князя Фушенги. Его наследственные владения были конфискованы в пользу переселенцев из Китая, в качестве компенсации он получил чин полковника китайской армии с соответствующим жалованьем, но это не помешало ему возглавить мятеж.

Под Хайларом к нему присоединился отряд чахарткого князя Баир-гуна, в прошлом — соратника легендарного Тогтохо. Оба получили тайную помощь от

Японии. У Фушенге была рота переодетых в монгольское платье японских солдат при семье офицерах, у Баер-гуна — четыре орудия с японской обслугой. Из них повстанцы принялись бомбардировать город с окрестных сопок. Азиатская его часть загорелась и была разграблена, а русские кварталы, прилегавшее к железнодорожной станции, спасли от разгрома проезжавшие в это время с фронта уссурийские казаки.

Китайский гарнизон разбежался, но скоро начались столкновения между хараченами и чахарами, с одной стороны, и баргутами — с другой. Те и другие были монголами, но олицетворяли собой две крайние тенденции в монгольском мире: первые, согнанные китайцами со своих земель, стали скитальцами и профессиональными грабителями, вторые отчасти перешли к оседлому образу жизни. Местный князь Линшэн требовал от пришельцев покинуть пределы Барги; те отказывались, поскольку идти им было некуда. Ситуация сложилась тупиковая, и чтобы как-то ее разрешить, в декабре 1917 года в Хайларе собрались восточномонгольские князья и ламы. Эту «конференцию» организовали японцы, и они же позвали на нее Семенова. С благословения или по прямому совету состоявшего при нем капитана Куроки атаман предложил делегатам выход из тупика: харчины и чахары остаются в Барге, но поступают к нему на службу, благодаря чему получают средства к существованию и прекращают грабежи. Фушенга согласился; его всадники составили в ОМО отдельную «бригаду», для контроля над которой требовался человек с железной рукой. Унгерн полностью отвечал этому условию. Фактически он взял на себя командование монгольской «бригадой»: все важнейшие вопросы решались русскими и японскими офицерами, Фушенга царствовал, но не управлял.

В августе 1918 года, при новом наступлении Семенова в Забайкалье, харачины по распоряжению штаба Особого Маньчжурского отряда угнали из приаргунских станиц, которые поддерживали Лазо, не то восемь, не то 18 тысяч овец. Предполагалось передать их казакам, пострадавшим от большевистских реквизиций, но вскоре обнаружилось, что по ошибке или, скорее, по неистребимой привычке к разбою харачины угнали не тех овец — большинство их принадлежало казакам, служившим вовсе не у красных, а у Семенова. Часть стада вернули владельцам, но породистые овцы были уже испорчены — их гнали попеременно с баранами и оплодотворили много раньше, чем положено по скотоводческому календарю. Другую часть успели продать, остальное пошло в котел самим харачинам. Пострадавшие от реквизиций вообще ничего не получили. Естественно, разразился скандал. Член войскового правления Гордеев, на которого со всех сторон сыпались жалобы, обратился за разъяснениями в штаб и получил следующий ответ: «О, этого вопроса вы, батенька, не поднимайте. Ведь это сделал барон. Батенька, если я об этом заявлю, мой чуб затрещит. Тут есть особый пункт, которого касаться нельзя». Словом, с Унгерном лучше не связываться. Его неприкосновенность объяснялась, возможно, близкими отношениями не только с Семеновым, но и с теми, от кого зависел сам атаман — японцами.

В Хайларе он не мог не познакомиться с состоявшими при Фушенге японскими офицерами (среди них находился профессиональный разведчик капитан Нагаоми, он же Окатоё) и должен был привлечь их внимание своим неординарным для русского офицера интересом к Востоку вообще и буддизму в частности^[40]. На ситуацию в Азии он смотрел так же, как кумир японской офицерской

молодежи, военный министр Кадзусигэ Угакв, провозгласивший, что Япония будет противостоять равно европейскому и американскому «деспотическому капитализму» и «катящейся на восток волне русского большевизма». В разговорах могли обсуждаться и шансы на возвращение к власти Цинов. Наследник престола, девятилетний Пу И, жил при дворе Чжан Цзюань, генерал-инспектора Маньчжурии, но для Унгерна этот мальчик был не просто одним из инструментов политики Токио в Китае. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно направить ход истории в нужную сторону, он видел в маньчжурской династии, а точку опоры — в Монголии.

«КОРОЛЕВА БАЙКАЛА». ЧИТА И ДАУРИЯ

1

Взять Читу собственными силами Семенов так и не сумел. Ел заняли, а затем весьма неохотно передали ему наступавшие с запада, из Иркутска, чехословацкие легионеры Радолы Гайды и добровольцы подполковника Анатолия Пепеляева, впоследствии — «мужицкого генерала» и сибирского автономиста. Семенову с его соратниками нелегко было пережить известие о том, что триумфальный въезд в столицу Забайкалья не состоится. «Это их страшно ошеломило, — вспоминал генерал Шильников, — разрушило всю их программу победоносно шествовать по Сибири. Атаман больше суток был пьян до беспамятства, в никто ничего не мог добиться».

В сентябре 1918 года Семенов утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице «Селект», а Унгерн обосновался на станции Даурия, получив ее на правах феодального владения^[41]. Военный городок стал его замком, гарнизон — дружиной, местные жители — крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал, а отданный ему под охрану участок железной дороги от Даурии до пограничной Маньчжурии — торговым трактом, где смелый воин всегда сможет прокормиться. До сих пор Унгерн, будучи есаулом, носил погоны войскового старшины, но теперь Семенов, минуя чин полковника, произвел его в генерал-майоры.

Всю осень в Чите праздновали победу, продолжались бесконечные приемы и банкеты.

Непременное участие в них принимал сам Семенов со своей официальной «метрессой», известной всему Забайкалью под именем «атаманши» Маше. Для ближнего круга она была Марией Михайловной, кто-то знал ее как Глебову, а иногда в качестве фамилии фигурировало прозвище Шарабан — от эстрадного шлягера тех лет: «Ах, шарабан мой, американка...». В прежней жизни она пела по ресторанам цыганские романсы, поэтому ее называли ищи «цыганкой» Машей. Происхождение этой яркой женщины окутано туманом. Сама «королева Байкала», как без иронии величала ее субсидируемая Семеновым читинская газета «Русский Восток», культивировала романтический и одновременно народный вариант своей биографии: якобы на ней, красавице-дочери простого крестьянина с Тамбовщины, по большой любви женился тамбовский вице-губернатор, но она его не любила и в конце концов бросила, скрывшись в далекой Сибири. Однако ее еврейская внешность входила в противоречие с этой легендой, типичной для обитательниц дорогих публичных домов. До священника Филофея, оказавшегося тогда в Чите, дошло очень похожее на правду известие, что Маша — крещеная еврейка из Иркутска, настоящая ее фамилия — Розенфельд. Девчонкой она сбежала из родительского дома, была проституткой, потом благодаря красоте и богатым поклонникам стала кафешантанной певичкой. Рассказывали, что Семенов познакомился с ней в харбинском кабаре «Палермо».

Атаман славился влюбчивостью, но, как считал последний военный министр Омского правительства генерал Ханжин, не обладал «качествами мужчины, могущего нравиться женщинам»; к Маше он относился «с большим подозрением в верности», что «порождало угодливость перед ней». Семенов осыпал ее деньгами и подарками, а позднее в роли своего личного

представителя послал в Токио, где она должна была настроить в его пользу японское общественное мнение.

«Загорелая, изящная, поразительно красивая, одетая в шелка, кружева и меха, с жемчужным ожерельем на шее» — такой увидел ее отец Феллофей, пребыв вслед за ней в японскую столицу. Маша выступала здесь в качестве законной супруги атамана. Свидетельство о браке некто у нее не требовал, она поселилась в гостинице «Сейокен» с баснословно дорогими номерами, произносила патриотические речи на банкетах, принимала корреспондентов крупнейших газет, рассказывая им, что лишь благодаря ей Семенов сумел так возвыситься, а между делом покупала себе роскошные платья и драгоценности.

Автор заметки о ней во владивостокской газете «Голос Россит» отмечал, что Маша отличалась «беспринципностью и жадностью, которые развиваются в молодых женщинах, принужденных добывать телом средства к существованию», но вместе с тем признавал за ней «известную широту натуры»: «В пьяные минуты готова была отдать последнее». Ее состояние оценивали в два миллиона рублей, но еврейская кровь не помогла ей разумно распорядиться деньгами. По природной легкости характера эти миллионы были пущены на ветер.

Однако именно ей молва приписывала загадочную смерть жены начальника штаба ОМО генерала Нацвалова, тоже бывшей актрисы, жгучей брюнетки, красавицы, к тому же еще и поэтессы. В Харбине у нее был недолгий роман с Семеновым, прекратившийся после его знакомства с Машей; в Чите уязвленная Нацвалова возглавила фронду: в ее доме собирались недовольные режимом, из ее салона и, видимо, из-под ее пера выходили анонимные стихотворные памфлеты на атамана и его любовницу. В итоге Нацвалова таинственно исчезла, лишь несколько месяцев спустя

ее труп с отрезанной головой случайно был обнаружен в Сретенске, в заколоченном ящике. Преступление осталось нераскрытым, в качестве похитителей и убийц назывались близкие к Семенову офицеры. Их считали орудием в руках мстительной «атаманши», хотя точно так же можно предположить, что из желания выслужиться перед ней они лишь воплотили в жизнь ее тайные желания.

Поначалу Унгерн снисходительно относился к этой женщине и даже назвал Машкой подаренную ему атаманом прекрасную белую кобылу^[42]. Все изменилось, когда она стала вмешиваться в политику. Как доносил в Омск агент колчаковской контрразведки, Маша, чтобы привлечь симпатии офицеров, часто оплачивает их карточные долги. Полковники и генералы добивались ее расположения; Унгерн сравнивал ее с «евнухами», обладавшими такой же властью при дворе турецких султанов. Вероятно, еврейское происхождение «атаманши» не было для него секретом. Ходили слухи, что ставшую притчей во языцех «иудейскую роту» (или «сотню») Семенов создал по ее инициативе. Из-за этого позднейшие русские фашисты включали Машу в число тех, кто будто бы способствовал его обращению в «иудомасонство».

В Забайкалье с удовольствием пересказывали не то анекдот, не то реальную историю о том, как барон с солдатской прямоотой, не стесняясь в выражениях, указал старому приятелю, кем, в сущности, является его подруга. «Раз как-то, — в эпическом тоне повествует один из рассказчиков, — Семенов решил посетить орлиное гнездо своего генерала и выехал в Даурию со своей возлюбленной куртизанкой Машенькой. Барон проведал об этом и выслал навстречу курьера с ультиматумом: «С Машкой-блядью не приезжай. Приедешь, ее прикажу выпороть, а тебя

выгону». Пришлось Семенову оставить свою пессию где-то по дороге».

Эта история была тем популярнее, что многих раздражал быстро набравший силу культ атамана как выдающегося государственного деятеля и первого в России человека, осмелившегося вступить в открытую борьбу с большевиками; его имя носили Маньчжурская стрелковая дивизия, 1-й Забайкальский казачий полк, весь отряд броневых поездов вдобавок еще один бронепоезд, фехтовальный зал, инвалидный дом, благотворительная столовая и даже симфонический оркестр. Сам Унгерн был глубоко равнодушен к сугубо внешним формам власти.

2

Азиатская конная дивизия, любимое детище Унгерна, свое название получила не сразу. Сначала она именовалась Инородческим корпусом, потом — Туземным корпусом и Азиатской бригадой. В лучшие времена в ней насчитывалось до тысячи сабель при артиллерии и пулеметах, но какова была ее численность на первых порах, определить затруднительно; колчаковский агент доносил в Омск, что она «вообще не поддается учету». Два полка составили чахары Найдан-гуна и харачины Фушенги, третий набрали из забайкальских казаков, главным образом бурят. За те два года, что Унгерн провел в Даурии, все неоднократно менялось, неизменным оставалось одно: Азиатская дивизия формировалась не по мобилизации, а как наемное войско.

В основном шли служить за хорошее жалованье. Платили не омскими «воробьями» и не читинскими «голубками», как по цвету и форме изображенного на них двуглавого орла пренебрежительно называли

колчаковские и семеновские ассигнации, а «романовскими» или серебром. С лета 1920 года, перед походом в Монголию, стали выдавать жалованье золотом царской чеканки^[43]. Командир полка или батареи получал 40 рублей в месяц, командир сотни — 30, младший офицер — 25, унтер-офицер — 15. Простым всадникам при жалованье в семь с полтиной выдавали по 15 рублей на двоих, поскольку золотые империалы были только пяти- и десятирублевого достоинства. Георгиевским кавалерам набавлялось по пять рублей за каждый крест. Предусматривались щедрые компенсации за ранения разной степени тяжести и выплаты семье за смерть кормильца. Норм обмундирования не было, изношенное тут же менялось. Ежедневно все, независимо от чина, получали по пачке русских папирос и спички.

В азиатских частях управление строилось по принципу двойного командования — русские офицеры дублировали туземных начальников. Для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов была создана военная школа. Ее начальник, есаул Баев, свободно говорил по-монгольски, как и заместитель Унгерна, войсковой старшина Шадрин, бывший переводчик штаба Заамурского военного округа. Для русских офицеров организовали уроки монгольского языка. За непосещение занятий Унгерн наказывал «как за уклонение от службы», а «проверку знаний» проводил лично.

Даурия при нем — отдельный замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, паровозным депо, электростанцией, водокачкой, лазаретом, казармами и, разумеется, тюрьмой. Поселок был окружен сопками. На одну из них, где выставлялся караул, Унгерн приказал вкатить товарный вагон и устроить в нем караульное помещение. Его втащили на вершину сопки, провели

телефон для связи со штабом, поставили печь, сколотили лежанки. Этот вагон виден был с железной дороги и долго изумлял тех пассажиров, кто ничего не слышал о причудах барона.

Еще десять лет назад, когда Унгерн служил в Аргунском полку, здесь начали строить новые казармы, позже возвели здания офицерских квартир, конюшни, оружейные парки, тир и манеж. Незадолго до войны была заложена каменная церковь. К революции строительство почти закончили, но освятить церковь не успели, и Унгерн с присущим ему равнодушием к официальной религии приспособил ее под артиллерийский склад^[44].

Казармы представляли собой типовые, с элементами модной в предреволюционные годы псевдоготики, двух- и трехэтажные здания из неоштукатуренного кирпича с полутораметровой толщины стенами; в глубоких, на песчаную почву рассчитанных фундаментах размещались просторные подвалы. Четыре казармы по углам военного городка Унгерн превратил в форты: окна и двери двух нижних этажей были замурованы, а в третьем и на крыше установлены пулеметы. Имелось также по одной пушке и одному прожектору на форт. По ночам дежурные от скуки ловили прожекторным лучом вылезающих в темноте из нор сурков-тарбаганов: те смешно «загипнотизировывались, поворачиваясь мордочкой к источнику света, и замирали».

Попасть на верхний, боевой ярус можно было лишь снаружи, по приставной лестнице, которую, как в средневековых донжонах, втаскивали за собой, разрывая связь с внешним миром, однако обороняться тут было не от кого. Линия фронта проходила в Поволжье и на Урале, а партизаны, хозяйничая в тайге, старались не приближаться к железной дороге, где сила была не на их стороне. Скорее всего, назначение

даурских фортов — чисто психологическое. Эти эффектные сооружения подчеркивали готовность Азиатской дивизии дать отпор любому противнику.

Подчинялся Унгерн только лично Семенову, да и тот вынужден был облекать свои приказы в форму дружеских просьб, советов или, на худой конец, увещаний. Когда из Читы прибыла инспекционная комиссия и потребовала каких-то отчетов, Унгерн предостерег ревизоров: «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки Дикой дивизии!» В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие мимо поезда.

Главным способом получения крупных сумм стали реквизиции на железной дороге, за что снабженец Унгерна, генерал Казачихин, угодил под суд в Харбине. На следствии он оправдывался: «Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей, это при современной дороговизне чего-нибудь да стоит! Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на нее». Реквизированные товары переправляли в Китай и продавали через посредников, часто по заниженной цене. Вокруг этого промысла кормилась орда русских и китайских спекулянтов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем все опять шло по-прежнему.

Казачихин жаловался: «Мое положение какое? Не сделать — барон расстреляет, сделать — атаман может отдать приказ и расстрелять». Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин регулярно присылал в Даурию деньги и конфискованные товары — муку, сало, рис, ячмень и овес для лошадей, табак, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, то вдруг почему-то кокосовые орехи.

Само собой, бюргерскую бережливость он презирал и щедрой рукой мог отсчитать 300 рублей золотом за приглянувшийся ему цейсовский бинокль. Его интенданты расходовали прилипающие к рукам деньги куда более рационально. Тот же Казачихин между делом купил себе дом в Харбине.

Штаб дивизии располагался в одном здании с квартирой Унгерна. Рассказывали, что его домашним хозяйством заведовала какая-то «грязная, вечно пьяная стряпка», что в квартире царил страшный беспорядок, всюду было разбросано грязное белье, валялись «бутылки из-под коньяка, клочки рваной бумаги, деньги». Здесь же будто бы находилась вызывавшая жгучий интерес секретная комната, в которой складировались «отобранные у проезжающих и расстрелянных всевозможные драгоценности».

Штаб играл жалкую роль, все важные вопросы Унгерн решал лично. По словам современника, дивизионные органы управления он «низвел до уровня канцелярии казачьей сотни». Приказы отдавались преимущественно устные, а письменные носили порой весьма эксцентричный характер. Летчики авиаотряда, недолгое время состоявшего при Азиатской дивизии, однажды были предупреждены, что если к назначенному сроку не приведут в порядок свои «летательные аппараты», то будут «летать с крыш».

Когда подчиненные просили у барона официальное подтверждение полученного приказа — «бумагу», тот отвечал: «Вам нужна бумага? Хорошо, я велю послать целую десть». Свои распоряжения он писал «на обрывках»; периодически вся документация, в том числе финансовая, отправлялась в печь как «тормозящая живое дело». Позднее, в Монголии, приказано было хранить документы лишь за последние десять дней, остальное уничтожать без разбора. На нестроевых должностях в Азиатской дивизии люди

сменялись «как в калейдоскопе». «Долго сидеть, надоедает писать», — говорил Унгерн.

При этом он был прекрасным администратором, распорядительным и энергичным. Некоторые из его проектов отдают маниловщиной — например, идея организовать в Маньчжурии женское движение из представительниц азиатских народов, зато другие вполне разумны. Когда в Чите собрались печатать собственные бумажные деньги, Унгерн взамен предложил чеканить монеты из вольфрама с местных рудников, пытался выписать из Японии машины для чеканки и даже со свойственной ему страстью к эмблематике продумал, как должны выглядеть эти монеты, так никогда и не воплощенные в металле. Для паразитирующего на Транссибирской магистрали примитивного семеновского режима это была непосильная задача.

ДАУРСКИЙ ВОРОН

1

Телесные наказания в Азиатской дивизии стали нормой, даже за дисциплинарный проступок могли забить до полусмерти. В частях имелись осведомители, доносившие о настроениях, разговорах, распитии спиртного и состоявшей под столь же строгим запретом картежной игре. Понимая, что в России тотальная борьба с алкоголем обречена заранее, Унгерн сквозь пальцы смотрел на выпивавших дома, но тех, кто пьяным попадался на улице, сажали в заминированный подвал, где каждый неосторожный шаг грозил гибелью. Считалось, что это лучший способ заставить человека быстро протрезветь.

Хищения и приписки наказывались строже, но тут все решала личность виновного. Легкомысленный растратчик еще мог быть прощен, расчетливый вор — нет. Прапорщик Козырев, прокутивший десять тысяч рублей, остался жив, а сотенный каптенармус, присвоивший куда более скромную сумму, был повешен на фонарном столбе в центре поселка и в назидание всему интендантскому племени висел там несколько дней, пока не оборвалась веревка.

В фольклорных рассказах барон предстает гневным, неистощимым в разнообразных карах, но справедливым владыкой. Как Дракула или Иван Грозный, он назначает виновным такие наказания, которые вытекают из их же преступлений: интендант, при переправе подмочивший драгоценную муку, приговаривается к утоплению, а привезший недоброкачественный фураж — к поеданию гнилого сена.

Офицеров собственного производства Унгерн не считал за людей, но к простым казакам относился лучше. Те якобы платили ему чистосердечной любовью и за глаза «ласково» называли «дедушкой». За 32-летним Унгерном действительно закрепилось это прозвище, никак не подходившее ему по возрасту. Оказавшись в Даурии, капитан Шайдицкий попробовал выяснить его смысл, но внятного ответа не добился. Уклончивость его собеседников объяснялась, видимо, тем, что прозвище было не совсем ласковое. По Далю, «дедушка» — «почетное название домового», «дедок» — «колдун», а «дедер» — и вовсе «черт», «диавол», всякая «нечистая сила». Ничего удивительного, что само слово «барон» в дивизии «произносилось каким-то таинственным полупшепотом».

От Даурии до китайской границы оставалось еще 60 верст, но пограничный контроль проходил именно здесь. У пассажиров проверяли документы, заставляли предъявить имевшиеся при себе деньги и ценные вещи, часть которых изымалась, если общее их количество превышало некие негласно установленные нормы. Подозрительных обыскивали вплоть до нижнего белья. С особым пристрастием проверялись поезда, идущие в Китай. Для русских беженцев Даурия была последним, но опаснейшим, как все лежащее у самой цели, препятствием на пути к желанному покою. Во время стоянки люди старались не выходить из вагонов и облегченно вздыхали, когда состав наконец трогался.

Позднейшие попытки развеять дурную славу этого места успеха не имели. «Даурия наводила ужас только на тех, кто мыслями и сердцем не воспринимал чистоту Белой идеи», — объяснял харбинской публике Шайдицкий, невольно подтверждая то, что хотел оспорить: под такой пункт обвинения можно было подвести кого угодно. С осени 1919 года, когда в

Маньчжурию хлынул поток беженцев, унгерновцы снимали с поездов по 100–150 человек в неделю. Это были люди, будто бы уличенные в симпатии к большевикам, под которыми понимались все недовольные семеновским режимом, или обвиненные в краже казенного имущества, каковым могли объявить любой багаж. Невезучих уводили на «гауптвахту», как называлась разместившаяся в подвалах одного из «фортов» тюрьма. Там шла дальнейшая сортировка. Одних в качестве даровой рабочей силы отправляли в мастерские, других оставляли под следствием, третьих после профилактической порки гнали на все четыре стороны. Тела тех, кому окончательно не повезло, «покрыли сопки к северу от станции».

Расстрелы производили люди коменданта Даурии, драгунского подполковника Лауренца. Суда не было, но на первых порах приговоры оформлялись в письменном виде. Этой стороной дела ведал специально приглашенный в Даурию генерал Евсеев, выпускник Военно-юридической академии. Его образование считалось достаточной гарантией законности всего того, что он скреплял своей подписью, но впоследствии даже такие формальности Унгерн счел излишними.

Говоря о белых режимах типа семеновского, эмигрантский историк Балакшин заметил, что все их военные формирования «непомерно росли в контрразведывательных отделах», а «любители сильных ощущений создавали застенки». Унгерн, несомненно, принадлежал к последним. Если в Эстляндии XVIII века помещик, давший крепостному свыше 30 палок, подлежал суду, теперь все измерялось иными масштабами. При порке «бамбуками», как именовали березовые палки, граница между жизнью и смертью пролегла где-то на рубеже двухсот ударов^[45].

Выражение «китайские казни» перестало быть метафорическим. В Особом Маньчжурском отряде практиковался, например, следующий метод допроса: человека голым привязывали к столу, на живот ему выпускали живую крысу, сверху накрывали ее печным чугуном и лупили палкой по днищу до тех пор, пока обезумевшее от грохота животное не вгрызлось несчастному во внутренности^[46]. По слухам, тогда же и с теми же целями в иркутской ЧК применялась утыканная изнутри гвоздями бочка — в нее помещали арестованного, после чего катали по полу. Среди чекистов было много евреев, и эту бочку называли «мацаткой» — с намеком на миф об использовании христианской крови для приготовления мацы. Борьба красных и белых очень скоро приобрела характер религиозной войны с присущей таким войнам архаической жестокостью.

Современники насчитывали в белом Забайкалье 11 «застенков смерти». Здесь людям рубили пальцы на «мясной колоде», избивали велосипедными цепями и нагайками с зашитыми в хвостах пулями, сжигали растительность на голове и на теле, снимали скальпы, голыми бросали на тлеющие угли, протыкали ягодицы раскаленными шомполами, «приводили собак и заставляли проделывать над ними гнусные манипуляции». Эсеру-максималисту Матвею Беренбойму (Неррису), который в декабре 1918 года, на премьере оперетты «Пупсик» в читинском Мариинском театре, бросил бомбу в ложу Семенова (атаман был легко ранен в обе ноги, но погибли двое сидевших рядом офицеров), спилили верхнюю часть черепа таким образом, что какое-то время он еще оставался жив^[47].

Красный террор представлял собой системную машинерию убийств, отличаясь от белого размахом и организацией, но и для семеновских следователей, и

для ЧК задача заставить арестанта говорить не являлась первостепенной. При эвфемистических названиях типа «Юридический отдел», как в ОМО, контрразведка была органом не дознания, а устрашения и возмездия, по сути своей — иррационального. Не случайно некоторым палачам молва приписывала склонность истязать людей в деревенской бане, традиционном месте обитания темных сил.

Среди забайкальских тюрем даурская гауптвахта считалась самой страшной. Заключенных здесь кормили соленой рыбой, но почти не давали воды, издевательства тюремщиков были в порядке вещей. Самые разные люди характеризовали их одним и тем же словом: циничные. В Даурию привозили не только партизан, тоже не отличавшихся мягкостью в обращении с пленными, но и просто «подозрительных», и случайных жертв той священной войны, которую Унгерн эпизодически объявлял спекуляции, проституции или неверию в «чистоту Белой идеи». Когда Семенов заточил в монастыре каких-то изменивших мужьям офицерских жен, это был акт пропагандистский, демонстрирующий мнимую патриархальность его власти, но Унгерн вполне искренне мог ощущать себя бичом Божиим, испепеляющим скверну. Ужас порождало несоответствие между мерой наказания и степенью вины или полным ее отсутствием. Как рассказывали местные жители, позже спускавшиеся в подвалы гауптвахты, стены камер были испещрены надписями, чей общий смысл сводился к одному: «не знаем, за что нас губят».

Унгерн и гордился своей беспощадностью, и вместе с тем испытывал потребность оправдать ее, пускался в пространные объяснения, никак не спровоцированные его собеседниками. «Я не знаю пощады, — заявил он

своему земляку Александру Грайнеру, посетившему Даурию в качестве корреспондента одной американской газеты, — и пусть ваши газеты пишут обо мне все что угодно. Я плюю на это! Я твердо знаю, какие могут быть последствия при обращении к снисходительности и добродушию в отношении диких орд русских безбожников». А через два года, разъезжая с Оссендовским на автомобиле по Урге, Унгерн говорил ему: «Некоторые из моих единомышленников не любят меня за строгость и даже, может быть, жестокость, не понимая того, что мы боремся не с политической партией, а с сектой разрушителей современной культуры. Разве итальянцы не казнят членов «Черной руки»? Разве американцы не убивают электричеством анархистов-бомбометателей? Почему же мне не может быть позволено освободить мир от тех, кто убивает душу народа?»

Все это накладывалось на время «великого беззакония», когда, по словам харбинского литератора Альфреда Хейдока, «безумие бродило в головах и порождало дикие поступки, когда ожесточение носилось в воздухе и пьянило души».

В 1920 году некий доктор Репейников, прибывший в Читу с запада, на публичной лекции сообщил, что в Европейской России врачи обнаружили оригинальную, ранее не известную психическую болезнь — жажду убийств. «Это не садизм, — констатировал он, — не помешательство, не стремление новыми преступлениями заглушить укоры совести. Единственное лекарство для таких больных — либо самоубийство, либо убийство не меньше трех раз в неделю. Страдающий подобной болезнью лишен сна, теряет аппетит, все мускулы его ослаблены, и он становится не способен ни к мускульному труду, ни к полному бездействию»^[48]. Не делая никаких выводов из

этой полушарлатанской, может быть, лекции заезжего доктора, таким образом зарабатывающего себе на кусок хлеба, стоит поставить рядом цитату из того же Хейдока: «Горе тем, кто сидит на гауптвахте, потому что барону сжало сердце, и он готов на все, лишь бы отпустило. Он обязательно заедет на гауптвахту и произведет короткий и правый суд».

2

«Нынче нельзя верить и сыну родному», — говорил Унгерн полковнику Сокольницкому. А Оссендовскому жаловался: «Я никому не могу верить, нет больше честных людей! Все имена фальшивы, звания присвоены, документы подделаны». Это типично для него — мыслить себя единственным настоящим человеком среди псевдолюдей, по отношению к которым ничто не может считаться преступлением.

На мысль о психических аномалиях наводят и неистощимая энергия Унгерна, его постоянная бурная деятельность в сочетании с неизменно мрачным состоянием духа, припадки ярости при всегдашней молчаливости и замкнутости, наконец, манера речи — «перескакивающей с предмета на предмет», возбужденной, если разговор касался волнующих его тем, с многократным повторением одних и тех же слов. Однако «сумасшедшим бароном» его стали называть уже после смерти. Понадобилась временная дистанция, чтобы разглядеть в нем признаки душевной болезни, которые раньше, на фоне ирреальной действительности тех лет, не так бросались в глаза. К тому же посторонние в Даурии появлялись редко, окружавшая ее завеса таинственности начала рассеиваться лишь после того, как в Забайкалье пришли остатки сибирских армий Колчака.

Среди них был боевой генерал Иннокентий Смолин, впоследствии — страховой агент на Таити. В 1920 году он командовал 2-м корпусом Дальневосточной русской армии, а спустя много лет рассказал посетившему его в Папаэте князю Георгию Васильчикову, как однажды Унгерн предложил ему разместить своих людей в местной школе. Смолин послал адъютанта осмотреть здание; вскоре тот прибежал обратно, «его лицо было белым», он повторял: «Господин генерал! Господин генерал! Идите и посмотрите! Там на чердаке что-то ужасное!» Смолин последовал за ним вверх по лестнице, открыл дверь чердака и отпрянул: «Из темноты на нас смотрела пара зеленых глаз. Раздались вой и рычание зверя. Адъютант зажег свет, и мы разглядели, что это волчица. Вокруг ее шеи была повязана цепь, прикрепленная к одному из поддерживающих крышу столбов. У ее ног лежал наполовину съеденный труп другого волка. Все вокруг было усеяно дочиста обглоданными человеческими черепами, костями, ребрами и т. д. Вот все, что осталось от пленников барона».

Смолин мог и приврать ради красного словца. Он, например, поведал Васильчикову, будто в детстве, в Якутске, видел собственноручные письма старца Федора Кузьмича с масонскими знаками, поскольку Александр I был обращен англичанами в масонство. Не похоже, чтобы описанная Смолиным встреча с волчицей имела место в действительности, скорее, он сделал себя героем чужой истории, но подобные вещи в Забайкалье рассказывали не только про Унгерна. По свидетельству Ханжина, семеновский полковник Степанов, начальник отряда броневых поездов, у себя в «броневике», в особом вагоне, держал медведя, на растерзание которому отдавали приговоренных к смерти. При этом Степанов тоже был человек не без культурных запросов и позднее, поселившись в

Будапеште, издал там биографию атамана с трогательными пассажами о его детстве.

Даурских волков придумал не Смолин, о них слышали многие. Даже будущий глава харбинских монархистов Кислицын, близкий приятель Унгерна^[49], подтверждает, что на чердаке своего дома в Даурии тот держал волков. Его привязанность к ним Кислицын уклончиво объяснял тем, что барон был «большой оригинал», но отнюдь не все удовлетворялись этой вегетарианской трактовкой. Ссылались, в частности, на исчезнувшие потом результаты расследования, проведенного в Даурии колчаковцами: они якобы установили, что Унгерн «занимался римскими развлечениями, отдавая на растерзание волкам живых людей».

Если это правда, то с одной оговоркой: едва ли он лично развлекался таким образом. Унгерн старался не присутствовать при пытках и казнях, совершаемых по его приказу. При тонкой нервной организации и развитом воображении ему слишком легко было представить себя на месте жертвы. Физической боли он не терпел; когда его ранило в ягодицу пулей, застрявшей у копчика, и доктор предложил ее извлечь, Унгерн отказался, сказав, что упадет в обморок еще во время приготовлений к операции. Он был не садист по природе, а идеолог жестокости как последнего средства вразумить падшее человечество, тип мегаломана-идеалиста, следующего своим рассудочным принципам, но втайне сознающего, что его собственная физиология не вполне отвечает требованиям той роли, которую он взялся играть^[50].

Впрочем, и без чердака с волками-людоедами следствию хватило бы материала, чтобы отдать его под суд. В Даурии тела убитых не закапывали, а бросали в лесу; лишь перед тем, как Азиатская дивизия ушла

отсюда навсегда, специальные команды наскоро забросали землей эти останки, чтобы замести следы. Поговаривали, будто иногда на съедение хищникам оставляли и живых, предварительно связав их по рукам и ногам. «С наступлением темноты кругом на сопках только и слышен был жуткий вой волков и одичавших псов. Волки были настолько наглы, что в дни, когда не было расстрелов, а значит, и пищи для них, они забегали в черту казарм», — вспоминал Ольгерд Олич [\[51\]](#).

Он же рассказывает, что Унгерн любил в одиночестве, без спутников и конвоя, «для отдыха» вечерами ездить верхом по окрестным сопкам, где «всюду валялись черепа, скелеты и гниющие части обглоданных волками тел». У этих его поездок было подобие цели — в лесу обитал филин, чье «всегдашнее местопребывание» он хорошо знал и обязательно проезжал поблизости. Однажды вечером, не услышав привычного уханья, Унгерн решил, что его любимец заболел. Встревожившись, он прискакал в военный городок, вызвал ветеринара и велел ему немедленно отправляться в сопки, «найти филина и лечить его» [\[52\]](#).

Независимо от того, вправду был такой случай или нет, тут заметно отношение к Унгерну как к существу демоническому — ночью, в окружении воющих волков, он скачет по лесным полянам, усеянным человеческими костями, и беседует с филином, птицей колдунов и магов. Это сугубо интеллигентская мифология. После казни Унгерна харбинская публика с особым интересом читала и пересказывала подобные анекдоты о нем. Его патологическая жестокость была широко известна, но теперь многие предпочли осмыслить ее иначе. Трагический конец окончательно сделал Унгерна героем. В эмигрантской среде на севере Китая возникла традиция, в которой его психическая ущербность

трактовалась как демонизм — в мрачных и вместе с тем романтических тонах.

Харбинский поэт Арсений Несмелов положил историю с филином в основу своей «Баллады о Даурском бароне». Правда, филина, символ мудрости, он заменил вороном, птицей более откровенно связанной со смертью и роком. Дерево, где находится его дупло, превращается в сатанинский алтарь, расстрелы — в жертвоприношения. У Несмелова этот ворон становится олицетворением ночной стороны души Унгерна и в то же время символом его нечеловеческого одиночества. Узнав о его гибели, барон, «содрогаясь от гнева и боли», кричит: «Он был моим другом в кровавой неволе, / Другого найти я уже не смогу!» В финале баллады оживший ворон сидит на плече Унгерна, который, тоже восстав из мертвых, исполинским призраком на черном коне проносится в горячих песчаных вихрях над Гоби. Адской свиты, как положено в классических сюжетах такого рода, при нем нет, павшие в боях или им же казненные соратники — это всего лишь челядь, инструмент его дикой воли, не нужный ему после смерти. С ним единственный верный спутник, единственная родная душа на этом и на том свете — даурский ворон, кормившийся телами его жертв.

«ВЕЛИКАЯ МОНГОЛИЯ»

1

18 ноября 1918 года адмирал Колчак был провозглашен Верховным правителем России; в тот же день Семенов направил ему телеграмму, отказываясь признать за ним это звание и требуя в течение суток передать власть Деникину, Хорвату или атаману Дутову. Ответа не последовало, тогда он разорвал телеграфную связь Омска с Дальним Востоком и начал задерживать идущие через Читу на запад эшелоны с военными грузами. Семенов следовал указаниям японцев, считавших Колчака «человеком Вашингтона», но имел и собственный интерес. «Для него, конечно, выгоднее видеть Верховным Правителем генерала Деникина или Дутова, которые не знают всех его художеств, а читают лишь по газетам, что он борется с врагами государства», — говорил ушедший от Семенова казачий генерал Иван Шильников.

Омск квалифицировал действия атамана как акт государственной измены, в ответ Семенов сам обвинил Колчака в измене и заявил, что во всеоружии встретит его, если тот попытается применить силу. У него приблизительно 8—10 тысяч бойцов и семь бронепоездов с паровозами в голове и хвосте состава, они круглые сутки стоят под парами, чтобы тотчас двинуться на запад, если войска Верховного правителя будут наступать от Иркутска, или на восток, если придется отражать наступление со стороны Приамурья. Атамана прочат в диктаторы, в Чите все громче раздаются голоса, призывающие силой распространить его власть до Урала, а омских политиков, включая

Колчака, предать суду. На возражения, что многие в Сибири будут этим недовольны, следует отложившаяся в агентурных документах непосредственная реакция одного из семеновских соратников: «Наплевать, мы эту сволочь всю перебьем».

Столкнулись между собой не только две политические ориентации — на союзников и на Японию, не только две тенденции в Белом движении — централистская и автономистская, но и два человека, не похожие друг на друга^[53]. Одному 45 лет, он прославленный адмирал, исследователь Арктики, герой Порт-Артура, бывший командующий Черноморским флотом; то, что для него было национальной и личной трагедией, для полного сил 28-летнего полковника, недавнего есаула, стало шансом на успех.

«Легенда о железной воле Колчака, — писал Милюков, — очень скоро разрушилась, и люди, хотевшие видеть в нем диктатора, должны были разочароваться... Чрезвычайно впечатлительный, более всего склонный к углубленной кабинетной работе, Колчак влиял на людей своим моральным авторитетом, но не умел управлять ими». Еще определеннее высказался о нем Будберг: «Истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать, безвольный, бессистемный и беспамятливый, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших решений и спасительных средств, вечно обманывающийся и обманываемый, обуреваемый жадой личного труда, примера и самопожертвования, не понимающий обстановки и не способный в ней разобраться, далекий от того, что вокруг него и его именем совершается».

Весной 1919 года, в момент наивысших успехов на фронтах, редактор газеты «Русское дело» Николай Устрялов наблюдал за Колчаком во время молебна и

записал в дневнике, что на лице у него видна «печать обреченности». Колчака преследовали мысли о роке, об игре тайных сил, о гибельности избранного пути. Он много думал о смерти и при поездках на фронт не расставался с маленьким испанским револьвером, чтобы застрелиться при угрозе плена, а Семенов во время боев с Лазо возил с собой штатский костюм — на случай, если придется спасаться бегством. Он не считал себя ни игрушкой надмирных сил, как Колчак, ни их орудием, как Унгерн, и все его предприятия, даже самые авантюрные, основывались на трезвом расчете и мощном инстинкте самосохранения.

Устрялов писал, что вожди Белого движения органически чуждались власти, она была для них «долгом, бременем и крестом». Их программа: «Вот доведем до Москвы, и слава Богу!» Зато Семенов «эросом власти» обладал, во многом это и предопределило исход его конфликта с Колчаком. Адмиралу пришлось отменить свой приказ № 61, объявлявший Семенова изменником, и дать обещание сложить с себя звание Верховного правителя при первом соприкосновении его войск с войсками Деникина. Семенов телеграфировал о подчинении, но моральная победа осталась за ним. Произведенный в генерал-майоры, признанный походным атаманом всех трех казачьих войск Дальнего Востока, он сохранил независимость от кого бы то ни было, не считая, разумеется, японцев.

Узнав, что Семенов отказался подчиниться Колчаку, Унгерн отправил ему телеграмму: «Удивляюсь твоей глупости. Что ты — о двух головах, что ли? Очевидно, ты только е...шь Машку и ни о чем не думаешь».

Едва ли это апокриф, стиль барона узнаваем. Впрочем, довольно скоро он изменил свое мнение и поддержал друга, причем действовал даже более

решительно, чем атаман. Тот пытался тянуть время, хитрил, давал успокоительные обещания, которые заведомо не собирался выполнять, а Унгерн попросту арестовал колчаковских эмиссаров в Даурии и на станции Маньчжурия, не вступая с ними ни в какие переговоры. Все это вполне в его духе. Сравнивая Унгерна с Семеновым, в Забайкалье говорили: «Барон с атаманом по одной дороге не пойдут, дороги у них разные. Путь барона прямой, а у того — другой».

Унгерн не мог не знать, что год назад Колчак лечился в Японии от нервного истощения, и наверняка был солидарен с Семеновым, открыто заявлявшим, что адмирал — «совершенно больной человек»^[54]. По своим человеческим качествам Колчак мало годился на роль «железной руки». Генерал Резухин, ближайший помощник Унгерна, мог назвать офицера Сибирской армии «сентиментальной девицей из колчаковского пансиона».

В незавершенном романе Сергея Маркова «Рыжий Будда» (писался в 1920-х годах, в Ленинграде) рассказывается, что в Урге, при штабе Унгерна, Колчака именовали «герцогом». Роман в значительной степени написан по воспоминаниям Бурдукова; Марков был с ним хорошо знаком и, возможно, не придумал, а услышал от него это прозвище^[55]. В самом слове «герцог» есть нечто бутафорское, оперное, не соотносимое с Россией. Именно так, с долей иронического презрения к диктатору, не устающему напоминать, что «диктатура — учреждение республиканское», Унгерн и должен был воспринимать Верховного правителя.

При этом и он, и Семенов прекрасно понимали, что для них удобна «демократическая» диктатура адмирала. При реальном, а не формальном подчинении Омску могли рухнуть их общие планы, о которых еще

мало кто догадывался. Эти планы касались восточных дел и временно заставляли считать второстепенным все, что происходит к западу от Байкала.

2

Летом 1918 года, задолго до конфликта с Колчаком и даже до занятия Читы, Семенов поделился с другом детства Гордеевым своими сокровенными замыслами. Тот рассказывал: «Семенов мечтал в интересах России образовать между ней и Китаем особое государство. В его состав должны были войти пограничные области Монголии (Внутренней. — Л. Ю.), Барга, Халха и южная часть Забайкальской области. Такое государство, как говорил Семенов, могло бы играть роль преграды в том случае, когда бы Китай вздумал напасть на Россию ввиду ее слабости».

Китайская агрессия была маловероятна, а ссылка на «интересы России», от которой для ее же защиты предполагалось отхватить изрядный кусок территории, выглядела совсем уж неубедительно. Создание нового государства отвечало прежде всего интересам Японии; на этот счет атаман не заблуждался, хотя и старался затушевать суть дела патриотической фразой. Однако сама идея панмонголизма, то есть объединения всех монгольских племен в одном государстве, стала для него глубоко личной, отнюдь не во всем совпадающей с планами Токио и абсолютно чуждой его окружению. Для этих людей Монголия была пустым звуком, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу, а Семенов еще в декабре 1917 года обещал монголам, что, укрепившись в России, «поддержит их национальные чаяния и стремление к независимости».

Версальская мирная конференция изменила карту Европы, возникли Чехословакия, Польша, Австрия,

Венгрия, Югославия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, и тогда же Семенов опять заговорил с Гордеевым о новом государстве, обрисовав и свою в нем будущую роль: он собирался стать «главковерхом» при каком-нибудь ламе, которого сам же и «посадит» на престол или в кресло премьер-министра. Иными словами, атаман отводил себе формально второе, а фактически — первое место во властной иерархии «Великой Монголии». Не зря как раз в это время послушная ему забайкальская пресса начинает муссировать сведения о том, что его бабка по отцу происходит якобы из рода князей-чингизидов.

Идея всемонгольской государственности имела горячих сторонников и в Халхе, и во Внутренней Монголии, и особенно в Бурятии, о чем Семенов знал задолго до встречи со своими японскими советниками. Если даже семя было брошено ими, оно дало столь бурные всходы, что в Китае сочли атамана главным инициатором панмонгольского движения. Об этом же доносил в Омск русский посол в Пекине, князь Кудашев. А Джон Уорд писал: «Монгольские князья просили Семенова стать их императором, и если он выберет эту дорожку, вихрь промчится по соседним землям».

Для идеалиста Унгерна создание «Великой Монголии» должно было стать первым шагом на пути к обновлению Китая, России и Европы, но прагматик Семенов рассматривал ее не как эпицентр грядущих вселенских потрясений, а как запасной вариант собственной судьбы. Там он мог бы обрести пожизненную, а при удачном стечении обстоятельств — и наследственную власть восточного владыки. Эта мысль то укреплялась в нем, то слабела. Ее подъемы и спады зависели от хода Гражданской войны в Сибири. Семенов отлично сознавал, что кто бы ни победил, Колчак или красные, в Чите ему не усидеть, и едва чаши весов начинали склоняться на ту или иную сторону,

вновь обращался к спасительному монгольскому варианту. Не случайно первый разговор с Гордеевым о создании «особого государства» он завел после поражения, нанесенного ему Лазо. Кажется, в минуты усталости и отчаяния он мысленно обращается к Монголии как к месту, где даже власть может быть сопряжена с удовольствием и покоем, чего нет и не будет в России при любом исходе войны.

В разгар конфликта с Колчаком он отправил секретную миссию в Лхасу — с задачей прозондировать отношение Далай-ламы XIII к проекту нового государства. Одновременно под его покровительством и вопреки протестам ряда офицеров и генералов, полагавших, что атаман «играет с огнем степного сепаратизма», в Троицкосавске открылся Бурятский съезд. Тон на нем задавали панмонголисты Ринчино и Даши Сampilун.

В качестве гостя из Халхи присутствовал князь Бабу-гун. Целью его поездки было давнее стремление ургинского ламства получить «изваяние Цзян-Дон-Чжоу» — бронзовую статую Будды Шакьямуни, по преданию, чудесным образом отлитую с самого Гаутамы^[56]; при подавлении «боксерского» восстания в 1900 году казаки-буряты вывезли ее из Пекина в Забайкалье. Съезд согласился передать святыню одному из монгольских монастырей — при условии, что селегинским бурятам, страдавшим от нехватки пастбищ, разрешено будет переселяться в Халху. Бабу-гун привез это условие в Ургу, где сразу угодил в опалу и был подвергнут допросу. Причина состояла в том, что съезд в Троицкосавске вынес резолюцию в панмонгольском духе.

Панмонголизм зародился в среде европеизированной бурятской интеллигенции, она же

его и пропагандировала. Это была чисто светская идеология, ставившая племенное родство выше религиозного единства, и высшее ламство, включая Богдо-гэгэна, справедливо усматривало в ней угрозу своему влиянию, а в перспективе — и власти.

3

В феврале 1919 года Семенов, этот «блудный сын Московии», как именовал его Джон Уорд, прибывает из Читы в Даурию. Его сопровождает капитан Судзуки, позднее — командир Японской сотни в Азиатской дивизии. К моменту их приезда в Даурии собрались делегаты от всех населенных монголами и бурятами областей, исключая Халху. Правительство Внешней Монголии решило держаться в стороне от панмонгольского движения, более того — отнеслось к нему враждебно, и не только из опасений осложнить без того непростые отношения с Пекином.

При открытии «конференции» атамана избирают ее председателем. Заседания продолжаются несколько дней и окружены завесой секретности. Даже близкие Семенову, но далекие от этих его планов люди имели весьма смутное представление о том, что же на самом деле происходило в Даурии. Когда через два месяца Колчак направил в Читу специальную «Комиссию по расследованию действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц», выяснить удалось немного. Все знали только одно, да и то в общих чертах: на Даурской конференции шла речь о создании независимого монгольского государства. Подробности были покрыты мраком или о них предпочитали помалкивать. Зато почти каждый из опрошенных сообщил, что делегаты присвоили Семенову титул цин-вана, то есть князя 1-й степени или «светлейшего князя», а также подарили

ему белого иноходца и шкуру белой выдры-альбиноса, которая, по мнению управляющего Забайкальской областью Семена Таскина, «родится раз в сто лет». Таскин говорил: «Такие подарки делаются самым высоким лицам. Семенов из выдры носит шапку, и это очень нравится монголам»^[57]. Другие полагали, что это не выдра, а белый бобер — «ценный талисман для охраны в ратных подвигах».

Выдра и сшитая из нее шапка мало интересовали колчаковских следователей. Прежде всего их занимал вопрос о границах будущего государства, и здесь подтвердились худшие опасения Омска, позволявшие говорить о государственной измене атамана. Было установлено, что он планирует передать «Великой Монголии» часть русского Забайкалья.

В самой Чите это было известно немногим, но китайцы, пользуясь веками отработанной системой подкупа монгольских князей, раскрыли все детали. Имя Семенова появилось на первых полосах пекинских газет. О «храбром казаке-буряте», решившем возродить ядро империи Чингисхана, писали в Европе и в США. Крохи этой информации подбирали сибирские журналисты, однако в Омске о событиях знали не по газетам. Донесения стекались отовсюду — из Пекина, из Хайлара, даже из Урги, куда для сбора сведений о панмонгольском движении был командирован поручик Борис Волков. Колчаковский агент в Чите, полковник Зубковский, сумел раздобыть и переслать в Омск все секретные материалы Даурской конференции.

На ней было создано Временное правительство «Великой Монголии» во главе с влиятельным перерожденцем Нэйсэ-гэгэном. Административное устройство будущего государства определили как федерацию в составе Внешней и Внутренней Монголии, Барги и Бурятии. Дебатировалось присоединение

единоверного Тибета, но тут Семенов, опасаясь реакции англичан, проявил здравомыслие. Столицей назначили Хайлар, а поскольку он пока находился под контролем китайской администрации, резиденцией правительства временно утвердили Даурию. Семенова, чтобы узаконить его статус, назначили правительственным советником 1-го ранга.

Нэйсэ-гэгэна избрали премьер-министром, хотя в принципе «Великая Монголия» должна была стать монархией — не абсолютной, как Халха, а конституционной. Вопрос о форме законодательного органа не обсуждался. Верховную власть решили предложить ургинскому Богдо-гэгэну VIII, он же Бог-дохан, а если он откажется признать Даурское правительство, объявить ему войну, созвать ополчение и идти походом на Ургу. Кто тогда займет престол и сохранится ли он вообще, осталось неясным. С выработкой конституции Семенов не спешил, у него были дела поважнее.

Дебаты продолжились в Чите, куда перевезли самых надежных делегатов. Те одобрили предъявленные им здесь флаг и герб «Великой Монголии», а также написанные Даши Сампилуном и Ринчино «Декларацию независимости» и послание Нэйсэ-гэгэна президенту США Вильсону. Некий полковник Беньковский взялся доставить все это в Париж, на Версальскую конференцию. Ему предстояло по железной дороге ехать до Владивостока, а оттуда пароходом плыть во Францию. Получив солидную сумму денег на дорожные расходы, в Чите он сел на поезд, после чего никто о нем больше не слышал. Похоже, атрибуты монгольской государственности до Парижа так и не добрались.

Весной 1919 года колчаковские генералы ведут бои на Волге, в низовьях Камы, на Южном Урале. Чтобы опередить Деникина и первыми войти в Белокаменную,

юные омские командармы еще зимой вынудили адмирала принять гибельный, как оказалось, план прямого наступления на Москву через Пермь и Вятку. Пермь взята штурмом; 1-я Сибирская армия 26-летнего генерала Анатолия Пепеляева, три месяца назад помешавшего Семенову торжественно вступить в Читу, устремляется дальше на запад, но ее останавливают в районе Глазова. Наступление других колчаковских армий пока не выдохлось, однако штабные карты все гуще покрываются красной сыпью крестьянских восстаний. Ставка умоляет Семенова двинуть хотя бы тысячу штыков на Минусинский фронт, против партизан Кравченко. Атаман отвечает отказом. Сразу после конференций в Чите и в Даурии он на бронепоезде, в оборудованном для него блиндированном салон-вагоне отбывает во Владивосток.

Первый визит нанесен полковнику Барроу, начальнику разведки американского экспедиционного корпуса. Семенов вручает ему копии тех бумаг, которые Беньковский повез Вильсону, но Омск уже заявил протест, оба документа без рассмотрения возвращаются к атаману. Недавно ему было обещано, что Япония первой признает новое государство, но теперь там трубят отбой, Семенову ясно дают понять, что монгольской делегации нечего делать во Владивостоке, все равно в Токио ее не пустят. Консулы Англии и Франции отказываются даже обсуждать вопрос о свидании с Нэйсэ-гэгэном и его министрами. Грандиозные планы рушатся буквально в одночасье.

ПРИНЦЕССА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

1

В Даурской конференции Унгерн не участвовал из-за ссоры с Семеновым. Говорили, что между ними встала «атаманша» Маша. Будто бы Семенов крайне остро отреагировал на угрозу выпороть ее, буде она появится в Даурии, но если даже и так, это было лишь последней каплей накопившегося с обеих сторон раздражения. Царившая в Чите атмосфера возмущала Унгерна, он не без оснований считал, что там все «катится по наклонной плоскости». Коррупционность семеновского режима уже ни для кого не составляла секрета. Все знали, что полковник Левит, начальник снабжения ОМО, сбыв на сторону четыре вагона с предназначенными для жителей Читы товарами первой необходимости; что министр внутренних дел Волгин построил себе дом в Харбине, а генерал Меди, министр транспорта, ежемесячно переводит сэкономленные суммы на свой личный счет в одном из токийских банков. Эти и многие другие инциденты такого рода стали достоянием харбинских газет, но никто из виновных не был наказан, только Левит покончил с собой. Казнокрадство чиновников дополнялось воровством воинских начальников, интригами при атаманском дворе, фаворитизмом и шапкозакидательскими настроениями в сочетании с беспомощностью при решении жизненно важных вопросов.

В начале 1919 года Унгерн, передав командование дивизией своему заместителю Шадрину, уехал в Пекин. Сам он говорил, что прожил там восемь месяцев, но чем

они были заполнены, не известно, это самый темный период его жизни. Смутно очерчиваются лишь два эпизода.

Во-первых, в одном из писем Унгерна (их копии были обнаружены красными после занятия Урги) упоминается совместное с Грегори, будущим пекинским агентом барона, и неким Фу Шаном «курение опиума в вагоне». Последнее слово следует, видимо, писать с заглавной буквы, поскольку, скорее всего, имелся в виду не железнодорожный вагон, а расположенный в посольском квартале фешенебельный отель «Вагон-ли». Если Унгерн снимал в нем номер или просто имел возможность там бывать, значит, при всем его бессребреничестве и «равнодушии к материальной стороне жизни» в Пекине он не бедствовал. У людей его положения и его типа деньги на личные нужды есть всегда, хотя они, кажется, не прилагают к этому ни малейших усилий. Такие фигуры неизменно притягивают к себе тех, кто способен конвертировать их статус в валюту. Формально Унгерн оставался начальником Азиатской дивизии, на ее счетах в то время лежало шесть миллионов рублей, и пусть даже, как утверждали, он не взял из них ни копейки, в качестве хозяина этой суммы ему легко было получить кредит. Ненависть Унгерна к евреям была общеизвестной, тем не менее в Пекине могли продолжиться его деловые связи с еврейскими коммерсантами, имевшими долю в даурских экспроприациях и реквизициях как посредники между ним и китайскими фирмами. Одного из них, некоего Рабиновича, он называл своим «другом», а двое других, Мордухович и Гоберник, которым он задолжал крупную сумму, после ухода Азиатской дивизии в Монголию наложили арест на ее интендантство в Хайл аре.

Во-вторых, до Харбина докатился слух о погроме, учиненном им в российском посольстве. Оно

располагалось на респектабельной Лигейшн-стрит и представляло собой роскошную усадьбу с гравийными дорожками среди газонов, изящными скамейками, клумбами, беседками в форме пагод, тонущими в тени пальм, туй и кипарисов, теннисным кортом и находившимися в главном здании рабочими кабинетами с прохладной даже в летнюю жару кожаной мебелью. В этом оазисе комфортабельного покоя Унгерн устроил не просто скандал, а, как рассказывали, именно «погром» — вероятно, с матерной руганью, на которую он был «великий мастер», и порчей канцелярских принадлежностей. Причина осталась тайной. Можно допустить раздражение Унгерна позицией посла, князя Кудашева, активно выступавшего против Семенова, или, наоборот, недовольство сотрудников посольства поведением самого барона. Речь могла идти об инциденте вроде того, что двумя годами раньше имел место в Черновцах, в гостинице «Черный орел».

Дальше — опять пробел в несколько месяцев, вплоть до 16 августа 1919 года. В этот день Унгерн, нарушив свое же правило, гласившее, что «настоящий воин не должен иметь семьи», неожиданно для всех вступил в первый и последний брак. Венчание состоялось в Харбине, в православной церкви. Каким образом это могло произойти, непонятно. Унгерн не изменил религии предков, до смерти оставшись лютеранином, но невеста перед свадьбой была крещена по православному обряду.

Словарь прибалтийских дворянских родов, изданный в Риге перед Второй мировой войной, именуется ее Еленой Павловной. Девичья фамилия не указывается. Ни авторы словаря, ни большинство современников барона ее не знали. Сам он говорил о жене как о «китаянке», хотя новоявленная баронесса Унгерн-Штернберг была маньчжуркой, точнее — маньчжурской принцессой, дочерью «сановника династической

крови», как писала о ней харбинская пресса. Иногда ее называли «принцессой Цзи». Очевидно, имя Елена дали ей при крещении, а Павловной она стала по тому же принципу, по которому, скажем, китаец Ван Го становился Иваном Егоровичем.

Относительно того, где и при каких обстоятельствах Унгерн с ней познакомился, существовало две версии. Первая гласила, что в Пекине он сошелся с китайскими монархистами, а через них — с кем-то из членов императорской семьи. После Синьхайской революции родственники Цинов репрессиям не подвергались, но политического веса не имели и вели жизнь частных лиц. Выйти на них Унгерну могли помочь знакомые монгольские князья, издавна состоявшие в тесных, нередко и родственных, связях с маньчжурской династией, или тот же загадочный Фу Шан, с которым он курил опиум в «Вагон-ли». Впоследствии Унгерн призывал его повлиять на монархически настроенных китайских генералов и знатных монголов, чтобы те учредили в Пекине «хорошую газету, агитируя за реставрацию монархии под скипетром Цинов». Если этот человек обладал такими возможностями, не исключено, что он и выступил в роли свата.

По другой версии, барон встретился с будущей женой раньше, чем с ее родителями, и не в Пекине, а в Харбине. Она получила европейское воспитание и была девушкой эмансипированной, о чем говорит история их знакомства.

В Харбинском коммерческом училище преподавал китайский язык известный синолог Ипполит Баранов. Кроме того, он давал частные уроки на дому, Елена Павловна оказалась среди его учеников. Изучать китайский ей не требовалось, это был ее родной язык, но Баранов знал и другие дальневосточные языки, включая маньчжурский, до 1911 года считавшийся официальным языком делопроизводства. При этом

многие столичные маньчжуры им почти не пользовались даже в быту, а молодое поколение часто вовсе его не знало. Теперь Елене Павловне захотелось выучить язык предков. После революции, когда ее соплеменники из привилегированной касты превратились в изгоев, это, видимо, стало для нее вопросом национального достоинства. Занятия проходили на квартире у Баранова, здесь же бывал и Унгерн, бравший у него уроки китайского. Случайное знакомство с красивой двадцатилетней «китаянкой» перешло в более близкие отношения, причем инициатива принадлежала не ему, а ей. Они посещали кинематографы, заходили в ресторан при гостинице «Модерн». Она была страстно влюблена, и хотя Унгерн вряд ли испытывал сколько-нибудь пылкие ответные чувства, дело кончилось свадьбой^[58].

В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что родители Елены Павловны жили не то на станции Маньчжурия, не то в Харбине. Похоже, ее отец относился к тем членам бесконечно разветвленной императорской фамилии, кто после революции вернулся в родные края, откуда их предки 200 с лишним лет назад начали завоевание Китая. Есть известия, что семья невесты принадлежала к влиятельному местному клану, и генерал Чжан Кунью, губернатор пограничной провинции Хэйлуцзян и убежденный монархист, состоял с ней в родстве. Харбинские газеты уверяли, что в Чите женитьбу Унгерна рассматривают «как акт дипломатической важности в смысле китайско-семеновского сближения». Не исключено, что на этой почве состоялось его примирение с Семеновым: тогда же он вновь принял командование Азиатской дивизией.

Вся эта матримониальная затея имела еще один аспект: свергнутая маньчжурская династия оставалась

чрезвычайно популярной в Монголии, многие из тамошних мятежников выступали под лозунгом реставрации Цинов. Такой брак повышал авторитет Унгерна у монголов, и вскоре после свадьбы некая депутация, организованная, видимо, Семеновым, от имени князей Внутренней Монголии присвоила ему княжеский титул «вана». По обычаю право на него давала жена «императорской крови».

Отблеск бывшего величия Поднебесной империи ложился на юную ученицу Баранова, с которой Унгерн запросто ходил в кино или сидел в ресторане. «Женитьбой он приближался к претендентам на законный императорский трон», — писал современник. Едва ли Унгерн вынашивал такую идею, но он верил, что «спасение мира должно произойти из Китая» при условии восстановления на престоле маньчжурской династии, и этот брак открывал перед ним пока еще туманные, но заманчивые перспективы участия в грядущем обновлении Азии, России и Европы.

2

Унгерн никогда не проявлял интереса к женщинам, и при всех его симпатиях к желтой расе китайки и монголки не были исключением. Ни эстляндские родственники, ни люди, знавшие барона в Даурии и Монголии, ничего не сообщают даже о его мимолетных связях, не говоря уж о настоящих романах. Лишь генерал Шильников, рисуя перед колчаковскими следователями картины самоуправства Семенова и его фаворитов, мельком упомянул следующий факт: в 1918 году, будучи комендантом Хайдара, Унгерн не дал прибывшим из Харбина инспекторам провести ревизию в местном управлении КВЖД, потому что начальником

там был некто Спичников, а барон «жил с сестрой его жены».

Все остальные, кто затрагивал эту деликатную тему, сходились на том, что Унгерн «почти не знал женщин», что как аристократ в женском обществе он бывал любезен, с представительницами прекрасного пола держал себя по-светски, но «при внешних рыцарственных манерах» относился к ним с несомненной и глубокой неприязнью. Люди попроще выражались менее витиевато: «Барон терпеть не может баб». Говорили, будто он старался не выдавать своим офицерам разрешения на брак или увеличивал меру взыскания тем из провинившихся подчиненных, за кого ходатайствовали женщины.

Это не только черта характера или особенность физиологии. Во многом похожий на Унгерна семиреченский атаман Борис Анненков, тоже потомок старинного дворянского рода, правнук декабриста, в тридцатилетнем возрасте отличался тем же демонстративным женоненавистничеством. Оба они воплощали определенный тип вождя в Белом движении — тяготеющего к идеалам «нового Средневековья» монаха-воина, аскета и сверхчеловека. Известный своей свирепостью, Анненков не пил, не курил, ел самую грубую пищу, презирал роскошь, зато носил «бутафорский» мундир с золотым шитьем, а его всадники имели на папах надпись: «С нами Бог и Атаман». Кочевников-казахов Анненков уважал так же, как Унгерн — монголов, ценя в них воинственность и верность^[59]. Сам холостяк, он запрещал офицерским женам жить вместе с мужьями и даже квартировать ближе десяти верст от расположения отряда. Свидания супругов допускались строго по расписанию, в специально отведенные для этого дни и в указанном месте. Нарушители сурово наказывались. По словам

одного из анненковцев, атаман не любил «женатиков», даже в интимных дружеских беседах не говорил о женщинах и «смотрел на них как на печальную необходимость, не более».

Лично для Унгерна они, кажется, не являлись и необходимостью. Как уверял генерал Ханжин, в свои 33 года, вплоть до свадьбы, барон был «полным девственником». Не исключено, что таковым он остался и в браке. Все относящееся к сексуальности проходило у него по разряду «низменные инстинкты» — по словам Макеева, Унгерн «органически не переваривал эту сторону жизни человека»^[60]. Возможно, он страдал каким-то дефектом в половой сфере. Хотя с точки зрения физиологии это и некорректно, есть соблазн предположить, что планы основать «орден военных буддистов», чьи члены давали бы обет безбрачия, как-то связаны со странно высоким голосом Унгерна, удивлявшим собеседников при первой с ним встрече. Казалось, грозный барон должен иметь бас или баритон, но не «фальцет», как характеризовали тембр его голоса. «Взвизгнул» — вот глагол, который нередко употребляют мемуаристы, рассказывая о вспышках его гнева.

Не менее вероятно, что с годами у него просто пропало влечение к женскому телу, не слишком сильное и в ранней молодости. Война, кровь, упоение опасностью, постоянная близость своей и чужой смерти давали такое острое чувство полноты жизни, что по сравнению с ним сексуальные переживания были всего лишь имитацией этого чувства, дешевым эрзацем для тех, кто не способен к наслаждениям более возвышенным. Женщины причислялись к существам низшего порядка уже по одному тому, что их природой такая сублимация не предусмотрена.

В этом Унгерн напоминал не только Анненкова и Карла XII, но и Фридриха Великого, которого сам называл в числе своих кумиров. Тот тоже презирал женщин, не выносил, когда его офицеры женились, требуя от них не просто службы, но монашеского служения, а собственный брак рассматривал как предприятие сугубо политическое, не обязывающее его ни к каким отношениям с женой, кроме деловых. «Был он циничным холостяком, — пишет о нем Томас Манн, — и большую долю его злобных и отталкивающих черт, безусловно, можно объяснить его отношением к женщинам, каковое, в сущности, было отсутствием всякого отношения вообще и не укладывалось даже в представления той весьма прихотливой в этих вещах эпохи». Ходили слухи об операции, будто бы перенесенной Фридрихом в молодости и лишившей его возможности быть мужем и отцом, но такого рода гипотезы часто возникают задним числом как способ свести необъяснимое к хорошо известному. То, что в эпоху Просвещения казалось шокирующим отклонением от нормы, было нормой для многих правителей деспотического толка, всецело посвятивших себя делу войны.

Кое-кто из современников приписывал Унгерну гомосексуальные наклонности, хотя прямых свидетельств нет, речь может идти только о гомосексуальности латентной. Возможно, с ней, а не только с потребностью найти близкую душу, связан процветавший при штабе Азиатской дивизии странный фаворитизм. У барона то и дело заводились любимцы, довольно быстро сменявшие один другого. Какой-то офицер вдруг вызывал его привязанность, а потом столь же внезапно впадал в немилость. Все они обманывали его ожидания, поскольку он даже самому себе не признавался в том, чего от них ждет.

Правда, уже в Урге его будто бы очаровала некая Архангельская, гражданская жена бывшего оренбургского вице-губернатора Тизенгаузена. Само собой, отношения между ними были чисто платоническими, тем не менее Унгерн приревновал ее к своему любимцу, красавцу-есаулу Кучутову, ходившему к ней петь романсы под фортепиано, и под каким-то предлогом засадил его под арест. Хотя можно допустить, что ревность относилась к самому Кучутову, а вовсе не к Архангельской. С ее мужем барон ладил и не предпринимал никаких попыток от него избавиться.

Он, возможно, научился подавлять в себе гомосексуальные порывы, мучительно переживая разлад между собственным телом и духом, между извращенными желаниями и стремлением переустроить мир на основах патриархального панморализма. Напряжение могло разряжаться, когда по его приказу начинались гонения на проституток, или, как рассказывали, когда жен офицеров Азиатской дивизии секли за супружескую неверность, а то и за сплетни. В Монголии он под страхом смерти заставил беженца из Сибири, в прошлом — высокопоставленного чиновника, собственноручно выпороть жену, которая ему изменила. За поркой должны были наблюдать казаки, поэтому в заботе об их нравственности Унгерн распорядился: «Если есть штаны, то их не снимать».

С другой стороны, женофобия не только не противоречила его идеологии, но и получала в ней свое оправдание. Вслед за Ницше он мог бы выстроить тот же ряд презираемых им тварей: «Лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы». Неприятие буржуазной европейской цивилизации отзывалось презрением к женщине. Она могла казаться ему олицетворением продажности и лицемерия, позлащенным кумиром, который Запад в губительном ослеплении вознес на пьедестал, свергнув оттуда воина

и героя. В традиционной антиномии Восток — Запад не первый, как обычно, а последний ассоциировался у него с женским началом, породившим химеру революции как апокалиптический вариант плотского соблазна. Победитель дракона, рыцарь и подвижник, должен был явиться на противоположном конце Евразии.

3

«Что касается западных наций, — позднее, уже из Урги, писал Унгерн генералу Чжан Кунъю, — падение там общественной морали, включая молодое поколение и женщин самого нежного возраста, всегда повергало меня в ужас».

В России картина была еще безнадежнее. Гражданская война разорила тысячи семейных гнезд, сибирские города наводнены беженцами. Дороговизна и скопление воинских масс приводят к небывалому расцвету проституции. Страх перед будущим и половая распущенность идут рука об руку. Сожительство вне брака тем более никого не шокирует, сам Колчак перед лицом всей Сибири открыто живет со своей невенчанной женой Анной Тимиревой. Об этом судачат, но не слишком. Бесчисленные пары, встретившись на дорогах войны и бегства, при всем желании не могут узаконить свои отношения. Согласно печально известной в те годы 207-й статье Устава духовных консисторий, право расторгнуть брак имела лишь консистория той епархии, где он был заключен. Большинство епархий оказались под властью красной Москвы, беглецы с Урала и из центральных губерний находятся в том же положении, что Верховный правитель России — бракоразводные процессы для них невозможны. Линии фронтов проходят в буквальном смысле через сердца любящих^[61].

Новые союзы непрочны, детей никто не хочет. Противозачаточные средства ценятся на вес золота. Офицер, уезжая из Харбина в Забайкалье, везет с собой на продажу два самых дефицитных товара — рыболовные крючки и презервативы. Газетный фельетонист иронизирует: «Ницше считал, что брак есть воля двоих к созданию третьего. Современный брак — воля двоих к тому, чтобы третьего ни в коем случае не было»^[62].

Перед Унгерном эти проблемы не стояли. В плену, отвечая на вопрос о своей семейной жизни, он сказал, что был женат на «китаянке», но вскоре отослал ее от себя. Князев подтверждает: «Женившись на китайской принцессе, барон уже через месяц отправил ее обратно к родителям». Приданого она ему не принесла, напротив — денег ждали от него. За родство с Цинами следовало платить, и Унгерн через доверенное лицо оформил в одном из харбинских банков значительный вклад на имя жены.

Прежде чем окончательно перебраться в Харбин, Елена Павловна некоторое время прожила на станции Маньчжурия, в 60 километрах от мужа, но не похоже, чтобы он ее часто навещал. Сама она в Даурии не появлялась, никто из унгерновских офицеров ее не видел. Последний раз о ней вспомнили через год после свадьбы: в сентябре 1920 года, сообщала газета «Заря», прибывший в Харбин адъютант барона от его имени вручил давно покинутой Елене Павловне письменное извещение о разводе. Брак был расторгнут по китайской традиции, согласно которой мужу достаточно известить жену о своем решении.

Впрочем, развод мог быть и фиктивным, а сообщение о нем в «Заре» — намеренной дезинформацией. Иначе непонятно, зачем Унгерн незадолго перед походом в Монголию отдал свое

обручальное кольцо на хранение своему приятелю Кислицыну. Тот сам рассказал об этом, не объясняя причин. Едва ли барон из сентиментальности решил сберечь кольцо как реликвию, подобные движения души не в его стиле. Развод с маньчжурской принцессой был ему не нужен, этот брак способствовал укреплению его авторитета среди монголов.

«Я женат на маньчжурке», — уже после взятия Урги писал Унгерн князю Полтавану в настоящем, а не в прошедшем времени. Никакой обузы она для него не представляла, но он готовился к войне с китайцами, и ей не следовало оставаться его официальной женой. Скорее всего, объявление в газете имело целью вывести из-под удара не столько даже саму Елену Павловну, сколько влиятельных членов ее клана, прежде всего — генерала Чжан Кунъю. Унгерн и Семенов рассчитывали на его содействие в борьбе с китайскими республиканцами в Монголии, а он без того состоял на подозрении у Чжан Цзолина и впоследствии был убит по его приказу.

Детей от Унгерна у Елены Павловны, по всей видимости, не было. Однако в середине 1930-х годов, вскоре после выхода книжки есаула Макеева «Бог Войны — барон Унгерн», отрывки из которой перепечатывали многие эмигрантские газеты, в Париже появился «сын» главного героя. Явление Унгерна-младшего было обставлено в духе романтических легенд о бароне-мистике: юношу сопровождал загадочный латыш в костюме буддийского монаха. Он, должно быть, и привез его из Китая^[63]. Обычно такие вояжи предпринимались для сбора пожертвований у легковерной публики, но чем занималась эта колоритная пара, кого посещала и куда потом делась, неизвестно.

Спустя шесть десятилетий в Гонконге одно время фигурировал второй «сын» барона. Владивостокская газета «Утро России» (15.10.1994) сообщала, что это «пожилой человек со слегка европейскими чертами лица, говорящий по-китайски и по-русски». Он раздавал интервью, причем охотно «делился подробностями личной жизни» отца, и намекал, что знает место, где тот зарыл золотой клад.

Была еще «дочь» — якобы от первой жены-польки, с которой, по ее собственным рассказам (других свидетельств нет), Унгерн обвенчался в Петербурге, будучи еще юнкером Павловского училища. Неподалеку от Варшавы и сейчас живет его «внучка», в чью подлинность безоговорочно верит польский историк и журналист Витольд Михаловский, находящий в ней разительное сходство с дедом, но более убедительных доказательств их родства не существует.

СМЕРТЬ ФУШЕНГИ. НОВЫЕ ПЛАНЫ

1

Эстляндец Александр Грайнер посетил Даурию в 1919 году. Будучи наслышан об эксцентричности земляка, при свидании с ним он тем не менее был поражен его позой и костюмом: «Передо мной предстала странная картина. Прямо на письменном столе, подобрав под себя ноги, сидел человек с длинными рыжеватыми усами и маленькой острой бородкой, с шелковой монгольской шапочкой на голове и в национальном монгольском платье. На плечах у него были эполеты русского генерала с буквами А. С., что означало «Атаман Семенов».

О манере Унгерна сидеть с ногами на стуле или даже на столе, как это любят делать подростки, сообщают и другие мемуаристы. Сам он не обращал на это внимания, а удивление гостя, которого тот не мог скрыть, приписал своему наряду, сказав со смехом: «Мой костюм кажется вам необычным? В нем нет ничего особенного. Большая часть моих всадников — буряты и монголы, им нравится, что я ношу их одежду. Я высоко ценю монгольский народ и на протяжении нескольких лет имел возможность убедиться в честности и преданности этих людей». Все это так, но экзотический мундир Унгерна объяснялся еще и тем, что Азиатская дивизия считалась «кадром» вооруженных сил «Великой Монголии».

В плену, отвечая на вопрос о Даурском правительстве, он сказал, что относился к нему

«отрицательно», а его членов назвал «пустыми людьми». Стоявшие за Нэйсэ-гэгэном бурятские интеллигенты-националисты с их намерением на месте империи Чингисхана создать банальную демократию по европейскому образцу, пусть под монархической вывеской, отталкивали Унгерна своим наивным западничеством, отлично уживавшимся с азиатской хитростью и безответственностью в практических делах. Апеллируя к великим космополитам — Чингисхану и Хубилаю, эти люди стремились к государственности в сугубо этнических границах, не думая о том, какая роль в мировой истории отведена кочевникам и вообще желтой расе.

В Даурской конференции участвовал князь Полтаван из Синьцзяна, образованный и деятельный выпускник Пажеского корпуса в Петербурге, пославший одного сына учиться в Германию, другого — в Японию, но он счел панмонгольскую затею несерьезной. Остальные князья-панмонголисты оказались немногим лучше бурятских идеологов движения. К Семенову они попали случайно, за неимением в сфере его влияния более авторитетных фигур, были развращены подачками, тщеславны и бездеятельны. Единственным исключением казался Фушенга, воин и аристократ, но вскоре обнаружилось, что и на него полагаться нельзя.

В конце августа 1919 года, когда Унгерн после свадьбы находился в Харбине, Семенов опрометчиво согласился допустить в Даурию пекинскую дипломатическую миссию, состоявшую из китайских чиновников и внутримонгольских князей-коллорабационистов. Они провели официальные переговоры с правительством Нэйсэ-гэгэна и секретные — с Фушенгой. Первые ни к чему не привели, вторые оказались гораздо результативнее, и через несколько дней после того, как миссия отбыла восвояси, в Азиатской дивизии вспыхнул мятеж.

Полковник Зубковский, колчаковский агент в Чите, доносил в Омск, что предводитель харачинов, «монгольский генерал» Фушенга, будучи подкуплен китайцами, согласился перебить русских офицеров и разоружить оба туземных полка. К счастью, заговор был своевременно раскрыт, и рано утром 3 сентября Фушенгу решили арестовать.

Другие считали, что никакого заговора не существовало, он был выдуман с целью обезглавить харачинов, которые, устав ждать добычи от обещанного похода на Ургу, проявляли признаки непокорности. Третьи объясняли мятеж тем, что харачины давно не получали жалованья.

Так или иначе, когда явившиеся к Фушенге офицеры предложили ему сдать оружие, он это требование выполнить отказался и вместе с конвоем заперся у себя в доме — вероятно, в надежде продержаться до темноты, а затем скрыться в сопках и уйти в Китай. После того как уговоры сдаться ни к чему не привели, бурятские части, окружив дом, пошли на приступ. Фушенга и его конвойные отстреливались из окон. Наступление было отбито с большим уроном для нападавших. Чтобы избежать дальнейших потерь, Шадрин, в то время исполнявший обязанности начдива вместо Унгерна, приказал придвинуть стоявший на станции бронепоезд «Грозный» и прямой наводкой вести обстрел из орудий. Артиллерийским огнем дом был снесен с лица земли, но неукротимый Фушенга заблаговременно успел перебраться в подвалы, засел там со своими людьми, и едва осаждающие попытались приблизиться к развалинам, оттуда вновь раздались выстрелы.

Теперь 76-миллиметровые пушки «Грозного» перенесли огонь на подвалы, в это время бурятский полк занял казармы харачинов и приступил к их разоружению. Против ожиданий операция прошла

спокойно; под устрашающий грохот артиллерии монголы легко сдали оружие. Орудийный обстрел продолжался до трех часов пополудни, потом огонь прекратили. Развалины безмолвствовали, Фушенга и все его товарищи были мертвы.

Ближайших к нему 14 монгольских офицеров посадили в поезд и повезли в Читу, но, как доносил Зубковский, в дороге они «подавили конвой, завладели оружием конвойных и двумя головными вагонами, заставив машиниста ехать обратно». Прорваться в Китай им, однако, не удалось — в Даурии успели перевести стрелки и загнали поезд в тупик. Оказавшись в западне, монголы отчаянно оборонялись, пока атакующим не удалось захватить паровоз. Вагоны, которыми завладели мятежники, отцепили от состава, подвели под прицел дивизионных батарей и расстреляли из пушек.

После этого инцидента правительство Нэйсэ-гэгэна фактически прекратило свою деятельность, а сам он вместе с харачинами и чахарами был отправлен из Даурии в Верхнеудинск^[64]. Семенов начал искать другие возможности осуществления панмонгольского проекта. Причины вернуться на старое пепелище у него были.

2

К осени 1919 года семеновский режим с его карательными экспедициями, порками целых деревень, безудержным казнокрадством и одновременным вымогательством денег у всех, кто имел их в каком угодно количестве, порождает всеобщую ненависть. В партизанском движении участвуют все слои населения вплоть до купечества и караульских казаков. Даже миллионер Второв, владелец лучших в Забайкалье

универсальных магазинов, оказывается «в сопках», а одним из таежных отрядов командует родной дядя атамана, известный под кличкой «дядя Сеня». Семенов контролирует лишь города и узкую полосу вдоль железнодорожной линии Верхнеудинск — Чита — Маньчжурия, но и эта зона уже небезопасна. Редкие и малоэффективные операции против партизан проходят без поддержки японцев. Они объявили о своем нейтралитете, большая часть японского экспедиционного корпуса эвакуируется на Дальний Восток, в Приморье.

Между тем к западу от Байкала события развиваются стремительно. Успешное поначалу сентябрьское контрнаступление армий Сахарова и Ханжина в районе Тобольска завершается полным провалом. Падение Омска становится вопросом ближайших недель.

В этих обстоятельствах Семенов не мог не задуматься о собственном будущем. Роль монгольского «главковерха» опять начинает представляться ему спасительной и желанной, как то было минувшей зимой, когда он тоже ощутил непрочность своего положения. Полгода назад это было связано с усилением Колчака и его победами, теперь — с его поражением. Тогда атаману грозило торжество белых, сейчас — их гибель. Сложность состояла в том, что японцы отказались от планов создания «Великой Монголии», а без их поддержки атаман был бессилен. Баргу наводнили китайские войска, единственным заграничным плацдармом и убежищем могла стать Халха, но там упорно не желали иметь никаких дел ни с Даурским правительством, ни с самим Семеновым.

Чтобы переломить ситуацию, в октябре 1919 года, незадолго до падения Омска, Семенов командует в Ургу генерала Левицкого ^[65]. Этот внучатый племянник

поэта Антона Дельвига считался исполнителем самых деликатных его поручений. Левицкий нанес визит министру иностранных дел Монголии, умеренному китаефилу Цэрэндоржу^[66], и, как следовало ожидать, ничего не добился. Наверняка он прибыл не с пустыми руками, но в таких вопросах деньги уже мало что решают. Богдо-гэгэн и его окружение не доверяют Семенову с его ставкой на конкурирующий клан Нэйсэ-гэгэна, с его харачинами и чахарами, готовыми грабить всех и вся, с его опорой не на ламство, а на оппозиционных князей, которые в 1911 году пытались вместо Богдо возвести на престол одного из аймачных ханов-чингизидов. Сам атаман кажется фигурой в высшей степени амбициозной, а потому — подозрительной.

Китайские войска уже появились на востоке Халхи, а с запада к ее границам неудержимо катится красный вал. Ситуация ставит правителей автономной Монголии перед выбором из трех зол: или подчинение Пекину и мир в обмен на независимость, которая и так-то все больше становится фикцией, или Семенов и возможная война с Китаем, или большевики и полнейшая неизвестность. В Урге склоняются к первому варианту. Он не столь уж хорош сам по себе, но сулит хоть какую-то определенность. Тем более что прибывший из Пекина правительственный комиссар Чэнь И демонстрирует уважение к власти Богдо-гэгэна и не форсирует события, чтобы не вызывать ненужных эксцессов. Его мягкая и умелая политика не оставляет Семенову никаких надежд.

Сразу по возвращении Левицкого из Урги атаман назначает его командовать расквартированной в Верхнеудинске кавалерийской дивизией, большую часть которой составляют сосланные сюда харачины и чахары во главе с Нэйсэ-гэгэном. Это назначение можно

объяснить лишь тем, что в скором будущем ему предстоит занять Ургу, организовать государственный переворот и поставить у власти правительство Нэйсэ-гэгэна, укрепленное местными панмонголистами — в основном бурятского происхождения. Левицкий готовится войти в Монголию с севера, Унгерн ведет такие же приготовления в Даурии, намереваясь двинуться к монгольской столице с востока, но Семенов колеблется и упускает момент: в Ургу вступают войска китайского генерала Сюй Шучжэна из клуба Аньфу. Дипломатичный Чэнь И обвинен в предательстве интересов Китая и под конвоем отправлен в Пекин, монгольские министры брошены в тюрьму. Богдо-гэгэн вынужден отречься от престола, Внешняя Монголия вновь становится провинцией Китая. Как предлог для ликвидации ее автономии используется угроза со стороны панмонгольского движения. По сути дела, Семенов спровоцировал китайское вторжение, как Унгерн позднее спровоцирует вступление в Халху советских войск.

Через месяц, в январе 1920 года, Левицкий неожиданно уводит свою дивизию из Верхнеудинска на юг, в сторону монгольской границы. Похоже, он все-таки получил от Семенова приказ по Кяхтинскому тракту идти в Монголию — отныне атаман мог рассчитывать на поддержку низложенного Богдо-гэгэна, ламства и князей Халхи, успевших вкусить прелести военной диктатуры во главе с твердолобым Сюй Шучжэном. Во всяком случае, Левицкий двигался именно в этом направлении, но дойти не сумел: в 80 верстах южнее Верхнеудинска, на ночлеге вблизи Гусиноозерского дацана, харачины и чахары начали убивать спящих русских офицеров и казаков. Было вырезано около сотни человек, сам Левицкий пропал

без вести. Одни утверждали, что он погиб, другие — что в темноте ему удалось бежать [\[67\]](#).

В Чите случившееся истолковали как месть за смерть Фушенги, но есть основания думать, что Нэйсэ-гэгэн пытался объяснить мятеж своим желанием воспрепятствовать походу русских на Ургу. Иначе он не отдался бы на милость китайских властей, давно мечтавших с ним покончить. Монголам позволили поселиться в Маймачене-Кяхтинском, отвели им фанзы для постоя, снабдили продовольствием. Через несколько дней Нэйсэ-гэгэна с двенадцатью его ближайшими соратниками, ламами и офицерами, пригласили на торжественный обед, во время которого все они были предательски убиты. Часть харачинов разбежалась, остальных угнали в Халху на казенные работы. Чахары князя Найдан-гуна были отправлены сторожить возделываемые китайцами хлебные поля в районе реки Хара-Мурин.

КАППЕЛЕВЦЫ

1

В ноябре 1919 года, вскоре после падения Омска, в Новониколаевске^[68] проходили совещания Ставки Верховного главнокомандования; на них обсуждался и был отвергнут как «фантастический» план уйти через Алтай на юг, чтобы, «базируясь на Китай и Монголию, выжидать весны для новой борьбы». Колчак надеялся, что еще не все потеряно здесь, в Сибири. В эшелоне, везущем остатки золотого запаса, со своим штабом и личным конвоем он выехал на восток; вслед за ним двинулась 2-я Сибирская армия, командование которой Войцеховский сдал генералу Каппелю.

В канун сочельника, окончательно разгромленная и рассеянная под Красноярском, потерявшая всю артиллерию, она перестала существовать, лишь небольшую ее часть Каппель вывел к селу Есаульскому. Здесь он отдал приказ повернуть на север — прочь от занятой красными железной дороги. Сначала двигались вдоль Енисея, затем начался беспримерный 120-верстный переход по льду реки Кан. Со дна били горячие ключи, лед был некрепкий, под снегом попадались полыньи. Гибли лошади. «С каждой из них, — писал участник похода, — была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни».

В ранних зимних сумерках шли с масляными фонарями. Питались кониной и «заварухой» — похлебкой из овсяной муки со снегом. В начале пути Каппель, раненный в руку, провалился под лед, началось воспаление легких. Сам он идти не мог, утром

его сажали на коня, вечером снимали. При ночных переходах несли на руках.

Под Канском вновь вышли к железнодорожной линии, но это ничего не изменило — все паровозы на магистрали были захвачены чехами. По-прежнему многие шли пешком, саней не хватало. В них везли женщин, детей, раненых, сыпнотифозных. Последних нередко привязывали к саням, чтобы не спрыгивали в бреду.

Через несколько дней, на разъезде Утай близ станции Зима, умер Каппель. Незадолго до этого чешские легионеры выкинули его вместе со штабом из вагона, освобождая место для ценной мебели, а теперь предложили взять тело в эшелон и доставить в Читу. Офицеры не согласились. На 30-градусном морозе с погребением можно было не спешить. Каппеля повезли с собой в гробу, веревками прикрученном к телеге. Командование опять принял Войцеховский. В начале февраля он подошел к Иркутску, предъявил ультиматум с требованием освободить арестованного Колчака и, получив отказ, двумя колоннами повел наступление на город. Ударной была первая, трехтысячная. Вторая, вчетверо большая, состояла главным образом из женщин, гражданских беженцев, больных, обмороженных.

В результате повторилась ситуация, при которой полтора года назад погибла царская семья. Остатки 2-й армии подходили к Иркутску с запада, грозя перерезать магистраль, и страх, что Колчак может быть освобожден, ускорил его конец. В ночь на 7 февраля 1920 года он был расстрелян, а Войцеховский, отбросив красные заслоны под Олонками и Усть-Кудой, встал перед дилеммой: занимать практически беззащитный Иркутск или, поскольку Колчак все равно уже мертв, продолжать движение на восток. На совещании генерал Молчанов, начальник Воткинской дивизии, заявил:

«Войти в город мы, разумеется, войдем, а вот выйдем ли из него, большой вопрос. Начнется погром и грабеж, и мы потеряем последнюю власть над солдатом». Это соображение оказалось решающим; Войцеховский обошел город с юга и вывел свои колонны к берегам Байкала.

Казалось, над озером гремит артиллерийская канонада, идет бой, но это трещал непрочный еще лед. Осень была теплая, Байкал встал поздно. Впереди, нащупывая трещины, шли байкальские рыбаки с шестами, за ними — саперы. Через проломы перебирались по доскам, по сходням. Лошади, кованные на обычные подковы без шипов, скользили и падали, поднимать их не было сил. Переправлялись ночью, а утром, оглянувшись, увидели, что лед от берега до берега чернеет конскими трупами.

После недолгого отдыха Войцеховский направился к Верхнеудинску, охваченному пламенем крестьянской войны, и туда же, через истоки Лены и северную оконечность Байкала, вышла вторая крупная группа отступающих колчаковцев. Более мелкие прибывали еще в течение двух месяцев.

Здесь генералы Войцеховский, Лохвицкий, Вержбицкий, Сахаров, Молчанов и другие, кто возглавлял этот поход, по аналогии с походом Добровольческой армии на Екатеринодар в январе 1918 года названный «Ледовым» или «Ледяным», должны были скрепя сердце смириться с тем, что у них появился новый верховный вождь. Лишь теперь они узнали, что незадолго до ареста, приказом от 4 января 1920 года, Колчак произвел Семенова в генерал-лейтенанты и впредь до соединения с Деникиным назначил его «главнокомандующим всеми вооруженными силами и походным атаманом всех российских восточных окраин». Поначалу многие сомневались, не является ли этот приказ апокрифом. Он

был воспринят с недоумением и возмущением, но обстоятельства требовали подчиниться последней воле адмирала.

В марте к Чите начинают стягиваться эшелоны «каппелевцев», как стали называть себя все бывшие колчаковцы, а не только те, кто служил непосредственно под началом Каппеля. Для Семенова это было подарком судьбы среди сплошных неудач. Японцы лишь охраняли железнодорожную магистраль, в боевые действия не ввязываясь, и не будь каппелевцев, атаман вряд ли отбил бы наступление на Читу войск созданной Кремлем «буферной» Дальневосточной республики. Дважды, в начале и в конце апреля 1920 года, части Народно-революционной армии под командой Генриха Эйхе достигали предместий атаманской столицы, но взять ее не смогли и под контрударами Войцеховского откатились к Верхнеудинску, над которым развевался красный, но с квадратной синей заплаткой в верхнем углу, у древка, флаг ДВР. Партизанам тоже пришлось отступить туда, где находилась опорная база повстанческого движения — в треугольник между линиями Амурской и Забайкальской железных дорог и китайской границей.

Незадолго до смерти Каппель успел узнать о предательстве чехов, выдавших Колчака иркутскому политцентру, и послал символический вызов на дуэль генералу Яну Сыровы — одноглазому, как Ян Жижка, командиру Чехословацкого корпуса. Семенов заявил, что «заменит Каппеля у барьера, если исход дуэли будет для него роковым», но для обоих это было не более чем способ публично выразить свое негодование. Все прекрасно понимали, что никакой дуэли не будет^[69].

Впоследствии Семенов уверял, что пытался спасти адмирала, для чего двинул на запад лучшие свои части. Действительно, под прикрытием четырех бронепоездов эшелоны с Монголо-бурятским конным полком и двумя Маньчжурскими стрелковыми полками под общей командой генерала Скипетрова в новогоднюю ночь дошли до Иркутска, где еще продолжались столкновения между отрядами эсеровского Политцентра и сторонниками Колчака. Атамановцы должны были поддержать последних, но степная конница на улицах так и не появилась, во всяком случае никто ее там не видел, а пехоты было не более четырехсот бойцов. Утром 1 января 1920 года они выгрузились из вагонов и втянулись в уличную перестрелку, бронепоезда тем временем едва ли не наугад выпустили по городу несколько снарядов. По утверждению Семенова, избегавшего называть численность своего «экспедиционного корпуса», все шло по плану, пока не вмешались чехи с требованием немедленно отвести войска на станцию Байкал. Скипетров якобы вынужден был подчиниться, хотя наступление развивалось успешно.

На самом деле экспедиция закончилась постыдным провалом. Атаманская гвардия, развращенная привилегиями и полутора годами сытого безделья, показала себя абсолютно не способной вести сколько-нибудь серьезные боевые операции. Не то что регулярные части Красной армии, но и наспех сколоченные, плохо вооруженные, не имевшие единого командования рабочие дружины и вышедшие из тайги партизанские группы оказались для семеновцев неодолимой преградой. Убедившись, что взять Иркутск не удастся, Семенов по телеграфу приказал Скипетрову отводить эшелоны обратно на восток и по мере отступления взрывать за собой кругобайкальские тоннели. Этих тоннелей — около двухсот. Разрушение

даже небольшой их части остановило бы продвижение чехов к Владивостоку и превратило Забайкалье в неприступную крепость, но приказ атамана не был исполнен. О нем узнал Сыровы, и отборные семеновские полки без малейшего сопротивления позволили чехам разоружить себя.

Вину за гибель Колчака возлагали на Сыровы и Жанена, военного представителя Франции при Колчаке; в Чите группа офицеров ухитрилась под расписку вручить чешскому генералу 30 серебряных двугривенных — гонорар Иуды. По словам современника, вызовы на дуэль сыпались на него, «как осенние листья».

Тогда же, если верить служившему в Азиатской дивизии капитану Шайдицкому, Унгерн вызвал его к себе и, предупредив, что завтра через Даурию пройдет поезд Жанена, приказал разместить две спешенные сотни вдоль железнодорожного полотна, а еще одну «держат укро́то» в конном строю. Перед прибытием поезда следовало вывинтить гайки из стыков рельс «на крутом повороте пути», а после крушения «уничтожить поезд и всех, кто в нем». Однако наутро Унгерн, никогда не отменявший свои приказы, этот приказ отменил. Семенов по телефону «умолил» его не испытывать судьбу^[70].

2

Разными путями в Восточном Забайкалье собралось от 25 до 30 тысяч солдат и офицеров Колчака — все, что осталось от 700-тысячной армии, год назад находившейся в нескольких сотнях верст от Москвы. Семеновцы не слишком приветливо встретили прибывших, те отвечали им открытой враждебностью. Среди каппелевцев было много студенчества,

интеллигенции. Почти в полном составе пробились в Читу полки ижевских и воткинских рабочих, которые вплоть до весны 1919 года отказывались признавать трехцветное знамя своим и в бой против красных шли под красным флагом, с пением «Смело, товарищи, в ногу». Для семеновских офицеров все эти люди были если не большевиками, то с сильным «демократическим душком», а каппелевцы видели в них просто бандитов, чья тупая жестокость заставляла крестьян целыми селами уходить «в сопки». Они не могли простить атаману, что тот интриговал против Колчака и не послал на фронт ни одного солдата, когда сибирские армии истекали кровью на Урале и под Tobольском. Местные жители усиливали эту неприязнь рассказами о кровавых карательных экспедициях, о всеобщем воровстве, о зверствах Унгерна и Тирбаха^[71].

Петр Савинцев, редактор дивизионной газеты «Уфимец», вспоминал, как при выпуске ее первого номера командир 8-го Камского полка Воробьев предостерег его: «Ну, если вы будете лизать ж... атаману, лучше на глаза не показывайтесь, изобьем!» Перспектива оказалась вполне реальной. Савинцева вызвал к себе генерал Бангерский, старавшийся «ладить с Семеновым», достал из стола «солидную книгу» по истории Забайкальского казачьего войска и предложил печатать в газете отрывки из нее. «Я думаю, — сказал он, — в наших частях с удовольствием будут читать эту историю». — «А я, ваше превосходительство, думаю, — возразил Савинцев, — что за такой материал меня в моем полку просто бить будут».

Возмущало всесилье японцев, а при этом — холуйский тон читинских газет, умиленно писавших, что в Чите мало осталось детей, не имеющих японских игрушек. Раздражала небоеспособность семеновских

частей при их прекрасной амуниции. Воюя исключительно с мужиками, делавшими пушки из водопроводных труб, они летом щеголяли в галунных погонах при полевой форме, зимой носили валенки, полушубки, меховые шапки, а ижевцы и воткинцы, пройдя с боями от Камы до Байкала, зябли в ветхих шинелях, в гимнастерках из мешковины. Как записал в дневнике тот же Савинцев, свою речь перед Уфимской дивизией Семенов «начал с высоких материй, а кончил теплыми штанами, которые обещал выдать». Высокое жалованье семеновских солдат вызывало зависть, зато применяемые к ним телесные наказания — презрение^[72]. У каппелевцев такого не водилось.

В свою очередь атамановцы были недовольны тем, что все офицеры, участники Ледяного похода, получили повышение сразу на два чина. Заслужить таким образом генеральские погоны было нельзя, но количество новоиспеченных полковников перешло все разумные пределы. Время от времени раздавались одинокие голоса, призывавшие проявить мудрость и самим понизить себя в звании хотя бы на один чин, но редкие альтруисты следовали этим призывам. Шайдицкий, ездивший из Даурии в Читу, рассказывал, что у него там «рука болела от отдания чести».

В Забайкалье была создана Дальневосточная русская армия — филиал Русской армии Врангеля. Два из трех ее корпусов составили каппелевцы, третий — семеновцы. Командующим стал Войцеховский, а главнокомандование Семенов оставил за собой. Собственно атамановские части, не считая Азиатской дивизии, к тому времени или разбежались, или перешли к красным, как пресловутая Иудейская рота, или настолько были деморализованы, что боялись выходить из казарм, тем не менее Семенов отказывался заявить о своем подчинении Врангелю, на чем настаивали

каппелевцы. Войцеховский, искавший пути к национальному примирению и для начала безуспешно пытавшийся объявить амнистию партизанам, скоро слагает с себя командование, когда получают огласку его переговоры с правительством ДВР, и отбывает во Францию. Командующим становится Николай Лохвицкий, родной брат писательниц Мирры Лохвицкой и Надежды Тэффи. Он ставит перед собой задачу подчинить Азиатскую дивизию штабу армии и сместить Унгерна как наиболее одиозную фигуру режима.

Разговоры о том, что он заслуживает петли, пошли после того, как каппелевцы провели инспекцию забайкальских тюрем и, потрясенные тем, что они там увидели, большинство заключенных выпустили на свободу. В Даурии были освобождены вообще все арестанты, а генерала Евсеева, чьи в высшей степени лаконичные заключения заменяли судебные приговоры, в том числе смертные, отдали под суд и приговорили к повешению. Спасся он благодаря вмешательству Семенова. Одновременно по распоряжению Лохвицкого начали собирать материалы для нового процесса, где главным обвиняемым должен был стать Унгерн.

В октябре 1920 года, когда он готовился штурмовать Ургу, китайская полиция в Харбине «совершила налет» на квартиры трех каппелевских генералов — Акинтиевского, Филатьева и Бренделя, незадолго перед тем покинувших Забайкалье из-за трений с Семеновым, и арестовала их по какому-то вздорному обвинению. Наутро все трое были освобождены, но бумаги, изъятые при обыске, бесследно исчезли. Никто не сомневался, что китайцы переправили их Семенову, что харбинская полиция им подкуплена, и целью этой акции являлось похищение документов, компрометирующих атамана и его окружение, прежде всего — Унгерна.

В интервью газете «Свет» Акинтиевский перечислил, что именно у него украли. Многие бумаги касались непосредственно барона: «Доклад об убийствах, расстрелах и других преступлениях, чинимых в Даурии генералом Унгерном и его подчиненными», «Жалоба г-жи Теребейниной об убийстве ее мужа, поручика Теребейнина, по приказу Унгерна», а также ряд материалов, необходимых для предания его военно-полевого суду. Многие потом жалели, что хозяин Даурии, бросивший столь зловещую тень на Белую идею, сумел избежать казни. Один каппелевский офицер писал в близкой к Савинкову варшавской газете «За свободу»: «Знаменитый Унгерн, сумасшедший барон, давно был бы повешен, если бы не японцы».

Летом 1920 года, пока он вел «сопочную» кампанию против партизан Лебедева, Лохвицкий двинул к Даурии лучший и самый «демократический» полк — 8-й Камский, насчитывавший до девятистот штыков. Предполагалось лишить Унгерна базы, после чего проще будет его арестовать, но он вовремя узнал об этом и отправил оставшимся в казармах частям приказ «действовать энергично», то есть обороняться с применением наличных сил и средств. По другой версии, все обстояло ровно наоборот — Унгерн сам решил выгнать из Даурии размещившийся там гарнизон каппелевцев, которые в его отсутствие начали подбираться к накопленному им запасу снаряжения и боеприпасов, и, оставив партизан в покое, поспешил в свои владения.

До вооруженного столкновения не дошло, но командующий поставил Семенова перед выбором: или он, Лохвицкий, или Унгерн. Естественно, атаман выбрал старого друга. Оскорбленный Лохвицкий уехал в Харбин, формально — в отпуск, но все понимали, что

назад он уже не вернется. Командование армией принял Вержбицкий.

Вероятно, именно в это время Унгерн склонился к мысли все бросить, уехать в Европу, поселиться «на родине». Имелась в виду не Эстония, а недавно появившаяся на карте Австрия. Унгерн говорил об этом на допросе в плену, не называя месяца, когда попытался воплотить в жизнь свою идею, но точно указав год — 1920-й. Должно быть, ему казалось, что в Австрии он будет принят и натурализован по праву рождения в австрийском Граце, но получить «заграничную визу» почему-то не удалось. Скорее всего, попытки не были очень настойчивыми и прекратились после того, как Лохвицкий покинул Забайкалье.

Вержбицкий еще меньше, чем его предшественники, способен был справиться с непокорным бароном, но от греха подальше Семенов и Унгерн решили перебазировать Азиатскую дивизию подальше от железной дороги. 10 августа, вернувшись из Читы, Шайдицкий сошел с поезда в Даурии и с удивлением обнаружил, что в военном городке никого нет, казармы пусты. Впрочем, сам Унгерн был в своем кабинете. Он подвел Шайдицкого к окну и, указав «на далеком горизонте одинокую сопку на границе с Монголией», сказал: «По компасу — на продолжение створа. Вот вам направление, догоняйте дивизию. Когда она придет в Акту, я приеду туда».

ИЗ АКШИ — НА ЮГ

1

Акша — приграничный степной городок в верховьях Оно-на, примерно в трех сотнях верст к западу от Даурии. К исходу августа 1920 года Унгерн, получив благословение Семенова, сосредоточил здесь все свои силы. Как бывало и раньше, на краю пропасти атаман вновь расчехлил выцветшее, но еще не окончательно истлевшее знамя панмонгольского движения.

В мемуарах он уверяет, что стремился исключительно к «борьбе с Коминтерном», но интриги каппелевских генералов и натянутые отношения с хозяином Маньчжурии, Чжан Цзолином, побудили его переместить «базу» этой борьбы из Забайкалья в Монголию. Само собой, Семенов предпочел умолчать о том, что тогда же сделал большевикам предложение, которое русские фашисты, обвинявшие его в масонстве, позднее определили как попытку «обращения в лоно Авраама, Исаака и Иакова».

А именно: 7 августа 1920 года, на бланке своей походной канцелярии, но без регистрационного номера и печати, не прибегая к услугам секретаря и машинистки, чтобы обеспечить абсолютную тайну, и не указывая имени адресата, чтобы его обращение могло быть рассмотрено широким кругом лиц, атаман собственноручно изложил свое предложение в письме, которое затем по секретным каналам попало к премьер-министру ДВР Борису Шумяцкому. Предполагалось, видимо, что тот перешлет его в Москву^[73]. Суть такова: Семенов с верными ему войсками готов покинуть Забайкалье и уйти в Монголию и Маньчжурию для их

завоевания; большевики должны финансировать его усилия (в течение первого полугодия — до 100 миллионов иен) и оказывать помощь всем необходимым, «включительно до вооруженной силы», если эта деятельность будет совпадать с интересами Кремля. Взамен Семенов брал на себя обязательство ни более ни менее как полного «вышиба Японии с материка» и создания независимых Монголии, Маньчжурии и Кореи, чьи посольства он лично доставит в красную Москву — при условии, что его поезду гарантируют свободный проезд по «всем железным дорогам Советской России» и соответствующие почести.

Все это вовсе не такой блеф, как кажется. Летом 1920 года китайский республиканский клуб (партия) Аньфу, среди прочих провинций контролировавший Внешнюю Монголию, начал борьбу с чжилийским генералитетом; японцы негласно поддерживали своих старых союзников аньфуистов, а Чжан Цзо-лин выступил на стороне чжилийцев. Он давно мечтал выйти из-под опеки Токио и создать собственное государство из Маньчжурии и обеих Монголий под номинальной властью законного наследника Цинов, одиннадцатилетнего Пу И, нашедшего приют при его мукденском дворе.

В сущности, Семенов предложил большевикам план Чжан Цзолина, только на его место поставил себя. Завоевывать Маньчжурию и тем более Корею он, понятное дело, не собирался и приплел их к своему проекту в расчете соблазнить падких на затеи мирового масштаба коминтерновских деятелей. Семенов мог планировать лишь возрождение самостоятельной Внешней Монголии с последующим присоединением других населенных монголами областей. Цель оставалась прежней: занять пост «главковерха» при Богдо-гэгэне, а фактически стать правителем нового

государства под сюзеренитетом уже не Японии, а Советской России.

В любом случае все предприятие должно было начаться походом на Ургу. Не случайно как раз в то время, когда Семенов отправил письмо Шумяцкому, Азиатская дивизия выдвигается в район Акши, где начиналась трактовая, доступная для обоза и артиллерии, дорога к монгольской столице. В обозе находилась знаменитая «черная телега» — кибитка черного цвета с дивизионной казной в размере около 300 тысяч рублей золотом. Такую сумму Унгерн мог получить только от Семенова. В этой же кибитке везли подарки монгольским князьям и ламам — фарфоровые вазы, курительные трубки, бронзовое литье. Куда и зачем предстоит идти, Унгерн знал и даже объявил некоторым офицерам конечную цель экспедиции, но ему в голову не приходило, что знамя, осеняющее этот долгожданный поход, может быть и красным.

Год спустя, в Иркутске, присутствуя на одном из допросов пленного барона, Шумяцкий поинтересовался, известно ли ему, что Семенов за 100 миллионов иен предлагал свои услуги большевикам. Естественно, Унгерн об этом понятия не имел, однако сразу же поверил, что такое возможно. Старого приятеля он знал хорошо и не питал иллюзий относительно его готовности к жертвам во имя Белой идеи.

2

Пока Азиатская дивизия стояла в Акше без Унгерна, дезертирство приняло угрожающие размеры. Однажды ночью исчез целый казачий полк. Офицеров, оставшихся без подчиненных, свели в отдельную роту, которая сама позднее попытается бежать. Несколько человек уезжают в служебные командировки и

пропадают с концами. Шайдицкий с крупной суммой денег отправляется вербовать добровольцев в зоне КВЖД; перед отъездом из Акши его с сомнением спрашивают: «А вернетесь ли вы сами в дивизию?» — «Если не вернусь, при встрече разрешаю плюнуть мне в физиономию», — гордо отвечает Шайдицкий и не возвращается^[74].

Воевать никто не хочет; Унгерн нервничает, не получая от Семенова четких указаний, но еще не решается действовать на свой страх и риск. То он объявляет оставшимся в Даурии артиллеристам, что силой никого не держит, и в подтверждение своих слов распускает полбатареи по домам, то вдруг приказывает расстрелять двоих офицеров той же батареи, будто бы подбивавших солдат к дезертирству. Один из них, штабс-капитан Рухлядев, перед смертью сумел передать жене свое обручальное кольцо, завернутое в записку: «Погибаю ни за что».

В Акше старшие офицеры стараются «подтянуть» разлагающуюся дивизию и отвлечь ее «от невеселых дум о будущем». В числе прочих мер — спектакли для солдат и приказ сотням собираться по вечерам «на песню». Тем временем Унгерн, как сообщают харбинские газеты, встречается с монгольскими князьями в монастыре вблизи озера Долон-Нор. Пока он ведет переговоры, его свита развлекается охотой и рыбалкой. В сентябре утки уже взматерели, есть вечерний и утренний слеты. Много фазанов, ибо зима была малоснежной, весенний паводок не угрожал фазаньим гнездам. Над степью появляются передовые стаи летящих с севера гусей, и автор фенологической заметки с особым чувством, понятным русским беженцам в Маньчжурии, вспоминает слова слышного в гусином крике прощального привета: «Прощай, матушка Русь, к теплу потащусь!» Затем в этом царстве

пернатых возникает аэроплан. За штурвалом — японский летчик. Он садится на берегу До-лон-Нора, после чего летит обратно на север — «связь между атаманом и бароном поддерживается по воздуху».

Японцы эвакуировали свои войска в Приморье, Семенов вынужден вступить в переговоры с правительством ДВР. На станциях Гонгота и Хабибулак он подписывает мирные соглашения с «буфером», проводит выборы в Народное собрание, передает ему гражданскую власть над Забайкальем, оставляя за собой военную, и переносит ставку из Читы в Даурию. Унгерн ждет, что теперь атаман вплотную займется монгольской экспедицией, но этого не происходит.

Москва его предложение отвергла или не соизволила ответить, а ситуация в Китае резко изменилась после того, как Чжан Цзолин нанес удар аньфуистам, разгромленным чжилийским генералом У Пейфу. Отныне поход Азиатской дивизии на Ургу означал бы войну не со слабеющим клубом Аньфу, а с могущественным генерал-инспектором Маньчжурии, готовым распространить свою власть на Халху. В Даурии шумит последняя волна пропагандистской кампании в защиту монгольской независимости^[75], но Семенов уже сознает, что Монголия потеряна для него навсегда.

Унгерн должен был насторожиться, узнав о готовящейся свадьбе атамана. Его собственный брак — акция скорее политическая, зато Семенов женится как частное лицо. Отставлена ветреная Маша, он страстно увлечен семнадцатилетней Еленой Терсицкой, машинисткой его походной канцелярии. Она — дочь священника из Оренбургской губернии, в Забайкалье пришла вместе с каппелевцами. В харбинских газетах публикуются оплаченные, видимо, Семеновым статьи, приписывающие его хорошенькой избраннице пылкое

сострадание к героям борьбы за Белое дело и готовность к самопожертвованию. Сообщается, что невеста отказалась от свадебного подарка, взамен попросив помочь интернированному в Синьцзяне атаману Дутову, и жених со сказочной щедростью отправил ему 100 тысяч рублей золотом. Согласно еще более сусальному варианту той же истории лишь при выполнении этого предварительного условия Терсицкая соглашалась отдать Семенову руку и сердце. Однако люди, лично с ней знакомые, не обольщались насчет ее благородства. По мнению Ханжина, Маша «при своем взбалмошном характере и своей нравственной испорченности была добрым человеком», а Терсицкая — «самолюбивая, мстительная и чрезвычайно злая». Если верить Ханжину, Семенов, при отъездах Маши не брезговавший случайными связями, прельстился красавицей-машинисткой, но та, будучи «девицей неглупой», на связь не пошла, предложив на ней жениться. Влюбленный Семенов попался на эту удочку. Внезапная страсть вспыхивает в нем как нельзя более вовремя; прекрасная Елена помогает ему смириться с утратой власти над Забайкальем и крушением монгольских планов. Вряд ли ей с такой легкостью удалось бы женить на себе атамана в зените его славы^[76].

Свадьбу отпраздновали в середине августа 1920 года. Незадолго до того Семенов провожал Машу в Китай и там «прощался с ней», о чем, надо думать, невеста не знала или не желала знать, а на обратном пути в Читу, на станции Оловянная, встретился с Унгерном. Это их последняя в жизни встреча. О чем они говорили, можно лишь гадать, но сразу по прибытии в Акту барон трубит общий сбор, переходит, говоря языком военных сводок, демаркационную линию,

определенную Гонготским соглашением с ДВР, и открывает боевые действия против войск «буфера».

3

Вскоре Семенов объявил о «бунте» Унгерна, который якобы вышел из подчинения Вержбицкому и самовольно увел дивизию «в неизвестном направлении». В мемуарах атаман пишет, что сделал это заявление для «маскировки» движения Унгерна к Урге; сам он с другими частями якобы собирался выступить следом, но Унгерн говорил в плену, что Семенов разработал тогда совсем другой план, предполагавший масштабное наступление на Верхнеудинск и «далее на запад». Азиатская дивизия должна была через отроги Яблонового хребта двигаться на Троицкосавск. В соответствии с поставленной задачей Унгерн и действовал, полагая, что Семенов развивает операцию на другом направлении, но тот не тронулся с места. Возможно, посылая Унгерна на запад, атаман собирался затем развернуть его на юг, к Урге, хотя точно ничего сказать нельзя, в то время его планы менялись чуть ли не еженедельно.

Тогда же в дивизии появилось около семидесяти японских солдат и офицеров под командой капитана Судзуки, раньше состоявшего при Семенове. Эйхе немедленно запрашивает о них представителей Токио в Чите и во Владивостоке; те отвечают, что никакой поддержки с их стороны Унгерну не оказывается, и даже называют Азиатскую дивизию «шайкой». Полковник Исомэ заявляет, что подданные Японии находятся в ней по собственному желанию и считаются уволенными из императорской армии. Однако если в японских военных уставах эталоном дисциплины считалась такая степень послушания, когда

подчиненный следует за начальником, как «тень за предметом и эхо за звуком», сомнительно, чтобы эти люди оказались при Унгерне без приказа. Скорее всего, они были приставлены к нему в роли отчасти советников, отчасти наблюдателей, но впоследствии превратились в заложников ситуации, бессильных что-либо изменить.

В то время в Азиатскую дивизию входят три конных полка по 150-200 сабель каждый — «атамана Анненкова», Бурятский и Татарский, в котором служили не столько татары, сколько башкиры, пришедшие в Забайкалье с каппелевцами и как «азиаты» отданные под начало Унгерна. Кроме того — комендантский дивизион, Японская сотня, две батареи неполного состава и пулеметная команда полковника Евфаритского, в будущем — организатора заговора против Унгерна. Всего, по разным подсчетам, от 1000 до 1200 бойцов, из них полтораста нестроевых.

С этой значительной для Забайкалья силой Унгерн рассеивает мелкие отряды красных, но вскоре в район Акши стягиваются части НРА, матросы, мадьяры, наконец, Таежный партизанский полк анархиста Нестора Каландаришвили. Головным эскадроном в нем командует Иван Строд, имеющий восемь ран, четыре Георгиевских креста и два ордена Красного Знамени. Неподалеку от монгольской границы грузин и латыш настигают эстляндского барона. Его бурятская конница «показала хвосты», партизаны занимают сожженную унгерновцами деревню. Здесь, за околицей, Строд видел обнаженные трупы крестьянок с разрезанными крест-накрест грудями, а возле обгорелых развалин мельницы — двоих привязанных к мучному ларю мертвых стариков: одного с совком, другого с мешком. Чья-то рука придала телам естественные позы, в которых они и зачленели. Брюки у обоих были спущены, икры изгрызены собаками или свиньями.

Красные трубят о своих победах, читинские и харбинские газеты — о победах Унгерна, но что происходит на самом деле, понять трудно. Боевые действия сводятся к перестрелкам и скоротечным стычкам, победителя не всегда можно отличить от побежденного, а тайга, горы и полыхающие кругом лесные пожары делают относительными все военные успехи. Ясно одно: убедившись, что колесных дорог впереди нет, пройти дальше на запад с артиллерией и обозом невозможно при любом исходе столкновений с красными, Унгерн возвращается в Акшу, потеряв четыре пушки и часть подвод со снаряжением и боеприпасами.

На восток, в контролируемую каппелевцами зону железной дороги, он тоже идти не может, там его ждут неизбежные теперь арест и суд. Остается единственное направление — на юг. Не получив санкции от Семенова, Унгерн решает действовать по прежнему плану. 1 октября 1920 года он переходит пограничную реку Букукун и пропадает в необозримых просторах Монголии^[77].

«За ним, — восторженно пишет Альфред Хейдок, — шли авантюристы в душе, люди, потерявшие представление о границах государств, не желавшие знать пределов. Они шли, пожирая пространства Азии, впитывая в себя ветры Гоби, Памира и Такла-Макана, несущие великое беззаконие и дерзновенную отвагу древних завоевателей».

«С ним, — разрушая этот романтический мираж, констатирует колчаковский офицер Борис Волков, — идут или уголовные преступники типа Сипайло, Бурдуковского, Хоботова, кому ни при одной власти нельзя ждать пощады, или опустившиеся безвольные субъекты типа полковника Лихачева, которых пугает, с одной стороны, кровавая расправа при неудачной попытке к бегству, с другой — сотни верст степи и

сорокаградусный мороз с риском не встретить ни одной юрты, ибо кочевники забираются зимой в такие пади, куда и ворон костей не заносит».

ПРОПАВШАЯ ДИВИЗИЯ

1

Не будь похода на Ургу, имя Унгерна ныне было бы известно лишь нескольким историкам и краеведам. Знаменитым его сделала монгольская эпопея. Заурядный белый генерал, он превратился в демонического «самодержца пустыни», оброс мифами и стал одной из тех символических фигур, чья роль в истории не сводится ни к сумме их идей и поступков, ни к результатам их деятельности.

Однако вопрос, почему и в какой именно момент Унгерн решил идти в Монголию, остается открытым. Сам он, когда в плену его прямо спросили о причинах похода, лаконично объяснил все «случайностью и судьбой». Современники выдвигали разные объяснения, вплоть до самых обыденных — вроде того, что барон хотел зимовать на Керулене и повел дивизию туда, где интенданты заготовили сено. Назвать главную причину не мог никто, да ее, похоже, и не было. Множество обстоятельств выдавило Унгерна с русской территории, а дальнейшее стало следствием первого шага, сделанного в такой обстановке, когда у него не имелось другого выбора.

Версию о том, что он следовал приказу Семенова, культивировал прежде всего сам атаман. Бесспорно, идея принадлежала ему, но потом он от нее отказался, бросив на произвол судьбы, разве что после взятия Урги присвоил ему чин генерал-лейтенанта. Поступавшие от него инструкции Унгерн не только не исполнял, но оставлял без ответа. Доходило до того, что офицеры,

приезжавшие в Монголию с письмами от Семенова, не передавали их барону, страшась его гнева.

Согласно другой версии, распространяемой советской пропагандой, но имевшей сторонников и в эмиграции, Унгерн был японской марионеткой. Однако никому не удавалось внятно объяснить, с какой целью кукловоды послали его в Монголию. Высказывалась, правда, мысль, что японцы, ведя двойную игру, хотели дать Чжан Цзолину, своему ставленнику, возможность победить это тряпичное чудище и предстать перед всем Китаем в ореоле национального героя, но гипотеза кажется маловероятной в силу ее чрезмерной изощренности. Авторы подобных концепций сами начинают верить в них не раньше, чем сведут концы с концами. Находясь в Монголии, Унгерн никаких связей с японцами не поддерживал, а командир Японской сотни, капитан Судзуки, сбежал от него еще до взятия Урги. На допросах и на суде Унгерн с несомненной искренностью отрицал, что действовал «под покровительством Токио».

Третья версия гласила, что он двинулся на Ургу по приглашению Богдо-гэгэна, просившего о «содействии в изгнании китайцев для его воцарения». Якобы его посланцы побудили барона отказаться от движения на Троицкосавск и повернуть к монгольской столице, но тогда непонятно, почему монголы начали помогать ему далеко не сразу. Гораздо более правдоподобны известия, что первый представитель хутухты прибыл к Унгерну уже под Ургой. Такое приглашение могло бы исходить от группы князей, если Унгерн встречался с ними на Долон-Норе, хотя, скорее всего, на этом совещании он всего лишь пытался вдохнуть жизнь в умирающее панмонгольское движение.

Наконец четвертое, самое бесхитростное объяснение дал один из офицеров Азиатской дивизии: «Метания затравленного зверя».

Это тоже не вся правда, а только часть ее. Унгерн метнулся на тот путь, который мысленно проходил не раз. Роль освободителя Монголии от китайских республиканцев, восстановителя монархии, защитника буддизма, гонимого революционерами-атеистами, давно имелась в его репертуаре, но раньше дело не шло дальше репетиций. Теперь предстояло сыграть ее при полном зале.

2

До конца октября 1920 года ни в белом, ни в красном Забайкалье, ни в Харбине никто не знает, где находится Азиатская дивизия или то, что от нее осталось. В течение нескольких недель, если судить по газетам, Унгерн появляется одновременно в разных местах, удаленных друг от друга на сотни километров. Проносится слух, будто он занял Троицкосавск, захватил там десять пудов приискового золота и триумфальным маршем движется в сторону Байкала. Публикуются мифические сводки с забайкальского театра военных действий: якобы красные в панике эвакуируют Верхнеудинск и даже Иркутск, к Унгерну присоединяются разочаровавшиеся в советской власти партизанские вожаки, буряты, старообрядцы.

Особую радость вызывает известие, что золото, захваченное им в Троицкосавске, было не приисковым, а в слитках, и предназначалось для отправки Юрину-Дзевалтовскому, известному большевику и послу ДВР в Китае. Русские беженцы ненавидят этого бывшего гвардейского поручика, чье появление в Пекине вместо старого посла, князя Кудашева, означало конец их прежнего статуса: отныне они становятся совершенно бесправны. Высказываются радужные предположения, что теперь вся дипломатическая деятельность

большевиков, основанная на подкупе китайских чиновников, будет сильно затруднена.

В свою очередь, советские газеты объявляют Унгерна разбитым наголову, а его дивизию — полностью уничтоженной. Тем самым снимается вопрос, куда на самом деле исчез бешеный барон. Если даже он жив, это не имеет значения; называемое число 700 пленных свидетельствует, что Азиатская дивизия перестала существовать.

Тем временем партизанские армии покидают свои таежные базы и переходят в наступление. И белым, и красным уже не до Унгерна. Чита капитулирует, Семенов еле успевает вылететь из нее и чудом добирается до Даурии на неисправном аэроплане^[78]. Собственно атаманские части спокойно уходят в Китай, а каппелевцы, расположенные на самых опасных участках, с боями прорываются к границе. Взорваны, чтобы не достались красным, или навсегда покидают Забайкалье, чтобы в Китае истлеть на станционных тупиках, бронепоезда «Грозный», «Резвый», «Справедливый», «Отважный», «Повелитель», «Истребитель», «Мститель», «Атаман», «Всадник», «Семеновец», «Генерал Каппель». Им на смену идут «Ленин», «Коммунист», «Стерегающий», «Красный орел» и «Красный сокол», «Борец за свободу» и «Защитник трудового народа».

К войне все привыкли, как привыкают к плохой воде или хронической болезни. Накануне падения Читы там проходит очередной футбольный матч; на сцене Мариинского театра, где два года назад Неррис бросил бомбу в Семенова, идет премьерный спектакль по пьесе Мережковского «Павел I». Сходство между ее главным персонажем и Унгерном могли подметить уже тогда. «На троне душевнобольной монарх, страдающий манией величия, перешедшей затем в безумие», —

пишет рецензент газеты «Наше слово». Как недостаток спектакля отмечается излишняя комичность императора в актерском исполнении — нарочито выпячены его смешные, жалкие черты. Может быть, тут не обошлось без намека на Унгерна, над которым теперь можно и посмеяться.

В эти дни на газетные полосы вновь проникают слухи о нем. Кто-то уверяет, что его конница от Акши устремилась на север, чтобы перерезать Транссибирскую магистраль, тогда красные не смогут использовать ее для переброски войск с запада. Другие, напротив, рассказывают, будто на станции Маньчжурия видели его переодетым в штатское, и если прекратил сопротивление этот человек, известный своей непримиримостью, значит, конец бесповоротен.

Между тем Унгерн стремительными переходами идет вверх по притокам Онона. Лишние винтовки, взятые в расчете на добровольцев-монголов, розданы на руки. Обоз сокращен до минимума, в нем только скудный запас муки, снаряды для трех оставшихся пушек и по 150 запасных патронов на всадника. Нет ни палаток, ни теплого обмундирования, хотя стоит октябрь, ночами температура опускается ниже нуля. Эта странная для Унгерна непредусмотрительность лишний раз говорит о том, что с самого начала похода он нацелился на монгольскую столицу и рассчитывал на трофеи.

Чтобы создать впечатление большого войска, во время переходов приказано двигаться по двое в ряд. Вокруг немало невидимых глаз, а при таком построении растянувшаяся по степи конная колонна издали кажется многочисленнее. Для перевозки пулеметов у монголов позаимствовано древнее как мир, но слегка усовершенствованное транспортное средство. На оси с колесами от тарантаса устанавливали сколоченную из досок платформу с «максимом» или «кольтом», к ней

крепили дышло, к дышлу прикручивали ремнями поперечную длинную палку («давнур»), которую двое всадников клали на передние луки седел и тащили за собой это нехитрое сооружение.

Через две недели, перевалив через Бархе-Дабан, Унгерн разбивает бивак в долине Барун на речке Тэрельдж при впадении ее в Толу, примерно в 40 верстах к востоку от Урги. Поблизости находится ставка хошунного князя Ван-гуна по прозвищу Толстый Ван, Унгерн надеется через него завязать сношения с другими князьями. Отсюда он отправляет генералу Чу Лицзяну, начальнику столичного гарнизона, письмо с требованием впустить его «со всем войском» в город, ибо ему необходимо пополнить запасы продовольствия по дороге к русской границе.

Впоследствии на этом основании пытались доказать, будто он по-прежнему стремился воевать исключительно с большевиками и поневоле вынужден был штурмовать Ургу, чтобы проложить себе путь к рубежам Советской России. Многие его офицеры придерживались того же мнения, но лишь потому, что Унгерн никого не посвящал в свои планы. Его письмо — скорее дань условностям перед объявлением войны, чем декларация истинных намерений.

Всех китайских солдат и офицеров монголы называли «гаминами» (от кит. *гэмин* — революция; отсюда же название созданной Сунь Ятсеном партии Гоминьдан). Ургинские власти были связаны с революционными группировками Южного Китая, поэтому на поступивший от них запрос, кто он такой и для чего явился в Монголию, Унгерн ответил, что он — монархист и воюет со всеми революционерами, где бы те ни находились и к какой бы нации ни принадлежали. О пополнении запасов продовольствия речи больше нет; второе письмо Чу Лицзяну — это уже ультиматум. В

пересказе тех, кто его читал или, что вероятнее, близко к тексту знал содержание, Унгерн писал следующее: «Предлагаю немедленно сдаться мне и очистить Монголию от ваших войск. Всем сдавшимся будет сохранена жизнь и дана возможность возвратиться в Китай. Ответ буду ждать в течение 3-х дней, а потом начну наступление и заберу Ургу».

Ответом было «предостережение», на этом переписка прекратилась. Китайские власти объявили Ургу на осадном положении, после семи часов вечера жителям запрещено появляться на улице. Всех китайцев, сидевших в тюрьме, но изъявивших готовность взять в руки оружие, выпустили и записали в солдаты. На их место стали сажать членов русской колонии, которые рассматривались теперь как пятая колонна противника.

Еще во время своей переписки с Чу Лицзяном, не надеясь на успех, Унгерн начал готовиться к штурму. Одновременно он попытался наладить отношения с монголами, но пока что все контакты сводились к торговым операциям. Продавцы заламывали несусветные цены за лошадей, скот и фураж, а барон, чтобы расположить их к себе, платил втридорога, к тому же золотом. Наконец через две недели после прибытия на Варун дивизия снялась с лагеря и выступила в поход.

Позже, когда известия о первых боях за Ургу достигли Харбина, там поначалу отказывались верить, что монгольскую столицу штурмует не кто иной, как Унгерн. Газеты утверждали, что это «утка» советской пропаганды. Печатались поступившие из «достоверных источников» сообщения, будто под Ургой действуют партизаны эсера Калашникова, который после ссоры с большевиками ушел из Иркутска в Монголию. Вскоре, однако, не осталось сомнений, что войска, осадившие

священный город Богдо-гэгэна, и есть вынырнувшая из небытия Азиатская дивизия.

3

Первый удар Унгерн решил нанести по Маймачену — столичному пригороду, населенному исключительно китайцами. Здесь жили чиновники, коммерсанты, офицерство, размещались канцелярии, казармы, банки, конторы и склады крупных торговых фирм. Единственный из поселков, составлявших городской конгломерат, Маймачен был обнесен глинобитной стеной с воротами. На ночь они запирались по сигналу чугунного гонга со сторожевой башни, но стену давно не ремонтировали, во многих местах она зияла проломами, и захватить эту средневековую крепость было, в общем-то, несложно.

Перед штурмом дивизия разделилась на две группы. Одну возглавил Унгерн, другую — его ближайший помощник, генерал Резухин. В ночь на 27 октября 1920 года он с тремя сотнями занял возвышенности к востоку от Маймачена и утром завязал перестрелку с китайцами. Она продолжалась целый день, но вторая группа наступать не могла; Татарский полк отстал и прибыл только поздно вечером. Тут же, не дожидаясь рассвета, Унгерн с шестью сотнями и тремя пушками двинулся к Маймачену с севера. Когда, по его расчетам, вышли в нужное место, он указал артиллеристам позицию и скомандовал дать залп. Кругом царила кромешная тьма, никто не понимал, где противник и куда нужно стрелять. «Капитан Попов подлетел к барону и попросил распоряжения о том, в каком направлении и по какой цели открыть огонь, — вспоминал Князев. — В ответ на вопрос Унгерн протянул руку, будто бросил ее, в ту сторону, куда напряженно

смотрел, силясь преодолеть взором охватывавший его со всех сторон мрак. «Туда», — приказал он со свойственной ему лаконичностью. Ночное небо прорезалось длинными вспышками орудийных выстрелов. Вслед за тем гранаты гулко гроыхнули где-то внизу; звуки разрывов многократным эхом прокатились по невидимым горам».

Прошло время, китайцы не реагировали на обстрел. Напрашивалось подозрение, что их тут нет, что в темноте отряд заплутал в сопках. Не в силах вынести неизвестности, Унгерн в полном одиночестве, как всегда, поскакал на разведку. Идея была не из самых удачных, вдобавок он плохо представлял, где, собственно, находится Маймачен.

Стояла непроглядная октябрьская ночь, безлунная и беззвездная. Часа три Унгерн носился на своей Машке по совершенно не знакомой ему местности, безуспешно разыскивая сначала китайцев, потом — Резухина и, наконец, свой собственный отряд. В конце концов он все-таки выбрался к крепостной стене, поехал вдоль нее и даже каким-то образом умудрился проникнуть в город и наткнулся на часового. Тот поднял тревогу, но Унгерн сумел ускакать.

Он еще не успел вернуться к потерянному им «войску», как китайская пехота, в темноте скрытно подобравшись к разбредшимся среди сопкок казакам, бросилась в атаку. Конница отступила без больших потерь, но из трех пушек удалось вывезти всего одну. Капитан Попов, командир батареи, до последней минуты вел огонь картечью, был ранен и зверски добит победителями.

Батарейцы в страхе ожидали репрессий, но их не последовало. Барон, видимо, признавал свою вину. Артиллерист, под носом у китайцев снявший с одной из брошенных пушек прицельные приспособления, даже получил награду. Зато на следующий день Унгерн

выместил ярость на русских колонистах из поселка Мандал в 40 верстах от Урги. Все, кто отказался добровольно поступить к нему на службу, были расстреляны, их дома сожгли^[79].

Осажденные использовали передышку, чтобы укрепить оборону. В штабе Чу Лицзяна имелись офицеры, окончившие академию германского Генерального штаба, теперь они получили возможность применить свои познания на практике. Были отрыты окопы, оборудованы пулеметные гнезда и позиции для артиллерии. У китайцев было до сорока орудий, в том числе горные, и несколько десятков пулеметов; Азиатская дивизия могла противопоставить им одну пушку и один пулеметный взвод. По численности она уступала столичному гарнизону в лучшем случае вдесятеро.

Ургу занимала многотысячная, хорошо вооруженная и экипированная армия со штабами, автомобилями и полевыми телефонами, а под командой Унгерна было не более восьми сотен оборванных полуголодных всадников с ограниченным запасом патронов, тем не менее утром 2 ноября он вновь подошел к столице Халхи. В строй поставили всех нестроевых и всех раненых, способных держаться в седле.

Теперь, оставив Маймачен в стороне, Унгерн повел атаку с северо-востока, со стороны горы Мафуска. Первый приступ был отбит, тогда он с несколькими сотнями незаметно выдвинулся к центральным кварталам по руслу речки Сельбы, притока Толы, но выбраться из речной пади оказалось нелегко, гребни соседних сопок были прикрыты окопами. Китайцы встретили наступающих огнем. Сотни спешились, начались сменяющие одна другую изнурительные атаки.

Унгерн обычно находился в гуще боя, что приносило пользу отнюдь не всегда. Увлечшись, он часто переставал контролировать ход сражения в целом, и тогда общее руководство осуществлял Резухин. Скорее всего, так обстояло и на этот раз. Кто-то объяснял храбрость барона воздействием наркотиков, кто-то — «мистической верой в свое призвание». Он появлялся в самых опасных местах, причем без оружия, с одним лишь неизменным «ташуром» в руке. Толстая рукоять этой специфической монгольской плети служила ему средством воздействия на подчиненных. Ни шашки, ни револьвера Унгерн не носил, но не в качестве буддиста, как полагали некоторые, а из опасения в гневе пристрелить или зарубить кого-нибудь из своих. Это следовало из его же слов, хотя было мнение, что он «бравит своей безудержностью». Безоружный, Унгерн острее ощущал и нагляднее демонстрировал собственную исключительность, служившую ему самой надежной защитой. Иногда, правда, на поясе у него висела пара ручных гранат, чтобы отбиться в случае внезапного нападения.

Из хаоса этих дней мемуаристы выделяют случай с прапорщиком Козыревым, командиром пулеметного взвода. Под начало ему отдали два оставшихся бесценных «кольта», он старался оправдать доверие, лез на рожон, и последние пулеметы тоже едва не были захвачены китайцами. Сам Козырев чудом не получил ни царапины. «Смотри! — предупредил его Унгерн. — Если ранят, повешу». Между тем бой продолжался, вскоре Козырева ранило пулей в живот. По виду рана была смертельной; Унгерн посмотрел на раненого и молча поехал прочь. В итоге Козырев все-таки выжил, дело забылось, но те, кто излагал эту историю, вполне допускали, что будь рана менее тяжелой, Унгерн способен был выполнить обещание. Шутил он крайне редко, сотни страниц воспоминаний о нем сохранили

всего несколько мрачных острот, неизменно связанных с возможностью смерти тех, кто становился объектом его юмора. Вероятно, история с Козыревым — как раз такой случай, но грань между шутливой угрозой и готовностью привести ее в исполнение была настолько зыбкой, что не все могли отличить одно от другого.

На рассвете 4 ноября Бурятский полк в конном строю ворвался в Ургу со стороны Кяхтинского тракта; его отогнали, но днем китайская пехота почти всюду была сбита с высот и отошла на последнюю линию окопов перед храмами Да-Хурэ. Однако успех был непрочный, осажденные быстро подтянули к месту прорыва свежие силы, в том числе артиллерию, а Унгерн уже исчерпал все резервы. Очередная атака закончилась отступлением, перешедшим в бегство; командиры с трудом сумели собрать рассеянные сотни лишь после того, как они вышли из зоны огня. Снова посылать их в бой Унгерн остерегся, сознавая, что успеха все равно не будет.

Ходили слухи, что китайцы в панике начали готовиться к эвакуации, для победы хватило бы еще двух-трех атак. Это очень похоже на правду, поскольку именно тогда с помощью «особой машины» были испорчены все бумажные деньги, хранившиеся в местных отделениях китайских банков. Машина аккуратно вырезала из кредитных билетов номера серий, которые затем увезли и спрятали в другом месте — на тот случай, если денежная наличность достанется Унгерну.

Он узнал об этом три месяца спустя, а в тот день его положение стало невыносимым. Люди находились в последней степени истощения, у многих не было глотка воды смочить горло, не говоря уж о чае и горячей пище. В довершение всего после мокрого снегопада ударил мороз, на ночлеге и на позициях спешенные всадники буквально примерзали к земле. Теплой одеждой не

запаслись, редкие счастливицы имели легкие шинельки; прочие довольствовались гимнастерками. Раненые умирали от холода. Патроны подошли к концу, и ночью Унгерн приказал отступить.

Тем не менее отчаянный натиск его бойцов произвел сильнейшее впечатление на китайцев, которые с тех пор считали барона страшным противником. Предвидя, что они не посмеют выйти из Урги, Унгерн отошел от нее всего на 40 верст и снова встал лагерем на Баруне. При подсчете потерь выяснилось, что они огромны — раненых насчитывалось около двух сотен, обморожены были почти все. Убитые составляли десятую часть рядовых всадников, четверо из каждых десяти офицеров остались лежать мертвыми на ургинских сопках. Все надеялись, что теперь Унгерн поведет дивизию на восток, в Маньчжурию, но тщетно. Отказываться от своих планов он не собирался.

СЕМЬ ГОЛОСОВ

1

Спустя полтора десятка лет после того, как Унгерн был расстрелян, в китайском Калгане во Внутренней Монголии одиноким стариком в нищете доживал век Дмитрий Петрович Першин, уроженец Даурии, известный в прошлом журналист, публиковавшийся под псевдонимом «Даурский», сибирский автономист, друг Потанина и Ядринцева. В должности чиновника по особым поручениям при иркутском губернаторе он много ездил по Монголии, интересовался буддизмом, коллекционировал буддийские иконы на шелке — *танки*, а уже на шестом десятке, в годы Первой мировой войны, принял предложение стать директором Русско-монгольского коммерческого банка и поселился в Урге. Здесь судьба Першина-Даурского пересеклась с судьбой даурского барона.

В 1935 году, по просьбе жившего тогда в Тяньцзине историка Ивана Серебренникова, в прошлом министра снабжения в правительстве Колчака, Першин написал обширные воспоминания, озаглавленные: «Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак: Записки очевидца тревожных времен во Внешней (Халха) Монголии». Это обстоятельный рассказ умного, трезвого, иногда ироничного наблюдателя. Его взгляд остер, память не ослабла, но голос уже тронут старческой сухостью. То, что случилось в Монголии при Унгерне, для Першина стало не апофеозом безумия и ужаса, как для заброшенных сюда революцией русских интеллигентов, и уж тем более не звездной минутой жизни, как для молодых унгерновских офицеров, а всего лишь

«тревожными временами». Першин пережил их зрелым человеком, когда новые впечатления не способны изменить устоявшийся взгляд на вещи, и перенес на бумагу в том возрасте, когда близость смерти побуждает быть не судьей, а летописцем.

Иначе звучит голос 27-летнего поручика, георгиевского кавалера и поэта Бориса Волкова. Для него Унгерн был врагом идейным и личным, отдавшим приказ о его расстреле, который лишь случайно не был приведен в исполнение. Записки Волкова — самый страстный из обвинительных приговоров, когда-либо выносившихся «кровавому» барону; по сравнению с ними даже речь Емельяна Ярославского, выступавшего общественным обвинителем на судебном процессе Унгерна в Новониколаевске, кажется холодным экзерсисом профессионального партийного публициста.

Студент юридического факультета Московского университета, Волков с началом войны окончил фельдшерскую школу, ушел на фронт, после революции вернулся в родной Иркутск, участвовал в юнкерском восстании в декабре 1917 года и скрылся от красных в сербском эшелоне. По дороге в Приморье сербы довели его до Харбина, оттуда он был послан обратно в Иркутск для подпольной работы. В разгар боев Лазо с Семеновым какой-то наивный комиссар, не успевший расстаться с благостными иллюзиями относительно ближайшего будущего, разрешил Волкову производить археологические раскопки близ монгольской границы, в районе Вала Чингисхана. Под прикрытием этой легенды он выехал в Забайкалье, там примкнул к семеновцам, а летом 1919 года колчаковская контрразведка направила его в Ургу как своего агента — с заданием собирать информацию о панмонгольском движении. Здесь Волков женился на дочери барона Петра Витте,

начальника русской «Экспедиции по обследованию Монголии» и вместе с семьей жены остался в Урге^[80].

После ее взятия Унгерном он ждал конца как колчаковский шпион и враг Семенова, хотя, похоже, вся его деятельность по наблюдению за местными панмонголистами существовала в сослагательном наклонении или ограничивалась разговорами с тестем, хорошо знавшим политическую обстановку в Монголии. Зато при встрече с Унгерном он сумел произвести на него хорошее впечатление и был принят на службу. Другие мемуаристы подтверждают его слова о том, что «барон чрезвычайно доверял первому впечатлению».

Спустя четыре месяца, перед тем как Азиатская дивизия выступила в поход на Советскую Россию, Унгерн составил список подозрительных лиц, подлежащих ликвидации после его ухода из Урги, а с дороги прислал телефонограмму с приказом добавить к этому списку еще четверых человек. Среди них значилась фамилия Волкова, но ему опять повезло: принявший телефонограмму дежурный офицер сам был поименован в числе этих четверых и предупредил товарища по несчастью.

Волков бежал на озеро Буир-Нор вблизи китайской границы. Китайцы вылавливали беглых унгерновцев и бросали в средневековую Цицикарскую тюрьму, но Волкова провезли мимо пограничных постов на телеге, под несколькими слоями брезента. В Хайларе один баргутский князь, которому барон Витте оказал когда-то важную услугу, взял под покровительство его зятя. «Воинственный баргут привел меня в штаб китайских войск, — пишет Волков, — и, хладнокровно обмахиваясь шелковым веером, заявил повскакавшим с мест от изумления офицерам, что я только что от Унгерна из Урги, и что я — его гость, поэтому всякое нанесенное

мне оскорбление он будет считать личным оскорблением».

Если Першин писал через полтора десятилетия после казни Унгерна, то Волков — летом 1921 года, прячась от китайцев на сеновале у знакомого бурята в Хайларе и еще не зная, чем закончился поход Азиатской дивизии на север. Его цель — раскрыть глаза современникам. «Стоит ли писать об этом? — так начинается он свои записки. — Не знаю. Часто я задаю себе этот вопрос. Поверил ли бы я тому, о чем хочу рассказать, если бы сам не пережил тех кошмарных кровавых дней, если бы, встав рано утром где-нибудь в мирном городе, за чашкой кофе пробежал страницы чужих, полных ужаса слов? Всегда я отвечаю отрицательно. Слишком нереально, слишком нелепо все пережитое».

Позднее Волков издал сборник своих стихов, его очерки печатались в американских журналах. В США он написал роман, мечтал о писательском успехе, но в этих его записках, без затей озаглавленных «Об Унгерне», нет и намека на какие-то литературные красоты. Это глас вопиющего в пустыне, где никто не хочет знать правду, гибрид памфлета с мартирологом, реестр убийств, каталог бессмысленных и циничных преступлений.

Перед Першиным стояли совсем другие задачи. Огонь давно потух, можно было без опаски ворошить остывшие угли. В его мемуарах все события тех месяцев, даже самые страшные, разворачиваются на фоне городской топографии, привычного быта и безмятежных монгольских пейзажей. «В Урге наступила сухая, как всегда, и холодная осень, — вспоминал он недели, последовавшие за первыми двумя штурмами города. — Вся долина реки Толы, вдоль которой протянулась столица, и окружающие ее плоские горы без единого деревца были затянуты скучным, серо-

желтым, блеклым покровом засохшей травы. Это однообразие пейзажа приятно контрастировало с массивным кряжем священной горы Богдо-Ула, густо покрытой хвойными разных пород».

2

Иная Монголия встает со страниц книги поручика Азиатской дивизии Николая Князева. Ее красота неоспорима, но тревожна, природа в своем вечном величии не обнажает пустоты и суетности людских страстей, напротив — подчеркивает их энергию. «Барханы следовали за барханами, покрытые местами сероватым снегом и выцветами соли, — описывает Князев преследование китайских войск в Гоби. — В промежутках между их волнами сияли короткие охряные горизонты. Слышалось поскрипывание вьюков и учащенное дыхание верблюдов. Мерно раскачиваясь на ходу, то поднимаясь на бархан, то вновь погружаясь в овраги, проплывал отряд версту за верстой, и к вечеру тени, падающие от верблюдов, принимали гигантские размеры».

В Монголии Князев вел дневник, а в 1942 году, в Харбине, издал книгу «Легендарный барон». Работать над ней он начал еще в 1930-х годах и, в отличие от Першина и Волкова, свой многолетний труд считал, видимо, главным делом жизни. Уроженец Петербурга, Князев окончил юридический факультет Московского университета, был офицером военного времени, потом бежал в Сибирь и попал к Унгерну еще в Даурии. Одно время он возглавлял дивизионную контрразведку, наверняка на нем было немало крови, отсюда его желание во всем оправдать Унгерна, чтобы оправдаться самому. Тем не менее литературная одаренность Князева несомненна, а главного героя своей книги он

знал так хорошо, что мог определить его настроение по опущенному или закрученному вверх правому усу.

В предисловии Князев настаивает, что изобразил Унгерна таким, каким тот «преломился в сердце его соратника, пройдя через призму зрелого сознания». Однако ценность этой талантливо написанной книги — не в «зрелом сознании» бывшего осведомителя, в эмиграции ставшего полицейским агентом, а в умении с завораживающей яркостью воссоздать картины двадцатилетней давности, когда автор был молод, полон сил, дышал воздухом иного мира и, поднявшись на сопку над полем боя с китайцами, мог увидеть и на всю жизнь запомнить, как «по широкой пади, розовой от первых лучей торжественно восходящего солнца, быстро продвигались разошедшиеся веером семь конных колонн».

Если Волков — самый яростный из обличителей барона, Князев — самый пылкий из его апологетов, то полковник Михаил Торновский — самый, пожалуй, объективный из всех, кто писал об Унгерне, и единственный, кто чувствовал себя обязанным подняться над собственными чувствами во имя высшей правды. Ему казалось, что он на это способен.

«За прошедшие двадцать лет, — пишет Торновский в предисловии к своей книге, — ко мне обращалось много лиц, прося дать материалы о событиях в Халхе 1920-1921 годов, участником которых я поневоле очутился, но все эти просьбы я отклонял, так как у меня самого не выкристаллизовалась беспристрастная оценка ряда событий. Историческая правда выясняется спустя много времени. Участникам событий трудно отрешиться от личных взглядов, и мне нужно было бы подождать писать на эту тему еще лет десять, но боюсь, — трезво заключает он, — что не проживу их».

Торновский — иркутянин, кадровый офицер, у белых командовал полком, а после падения Колчака застрял в

Урге. Он прибыл сюда, «имея в кармане один серебряный доллар», но коммерческая жилка и должность церковного старосты помогли ему наладить связи в русской колонии. Узнав, что в монгольской столице плохо с дровами (рубить лес на расположенной рядом священной горе Богдо-Ула строгойше запрещалось), он организовал доставку дров с дальних лесных дач, начал разработку залежей горного хрусталя в пещерах на Хэнтее, подумывал о рыбных промыслах на озере Хубсугул, но вся эта деятельность была прервана появлением Унгерна. Торновского мобилизовали, он служил начальником штаба в бригаде генерала Резухина, а после его убийства благополучно провел остатки бригады от Селенги до китайской границы. Позже он обосновался в Шанхае, работал в эмигрантских издательствах и газетах, и здесь же в течение двух лет, с 1940 по 1942 год, написал свою книгу, при его жизни не увидевшую свет даже в отрывках^[81].

3

Не похожи один на другой голоса еще двоих свидетелей — военного врача Никандра Рябухина (Рибо) и есаула Алексея Макеева. Они представляли собой две различные группы унгерновского офицерства: первый — бывших колчаковцев, разными ветрами занесенных в Монголию, второй — тех, кто пришел сюда из Даурии вместе с бароном.

Прилагательное «колчаковский» с добавлением любого ругательства определяло отношение таких, как Макеев, к таким, как Рябухин. Отношения между ними были напряженными, а то и откровенно враждебными. По сути дела, это был все тот же конфликт между каппелевцами и семеновцами, но осложненный новыми

обстоятельствами. «Коренные» даурцы с оружием в руках прошли всю Монголию, трижды штурмовали столицу и захватили ее, а в итоге были вытеснены на вторые роли более образованными и опытными колчаковскими офицерами, мобилизованными или добровольно влившимися в Азиатскую дивизию после взятия Урги.

Ее ветераны ненавидели этих людей, те платили им презрением. Из ближайших соратников барона по Забайкалью, им же и произведенных в офицеры, один раньше был денщиком, второй — содержателем трактира, третий — извозчиком, четвертый — полицейским, а большинство колчаковцев составляли настоящие фронтовики. Попадались люди с университетским образованием, кадровые военные вплоть до генштабистов. Те и другие на происходящее вокруг смотрели, естественно, по-разному.

Рябухин — оренбуржец, в прошлом личный врач атамана Дутова. В Монголию он попал из Синьцзяна, где были интернированы остатки Южной (Оренбургской) армии, служил в ургинском госпитале, затем возглавил походный госпиталь дивизии. В августе 1921 года Рябухин стал одним из руководителей заговора против Унгерна, которого считал маньяком и садистом. При этом в монгольских делах он разбирался плохо, мало ими интересовался и писал лишь о том, что видел своими глазами.

Иной фигурой был Макеев — адъютант Унгерна. По приказу барона ему приходилось исполнять «разовые экзекуции», хотя никакой природной склонности к заплочному ремеслу он не имел, в конце концов заплатил нервным расстройством за эту случайно доставшуюся ему должность и был переведен из палачей в осведомители. При мятеже в Азиатской дивизии он вовремя переметнулся на сторону заговорщиков, остался жив и в 1934 году, в Шанхае,

выпустил книжку под названием «Бог Войны — барон Унгерн». Она стала первым посвященным ему отдельным изданием и пользовалась большим успехом не только среди русских в Китае; отрывки из нее публиковали эмигрантские газеты по всей Европе.

Книжка написана от третьего лица, автор вывел себя под прозрачным именем есаула М., храбреца и человека чести. В ночь мятежа он пытался застрелить Унгерна, но это не помешало ему сохранить «теплую память о своем жестоком, иногда бешено-свирепом начальнике»^[82]. В бесхитростно рассказанных им историях все перемешано, все изложено с одинаковой лихостью и тяжеловесно-витиеватым юмором — подробности убийств и экзекуций, походы и сражения, бегство в Китай и коронация Богдо-гэгэна. Это взгляд человека, в далекой юности подхваченного стихией, а теперь раздираемого двумя противоречивыми чувствами — ностальгическим преклонением перед мощью владевшего им урагана и понятным желанием ощущать себя не просто жалкой песчинкой в его потоке.

Седьмой голос принадлежит 43-летнему журналисту и литератору Антонию Фердинанду Оссендовскому, впоследствии — польскому писателю с мировым именем. После революции он преподавал химию в Томском политехникуме, поэтому в Урге его называли «профессором». Возможно, он сам так представлялся, хотя был всего лишь приват-доцентом. Летом 1917 года он издал брошюру, в которой уличал Ленина как агента германского Генштаба, и при большевиках счел за лучшее перебраться из Петербурга в Сибирь. Какое-то время Оссендовский служил в Осведомительном отделе при Ставке Верховного правителя в Омске, с приближением красных бежал в

Монголию. По его рассказам, он безуспешно пытался проникнуть в Индию через Гоби и Тибет, пережил множество опасностей, спасался в пустыне от разбойников, слышал «страшные дикие голоса, раздававшиеся в ущельях и горных пропастях», видел «горящие озера» и скалы, чьи складки «в лучах заходящего солнца напоминали мантию Сатаны», но вся эта героическая авантюра — плод небескорыстной писательской фантазии, рассчитанной на читательский интерес. С Унгерном он познакомился весной 1921 года и в течение нескольких дней был его постоянным собеседником.

Незадолго перед тем как Азиатская дивизия выступила из Урги на север, Оссендовский уехал в Америку. Через год в Нью-Йорке на английском вышла его книга «Звери, люди и боги», сразу же переведенная на многие европейские языки и ставшая бестселлером. Монголия и Унгерн, поданные в соответствующей упаковке, оказались ходким товаром. Книгу цитировали на заседаниях британского парламента как беспристрастное свидетельство очевидца, но Свен Гедин, шведский путешественник по Центральной Азии, обвинял автора в недобросовестности. В Париже состоялся публичный диспут, на нем Оссендовский с успехом отражал нападки оппонентов. Тон задавали корреспонденты советских газет, но и русские эмигранты не разделяли восторгов европейской публики. В Оссендовском они увидели «новую Шахерезаду», хотя свои литературные узоры он расшивал все-таки по реальной канве.

В голосе Оссендовского чувствуется оттенок фальши, но таков уж его природный тембр. Во всяком случае, почти все рассказанное им об Унгерне подтверждается или протоколами допросов самого барона, или другими мемуаристами. То, что воспринималось как фантастика, оказалось правдой.

Если Оссендовский что и сочинял, так это свои приключения и мистические откровения, которыми якобы одаривали его монгольские ламы, включая Богдо-гэгэна. В остальном он лишь приукрашивал свою роль в реальных событиях и тщательно утаивал неудобные для себя факты. Не стоит искать у него признаний в том, что последний, печально известный приказ Унгерна по дивизии частично вышел из-под его пера, или что в Урге он как химик участвовал в опытах по производству химического оружия.

Расположение к нему барона Торновский объясняет просто: Унгерн рассчитывал, что «профессор» за границей «опишет его в ярких красках, достойных кинокартины». Похоже, это недалеко от истины. Оссендовский сообщает, что, узнав о его дневнике, Унгерн захотел прочесть записи о себе и, прочитав, написал на обложке тетради: «Печатать после моей смерти». Судя по этой резолюции, собственный образ показался ему приемлемым. Загадочный, никем не понятый одинокий пророк, грозный, но справедливый мститель, потомок крестоносцев в костюме монгольского хана — таким он хотел видеть себя сам и таким его изобразил Оссендовский. Одобрение первого читателя предвосхитило успех у последующих ^[83].

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

1

Русское, но принятое и европейцами название столицы Монголии происходит от слова *орго* — ставка. Китайцы называли ее Богдо-Хурэ («священный монастырь»), монголы — Их-Хурэ («большой монастырь»). В декабре 1911 года, после коронации Богдо-гэгэна, город был официально переименован в Нийслэл-Хурэ («монастырь-столица»), а еще 13 лет спустя стал Улан-Батором.

Урга раскинулась вдоль реки Толы, в долине, которая своим мягким ландшафтом напомнила одному бывалому путешественнику «роскошные долины Ломбардии». Тола здесь течет почти точно с востока на запад; город находился на ее правом берегу и в начале XX века состоял из группы отдельных поселений. Калганский тракт связывал его с Китаем, Кяхтинский — с Россией; по этим же дорогам шли телеграфные линии. Обочины были густо усеяны костями павших лошадей, быков, овец и смутно белели даже в темноте.

Те, кто направлялся в Ургу с севера, из России, въезжали в нее с запада. Первое, что они видели, был раскинувшийся на пологом склоне холма справа от дороги старейший столичный монастырь Гандан-Тэгчинлин — «Большая колесница совершенной радости». От других столичных монастырей он отличался строгостью нравов. Женщины должны были обходить его по окружной дороге, мужчинам-иноверцам тоже запрещалось здесь появляться. Это был город богословов, Афины северного буддизма. За пределами Тибета лишь Гандан имел право присуждать ученые

степени теологам, но кроме них тут обучались врачи и астрологи. Здесь выставлялись для поклонения высушенные, покрытые золотой краской и превращенные в изваяния-шарилы^[84] тела двух предшественников Богдо-гэгэна VIII, считавшихся пятым и седьмым перерождением тибетского подвижника Даранаты. В 1904 году, бежав из занятой англичанами Лхасы, в Гандане поселился Далай-лама XIII; для встречи с ним из Петербурга тогда приезжал знаменитый буддолог Федор Щербатской.

Над многоярусными черепичными кровлями дуганов возвышался простой и мощный, башнеобразный белый храм Мэгжид Жанрайсиг, посвященный Авалокитешваре Великомилосердному (по-монгольски — Арьяболо); его земным воплощением считались далай-ламы. Внутри стояла громадная ростовая статуя этого бодисатвы из позолоченной бронзы высотой 80 локтей (более 25 метров), изделие китайских литейщиков из монастыря Долон-Нор. Статую по частям доставили в Ургу и смонтировали на месте. Находясь под ней, снизу можно было разглядеть лишь пьедестал в форме лотоса и укутанные шелком колени бронзового исполина^[85]. Подавляющее и вместе с тем волнующее чувство собственной малости, которое испытывали кочевники рядом с этим колоссом, один русский скиталец времен Гражданской войны сравнил со своими чувствами при виде Кельнского собора. Полая внутри, статуя была заполнена священными книгами, субурганами разных размеров, в том числе из сандалового дерева, можжевельновыми палочками для воскурений и прочими сокровищами. Ее окружали 10 тысяч статуэток Будды Аюши, покровителя долгоденствия; все они были отлиты на варшавской фабрике Мельхиора.

На сооружение Мэгжид Жанрайсиг ушла львиная доля кредита, который правительство Николая II предоставило правительству Богдо-гэгэна для создания армии и развития экономики. Русские дипломаты регулярно пеняли монголам на нецелевое расходование полученных средств, но протесты ни к чему не привели, строительство продолжалось, пока в 1914 году не было завершено. Немец Герман Констен наблюдал эту стройку в самом разгаре, и множество рабочих вкупе с архаичными подъемными приспособлениями произвели на него приблизительно то же впечатление, какое могло вызвать у современного европейца возведение египетских пирамид.

В полуверсте от Гандан-Тэгчинлина, если двигаться на восток, начиналась центральная часть города — Хурэ (русские называли ее «Куренем»), Она имела форму неправильной подковы, разомкнутой на юг, в сторону Толы. На противоположном, левом берегу вздымались величественные лесистые кряжи священной Богдо-Улы, с другой стороны тянулись голые сопки гряды Чингильту-Ула. Над ними господствовала гора Мафуска, увенчанная мачтой радиостанции.

На западе Хурэ жили китайцы. Это был богатый буржуазный район с усадьбами из нескольких смежных внутренних дворов, отгороженных от улицы глухой стеной с фигурными, ярко раскрашенными воротами. Отсюда, над ложем Толы, одна над другой шли две широкие террасы. Нижняя представляла собой тибетский квартал; на верхней, в бревенчатых домах со ставнями и резными наличниками, жили самые давнишние из русских колонистов. Еще восточнее располагался Захадыр — центральный базар, самое оживленное место в городе. Во время осады Урги к его лавкам стекались за информацией китайские и унгерновские шпионы; все новости тут становились известны раньше, чем в штабе Чу Лицзяна или

канцелярии Чэнь И. На Захадыре «бился пульс ургинской розничной торговли», а местом заключения крупных оптовых сделок были четыре-пять китайских улиц между Ганданом и главным монастырем Урги — Да-Хурэ. По традиции никакая купля-продажа не должна производиться вблизи храмов — ближе, чем слышен удар храмового гонга, но китайцы втиснулись сюда вопреки протестам ламства и удержались благодаря поддержке Пекина.

Собственно Да-Хурэ лежал за овражистым руслом впадающей в Толу речки Сельбы. В нем и вокруг него была сосредоточена большая часть монгольского населения Урги. Ламы жили в юртах, обнесенных оградками из жердей, но многие князья выстроили себе деревянные или глинобитные «бейшины». Каждый из двадцати шести хошунов Халхи имел тут свое представительство с чиновником и писарем-бичакчи. Над массивом юрт и двориков царили два ориентира — полукруглый, обитый листовой медью, купол храма Майдари-Сум^[86], и золоченая крыша Шара-ордо, Желтого или Златоверхого дворца Богдо-гэгэна. Другой его дворец, который русские называли Зимним, а монголы — Зеленым, изолированно стоял на берегу Толы.

В центре Да-Хурэ простиралась огромная, пустынная, но в праздники заполняемая тысячами паломников площадь Поклонений. Перед ней стояли трехарочные въездные ворота с изящными черепичными кровлями — дар последнего, как оказалось, китайского императора последнему, как скоро выяснится, ургинскому хутухте.

Не считая мелких кумирен, на площадь Поклонений так или иначе выходили все основные святыни столицы: пережившая три столетия и считавшаяся священной гигантская юрта Абатай-хана, который первым из

князей Халхи принял буддизм; Майдари-Сум и тантрийский Тэгчин-Калбын-Сум, личный храм Богдо-гэгэна, примыкавший к его Златоверхому дворцу. Особняком стоял Цогчин — первый соборный храм Урги, громадный деревянный шатер, вмещавший две с половиной тысячи молящихся. Его своды опирались на 108, по числу титулов Авалокитешвары, колонн из хангайской лиственницы^[87].

В южном сегменте площади группировались все государственные учреждения (ямыни). Здесь же располагалась резиденция Чойджин-ламы — родного брата Богдо-гэгэна VIII и главного оракула, якобы предсказавшего Семенову его великое будущее; дальше вновь шли китайские кварталы с лавочками, дешевыми харчевнями, цирюльнями, шорными и скорняжными мастерскими. Этот район русские называли Половинкой.

«От Половинки, — пишет Першин, — далее на восток дорога поднимается на безотрадное полугорье, голое и каменистое, занимаемое Консульским поселком». Здесь находился комплекс зданий российского консульства с квартирами служащих и офицеров конвоя, казармами, почтой, типографией, школой монгольских драгоманов и православной церковью. Еще дальше тянулась единственная улица длиной версты в полторы, вдоль нее стояли дворы русских купцов, скотопромышленников, торговцев, ямщиков. В начале этой улицы выделялось самое большое в городе двухэтажное кирпичное здание бельгийской золотопромышленной компании «Монголор». Накануне Первой мировой войны в нем обосновался дипломатический агент Орлов со своим штатом. Другие иностранные консульства и концессии находились в китайской части столицы. Помимо русского флага над ней развевались американский,

британский, датский (датчане строили телеграфные линии), бельгийский и почему-то греческий.

Русская колония имела выборные органы управления, больницу и коммерческое училище^[88]. До революции ее численность определяли приблизительно в 500 человек, но потом она стала быстро расти, особенно после разгрома Колчака, когда в Монголию хлынули беженцы из Сибири. К приходу Унгерна в ней насчитывалось около трех тысяч русских. Процент интеллигенции был, наверное, не меньший, чем в Москве и Петербурге.

От Консульского поселка дорога вела к Маймачену. Практически это был отдельный китайский город в трех-четыре верстах от центра Урги. При Цинах здесь проживал пекинский наместник-амбань, покинувший Монголию в 1911 году. Через восемь лет его место занял генерал Сюй Шучжэн, а на смену ему пришел Чэнь И. В казармах рядом с Маймаченом размещалась большая часть столичного гарнизона. Солдаты в тогдашнем Китае — это отбросы общества, их старались держать подальше от жилых кварталов.

«В один из вечеров над Ургой зашла туча и разразилась гроза со страшными раскатами грома, — писали томские профессора Боголепов и Соболев, побывавшие здесь в 1912 году. — Фонарей в огромном городе нет, было темно, как ночью, и каждый удар грома сопровождался криком: «А-а-а!» Это монголы выражали свой страх перед грозой. Судя по крику, в Урге великое множество монголов, но никто не знает, сколько в ней жителей».

Позже со статистикой тут обстояло не лучше, население столицы оценивали в 60, 80 и даже в 100 тысяч человек. Труднее всего было назвать численность монголов — она зависела от сезона и дат религиозного календаря. Сотни и тысячи юрт то покрывали склоны

окрестных холмов, то исчезали. Островами среди волн этого изменчивого степного моря были монастыри, в них проживало не то 20, не то 30 тысяч послушников и лам. Их оранжевые и бордовые одеяния попадались всюду, но в уличной толпе заметно преобладал синий цвет китайских халатов — китайцы составляли до двух третей постоянных жителей Урги.

Зимой сюда съезжались монгольские князья с домочадцами и свитой, однако живущих здесь круглый год простых монголов было немного. Торговлей они почти не занимались, хотя их ближайшие родичи, буряты, держали в руках весомую долю ургинской коммерции. Среди выходцев из России немало было евреев и татар. Быстро росла японская колония; один из ее членов, как в 1919 году доносил в Омск местный колчаковский агент, открыл первый в Урге публичный дом, чтобы через женщин выведывать секреты русских и китайских клиентов^[89]. Время от времени появлялись западноевропейские и американские дипломаты, коммерсанты, инженеры, миссионеры и просто авантюристы вроде беглого датского матроса Франца Ларсена, харизматичного конокрада, любимца Богдо-гэгэна и его жены Дондогдулам, которую он учил стрелять из винчестера.

В районе Захадыра и Половинки, на узких улочках, стиснутых заплотами из неошкуренных лиственничных стволов, было многолюдно. В толчее проходили обозы и верблюжьи караваны, проезжали всадники и китайцы-велосипедисты, но не такой уж большой редкостью считался и автомобиль. На Кал-ганском тракте существовали газолиновые пункты для заправки горючим. Работала электростанция на угле из Налайхинских копей, кое-где в домах по вечерам зажигалось электричество. Имелся кинематограф, куда монгольские князья приезжали со всеми домочадцами,

как на праздник. Телефонная сеть насчитывала до сотни абонентов.

Русские считали Ургу типично азиатским городом, однако японцы утверждали, что такого города нет больше нигде в Азии. Лестный титул Северной Лхасы определял суть монгольской столицы не многим точнее, чем сравнение с Северной Венецией применительно к Санкт-Петербургу. Через свои святыни и обитающего в ней Живого Будду связанная с сакральными силами, но несравненно шире открытая миру, чем Лхаса настоящая, где даже швейные машинки находились под запретом, Урга являла собой уникальное сочетание монастыря и ханской ставки, рынка и богословской академии, Востока и Запада, современности и Средневековья.

Монголы не сжигали и не зарывали своих мертвецов, а оставляли в степи на съедение хищникам. Это был последний доступный человеку подвиг самопожертвования — после смерти он должен был собственной плотью послужить на благо других живых существ, чтобы обеспечить себе благоприятное перерождение. Если труп долго оставался несведенным, родственники покойного начинали беспокоиться. В Урге вместо волков, лис и грифов-стервятников роль могильщиков исполняли собаки. За пару часов от вынесенного в сопки мертвого тела оставался голый скелет, но обилие человеческих костей в окрестностях столицы никого не смущало — для буддиста скелет символизирует не смерть, а начало новой жизни.

«Ни водопровода, ни канализации, ни мостовых, ни освещения, — констатирует Торновский. — Санитарной частью заведовали солнце, ветер, холода, собаки и чистый воздух. Благодаря им в Урге почти не было инфекционных заболеваний».

Громадные стаи полудиких собак обитали на городских свалках и в тех местах, куда выносили трупы, по ночам их лай и вой «сливались в шум, подобный резкому воющему ветру и звуку морского прибоя». В сопках между Гандан-Тэгчинлином и Да-Хурэ, где этих пожирателей мертвецов было больше всего, ночная встреча с ними могла стоить жизни одинокому путнику — иногда они нападали и на живых. Европейцы, признавая их необходимость, относились к ним с опасливым омерзением, а монголы — с почтением. Несколько особенно крупных экземпляров этой породы были представлены в зверинце Богдо-гэгэна.

Перебили их в 1924 году. Народное правительство специальным указом запретило относить мертвых в сопки, но революционный указ, естественно, игнорировался, и тогда, как с восторгом сообщал заезжий московский журналист, «в назначенный день на улицы вышли все ревсомольцы, все партийцы, все передовые монголы, и это была собачья Варфоломеевская ночь».

2

Осенью 1919 года, когда разгром Колчака перестал быть секретом даже для монголов, к дипломатическому агенту Орлову, представлявшему здесь Омское правительство, обратилась группа русофильски настроенных монгольских чиновников. Они попросили у него совета, кого предпочесть в качестве сюзерена — красную Москву или Пекин. Орлов, разумеется, рекомендовал идти под китайцев. Впрочем, и без его подсказки к этому варианту склонялись многие князья и ламы, группировавшиеся вокруг министра иностранных дел Цэрэндоржа. Вскоре генерал Сюй Шучжэн (Маленький Сюй, как называли его в отличие от

Большого Сюя — китайского президента Сюй Шичана) беспрепятственно вошел в Ургу с 12-тысячной армией и целым штатом чиновников, но повел себя совсем не так, как ожидалось.

Он установил в Монголии режим военной диктатуры, ликвидировал все правительственные учреждения, разоружил созданную с помощью русских инструкторов немногочисленную монгольскую армию, а Богдо-гэгэна вынудил отречься от престола. Процедура отречения была публичной и сопровождалась унижительным церемониалом: низложенный монарх должен был трижды поклониться портрету китайского президента. Само слово «Монголия», чтобы не вызывать исторических ассоциаций, пропало с карты республиканского Китая, ее территория превратилась в безликие «Северо-Западные провинции».

Перед русскими Сюй Шучжэн щеголял европейскими манерами и у себя дома вечерами брэнчал на рояле, нарочно оставляя окна открытыми. Его чиновники организовали что-то вроде клуба для столичного бомонда всех национальностей и безуспешно разыскивали по городу бильярд, который казался им непременным атрибутом такого рода заведений. Для монголов устраивались праздники, одновременно во все крупные центры Халхи были введены войска и восстановлена маньчжурская система управления, разве что чиновники не имели теперь ни кос, ни круглых шапочек с разного цвета шариками и назывались не фудуцунями, как при Цинах, а политическими комиссарами.

В Пекине аннулировали все прежние договоры с Россией об автономии Монголии. Тысячи переселенцев из охваченных неурожаем районов Китая двинулись в Халху, китайские купцы и ростовщики извлекли на свет старые долговые расписки. Необходимость платить долги, да еще с набежавшими за восемь лет

процентами вызвала панику. Князя, сами же пригласившие китайцев для защиты от Семенова и большевиков, были разочарованы и возмущены. Богдо-гэгэн находился под домашним арестом, многие влиятельные монголы, вплоть до главного китаефила Цэрэндоржа, робко протестовавшего против новых порядков, угодили в тюрьму.

В Пекин потоком шли жалобы, наконец Суй Шичжэн был отозван; вместо него вновь назначили дипломатичного Чэнь И. Пока он не прибыл в столицу, всеми делами заправлял кавалерийский генерал Го Сунлин — «ражий детина с замашками хунхуза», как характеризовал его Першин. Он «являлся на обеды, устраиваемые русской колонией, в полной форме, в кепи с белым султаном и в перчатках на два-три размера больше, чем нужно; сидел, обливаясь потом, не умея пользоваться ножом и вилкой, зато в конце обеда яростно накидывался на кофе и ликеры».

После попытки Унгерна захватить Ургу обеды с участием китайских генералов навсегда ушли в прошлое, всех русских считали сочувствующими барону. Подверглась разгрому консульская церковь, до полутора сотен человек оказалось в тюрьме. Репрессии против монголов приняли еще более массовый характер. Были разграблены пригородные монастыри, где прошли молебны о даровании Унгерну победы, ожесточение дошло до того, что солдаты врывались в храмы во время богослужения и открывали пальбу. В окрестностях столицы у кочевников реквизировали верблюдов, лошадей и скот в небывалых прежде масштабах; в Урге мародерствовала солдатня. Добропорядочные китайцы из «фирмовых служащих» говорили Першину: «Из хорошего железа гвозди не делают, делают из худого. Доброго человека в солдаты не берут, берут худого».

Стоял бесснежный холодный ноябрь с резкими ветрами. Исчезли недавно еще окружавшие город юрты, монголы откочевывали подальше от столицы и угоняли стада. Обезлюдел Захадыр, ламы не выходили из монастырей. Въезды в город охранялись войсками, жизнь замерла, торговля прекратилась.

Чу Лицзян провел мобилизацию, поставив под ружье до трех тысяч китайских торговцев и ремесленников. По пустынным улицам, с которых пропали даже неизменные старухи с корзинами и деревянными вилами, собиравшие сухой навоз для очага, в разных направлениях проходили воинские колонны, проносились автомобили, разъезжали конные патрули У присутственных мест на площади Поклонений целыми днями маршировали новобранцы. Однажды здесь же устроили артиллерийские маневры. Солдаты ловко отцепляли маленькие горные пушечки, выкатывали их на позиции, заряжали, целились. Проходивший мимо Першин отметил, что вся амуниция, седла, механизмы были в прекрасном состоянии, «франтоватая кожа приборов и чехлов блистала новизной». Раньше подобное зрелище привлекло бы множество зевак, особенно монголов с их простодушным любопытством, но сейчас вокруг не было ни души. Все прятались по домам, город затаился в ожидании близких и грозных перемен.

«Лишь изредка, — вспоминал Першин, — из монастырских храмов доносились ревущие протяжные звуки священных труб, зловеще раздававшиеся в морозном воздухе, но скоро и трубы умолкли. Военные власти запретили ламам совершать моления в храмах по той причине, что громкие и стонущие трубные звуки наводят ужас и смущают солдат. Солдаты говорили, что ламы своими молениями накликают всякие беды и несчастья на гарнизон, ибо им послушны злые духи и демоны, покровители этих мест. Как ни поясняли ламы,

что они молятся добрым божествам, пришлось подчиниться»^[90].

Караулы никого не выпускали из Урги, но за деньги можно было раздобыть все, в том числе разрешение на выезд. Те из русских, кто имел средства, уезжали в Китай по относительно безопасному Калганскому тракту. Более удобное направление на Хайлар, в зону КВЖД, оседлал Унгерн. Русских беженцев он мобилизовывал, считая, что их долг — воевать с красными, не важно — с гаминами или большевиками. Уклонявшиеся от исполнения этого долга рассматривались как дезертиры и по законам военного времени подлежали смерти.

Китайские колонисты, пробиравшиеся в Ургу, под защиту гарнизона, рассказывали, что войско барона постоянно растет. Никто не верил, что он действует в одиночку, распространялись самые невероятные слухи о его покровителях. Среди них называли даже Врангеля, и после первого штурма столицы Чу Лицзян по телеграфу запросил подкреплений из Пекина на том основании, что Врангель якобы отправил на помощь Унгерну армию в 15 тысяч штыков. Видимо, поводом для этих опасений стали сообщения об эвакуации Крыма, а также мнимые намерения каппелевцев, считавших себя частью Русской армии Врангеля, из Забайкалья идти в Монголию.

РОЖДЕНИЕ УЖАСА

1

Врангель уже плыл из Севастополя в Турцию, когда Унгерн, отступив от Урги, вновь расположился лагерем на Тэрельдже. Преследовать его Чу Лицзян не решился, но настроение в дивизии было подавленное. По словам Торновского, «нравственный ущерб», причиненный неудачным штурмом, усугубился «экономическим кризисом».

Азиатской конной дивизии грозила реальная опасность превратиться в пешую — начался падеж лошадей, не привыкших обходиться без овса. Требовалось заменить забайкальских лошадей местными, но взять их было негде, как и скот для котлов. Монголы угнали табуны и стада подальше от района боевых действий, в округе попадались лишь юрты последних бедняков. «Достаточно было взглянуть на этих исхудалых, почерневших от грязи и дыма кочевников, чтобы понять, что здесь ничего не добудут самые искусные фуражиры», — вспоминал Князев.

Стояли морозы, а раздобыть юрты удалось не сразу. Теплую одежду сами шили себе из овчины и бычьих шкур по доисторической технологии — используя жилы животных вместо отсутствующих ниток и дратвы. Обувь изнашивалась, нужда заставила изобрести так называемый «вечный сапог»: ногу плотно обтягивали только что снятой, еще теплой шкурой, а затем быстро ее сшивали. Застывая, шкура принимала форму ноги, сидела мертво и не снималась месяцами.

Мука кончилась, питались только мясом, да и его не хватало. При таком рационе люди ходили

полуголодные, многие страдали выпадением прямой кишки. Чай, табак, спички и масса других обиходных мелочей стали объектом вожделения и предметом спекуляции. В победу над китайцами мало кто верил, началось «скрытое брожение», а потом и дезертирство.

В эти недели с Унгерном происходят необратимые перемены. Они отмечены всеми, кто знал его в Даурии. Из сурового, но справедливого начальника, не щадящего себя и требующего от подчиненных той же беззаветной жертвенности, он становится олицетворением первобытного ужаса — человеком, способным выносить приговоры о сожжении заживо и собственноручно пересчитывать отрубленные головы изменников. Теперь окончательно обнажаются патологические стороны его души, до того прикрытые необходимостью считаться хоть с какими-то социальными нормами. Абсолютное одиночество, абсолютная власть, крайняя степень физического и нервного истощения, непривычная трезвость и маниакальная вера в собственную всемирно-историческую миссию, которую он начинает воспринимать как возложенную на него свыше и не доступную пониманию окружающих, рождают в нем сознание своего права быть выше всех моральных законов, не признавать над собой никакого человеческого суда.

До поражения под Ургой он мог подвергать офицеров унижительным наказаниям, иногда расстреливал, но не поднимал на них руку. Отныне офицерские погоны перестают быть защитой от ударов его ташура. Восстановлена система доноительства с целью выявлять потенциальных дезертиров и вообще всех недовольных. Виновные караются с небывалой прежде жестокостью. Даурские застенки возрождены в юрте ординарца барона, хорунжего Бурдуковского по

кличке Квазимодо. Он стал главным палачом для «своих», как Сипайло — для чужих.

С Баруна было много побегов, одиночных и групповых, но погоня всегда имела преимущество в скорости, ибо двигалась на сменных, а по Хайларской дороге — на уртонных лошадях. Добраться до Маньчжурии удалось только троим счастливицам, в их числе капитану Судзуки, командиру Японской сотни. Думали, будто он бежал в Ургу, и Унгерн опасался, что Судзуки раскроет китайцам его секреты, главный из которых состоял в малочисленности Азиатской дивизии, но он обманул преследователей, направившись на восток не кратчайшим путем, а более длинным — по Старокалганскому тракту. Если бы его маршрут угадали верно, Судзуки, как всех беглецов, ожидала смерть.

Некоторые неудачники были выданы осведомителями и погибли прежде, чем сумели осуществить свой замысел. У одного офицера нашли запас лепешек, что было неоспоримой уликой, доказывающей намерение бежать. Увидев приближающегося к его юрте Бурдуковского, он попытался скрыться, но был пойман, истерзан пытками и расстрелян посреди лагеря.

Самым массовым и трагичным стало бегство сформированной в Акше Офицерской сотни, входившей в полк имени атамана Анненкова. Его временный командир, поручик Царегородцев, сам организовал этот побег. В нем участвовали 15 офицеров и 22 всадника, считавшихся рядовыми, но тоже имевших офицерское звание. Все они раньше служили у Колчака и доверяли друг другу. Доносчиков среди них не нашлось. В назначенный день Царегородцев с вечера выслал большую часть своих людей в конную сторожевую заставу на подступах к лагерю, а потом сам с остальными участниками «заговора» выехал «для проверки заставы». Соединившись, «заговорщики»

помчались на восток, имея в запасе целую ночь, чтобы уйти как можно дальше. Узнать о побеге Унгерн мог не раньше утра.

Когда на рассвете ему доложили о случившемся, Князев впервые увидел барона плачущим от бессильной ярости. Впрочем, скоро «глаза его просохли и приняли обычный оттенок холодного колодца, куда страшно заглянуть». Спустя полчаса вдогонку за беглецами поскакали две сотни всадников чахарского князя Найдан-гуна.

Это были те самые чахары, которые вместе с харачинами служили в Даурии как военный «кадр» правительства Нэйсэ-гэгэна. После мятежа Фушенги их перевели в Верхнеудинск, в дивизию генерала Левицкого, позже предательски убитого ими на льду Гусиного озера. Китайцы, столь же вероломно расправившись с Нэйсэ-гэгэном, отправили чахаров сторожить хлебные поля на реке Харе к северу от монгольской столицы, но после боев под Ургой они рискнули предложить свои услуги бывшему начальнику. Их предводитель Найдан-ван решил, что в создавшейся ситуации барон не станет припоминать им старые грехи, и оказался прав. Унгерн с радостью принял этих профессиональных разбойников, простив им убийство русских офицеров. Ему нужна была туземная конница, а чахарам — возможность под его покровительством грабить китайцев.

После того как Унгерн послал их в погоню за Офицерской сотней, в лагере воцарилось напряженное ожидание. «Коренные» даурцы жаждали крови «предателей», бывшие колчаковцы «сочувствовали отважным и с замиранием сердца ждали роковой развязки».

О дальнейшем рассказывали по-разному. Ясно только, что по дороге Царегородцев начал отделять от своего отряда небольшие группы, чтобы сбить погоню

со следа, и сам вошел в одну из таких групп, но большая часть его людей, около трех десятков человек, еще держались вместе, когда были настигнуты чахарами. По одной версии, те напали на них ночью, во время привала, как то было во время резни на Гусином озере, и перебили их спящих. По другой, более вероятной, сначала угнали лошадей, пасшихся рядом с биваком, а утром, окружив беглецов, издали открыли по ним ружейный огонь. Офицеров было вдесятеро меньше, они заняли круговую оборону на вершине сопки и отстреливались три дня, пока не иссякли патроны. Кто-то, вероятно, покончил с собой, прочие были убиты и обезглавлены. Их головы чахары в кожаных мешках привезли Унгерну в подтверждение того, что задание выполнено.

Эти доказательства были предъявлены ему вечером не то пятого, не то шестого дня после побега. По рассказу Князева, которого трудно заподозрить в желании опорочить любимого начальника, к тому времени уже стемнело, поэтому Унгерн при свете костра внимательно осмотрел каждую из приблизительно тридцати голов, опасаясь, что чахары его обманут и «подсунут фальшивки в корыстных целях». Оpozнав бывших соратников в лицо, он пересчитал жуткие трофеи, после чего строго по счету выдал Найдан-гуну обещанную награду. По слухам, чахары получили по десять золотых империалов за голову^[91].

Царегородцева догнали и убили в 60 верстах от границы. Все те, кто успел отделиться от главной группы, тоже погибли, живыми привезли троих человек, в том числе поручика Ждановского. Подозревая, что «метастазы заговора пронизали всю дивизию», Унгерн приказал пытаться этих троих, чтобы узнать правду. В юрте Бурдуковского с них ремнями срезали кожу,

срывали ногти, сажали на раскаленную печь, но ничего не добились и в назидание потенциальным дезертирам повесили в береговых кустах возле проруби на Тэрельдже, где брали воду и поили лошадей. «Утром и вечером прилетало черное воронье на труп Ждановского и гулко стучало клювами по мерзлому телу», — пишет неизвестный унгерновский офицер^[92].

Еще один громкий побег был совершен дивизионным адъютантом, поручиком Ружанским, уже из нового лагеря на Ке-рулене. Он сохранил две карандашные записки барона с какими-то распоряжениями, на которых оставил подписи Унгерна, все остальное стер и вписал новый текст: в одной записке предписывалось выдать ему крупную сумму денег, в другой — оказывать всяческое содействие в его командировке в Китай, в Хайлар. Выглядело это достаточно правдоподобно, в то время Унгерн еще надеялся на помощь Семенова и постоянно отправлял гонцов в Маньчжурию. Деньги могли предназначаться для закупки боеприпасов или для вербовки казаков и офицеров.

Дерзкая затея Ружанского почти удалась. Он все продумал и, хорошо зная характер казначея дивизии Бочкарева, явился к нему поздно вечером. Бочкарев, очень дороживший своей должностью, побоялся среди ночи беспокоить штаб и выдал деньги — 15 тысяч рублей золотом, однако наутро, терзаемый сомнениями, начал наводить справки. Подлог раскрылся, тут же снарядили погоню в лице есаула Нечаева с четырьмя казаками. Тот предположил, что Ружанский не может миновать расположенный в 30 верстах восточнее по Хайларскому тракту монастырь Бревен-Хийд. Там находился лазарет, при котором служила его жена. Супруги — оба молодые, красивые, из хороших семей —

страстно любили друг друга, и на смертельный риск Ружанский пошел именно из-за жены. Сам он учился в петербургском Технологическом институте, она окончила Смольный. Ружанская была посвящена в замысел мужа и ждала его прибытия, чтобы вместе скакать дальше на восток, но он в темноте то ли сбился с дороги, то ли для безопасности поехал окольным путем, то ли на плохой лошади, с набитыми золотом тяжелыми сумками, двигался слишком медленно. Нечаев появился в Бревен-Хийде раньше, чем Ружанский, и успел арестовать его жену.

Примчавшийся следом Бурдуковский по приказу Унгерна организовал показательную экзекуцию. Случай был экстраординарный, ужасной стала и кара. Ружанскому перебили ноги — «чтобы не бежал», руки — «чтобы не крал» и за неимением деревьев повесили в проеме ворот китайской усадьбы. Его жену отдали казакам и вообще всем желающим. «Для характеристики нравов, — рассказывает Волков, — упомяну, что один из раненых офицеров, поручик Попов, хорошо знавший Ружанских, также не выдержал и, покинув лазарет, прошел в юрту, где лежала полуобезумевшая женщина, дабы использовать свое право». Затем Ружанскую привели в чувство, заставили присутствовать при казни мужа, после чего тоже расстреляли. На расстрел Бурдуковский согнал всех служивших в лазарете женщин, дабы они «могли в желательном смысле влиять на помышляющих о побеге мужей».

2

Первая попытка Унгерна штурмовать Ургу отозвалась на судьбах тысяч беженцев из России, рассеянных к югу от границы с Китаем. Волна насилия,

выкидывая их из наскоро свитых гнезд, прокатилась от Синьцзяна до хребтов Наин-Ула на западе, не затронув лишь Маньчжурию. Горели поселки, шерстомойки, торговые фактории, кое-где власти позволили советским войскам вступить на китайскую территорию, чтобы уничтожить интернированные в приграничье остатки белых армий.

В это время в Бангай-Хурэ на севере Монголии учительствовал бывший колчаковский офицер Дмитрий Алешин. Он обучал детей здешних русских колонистов письму, счету, английскому языку, истории и географии. Родители, как водится, платили ему в складчину. За зиму Алешин думал накопить денег и весной уехать в Харбин, но появление Унгерна сделало эти планы неосуществимыми. Китайцы начали разорять русские поселения в районе Кяхтинского тракта. Они знали, что Унгерн — белый, и этого было довольно, чтобы убивать всех, в ком подозревали белых офицеров. Алешин скрылся в сопках, пристал к группе таких же, как он сам, ожесточившихся беглецов, которые, в свою очередь, нападали на китайских поселенцев и отставших солдат. Командир этого маленького партизанского отряда собирался вести своих людей к Унгерну, когда их убежище выследили и попросили приюта семеро бежавших от барона дезертиров. От погони они спаслись благодаря тому, что направились не в Маньчжурию, как все, а на север, к русской границе.

От них Алешин услышал, что в Азиатской дивизии не только пленных красноармейцев, но и своих, виновных подчас в ничтожных проступках, до полусмерти бьют палками; что подозреваемым в намерении бежать льют в ноздри кипяток, поджигают волосы или поджаривают на медленном огне. Сильнее всего на слушателей подействовал рассказ о казни любимца барона, прапорщика Чернова.

Историю его преступления излагали в разных вариантах, но самым правдоподобным кажется следующий. После боев под Ургой в дивизии было много раненых, и Унгерн решил отправить их в Акшу, в тамошний госпиталь. Оторванный от всего мира, он не знал, что и над Акшей, и над Даурией уже поднят красный флаг. Командовать походным лазаретом из нескольких десятков подвод назначен был бывший полицейский Чернов (по другим сведениям — выпускник консульской школы во Владивостоке). Он прошел по степи около 500 верст и лишь неподалеку от границы выяснил, что в Забайкалье идти нельзя. Решено было возвращаться, но продовольствие кончалось, медикаментов не было, и тех тяжелораненых, кто все равно не вынес бы дальнейшего перехода, Чернов якобы из милосердия решил отравить. Так, вероятно, излагал дело он сам, но обвинение утверждало, что смертельную дозу яда получили все имевшие при себе какие-то ценности или деньги.

В итоге лазарет обосновался в Бревен-Хийде, и когда в погоне за Ружанским туда прискакал Нечаев, кто-то пожаловался ему на Чернова. Заодно обнаружилось, что он постоянно пьянствует, грабит монголов, обворовывает раненых и держит их на голодном пайке, а также принуждает к сожителству сестер милосердия. Нечаев доложил обо всем генералу Резухину, который тогда замещал уехавшего на встречу с монгольскими князьями Унгерна; Резухин распорядился посадить Чернова «на лед», то есть оставить одного на покрытой льдом реке без права развести костер (обычное наказание для уличенных в пьянстве), и сообщил о случившемся Унгерну. Тот пришел в ярость, а поскольку преступление действительно было беспрецедентным, дело не ограничилось обычными «бамбуками» с последующим

расстрелом или петлей. Приказано было сжечь негодяя на костре. Экстраординарность наказания Князев оправдывал исключительной тяжестью вины Чернова, но даже он признавал, что эта казнь отодвинула ее свидетелей «на 700-800 лет назад, в глубину Средневековья».

На Святки, когда дивизия наслаждалась отдыхом и праздничным рационом, Чернову дали 200 палок, затем подвесили на дереве, а под ним подожгли громадную кучу хвороста, облитого «ханой» — рисовой водкой. Среди его предсмертных проклятий одни расслышали и запомнили одно, другие — другое. Князев облек их в литературно-чеканную формулу: «Здесь вы меня жжете, подождите, на том свете я вас пуще буду жечь!» — будто бы крикнул Чернов своим палачам, имея в виду, что всем им, включая его самого, уготован ад, но уж там он как более важный преступник будет мучить менее важных.

Унгерн, как всегда в таких случаях, отсутствовал, но посмотреть на казнь собралась вся дивизия. Скоро, однако, зрителей рядом с костром почти не осталось. По словам Макеева, «жгутовые нервы унгерновцев не выдержали страшной картины». Хотя сам он, похоже, не ушел до конца, иначе не увидел бы, что едва пламя подобралось к ногам уже потерявшего сознание Чернова, «кожа на ступнях завернулась, как завертывается подошва, брошенная в огонь, и сало полилось и зашипело на ветках». Такого рода описания редко рождаются с чужих слов.

«Огонь побежал вверх по белью, — рассказывал Анониму очевидец, — волосы поднялись дыбом и вспыхнули. Ноги почернели и становились все тоньше, туловище покрылось огромным красным пузырем». Наконец веревки перегорели, и труп рухнул в костер. Наблюдательный Макеев отметил, что голова Чернова

«превратилась в череп негра — курчавый, из черного пепла, барашек».

Когда рассказ о казни Чернова был закончен, один из товарищей Алешина, тоже бывший офицер, сказал: «Этого не может быть!» Сожжение человека на костре вызывало в памяти разве что картинку из книжки об ужасах инквизиции. Даже люди, прошедшие сквозь мясорубку Гражданской войны, не могли поверить, что в роли Торквемады выступает не кто-нибудь, а современный культурный европеец, аристократ, белый генерал.

Удручало и то, что русские офицеры не протестовали, превращаясь в соучастников этого варварства. Не случайно возникла легенда, будто один мягкосердечный офицер, будучи не в состоянии вынести подобное зрелище, но бессильный что-либо изменить, при казни Чернова подорвал себя ручной гранатой.

Позднее, во время похода в Забайкалье, в стоге сена заживо сожгли заподозренного в большевизме студента-медика Энгельгардт-Езерского, и этот случай породил аналогичную легенду: якобы некий свидетель казни, интеллигентный молодой человек, незадолго до того попавший в Азиатскую дивизию, настолько был потрясен страшной расправой, означавшей для него крушение всех идеалов, что бросился в Селенгу и утонул. Обе истории абсолютно недостоверны, и обе говорят о том, что унгерновцам хотелось отыскать в своих рядах хотя бы двоих праведников, ценой собственной смерти способных искупить вину остальных.

Монголы, при их воинственном прошлом едва ли не самый мирный из азиатских народов, свирепости Унгерна ужасались еще сильнее, но им и легче было принять ее как должное, если титул Бога Войны,

которым наградили его кочевники, не был только лестной метафорой. Возможно, Унгерн сравнивался с воинственным покровителем лошадей Чжамсараном (он же Бег-Дзе) или даже был провозглашен его перерождением.

Это гневное божество из разряда *дхармапала* (по-тибетски — *срунма* или *докшит*), хранитель веры, устрашающий и беспощадный. Старший современник Унгерна, русский монголист Алексей Позднеев, изложил схему медитации, которую практиковали почитатели Чжамсарана. Прежде всего следовало представить все пространство мира пустым, затем в этой пустоте увидеть безграничное море человеческой и лошадиной крови с поднимающейся над волнами четырехгранной медной горой. На вершине ее — ковер, лотос, солнце, трупы коня и человека, а на них — Чжамсаран, коронованный пятью черепами. В правой руке, выпускающей пламя, он держит меч, упираясь им в небеса; этим мечом он «посекает жизнь нарушающих обеты». На его левой руке висит лук со стрелами, в пальцах он сжимает сердце и почки врагов веры. Его рот «страшно открыт», четыре острых клыка обнажены, брови и усы пламенеют, как «огонь при конце мира». Рядом с ним восседает на бешеном волке бурхан Амийн-Эцзен с сетью в руках, предназначенной для уловления грешников. Другие спутники Чжамсарана — безжалостные меченосцы и палачи (*ильдучи* и *ярлачи*). Они облачены в кожи мертвецов, держат в зубах печень, легкие и сердца врагов буддизма, лижут их кости и высасывают из них костный мозг.

Сам не способный достичь нирваны, Чжамсаран сражается со всеми, кто препятствует распространению «желтой религии», причиняет зло ламам или мешает им совершать священные обряды. Унгерн принял на себя ту же роль, объявив войну безбожным гаминам, которые оскорбляют Богдо-гэгэна, убивают лам и

запретили богослужения в столичных монастырях. При таком подходе всякий, на кого обращался его гнев, будь то дезертир, пьяница или сожженный Чернов, становился врагом «желтой религии», а палачи типа Сипайло и Бурдуковского — спутниками Чжамсарана.

Если Унгерн действительно был провозглашен его перерождением, новый статус барона мог и не быть закреплён официальным актом в духе прецедента полуторавековой давности, когда Екатерину II объявили воплощением богини Сагаан Дара Эхэ (Белой Тары), всевидящей богини милосердия с глазами на руках и на ступнях ног^[93]. Любой монастырь, а то и просто группа лам из соображений патриотического свойства по приказу или за деньги могли обнаружить в бароне признаки какого угодно божества из разряда воителей.

В свиту Чжамсарана включали зверей и птиц, ведущих ночной образ жизни или питающихся падалью — шакалов, диких собак, лис, грифов, сов. Отсюда уже недалеко до рассказов об усеянных человеческими костями сопках вокруг Даурии, где воют волки и одичавшие псы и где Унгерн по ночам проезжал на свидание со своим любимцем-филином. В одном случае «кровавый» барон представал божеством, в другом — демоническим безумцем, но в данном пункте кочевник-буддист не слишком отличался от русского интеллигента. Они по-разному драпировали реальное зло, но делали это с одинаковой целью — защититься от ужаса жизни, который просто так, в грубой наготе, нормальному человеку принять и пережить невозможно.

СЕВЕРНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. НА КЕРУЛЕНЕ

1

Еще на Тэрельдже отношения Унгерна с монголами вышли за рамки чисто коммерческих, когда одна сторона выступала в роли монополиста-продавца, а другая — поставленного в безвыходные условия и на все согласного покупателя. В ставке Толстого Вана по соседству с лагерем Азиатской дивизии начали появляться монгольские князья и ламы: после штурма Урги они увидели в Унгерне естественного союзника. Установить эти жизненно необходимые связи помог один из самых близких к нему людей — бурят Джамбалон. Бытовало мнение, что без него второй поход на Ургу вообще не состоялся бы. Если это и преувеличение, то небольшое; именно буряты, более образованные, гибкие и светские, теснее связанные с Россией, всегда играли роль посредников между монголами и русскими политиками, будь то дипломаты Николая II, Семенов, Унгерн или деятели Коминтерна и сибирские большевики.

По одним сведениям, Джамбалон происходил из забайкальских казаков, имел чин урядника и воевал с бароном еще в Нерчинском полку; по-другим, он начал свою карьеру простым пастухом в Азиатской дивизии. Оссендовский, оперируя главным образом тем обстоятельством, что у Джамбалона было «необыкновенно длинное» лицо аристократа, выводил его родословную от мифических «бурятских царей». После взятия Урги он получил от Богдо-гэгэна

княжеский титул, и хотя дивизионные остряки вместо «Джамбалон-ван» произносили «Джам-болван», это был человек незаурядный.

При его участии в конце ноября или в первой половине декабря 1920 года происходит несколько судьбоносных для Унгерна событий. Установить их точную последовательность едва ли возможно — документов нет, а в памяти современников они остались чередой почти одновременных удач, каждая из которых могла стать как причиной, так и следствием остальных.

Во-первых, на Тэрельдж прибыл личный представитель ургинского хутухты Хушиктен-лама — глава Шабинского ведомства, в чьем управлении находились все монгольские монастыри. Он провел в лагере два часа и, как пишет Торновский, «пил все время чай, держа на коленях китайской породы маленькую собачку, с которой никогда не расставался». По-видимому, его миссия носила ознакомительный характер, хотя Торновский утверждает, что высокий гость привез Унгерну благословение Богдо-гэгэна на борьбу с китайцами и предсказание скорой победы.

Во-вторых, к Азиатской дивизии присоединились князья Лувсанцэвэн и Дугор-Мерен со своими отрядами.

В-третьих, в монастыре Бревен-Хийд барон встретился с группой князей самого восточного из четырех аймаков Халхи — Цеценхановского. На этом «политическом совещании» они решили начать вооруженную борьбу за восстановление независимости Монголии и признали Унгерна военным вождем национального движения.

В-четвертых, не то после съезда в Бревен-Хийде, не то после визита Хушиктен-ламы появляется и, тайно проникнув за стены дворца Живого Будды, охраняемого китайским караулом, рассылается по стране его

послание с призывом оказывать Унгерну всемерную поддержку.

Хошунные чиновники и эмиссары барона из владеющих монгольским языком бурят разъезжаются по кочевьям, произнося «зажигательные речи».

Не менее активны и местные агитаторы. Похоже, не сам по себе возникает слух, что явившийся с севера русский генерал состоит в близком родстве с самим Цаган-Хаганом, то есть Белым Царем, Николаем II. Тот якобы прислал его в Монголию, чтобы покарать вероломных гаминов, нарушивших договоры с Россией об автономии Халхи. Большинство монголов не подозревают, что император давно мертв, к тому же они — буддисты, для них смерть не есть что-то бесповоротное, не имеющее продолжения в этом мире. Если Цаган-Хаган и умер, ничто не мешает ему возродиться в каком-нибудь человеке, особенно родственнике. Одновременно предпринимались попытки объявить Унгерна перерождением Богдо-гэгэна V^[94].

После того как китайцы арестовали Богдо-гэгэна, запретили богослужения в храмах и кровью настоятеля осквернили монастырь Шадоблин, глухой ропот переходит в открытое сопротивление. Вскоре оно приобретает характер священной войны, Унгерн становится естественным центром притяжения для инсургентов, а его потрепанные сотни — ядром освободительной армии.

Тогда же у монголов складывается отношение монголов к нему как к существу пусть не сверхъестественному, но наверняка интимно связанному с таковыми. Рассказывали о его неуязвимости, способности с помощью духов становиться невидимым, преодолевать огромные расстояния, насылать на врагов панический страх и т. д.

Дело тут не только в личных качествах неустрашимого барона, как хотелось думать тем, кто его романтизировал. После первого штурма Урги за ним все ярче начинает обрисовываться мистическая фигура национального мессии, освободителя Монголии от китайцев. Согласно предсказаниям он должен был прийти в годы жизни восьмого Богдо-гэгэна, и непременно с севера.

Отнюдь не все верили, что Амурсана уже воплотился в образе Джа-ламы, и по-прежнему ждали его из России. С севера, в седьмом столетии по смерти Чингисхана, ожидалось чудесное явление его девятихвостного белого знамени, под которым монголы вернут себе былое величие, а если учесть, что, по монгольским поверьям, в знамя переходит дух полководца — *сульдэ*, возвращение на родину хоругви Чингисхана было равносильно появлению его самого. В мифологии евроазиатских народов север — это страна мертвых, оттуда и должны вернуться в мир великие герои прошлого, но для монголов потусторонний мир парадоксально слился с Россией.

В своей записке, поданной Александру III, некоторые из таких легенд привел Бадмаев, истолковав их как предсказание власти Романовых над Монголией. Он, например, передает рассказ о некоем князе, казненном китайцами на границе с Россией и перед смертью предрекавшем, что куда откатится его отрубленная голова (она откатилась на север), с той стороны и придут будущие властители Халхи. Наконец, на севере должна была начаться война между неверными и войском Ригден Джапо, владыки Шамбалы, призванного в конце времен распространить «желтую религию» по всему миру. Николай Рерих писал, что Сухэ-Батор, первый председатель Монгольской народно-революционной партии (МНРП), сочинил песню, в которой его война с Унгерном и китайцами

трактовалась как «северная Шамбалы война»^[95], и всем павшим в боях красным цирикам обещалось возрождение в облике воинов Шамбалы.

Хотя Унгерна не считали ни ожившим Чингисханом, ни Амурсаной или Ригден Джапо, он существовал с ними в одном ряду, питаясь веками накопленной энергией веры в их трансцендентное могущество. Как всякий, кто принимает на себя груз народных ожиданий, пришедший с севера русский генерал приобрел черты национального мессии, стоящего на грани обоих миров, реального и незримого.

Две из этих мессианских легенд соотносились с ним напрямую. Они, видимо, были приспособлены к нуждам текущего момента, а то и просто сфальсифицированы, но успешно использовались для агитации в пользу барона. Пророчество «Бичигту цаган шуулун» (священного белого камня) приводилось в воззвании, написанном при участии Унгерна или от его имени, и гласило, что после великой смуты явится непобедимый «белый батор», спасет монгольского хагана и вернет ему власть над страной. Пришествие избавителя ожидалось в «год белой курицы» (1921 год), и то, что Унгерн — белый генерал, тоже было существенно. Знал он и еще более сомнительное, с точки зрения подлинности, предсказание о «бароне Иване», который должен прийти из России и возродить империю Чингисхана, что будет первым этапом в деле «спасения человечества». Унгерн говорил об этом в плену, причем признавался, что относил это предсказание к самому себе. По его словам, «Иван» и «Роман» — «почти одно и то же»^[96].

Возможно, нашлись люди, объяснившие ему важность подобных совпадений. Прирожденные фаталисты, монголы полагали, что особого рода прорицания, по-монгольски — «туку», обязательно

предшествуют всем значительным событиям, иначе их роль в истории минимальна. Не будучи предсказаны, они даже при своей кажущейся масштабности остаются иллюзорными, не способными повлиять на ход вещей, ведь если в них есть духовная составляющая, значит, она существовала всегда как часть общего божественного замысла и не могла не быть открыта провидцу-праведнику. Без нее любое событие остается эфемерным возмущением дхармы, не влекущим за собой никаких последствий. При таком подходе громадное значение монгольской эпопеи Унгерна подтверждалось еще и тем, что ее предвосхищали многочисленные «туку». Для монголов они были не только отражением грядущего в настоящем, той тенью, которую, по Моммзену, бросают впереди себя надвигающиеся великие события, а еще и способом раскрыть их сокровенный, но теряющийся в повседневности смысл.

Враги Унгерна считали, что хитрые ламы сознательно обманывали невежественных номадов, а барон прагматично этим пользовался, но он никогда не совершил бы того, что совершил, если бы в нем не было настоящей глубокой веры в свою миссию. А как следствие — и доверия к предшествующим ей откровениям.

«Легенды в Монголии, — писал Бадмаев, призывая Александра III опереться на них в его восточной политике, — значат больше, чем действительность». Привязанные к конкретной местности, они создавали точки в пространстве, где обычная жизнь входила в соприкосновение с иным миром. Здесь обитатели потусторонних сфер, встречаясь со своими избранниками, открывали им будущее и даровали силы для приведения в действие этого скрытого от простых смертных механизма судьбы. Одной из таких точек на карте Монголии была долина Барун на Тэрельдже, куда

в ноябре 1920 года Унгерн отступил после поражения под Ургой.

Поблизости от лагеря Азиатской дивизии находились остатки давно покинутого ламами монастыря. Они представляли собой невысокие холмы, образованные затравяневшими развалинами строений из сырцового кирпича, а ровный ряд деревьев на берегу реки толковался как указание на то, что в будущем тут соберется большое войско и «пройдут строи солдат». Армия, которой суждено собраться на этих руинах, должна была принести в Халху счастливые перемены, иначе место не считалось бы священным.

По наблюдению Голубева, все сколько-нибудь длительные стоянки дивизии располагались в местах, связанных с какими-то «монгольскими сказаниями»: тем самым барон «укреплял в монголах веру в то, что он — перерожденец». С другой стороны, Унгерн сам мог укрепиться в этой вере, если место лагеря на Тэрельдже было выбрано им из чисто практических соображений, а связанные с ним легенды он узнал позже.

2

В конце декабря 1920 года Унгерн перебазировал дивизию на 100 верст к востоку, в верховья Керулена. Новый лагерь оборудовали по всем правилам — с линейками, землянками, кузницами, мастерскими, сотенными помещениями из привезенного леса и даже баней. Начали варить мыло; впервые за последние месяцы люди смогли помыться и постирать белье.

В падах на Керулене имелись запасы сена, заготовленного для китайской кавалерии, но главное преимущество новой стоянки заключалось в том, что отсюда удобнее было контролировать стратегически

важный Калганский тракт. На нем начали «оперировать» чахары Найдан-гуна. По договоренности половину награбленного они привозили в лагерь, остальное оставляли себе. Из Монголии в Китай традиционно везли пушнину, в обратном направлении — мануфактуру, изделия из серебра, предметы роскоши. После нескольких удачных «операций» чахары разodelись в шелка, украсили коней серебром, стали нашивать на ташуры лисьи хвосты, на шапки — беличьи, на халатах носили горжетки из дорогих мехов, а при игре в кости монеты ставили на кон не по одной, но целыми чашками.

Дивизия тоже теперь не бедствовала. Как уверяет Макеев, благодаря чахарам и отправленной на тот же промысел Бурятской сотне есаула Хоботова в лагере появилось всё вплоть до жареных кур и шампанского. Вряд ли эти деликатесы попадали к простым всадникам, но полуголодное существование осталось в прошлом, дивизионное интендантство стало регулярно получать мясной скот. Была определена продовольственная норма: русским, бурятам, японцам, татарам и башкирам полагалось по четыре фунта баранины в день, если муки не было, и по два с половиной, если была; монголам — по семь фунтов, но без муки. На Рождество всем выдали захваченные с одним из караванов «сласти и фрукты», как пишет Князев. Менее восторженный свидетель уточняет, что это были сахар и сушеные финики — любимое лакомство не избалованных сладостями кочевников.

Наконец Унгерн получил от союзных князей табун в полторы тысячи лошадей керуленской породы, по выносливости — лучшей в Монголии. Дивизия нуждалась в конском запасе, иначе при ее малочисленности и огромных расстояниях невозможно было вести активные действия против разбросанных вокруг Урги китайских войск.

В лагерь на Керулене прибыло и первое туземное пополнение — около двухсот мобилизованных князьями всадников. С ними немедленно начали заниматься боевой подготовкой. Монголы оказались прекрасными стрелками, но изводили инструкторов медлительностью, неспособностью действовать в пешем строю и «бессмысленным преклонением перед русскими нойонами». На эту партию хватило вывезенных из Акши запасных винтовок. Следующих новобранцев вооружить было нечем, их отправили коноводами в Бурятскую и Татарскую сотни.

На Керулене в дивизию влилось около семидесяти тибетцев. Откуда они взялись, непонятно. Кто-то считал их «телохранителями» Далай-ламы XIII или воинами его личной гвардии, присланными в ответ на просьбу Унгерна о помощи в борьбе с гаминами, но более вероятно, что они происходили из пограничных с Монголией районов Тибета и пошли на войну с китайцами по призыву местных лам или по приказу из Лхасы — еще в 1913 году Монголия и Тибет заключили политический союз, направленный против Пекина. По Першину, отряд состоял из членов тибетской колонии в Урге, которых завербовал ургинский бурят Тубанов, знавший тибетский язык. Так или иначе, но именно его Унгерн назначил командиром сформированной из них Тибетской сотни (по туземной линии начальником остался некий Саджи-лама). На русских тибетцы произвели неизгладимое впечатление тем, что в качестве чаш для еды и питья употребляли оправленные в серебро черепа «своих врагов». За посуду, видимо, принимали имевшиеся у них габалы — ритуальные сосуды из человеческих черепов, используемые при некоторых религиозных церемониях.

Все монгольские союзники Унгерна происходили из Цеценхановского аймака и за его пределами были малоизвестны. Чтобы придать движению

общенациональный масштаб, он сделал попытку привлечь на свою сторону прославленного Тогтохо-гуна. Этот человек, когда-то первым бросивший вызов Пекину, пользовался авторитетом у всех монголов, западных и восточных. Старый и больной, он давно не вмешивался в политику, но в былые времена китайцы обещали в награду золотой весовой эквивалент его тела, если он будет доставлен живым, и серебряный — если мертвым. Во всяком случае, такова легенда. Обращенные к нему призывы остались без ответа, но отблеск славы Тогтохо лег на его близкого родственника Найданжава, который присоединился к барону на Керулене^[97].

Там же Джамбалон сформировал еще одну сотню из кочевавших поблизости бурятских беженцев, а войсковой старшина Архипов, позднее повешенный Унгерном, привел к нему из Кяхты 90 оренбургских казаков при 15 офицерах. Все они дезертировали из Народно-революционной армии ДВР. С ними был доктор Клингенберг, имевший впоследствии зловещую славу врача-убийцы^[98].

В лагерь на Керулене почти ежедневно прибывали русские из Сибири и Забайкалья. Шли казаки и горожане, военные и штатские. Большинство рассчитывало, что Унгерн выведет их в Маньчжурию, к очагам цивилизации. Когда выяснялось, что он намерен идти в противоположную сторону, к Урге, воевать с китайцами, было уже поздно — все вновь прибывшие объявлялись мобилизованными. Мужчин зачисляли в строй, женщин посылали сестрами милосердия в лазарет или работницами в мастерские. В снежной степи, за тысячу верст от китайской границы, зная, что пойманных беглецов ждет неминуемая смерть, на побег отваживались немногие.

С Хайдаром связи не было; о том, что творится в зоне КВЖД, Унгерн понятия не имел, хотя постоянно отправлял туда гонцов с бичигами — письмами или записками, по монгольскому обычаю снабженными птичьими перьями в знак чрезвычайной срочности и важности этих сообщений. Пользуясь сменными лошадьми, они должны были лететь «как птицы», а все прочие — оказывать им посильное содействие, однако посланцы барона или не добирались до места назначения, или предпочитали остаться там и забыть о своей миссии. Ответных писем от Семенова не поступало; Унгерн не знал, что тот бросил его на произвол судьбы и «удул» в Приморье.

Новости доходили исключительно через монголов, искаженные их представлениями о происходящем и многократной передачей из уст в уста. Однажды тем же путем с востока пришло радостное известие, будто атаман формирует в Хайларе шеститысячный добровольческий корпус для похода в Монголию. Унгерн воодушевился, начали готовить юрты, теплую одежду, лошадей для пополнения, но хлопоты оказались напрасными. Ни один доброволец из Маньчжурии на Керулене так и не появился.

НА ВЕРШИНАХ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ

1

В конце января 1921 года Унгерн выслал к Урге несколько мелких отрядов, совершивших конные рейды вокруг столицы. Они должны были сбить китайцев с толку и заставить их ожидать наступления на разных участках. Вскоре и остальные части дивизии покинули лагерь на Керулене. «Длинными черными змеями потянулись унгерновцы по снежной целине в сторону Урги», — пишет Аноним.

Накануне Унгерн издал приказ о полном запрещении спиртного. Это, вспоминал Макеев, «заставило полковника Лихачева с частью офицеров справить поминки по алкоголю и напиться до положения риз». Легли поздно, а через пару часов велено было седлаться и выступать. Лихачева с трудом разбудили. Дело кончилось тем, что разъяренный Унгерн приказал ему и его офицерам идти вслед за дивизией пешком. Это наказание было позаимствовано у монголов, так же поступал Максаржав с провинившимися цыриками. В монгольской армии оно означало крайнюю степень позора, а в Азиатской дивизии применялось к тем, кого Унгерн не позволял себе просто избить ^[99].

Вблизи столицы, рассказывает Макеев, увидели скачущего навстречу одинокого всадника. Задержавшим его казакам он представился хорунжим Немчиновым, был отведен к барону и признался, что подослан к нему с заданием его отравить. «Делайте со

мной что хотите, — заявил Немчинов, — но вот вам цианистый калий и деньги, две тысячи, которые дали мне китайцы вперед». Деньги Унгерн оставил ему, а яд, возможно, взял себе. Во всяком случае, эта или другая ампула с цианистым калием позднее всегда будет лежать у него в кармане халата, чтобы отравиться при угрозе плена. В этом ему тоже мог послужить примером Фридрих Великий, во время Семилетней войны постоянно имевший при себе яд. Револьвера Унгерн не носил и застрелиться в такой ситуации не мог.

К концу января он сосредоточил все свои силы возле восточной оконечности Богдо-Улы, в 40 верстах от Урги. Лагерь разбили в урочище Убулун близ Налайхинских угольных копей, блокировав город со стороны Калганского тракта. Согласно Макееву, в Азиатской дивизии было тогда около тысячи человек, считая «интендантских, обозных и прочих мертвых бойцов». Сам Унгерн на допросе говорил, что накануне штурма Урги имел тысячу двести всадников, Князев и Торновский увеличивали эту цифру еще на две-три сотни, включая в нее не менее пятисот монголов, чьи боевые качества оставляли желать лучшего. Русских и других европейцев насчитывалось не более трехсот — трехсот пятидесяти человек — в основном офицеров, артиллеристов и пулеметчиков. Противник обладал громадным, чуть ли не десятикратным перевесом, зато на стороне Унгерна были иные силы, не материальные, но могущественные.

После первой попытки Унгерна захватить Ургу комиссар Чэнь И перенес свою резиденцию из Маймачена в одну из усадеб китайского квартала к востоку от площади Поклонений. Здесь, в центре города, он чувствовал себя в большей безопасности. По-европейски образованный человек, библиофил, знаток монгольской и китайской истории, Чэнь И подарил

городу многотомную библиотеку на нескольких языках, вел археологические раскопки, подумывая, вероятно, о создании музея, но его мягкость, гуманность и культуртрегерские планы пришлись не ко времени. В Урге, превратившейся в гибрид военного лагеря с тюрьмой, он фактически лишился власти. Опереться ему было не на кого, его аппарат состоял или из чиновников старой выучки, занимавшихся прежде всего поборами с торговых фирм, или из самоуверенных революционных назначенцев, считавших себя носителями прогресса в полудикой северной провинции. Они с энтузиазмом строили воздушные замки в виде проектов покрыть всю Халху сетью железных дорог, при этом не знали монгольского языка, не понимали обстановки в стране и меньше всего были озабочены поисками компромисса с туземными варварами. Ван Интай, будущий министр созданного в 1930-х годах прояпонского Нанкинского правительства, а тогда — ближайший помощник Чэнь И, вообще мало интересовался местными делами. Он окончил университет в Германии и в то время, когда Унгерн готовился к походу на Ургу, занят был тем, что переводил на китайский язык вторую часть «Фауста» Гёте^[100]. Это, видимо, помогало ему справиться с провинциальной скукой.

Торновский считал Чэнь И «мудрым администратором». Колонисты и беженцы из России относились к нему с уважением, поскольку в ноябре он сумел предотвратить готовящийся русский погром, но его влияние ослабло с введением в столице осадного положения. Генералы, оставшиеся здесь после опалы Сюй Шучжэна, и раньше игнорировали глубоко штатского Чэнь И, а теперь откровенно перестали ему подчиняться. Впрочем, единодушия среди них не было, Го Сунлин и Ма^[101] ненавидели друг друга настолько,

что доходило до массовых драк между солдатами их частей. Чу Лицзян не сумел сосредоточить в своих руках всю военную власть, в штабах царила неразбериха. По сути дела, единого командования не существовало.

Только разбродом и паникой в верхах столичной администрации можно объяснить ту роковую ошибку, которую совершили китайцы после того, как Унгерн отступил на Тэрельдж: они арестовали Богдо-гэгэна. Он был отделен от свиты и переведен из дворца в один из пустующих китайских домов на Половинке, по соседству с новой резиденцией Чэнь И. Цель этой святотатственной акции никто из живших в Урге европейцев не в силах был понять. Она представлялась абсолютно бессмысленной, более того — вредной для самих же тюремщиков. Наиболее правдоподобным казалось предположение, что Чэнь И сделал этот самоубийственный шаг под нажимом военных, решивших продемонстрировать свое могущество монголам, а заодно — собственным солдатам. Русские легко восстановили нехитрую логику их рассуждений: «Вот, мол, мы арестовали самого бога, и ничего, всё в наших руках, и всё с наших рук сходит». Общее мнение сводилось к тому, что это сделано в назидание всем оппозиционерам. «А гарнизон, — замечает Першин, — должен был убедиться, что перед военной силой пасует даже божество».

Результат оказался прямо противоположен ожидаемому. Монголы были не столько напуганы, сколько потрясены и возмущены, зато китайских солдат охватил суеверный страх: им казалось, что кощунственный арест Живого Будды неотвратимо повлечет за собой возмездие. Те и другие верили в неизбежность кары и ждали каких-то исключительных событий, но ничего не происходило, Унгерн по-прежнему стоял на Тэрельдже, а Богдо-гэгэн спокойно сидел под арестом. Больших лишений он не испытывал,

из дворца ему доставляли даже его любимое шампанское.

С осени он несколько раз пробовал вырваться из столицы под предлогом плановых поездок в провинциальные монастыри, но эти попытки решительно пресекались. Богдо-гэгэн нужен был китайцам как заложник. Посадив хутухту под замок, они, помимо прочего, стремились оборвать его связи с нелояльным ламством и мятежными князьями, однако практическая целесообразность такого шага обернулась невосполнимыми потерями на другом фронте. Китайские солдаты, ремесленники, торговцы прекрасно понимали, что с божеством нельзя обращаться как с обычным человеком, но поверхностно европеизированные чиновники и генералы повели себя с той западной прямолинейностью, которая свойственна была европейцам в начале колониальной экспансии и от которой сами они давно отказались.

Арест Богдо-гэгэна лишний раз показал, что новые хозяева Урги с их пышными мундирами, похожими на придворные, презрением к туземцам, переводами из Гёте и бильярдом как символом цивилизации были в этой стране, где два с лишним столетия властвовали их предки, куда большими чужаками, чем Унгерн с его монгольским дэли, буддизмом и уверенностью, что свет — с Востока. При всем том он оставался истинным европейцем. Потребность сменить душу — западный синдром, кожу — восточный.

2

С ноября Унгерн постоянно держал дозоры на Богдо-Уле. Отсюда велось наблюдение за передвижениями китайских войск и строительством оборонительных сооружений, но едва ли не важнее был

другой аспект этой позиции: господствующая над Ургой стратегическая высота считалась одной из главных монгольских святынь.

Последний отрог Хэнтэйской гряды, Богдо-Ул, с юга возвышается над столицей и виден из любой ее точки. Перетекающие один в другой горные кряжи поднимаются примерно на километр в высоту, имеют около сотни километров в окружности и уходят далеко за пределы городской черты. Склоны покрыты густым лесом, прорезанным неглубокими ущельями и сбегаящими в Толу ручьями. На гребне растут кедры, ниже — лиственницы, сосны, ели. Подножие затянуто березовой чепорой и осинником. Ни восточнее, ни западнее, ни южнее Богдо-Улы нет ничего подобного. Эта гора, поднявшаяся среди степей и голых каменистых сопок, представлялась чудом и почиталась как священная. «Который уже раз я вижу тебя и люблюсь тобой, — мысленно обращался к ней, подъезжая к Урге в 1908 году, Петр Козлов, суровый скиталец, в дневниках своих путешествий по Центральной Азии отнюдь не грешивший лирическими излияниями, — бесконечно долго смотрю на твою таинственную строгую красоту, на твой горделивый девственный наряд. Ты все прежняя — задумчивая, молчаливая, прикрываешься сизой дымкой и двумя-тремя нежными тонко-перистыми облачками, стройно проносящимися над твоей могучей головой. Ламы ургинских монастырей свято охраняют твой чудный покров».

Гора была заповедной. В лесу водились маралы, косули, кабаны, рыси, соболи, но всякая охота здесь находилась под запретом со времен величайшего из монгольских перерожденцев — Ундур-гэгэна Дзанабадзара, создателя алфавита соембо и гениального скульптора-литейщика. Он жил на рубеже XVII-XVIII веков, с тех пор не звенел в этих лесах и топор

лесоруба. Обойдя Богдо-Улу пешком или даже объехав ее на лошади, человек мог надеяться на улучшение своей кармы, а на вершины восходили для созерцания, уединенного размышления и молитвы. Особая стража перекрывала ведущие к гребню гряды ущелья и тропы, пропуская лишь безоружных. Постоянно здесь жили только монахи монастыря Маньчжушри-Хийд^[102], выстроенного на южном, противоположном от города склоне, среди скал и каменных осыпей. Может быть, здешние ламы и посоветовали унгерновцам зажигать по ночам огонь на вершине восточной оконечности Богдо-Улы. Они делали это из ночи в ночь на протяжении почти трех месяцев. «Горевшие на большой высоте гигантские костры, — вспоминал Першин, — ярко пламенели на темном фоне неба, и их зловещие отблески на снежном покрове священной горы панически настраивали китайских солдат, которые везде видели демонов и всякую нечисть».

Напротив, на монголов эти костры действовали воодушевляюще. Богдо-Ула была неотделима от имени Чингисхана, по легенде рожденного у ее подножия, эта же гора отождествлялась с упоминаемой в «Сокровенном сказании» горой Бурхан-Халдун, где юный Темучин прятался от меркитов. Те трижды обошли ее склоны, забираясь в такие чащобы, что «сытой змее не проползти», но горные духи укрыли от них будущего властелина вселенной. В благодарность Чингисхан повелел признать спасшую его гору священной: «Будем же каждое утро поклоняться ей и каждодневно возносить молитвы. Да разумеют потомки потомков моих!»

Дважды в год, при огромном стечении народа, в присутствии лам из всех столичных монастырей, на восточной вершине Богдо-Улы совершались торжественные жертвоприношения с обязательным, по

особым правилам разложенным костром. Ночные огни примерно в том же месте должны были вызывать вполне определенные ассоциации у жителей столицы. «Кострам, — вспоминал Першин, — придавалось мистическое значение. Говорили, что барон там приносит жертвы духам, хозяевам горы, прося их, чтобы они наслали всякие беды на тех, кто оскорбил Богдо». Сознательно или нет, но в глазах монголов Унгерн сумел слить себя со священной горой, стать если не олицетворением ее чудесной силы, то исполнителем ее воли.

В город засылались монголы-лазутчики — не столько для шпионажа, сколько для распространения нужной информации. Активными агитаторами были и столичные ламы. «Монголы, — вспоминал Першин, — рассказывали китайским купцам всякие небылицы про барона и казаков, особенно про башкир-мусульман, а купцы с прикрасами передавали солдатам. Многие солдаты были охотники до гаданий и обращались к ламам-гадателям, а те этим пользовались и запугивали их карами Богдо, который всемогущ».

Когда позже советские деятели прямо спросили у бежавшего под их защиту Чэнь И, в чем главная причина поражения китайских войск, в качестве таковой тот назвал «оппозиционное настроение лам, имеющих значительное влияние на монгольское население». Надо добавить, что на китайских солдат — тоже. Гарнизон был деморализован задолго до начала штурма.

Эта психологическая война включала в себя дезинформационную кампанию. Распускались слухи, будто Унгерн медлит с новым приступом, потому что ждет подкреплений. На кого конкретно он рассчитывает, никто не знал, говорили о Врангеле, Семенове, каппелевцах из Приморья, хунхузах из Маньчжурии, упоминали и японцев, но постепенно на

первое место в списке его призрачных союзников уверенно выдвинулось несметное монгольское ополчение, якобы собранное аймачными ханами и хошунными князьями. Накануне штурма китайское командование было уверено, что Унгерн поставил под ружье пять тысяч бойцов, почти впятеро преувеличивая его силы. Проверить, насколько все это соответствует действительности, китайцы не очень-то и пытались. В Урге они сидели как в осажденной крепости, с метрополией сносились только по радио, разведку не вели, традиционно полагаясь больше на логические умозаключения, чем на факты, и плохо представляли себе, что происходит за чертой ближайших к столице поселений.

Растерянность китайских генералов ни для кого в Урге не составляла секрета. При колоссальном численном перевесе они даже не пробовали перехватить инициативу; Го Сунлин со своим трехтысячным кавалерийским корпусом ни разу не решился на вылазку. Изолированные посреди враждебной страны, китайцы все острее чувствовали свою обреченность. Особенно после того как в город, окруженный заставами и караулами, среди бела дня явился сам барон.

«Однажды, — рассказывает Першин, — в яркий и солнечный зимний день Унгерн в монгольском одеянии, как всегда, в красно-вишневом халате, в белой папахе, на своей быstroногой белой кобыле средним аллюром спокойно проехал по главной дороге на Половинку, к дому, где проживал Чэнь И. Въехав во двор, барон не спеша слез с лошади, подозвал рукой одного из слуг, которые в качестве охраны постоянно находились во дворе, приказал ему за повод держать коня, а сам обошел вокруг дома, вернулся и, подтянув подпруги у седла, сел верхом и не торопясь выехал со двора. На обратном пути, проезжая мимо тюрьмы, он заметил

часового, спавшего у ворот. Такое нарушение дисциплины возмутило барона. Он слез с коня, наградил спавшего часового несколькими ударами ташура, т. е. камышовым чернем плети. Спросонья часовой ничего не мог понять, а Унгерн (он знал немного по-китайски) пояснил ему, что на карауле спать нельзя и что за такое нарушение дисциплины он, барон Унгерн, самолично его наказал. Затем, так же не торопясь, он поехал дальше. Перепуганный часовой поднял тревогу, но Унгерн был уже далеко».

Понимая неправдоподобность случившегося, Першин ссылался на каких-то безымянных монголов, которые находились во дворе и наблюдали эту сцену сквозь щели между палями тюремного тына. Более надежных свидетелей не находилось. История с наказанным часовым породила множество домыслов, иногда ее относили к первому штурму Урги, когда Унгерн ночью проник в Маймачен не то через ворота, не то сквозь пролом в крепостной стене; кто-то вообще сомневался в ее достоверности, но даже если это не более чем легенда, сам факт ее появления говорит о многом.

Першин не объясняет, с какой целью Унгерн решил наведаться к резиденции Чэнь И. Не понятно, сделал он это сознательно, чтобы явить свое превосходство и посеять панику, или визит в логово врага был просто лихой штукой, предпринятой по вдохновению, без какого-либо дальнего умысла. К точной расшифровке его побуждений никто не стремился. Для оказавшихся в Урге русских интеллигентов эта безрассудная отвага была обратной стороной его иррациональной жестокости и вызывала не восхищение, а скорее тот же, что у китайцев, хотя по-иному окрашенный, страх перед фантазмагорической фигурой барона. Он заставлял ощутить зыбкость почвы, на которой отныне никто не может чувствовать себя спокойно.

Поездку Унгерна к дому Чэнь И, реальную или мифическую, ламы истолковали как чудо, а китайцы восприняли ее как предвестие скорого поражения. Все, однако, сходились на том, что без заговора от пуль он не рискнул бы в полном одиночестве отправиться во вражеский стан. Опять вспомнили о кострах на Богдо-Уле и жертвах, приносимых духу горы. «Этот дух, — передает Першин ходившие по Урге слухи, — охранял барона и наслал затмение на всех, кто хотел или мог его задержать или убить».

СЛЕПОЙ БУДДА

1

К середине января 1921 года Чэнь И убедил военных выпустить Богдо-гэгэна из китайского импаня, где он полтора месяца просидел под арестом. Ему разрешили вернуться в свою резиденцию, возвратили часть свиты, но не свободу. Раньше дворцовая стража состояла из цириков его гвардии, теперь их заменили китайские солдаты. Для охраны пожилого, почти слепого человека, в 52 года казавшегося стариком, выделили целый пехотный батальон.

Для монголов этот человек был живым богом, владыкой духовным и светским — праведным ханом-чакравартином, вращающим «колесо учения» подобно Хубилаю и Абатай-хану. В его отречение от престола или не верили, или не придавали этому ни малейшего значения. Восемь лет Богдо-гэгэн Джебцзун-дамба-хутухта VIII провел на троне, но для для сотен тысяч буддистов от Астрахани до Гималаев он прежде всего был очередным перерождением жившего два с лишним столетия назад великого тибетского подвижника и проповедника Даранаты. С конца XVII века все, в ком он воплощался, становились монгольскими первосвященниками. Нынешний являлся восьмым по счету [\[103\]](#).

В Центральной Азии буддийская концепция перерождений издавна была частью не только духовной жизни, но и политики. В Китае опасались, что кто-нибудь из ургинских хутухт сумеет сплотить вокруг себя монголов, особенно если таковым станет мальчик из знатной монгольской фамилии. Иностранец казался

менее опасен, и еще в XVIII веке, после смерти Богдо-гэгэна II, по договоренности между Пекином и Лхасой было объявлено, что, согласно предсказаниям, все следующие перерожденцы Даранаты будут появляться на свет за пределами Монголии, в Тибете.

Богдо-гэгэн VIII тоже был тибетцем. По традиции он происходил из небогатой семьи, его отец занимал скромную должность в хозяйственном ведомстве Далай-ламы XII. По смерти прежнего, седьмого Богдо-гэгэна, девятнадцатилетним юношей неожиданно умершего в 1869 году, ламы-прорицатели путем гаданий определили 12 кандидатов на его место. Это были мальчики в возрасте до трех лет. При более пристальном освидетельствовании девятерых отстранили как обладающих меньшими признаками физического существа Будды, а судьбу оставшихся троих решил жребий. В Потале, в присутствии далай-ламы и панчен-ламы, бумажки с именами претендентов опустили в священную золотую урну-сэрбум, затем после богослужений и магических церемоний золотыми щипцами вынули одну из трех. Мальчик, чье имя значилось на ней, с этой минуты стал воплощением духа Джебцзун-дамба, другие двое — его тела и слова. Их отправили в посвященные Даранате монастыри, а Богдо-гэгэн VIII, предварительно утвержденный маньчжурским императором Тучжи в 1874 году, пятилетним ребенком, вместе с родителями был привезен в Монголию. За ним прибыло пышное посольство — по 200 человек от каждого из четырех аймаков Халхи; в пути процессию сопровождали маньчжурские и тибетские войска. Ургинские ламы выходили встречать ее на расстояние десяти ночевок от столицы.

В желтом паланкине маленький Богдо торжественно въехал в Ургу и с тех пор был окружен всеобщим поклонением. Однако на людях он почти не

показывался, официальных приемов во дворце китайского наместника тоже не посещал. До 1911 года, когда он взошел на престол, и началась «эра Многими Возведенного», простые монголы могли лицезреть его лишь дважды в году — во время Цама и на весеннем празднике в честь Майдари. Вся его жизнь подчинялась сложным ритуалам, продолжавшимся и после смерти^[104]. Ему воздавались божеские почести, но за фасадом придворного и храмового этикета шла ожесточенная борьба между соперничающими группировками ламства, в которой он так или иначе участвовал. Члены враждующих партий умирали при загадочных обстоятельствах; говорили не только об отравленной еде или питье, но о смертоносной одежде, ядовитых конских поводьях, четках, шипах и колючках, украдкой положенных в обувь. Упоминались и пропитанные ядом страницы священных книг, как в «Имени розы» Умберто Эко. Впрочем, о том, что происходит за стенами двух столичных резиденций Богдо-гэгэна, иностранцы мало что знали. Слухов ходило множество, но, по словам русского монголиста Позднеева, оценить их правдивость было так же трудно, как «проверить действительность жизни гаремов персидского шаха».

Самого Богдо-гэгэна пытались отравить по крайней мере дважды — по приказу из Пекина, где вызвала тревогу его политическая активность, и из Лхасы, недовольной его самостоятельностью в религиозных делах. В первом случае он успел вовремя покинуть Ургу, в другом подосланные к нему убийцы из числа тибетских лам после ужина во дворце «прямыми путями отправились в нирвану», как писал неискушенный в буддийской метафизике Торновский.

Позже Богдо-гэгэну пришлось бороться с теми из монгольских князей, кто хотел возвести на престол не

его, тибетца по крови, а одного из аймачных ханов-чингизидов, но ламство, естественно, встало на сторону первосвященника. Его главный соперник, тушету-хан Дашням, отступил, однако впоследствии все равно умер от яда. Та же участь постигла другого родовитого претендента на трон — дзасакту-хана Содном-Равдана.

Труднее оказалось решить вопрос о престолонаследии. В принципе, единственным законным преемником монарха-Будды мог стать только ребенок, избранный в результате той процедуры, которая сделала Богдо-гэгэном его самого, но князья не желали видеть на троне случайного тибетца, а Лхаса и связанные с ней настоятели монгольских монастырей отказывались признать, что в нарушение векового порядка следующий перерожденец Даранаты может появиться в самой Монголии. Проблема выглядела неразрешимой, тем не менее удалось найти выход из тупиковой ситуации. Было подтверждено, что, согласно старинному предсказанию, нынешнее, восьмое воплощение Даранаты является последним, девятого не будет. На самом деле это предсказание сочинили в Пекине лет двадцать назад — таким способом китайские политики хотели в ближайшем будущем навсегда избавиться от неудобного для них монгольского лидера. Местные духовные авторитеты, опасаясь репрессий со стороны Пекина, не отрицали наличия этого сомнительного пророчества, но и не подтверждали. Однако в новых обстоятельствах его признание стало результатом компромисса между ламством и князьями: тем самым проблема престолонаследия разрешалась в пользу княжеской партии.

Пойдя на уступки, Богдо-гэгэн добился права официально вступить в брак и узаконил свои отношения с женщиной, которая жила с ним уже много лет. Человек энергичный и хитрый, он сумел разделить две

свои ипостаси, слитые в нем, казалось бы, неразрывно — религиозную и светскую. В первой у него не могло быть наследника, зато во второй он рассчитывал передать трон усыновленному пасынку.

По одним сведениям, его жена Дондогдулам была дочерью цецен-хана; по другим, более вероятным, происходила из относительно незнатной семьи и состояла при жене князя Жонон-вана, но теперь ее, как когда-то Екатерину II, признали воплощением Сагаан Дара Эхэ — Белой Тары. Богдо-гэгэн был очень к ней привязан. На аудиенциях она восседала рядом с ним на двойном троне, специально изготовленном для божественных супругов, и, подобно мужу, благословляла подданных, касаясь их голов припущенной на пальцы перчаткой, дабы избежать оскорбляющего богиню телесного контакта. Правда, вопрос о том, станет ли ее сын наследником престола, оставался открытым, как и многие другие вопросы дальнейшего существования этой причудливой теократической монархии.

Позднее, видевший хутухту еще молодым, оставил выразительное описание его внешности: «Роста он немного ниже среднего, худощав, лицо у него желтое, без малейшего признака румянца, и еще более неприятное в силу всегда присущего ему выражения какого-то ребяческого самоволия и капризного упрямства, а равно от необыкновенно чувственно развитых губ». Впрочем, другой русский путешественник, в эти же годы побывавший у него на приеме, описал его как стройного юношу с умным живым лицом^[105].

Духовный владыка Монголии позволял себе куда большие вольности, чем высшие буддийские иерархи Тибета. Он, например, мог не скрывать своей любви к

европейской музыке, что в Лхасе было бы невозможно. Когда Альфред Кайзерлинг, чиновник по особым поручениям при приамурском генерал-губернаторе, подарил ему музыкальную шкатулку с записью вальса из «Летучей мыши», Богдо-гэгэн сразу запомнил эту мелодию и напевал ее во время разговора. Он хорошо играл в шахматы, Кайзерлинг быстро получил от него мат. Причем его богоподобный партнер настолько увлекся игрой, что благословлял подползающих к нему паломников той шахматной фигурой, которую в данный момент держал в руке.

Его наивный интерес к техническим чудесам западной цивилизации был общеизвестен. Впервые увидев телефон и фонограф, он пришел в восторг и спрашивал, нельзя ли пригласить Эдисона в Ургу, чтобы разом ознакомиться со всеми его изобретениями. Он разъезжал по столице в автомобиле, предпочитая его ритуальному паланкину, любил пушечную пальбу, коллекционировал граммофоны, обожал механические игрушки и тратил огромные деньги на разного рода диковинные безделки. Играющая на пианоле заводная девочка величиной в пол-аршина была не самым дорогостоящим его приобретением.

В 1912 году русский консул доносил в Петербург: «В Урге русские предприниматели сколачивают круглый капиталец на слабости хутухты ко всяким новинкам... В его дворце находятся целые склады вещей, решительно никому не нужных и покрытых от долгого лежания пылью, грязью и плесенью. Прогоревшие содержатели цирков и зверинцев сбывали здесь за безумно дикие цены животных, которых впоследствии никто не знал, как и чем кормить. Привозились и продавались по неслыханным ценам мотоциклетки и автомобили, разбиравшиеся при первом же выезде от неумелого управления». Позднее Сергей Хитун, шофер Унгерна, видел в дворцовом гараже три легковых автомобиля

марки «Франклин» и один «Форд» с паланкином вместо кузова. Все четыре машины находились в нерабочем состоянии.

Среди русских колонистов и посещавших Ургу европейцев бытовало мнение, что хутухта с юности страдает пристрастием к алкоголю и что именно любовь к выпивке стала причиной его слепоты: он отравился то ли недоброкачественным, то ли метиловым спиртом, который, возможно, подсунули ему не без умысла. Согласно другой версии, слухи о пьянстве Богдо-гэгэна распространяли китайцы с целью его скомпрометировать, а зрение он начал терять из-за стресса, вызванного прибытием Далай-ламы XIII в Ургу и сложившимися между ними непростыми отношениями.

Храм Мэгжид Жанрайсиг с исполинской статуей Авалокитешвары был воздвигнут для того, чтобы к нему вернулось зрение, но чуда не произошло; темные очки, которые Богдо-гэгэн всегда надевал на людях, остались при нем до конца жизни. Однако уже почти незрячим он выдержал еще одну схватку с теми из собственных приближенных, кто надеялся лишить власти слепнувшего бога.

Богдо-гэгэн не раз проявлял себя мастером дворцовой интриги, но широким политическим кругозором не обладал, в дела правительственных учреждений вмешивался редко и не имел в них большого веса. Последнее не было секретом для Унгерна. Он трезво оценивал этого незаурядного человека, разграничивая в нем знак и сущность, государственного деятеля и главу религиозного клана. Степень его участия в управлении страной барон охарактеризовал как «ничтожную», но признал, что «своих он здорово держит в повиновении».

При всем том в решающий момент борьбы за независимость Богдо-гэгэн оказался на высоте

нечаянно выпавшей ему роли национального лидера. Это по-новому осветило его предшествующую жизнь.

2

Торновский сообщает, что 29 января в лагерь на Убулуне прибыл какой-то «важный лама». Он доставил Унгерну благословение Богдо-гэгэна в виде грамоты «на ярко-желтом шелке» и его же устное распоряжение о своем похищении из-под стражи, план которого также был изложен Унгерну на словах.

По Князеву, высокий гость являлся перерожденцем учителя первого Даранаты и, «по религиозному преемству» — наставником своего ученика в его нынешнем воплощении. Он привез не план похищения, а полученные от Богдо-гэгэна «результаты гаданий», открывших, что его нужно освободить с помощью тибетцев, после чего гамины будут побеждены.

Другие считали, что конкретный план предложил Джам-балон, но саму идею выдвинул Унгерн, прекрасно понимая значение хутухты как общенационального символа. Пока китайцы удерживали его в качестве заложника, полностью положиться на своих монгольских союзников барон не мог. Была опасность, что если китайские генералы покинут Ургу, они увезут пленника с собой. Это давало им серьезный шанс склонить монголов к сепаратным переговорам.

Похоже, Унгерн действительно получил рекомендации Богдо-гэгэна, традиционно облеченные в форму предсказаний. В соответствии с ними исполнение замысла он возложил на тибетцев, недавно пришедших к нему на Керулен, а руководителем операции назначил бурята Тубанова. В Урге его знали как отчаянного парня с уголовными наклонностями, заядлого картежника, сына популярной в городе портнихи Тубани-хи,

специалистки по монгольскому верхнему платью. Она, по словам Першина, пользовалась хорошей репутацией, а сам Ту-банов — «очень худой». Это был плотный коренастый парень с отталкивающей физиономией, волчьими глазами и «зубами лопатой» под толстыми негритянскими губами, вздутыми и ярко-красными. «Все в нем, — подытоживает Першин, — носило характер преступности и решительности, наглости и отваги».

Если состоявшие под его началом «тубуты», как монголы называли тибетцев, происходили не из Урги, теперь их столичные соплеменники тоже были задействованы. В Урге они жили замкнуто, занимаясь прежде всего ростовщицеством, что усиливало их обособленность. По Першину, эти «фанатически настроенные ламаиты ненавидели китайцев как своих притеснителей», к тому же были воодушевлены мыслью, что им «предстоит совершить дело национального свойства, так как Богдо был их земляк».

В любом случае, сам он инициировал свое похищение или только согласился быть похищенным, от него требовалось немалое мужество. Предприятие было задумано таким образом, что в случае провала Богдо не мог свалить всю вину на тибетцев, действовавших якобы без его ведома. Неудача грозила ему более суровым заточением, а свитским ламам — пытками и даже смертью. Китайцы со дня на день ждали штурма, страсти были накалены до предела, но, будучи знаменем набравшего силу национального движения, оставаться в стороне от него Богдо-гэгэн не мог.

Из центра Урги, через долину Толы, прямая гатированная дорога вела к Летней резиденции Богдо-гэгэна примерно в полутора верстах от площади Поклонений. Она представляла собой комплекс храмов, беседок, павильонов, крошечных садиков и хозяйственных построек, обнесенных кирпичной стеной.

Со стороны города перед ней возвышались так называемые Святые ворота в китайском стиле. Вообще вся резиденция была распланирована в том же духе, что и Запретный императорский дворец в Пекине — с перемежающимися дворами и двориками, но скромнее, разумеется, и миниатюрнее.

В самом восточном из дворов стояло длинное двухэтажное здание, построенное иркутскими каменщиками в 1890 году. Его железную крышу выкрасили в зеленый цвет, поэтому всю резиденцию называли Ногон-Сумэ, то есть Зеленым дворцом — в отличие от Желтого, расположенного в Да-Хурэ. Здание было русского типа, что в свое время вызвало недовольство Пекина. Хозяина дворца обвинили в пророссийских симпатиях, пришлось срочно навесить под крышей дощатые карнизы с буддийским орнаментом и вырезать под окнами изображение лотоса.

Внутри размещались личные покои Богдо-гэгэна, а также тронная зала, библиотека и сокровищница, поражавшая иностранцев огромным и абсолютно бессистемным собранием раритетов из разных стран Европы и Азии. Наряду с прекрасной коллекцией буддийского литья Оссендовский увидел здесь драгоценные шкатулки с корнями женьшеня, слитки золота и серебра, «чудотворные олени рога», десятифунтовую глыбу янтаря, китайские изделия из слоновой кости, мешочки с жемчугом, украшенные резьбой моржовые клыки, тончайшие индийские ткани, коралловые и нефритовые табакерки, необработанные алмазы, меха необычной окраски и т. п. Другие посетители помимо азиатских диковин упоминали пианино, множество граммофонов с наборами пластинок, химические аппараты, хирургические инструменты, ружья, револьверы, пистолеты разных эпох и конструкций. По одной из описей, только часов

(карманных, настенных, настольных и напольных) тут значилось 974 штуки.

Залы Зеленого дворца украшали фарфоровые вазы и сервизы, вдоль стен рядами стояли чучела экзотических зверей и птиц вроде броненосца, тукана или ягуара с детенышем антилопы в зубах. Все они представляли собой не монгольскую, а южноамериканскую фауну и оптом были закуплены у одной таксидермической фирмы из Гамбурга.

Как буддист хутухта должен был покровительствовать четвероногим, прежде всего копытным, ибо олени первыми внимали Бенаресской проповеди Будды, но это формальное покровительство перешло у него в настоящую страсть. В самом дворце всюду можно было видеть попугаев, на привязи сидели обезьяны и прирученный орел, а во дворе разместился целый зверинец. В клетках и вольерах жили не только маралы и косули, но и медведи, волки, грифы, породистые голуби, собаки, белые верблюды. Последние считались приносящими счастье, как все животные-альбиносы. В 1912 году здесь появился слон, подаренный Живому Будде каким-то купцом из Красноярска, но вскоре умерший.

На этом сказочном острове посреди пустынной и нищей страны еще год назад обитали десятки лам всех школ и степеней, выходцы из Тибета, Халхи, Внутренней Монголии, Бурятии и Китая, а также работники и слуги, но теперь китайские власти сильно сократили их число. Простым монголам запрещено было здесь появляться. Обычно из окна Зеленого дворца свисала толстая красная веревка, сплетенная из конского волоса и верблюжьей шерсти; она тянулась через двор до внешней ограды, откуда свешивалась вниз. Когда другой ее конец держал в руке Богдо-гэгэн, к ограде на коленях подползали паломники, чтобы за определенную плату прикоснуться к этой веревке и

через нее вступить в физический контакт с хутухтой, получив тем самым его благословение и помощь в делах. Сейчас веревку приказано было убрать, паломников не подпускали ко дворцу. Численность охраны возросла до трехсот пятидесяти солдат и офицеров. Часовые стояли по всему периметру стен; у ворот были установлены пулеметы, проведен телефон для связи со штабом.

Зеленый дворец фасадом был обращен на юг, в сторону Толы. На ее противоположном берегу, за снежной гладью замерзшей реки, вздымались лесистые кряжи Богдо-Улы. Относительно близко от дворца находилась неглубокая падь; по ней можно было подняться на вершину, а затем добраться до монастыря Маньчжушри-Хийд на обратном склоне горы, но на снеговом фоне любые передвижения не остались бы незамеченными — от Ногон-Сумэ отлично просматривалась вся плоскость покрытой льдом Толы.

Со стороны Святых ворот простиралась голая и плоская прибрежная долина, открытая со всех направлений. На ней не было ни единого кустика, ни одного строения. Из Урги резиденция просматривалась как на ладони не только днем, но и ночью. В обычные для Монголии морозные и звездные зимние ночи каждая тень выделялась на пространстве между городом и Зеленым дворцом, одиноко темневшим посреди заснеженной равнины. В этих условиях любая попытка силой захватить Богдо-гэгэна представлялась делом безнадежным, и китайские офицеры чувствовали себя спокойно.

ТЮРЬМА

1

В сентябре 1919 года Южная армия Колчака под угрозой окружения сняла неудачную и затянувшуюся осаду Оренбурга. Попытка пробиться к Транссибирской магистрали не удалась, после падения Омска решено было через Акмолинск и Сергиополь [\[106\]](#) уходить к китайской границе. Командование армией, переименованной в Оренбургскую, принял атаман Дутов, но скоро его сменил генерал-лейтенант Андрей Бакич.

Путь по Каркаралинской голодной степи стал страшным испытанием для армии, три четверти которой были больны тифом или перенесли его совсем недавно. Копать могилы в мерзлой земле не было сил, трупы наскоро забрасывали камнями. Казахи со своими стадами откочевали подальше от тракта, рухнули надежды добыть у них провиант. Лошадей резали на мясо, или они сами падали от бескормицы. Многие казачьи части шли пешком, не говоря уж о массе беженцев, прибившихся к отступающим оренбуржцам, но, как обычно, штабные чины были избавлены от лишений. Штаб армии с семьями и личной поклажей двигался на восьми легковых и двух трехтонных грузовых автомобилях. Начальником авточасти был 25-летний поручик Сергей Хитун, сын известного петербургского адвоката, в 1912 году защищавшего на суде взбунтовавшихся от невыносимых условий жизни рабочих Ленских золотых приисков [\[107\]](#).

Бензин давно кончился, горючим служил спирт. Его реквизировали на попадавшихся по пути винокуренных

заводах и смешивали с керосином, чтобы не напивались шоферы. Штабные острили, что есть два «чемпиона», способных справиться с тифом — генерал Бакич, потому что русская вошь не кусает иностранцев (Бакич был черnogорец), и начальник автомобильной команды, который «заспиртовался». Наконец заболел и Хитун. Незадолго до того он получил сильные ожоги при взрыве горючей смеси, ослабевший организм не устоял перед сыпняком. В бессознательном состоянии его перевезли через китайскую границу и доставили в лагерь на реке Эмиль. Здесь, к югу от Чугучака, были интернированы остатки Оренбургской армии.

Через два месяца Бакич издал приказ о демобилизации. Теперь все, кто чувствовал в себе силы отправиться на поиски лучшей участи, могли свободно покинуть лагерь. Каждому интендантство выдавало немного муки и сахара, а также лошадь из армейских табунов. Начали образовываться группы по выбранным маршрутам. Кто-то готовился через Кульджу, Кашгар и Пешавар двинуться в Индию, чтобы оттуда морем добираться до Европы, другие решили возвращаться в Россию, третьи — через Монголию идти в Китай. Выздоровевший к тому времени Хитун примкнул к партии из четверых офицеров, которые выбрали направление на Ургу и далее на Маньчжурию.

В весенней степи корма для лошадей было вдоволь. Вечером их спутывали и отпускали пастись, но утром находили там же, где оставили, «так густа и высока была сочная нетронутая трава». У всех четверых часы были проданы, время узнавали по солнцу и звездам. Когда на ночлегах в очередь караулили лошадей, вторая смена дежурных заступала на пост после того, как «ручка кастрюльки», то есть ковш Большой Медведицы, опускалась вниз.

По дороге к ним присоединилось несколько казачьих офицеров с женщинами и детьми, потом —

бежавшие из красной Сибири трое парней и старик-фабрикант, одетый как на праздник. Его предупредили об аресте во время семейного торжества, и он скрылся из дому прямо в парадном сюртуке с атласными лацканами.

К середине лета 1920 года маленький отряд благополучно добрался до Кобдо и тут получил первый сигнал о том, что небо над Монголией не безоблачно, а китайская власть — «прочная и суровая». Это доказывали человеческие головы, насаженные на частокол вокруг местного ямыня. Возможно, они принадлежали людям из отряда Джа-ламы, который к тому времени вновь объявился в Кобдоском округе и начал партизанскую войну с китайцами. Большая часть голов уже успела высохнуть, хотя были и «недавние». Под каждой висела табличка с информацией о том, за что именно казнен этот человек. Зрелище было малоприятным, но Хитун и его спутники восприняли это варварство как нечто такое, что лично к ним, европейцам, никакого отношения не имеет и иметь не может.

В Улясутае измученных лошадей поменяли на верблюдов. Монголы показали, как заставить верблюда опуститься на землю, чтобы сесть у него между горбов, и как удержаться там, когда он резко встает на задние ноги. Иначе наездник, получив резкий толчок под «мадам Сижу», головой вниз летел на землю — «закапывал редьку». Путешественники легко овладели этой наукой, но «простой способ укладывания верблюда с просительным чох-чо-х был не по душе удальцам». Юные джигиты притягивали голову животного к земле, одной ногой наступали на поводок у самой морды, после чего быстро заносили другую ногу и садились верблуду на шею. Затем поводок освобождался, и «верблуд метнувшейся вверх шеей забрасывал молодца на свои горбы».

Стояла глубокая осень, ночами подмораживало. Теплой одеждой не запаслись, мука иссякла, но никто не унывал. Урга была близко, а участок дороги от нее до Маньчжурии считался самым простым и безопасным; на Калганском тракте было налажено автомобильное сообщение. Вечерами «сидели у костров, пели песни под гитару или делились планами о будущей мирной и удобной жизни где-то вне России».

Однажды к привалу подъехал монгольский князь и рассказал, что несколько дней назад в Урге было сражение китайских войск с какими-то русскими, которые пришли с севера. Русские потерпели поражение и отступили, а их жившие в столице соплеменники арестованы. Князь своими глазами видел, как их, скованных цепью, вели в тюрьму.

«Эти сведения, — замечает Хитун, — мало нас встревожили. Мы не чувствовали себя ответственными за действия тех, пришедших с севера, воинственных русских. Мы ведь сможем доказать, что наш длинный путь вел на восток с запада, а не с севера».

Иллюзии рассеялись, когда в двух верстах от Урги караван был окружен эскадроном из корпуса Го Сунлина. Китайские кавалеристы отняли у них все деньги и ценности вплоть до обручальных колец, отобрали верблюдов и пешком погнали в город. Конечным пунктом стала тюрьма — обнесенный шестиметровым частоколом бревенчатый барак на пустыре между Половинкой и Консульским поселком. В крошечной камере, куда втокнули Хитуна и его товарищей, предварительно отделив женщин с детьми, оказалось 22 человека. Никто из них не думал, что им придется провести здесь три месяца, и не все выйдут отсюда живыми.

Сразу вслед за первой попыткой Унгерна штурмовать Ургу начались аресты в русской колонии. В шпионаже подозревали не только белых офицеров и недавних беженцев из Сибири, но и городских старожилов, обосновавшихся здесь много лет назад. На волне шпиономании Першину, например, предъявили совершенно вздорное обвинение, будто найденные у него при обыске несколько казачьих папах предназначались для отправки Унгерну. Когда снаряд из единственной унгерновской пушки угодил в китайскую казарму, всех живших в соседнем доме русских обвинили в том, что они «сигналят». Монголов, заподозренных в пособничестве барону или известных своими антикитайскими настроениями, хватали десятками, если не сотнями.

Арестами дело не ограничилось. Китайские части, стягиваясь к столице, по дороге жгли русские поселения и убивали колонистов, но особенно гнетущее впечатление на русских в Урге произвела гибель каравана сибирского Центросоюза — кооперативной организации левого толка; с ним шли в основном эсеры и меньшевики, бежавшие из Советской России под видом торгово-закупочной экспедиции. Из Красноярской губернии они через Урянхай^[108] добрались до Урги и здесь почти все, в том числе бывший секретарь Керенского, полковник Журавский с женой, были ограблены и расстреляны китайцами. Спаслись двое из 16 (или 20 с лишним) человек — мужчина, под пулями сумевший скрыться на Богдо-Уле, и еврейская девушка Фаня, которую в ночь перед расстрелом, подозревая неладное, отправили искать помощи у Хионина, бывшего русского консула в Кобдо. После того как Китай установил дипломатические отношения с ДВР, он лишился своего статуса и жил в Урге как частное лицо, но сохранил связи с китайской администрацией.

Беглец, проведя ночь на Богдо-Уле, не выдержал мороза, сдался властям и был посажен в тюрьму, чтобы не болтал о случившемся, а Фаня осталась на свободе. Она взяла на себя заботу не только о единственном уцелевшем спутнике, но и о его товарищах по несчастью. «Наш добрый ангел», — называет ее Хитун.

Тюрьма была переполнена, арестантов держали где попало. Першин сидел в продовольственном складе, среди штабелей мерзлой капусты, Торновский — в набитой схваченными монголами холодной «амбарушке». Заключение под стражу часто было формой вымогательства: если арестованный получал передачи от семьи, разрешенные при условии уплаты одного доллара за посылку, ему в приватном порядке предлагалось освобождение за определенную сумму, смотря по его состоятельности. «В отношении *хабары*, — вспоминал Першин, — китайские военачальники народ опытный и практичный. Они судили о заключенных по способу их питания. Если человек пропитывался своим коштом, то, значит, с него можно было содрать хоть что-нибудь. Тех же, кто кормился за счет благотворительности и подаяния, выпускали, всыпав полсотни бамбуков».

Кого-то освобождали по ходатайству влиятельных знакомых или под поручительство людей, известных своей благонадежностью. Першину в январе удалось выйти на свободу (видимо, помогли связи с китайскими коммерсантами); чуть позже освободили и Торновского — по телеграмме из Пекина, где за него хлопотал Хионин. Однако чаще всего белых офицеров не выпускали на поруки, а заплатить им было нечем, все деньги у них отбирали при аресте.

По мнению одних, списки колчаковцев передали китайским властям местные большевики во главе с бурятом Чай-вановым, адвокатом из Иркутска. Другие считали, что аресты проводились по наводке городской

думы, над которой был поднят флаг ДВР, и где всеми делами заправлял большевик Шейнеман. Большое влияние имел и «красный» священник Федор Парняков, член Торговой палаты. Его сына, редактора иркутской газеты «Власть труда», юного революционера-идеалиста Пантелеймона Парнякова, год назад расстреляли белые, и отец, естественно, не питал к ним теплых чувств. Его тоже обвиняли в пособничестве арестам, хотя, как доносил в Верхнеудинск анонимный красный агент в Урге, именно Парников организовал продовольственные передачи в тюрьму и начал сбор средств для заключенных. Были составлены подписные листы, причем больше всех жертвовали ургинские евреи, стремясь показать, что не имеют ничего общего с соплеменниками-комиссарами по ту сторону границы. В то же время очень многие из тех, чье прошлое, с точки зрения Унгерна, было безупречным и кого он позднее приблизил к себе, подчеркнуто не принимали никакого участия в судьбе арестантов, демонстрируя китайцам свою лояльность. Зато наборщик консульской типографии Кучеренко, один из руководителей большевистской ячейки, поселил у себя в доме трех офицерских жен, чьи мужья сидели в тюрьме^[109].

К концу января 1921 года в ней оставалось еще до полутора сотен русских. Они содержались в ужасающих условиях, на ежедневном рационе из пары горстей просяной муки, некоторые — в цепях, но их, по крайней мере, не пытали. Монголы и буряты, подозреваемые в связях с Унгерном, подвергались пыткам. Один русский арестант говорил, что мучительнее всего было слышать за стеной душераздирающие крики этих несчастных. Истязуемым вводили в мочевого канал конский волос, срывали ногти или, как в семеновской контрразведке, сажали на голый живот крысу, прикрытую сверху консервной жестянкой, которую раскаляли до тех пор,

пока крыса не начинала когтями и зубами рвать человеку мясо.

В тюрьму попали несколько высокочтимых лам, включая известного перерожденца Джалханцзахутухту, и два национальных героя Монголии — Хатан Батор Максаржаб, вместе с Джа-ламой взявший Кобдо в 1912 году, и Тогтохо-гун, скоро, впрочем, отпущенный домой. Вероятно, Чэнь И сумел объяснить военным, что этот человек, окруженный в Монголии всеобщим уважением, опаснее для них в тюрьме, чем на свободе.

«Дни шли за днями, — вспоминал Хитун. — Мы получали порцию муки по утрам, глотали липкую кашу, не замечая ни вида ее, ни вкуса. Затем следовало обязательное и довольно долгое занятие — истребление вшей. А в пять часов вечера опять раздавалось «Хорин хайир!» («двадцать два» по-монгольски, число заключенных в камере. — Л. Ю.), и тюремщик вносил ведро с горячей водой. С наступлением темноты страдающие от жажды негромко просили у монгола за окном: *Угочь, угочь!* и он бросал в камеру снежки. Кто сосал этот снег, а кто им умывался». Пример выдержки и мужества подавал полковник Дроздов, инспектор артиллерии Оренбургской армии. Он всегда был спокоен, хотя у него не заживала рана в боку, и ему то и дело приходилось «полуодеревеневшим шерстяным чулком промакивать гной между выпиленных ребер»^[110].

Однажды вечером сочувствовавший русским монгол-охранник бросил в окно камеры буханку хлеба. Разрезав ее, нашли записку: «Нас, женщин и детей, освободили три недели назад благодаря настойчивым хлопотам нашего дорогого друга Фани; она упросила представителей иностранных торговых фирм в Урге посетить вас в тюрьме, надеясь, что это повлияет на

китайцев и заставит их если не освободить вас, то хоть улучшить условия вашего заключения».

Иностранцы прибыли, ужаснулись, но сделать ничего не смогли, да и не особенно старались. Зато с их помощью Фаня добилась разрешения на передачи для своих подопечных, а однажды сама появилась во дворе. Хитун, «присосавшись к окну», увидел «нежный профиль девушки в серенькой шубке, в шапке с наушниками и в валенках». Прежде чем ее вытолкали за ворота, она успела крикнуть, что китайцы позволили русским взять нескольких заключенных к себе, «на свою полную ответственность и иждивение».

Хитуна и троих его товарищей приютил у себя полковник Хитрово, в прошлом — кяхтинский пограничный комиссар. Помывшись, побрившись и похлебав супа с бараниной, все четверо уснули, счастливые и абсолютно уверенные, что настоящая свобода близка, но на третий день озлобленные китайские солдаты опять отвели их в тюрьму. О причине легко было догадаться по гулу орудийной канонады: Унгерн начал штурм столицы.

Рассказывали, будто перед отступлением китайцы решили отравить всех заключенных, подсыпав им яд в муку, и лишь случайность спасла их от мучительной смерти, но не исключено, что это легенда, возникшая уже после падения Урги. Она демонстрировала жестокость и коварство побежденных, а тем самым — справедливость развязанной против них войны. Страдания томившихся в заточении русских офицеров стали фигурировать как едва ли не важнейшее из обстоятельств, побудивших барона двинуться к монгольской столице. Макеев называл тюрьму «главной целью похода», лишний раз доказывая этим, что даже наиболее близкие к Унгерну офицеры понятия не имели о его истинных планах.

Захватив город, он лично беседовал со многими из недавних узников, русскими и монголами, и сам определял их дальнейшую судьбу. При нем тюремный барак, символ насилия китайцев, пришел в запустение; новые, более страшные застенки обосновались в других местах.

ШТУРМ. 1-2 ФЕВРАЛЯ

1

Чтобы определить дату, благоприятную для начала штурма, Унгерн впервые обратился к ламам, что позднее станет для него обязательным при всех более или менее серьезных операциях. Обычно использовались астрологические таблицы и гадание по трещинам на брошенных в огонь бараньих лопатках, но, как сообщает Аноним, на этот раз дополнительно прибегли к еще одной процедуре, в особо важных случаях принятой и у китайцев: на землю положили связанного козла, олицетворяющего собой противника, затем рядом с ним «начались бесконечные моления и заклинания под рев труб и грохот барабанов», в результате чего у козла должно было «пропасть сердце». Это произошло утром четвертого дня гаданий. Удовлетворенные ламы объявили, что теперь можно атаковать, столица тоже падет на четвертый день штурма. Их предсказанию Унгерн доверился настолько, что, согласно его приказу, каждый всадник должен был иметь при себе лишь трехдневный запас еды.

Две первые, ноябрьские, попытки захватить Ургу были предприняты наобум, но на этот раз существовал достаточно детальный план операции. Его разработал подполковник Дубовик, при Колчаке прошедший ускоренный курс Академии Генерального штаба в Томске. По дороге в Маньчжурию он был задержан Унгерном на Керулуне и не то по заданию Резухина, не то «от скуки» составил какой-то «доклад» — вероятно, с данными о китайских войсках в Урге и схемой воздвигнутых ими оборонительных сооружений. К

докладу прилагалась «диспозиция» с планом атаки, которую Унгерн нашел «отличной».

По мнению Волкова, невысоко ценившего военные таланты барона, третий штурм Урги потому лишь и оказался успешным, что его план «был разработан единственным в истории отряда совещанием командиров отдельных частей». Действительно, Унгерн решил вынести диспозицию на обсуждение, хотя и раньше, и потом все вопросы решал единолично или вдвоем с Резухиным.

От монголов план операции хранился в секрете. По беспечности они могли сделать его достоянием шпионов, поэтому монгольских князей вряд ли пригласили на совещание. В нем помимо Резухина и самого Дубовика должны были участвовать командиры полков Парыгин и Хоботов, их заместители Архипов и Лихачев, начальники артиллерии и пулеметной команды Дмитриев и Евфаритский, а также Джамболон, Тубанов и те офицеры, кому предстояло действовать самостоятельно — ротмистры Исаак и Нейман, есаул Тапхаев, войсковой старшина Нечаев, еще несколько человек. Некоторым из них Унгерн дал краткие характеристики на допросах и в беседах с Оссендовским. Об одном было сказано: «Храбрый, но мнит о себе». О другом: «Храбрый, но жесток как черт». О третьем: «Храбрый, но изменил мне». В первой половине все эти аттестации однообразно справедливы: за редкими исключениями, командиры унгерновских полков, дивизионов и сотен были головорезы, рубаки и пьяницы. Особняком среди них стоял генерал-майор семеновского производства Борис Резухин — старый, еще довоенный приятель Унгерна.

Это был, как его описывает Торновский, щеголеватый, маленького роста блондин с пушистыми усами, по натуре замкнутый и молчаливый, прекрасный наездник, но чужак в казачьей среде, не способной

разделить с ним его любимый досуг — «кейф за рюмкой ликера и кофе и приятную беседу». В Монголии он стал вторым человеком в дивизии и единственным, кому Унгерн полностью доверял, хотя никогда не относился к нему как к равному. Когда на допросе в плену его попросили охарактеризовать уже мертвого к тому времени помощника, он сказал, что Резухин — «только послушный», «мог сделать, что ему прикажут». Безгранично преданный своему начальнику, «немевший в его присутствии», он подражал ему даже в манерах и, по словам доктора Рябухина, был «бледной копией барона». То, что в оригинале восхищало и ужасало, в Резухине воспроизводилось как бы механически, с несравненно меньшим эффектом: его боялись, но перед ним не трепетали. Впрочем, Торновский нашел еще один ключ к душе этого человека: «Как для истинного кавалериста-воина, в его жизни деньги и сама жизнь не имели довлеющей ценности». Это давало ему право повелевать людьми, приверженными тому и другому.

На совещании план Дубовика был одобрен и принят с небольшими поправками. Суть его состояла в следующем: произвести «диверсию» на северных окраинах столицы, то есть имитировать наступление там же, где оно развернулось в ноябре, но основной удар направить на Мадачанское дефиле — цепь высот в предгорье Богдо-Улы, между Маймаченом и Тодой, над Калганским трактом. Они были хорошо укреплены^[111], зато после овладения этим центральным узлом обороны силы противника оказались бы разорваны надвое. После занятия Мадачанских сопок предполагалась атака на Маймачен, а затем, в случае успеха — на Ургу.

Есть известия, будто Унгерн обещал «войску» на три дня, как при Чингисхане, отдать город на разграбление, но, скорее, он дал понять, что закроет глаза на грабежи первых дней. При этом была очерчена запретная для

посягательств зона. В нее вошли буддийские и конфуцианские храмы, иностранные консульства и торговые представительства. Для наглядности азиатским частям показали даже какие-то флаги, включая, вероятно, американский и британский, чтобы никто не смел покушаться на дома, над которыми они вывешены. В идеале тем же кочевникам предстояло смести с лица земли прогнившую европейскую цивилизацию «от Тихого океана до берегов Португалии», но это было делом будущего. Пока Унгерн опасался настроить против себя западные дипломатические миссии в Китае.

В дивизии все с нетерпением ждали приступа. Урга была рядом, с высот Богдо-Улы открывались ее улицы, разноцветные кровли дворцов и кумирен. Город казался оазисом изобилия среди снежных степей. Так аркебузиры Кортеса смотрели на столицу ацтеков, крестоносцы — на стены Иерусалима, а бойцы Фрунзе — на вожделенные, тонущие в несправедной роскоши города Крыма. Для полуголодных, оборванных, замерзающих людей победа стала вопросом жизни и смерти. После взятия столицы, разговаривая с кем-то из русских колонистов, Унгерн назвал себя «воскресшим из мертвых». При неудаче монголы могли разбежаться, а без них мороз и голод стали бы грозными союзниками китайских генералов. В полках не осталось ни крошки муки, питались только мясом. Запасы соли тоже подошли к концу, остатки разделили и выдали каждому на руки. Выгоднее считалось посолить не мясо, а воду, в которой мочили куски баранины и конины, сваренные в пресной воде. Всадники были одеты в лохмотья и шкуры животных, Унгерн выглядел не лучше — очевидец запомнил на нем шинель с наполовину обгорелыми лапами и грязную папаху, «когда-то белую». Почти все были обморожены, позже в

ургинском госпитале сотнями ампутировали пальцы рук и ног.

В ночь на 1 февраля Резухин с главными силами дивизии, включая монгольский дивизион и чахаров Найдан-гуна, с двенадцатью пулеметами, не способными вести длительный огонь из-за отсутствия лент, и четырьмя пушками, к которым почти не имелось снарядов, выступил из лагеря на Убулуне.

«Серебристая пыль струилась над сугробами и заметала конский след. Как призрачные тени, наступающие колонны быстро приближались к Урге. Остановились. Громадным веером разбросалась цепь разъездов и скрылась в темноте», — пишет Аноним в характерном, нервно-приподнятом стиле 20-х годов, когда на фоне нэпа с его торжеством пошлости по одну сторону советской границы, эмигрантского прозябания — по другую, недавнее прошлое равно для красных и белых подернулось романтическим флером. Память об ушедшей вместе с ним молодости вдохновляла мемуаристов в обоих лагерях, но побежденные чаще брались за перо. Они, в отличие от победителей, не считали свою нынешнюю жизнь естественным следствием предыдущей, прошлое стало для них абсолютной ценностью, а не прологом чего-то большего. Прежняя жизнь воспринималась полностью завершенной, цельной, не имеющей продолжения и, значит, настоятельнее взывала к необходимости запечатлеть ее для современников и потомков.

Сражение за Ургу стало одной из легенд Белого движения. То, что победа была одержана за пределами России, не умаляло ее значения, напротив, придавало ей тот же всемирно-исторический смысл, на который претендовала русская революция, и тот же характер интернационального противостояния между голодными и сытыми, между вооруженными до зубов угнетателями и почти безоружными борцами за справедливость, как

изображала Гражданскую войну большевистская пропаганда. Это был едва ли не последний в военных анналах случай, когда не соотношение сил и не техника определили исход этой странной битвы, проигранной китайцами еще до ее начала. У них, как у связанного козла, ставшего объектом магических манипуляций, «пропало сердце». Иначе трудно понять, каким образом несколько сотен разноплеменных всадников сумели победить чуть ли не вдесятеро большую армию с тяжелой артиллерией и современными средствами связи.

Столичный гарнизон насчитывал 10-12 тысяч штыков и сабель, а вместе с мобилизованными поселенцами его численность доходила до 15 тысяч при трех шестиорудийных батареях и таком же числе пулеметных рот по 24 пулемета в каждой. Солдаты были прекрасно экипированы, жалование им выплачивалось без задержек. Эти части считались одними из лучших во всей китайской армии. Год назад они пришли в Монголию с Сюй Шучжэном и остались здесь после его опалы.

В первый день боев у Мадачана китайцы отчаянно сопротивлялись. Их позиции были выгодно расположены, окопы отрыты в несколько линий и оборудованы пулеметными гнездами, а провололочные заграждения перед ними не позволяли развернуть конницу. Резухину пришлось действовать в пешем строю, но патронов было так мало, что стреляли только с изготовки; стрельба на ходу стала непозволительной роскошью. Чахары Найдан-гуна и полторы сотни всадников монгольского дивизиона попытались было обойти обороняющихся с тыла, но под пулеметным огнем немедленно бросились врассыпную; их с трудом удалось собрать и «привести в порядок». С наступлением темноты атаки прекратились, не принеся успеха наступающим.

Ничтожность своих сил Унгерн должен был маскировать постоянной имитацией активных действий на разных участках^[112]. С той же целью он применил старую как мир хитрость — на ночлеге приказал всем частям разложить большие костры из расчета один костер на троих человек. Сопки и склоны Богдо-Улы озарились сотнями огней. Они полукольцом охватили Ургу, создавая впечатление вставшего на бивак огромного войска.

С рассветом возобновились атаки на Мадачанские высоты. Днем китайцы отошли на вторую линию обороны, но в этот момент у Резухина иссякли патроны. К счастью, удалось перехватить две направлявшиеся к китайским позициям двуколки с патронными ящиками. Противники были вооружены японскими винтовками одного образца, трофеи тут же пустили в дело. К вечеру 2 февраля гамины не выдержали натиска и начали отходить в Маймачен, под защиту крепостной стены. Это был серьезный, но чисто тактический успех. Главные события дня, решившие судьбу монгольской столицы, разыгрались не здесь, а четырьмя верстами западнее, и не на поле боя, а в Зеленом дворце Богдо-гэгэна.

2

Освобождение хутухты породило массу самых невероятных слухов. Не только монголы и китайцы объясняли случившееся вмешательством сверхъестественных сил, но и русские не отрицали такой возможности. «Помилуйте, — передает Першин разговоры ургинских обывателей, — ведь на виду всей Урги в богдойский дворец среди бела дня проникли похитители, обезоружили, а где надо и перебили охрану, забрали Богдо и унесли... Ну скажите, не чудо

ли? Отвод глаз, что ли, случился или что-нибудь в этом роде?»

Среди самих унгерновцев тоже мало кто знал, как именно произошло похищение. Макеев описывает его вполне в лубочном духе: «Тибетцы лихим налетом, с дикими криками, напали на тысячную охрану, и пока китайцы в панике метались по дворцу, дикие всадники ворвались в последний, нашли там живого бога, вытащили его наружу, положили через седло и ускакали».

Другие мемуаристы добавляли к этому описанию живописные, но малоправдоподобные детали. У Торновского хутухту с семьей увозят по руслу замерзшей Толы «в карете», а Хитун пишет, что Тубанов и его помощник Кучутов, тоже бурят, бывший иркутский дантист, умчались из Ногон-Сумэ на конях, с двух сторон «поддерживая своими могучими руками за талию» висевшего между ними в воздухе Богдо-гэгэна.

Во всех этих рассказах фигурируют всадники и лошади, которым совершенно неоткуда было взяться вблизи Зеленого дворца — спуститься с Богдо-Улы верхом невозможно. Лишь Князев излагает ход событий более реалистично: «Вечером 1 февраля Тубанов взобрался на Богдо-Улу. С соблюдением всех предосторожностей он вошел в связь с дворцом Богдо-гэгэна, потому что порученное ему дело требовало не только известной смелости и ловкости, но и должно было окончиться совершенно благополучно для здоровья Богдо и всего его окружения. Поздно вечером 2 февраля, по заранее согласованному с обитателями дворца плану, тибетцы набросились на батальон гаминов, охранявших священный город.' Воспользовавшись замешательством врагов, подали на карьере лошадей ко дворцу, посадили на них Богдо и его семью и ускакали».

Пожалуй, лучше всех был осведомлен Першин, ставший случайным свидетелем похищения. Из его рассказа следует, что дело происходило не вечером, а около четырех часов дня, когда было еще совсем светло. Приблизительно в это время он с биноклем встал у окна своей квартиры и начал разглядывать обращенный к городу склон Богдо-Улы. Здание давно обанкротившегося Русско-монгольского банка, чьим директором продолжал считаться Першин, располагалось на высокой террасе над поймой Толы, отсюда хорошо просматривалась вся гора от подножия до гребня. К востоку от города слышались пушечные выстрелы, и Першин, видимо, пытался понять, что там происходит.

Внезапно в поле обзора попали какие-то движущиеся черные точки на склоне. Они были хорошо заметны на снеговых прогалах, где нет леса. В первое мгновение Першин подумал, что это охранники-монголы, даже теперь обходившие дозорами заповедную гору, но тут же до него донеслась ружейная пальба. Стрельбу с Мадачанских высот он слышать не мог, они находились примерно в пяти верстах от его дома, и звук выстрелов не долетал сюда в разреженном морозном воздухе.

Позже ему удалось выяснить подробности. Оказалось, что еще с ночи большая часть спешенных всадников Тубанова укрылась в лесу на Богдо-Уле, а другая, меньшая, в которую, вероятно, входили тибетцы из ургинской колонии, открыто подошла к резиденции со стороны города. Все члены этой группы были одеты в монашеское платье, но имели спрятанные под одеждой обрезы или карабины. Одновременно по условному знаку свитские ламы обезоружили и связали часовых внутренней стражи. Часть похитителей в упор открыли стрельбу по караульным, другие вбежали в покои, где находились хутухта с женой, уже готовые к побегу —

«тепло одетые», подхватили их и понесли к берегу. Остальные заперлись во дворце, чтобы прикрыть отход. Едва их товарищи с драгоценной ношей появились на льду Толы, тибетцы, прятавшиеся на Богдо-Уле, образовали на склоне живую цепочку (этот маневр и наблюдал в бинокль Першин). Передавая Богдо-гэгэна и Дондогдудам с рук на руки, они мгновенно подняли их на вершину и еще до темноты доставили в Маньчжушри-Хийд. Там божественную чету принял под охрану князь Лувсанцэвэн со своими цириками^[113].

О том, что происходило внутри резиденции, Першин не сообщает, но, видимо, те из тубутов, что находились во дворце, начали стрелять из окон, а люди Тубанова — со стороны Толы. Началась паника, о погоне китайцы даже не помышляли, полагая, что ко дворцу прорвался авангард Унгерна и сам он уже близко. Более того, оставшимся на месте участникам операции в суматохе тоже удалось бежать и добраться до так называемого Западного храма в двух верстах от Ногон-Сумэ. «Там они, — завершает свой рассказ Першин, — и засели, причем так крепко, что сумели продержаться в этом укрытии более трех суток, пока китайцы не ушли из Урги».

Унгерн ждал известий от Тубанова в районе только что взятых китайских позиций на Мадачанском дефиле. Отсюда видна была Урга, он смотрел на нее с высоты, и в это время, если верить картинному описанию Макеева, подсказавший «на взмыленном коне» тибетец подал ему записку от Тубанова. Она состояла из единственной фразы: «Я выхватил Богдо-гэгэна из дворца и унес на Богдо-Улу». Прочитав ее, Унгерн «загорелся от радости» и крикнул: «Теперь Урга наша!» Известие мгновенно облетело все части, по горе покатилося: «Ура-а!»

ШТУРМ. 3-4 ФЕВРАЛЯ

1

В доме Першина, примыкавшем к зданию банка, и в самом банке проживали около двух десятков беженцев из России, среди них генерал, полковник и несколько офицеров — «публика третья». Правда, из оружия имелись только револьверы, и то не у всех. Остальные вооружились дубинками. С началом штурма заперли и забаррикадировали дровами ворота, заложили на болты ставни и учредили во дворе круглосуточное дежурство. В такие же крепости превратилось большинство русских усадеб южного квартала и Консульского поселка. Колчаковцы, жившие у Першина и в домах других ургинских старожилов, с радостью готовились встретить Унгерна, хотя почти ничего не знали о нем. Беженцы из Забайкалья лучше представляли себе этого человека, но сейчас их сильнее пугала китайская солдатня. Памятуя о ноябрьском погроме, ожидали реквизиций и грабежей. Надежда была на офицеров, которые должны поддерживать дисциплину в собственных интересах. Слухи о том, будто перед отступлением китайцы из чувства мести собирались перебить в Урге всех русских и даже вообще «всех европейцев», скорее всего, появились задним числом и имели под собой ту же основу, что и рассказы о намерении отравить находившихся в тюрьме заключенных.

Тем временем Унгерн совершил непростительную для полководца ошибку: он не воспользовался успехом и бездействовал весь следующий день, ибо ламы объявили его несчастливым. «Порыв не терпит

перерыва»; напомнив эту классическую заповедь военной науки, Торновский сам же признает, что иррациональное, казалось бы, решение Унгерна ничего не предпринимать до вечера 3 февраля оказалось наиболее правильным: китайское командование истолковало его бездействие как затишье перед бурей. Костры, вновь разложенные вокруг столицы, свидетельствовали о прибывших к нему подкреплениях, Мадачанские высоты пали, а похищение Богдо-гэгэна лишало последней надежды на раскол казацко-монгольской коалиции. На ночном совещании у Чэнь И все его участники высказались в том смысле, что дальнейшая оборона столицы невозможна, надо срочно начинать эвакуацию.

В первых числах февраля монголы и китайцы отмечают Цаган-сар — Новый год по лунному календарю. Обычно в эти дни по всей Урге шла оживленная предпраздничная торговля, закупали припасы к столу, «ставя ребром последний грош», но сейчас вместо веселой сутолоки царило зловещее безлюдье. Лавки на Захадыре и на главной китайской торговой улице, которую русские называли Широкой, были закрыты. Ламы затаились в монастырях, горожане сидели по домам. Запрет на богослужения не был снят, из храмов не доносилось ни звука. Солдаты, всегда наводнявшие центральные улицы, пропали, к вечеру в Урге воцарилась удивительная тишина.

Незадолго до полуночи 3 февраля Резухин с ударными пятью или шестью сотнями и всей артиллерией двинулся к Маймачену. Чтобы опять, как три месяца назад, не заплутать в темноте, направление держали по громадным кострам. Разведчики, рассказывает Аноним, с вечера развели их в створе Богдо-Улы и у радиостанции на горе Мафуске. Копыта коней и колеса орудий обмотали войлоком, колонна

«бесшумно соскользнула» с сопки над Толой, перешла реку вблизи от впадения в нее речки Улятуйки и вступила на сплошное поле льда. Лошадей вели в поводу. Падая, они калечились и не могли подняться, рядом оставались лежать раздавленные пушками люди. Наконец ледяная полоса кончилась, наступающие карьером понеслись к сопке, где находились Белые казармы — комплекс построек, обнесенных стеной с двумя воротами. Северные, как тараном, проломили «принесенным откуда-то бревном», в окна полетели гранаты. Нападения никто не ожидал, в зданиях «поднялся страшный вой, визг, беспорядочная стрельба». Гамины выскакивали в одном белье и, бросая оружие, через южные ворота убегали в соседний Маймачен.

К утру там скопилось до трех тысяч солдат из разных частей, в том числе отошедшие сюда с Мадачана и из Белых казарм, но единого штаба не было, офицеры не смогли организовать оборону. На рассвете, когда по приказу Резухина пушечным выстрелом выбили городские ворота и его всадники устремились в город, отдельные группы китайцев, укрепившись в домах и усадьбах, сражались каждая сама по себе. На узких улочках действовать в конном строю было нельзя, сотни спешили и втянулись в кровопролитные уличные бои. В них Резухин потерял больше людей, чем при взятии Мадачанского дефила. Пока он пробивался к центру города, с плоских крыш в казаков сыпались пули, камни и стрелы. Местные жители стреляли даже из луков.

Особенно упорно защищались гамины, засевшие в здании штаба Го Сунлина. Они поливали пулеметным огнем прилегающие улицы, но попыток вырваться из окружения не предпринимали, надеясь, видимо, что при заметной нехватке у противника патронов можно будет выдержать осаду, пока не подойдет помощь из Урги.

Там, однако, никто о них не думал, все заботились о собственном спасении. Китайские генералы покинули город, бросив на произвол судьбы еще не сложившуюся армию. Торновский имел все основания назвать их действия «преступными». В ночь на 4 февраля Чэнь И со штатом своих чиновников и Чу Лицзян со штабными офицерами на одиннадцати автомобилях выехали по Кяхтинскому тракту на север, к русской границе. В темноте все машины благополучно миновали опасную зону, где их могли перехватить унгерновцы. Торновский пишет, что генералы Ма и Го Сунлин рано утром выехали вслед за ними; по другим сведениям, последний умчался на восток, к Хайлару. В этом же направлении ушла большая часть его трехтысячного кавалерийского корпуса.

Спустя несколько дней, уже в Троицкосавске излагая обстоятельства падения Урги, начитанный Чэнь И говорил, что у китайских командиров была такая же согласованность в решениях, как у героев басни Крылова «Лебедь, рак и щука»; в качестве примера он привел действия отряда в две тысячи человек, который, «получив боевой приказ, не только его не исполнил, но, прибыв в Ургу и забрав имущество отряда, удалился, не выпустив ни одного патрона в сторону Унгерна». Вероятно, речь идет о всадниках Го Сунлина. Они без единого выстрела проследовали мимо потонувшего в дыму пожарищ Маймаче-на, где умирали их товарищи, и двинулись прочь от столицы.

Как в Средневековье, последним прибежищем китайских солдат и ополченцев стали кумирни, среди них — главный маймаченский храм, посвященный Гэсэру. Это древнее монголо-тибетское божество считалось покровителем ханьцев, живших в застенном Китае; под его защиту собрались сотни людей, но молитвы не помогли, двери были взломаны. Унгерн с его суеверным уважением ко всем восточным культам

приказал щадить святыни любой религии, однако в горячке боя приказ исполнялся не всегда. Все храмы были деревянными, казаки забрасывали их гранатами или поджигали. Помощь из Урги так и не пришла, зато монгольские отряды тоже вступили в Маймачен. Уже после полудня сумели поджечь здание штаба Го Сунлина, его защитники погибли в огне.

На северной окраине рота китайцев сдалась без боя. Они стояли на коленях, прося пощады. «К ним, — пишет Аноним, — подсказали чахары и монголы, спешились и, как-то приседая, стали кружиться около. Наметив себе жертву, выхватывали ее из рядов, оглаживая, отводили в сторону, и пока не понимающий, в чем дело, китаец заискивающе улыбался, монголы быстрым движением выхватывали свои острые, как бритва, ножи и перерезали пленным горло. Моментально вся рота оказалась вырезанной».

Резня сопровождалась вакханалией мародерства. Чахары бросились грабить дома и лавки, казаки устремились к конторам двух банков, Купеческого и Пограничного. Замки хранилищ были сбиты; вскоре улица покрылась металлическими деньгами, ассигнации «носились в воздухе». Их брали в последнюю очередь. Хватали серебряные китайские доллары и весовое серебро. «Да, серебра было много! — рассказывал впоследствии один из унгерновцев. — Только потом, как выбрались мы в Маньчжурию, в Хайлар, тут все и поистратили. Пропили больше».

Навести порядок на этом важнейшем участке Унгерну удалось не сразу. Он говорил, что захватил здесь на 200 тысяч рублей серебра, другие называли цифры во много раз большие. Среди банковских трофеев оказалось и золото в количестве четырех пудов. Часть сокровищ успели разграбить и, разумеется, немало утаили, несмотря на приказ под страхом смерти вернуть все похищенное из банковских

кладовых. Войсковой старшина Архипов сумел припрятать 20 фунтов золота, за что позднее был повешен Унгерном.

2

В ночь, когда Резухин вошел в Маймачен, сотни Хоботова и Парыгина появились на восточных окраинах Урги, захватили тюрьму и освободили заключенных. Расположенный рядом Консульский поселок заняли без боя, сопротивление встретили только у оврага, где находились православное кладбище и монументальное здание золотопромышленной компании «Монголор», оно же — российское дипломатическое агентство (по привычке его называли «консульством»). До начала осады в нем проживала ургинская «аристократия», то есть три барона с семействами — Витте, председатель правления «Монголора» Фитингоф и бывший оренбургский вице-губернатор Тизенгаузен, а также оставшиеся не у дел русские консулы и застрявшие в Урге колчаковские генералы, но в страхе перед погромами сюда переселились еще несколько семей и десятки одиночек. Здание было набито битком, один из жильцов сравнил его с сельдяной бочкой.

«Первым домом, захваченным солдатами Унгерна, — вспоминал Волков, живший здесь как зять Витте, — был наш дом, бывшее консульство, и я до сих пор не могу забыть, как оборванные полузамерзшие казаки, разбив прикладами окна, под пулеметным и ружейным огнем засевших во рву за домом китайцев ворвались в него». На радостях их растащили по комнатам, казаков стали угощать водкой, офицеров — «наконьчавать», и гамины внезапной атакой едва не отбили здание.

Утром 4 февраля Першина разбудил квартировавший у него доктор Рябухин: «Идите скорее!

Китайцы отступают!»^[114] Все обитатели дома уже собрались во дворе. С крыльца видно было, что «вся площадь напротив Да-Хурэ и весь склон горы возле монастыря Гандан-Тэгчинлин, и все пространство между этими монастырями» усеяны отступающими в беспорядке китайскими войсками. Кто-то сбегал за биноклем, который начали передавать из рук в руки. В бинокль Першин увидел: «Многие солдаты бежали без теплой одежды и обуви, без котомок. Люди, лошади, телеги — все было перемешано. Среди этого беспорядочного месива изредка виднелись обозы с оружием и провиантом». Громадная колонна мимо Гандана выходила на Кяхтинский тракт и бесконечным потоком тянулась на север^[115].

«Страшно было смотреть на нее, — вспоминал другой свидетель, — и не верилось, что горсточка наступающих смогла обратить в бегство эти двигавшиеся сплошной черной стеной тысячи вооруженных людей». Они беспрепятственно покидали город, лишь на следующий день Унгерн выслал в погоню Резухина, приказав смять колонну на марше, но китайцы не подпустили к себе его конницу. Руководил этим боем полковник Лян Шу — единственный из высших офицеров, кто не сбежал вместе с генералами и не потерял голову от страха.

Ближе к полудню толпы отступающих поредели, а затем и сошли на нет, оставив за собой покрытые брошенной амуницией улицы. Город вновь обезлюдел. В доме у Першина с нетерпением ждали известий из Консультского поселка, но на улицу выходить боялись. Наконец около трех часов дня заметили группу всадников, неторопливо приближавшихся со стороны Половинки. По коням и посадке видно было, что это казаки. Стоя у ворот, першинские постояльцы отсалютовали им дубинками.

Унгерн еще находился в Маймачене. Здесь ему достались громадные трофеи — полсотни пулеметов, свыше четырех тысяч винтовок разных систем^[116], гарнизонные склады с экипировкой, медикаментами, фуражом, продовольствием. Муки, правда, было немного, и то преимущественно гороховая. Надежда пополнить запас патронов тоже не оправдалась, но неделей позже удалось захватить караван с «огнеприпасами», который с востока шел к Урге, не зная, что она уже пала.

При отступлении китайцы бросили около двадцати пушек, однако снарядов к ним почти не осталось. Приятным сюрпризом для унгерновских артиллеристов стали два их собственных орудия, в ноябре захваченные китайцами в ночном бою под Маймаченом. Обе пушки нашли на том самом месте, где они были брошены три месяца назад.

Теперь погромов ждали китайские купцы и просили о заступничестве русских, которые парой дней раньше обращались к ним с аналогичными просьбами. Многие служащие торговых фирм предпочли уйти с войсками или, по крайней мере, эвакуировать семьи. Одному из них, своему доброму знакомому, Першин отдал лошадь с телегой.

Старожилы русских кварталов радовались, что дело обошлось без эксцессов, но особого энтузиазма не проявляли. Семенова тут никогда не любили, в его противостоянии с Колчаком держали сторону последнего и опасались, что барон этого не простит. Напротив, недавним беженцам из России терять было нечего, реквизиций они не боялись, никаких грехов за собой не знали и с восторгом готовились встретить победителей.

Для монголов победа Унгерна была их собственной победой; через несколько часов после ухода китайцев

город начал оживать, к монастырям потянулись сотни людей в праздничных одеждах. В Цогчине началось богослужение. «Перед заходом солнца, — пишет Першин, — из храмов Да-Хурэ слышались густые звуки гигантских богослужебных труб, но теперь эти аккорды не нагоняли уныние, а возвещали о радости и торжестве жизни. После двухмесячного вынужденного молчания трели «башкуров» — храмовых кларнетов в морозном воздухе звучали громко и победно».

В Урге все было относительно спокойно, пока ближе к вечеру над Захадыром не взвились клубы дыма. Начался пожар. К базарной площади, плотно застроенной деревянными торговыми рядами и амбарами, толпой повалили монголы, начался грабеж беспризорных складов и лавок. К счастью, ветра не было; огонь, грозивший перекинуться на центральные кварталы и храмы Да-Хурэ, потушили до темноты.

Узнав о погроме, Унгерн примчался наводить порядок, и первое его появление в Урге ознаменовалось первыми в ее двухсотлетней истории публичными казнями. По пути из Маймачена ему попались на глаза две монголки, тащившие какую-то ткань из разграбленной китайской лавки; он тут же распорядился их повесить и не снимать трупы в течение ближайших дней. Неделю спустя, проходя мимо Захадыра, Першин увидел, что тела несчастных воровок, для наглядности обмотанные украденной материей, еще висят на столбах базарных ворот [\[117\]](#).

«НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ НИ МУЖЧИН, НИ ЖЕНЩИН»

1

«Ваше превосходительство, — в мае 1921 года писал Унгерн генералу Молчанову во Владивосток, — с восторгом и глубоким удивлением следил я за Вашей деятельностью и всегда вполне сочувствовал и сочувствую Вашей идеологии в вопросе о страшном зле, каковым является еврейство, этот разлагающий мировой паразит. Вы вспомните беседу, которую вели мы с Вами под дождем, касаясь очень близко этого важного предмета...»

Эта беседа (горячая, должно быть, раз продолжалась «под дождем») могла состояться годом раньше, в Даурии. Каппелевский генерал Молчанов ликвидировал даурские застенки, выпустив на свободу всех заключенных, при нем же, по-видимому, начали собирать материалы для предания Унгерна военно-полевому суду, но оба они сходились в том, что главными виновниками революции являются «горбатые носы», «юркие», «избранное племя». Это мнение было всеобщим, и для его подтверждения не нужно было анализировать национальный состав ЦК РКП(б). Даже в Сибири с ее ничтожной долей еврейского населения примеров имелось сколько угодно, вплоть до того, что правительство ДВР поочередно возглавляли два еврея — Борис Шумяцкий и Александр Краснощеков (Краснощек). По сравнению с тысячами их соплеменников, а одновременно — товарищей по

партии, мало что значили лежавшие на другой чаше весов отдельные участники Белого движения или 35 юнкеров-евреев, погибшие при обороне Владимирского училища и телефонной станции в Москве в ноябре 1917 года^[118].

Коллективная ответственность за грех каждого своего представителя издавна связывала и спланивала еврейство в несравненно большей степени, чем другие народы. Древнее проклятие оказалось неснимаемым, и ортодоксальные «лапсердачные» евреи понимали это куда лучше, нежели их сыновья с университетскими значками и уверенностью, что XX столетие в корне будет отличаться от предыдущих, благо в нем окончательно восторжествует индивидуальное начало. Недаром еще в 1918 году посланцы волинского и подольского раввина умоляли Троцкого отойти от дел, чтобы отвечать за него не пришлось всему русскому еврейству.

Во время Первой мировой войны поручик Арсений Митропольский, в будущем — харбинский поэт Несмелое, автор «Баллады о даурском бароне», попал под артиллерийский обстрел на кладбище еврейского местечка в Галиции. Под грохот разрывов один из бывших вместе с ним офицеров мрачно пошутил: «Покойникам снится погром». Сон оказался вещим, в годы Гражданской войны по Украине и югу России прокатилась волна погромов, по жестокости не имевших себе равных со времен Богдана Хмельницкого. Насилие над евреем перестало считаться преступлением, превратилось в простейший способ поразить таинственное мировое зло в любом месте и элементарными средствами.

Впрочем, на государственном уровне все белые правительства старались удерживать антиеврейские настроения в рамках законности; Колчак, например,

отменил действовавшее с 1915 года постановление о том, что евреи как потенциальные шпионы подлежат выселению из стоверстной прифронтной полосы. Что бы ни говорилось и ни писалось тогда о Троцком-Бронштейне и Стеклове-Нахамкесе, какие бы выходы ни позволяли себе пьяные офицеры, в Сибири и Забайкалье еврейских погромов не было, немало евреев служили в Белой армии, занимали видные, до министерских включительно, посты в омской и читинской администрации. В Иркутске могли выпустить агитационный плакат, на котором карикатурные Троцкий и Ленин были изображены под шести-, а не пятиконечной звездой, но стоило раввинам крупных сибирских городов выразить протест, как этот плакат попытались по возможности изъять. В семеновской Чите существовало Еврейское общество, в театре шли спектакли на идиш. Перед революцией в Забайкальском войске числилось около четырехсот «казаков иудейского вероисповедания» — в основном приписных, каковым был сам Унгерн. Из них, а также из отпрысков местных буржуазных семей Семенов сформировал Еврейскую роту («Иудейскую сотню»), за что позже нацистский журнал «Мировая служба», выходивший в Эрфурте на восьми языках, обвинял атамана в «иудомасонстве».

«В настоящее время Вам удастся осуществить свой план действий в отношении евреев, от которых даже на семя не должно остаться ни мужчин, ни женщин», — писал Унгерн Молчанову, но очень сомнительно, чтобы тот всерьез вынашивал подобные планы. Юдофобство в военной среде было обычным делом, даже конфликты между белыми и членами союзнических миссий в Сибири генерал Сахаров объяснял коварством переводчиков-евреев, якобы нарочно искажающих смысл сказанного обеими сторонами с целью вызвать взаимное недоверие. Тем не менее ни один белый

генерал никогда не выдвигал лозунга тотальной борьбы с еврейством, Унгерн — единственное исключение. Евреи были для него движущей силой не только революции, но и той «всеобщей нивелировки», которая погубила Запад и которой следует противопоставить религию, культуру, сам дух желтой расы. Однако та легкость, с какой он перешагнул непреодолимую для нормального человека пропасть, отделяющую неприязнь, даже ненависть к евреям, от хладнокровного убийства еврейских женщин и детей, только его идеями объяснить невозможно. Это уже вопрос не идеологии, а психологии.

Согласно Макееву, Унгерн принял это решение, узнав, что китайцы арестовывают колчаковских офицеров по представлениям большевика Шейнемана. Барон якобы «побелел от гнева» и сказал: «Приказываю: при взятии Урги все евреи должны быть уничтожены — вырезаны. Это им заслуженная месть, что не скрутили рук своей гадине. Кровь за кровь!»

Сцена чересчур театральна, чтобы в нее поверить, но если даже что-то подобное имело место, возмездие, как всегда в таких случаях, пало не на тех, кто его заслуживал. Шейнеман успел покинуть город накануне штурма, а Фаня, помогавшая русским заключенным, скорее всего погибла в первые дни после взятия Урги. «Мы потеряли Фаню, нашу путеводную звезду», — пишет влюбленный в нее Хитун, заканчивая свои воспоминания о китайской тюрьме гимном во славу этой еврейской девушки с ее заботой о «совершенно незнакомых ей двадцати двух людях». Напрасно он взывал к ней, как чеховский герой к своей пропавшей Мисюсь: «Фаня! Где вы? Откликнитесь! *Хорин хайир* вас ждут».

Уже под вечер 4 февраля в Урге начались зверские убийства евреев. Занимались этим прежде всего забайкальские и оренбургские казаки, среди которых сразу выделилась группа людей, конкурировавших между собой в поиске еврейских домов. Убийце причиталось две трети имущества убитых, одну треть он должен был отдать в дивизионную казну, но едва ли кто-то следил за соблюдением этой пропорции. Отдавали малоценные вещи, хотя квартиры грабили подчистую, и позднее на складах интендантства валялись «ворохи оставшегося от евреев ношеного платья».

Особенно отличился доктор Клингенберг, вместе с сотней Архипова пришедший к Унгерну на Керулене. Волков называет его «кокаинистом и морфинистом» и описывает как «странного человека с неестественно бледным лицом, оттопыренными ушами, полураскрытым всегда ртом и опущенными до половины глаз веками». Одно время он жил в пограничной Кяхте, среди его пациентов было несколько богатых евреев, после прихода красных через Монголию выехавших в Китай, но застрявших в Урге. Теперь, в сопровождении группы казаков, Клингенберг по очереди посетил старых знакомых. «Когда он входил в квартиру, — рассказывает Голубев, — хозяева, увидев его с солдатами, выражали искреннюю радость... В лице его они видели своего избавителя. Радость их пропадала при первом вопросе о деньгах и ценностях. Под дулом револьвера ему немедленно передавали все, что он требовал, так как оставалась надежда на сохранение жизни, но эта надежда была тщетной. Как только ему передавали деньги и ценности, он делал знак солдатам, и те понимали его без слов. Мужчин убивали на месте, а женщин и девушек насиловали на его глазах, после чего он их отравлял». В дополнение к основной добыче

практичный Клингенберг захватил «много мужских и дамских костюмов, а также лучшую обстановку в свою квартиру при русском консульстве».

За теми, кто успевал убежать из дому, гонялись по улицам. Алешин вспоминал пьяного казака, убивавшего «ударом прямо в лицо толстой деревянной колодой». Он настолько вошел в раж, что обрушил это орудие на «своих», и его в конце концов пристрелили. В угаре охоты чудом уцелел «собственный жид» Унгерна, подполковник Лев Вольфович. Ему разрубили шашкой руку, он едва ушел от преследователей «через забор».

Жившие в Урге русские если сами и не видали еврейских погромов, то, по крайней мере, знали, что такое бывает, но для монголов смысл происходящего был совершенно недоступен. Им в голову не приходило считать евреев, которых они не очень-то отличали от других европейцев, эманацией мирового зла и опаснейшими врагами желтой расы. Монголы не в состоянии были понять, почему *цаган орос* («белые русские») убивают харя *орос* («черных русских»), хотя они всегда мирно жили и торговали бок о бок. Объяснение, что это «жиды-коммунисты», которые хотят отобрать у кочевников «их главное богатство — табуны и стада», мало кого удовлетворяло. Трудно было поверить, что подобные замыслы вынашивал, например, добрейший хозяин пекарни Мошкович. После того как он был убит, монгольские знакомые Волкова настойчиво допытывались у него, «что плохого сделал этот всем известный, всеми любимый старик».

Веками воспитываемые в духе буддийской ахимсы, потомки воинов Чингисхана превратились едва ли не в самый миролюбивый из азиатских народов. В Халхе преступников приговаривали к смерти в исключительных случаях. Редкие казни совершались в пади речки Сельбы, откуда не видны столичные святыни, а теперь людей убивали прямо на улицах, в

виду храмов и вершин священной Богдо-Улы. Когда одна молодая еврейка, спасаясь от насилия, бритвой перерезала себе горло, ее тело, за ноги привязанное к седлу, протащили по городу и выбросили на свалку.

Настоящих евреев-большевиков в Урге было двое — Шейнеман и «вечный студент» Буртман, осевший здесь проездом из Китая. Обоим удалось вовремя скрыться: Буртман заблаговременно отбыл в Иркутск, а Шейнеман, по-видимому, в последний момент выехал на автомобиле со свитой Чэнь И — тот мог взять его с собой в расчете на поддержку при переговорах с представителями ДВР. При этом Шейнеман оставил в городе жену и маленькую дочь, для которых не нашлось места в машине.

Жена, молоденькая и очень красивая, не была убита на месте; ее как важную персону доставили к Сипайло, известному своим женолюбием. Тот предложил ей стать его «наложницей», взамен обещав сохранить жизнь, но обещания не сдержал и через неделю, пресытившись, собственноручно ее задушил. Дочь Шейнемана уцелела благодаря самоотверженности няньки-монголки. С началом погрома она с ребенком на руках бросилась к другу семьи, «красному» священнику Парнякову; тот успел крестить девочку или просто заявил вломившимся следом казакам, что она — крещеная.

Эту историю относили иногда к семье Шейнемана, иногда — к другим семьям, и существовала она в нескольких вариантах. Согласно одному из них, казаки, узнав, что девочка — уже христианка, в ярости зарубили ее спасительницу. По другой версии, нянька тоже осталась жива, потому что прибежала не куда-нибудь, а в штаб Унгерна и там, лежа на полу, до тех пор прикрывала воспитанницу своим телом, пока не привели священника, который прямо на месте совершил над ней обряд крещения.

Еврейские дворы в Урге не были выделены в отдельный квартал наподобие тибетского. Евреи жили в домах русского типа, попеременно с русскими, бурятами и выходцами из Западной Европы, но это касалось только старожилов. Беженцы из России ютились в наемных квартирах, разбросанных по Консульскому поселку и центральной части города. Проводники и доносчики нашлись быстро, тем не менее уничтожить всех евреев за один день, как предполагал Унгерн, не удалось; несколько семей укрылось у знакомых христиан и монголов. Большинство из них погибли чуть позже остальных, как Рябкин, служащий конторы Центросоюза; его спрятал у себя американец Гуппель, но вскоре, не выдержав угроз, выдал унгерновцам. Не сразу была убита и семья купца Немецкого. По фамилии казаки приняли его за немца, но позже Сипайло исправил их ошибку.

Дольше всех прожили 11 (по другим известиям — 20) мужчин, женщин и детей, нашедших убежище у Тогтохо-гуна. Возможно, они потому и обратились именно к нему, что этот ушедший на покой суровый воитель, автор труда о правилах кочевого скотоводства и связанных с ним этикетных нормах, почитался как образец благородства и рыцарских добродетелей. От политики он давно отошел, большую часть года проводил в степи, но в столице у него имелся свой дом. В нем или в стоявших во дворе юртах и были укрыты бежавшие под его защиту евреи.

О их исчезновении стало известно, начались поиски, в которых сам Унгерн участия не принимал. Единожды решив судьбу ургинских евреев, все остальное он доверил полковнику Сипайло, назначенному комендантом Урги. Сразу найти беглецов тот не сумел, хотя ясно было, что они где-то в городе. Все дело погубил случай.

В это время в Урге проживал состоятельный корейский эмигрант, доктор Ли. Когда Унгерн занял столицу, он стал хлопотать о разрешении выехать в Китай и, получив отказ, решил самовольно бежать в Калган на принадлежавшем ему автомобиле. Можно предположить, что решиться на это его уговорили укрывшиеся у Тогтохо евреи; во всяком случае, они каким-то образом ухитрились передать ему письма родственникам и знакомым в Китае. Очевидно, в них содержались отчаянные просьбы не пожалеть денег и добиться помощи у тех, кто может повлиять на Унгерна — японцев, западных дипломатов, Семенова или других белых генералов.

Надежда была иллюзорной, но с технической стороны замысел не являлся таким безнадежным, каким кажется на первый взгляд. По Калганскому тракту от Урги до китайской границы — чуть меньше тысячи верст, пять-шесть дней пути на автомобиле. Этот срок следовало увеличить вдвое, считая с обратной дорогой, и добавить пару недель на доставку писем и хлопоты, но все равно был шанс, что до тех пор ничего непредвиденного не произойдет.

За деньги, из сочувствия или по каким-то иным соображениям Ли согласился взять письма, однако бежать не успел, в последний момент кто-то донес о его планах. К нему пришли с обыском, во время которого он со слезами просил Сипайло не открывать один из стоявших в комнате шкафов. Это показалось подозрительным, замок взломали и обнаружили в шкафу мумифицированное детское тельце в ванночке «аршина полтора длиной*. Оказалось, что Ли, не в силах расстаться с недавно умершей от тифа маленькой дочерью, набальзамировал и сохранил ее тело. Одета в «розовое платье», обложенная искусственными цветами, девочка выглядела как живая. Сипайло велел выбросить трупик на свалку, хотя Ли на коленях умолял

этого не делать. Может быть, в тот момент, еще надеясь уберечь бесценную мумию, он и рассказал, где прячутся пропавшие евреи, но это не спасло ни тела дочери, ни его самого — ему накинута на горло петлю и задушили. Бои-китайцы погибли той же смертью, чтобы не осталось свидетелей.

У Макеева, присутствовавшего при расправе с мертвой корейкой, ее отцом и мальчиками-слугами, случился нервный припадок; он пытался задушить Сипайло и, связанный, был увезен в госпиталь, а перед его начальником встала непростая задача: захватить беглецов, но повести себя корректно по отношению к Тоггохо. Слава и моральный авторитет этого человека исключали возможность прямого насилия.

Дальнейшие события излагали по-разному, но в целом картина складывается следующая. Когда сам Сипайло или кто-то из его помощников явился к Тоггохо, тот поначалу все отрицал. Обыскивать дом и подворье не посмели. Чтобы получить доказательства пребывания там евреев, за домом установили тайное наблюдение, в итоге доказательства были получены и предъявлены хозяину. Тоггохо пришлось все признать, но выдать беглецов он отказался, заявив, что в таком случае покроет свое имя «несмываемым позором». При всей пафосности этих слов они, должно быть, приблизительно так и прозвучали. Легендарный монгольский князь был порождением того мира, которым всегда восхищался Унгерн и основы которого им же самим и были подорваны.

Княжеский байшин пользовался абсолютной неприкосновенностью; Сипайло отступил, но все понимали, что рано или поздно сопротивление Тоггохо будет сломлено. По одной версии, однажды ночью к его дому подъехала группа казаков, действовавших, как можно предположить, якобы не по приказу Сипайло, а по собственной инициативе. Они или вызвали князя за

ворота, или просто кричали под окнами, угрожая расправиться с ним, если он не выдаст спрятанных «жидов». Едва ли казаки решились бы исполнить свою угрозу; вся затея была не более чем ловкой провокацией, но расчет Сипайло оказался точен. Приближенные Тогтохо или напуганные члены его семьи вынудили евреев покинуть убежище.

По версии Макеева, Сипайло сделал вид, будто отказался от попыток добиться их выдачи, но засаду возле дома не снял. Спустя какое-то время евреи, успокоившись, «в один мелко-дождливый день» вышли за ворота «подышать свежим воздухом» и тут же были схвачены. «Бедные люди посерели, — пишет Макеев, — они знали, что жизнь их кончена, но вряд ли могли представить, как жестоко закончится их жизненная эпопея. Через полчаса на гауптвахту приехал Сипайло со своими молодцами и пойманных стали по очереди душить. Сквозь дверной засов просовывали петлю, накидывали ее на шею очередного, и Панков изощрялся в удушении людей. Трупы несчастных бросали в китайскую арбу и вывозили за город на съедение собакам».

Унгерн представлял собой тип палача-идеалиста, страдания жертв не доставляли ему удовольствия, но Сипайло был существом совсем иной породы. Есть свидетельства, что скрывавшиеся у Тогтохо евреи погибли отнюдь не так быстро, как утверждает Макеев. «Когда, — вспоминал Волков, — стали доходить слухи о невероятных пытках и насилиях над женщинами, а вскоре тела замученных выбросили недалеко от города, всем стало ясно, что это не погром, не «стихийный взрыв народной ненависти к евреям», а узаконенное гнусное убийство».

Рассказывали, будто одну из захваченных у Тогтохо евреек спас плененный ее красотой некий казак из комендантской команды. Он тайно женился на ней и

позднее увез с собой в Маньчжурию. Она полюбила его, тем не менее все-таки сочла долгом убить мужа, чтобы отомстить за погибших родственников. Такие легенды всегда возникали после периодов массового убийства евреев, будь то времена «хмельничины» на Украине или годы холокоста.

3

Енисейский казак Лаврентьев, бежавший в Монголию из Минусинска, сообщает, что в одном доме, где квартировали китайские офицеры, среди оставшихся книг и карт кто-то нашел сочинение Нилуса «Великое в малом» с приложенными к тексту «Протоколами сионских мудрецов». Нотариус Юшков, беженец из Казани, знавший толк в такого рода литературе, ухватился за эту книгу и «с целью пролезть в добрые к барону достиг у него аудиенции». Унгерн одобрил его рвение, но подарка у себя не оставил. Отсюда можно заключить, что содержание книги было ему знакомо. Юшков получил задание сделать из нее нужные выписки и размножить их на машинке для распространения по полкам и сотням.

«Философия их религии — око за око, зуб за зуб, — в духе Нилуса писал Унгерн о евреях своему пекинскому агенту Грегори в мае 1921 года. — Проводятся в жизнь и принципы талмудических надстроек, говорящих о допустимости всех средств, лишь бы восторжествовал гонимый людьми-гоями Богом избранный народ, лишь бы он умножался подобно звездам на небе и песку морскому. Они («талмудические надстройки». — Л. Ю.) дают евреям планы и методы действий в области разложения и разрушения народов и государств». Впрочем, Унгерн хотел уточнить свою концепцию и просил Грегори побеседовать на эту тему с каким-то

жившим в Пекине «старым философом», а затем сообщить его мнение в Ургу.

В плену Унгерн предрек, что власть в России «непременно перейдет к евреям, так как славяне неспособны к государственному строительству, а единственно способные люди в России — евреи». Он не раз говорил о физическом, умственном и моральном вырождении русских, поэтому евреев тем более следовало уничтожить, дабы образовавшийся вакуум духа и власти был бы заполнен не еврейским началом, а восточным.

При этом Унгерн не брезговал услугами еврейских коммерсантов в Маньчжурии, помогавших ему сбывать трофейное имущество. Они, в свою очередь, прекрасно зная о судьбе соплеменников, тоже не отказывались от взаимовыгодных отношений с их убийцей. Унгерн лишь не хотел пускать этих людей в Монголию, чтобы, видимо, не компрометировать себя такими контактами. «Рабинович хотя и друг, но повешу как жида, если перейдет границу», — писал он одному из своих корреспондентов. Евреи Малецкий и Жуч представляли интересы Унгерна в Хайларе, а подполковник Лев Вольфович, крещеный еврей, состоял при бароне в роли доверенного лица и переводчика с китайского.

Оссендовский рассказывает, как Унгерн привез его на радиостанцию и, читая радиোগраммы от своих агентов на Дальнем Востоке, заметил: «Эти смелые и ловкие люди — все евреи, они мои настоящие друзья». Зато об ургинских убийствах Оссендовский не обмолвился ни словом. Впервые его книга была издана в Нью-Йорке, а здесь автор как конфиденгент человека, почти полностью уничтожившего еврейское население Урги, не мог рассчитывать ни на благосклонность издателей, ни на симпатии читателей.

К Першину не раз являлись казаки с вопросом, не живут ли у него евреи. Получив отрицательный ответ, уходили без обыска, но если бы им вздумалось обыскать дом, они обнаружили бы зубного врача Гауэра с женой и племянником. Их привел першинский квартирант, генерал Ефтин. «Это мои знакомые, — сказал он, — хорошие люди. Спрячем их, а после, когда пройдет суматоха, общими силами воздействуем на Унгерна, чтобы спасти им жизнь».

Ефтин уповал на профессию Гауэра и не ошибся, дантист нужен был всем. Еще две еврейские семьи спаслись благодаря заступничеству Витте, Тизенгаузена и Фитингофа, у которых Унгерн обедал в день взятия Урги (остряки называли это мероприятие «обедом четырех баронов»). Уцелела и семья юриста Мариупольского из Омска, известного своими правыми взглядами, При Колчаке он был членом военно-следственной комиссии, но в первые дни после ухода китайцев ему пришлось нелегко — «его облик был его врагом»^[119]. Все евреи, которых Унгерн пощадил, получили «записки» за его личной подписью. Эти охранные грамоты следовало постоянно иметь при себе и предъявлять при попытке ареста.

По подсчетам Першина, всего были убиты около 50 евреев. «Русских погибло гораздо больше», — замечает он, сохраняя объективность, неуместную в чисто количественном выражении. Каждого русского убивали за его собственное, с точки зрения Унгерна, преступление, пусть ничтожное или вообще фиктивное, а не за равно распределенную между всеми, вплоть до младенцев, долю общенациональной вины, когда оправданий нет никому, и человек в крови несет свою смерть.

ПИР ТРУПОЕДОВ

1

«Страшную картину, — пишет Волков, — представляла собой Урга после взятия ее Унгерном. Такими, наверное, должны были быть города, взятые Пугачевым. Разграбленные китайские лавки зияли разбитыми дверьми и окнами, трупы га-мин-китайцев вперемешку с обезглавленными замученными евреями, их женами и детьми, пожирались дикими монгольскими собаками».

4 и 5 февраля «пронесся первый шквал унгерновских репрессий», постепенно «люди стали вылезать из своих нор». На четвертый день после ухода китайцев Першин, избранный делегатом от русской колонии, и купец Сулейманов, представитель мусульманской общины, отправились в маймаченский штаб Унгерна с официальным визитом. Возле ямыней на площади Поклонений уже толпились монголы-просители, но лавки и магазины оставались закрыты. Впрочем, если срочно требовалось что-то купить, по рекомендации можно было пройти с черного хода, через усадьбу. Улицы Половинки были пустынные, зато Маймачен по контрасту поражал оживленностью и экзотическим обликом прохожих: это были унгерновцы в трофейных китайских шароварах шириной «с Черное море», в шелковых курмах и долгополых халатах на меху. «А лица! — восклицает Першин. — Боже мой, каких только физиономий тут не было! Смешение племен и рас, и всяческих помесей, начиная с великороссов-сибиряков и кончая монголами, бурятами, татарами, киргизами».

Не меньшее впечатление произвела на него резиденция Унгерна. Штаб и приемная, где толпились монгольские князья, ламы, русские офицеры, «не представляли и намека на какой-нибудь комфорт», комнаты были «нестерпимо грязны», стекла в окнах заменяла наклеенная на решетчатые переплеты рам драная бумага. Сквозь нее «свободно проникал уличный холод». Чугунная печка дымила, но не грела.

Все помещение штаба состояло из двух комнат, не считая приемной. Никакой канцелярии не было, из мебели наличествовали только китайский кан (нары, снизу подогреваемые жаровней с углями), «первобытный стол», скамья и табурет. На нем сидел начальник штаба, «полковник», и ел «какую-то подозрительную лапшу с пампушками». Одна щека у него была раздута флюсом.

Скорее всего, это был подполковник Дубовик, хотя Першин называет его Ивановским. За давностью лет он забыл, что Ивановский вступил в эту должность немного позже. Лишь 12 февраля последовал приказ Унгерна по дивизии, где один из пунктов гласил: «Глупее людей, сидящих в штабе дивизии, нет, приказываю никому, кроме посыльных, не выдавать три дня продуктов». Станный пункт объяснялся тем, что штабные отвели Унгерну квартиру в очищенном от жильцов еврейском доме — это, видимо, казалось, ему неприемлемым для того, кто уничтожил хозяев по идейным, а не по корыстным соображениям. Тогда же прежний штаб был разогнан, Дубовика отправили заведовать оружиевыми мастерскими [\[120\]](#).

Его заменил Константин Ивановский, присяжный поверенный из Владивостока, человек абсолютно штатский, но другого и не требовалось: отныне начальник штаба дивизии превратился в нечто среднее между политработником и управляющим канцелярией.

По слухам, Ивановского «подсунули» Унгерну ургинские бароны — Тизенгаузен, Фитингоф и Витте. Главным аргументом в его пользу послужило, видимо, то обстоятельство, что интеллигентный Ивановский мог быть понимающим слушателем, когда Унгерну в редкие минуты досуга хотелось пофилософствовать. Иногда он даже осмеливался оппонировать грозному начальнику. Голубев подробно пересказывает целую дискуссию, которая однажды состоялась между ними по вопросу о загробной жизни: Ивановскому крепко влетело за то, что он ее отрицал.

«Десятки людей, — пишет Першин, — должны признательностью помянуть Ивановского, который очень многим в Урге спас жизнь, пользуясь для этого всякими случаями, часто рискованными для него самого». Волков уточняет: да, многие обязаны ему жизнью, но лишь в начале его службы; позже, «захлебнувшись в кровавом омуте, он поплыл по течению». По Волкову, Ивановский попал в известную ловушку: убеждая себя в том, что дорожит не властью, которую давала близость к Унгерну, а возможностью помогать людям, он не заметил, как средство превратилось в цель.

Все это — дело будущего, а пока что Дубовик провел Першина и Сулейманова в соседнюю комнату. Такая же неудобная, грязная и холодная, лишенная намека на какой бы то ни было комфорт, она с пугающей наглядностью демонстрировала характер нового властелина Монголии, не похожего на ее прежних хозяев.

Унгерн приветствовал вошедших «быстрым кивком», но сесть не предложил. Впрочем, садиться все равно было не на что. Единственный стул был придвинут к столу, на котором не лежало никаких бумаг. Унгерн стоял возле стола в «довольно замызганном» халате с крестом ордена Святого Георгия на груди и мягкими

генеральскими погонами. «Если бы барон был одет в хороший модный костюм, — отметил Першин, — выбрит и причесан, вся его стройная породистая фигура с врожденно-сдержанными манерами была бы вполне уместна в какой-нибудь фешенебельной гостиной среди изящного общества».

Его немногословие Першин отметил уже при первой встрече. Он едва успел произнести несколько фраз, «отзывавших благожелательством к евреям», как барон «отрывисто, резко, повелительно» произнес всего одно слово: «Отставить». Когда же Першин вступился за арестованного накануне доктора тибетской медицины Цыбиктарова, Унгерн ограничился двумя словами: «Он умер». Тем самым тема объявлялась исчерпанной.

Между тем гибель этого человека произвела особенно удручающее впечатление на ургинцев, еще не привыкших к той мере вины, которая отныне будет считаться достаточной для казни. Никто в городе не верил, что покойный был большевиком, его смерть объясняли или ошибкой, или происками конкурентов из числа монастырских врачей.

Бурят Цыбиктаров представлял собой тип провинциального русского интеллигента с левыми убеждениями, пьющего и нервно-альтруистичного. Его потребность сеять вокруг себя разумное, доброе, вечное доходила до того, что он читал ламам-целителям лекции по анатомии. Цыбиктаров имел обширную практику (поговаривали, что среди его пациентов был сам Богдо-гэгэн), но его жена-еврейка и четыре дочери-подростка жили в постоянной нужде, потому что почти весь свой заработок отец семейства тратил на содержание больницы, где бесплатно лечилась ургинская беднота всех наций и религий, а оставшиеся деньги пропивал. После Февральской революции он ненадолго, но, видимо, азартно включился в общественную деятельность; теперь ему

припомнили произнесенную на каком-то собрании три года назад «революционную» речь, обвинили в большевизме, привезли в Маймачен и прямо во дворе штаба дивизии зарубили топором. «Тупым», — уточняет Першин, неизвестно от кого услышавший эту подробность.

В эти же дни погиб священник консульской церкви Федор Парняков, тоже просветитель и филантроп, основатель первого в Халхе приюта для монгольских сирот, человек левых взглядов, но уж никак не большевик. Едва ли он был и «несомненным атеистом», как характеризует его Торновский, скорее — религиозным протестантом, противником казенной церковности. «Я — служитель мертвого культа», — заявил Парняков перед смертью. Он давал приют бежавшим от Семенова соратникам Лазо, пытался поднять над городским правлением флаг ДВР и не скрывал враждебности к белым, расстрелявшим его сына. После короткого допроса Парнякова изрубили шашками, предварительно сняв с него наперсный крест. Как рассказывали очевидцы, умер он «мужественно».

С китайцами ушло около тридцати русских рабочих, служащих и работников связанного с ДВР городского правления — «демократический элемент». В этой группе был и главный ургинский большевик Чайванов. Его товарищи по партии — Цветков и единственный типографский наборщик Кучеренко погибли той же смертью, что и Парняков, а Черепанов, в прошлом матрос мятежного крейсера «Потемкин», забаррикадировал входную дверь, и пока ее ломали, успел повеситься на чердаке.

В первые дни работы «унгерновской мясорубки» в нее, по мнению Торновского, угодило до сотни человек. Много было случайных жертв и тех, с кем под шумок сводили личные счеты, но погибли и несколько покинувших Забайкалье противников семеновского

режима, в том числе полковник Хитрово, незадолго до смерти поселивший у себя в доме временно выпущенного из тюрьмы Хитуна и троих его соседей по камере. Видный чиновник и ученый, автор статей по истории Монголии и Тибета, член Географического общества, Хитрово еще при Николае II занял пост кяхтинского пограничного комиссара, участвовал в русско-китайских конференциях, на которых решался вопрос о монгольской автономии, тем не менее Унгерн вынес ему смертный приговор. Его преступление состояло в следующем: в январе 1920 года, когда полковник Соломаха с группой семеновцев устроил в Троицкосавске чудовищную резню, за сутки перебив около семисот пленных красноармейцев, обыкновенных арестантов и вообще всех подозрительных, городская дума, чтобы хоть как-то прекратить эту вакханалию убийств, пригласила войти в город расквартированные по ту сторону границы китайские войска. Хитрово был членом Думы и поддержал это решение. Теперь он поплатился за свою непатриотичную гуманность, разделив участь тех бывших коллег, кого за то же самое раньше расстреляли большевики^[121].

О его аресте Першин и Сулейманов еще не знали, разговор о нем не заходил. Перешли к делу. Оно заключалось в просьбе позволить создание добровольной дружины «из благонадежных русских жителей Урги» для защиты от мародерства. Унгерн ответил, что назначил коменданта города, и тот «присмотрит за порядком». Фамилия названа не была, но имелся в виду Сипайло. Это имя скоро станет известно всем горожанам и в течение последующих месяцев будет произноситься преимущественно шепотом.

Леонид Сипайло, или, как он называл себя сам — Сипай-лов, будучи комендантом Урги, совмещал контрразведывательную деятельность с обязанностями столичного полицмейстера и начальника экзекуционной команды. В дивизии за ним закрепилось прозвище Макарка-душегуб. Ему было около сорока лет, о его прошлом мало что было известно: говорили, будто он окончил гимназию в Томске, до революции служил не то телеграфистом, не то мелким чиновником почтового ведомства. Свою жестокость Сипайло оправдывал тем, что якобы красные убили его отца или даже всю семью, но где и при каких обстоятельствах это произошло и произошло ли вообще, никто не знал. На фронте он не был, в боях с китайцами не участвовал, однако через год, представ перед китайским судом, утверждал, будто «контужен в голову, а по русским законам контуженные не подлежат судебной ответственности».

Первый офицерский чин Сипайло получил на каких-то курсах, но в семеновской контрразведке за несколько месяцев поднялся от прапорщика до подполковника; на этом поприще подобная стремительная карьера была делом обычным. В январе 1920 года он лично пытал Михайлова, Маркова и других заложников-эсеров, вывезенных из Иркутска в Забайкалье, а затем проламывал им головы тяжелой деревянной колотушкой, которой бьют по стволу при добыче кедровых шишек^[122]. Будучи хозяином читинского «застенка смерти», Сипайло заслужил такую всеобщую ненависть, что, по слухам, Семенов тайно приказал его убить, но он бежал из Читы и прибил к Унгерну. По другим известиям, атаман сам отослал его в Даурию, чтобы не компрометировать себя услугами этого человека. В Азиатской дивизии он появился незадолго до ее ухода в Акшу.

По мнению Волкова, Сипайло снискал расположение Унгерна тем, что к месту и не к месту повторял: «Мне скрыться негде. Если прогонит «дедушка», одна дорога — пуля в лоб». Действительно, петля или расстрел грозили ему везде — у белых, у красных, у китайцев; Унгерн ценил таких людей, но на его месте неизбежно должен был оказаться кто-то другой, если бы не подвернулся он.

Сипайло — известный тип палача при тиране, какими были Сеян при Тиберии, Малюта Скуратов при Грозном, Ежов при Сталине. В народном сознании такие режимы отделяются от своих создателей. Последние олицетворяют власть, а ужас этой власти персонифицирует кто-то другой. Хозяин воплощает цель, слуга — средства ее достижения, становясь чем-то вроде стивенсоновского мистера Хайда, злом в чистом виде. При Семенове такой фигурой отчасти был сам Унгерн, а когда в Монголии он приобрел права сюзерена, рядом с ним эту функцию принял на себя Сипайло.

Нередко Унгерн избивал его при свидетелях, и хотя потом все шло по-прежнему, каждая такая экзекуция пробуждала надежду, что приходит конец могуществу этого сифилитика, страдающего манией преследования и перед сном заглядывающего во все углы. Унгерн нуждался в нем, как всякий отягощенный грехами человек нуждается в себе подобном и в то же время несравненно худшем, чем он сам, чтобы на его фоне ощущать себя не исключением, а нормой.

Большинство мемуаристов описывают Сипайло как монструозного подслеповатого уродца, непрерывно моргающего, с трясущимися руками, передергиваемым судорогой бескровным лицом и странно приплюснутым, абсолютно голым черепом. «Человек с головой как седло» называется посвященная ему глава в книге Оссендовского. Другие изображали его ничем не

примечательным, щуплым и подвижным человечком небольшого роста. Иногда к этому портрету добавлялись «злые, постоянно бегающие глазки» и «мерзкое хихиканье» при упоминании очередной жертвы.

Сипайло еще в Чите усвоил классический постулат всех гражданских войн: работа контрразведки оценивается числом ее жертв. Однако его тяга к истязаниям и убийствам была врожденной, недаром он сделал такую карьеру. «Жестокосердый, с уклоном садиста», — констатирует Торновский. Если какое-то время подвалы комендантства оказывались пусты, Сипайло, пишет Волков, тосковал и нервничал, «как кокаирист, лишенный кокаина». Он гордился своей славой, хвастал изобретением новых пыток, охотно и с удовольствием рассказывал о подробностях казней, о поведении людей перед смертью. Посылая походную аптеку в отряд атамана Кайгородова, мог, например, со своим специфическим юмором добавить: «Скажите, от известного душителя Урги и Забайкалья».

Сипайло был душителем в прямом, а не в переносном смысле слова — это был его любимый вид казни. Состоявших при нем неопытных палачей он учил пользоваться разными видами веревок в зависимости от того, должен человек умереть сразу или помучиться перед смертью. Женщин, в том числе собственных любовниц, душил сам. Среди последних оказалась семнадцатилетняя казачка Дуся Рыбак, вдова убитого еврея-коммерсанта и не то племянница, не то дальняя родственница самого Семенова; Сипайло взял ее в наложницы после убийства жены Шейнемана. Через несколько недель, во время устроенной им вечеринки, он в соседней комнате лично задушил несчастную девушку и позвал гостей полюбоваться трупом. Если Семенов действительно хотел от него избавиться, для Сипайло это было и мстью ему, и способом показать,

что недавно еще всемогущий забайкальский диктатор для них с Унгерном — ничто.

Он славился как большой волокита, преследовал жен ушедших в поход офицеров — вплоть до выставления караула под их окнами, но одновременно, подыгрывая Унгерну,ставлял себя поборником строгой нравственности. Когда однажды барон «в сильных выражениях» высказался против проституции и чуть было не выпорол доктора Клингенберга за то, что в дивизии полно венерических заболеваний, Сипайло приказал удавить двух молоденьких проституток.

На допросе в плену Унгерн отказался признать факт патологического сладострастия своего ближайшего помощника. Разговоры о его насилиях над женщинами барон назвал «сплетнями», сказав, будто никогда ни о чем подобном не слышал. Признаться, что ему об этом известно, Унгерну было труднее, чем в любой совершенной им жестокости. Сожжение негодяя на костре укладывалось в образ средневекового воителя, каким он хотел предстать перед врагами, попустительство изнасилованиям — нет.

По Першину, Унгерн «никого не щадил, если находил виновным, но о нем все же многое преувеличивают; барон не мог входить во все подробности, у него не было для этого времени». Его энергия обращалась прежде всего на дела военные. «Бог его знает, когда он отдыхает и спит, — говорил Ивановский. — Днем — в мастерских, на учениях, а ночью объезжает караулы, причем норовит заехать в самые захолустные и дальние. Да еще по ночам требует докладов».

В подробности Унгерн часто не вдавался; Сипайло, например, сумел убедить его, что капитан Песлер, эстонец по происхождению, служил в колчаковской контрразведке и готовил покушение на Семенова.

Песлеру отрубили голову, хотя его настоящая вина заключалась в другом: год назад, при отступлении семеновцев от Иркутска, он ехал в одном поезде с Сипайло, по ошибке вошел в его купе и увидел, как тот со своими подручными пытается старого еврея, вымогая у него деньги (старика жгли раскаленными шомполами и вытягивали ему половые органы). Песлер, боевой офицер, потребовал немедленно это прекратить, а по прибытии в Читу подал рапорт обо всем увиденном, наивно полагая, что виновные будут наказаны. В итоге ему самому пришлось бежать в Монголию, где Сипайло с ним и покончил.

Один из шоферов Унгерна рассказывал Першину, что если барону «приходилось наткаться на какую-то жестокую экзекуцию, и он слышал стоны наказуемых, то приказывал скорее проезжать мимо, чтобы не видеть и не слышать страданий виновных». Волков, при его ненависти к Унгерну, подтверждает, что тот не посещал подвалов дома купца Коковина, где разместилось столичное комендантство — там царил Сипайло. Однако ему докладывали если не обо всех, то о многих убийствах, как правило — «в юмористической, цинической форме». Тем самым смерть превращалась в нечто заурядное, чуть ли не пошрое в своей обыденности.

Это свойственно было не только унгерновцам. В годы Гражданской войны все причастные к массовым убийствам старались не употреблять слово «расстрел»; красные заменяли его выражениями типа «отправить в штаб Духонина (Колчака)», «разменять», «пустить в расход». У сотрудников ЧК в ходу был профессиональный термин «свадьба». Само слово «смерть» не произносилось вслух из своеобразного палаческого суеверия — чтобы не накликать ее на самих себя. Специфический юмор убийц был не только показателем их развращенности, но еще и

бессознательным способом избежать возмездия со стороны тех тайных сил, которые могут оставаться в неведении относительно истинного положения дел, если не называть вещи своими именами.

Ответственность за ургинский террор многие пытались возложить на Сипайло, однако Торновский считал его лишь «усердным стрелочником и подсказчиком у начальника станции — Унгерна». В Урге ликвидация «вредных элементов» проводилась теми же методами, что в Даурии, только с большим размахом. Там ответственным исполнителем был Лауренц, здесь — Сипайло. Второго из этой пары, как всех руководителей такого рода служб при такого рода хозяевах, ожидала участь первого, убитого Макеевым по приказу Унгерна, но Сипайло успел бежать на восток, когда приказ о его казни был уже отдан.

3

Комендантскую команду (около ста человек, то есть почти десятая часть личного состава Азиатской дивизии) возглавлял капитан Безродный. Ему было всего 23 года, но еще в Даурии, под руководством Лауренца, он «прошел большую школу экзекуций». Трусоватый и не коварный, как Сипайло, а простодушно-жестокий, большой ценитель комфорта, он, как рассказывает Волков, «в Урге слез с коня в драном полушубке», а спустя три дня жил в квартире с великолепной обстановкой вплоть до «попугая в клетке».

Его помощником был поручик Жданов, а лучшим палачом и учеником Сипайло, которому тот передавал секреты мастерства, считался некто Панков, до революции служивший в жандармах. И он, и многие другие добровольцы из комендантской команды были

связаны с Центросоюзом — кооперативной организацией, закупавшей в Монголии скот для Советской России. Ее служащих Унгерн считал шпионами и расстреливал на месте, поэтому уцелевшие проявляли особое рвение, чтобы их не заподозрили в симпатиях к большевикам.

Отдельное место во всей этой палаческой иерархии занимал Евгений Бурдуковский, он же Квазимодо или Женя. Это был забайкальский гуран-полукровка громадного роста и огромной физической силы. Бывший денщик Унгерна, он получил от него чин хорунжего и состоял при нем в роли экзекутора. «Так, наверное, выглядел сказочный Змей Горыныч, — пишет Волков. — Хриплый голос, рябое скуластое лицо, узкие глазщели, широкий рот, проглатывающий за раз десяток котлет и четверть водки, монгольская остроконечная желтая шапка с висящими ушами, монгольский халат, косая сажень в плечах и громадный ташур в руке». При порке им Бурдуковскому хватало пяти ударов, чтобы человек лишился сознания.

Ходили слухи, будто он подкупил популярную в Урге гадалку, полубурятку-полуцыганку, и та предсказала Унгерну, что тот будет жить до тех пор, покуда жив Бурдуковский. Этим он обезопасил себя и от смерти по приказу барона, и от вражеской пули. Всем в дивизии приказано было беречь его как зеницу ока. Перед началом боя Бурдуковского отсылали в обоз, где он спокойно отлеживался до конца сражения.

Об этом Волкову рассказывал полковник Лихачев и божился, что не врет. Точно такую же историю с предсказанием слышал и Оссендовский, только ее героем выступал уже не Бурдуковский, а Сипайло. В конечном счете неважно, кто из них оказался хитрее, поскольку вся история больше напоминает легенду. Ее популярность объяснялась, видимо, тем, что офицерам Азиатской дивизии хотелось разделить Унгерна и

служивших ему палачей, от которых он якобы и рад бы избавиться, но не может — они привязали его к себе обманом.

Жене одного из казненных, просившей отдать ей тело мужа, Сипайло ответил: «Хочешь валяться рядом — бери». Трупы обычно не выдавали родственникам, а вывозили на городскую свалку в пади речки Сельбы. Там оставляли убитых евреев, и туда же пленные китайские солдаты, которых Унгерн отправил очищать улицы от трупов, свозили тела своих товарищей, погибших при штурме столицы. Все они становились добычей черных, лохматых монгольских псов — пожирателей мертвых.

«Можно было, — вспоминал Волков, — видеть разжиревших собак, обгладывающих занесенную ими на улицы руку или ногу казненного». Наверняка такое в самом деле случалось — тела убитых часто расчленяли. Считалось, что это делается для удобства транспортировки, так удобнее было складывать трупы в мешки и вывозить за город, однако тут заметны не признаваемые самими палачами, но существующие в глубинах коллективной памяти средневековые представления о том, что разрубленный на куски человек не способен восстать из мертвых даже в день Страшного суда.

Буддийский погребальный обычай превратился в шабаш, чересчур обильное пиршество четвероногих «санитаров Урги» предвещало их скорую гибель в «собачьей Варфоломеевской ночи», которую через три года устроят монгольские коммунисты, а то и другое вместе знаменовало собой конец старого мирного Их-Хурэ. Унгерн и те, кто победителями пришел ему на смену, сделали этот город иным, не похожим на прежний.

КОРОНАЦИЯ

1

Спустя несколько дней после ухода китайцев Богдо-гэгэн особым указом возвел офицеров Азиатской дивизии в ранг чиновников по старой цинской системе, в самом Китае давно упраздненной революционерами. В ней, как в петровской Табели о рангах, каждый чиновничий разряд соответствовал определенному воинскому чину. Полковники, войсковые старшины, есаулы, капитаны, поручики и хорунжие превратились в туслахчи, дзакиракчи, меренов, дзаланов, дзанги и хундуев. На практике это означало, что дивизия формально переходит на положение «кадра» монгольской армии.

Тогда же последовало инициированное Унгерном обещание Богдо-гэгэна выделить в будущем каждому ее бойцу по 40 десятин земли в 50-верстной полосе вдоль русской границы. Рассказавший об этом Князев увидел тут «выражение идеи барона о создании нового казачества взамен уничтоженного революцией», хотя затея напоминает и эдикты римского сената о наделении земельными участками вышедших на покой ветеранов-легионеров. Однако до воплощения этой идеи в жизнь дело не дошло.

Наконец, Богдо-гэгэн издал высочайший манифест о награждении Унгерна, Резухина, Джамболона и ряда их монгольских сподвижников^[123]. В преамбуле указывалось, что благодаря молитвам автора этого манифеста и «благочестию народа» в Монголии «объявились знаменитые генералы-военачальники, воодушевленные стремлением оказать помощь желтой

религии, которые, прибыв, уничтожили коварного врага», и т. д. За свои «высокие заслуги» Унгерн награждался потомственным высшим княжеским титулом цин-вана «в степени хана» с правом иметь зеленый паланкин, красно-желтую курму, желтые поводья на лошади и трехточковое павлинье перо на шапке. Кроме того, ему присваивалось почетное звание «Дающий развитие государству великий батор, генерал-военачальник» («джянджин»; от китайского «цзянь цзюнь»).

Резухину достался титул цин-вана с правом на «красновато-желтую» курму, коричневые поводья и трехточковое перо. Он был удостоен звания «Заслуженный (в другом переводе — «одобренный») батор, генерал-военачальник». Джамболон стал цин-ваном с теми же знаками отличия, но с более скромным званием: «Искренне старательный («истинно усердный») военачальник». Это свидетельствует о его активном участии в разработке плана операции по освобождению хутухты. Княжеский титул получил и Тубанов как непосредственный исполнитель.

История с награждением имела комический эпилог в виде письма, немного позже полученного Богдо-гэгэном от Семенова. За взятие Урги атаман произвел Унгерна в генерал-лейтенанты и, будучи равнодушен к титулам и званиям, тоже захотел прибавить что-нибудь к своему без того длинному списку. «Ваше Святейшество, — без околичностей обращался он к хутухте, — мои войска под командой генерал-лейтенанта барона Унгерна освободили Вас от китайского пленения. Урга пала. Вы возведены в прежнее величие. Достойными наградами Вы отблагодарили мои войска, со своей стороны я отблагодарил их достойными наградами. Я же как начальник всех войск таковой награды не получил, а потому прошу Ваше Святейшество о награждении меня соответствующим званием и присылке на то грамоты».

Богдо-гэгэн оставил это письмо без ответа, что означало высшую степень неодобрения.

Монгольский дэли Унгерн начал носить еще в Даурии, преобразив его в специфический мундир с погонами и портупеей, но теперь прежний красно-вишневый халат заменил желтым. Впервые он надел его в день коронационных торжеств. Поверх дэли на нем была шелковая княжеская курма (короткая безрукавка со стоячим воротом), на голове — соболья шапка, украшенная павлиньим пером и увенчанная красным коралловым шариком.

На первом же допросе в плену его спросили, почему он так одевался: не для того ли, чтобы «привлечь симпатии монголов»? Унгерн ответил, что подобных намерений не имел и «костюм монгольского князя, шелковый халат, носил с целью на далеком расстоянии быть видным войску»^[124]. Объяснение кажется невероятным — так мог бы сказать средневековый полководец, а не семеновский начдив. Конечно, были и другие причины, но в глазах врагов Унгерн хотел предстать воином, а не ловким политиком, эксплуатирующим национальные чувства кочевников^[125].

2

Год назад Сюй Шучжэн заставил Богдо-гэгэна отречься от престола, и хотя никто в Монголии не рассматривал это отречение как имеющее хоть какую-то законную силу, Унгерн решил с должной пышностью отметить восстановление монархии. Сразу после взятия Урги он собрал в Маймачене представительную группу князей и лам и, понимая, что такие дела не терпят некомпетентного вмешательства, предложил им

самим выбрать «счастливым день» для вторичного восшествия Джебцзун-дамба-хутухты на возвращенный ему трон. В сущности, речь могла идти лишь о его торжественном выезде из Ногон-Сумэ и богослужении в одном из храмов Да-Хурэ, где он будет присутствовать в качестве монарха, но русские мемуаристы, затрудняясь подыскать подходящий термин для этой не имеющей аналогов церемонии, называют ее «коронацией».

Монголия жила по лунному календарю. Длительными гаданиями под руководством Чойджин-ламы, родного брата Богдо-гэгэна и главного государственного оракула, десять лет назад якобы предсказавшего юному Семенову его фантастическую карьеру, было установлено, что ближайшим счастливым днем является 15-й день 1-го весеннего месяца 11-го года эры Многими Возведенного^[126]. К этому дню в столицу съехалось множество монголов, прибыли делегации провинциальных монастырей, аймачные ханы и хошунные князья Халхи с семьями и челядью. «Их становища на берегах Толы представляли красочную картину, достойную кисти талантливого художника», — пишет Торновский. А Князев замечает: «Если принять во внимание, что монголы часто ездят по 200 верст о дву-конь только для того, чтобы попить чаю и поболтать с приятелем, нетрудно представить, как велик был съезд кочевников».

Унгерн велел начальнику автокоманды, где служил мобилизованный Хитун, приготовить автомобиль для подарка Богдо-гэгэну. Из трофейного автопарка выбрали почти новый, 1916 года выпуска, четырехцилиндровый «шевроле». При работе мотора «муфточки клапанных толкателей звенели, как бубенчики», и машина при ее «коробкообразном кузове» напоминала «табакерку с музыкой». Приказано было покрасить «шевроле» в священный для буддистов

желтый цвет, но это оказалось непросто: «Красили, подкрашивали, закрашивали все в команде, стараясь хоть немного подровнять грубые мазки кистей, упрямо не желавшие исчезать под покровом новых мазков, но автомобиль все-таки стал желтым». Впрочем, автомобиль не понадобился — места в коронационной процессии ему не нашлось.

Церемониал разработали сами монголы, но не без участия Унгерна — ему и его «войску» отводилась важная роль. Находившиеся в Маймачене части дивизии накануне получили приказ к трем часам ночи «подседлаться» и в полном вооружении выступить в Ургу. Интендантство, проявив чудеса изворотливости, успело пошить новую форму. Она состояла из темно-синего монгольского тырлыка (род полушубка, обшитого грубым шелком) с погонами, фуражки с шелковым верхом и башлыка, изнутри тоже шелкового^[127]. Подкладка башлыков, как и донца фуражек, была разной по цвету: у мусульман Татарского полка — зеленой, у тибетцев — желтой, у штаба — алой, у остальных — в тон тырлыка. Различались и трафареты на погонах, но все были сделаны из серебра.

Церемония должна была состояться в храме Майдари, где Богдо-гэгэна возвели на престол в декабре 1911 года. Здесь же после ликвидации автономии хранился отобранный у него трон. Еще не рассвело, когда унгерновцы выстроились вдоль дороги, ведущей от Зеленого дворца к храмам Да-Хурэ — на том ее отрезке, что лежал ближе к площади Поклонений. На правом фланге, за деревянным мостом через овражек, встали оркестранты. Богдо-гэгэн, любивший духовую музыку, издавна содержал оркестр из русских музыкантов; при китайцах они оказались без работы, поскольку всякие праздники и тем более официальные

торжества были запрещены. Надо полагать, капельмейстер Гольцов не без труда снова собрал их вместе. К ним присоединили маленький оркестрик из батареи полковника Дмитриева.

Тысячные толпы монголов теснились за «шпалерами войск», заборы и крыши домов были усеяны зрителями. Русские казаки, татары и башкиры стояли по левой стороне дороги, буряты и отряды монгольских князей — по правой. Дистанция между участниками почетного караула, растянувшегося на полторы версты, составляла три шага. Многие офицеры находились в строю, и в их позднейших рассказах чувствуется сознание величия этой минуты, которую им когда-то давно, в молодости, выпало счастье пережить на правах творцов истории, а не ее безгласных жертв.

Выезд Богдо-гэгэна был назначен на шесть часов утра, но уже рассвело, срок миновал, а Святые ворота Зеленого дворца были закрыты. Причину задержки никто не знал. Один из свидетелей запомнил, как Унгерн еще в своей обычной форме (костюм цин-вана он надел непосредственно перед началом храмовой церемонии) «сидел на перилах моста, нервничал и заметно злился». Дул пронизывающий ветер, люди начали мерзнуть. Наконец строй временно распустили. Офицеры разбрелись по ближайшим русским домам, казаки и монголы грелись у костров. Как стало известно позже, появление не учтенных ранее примет заставило распорядителей церемонии отложить ее начало до десяти часов.

Около этого времени слышалась пушечная пальба, возвещавшая появление Богдо. Торновский насчитал шесть выстрелов, пылкий Макеев — 21, а не склонный к восторгам Аноним говорит, что стреляли один раз. Затем из ворот показались пышно одетые всадники, трубившие в трубы и раковины. Макеев называет их «вестниками», другие видели их функцию в

том, чтобы пронзительными звуками своих инструментов разгонять злых духов. Следом, по четверо в ряд, двинулась процессия из нескольких сотен лам. Хитун единственный из всех наблюдателей заметил у них в руках «тугие свертки из леопардовых шкур», которыми они отгоняли «наиболее неистовых богомольцев», то и дело бросавшихся на дорогу в надежде на благословение хутухты.

За ними «храпящие лошади», как экспрессивно пишет Макеев, или ведомые придворными конюхами и вполне дисциплинированные «12 пар белых коней», как подсчитал обстоятельный Торновский, везли огромную, грубо сколоченную «колесницу» в виде пирамиды из трех раскрашенных бревен. Ее вершину венчала мачта с монгольским флагом. Изготовленный из твердой парчи, он «ослепительно блестел на солнце золотыми нитями». Золотом был выткан старинный национальный символ — первый знак алфавита соёмбо, созданного 200 лет назад великим просветителем и скульптором Ундургэгэном Дзанабадзаром. В 1911 году эта идеограмма, чьи элементы (языки огня, треугольники, рыбы и пр.) толковались по-разному, была переосмыслена как эмблема независимой Монголии.

Хитун утверждает, что Богдо-гэгэн ехал в паланкине, установленном на «четырехколесной безрессорной повозке». Поперек ее «переднего дышла» был прикреплен «саженный шест», его держали четыре всадника и таким образом тащили повозку за собой.

Макеев упоминает не паланкин, а «позолоченную, китайского типа, открытую коляску». Торновский увидел белую «карету московской работы», запряженную шестью парами лошадей «той же масти». Аноним определил ее как «старинную», а лошадей — как «иноходцев, увешанных серебряными бубенцами и покрытых цветной сеткой». Князеву эта карета запомнилась «застекленной», но без лошадей — ее

приводили в движение три мула и «десятка два лам почтенного возраста». Они тянули карету за «веревки, привязанные к передней оси справа и слева от запряжки»^[128].

В карете сидел Богдо-гэгэн в желто-оранжевых одеждах, его глаза слепца были скрыты темными очками. Макеев пишет, что он был один, другие — что с женой; Князев добавляет к ним «перерожденца-учителя». Сзади и по обеим сторонам ехали знатнейшие монгольские князья на богато убранных конях — примерно 70 человек. Их одежды, седла шапки с павлиньими перьями были «в оправе» из драгоценных камней, кораллов, жемчуга, золота и серебра. «Благодаря горячности коней они представляли переливающуюся волну вокруг кареты Богдо-хана», — вспоминал Торновский, сожалея, что кортеж «не был заснят на пленку за неимением киноаппарата»^[129].

При появлении хутухты и эскорта все внимание сосредоточилось на них, лишь Хитун отметил, что это еще не конец шествия. Его замыкали «шесть пар флейтистов» и «12 пар телохранителей» из отряда личной гвардии Богдо-гэгэна. Их формой были красные тырлыки и нарукавные повязки с черной свастикой на желтом фоне.

Когда процессия приблизилась к правому флангу дивизии, Унгерн, сидя в седле, скомандовал: «Смирно! Равнение направо!» Он повторил эту команду по-монгольски («Дзоксо! Барун тайши!») и, сопровождаемый Резухиным, верхом направился к Богдо-гэгэну, чтобы отдать рапорт. За его спиной казаки взяли шашки «на караул», а монголы и буряты встали на правое колено, «держа повод на локтевом суставе правой руки и туда же склонив ствол поставленной на землю винтовки».

После отдачи рапорта Унгерн и Резухин заняли место сразу вслед за каретой хутухты, и поезд двинулся дальше. При этом русские должны были опустить глаза в землю. Их строжайше предупредили, чтобы никто не смел встречаться взглядом с Живым Буддой.

Оркестр заиграл «встречу», которую Хитун по причине отсутствия музыкального слуха или в соответствии с представлениями о том, что положено играть в такие минуты, принял за монгольский гимн. Валторнам и трубам отозвались храмовые башкуры — «дудки», как пишет Макеев. Они «подхватили, рыдая, плача и торжествуя, отгоняя от Богдо злых духов». Сопровождаемый Унгерном, Резухиным, высшими ламами, князьями и свитой, Богдо-гэгэн вошел в монастырские ворота и направился к храму Майдари с покрытым позолоченной медью полукруглым куполом и двумя двадцатиметровыми башнями по краям фасада.

Что происходило внутри, никто из мемуаристов не знал. Вероятно, Богдо-гэгэн и Дондогдулам с соответствующими ритуалами воссели на предназначенное для божественной четы двойное тронное сиденье, затем начался торжественный молебен. Сразу по его окончании, рассказывает Князев, «состоялось наречение барона Унгерна воплощением Бога Войны; Богдо возложил на него какой-то необычайный головной убор, отдаленно напоминавший митру католического епископа, затем ламы торжественно взяли барона под руки и вывели из кумирни, чтобы показать народу». Что это была за церемония, и действительно ли она имела место, или Князев доверился каким-то не слишком достоверным рассказам, непонятно. Никто больше об этом «наречении» не сообщает.

Богослужение затянулось до четырех часов пополудни, после чего процессия тем же порядком вернулась в Зеленый дворец. Там уже были накрыты

столы, начался официальный обед. Кроме Унгерна и Резухина на нем присутствовали Джамба-лон, Тубанов и несколько офицеров Азиатской дивизии, отличившихся при взятии Урги.

Остальные обедали в гарнизонном собрании, потом разошлись по квартирам и «здорово хлебнули зелена вина по случаю торжественного дня». Интендантство выдало всем увеличенный порцион и по бутылке вина на каждого, вне зависимости от чина. Впервые за несколько месяцев казаки и офицеры выпивали открыто, не боясь репрессий.

В бесчисленных юртах, усеявших берега Толы, тоже начались пиры, продлившиеся несколько дней. В расположение унгерновских частей, рассказывает скептически настроенный Аноним, приезжали счастливые и пьяные монгольские чиновники, от полноты чувств «произносили какие-то несуразные речи», во время которых «частенько валились тут же на землю и засыпали мертвецким сном».

3

Хионин, русский консул в Кобдо, сумевший выручить Торновского из китайской тюрьмы и помогавший Фане, еще в 1919 году сообщал в Омск о своем разговоре с одним из дербетских князей. Тот сказал ему: «Раньше, до войны, вы, русские, были вот какие! — и развел руками. — А теперь нет у вас Цаган-хана, и вы стали вот какие маленькие, вроде нас». Так же, как сам Унгерн, причину обрушившихся на Россию несчастий монголы видели в том, что *му орос* («плохие русские») свергли Белого Царя. Однако есть еще *сайн орос* («хорошие русские»), они пришли в Халху защитить хутухту от плохих китайцев, которые низложили и своего императора, и Богдо-хана. Последнему престол был

возвращен, оставалось восстановить в правах двух первых. «Ну вот, — говорил Унгерн после коронации Богдо-гэгэна, — маленького царя посадили, скоро посадим и большого».

Тогда же, для выразительности несколько упрощая картину, он писал одному из князей Внутренней Монголии: «За последние годы оставались во всем мире условно два царя, в Англии и в Японии. Теперь Небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и опять возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, и 3-го февраля 1921 года восстановлен Его Святейшество Богдо-хан^[130]. Это последнее событие быстро разнеслось во все концы Срединного царства и заставило радостно затрепетать сердца всех честных его людей и видеть в нем новое проявление небесной благодати. Начало в Срединном царстве сделано, не надо останавливаться на полдороге. Нужно трудиться... Я знаю, что лишь восстановление царей спасет испорченное Западом человечество. Как земля не может быть без Неба, так и государства не могут жить без царей».

Унгерн совершенно искренне уверял Чжан Кунью: «Лично мне ничего не надо. Я рад умереть за восстановление монархии хотя бы не своего государства, а другого». Понимая, что страстное желание реставрировать Цинов выглядит странным для русского генерала, в письме другому корреспонденту он счел нужным объяснить: «Вас не должно удивлять, что я ратую о деле восстановления царя в Срединном царстве. По моему мнению, каждый честный воин должен стоять за честь и добро, а носители этой чести — цари. Кроме того, ежели у соседних государств не будет царей, то они будут взаимно подтачивать и приносить вред одно другому».

При этом Унгерна, видимо, тревожило, что в его стремлении вернуть к власти маньчжурскую династию кто-то может усмотреть личную заинтересованность. «Я не допускаю мысли, — обращался он к князю Полтавану, — чтобы Вы подумали, что мною руководят какие-то побочные интересы, хотя я и женат, как Вам известно, на маньчжурке».

Интернациональной марксистской утопии Унгерн противопоставил идею не национальную, как другие вожди Белого движения, а равно всемирную и столь же утопичную — возрождение монархий от Китая до Европы. Абсолютная монархия признавалась более совершенной формой правления, чем конституционная, но тоже не идеальной. Предпочтение отдавалось теократии.

«Наивысшее воплощение идеи царизма — это соединение божества с человеческой властью, как был Богдыхан в Китае, Богдо-хан в Халхе и в старые времена — русские цари», — на одном из допросов высказал Унгерн свое кредо. При этом собственно о Богдо-гэгэне он говорил без пиетета, называл его просто «хутухтой» и добавлял, что «хутухта любит выпить, у него еще имеется старое шампанское». В глазах Унгерна, тогда уже воинствующего трезвенника, это был крупный недостаток, но пороки того или иного воплощения «идеи царизма» не могли поколебать саму идею.

«Я смотрю так, — излагал он свои воззрения на роль монарха и аристократии, — царь должен быть первым демократом в государстве. Он должен стоять вне классов, должен быть равнодействующей между существующими в государстве классовыми группировками. Обычный взгляд на аристократию тоже неправильный. Она всегда была в некотором роде оппозиционной. История нам показывает, что именно аристократия по большей части убивала царей. Другое

дело — буржуазия. Она способна только сосать соки из государства, и она-то довела страну до того, что теперь произошло. Царь должен опираться на аристократию и крестьянство. Один класс без другого жить не может». Унгерн потому и был противником Колчака, что считал его либерально-буржуазным диктатором — «избранником богачей», как назвал адмирала атаман Анненков.

«Идея монархизма — главное, что толкало меня на путь борьбы», — заявлял Унгерн. В том виде, в каком он излагал эту идею, она банальна, но убеждения, ради которых человек готов идти на смерть, редко отличаются оригинальностью.

Источником своей веры Унгерн называл Священное Писание, где будто бы содержится указание на то, что время реставрации монархий уже «наступает». Библию он знал плохо, но это и неважно. Убежденность в божественном происхождении самой идеи монархии («Небо ниспошлет на землю царей», — уверял Унгерн князя Цэндэ-гуна) сочеталась в нем с печальным подозрением, что эта истина во всей ее полноте открыта только ему. «Из настоящих монархистов на свете остался один я», — говорил он.

Рассуждения о монархии как «равнодействующей» силе — не более чем попытка перевести откровение на язык профанов. По протоколам допросов заметно, как Унгерн, на все вопросы отвечавший с неизменным спокойствием, начинает волноваться, едва дело касается этой важнейшей для него темы. В протоколе прямая речь заменена косвенной, но даже в таком виде ощущается ее ритмичность, слышны фонетические переклички, выдающие возбуждение говорящего, а ключевое слово, как заклинание, повторяется трижды. «Он верит, — записывает протоколист, — что приходит время возвращения монархии. До сих пор все шло на

убыль, а теперь должно идти на прибыль, и повсюду будет монархия, монархия, монархия».

Так говорить и чувствовать способен лишь человек, сознающий свою особую роль в предначертанном свыше историческом процессе. Если сам процесс закономерен, значит, не могло быть случайностью появление его, Унгерна, среди монголов, которых он ценил как стихийных монархистов и противопоставлял едва ли не всем остальным народам. Здесь, в Монголии, благодаря его усилиям колесо истории сделало первый оборот вспять, по направлению к золотому веку человечества, и не имело никакого значения, что произошло это на краю света, за пределами цивилизованного мира, в городе, о чьем существовании большинство европейцев попросту не подозревали.

НА ГРАНИЦЕ И В ГОБИ

1

Уже на следующий день после взятия Урги на стенах домов, на заборах в центре города и на Захадыре расклеили объявления с призывом добровольно поступать на службу в Азиатскую дивизию. Под ними стояла подпись Унгерна. «Было ясно, что пока просит *честно*, а потом погонит ташуром», — вспоминал Торновский, благоразумно откликнувшийся на этот призыв, хотя у него с 1918 года «сердце не лежало к семеновцам». Регистрация добровольцев проходила в здании «Монголора». Среди них оказался и служивший раньше у Дутова подполковник Владимир Рерих, старший брат Николая Рериха, тоже художник, автор пейзажа в известной картине брата «Человечьи праотцы». Позже он стал начальником тыла Азиатской дивизии и единственным тыловиком, к кому Унгерн относился с уважением.

Торновский не ошибся в своем прогнозе: вскоре была объявлена мобилизация русского населения Монголии. Призывались мужчины старше восемнадцати лет; за неявку грозил смертный приговор, опоздавшие лишались льгот по семейному положению. Штаб дивизии уже перевели из Маймачена в Да-Хурэ, в назначенный день возле него собралось несколько сотен ургинцев. Их построили в шеренгу, и Унгерн прошел вдоль нее, коротко побеседовав с каждым. Многосемейных и всех, кто ему не понравился, он от службы освободил. Те, у кого семьи находились в России, тоже были отставлены — вероятно, как потенциальные дезертиры. В последующие дни и

недели в Ургу постоянно прибывали новобранцы; всего, по подсчетам Князева, были мобилизованы до тысячи рядовых бойцов и 110 офицеров.

Правительство во главе с Джалханцза-хутухтой начало мобилизацию монголов, а Унгерн распространил ее на проживавших в Халхе бурят и эвенков от девятнадцати до двадцати пяти лет. «Буряты и тунгусы! — говорилось в подписанном им воззвании. — Не будьте паразитами на чужом теле». Призывы к совести подкреплялись угрозой смертной казни и конфискации имущества не только для уклоняющихся от мобилизации, но для их родителей и родственников. Впервые был введен принцип кровной поруки, впоследствии частично распространенный и на русских.

К весне Азиатская дивизия увеличилась более чем вдвое. Не считая артиллеристов, пулеметной и комендантской команды, в ней числилось девять русских сотен, семь монгольских, четыре бурятских, три харачино-чахарских, две башкиро-татарских, тибетская и японская. В первых числах марта 1921 года, через неделю после коронации Богдо-гэгэна, оставив Резухина в Урге для формирования новых частей, Унгерн с наличными силами выступил в поход против китайцев.

Незадолго перед тем стало известно, что давно запрошенные Чэнь И подкрепления перешли границу в районе Калгана и движутся через Гоби батальонами по тысяче солдат в каждом. Первые из них уже достигли монастыря Чойрин-Сумэ, в просторечии — Чойры. Унгерн решил выбить оттуда гаминов, пока они не накопили достаточно войск для наступления на Ургу. Такая перспектива казалась тем вероятнее и опаснее, что на севере тоже находилась крупная китайская группировка.

Большая часть брошенного генералами столичного гарнизона из Урги двинулась на север. С армией ушли многие жители-китайцы, а по пути в нее вливались владельцы придорожных лавок и факторий, скупщики пушнины, поселенцы из земледельческого района в пойме реки Хары. Монголы разоряли китайские поселения, китайцы — русские и монгольские. Ургинские евреи расплачивались за Троцкого, мирные араты, уртонщики и сибирские крестьяне-старообрядцы — за Унгерна, ханьские торговцы и землепашцы — за Сюй Шучжэна и Го Сунлина. Страшась расправы, кочевники бежали в степь, а китайцы вместе с женами-монголками^[131] целыми семьями присоединялись к отступающим войскам. В середине февраля вся эта многотысячная масса измученных, обмороженных, голодных людей докатилась до границы и вступила в Маймачен-Кяхтинский — китайский город к югу от Троицкосавска, через который когда-то шла вся чайная торговля между Россией и Срединной империей.

Чуть раньше Чэнь И начал переговоры с Гапоном, представителем Наркоминдел РСФСР на Дальнем Востоке. Год назад по приглашению городской думы китайские войска вошли в Троицкосавск, чтобы прекратить бойню, устроенную семеновским полковником Соломахой; теперь, ссылаясь на этот прецедент, Чэнь И просил временно ввести части Красной армии в Монголию на расстояние 50 ли (25 верст) от границы — для защиты беженцев и местного населения. Эта просьба была принята благосклонно, однако исполнена позже и совсем не так, как предполагал Чэнь И. Чтобы избежать обвинений в интервенции, в приграничную зону послали цириков Сухэ-Батора. В результате китайцы получили не защиту от Унгерна, а новых гонителей в лице своих заклятых врагов.

В ответ на мольбы Чэнь И о помощи Гапон счел своим «приятным долгом» официально сообщить ему следующее: «Трудовая Российская Советская республика является страной самой совершенной социальной и политической терпимости и действительного миролюбия и предоставляет политическим беженцам и жертвам белогвардейщины право убежища, обеспечение безопасности и всякую готовность пойти навстречу облегчению их положения и устройству».

Все это не более чем слова. Судьба беженцев никого не волновала, а мнимое единство русских и китайских революционеров, на что напирал опытный дипломат Чэнь И, не могло послужить основой для политических решений. Гапон поддался было на эти декларации, однако Шумяцкий, уполномоченный Коминтерна по Дальнему Востоку, выступил против. Он рассчитывал воспользоваться ситуацией в Монголии, чтобы поднять над ней знамя мировой революции, и сумел убедить Москву в основательности своих расчетов. Помогая гаминам, большевики могли оттолкнуть от себя монголов, поэтому когда Чэнь И попросил пропустить войска Чу Лицзяна через Забайкалье в Маньчжурию, то получил отказ.

Помимо политических соображений имели место и практические. Во-первых, зрелище деморализованных китайских войск могло произвести нежелательное впечатление на забайкальцев и продемонстрировать силу Унгерна, о котором советская пропаганда вообще старалась не вспоминать. Во-вторых, опасались эксцессов, как то произошло в Маймачене, где озлобленные китайские солдаты грабили и убивали русских колонистов. Отдельные группы беглецов уже просочились через границу, скрывались в лесах и доставляли немало неприятностей местным властям. К тому же отправка крупного, да еще и

полуразложившегося воинского контингента по железной дороге была сопряжена с хлопотами и затратами. В итоге после лихорадочного обмена телеграммами с Москвой через границу пропустили только самого Чэнь И с небольшой свитой. Чу Лицзян уехал вместе с ним, а генерал Ма остался с войсками.

В начале марта, узнав, что Сухэ-Батор вот-вот перейдет границу, а Унгерн готовится к походу на Чойрин-Сумэ, Ма или самостоятельно решил вести остатки армии по монгольской территории на восток, или получил приказ из Пекина. Все понимали, что другого удобного случая может и не представиться. Чтобы избежать столкновений с унгерновскими отрядами и дезориентировать их разведку, Ма избрал кружной путь. Он пошел не по Кяхтинскому тракту на юг, что при его планах было бы логичнее, а взял направление на запад, намереваясь потом повернуть, обойти Ургу с юга и по Старокалганскому тракту двинуться в Китай. С ним ушли пять-шесть тысяч солдат и приблизительно две тысячи беженцев^[132].

Унгерн узнал об этом еще в Урге. «Войска Гау Сулия и Чу Лиджяна ушли сначала на север, к красным, но, по-видимому, с ними не сошлись, — писал он генералу Чжан Кунъю. — Произошли какие-то недоразумения из-за грабежей, и теперь они повернули к западу. По-видимому, пойдут на Улясутай, а затем на юг, в Синьцзян».

На этот раз Унгерн ошибся, Ма сумел его обмануть. Скорее всего, он думал только о бегстве, но, может быть, допускал, что при счастливом стечении обстоятельств, если осада неприступного Чойрин-Сумэ затянется надолго, его армия сможет ударить в тыл Азиатской дивизии.

Примерно в 250 верстах к юго-востоку от Урги, рядом с Калганским трактом, одиноко поднимается Чойринский горный массив, «неожиданно», по словам Князева, «взлетевший ввысь среди спокойного полустепного-полупустынного гобийского ландшафта». Дикие скалы черного гранита, с ущельями и «отвесно ниспадающими утесами», с трех сторон прикрывают небольшую котловину, единственный выход из которой обращен на юг. Благодаря колодцам тут кипела бурная, по местным понятиям, жизнь. Кроме монастыря, в котловине находились поселок с китайскими лавками, почтово-телеграфная станция, скотопрогонный пункт. Чойрин-Сумэ считался одним из самых значительных религиозных центров Халхи. Для Гоби это был еще и важнейший транспортный узел, отсюда расходились несколько дорог, поэтому китайцы устроили здесь перевалочную базу для снабжения своих гарнизонов по всей стране. Монголы рассказывали, что на площади возле монастыря, прямо под открытым небом, складированы громадные запасы обмундирования, продовольствия, боеприпасов, бензина.

«Начальник гарнизона проявил максимальную беспечность. Он не вел никакой разведки в сторону Урги и поэтому до утра 12 марта не знал, что враг подошел к нему на пушечный выстрел», — сообщает Князев. Ему возражает Торновский: «Китайцы были осведомлены о приближении Унгерна, но полагались на силу позиции». Расходятся они и в определении численности чойринского гарнизона: первый говорит о пяти тысячах, второй называет цифру вдвое меньшую. Силы Унгерна оба оценивают одинаково — 11 сотен, или около девятисот бойцов, при восьми пулеметах и четырех (или двух) орудиях. Артиллерия и обоз шли на верблюдах, всадники — на гобийских лошадях, более крупных, чем «монголки», и способных «находить

слабое утешение для своего желудка» в гобийском саксауле-дзаке.

Холмы перед скальным массивом были укреплены окопами полного профиля, взять их с налету не удалось. Под пулеметным и артиллерийским огнем конница не могла доскакать до китайских позиций. Три конные атаки результата не дали, хотя Унгерн участвовал в них лично. Вероятно, про этот бой казаки рассказывали Оссендовскому, что китайцы, узнав барона, открыли по нему прицельный огонь, и потом в его седле, конской сбруе, халате и сапогах нашли следы семидесяти пуль, но он не был даже ранен. Этим чудом казаки объясняли огромное влияние своего начальника на монголов.

Наконец сотни спешили, на двадцатиградусном морозе начался упорный бой «за каждый камень». Унгерн объявил о «розыгрыше» денежных призов по следующей системе: если атака ведется сотней, то первый из сотни, взобравшийся на утес или уступ, получает тысячу рублей; если взводом — 500; если отделением — 100. Было взято призов на 20 тысяч рублей, тем не менее китайцы стойко оборонялись, некоторые скалы по несколько раз переходили из рук в руки. Лишь ночью, под прикрытием темноты, защитники Чойрин-Сумэ отошли на вершины скальной гряды, прикрывавшей котловину с монастырем. Унгерн не стал дожидаться рассвета и после короткого перерыва возобновил атаки.

Он знал, что китайские войска не способны отвечать контрманевром на маневр противника. Это была их главная беда. «На заранее занятой позиции китайцы дрались отчаянно, — делится наблюдениями Аноним, — но стоило только немного измениться обстановке, и они из воинской части превращались буквально в стадо баранов». Вина здесь целиком ложилась на командный состав, именно поэтому Унгерн китайского солдата

ценил много выше, чем офицера. Семенов вообще считал, что «лучший военный материал» — это китайские солдаты под командой русских офицеров.

В темноте, при отступлении, китайцы растерялись и не смогли вновь организовать оборону. Занятая позиция была гораздо более неприступной, чем прежняя, но продержались они на ней недолго. Впрочем, победа не была бы столь мгновенной, если бы не унгерновские артиллеристы. С неимоверным трудом они сумели втащить одну пушку на отдельно стоящую скалу, где никого не оказалось, и сверху, еще затемно, прямой наводкой повели огонь по монастырю и по его защитникам. Началась паника, перешедшая в бегство, когда одним из снарядов убило начальника гарнизона. К рассвету сотни были на гребне гряды. «Когда взошло солнце, — пишет Князев, — с вершины открылась безбрежная равнина. Далеко на горизонте виднелись несколько темных пятен, которые могли быть лишь колоннами противника, отходившего к Калгану».

Унгерну досталась колоссальная добыча — едва ли не бóльшая, чем при взятии Урги. Одного риса вывезли свыше трех тысяч пудов. По всему лагерю бродили брошенные верблюды. На них Унгерн пересадил своих всадников и немедленно двинулся в погоню. Высланные вперед чахары безжалостно рубили беглецов, и даже через два года, как рассказывали проезжавшие из Урги в Калган, степь в этих местах белела костями летом, а зимой покрывалась полузаметенными снегом бугорками и холмиками. Тем, кто сложил оружие, Унгерн позволил уйти в Китай, не желая излишней жестокостью вызывать ответную непримиримость.

После того как известия о чойринском разгроме достигли Пекина, там, по сообщениям харбинских газет, было «неспокойно»; якобы возникли опасения, что барон перейдет границу, захватит Калган (600 верст от Пекина) и продолжит победный марш на юго-восток. С

другой стороны, будто бы встревожились евреи в зоне КВЖД. Как доносил Унгерну его хайларский агент, они «усиленно готовятся к бегству в Палестину»; причина — «ожидание наступления монгол на Маньчжурию и Хайлар». Все это не более чем слухи, которыми русские эмигранты тешили свое постоянно ущемляемое китайцами национальное самолюбие. Едва ли в Пекине всерьез опасались такого развития событий, да и сам Унгерн, трезво оценивая собственные возможности, ни о чем подобном не помышлял.

Преследование китайцев прекратили верст через двести. От монголов стало известно, что в том же направлении по Старо-калганскому тракту, то есть параллельно унгерновцам, но южнее, движется пятитысячная колонна гаминов. Их отправили «на усиление ургинского гарнизона», но по дороге они узнали о падении столицы и теперь возвращались в Китай. Унгерн поручил есаулу Парыгину ликвидировать эту колонну, а сам на трофейном автомобиле поспешил в Ургу. Ему, видимо, сообщили, что над столицей нависла новая опасность.

Слух о гаминах на Старокалганском тракте не подтвердился, но поход в глубину зимней Гоби навсегда остался в памяти его участников как странное и волнующее приключение.

«При лунном свете, из таинственной смутной дали, — классическим набором эпитетов из словаря поэта-декадента пытался передать Аноним свои ощущения, — беззвучно проносились на огромных верблюдах, как призрачные тени, монголы. Кружились вокруг безмолвствующей колонны и снова исчезали в сером свете в тихую даль».

Вместо пяти тысяч китайских солдат встретили только одного: «Весь оборванный, босой, с распухшим лицом и гноящимися глазами, беглец был жалок. И

страшно становилось за человека, бредущего в одиночестве по пустыне. Китаец рассказал, что идет домой, в Китай. Потом доверчиво показал пачку иголок и сказал: «Хо!» (хорошо). За иголки во встречных монгольских юртах и монастырях ему давали есть. Несчастный бережно сложил спасительные иголки и снова спрятал их в складках своих лохмотьев. Он с жадностью схватил несколько брошенных ему лепешек и, прижимая руки к груди, низко кланялся проходившей мимо него колонне. Потом его невзрачная фигурка снова замаячила в стороне, на буграх, пробираясь к далекому родному Китаю».

ЦАГАН-ЦЭГЕН. ОРЕЛ И ДРАКОН

1

Еще в феврале на север были высланы отряды Янкова и Хоботова, чуть позже — монголы князя Баиргуна. Они успешно теснили китайские гарнизоны к границе, но 12 марта, в день, когда Унгерн начал штурм Чойрин-Сумэ, оставшийся в столице Резухин получил от Хоботова письмо с птичьим пером — в знак особой срочности и важности заключенного в нем сообщения. Хоботов доносил, что китайцы большими силами, справиться с которыми он не в состоянии, идут к Урге. Напрашивалась мысль, что они хотят воспользоваться отсутствием Унгерна и отбить город.

Против Ма были брошены все способные носить оружие. Большая и лучшая часть Азиатской дивизии находилась в Гоби, полк Хоботова — на севере, близ русской границы. В Урге войск почти не осталось, Резухин смог собрать менее четырехсот всадников. Половину из них составляли плохо обученные монголы.

В ночь на 15 марта он выступил на север и через день получил новое письмо от Хоботова. Тот сообщал, что из-за бурана потерял армию Ма, и где она теперь находится, сказать не может. Резухин продолжил движение на север, но трехдневные поиски ни к чему не привели. «Монголы ничего определенного о движении китайцев не знали. Они словно исчезли с лица монгольской земли», — вспоминал Торновский.

Тем временем противник неожиданно обнаружился на Улясутайском тракте, к западу от Урги. Похоже, там

узнали об этом раньше, чем в штабе Резухина. По городу поползли панические слухи о намерении китайцев взять реванш и захватить беззащитную столицу.

То ли Резухина догнали гонцы из Урги, после чего он немедленно повернул на запад, то ли Торновский, как пишет он сам, с группой казаков случайно наткнулся на китайский конный разъезд и, преследуя его, увидел двигавшуюся по долине колонну длиной в три-четыре версты. Издали, «на глазок», он определил в ней примерно три тысячи пехоты, две тысячи кавалерии, столько же беженцев и 200–300 подвод. Другие мемуаристы называют несколько большие цифры. Лишь к утру 19 марта, через три дня после выступления из столицы, Резухин преградил китайцам дорогу в урочище Байн-Гол в районе уртона Цаган-Цэген — четвертого по счету на запад от Урги по Улясутайскому тракту. До столицы отсюда было около 130 верст.

Стремясь вырваться из долины, китайцы с ходу повели наступление на господствующую высоту. На ней занял оборону Торновский с бурятской сотней, монгольскими ополченцами, одним пулеметом и одной пушкой Гочкиса, имевшей боезапас всего в десять снарядов. Все сразу поняли, что бой предстоит тяжелый — китайские цепи «наступали как на параде». Среди пехотинцев находились офицеры на лошадях. Они ташурами, как Унгерн, подгоняли солдат в атаку.

Залегшие на склонах сопки монголы открыли огонь, но выстрелы не наносили наступающим урона. При этом патроны еще и следовало беречь, их катастрофически не хватало. Пока не были захвачены склады в Чойрин-Сумэ, Азиатская дивизия постоянно испытывала трудности с патронами. Инженер-землеустроитель Лисовский, помощник Витте, отчасти поправил положение, предложив Унгерну оригинальный способ лить пули из стекла. Первые опыты оказались

удачными, и в сражении под Цаган-Цэгеном некоторые из ополченцев стреляли по врагу стеклянными пулями.

Первую атаку удалось отбить только благодаря опытности офицера-пулеметчика. Он же остановил и вторую, кавалерийскую. Китайцы потеряли до сотни всадников, «кони носились по полю», но пешие цепи продолжали идти вперед. Для китайских солдат, по словам Волкова, это были «бои отчаяния». Они сознавали, что всюду на тысячеверстных пространствах пустынной и враждебной страны их ждет гибель, единственное спасение — оружием проложить путь на родину. Монголы, уверенные, что враг рвется к Урге, защищали Богдо-гэгэна и столичные святыни. «И вот, — пишет Волков, — китайцы по пяти раз кряду бросаются в атаки, рядом с трупами китайских солдат находят тела их жен-монголок, сражавшихся бок о бок с мужьями. Монголы, в обычных условиях легко поддающиеся панике, разряжают, как на учении, винтовки. На русского всадника приходится иногда от десяти до пятнадцати китайцев».

На помощь призваны были и сверхъестественные силы. В Урге служили молебны, а какой-то лама, поднявшись на одну из сопкок над полем сражения, размахивал шелковым хадаком, кружился в священном танце и творил заклинания, нейтрализуя злых духов и призывая добрых, чтобы с их помощью отвоевать победу.

Торновский руководил обороной центральной сопки, пока не был ранен в ногу — пуля навывлет пробила голенную кость. Сменивший его бурят Очиров удерживал позицию до вечера, потом отступил и присоединился к Резухину, оборонявшему другую сопку. Утром следующего дня эту высоту тоже пришлось оставить под непрекращающимися атаками китайцев. Они уже были близки к тому, чтобы вырваться из узкой горловины, где не могли в полной мере использовать

свой громадный численный перевес, но тут в тылу у них появился подошедший с севера полк Хоботова. Наступление замедлилось, и как раз в это время подоспел Унгерн.

Прибыв в Ургу 18 марта, он тотчас выехал на автомобиле к месту боев, но из-за снежных заносов добрался туда только через двое суток. Чахары и тибетский дивизион отстали от него на несколько часов. Утром 20 марта китайцы почти одержали победу, а к вечеру того же дня оказались в кольце окружения.

Пленный китайский офицер повез своему начальству предложение Унгерна о капитуляции на следующих условиях: сдать оружие и военное снаряжение, после чего все солдаты и мирные жители с их имуществом будут пропущены на юг и получат продовольствие на дорогу. Ма со своим штабом и старшими офицерами к тому времени успел бежать, пяти- или шеститысячной армией командовал полковник Чжоу [\[133\]](#). Он согласился капитулировать. Полученное от него письмо размножили и разослали на другие позиции; вечером Унгерн, горя нетерпением (выдержка вообще не входила в число его достоинств), лично, в полном одиночестве, отправился на переговоры во вражеский лагерь. По пути в него стреляли, но не попали, он благополучно добрался до Чжоу и вернулся в прекрасном настроении. Его китайского языка хватило на то, чтобы обговорить порядок капитуляции. Уже стемнело, поэтому сдачу оружия отложили до утра.

Среди ночи Князева, состоявшего в эти дни при Унгерне, разбудил сигнал тревоги. Поначалу «все недоумевали, почему так лихо заливается труба, так как вокруг царила мертвая тишина». Наконец стало известно, что чахары, выставленные в охранение, заснули, и ночью гамины убежали. Сам Чжоу и еще

около тысячи человек предпочли «не испытывать судьбу», но остальные под прикрытием темноты покинули лагерь.

В погоню были высланы полк Хоботова и оренбургско-забайкальская сотня ротмистра Неймана. «Догнать! — напутствовал Унгерн ее командира. — Рубить без пощады всех стриженных!» Таковых он считал сторонниками Сунь Ятсена, то есть революционерами, а тех, кто не обрезал себе косу — монархистами. В его манихейской картине мира добро не только резко отделялось от зла, но и легко распознавалось по внешним признакам.

Днем, приняв у сдавшихся оружие и оставив подводы тем «мирным купцам», кто не тронулся с места, Унгерн поскакал вслед за бежавшими. На расстоянии нескольких верст от лагеря перед Князевым открылась долина, усеянная сотнями мертвых тел. Здесь «крепко поработали» оренбургские и забайкальские казаки, рубя не только солдат, но и беженцев с семьями. Серьезного сопротивления они не оказывали, лишь Неймана застрелил притаившийся у дороги мститель. Это, видимо, озлобило его подчиненных. Князев запомнил: «Прижавшись как-то боком к колесу брошенной у дороги повозки, китаец силится держать свой разрубленный череп. Впечатление от этого зрелища было, вероятно, усилено тем, что его поднятые к голове руки напоминали жест полнейшей безнадежности».

Спустя два месяца тут проезжал Оссендовский по пути из Ван-Хурэ в Ургу. «До сих пор, — вспоминал он, — среди остатков брошенной амуниции валялось около полутора тысяч непогребенных со страшными ранами от сабельных ударов. Монголы старались объехать стороной это поле ужаса и смерти, и здесь было полное раздолье для волков и одичавших собак».

На перевале Долон-Хада беглецы подожгли степь и под прикрытием огня оторвались от погони. Большая часть конницы и мелкие отряды пехоты вернулись в Кяхту. Теперь власти ДВР пропустили их через границу, а затем из Верхнеудинска по железной дороге отправили в Китай. В конце марта набитые ими эшелоны проследовали через Читу в Маньчжурию.

2

Прекрасно вооруженная, экипированная и обученная 15-тысячная армия, которую полтора года назад Сюй Шучжэн привел в Халху, перестала существовать, что в Пекине восприняли как национальную катастрофу. Монголия была не просто китайской колонией, как Урянхай; в ней видели неотъемлемую часть страны, чье символическое значение едва ли не важнее приносимых ею экономических выгод. Китайцы традиционно осознавали свою историю как цикличную, с регулярно повторяющимися эпизодами противостояния Поднебесной империи и северных варваров, которые лишь меняют имена, оборачиваясь то хунну, то маньчжурами или монголами. Хотя геополитическая ситуация давно изменилась, Монголию продолжали рассматривать как ключ к овладению всем Китаем. Унгерн вписался в эту традицию, на новом историческом витке олицетворяя собой древнюю угрозу, связанную с именами Чингисхана и Хубилая.

Беженцы принесли в метрополию известия о погромах и убийствах поселенцев, сожженных поселках, разграбленных факториях и складах с товарами. Газеты требовали от правительства возмездия, коммерсанты — возмещения убытков. Военные рвались в бой, но политическая ситуация в

раздираемом внутренними смутами Китая была такова, что организовать карательную экспедицию оказалось непросто.

Возглавить ее могли только два человека — Чжан Цзолин и чжилийский генерал У Пейфу, но эти же двое были главными соперниками в борьбе за контроль над центральным правительством (через год они столкнутся в открытой войне). Отправлять свои войска в Монголию не хотел ни тот ни другой. Оба боялись ослабить свои позиции в Пекине, в то же время каждый противился назначению другого, чтобы его влияние не усилилось при успехе. Наконец Чжан Цзолин предложил компромиссный вариант: он пошлет дивизию своих войск, У Пейфу — своих, а командовать объединенными силами будет кто-нибудь со стороны. Предложение было принято, но никак не могли найти такого кандидата на роль командующего, который устроил бы обоим конкурентов.

В апреле в Тяньцзине собралась правительственная конференция. На ней с тревогой отмечалась близость унгерновских отрядов к Калгану и даже опасность, якобы угрожающая Пекину. Вероятно, сторонники союза с Советской Россией нарочно сгущали краски, рисуя ситуацию в трагических тонах, но это было и в интересах Чжан Цзолина. К тому времени он уже успел склонить к лояльности князей Внутренней Монголии, обязавшихся не оказывать поддержки Унгерну, и готов был взять на себя ответственность за возвращение мятежной провинции в лоно Китая. У Пейфу не смог или не захотел помешать его назначению; Чжан Цзолин получил титул «высокого комиссара по умиротворению Монголии», неограниченные полномочия и три миллиона долларов на снаряжение экспедиции против барона. Под прикрытием этого плана он приступил к сбору денег с крупных торговых фирм, заинтересованных в скорейшей победе над бароном,

усиливал армию, но отправлять ее в Халху не спешил. Новое положение открывало перед ним широкий спектр возможностей, среди которых собственно война с Унгерном занимала едва ли не последнее место. Рассеивать свои дивизии по бескрайним просторам Монголии он не хотел, надеясь уладить дело миром. Унгерн тоже на это рассчитывал: маньчжурский диктатор был для него фигурой более приемлемой, чем У Пейфу или любой другой из южнокитайских генералов.

Как доносил ему есаул Погодаев из Маньчжурии, полковник Лям Пань, доверенное лицо Чжан Цзолина, «усиленно» интересуется вопросом: если бы Чжан Цзолин «попросил» барона «выйти» из Урги, каков был бы ответ? Можно не сомневаться, ответ был бы отрицательным, хотя Унгерн посылал в Мукден недвусмысленные сигналы, что готов на многое при условии совместной борьбы за реставрацию маньчжурской династии. «Я, к сожалению, в настоящее время без хозяина, — писал он Чжан Кунью, — Семенов меня бросил». И далее: «Предлагаю свое подчинение высокому и почитаемому Чжан Цзолину».

Тот, однако, добивался не подчинения, а полного устранения Унгерна из политической жизни Монголии. В игре, где ставкой была власть над Китаем, генерал-инспектор Маньчжурии держал про запас цинскую карту, пряча ее в рукаве, но не собирался выкладывать свой козырь в партии со случайным партнером. Для него это был вопрос не идеологии, а политики. Он и не подумал бы идти на сговор с Унгерном ради такой фикции, как идейная близость. Ни о каком союзе с ним не могло быть и речи, иначе Чжан Цзолина обвинили бы в предательстве национальных интересов. Как и большевики, он предвидел, что положение барона в Монголии будет становиться все менее прочным, выжидал и не торопился.

Удобный момент настал в мае 1921 года, когда Азиатская дивизия выступила в поход на Забайкалье. В июне Чжан Цзолин перенес свою ставку из Мукдена на станцию Маньчжурия, поближе к границам Халхи, и готовился отдать войскам приказ двинуться в Монголию, но его опередила Москва: спустя две недели в Ургу вошли экспедиционный корпус 5-й армии и цирки Сухэ-Батора^[134].

«Из только что полученных случайно газет, — писал Унгерн все тому же Чжан Кунью, — я вижу, что против меня ведется сильная агитация из-за моей войны якобы с китайским государством. Думаю, что, зная меня, Вы не можете предположить, чтобы я взялся за такое глупое дело». И еще: «Не могу не думать с глубоким сожалением, что многие китайцы могут винить меня в пролитии китайской крови. Но я полагаю, что честный воин обязан уничтожать революционеров, к какой бы нации они ни принадлежали, ибо они есть не что иное, как нечистые духи в человеческом образе».

Пытаясь привлечь на свою сторону Чжан Кунью, чтобы через него склонить Чжан Цзолина к отказу от военного решения проблемы, Унгерн, с одной стороны, предлагал ему прямую взятку — третью часть выручки от продажи в Маньчжурии монгольских товаров, если тот сквозь пальцы посмотрит на нарушение введенной Пекином торговой блокады Монголии; с другой — убеждал его в том, что коммерческие интересы Китая в Халхе ничуть не пострадали: истребление в Урге «главных купцов — жидов» пойдет на пользу китайской торговле: отныне она избавлена от опаснейших конкурентов. Как всегда и везде, идея, призванная стать связующим раствором, замешивается на деньгах и на крови.

Унгерн прекрасно понимал, какое громадное значение для Монголии имеют торговые связи с Китаем. Почти сразу после взятия Урги был создан совет китайских старшин и составлен список фирм, чьи владельцы не ушли с войсками или оставили заместителей. Возле зданий, принадлежавших этим фирмам, выставлялись караулы для защиты от грабежей. Поощрялось и расселение офицеров Азиатской дивизии в домах богатых китайцев. Постояльцы служили гарантами безопасности хозяев, которые за это бесплатно их кормили, одевали, снабжали табаком и рисовой водкой. Те, кто «брал не по чину», сурово наказывались. Одного из таких обнаглевших квартирантов Унгерн приказал повесить прямо на воротах приютившей его усадьбы. Он демонстративно покровительствовал китайскому купеческому обществу, что не мешало ему в случае нужды конфисковывать имущество подопечных под предлогом спекуляции или укрывательства гаминов.

После боев на Улясутайском тракте Унгерну досталось около тысячи пленных, а по возвращении в Ургу он обнаружил здесь еще почти столько же китайских солдат и офицеров, сдавшихся Баир-гуну [\[135\]](#). Все они теперь могли вернуться на родину с риском погибнуть в пути от рук монголов или умереть от голода и холода, но могли поступить на службу в Азиатскую дивизию и получать хорошее жалованье. Многие выбрали последнее. Из волонтеров был сформирован четырехсотенный полк, довольно быстро разжалованный в дивизион под командой поручика Попова [\[136\]](#). На первых порах Унгерн любовно опекал этот дивизион, доказывающий, что китайцы как таковые не являются его врагами, не пожалел даже двух пудов серебра на кокарды и трафареты для погон. Изображенная на них эмблема, которую он, видимо, сам

же и придумал, представляла собой, по словам Волкова, «фантастическое соединение дракона с двуглавым орлом». Это должно было символизировать единство судеб двух рухнувших, но подлежащих возрождению великих империй.

СВЕТ С ВОСТОКА

1

Среди тех, кто в Иркутске допрашивал пленного барона, был Николай Борисов, представитель Коминтерна в Монголии, алтаец по происхождению и, видимо, буддист по воспитанию (иначе ему не доверили бы в 1925 году возглавить первое советское посольство в Тибет, к Далай-ламе XIII). Он интересовался антикоминтерновским проектом Унгерна создать Федерацию народов Центральной Азии и спрашивал, был ли Богдо-гэгэн посвящен в эти планы. Унгерн ответил, что с хутухтой как человеком «мелочным и неспособным воспринимать широкие идеи» он об этом не говорил. Если даже и так, Богдо-гэгэн и его министры не могли не знать о замыслах барона, столь же грандиозных, сколь и опасных для хрупкой независимости Халхи, зажатой между двумя гигантами — Китаем и Россией.

Идея возрождения державы Чингисхана была центральным пунктом геополитической программы Унгерна. «Это государство, — говорил он Оссендовскому, — должно состоять из отдельных автономных племенных единиц и находиться под моральным и законодательным руководством Китая, страны со старейшей и высшей культурой. В союз азиатских народов должны войти китайцы, монголы, тибетцы, афганцы, племена Туркестана, татары, буряты, киргизы и калмыки». Цель их объединения — образовать «оплот против революции».

В 1920-х годах родственники Унгерна с интересом читали и пересылали друг другу книгу Оссендовского,

но отказывались верить, что при всем его сумасбродстве их брат или кузен мог вынашивать подобные планы. К тому же автор, безжалостно беллетризуя реальность, давал поводы усомниться в своей правдивости. Под его пером Унгерн излагает эти планы во время ночной бешеной гонки на автомобиле по окрестностям Урги, отвлекаясь на реплики типа: «Это волки! Волки досыта накормлены нашим мясом и мясом наших врагов».

Еще менее достоверным должен был казаться другой его монолог, произнесенный тоже ночью, после того как гадалка предсказала ему скорую смерть. В транс она потеряла сознание; когда ее «бесчувственное тело» вынесли из юрты, Унгерн, обращаясь к Оссендовскому, заговорил: «Умру... Я умру... Но это ничего... Ничего!.. Дело уже начато и не умрет. Я знаю пути, по которым пойдет оно. Племена потомков Чингисхана пробудились! Ничто не потушит огня, вспыхнувшего в сердцах монголов! В Азии образуется громадное государство от Тихого океана и до Волги».

У клана Унгерн-Штернбергов такие места в книге Оссендовского должны были вызывать понятное раздражение. Им хотелось видеть своего кузена или племянника обычным белым генералом с нормальной разумной идеологией, чтобы гордиться родством с ним, а не считать его японским агентом или прожектером с бредовыми идеями. Русские эмигранты тоже не верили Оссендовскому. Одни считали, что он сознательно романтизирует «дегенеративного» барона, другие не желали расставаться с мифами о героях борьбы за потерянную родину, которым прощалось все, только не планы расчленения России и равнодушие к ее судьбе. Однако рассказы Оссендовского подтверждаются признаниями самого Унгерна.

Его слова (в письме есаулу Кайгородову) о борьбе во имя «дорогой для нас родины — матушки России» кажутся куда более фальшивыми, чем ссылки на волю Неба и призывы к восстановлению маньчжурской династии. Эмигранты хотели видеть в нем русского патриота, между тем в протоколе одного из допросов его политические взгляды характеризуются следующим образом: «К судьбе России безразличен, так как, во-первых, не патриот; во-вторых, сторонник желтой расы и допускает оккупацию России Японией».

Далее записано: «Идеей фикс Унгерна является создание громадного среднеазиатского кочевого государства от Амура до Каспийского моря. С выходом в Монголию он намеревался осуществить этот свой план. При создании этого государства в основу он клал ту идею, что желтая раса должна воспрянуть и победить белую расу. По его мнению, существует не «желтая опасность», а «белая», поскольку белая раса своей культурой вносит разложение в человечество. Желтую расу считает более жизненной и более способной к государственному строительству, и победу желтых над белыми считает желательной и неизбежной»^[137].

А тремя месяцами раньше, рассуждая о необходимости сплотить «в одно целое» Внутреннюю Монголию и Халху, Унгерн из Урги писал в Пекин Грегори: «Цель союза двоякая: с одной стороны, создать ядро, вокруг которого могли бы сплотиться все народы монгольского корня; с другой — оборона военная и моральная от растлевающего влияния Запада, одержимого безумием революции и упадком нравственности во всех ее душевных и телесных проявлениях».

Сказанное в плену и написанное в письме к Грегори почти буквально совпадает с текстом Оссендовского; тот, видимо, в самом деле пользовался дневниковыми

записями. Свои заветные мечты Унгерн выражал одними и теми же словами, что свойственно людям с навязчивыми идеями. Такие идеи кажутся настолько значимыми, что, как магическая формула, могут существовать лишь в единственном словесном воплощении, нерасторжимо слитом с ее сутью.

Программа Унгерна покоилась на идеологии, выводившей его далеко за рамки Белого движения. Она близка японскому паназиатизму (или, по Владимиру Соловьеву, панмонголизму), но отнюдь ему не тождественна. Доктрина «Азия для азиатов» предполагала ликвидацию на континенте европейского влияния и последующую гегемонию Токио от Индии до Монголии, а Унгерн возлагал надежды именно на кочевников, ибо только они сохранили утраченные остальным человечеством, включая отчасти самих японцев, изначальные духовные ценности и потому должны стать опорой будущего миропорядка.

Когда Унгерн говорил о «желтой культуре», которая «образовалась три тысячи лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности», он имел в виду не столько культуру Китая и Японии, сколько неподвижную, в течение столетий подчиненную лишь смене годовых циклов, стихию кочевой жизни. Ее нормы уходили в глубочайшую древность, что казалось непреложным свидетельством их божественного происхождения. Как писал Унгерн князю Найдан-вану, только на Востоке блюдятся еще «великие начала добра и чести, ниспосланные самим Небом».

Потомки воинов Чингисхана мало походили на своих предков. По словам Хитуна, полюбившего их совсем за другие качества, чем Унгерн, современные монголы стали «скромными, робкими, миролюбивыми, часто эксплуатируемыми разными обманщиками и самозванцами». Все это Унгерн не мог не видеть, но

верил, что с его помощью они вернут себе былую воинственность. Кочевой образ жизни был для него идеалом отнюдь не отвлеченным и не рассыпался при столкновении с действительностью. В его системе ценностей образованность или гигиенические навыки значили куда меньше, чем религиозность, преданность, простодушие, уважение к аристократии. Важно было и то, что монголы остались верны не просто монархии, но высшей из ее форм — теократии.

Он знал их язык, носил монгольское платье и не фальшивил, когда заявлял, что «вообще весь уклад восточного быта чрезвычайно ему во всех подробностях симпатичен». В Урге имелось достаточно комфортных домов европейского типа, но Унгерн предпочел жить в юрте, поставленной во дворе китайской усадьбы. Там он ел, спал, принимал наиболее близких ему людей. Если тут и присутствовал элемент сознательной мимикрии, то не в такой степени, как казалось его врагам. Разумеется, он и чисто по-актерски играл выбранную для себя роль, но это была роль действующего лица исторической драмы, а не участника маскарада.

При всем своем отвращении к западной цивилизации Унгерн так же не похож на бегущего от нее Поля Гогена, как Монголия не похожа на райские берега Таити. В его бунте нет ничего от эстетики. «Барон Унгерн, — пишет Волков, — давнишний враг всего, что он объединяет в презрительном слове *литература*. Он не выявил нам печатно свою идеологию, но все имевшие дело с ним сходятся в одном: барон никогда не доводит мысль до конца, его беседы — нелепые скачки, невероятное перепрыгивание с предмета на предмет. Объяснение всего этого кроется в недоступных извилинах его мозга».

В плену Унгерна спросили, не приходила ли ему мысль «изложить свои идеи в виде сочинения». Он ответил, что по недостатку времени не пробовал

перенести их на бумагу, хотя «считает себя на это способным». Самонадеянности тут нет, его письма в сравнении с протоколами допросов говорят о том, что писал он лучше, чем говорил.

2

Идеология Унгерна построена по принципу славянофильской, с той разницей, что на место русского народа, сохранившего утраченные другими народами достоинства, поставлены монголы, православие заменено буддизмом, а относительно локальная миссия российских самодержцев передоверена Цинам с их грядущим панконтинентальным триумфом^[138]. Если прибавить сюда поход «диких народов» на Запад, этим исчерпывается круг его идей, которые, по словам Волкова, заставляли даже «близких друзей говорить о сумасшествии барона». Однако аналогичные идеи высказывались тогда многими людьми, в чьей нормальности никто не сомневался.

С начала 1919 года, когда Советская Россия оказалась в кольце фронтов и ясно стало, что в ближайшее время революции на Западе не будет, большевистские вожди все чаще обращают взор в сторону Востока. «Спасение советской власти в том, чтобы натравить как можно больше угнетенных наций на империалистических волков», — говорил Давид Рязанов (Гольденберг) на VIII съезде РКП(б). В Кремле уповали на пантюркизм и панисламизм как на средство борьбы с Западом; Троцкий заявлял, что дорога на Лондон и Париж пройдет через Индостан и Афганистан, а Монголия и Тибет рассматривались как промежуточные станции на пути в Индию. Даже последовательный западник Ленин готов был признать, что ключи к мировой революции лежат в Азии. Осенью

1920 года в Баку прошел съезд народов Востока, на котором основополагающий коммунистический лозунг был подвергнут ревизии, после чего приобрел еретический, с точки зрения ортодоксального марксизма, вид: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы всего мира — соединяйтесь!» Карл Радек, сменив ориентиры, пылко доказывал, что в прогнившую буржуазную Европу придет с Востока не новое варварство, а новая высшая культура, не имеющая ничего общего с религией. Не будь заключительной оговорки, авторство данной концепции можно приписать Унгерну.

В 1921 году в Москве был создан Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ), где, согласно анекдоту тех лет, русские евреи учили немецких и польских евреев, как делать революцию в Индии и Китае^[139]. Существовала и чисто еврейская, без марксистского налета, ветвь этой мессианской идеологии. «Европа стоит перед падением, Восток — перед расцветом. Когда Америка изгонит иудеев, ей ударят в спину и схватят ее за горло желтые расы. Большинство иудеев будут находиться в Индии, Персии, Китае и там нести знамя человечества. И тогда явится муж, муж отмщения, он покроет Европу желтой тучей», — пророчил в 1925 году немецкий еврей Сэмюэль Рот^[140], так же грозя Азией западным обидчикам еврейства, как когда-то Константин Леонтьев надеялся «обрушить» ее на врагов России.

Как раз в то время, когда Унгерн, сидя в Урге, готовился к походу на Советскую Россию, на другом конце континента, в Софии, несколько молодых русских историков выпустили книгу статей под знаменательным названием: «Исход к Востоку». Это был первый клич нарождающегося евразийства, политической

философии, созданной «кочевниками Европы» — русскими эмигрантами.

Для Трубецкого, Савицкого, Сувчинского и их единомышленников имя Чингисхана значило не меньше, чем для Унгерна; они тоже опасались триумфального шествия нивелирующей культуры Запада и предсказывали всемирное антиевропейское движение, пусть с Россией в авангарде, а не с Монголией и Китаем. Подобно Унгерну, они отрекались от либерализма отцов, предрекали наступление эпохи, когда народы будут управляться не учреждениями, а идеями, ожидали появления великих «народоводителей» и не верили, что сумеречная во всем, кроме эмпирической науки и техники, европейская цивилизация сумеет выдвинуть идеологию, способную соперничать с коммунистической. Очень похоже рассуждал и Унгерн, в одном из писем заметивший, что Запад обречен именно потому, что в борьбе с революционной опасностью «не вводит в круг действия идей, вопросов морального свойства».

Главным для Унгерна и евразийцев было географически-буквальное прочтение евангельского «свет с востока» — с заглавной буквы они читали не первое слово, а последнее. Хотя западная граница «Востока» виделась им по-разному, в обоих случаях ядром его должна была стать держава Чингисхана под новым названием. В этом смутно очерченном пространстве парадоксально пересекались векторы евразийского «исхода к Востоку» и унгерновского или коминтерновского «похода на Запад».

В манифестах евразийцев провозглашалось, что по типу организации их объединение «ближе всего стоит к религиозному ордену»; Унгерн мечтал о создании «ордена военных буддистов», как Сталин — о превращении большевистской партии в «орден меченосцев», а Гиммлер — о возрождении рыцарских

орденов. Образ носился в воздухе, сближая всех тех, кто своим идеалом видел «новое Средневековье».

Общим для Унгерна, для хозяев Московского Кремля и пражских или парижских евразийцев было сознание, что старый мир рухнул навсегда, возврата не будет, начинается новая эра не только национальной, но и всемирной истории. Одна катастрофа, гибельная, наступила; на очереди — другая, спасительная. Свою роль Унгерн усматривал в том, чтобы ускорить ее приход. В плену он сожалел, что в последнем приказе по дивизии не изложил «самого главного — относительно движения желтой расы». У него была твердая уверенность, что «об этом говорится где-то в Священном Писании». В Урге он даже просил кого-то отыскать это место в Библии, и хотя «найти ему не могли», не сомневался в факте существования такого пророчества. Суть его якобы состояла в следующем: «Желтая раса должна двинуться на белую — частью на кораблях, частью на огненных телегах. Желтая раса соберется вкуче. Будет бой, в конце концов желтая осилит».

Очевидно, Унгерн имел в виду библейский текст о Гоге и Магоге (Иез. 38–39), до неузнаваемости трансформированный его фантазией. Память у него была специфическая, но сама мысль о том, будто в Библии может упоминаться о желтой и белой расах, свидетельствует, что и Князев, и Оссендовский сильно преувеличивали эрудицию барона. По-настоящему образованный человек на такие ошибки не способен.

«Я с моими монголами дойду до Лиссабона!» — обещал Унгерн застрывшему в Урге колчаковскому генералу Комаровскому, беседуя с ним вскоре после взятия столицы. Лиссабон или просто Португалия не раз упоминались собеседниками барона как важная для него географическая точка, символизировавшая западную оконечность Евразии — тот предел, по

достижении которого он сочтет свою миссию исполненной. Примерно так же монголы при Чингисхане стремились дойти до «Последнего моря».

Эту идеологию, как объяснял Унгерн в плену, ему «некогда было обдумать», тем более — изложить «в виде сочинения», но на ее фундаменте он построил конкретную программу действий. Она включала в себя шесть последовательных этапов.

1. Взятие Урги и освобождение от китайцев всей Халхи.

2. Присоединение Внутренней Монголии.

3. Объединение под главенством Богдо-гэгэна остальных земель, населенных народами «монгольского корня».

4. Создание центральноазиатской федерации (наряду с «Великой Монголией» первыми ее членами предполагались Тибет и Синьцзян).

5. Реставрация династии Цин, которая «так много сделала для монголов и покрыла себя неувядающей славой».

6. В союзе с Японией поход объединенных сил желтой расы на Россию и далее на запад с целью восстановления монархий во всем мире.

Два заключительных пункта этой программы Унгерн рассматривал как дело будущего, в первом случае — близкого, во втором — отдаленного, но создание федеративного центральноазиатского государства считал возможным в самое ближайшее время. Впрочем, его деятельность в этом направлении сводилась главным образом к писанию писем. Как всякий человек, одержимый какой-то идеей, он верил, что достаточно внятно изложить ее, чтобы она завладела умами. Этих писем Унгерн разослал множество, а задумал, вероятно, еще больше. По его собственным словам, таким

способом он собирался «привлечь к своим планам внимание широких масс желтой расы»^[141].

Некоторых своих адресатов Унгерн назвал на допросах: Пекинское правительство, Чжан Цзолин, казахские ханы на Алтае, дербетские князья, Далай-лама XIII. Сюда надо прибавить Семенова, который со свойственным ему здравомыслием к идеям бывшего соратника «отнесся отрицательно», генералов-монархистов Чжан Кунью и Ли Чжанкуя, монгольских князей из Синьцзяна и Барги, влиятельного перерожденца Югадзир-хутухту, лидера казахской партии Алаш Алихана Букейханова и, наконец, последнего отпрыска маньчжурской династии, двенадцатилетнего Пу И, по-прежнему жившего при дворе Чжан Цзолина в Мукдене.

Для большей убедительности ряд таких посланий Унгерн написал не от своего имени, но его рука легко узнается в письме от лица неизвестного монгольского князя в Синьцзян или от лица премьер-министра Джалханцза-хутухты — безымянным «вождям народа киргизского»^[142]. Едва ли хутухта способен был испытывать чувства, выраженные, например, в следующем страстном пассаже: «Запад дал человеку науку, мудрость и могущество, но он дал в то же время безверие, безнравственность, предательство, отрицание истины и добра. Разве вы не знаете, вожди народа киргизского, как с грохотом, проклятиями и рыданием разрушались и гибли великие государства Запада, дробились и снова соединялись для того, чтобы вновь распасться и исчезнуть?»

Эта грандиозная эпистолярно-агитационная акция была предпринята Унгерном в апреле — мае 1921 года, после побед под Чойрин-Сумэ и возле уртона Цаган-Цэген. Никаких видимых результатов она не дала. Несколько писем остались неотправленными, другие,

видимо, пропали в пути, а те, что все-таки добрались до адресатов, едва ли произвели желаемый эффект. В плену Унгерн честно признался: «Ответов ни от кого не получил».

РЕЛИГИЯ ИЗНАЧАЛЬНЫХ ИСТИН

1

Однажды ночью, рассказывает Оссендовский, Унгерн привез его к монастырю Гандан-Тэгчинлин. Автомобиль с шофером оставили у ворот и в темноте, по узким проходам между юртами и двориками, вышли к храму Мэгжид Жанрайсиг. На удар гонга сбежались перепуганные монахи; они пали ниц перед бароном, но он приказал им встать и открыть двери храма. Внутри Оссендовский увидел обычную обстановку буддийского дугана: «Тут висели все те же многоцветные флаги с молитвами, символическими знаками и рисунками, с потолка спускались шелковые ленты с изображениями богов и богинь. По обеим сторонам алтаря стояли низкие красные скамейки для лам и хора. Мерцающие лампы бросали обманчивый свет на золотые и серебряные сосуды и подсвечники, стоявшие на алтаре, позади которого висел тяжелый желтый шелковый занавес с тибетскими письменами. Когда ламы его отдернули, в полумраке, едва освещенная лампадой, показалась золоченая статуя сидящего на лотосе Будды».

Видно, что автор этого описания в Мэгжид Жанрайсиг никогда не бывал — храмовое помещение выглядело совершенно иначе — исполинская статуя бодисатвы Авалокитешвары (Арьяболо), отлитого в полный рост, а не восседающего на лотосе, занимала почти все внутреннее пространство. Эпизод сочинен Оссендовским с целью, видимо, поразить читателей

следующей эффектной сценой: «Согласно ритуалу барон ударил в гонг, чтобы обратить внимание бога на свою молитву, и бросил пригоршню монет в бронзовую чашу. Затем этот потомок крестоносцев, прочитавший всех философов Запада, закрыл лицо руками и стал молиться. На кисти его левой руки я заметил черные буддийские четки».

Всё, кроме описания места действия, выглядит правдоподобно. При входе в храм следует прочесть молитву, а Унгерн собирался в поход и, наверное, молился дольше, чем обычно. При этом, как положено, его поднятые руки находились перед лицом, и у Оссендовского создалось впечатление, что он закрывал лицо руками. Четки на запястье тоже возможны. Алешин видел у него на груди, под распахнутым воротом дэли, еще и шнурки с амулетами-гау.

Свой интерес к буддизму Унгерну хотелось представить как родовой, наследственный. «Буддизм был вывезен из Индии нашим дедом (имеется в виду прапрадед. — Л. Ю.), — говорил он Оссендовскому, — к этому учению примкнул мой отец, а затем и я». Всё это или его фантазия, или семейная легенда. Стать буддистом в Мадрасе, где побывал Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн-Штернберг, в XVIII веке было не менее сложно, чем в Ревеле, к тому времени учение Будды давно ушло на север, в самой Индии исчезнув почти до полного забвения. Вероятнее всего, Унгерн-старший, доктор философии Лейпцигского университета, увлекся буддизмом после чтения Шопенгауэра, а сын — под влиянием Германа фон Кайзерлинга^[143]. Для последнего это увлечение было настолько сильным, что с началом Первой мировой войны, разочаровавшись в западной цивилизации, он решил покинуть Европу и вступил в переписку с японским послом в Петербурге, выясняя, нельзя ли ему поселиться в Корее, в

буддийском монастыре. Оккупация Эстляндии германскими войсками сорвала эти планы.

Унгерн прекрасно понимал разницу между индуизмом и буддизмом, но для него важнее было то, что их объединяло. Восточные религии импонировали ему своими экзотическими культами, отрицанием ценности человеческого «я» и созвучным его душе фатализмом^[144]. Вырождение Запада, о котором он постоянно говорил и писал, легко можно было увязать с тем, что вся новоевропейская цивилизация строится на принципиально иных основах. Индивидуализм и рационализм привели Европу к хаосу революции, а жизнь, проникнутая кажущимся безумием безличной мистики Востока, сохранила строгую упорядоченность своих форм.

«Черноокая аристократка» Архангельская, невенчанная жена барона Тизенгаузена и единственная представительница слабого пола, к кому Унгерн питал нежные чувства, «приручила» его разговорами о буддизме. Как слышал Хитун, их знакомство произошло на торжественном обеде, устроенном верхушкой русской колонии в честь взятия Урги^[145]. Поначалу барон сидел за столом «конфузливой буквой», но едва Архангельская, не случайно, видимо, оказавшаяся его соседкой, затронула буддийскую тему, он «оживился, повеселел и, в свою очередь, говорил о переселении душ, о том, как прислушивался к шуму ветра в лесу и в траве, как наблюдал полет птиц и вслушивался в их крики, и все это вошло в его мышление для самосовершенствования наряду с христианством». Унгерн был очарован собеседницей и позднее не раз вел с ней подобные разговоры. Он не догадывался, что умная и практичная Архангельская специально стала изучать буддизм, заметив его интерес к этому предмету.

Однако это еще вопрос, был ли он настоящим буддистом, способным к глубокому личному переживанию буддийских истин, или это всего лишь одна из сторон его иррационализма и внецерковной религиозности. Сам Унгерн объявлял себя «человеком, верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву», но отрицал принадлежность к определенной конфессии, говоря, что «верит в Бога как протестант, по-своему».

Лютеранин по рождению, он формально остался верен религии предков, а в жизни придерживался старого принципа: Бог один, веры разные. Если Азиатская дивизия находилась в лагере, вечером все сотни, сформированные по национальному признаку, выстраивались рядом и каждая хором читала свои молитвы. По словам Макеева, это было «прекрасное и величественное зрелище», но примерно так же и в те же годы китайский генерал-христианин Фэн Юйсян практиковал в своей армии ежевечернее хоровое пение псалмов. Исполнителями были его солдаты, которых он без лишних церемоний крестил целыми батальонами, поливая их из пожарных брандспойтов.

«Считает себя призванным к борьбе за справедливость и нравственное начало, основанное на учении Евангелия», — записано об Унгерне в протоколе одного из его допросов. И тут же: «Придает большое значение в судьбе народов буддизму». Противоречия здесь нет, он в самом деле полагал, что с помощью буддизма можно обратить человечество к сходным во всех религиях изначальным божественным заветам, от которых отступило христианство. В этом Унгерн не был одинок, у него имелись единомышленники среди тех, кого он считал злейшими своими врагами.

В ноябре 1919 года берлинская газета «Русский голос» опубликовала очерк некоего А. Керальника

«Аракеса-сан». В нем излагалась история Алексея К., буддиста и большевистского агитатора.

Первый раз автор встретился с ним незадолго до революции — в Японии, в главном храме Киото: «В глубине храма, у алтаря, на котором сверкал огромный голый Будда, женоподобный и круглый, бонза гнусавым голосом читал молитву. Восточные курения, усыпляющий речитатив бонзы и монотонное причитывание японцев навевали на меня странное полусонное состояние... Когда я очнулся, в храме было пусто, молящиеся разошлись, лишь серебряная лампада над головой Будды освещала алтарь, отбрасывая тени на стены и на пол. Внезапно одна из теней ожила. Высокий человек встал на колени, припав головой к ногам Будды, и вдруг я услышал: «Отче наш...» Я продолжил: «Иже еси на небесех...» Тогда человек бросился ко мне: «И вы, брат мой, пришли к нему? Он — конец и начало, он — истина!» На мгновение он обнял меня, затем повернулся и торопливо ушел. Я вышел вслед за ним...» Стоявший возле храма рикша объяснил Керальнику, что это «Аракеса-сан», то есть русский по имени Алексей, женатый на японке и живущий в Киото.

Вторая встреча произошла весной 1918 года, в Петрограде. Аракеса-сан выступал с речью перед группой рабочих возле цирка «Модерн» на Каменноостровском проспекте. «Я прислушался, — рассказывает автор. — Это была не большевистская речь, а какая-то проповедь потустороннего духовного столпничества. Все разрушить, что половинчато, сорвать все ткани и покровы — ткани слов, покровы лжи. Парламент — ложь, собственность — ложь. Жизнь общая, первоисточная — истина общая. Надо быть правдивым до конца. История — сплошная ложь, буржуазия хочет ее увековечить, прикрепить нас к ней...» Через какое-то время советские газеты сообщили, что служивший в продотряде «товарищ

комиссар Алексей К. убит крестьянами при очередном восстании».

История наверняка вымышлена, а герой смонтирован из нескольких людей, однако воплощенная в нем тенденция — не фантазия автора. Попытки соединить или хотя бы примирить учение Будды с коммунизмом предпринимал в то время не только сомнительный Аракеса-сан, но и вполне реальный Агван Доржиев, личный представитель Далай-ламы XIII в революционном Петрограде, и бурятские ламы-«обновленцы», а Николай Рерих в 1924 году небескорыстно внушал советскому полпреду в Германии, Николаю Крестинскому, что передовые ламы в Тибете проповедуют тождество идей коммунизма и буддизма. Спустя два года в Урге, уже ставшей Улан-Батором, вышла его брошюра «Основы буддизма»^[146], где про Гаутаму-Будду сказано было, что он «дал миру законченное учение коммунизма», и многозначительно сообщалось: «Знаем, как ценил Ленин истинный буддизм».

В основе подобных спекуляций или искренних порывов, как у Алексея К., лежали представления о том, что классический буддизм — религия без бога. Понимая это, Унгерн видел очевидное сходство между буддизмом как стержнем всей жизни кочевников и марксизмом, претендующим в России на ту же роль. Когда в плену его спросили, как он относится к коммунизму, он ответил: «Это своего рода религия. Необязательно, чтобы был бог. Если вы знакомы с восточными религиями, они представляют собой правила, регламентирующие порядок жизни и государственное устройство».

В Иркутске, в разговоре с автором первого советского романа «Два мира», сибирским писателем Владимиром Зазубриным, допущенным к нему на

четверть часа, Унгерн повторил эту мысль, правда, в качестве примера «восточной религии» привел конфуцианство. «То, что основал Ленин, есть религия», — заявил он с нечастой для того времени проницательностью. Отсюда осмысление им своей войны с большевиками как религиозной с обеих сторон: «Я не согласен, что в большинстве случаев люди воюют за свою «истерзанную родину». Нет, воевать можно только с религиями»^[147].

В борьбе с большевизмом христианство уже показало свое бессилие, оставалось уповать на буддизм, который принесут в Сибирь монголы и, может быть, японцы. Процесс обращения сибирских мужиков в лоно учения Будды должен был, как говорил сам Унгерн, растянуться «на несколько лет», но от этого его план не становился менее фантастичным.

2

Начиная со стоянки на Тэрельдже, при Унгерне состояло до десятка лам, он посещал монастыри и при хроническом безденежье жертвовал им крупные суммы, но собственно философия буддизма вряд ли входила в круг его интересов. Буддийские «легенды, ритуалы и популярные сказания» — вот тема его разговоров с Архангельской. Не менее важной была для него прикладная сторона «желтой религии»: умение монгольских и тибетских оракулов узнавать будущее, во что он, видимо, окончательно поверил после того, как сбылись их предсказания о взятии Урги на третий день штурма. Ламы, составлявшие при нем нечто вроде консультационного совета, были астрологами и гадателями-*изрухайчи*, но не богословами. В походах они ночевали в отдельной палатке, стоявшей рядом с палаткой Унгерна, по вечерам он уединялся с ними для

долгих бесед и гаданий. Они толковали знамения, определяли счастливые и неблагоприятные числа в лунном календаре, а исходя из этого назначали сроки военных операций и даже маршруты движения войск. Все их рекомендации Унгерн выполнял неукоснительно. Дошло до того, что полковник Костерин, предпоследний начальник его штаба, втайне выплачивал им «авансы», чтобы результаты гаданий не сильно расходились с «боевыми интересами дивизии».

При походе в Забайкалье видное место среди них занимал молодой перерожденец Тери-Бюрет-гэгэн, которого Торновский почему-то называет «Богом Солнца». Будучи личным представителем Богдо-гэгэна, он тем не менее получил не слишком уважительное прозвище «маленький гэгэн», или, по-монгольски, *гэгэчин* — не то за малый рост, не то по сравнению с пославшим его к Унгерну «большим гэгэном». Не только монголы, но и русские обращались к нему за гаданиями. «Гэгэчин гадал быстро, уверенно и, как ни странно, очень правдоподобно, — вспоминал Князев. — Он брал в руку несколько монет или просто камешков, глубокомысленно, а может, и молитвенно подносил их ко лбу, затем дул на них и быстро выбрасывал из горсти на землю. Основываясь на известных ему знаках, он, глядя на расположение выброшенных предметов, давал ответы на любой животрепещущий вопрос: будет ли вопрошающий убит или же останется невредимым, увидится ли с семьей и т. д. В ответах гэгэчина даже при слабом знакомстве с языком улавливались различные оттенки. Одному он давал ясный и твердый благоприятный ответ, другому отвечал уклончивой общей фразой, а третьему говорил приблизительно следующее: «Тебе будет нехорошо, но ты не бойся». По-видимому, гадающий склонен был облекать в вежливую форму дурные предсказания».

Гэгэчин даже участвовал в боях, своими методами пытаюсь добыть победу, но относительно его успехов на этом поприще мнения расходятся. Князев рассказывает, что когда в бою с красными под Новодмитриевкой монгольский дивизион ударился в бегство, гэгэчин «выскочил вперед на своем великолепном сером коне, крикнул несколько заклинаний, плюнул в ладонь и этой рукой сделал движение, как бы бросавшее его слюну во врагов». Тут же воодушевленные монголы «с боевым кличем лавиной обрушились на красноармейцев».

Скептический Аноним приводит другой случай. «Один лама, — пишет он, не называя имени, но, скорее всего, говоря о гэгэчине, — брался заговорить пушки и ружья красноармейцев. В начале боя заклинатель храбро выехал вперед и, что-то бормоча, начал махать шашкой, обвязанной хадаками. Со стороны противника раздался артиллерийский залп, несколько гранат разорвалось вокруг ламы. Кудесник свалился с коня, бросил свою священную саблю и на карачках уполз в кусты».

Во время одной из встреч с Першиным, обсуждая с ним перспективы коммерческой операции по поставке в Маньчжурию шерсти и кож из Кобдоского округа, Унгерн внезапно, как всегда, перевел разговор на другую тему. «Я слышал, — сказал он, — что вы изучаете буддизм, дружите с Маньчжушри-ламою. Не сообщите ли мне что-нибудь интересное в этом отношении? Очень этим интересуюсь и хочу знать».

«Вы, наверное, осведомлены, — ответил Першин, — буддизмом как философией я не занимаюсь, так как не имею для этого настоящей подготовки. Тем более мало мне знакома его оккультная сторона. Я интересуюсь только иконографией буддизма. Для занятий всесторонних я не знаю языков — ни санскрита, ни других, без чего изучение его немыслимо. Местные же изурухайчины — простые ворожеи, гадатели. Им нельзя верить. Маньчжушри-лама действительно ученый

буддист, но он гаданиями не занимается. Если же вы пожелаете ознакомиться с буддийской иконографией, а она представляет большой интерес, то можете вместе со мной посетить один или два храма. И я, что знаю, расскажу вам относительно изображений будд, бодисатв, хубилганов и пр. Я бы и теперь мог в общих чертах кое-что рассказать, если бы не было так поздно (разговор происходил далеко за полночь. — Л. Ю.). Я всегда в вашем распоряжении, и когда будет у вас время, с удовольствием поделюсь тем, что знаю».

Этим предложением Унгерн так и не воспользовался, и не только по недостатку времени. Его интересовала не иконография, а чудо и тайна. Монголия представлялась ему гигантским историческим заповедником, где люди сохраняют не только рыцарские добродетели, но и давно утраченные на Западе навыки общения с потусторонним миром.

По-видимому, что-то в этом духе допускал он и в самом себе. Если оракулы-*чойджины* при медитации или в священном трансе умели находить и распознавать врагов «желтой религии» под любым обличем, то Унгерн свято верил в свой дар с одного взгляда отличать убежденных большевиков от их случайных и невольных пособников.

Оссендовский стал свидетелем того, как он решил судьбу шестерых красноармейцев, захваченных на границе и доставленных к его юрте. Когда ему доложили об этом, барон мгновенно преобразился. Только что он вел с Оссендовским задушевную беседу, а теперь «глаза его сверкали, все лицо передергивалось». Остановившись перед выстроенными в ряд пленными, он некоторое время стоял неподвижно, не произнося ни слова, затем так же молча отошел в сторону и сел на ступеньку соседней фанзы. Ни одного вопроса не было задано. В полной тишине прошло еще несколько минут. Наконец Унгерн вновь поднялся. Лицо

его было решительным, выражение сосредоточенности исчезло. Касаясь ташуром плеча каждого из пленных, он разделил их на две группы: в первой оказалось четверо, во второй — двое. Последних барон велел обыскать, и, к удивлению присутствующих, у них нашли «документы, доказывающие, что они — коммунисты-комиссары». Этих двоих он приказал насмерть забить палками, прочих отправил служить в обоз.

Похожую сцену наблюдал и доктор Рябухин, хотя, по его мнению, никакой особой прозорливостью Унгерн не обладал, претензия на это была еще одним признаком больной психики и маниакальной веры в собственную исключительность. Рябухин рассказывает: после штурма Гусиноозерского дацана в Забайкалье в плен попало свыше четырехсот красноармейцев; Унгерн распорядился выстроить их в шеренгу и медленно пошел вдоль нее, вглядываясь в глаза каждому. Это было что-то среднее между упражнением в физиогномике и психологическим экспериментом, но в результате около сотни человек барон уверенно отнес к разряду «коммунистов и красных добровольцев». В таких случаях он обычно обращался к тем, кто не вызвал его подозрений, и предлагал: «Если кто-то из них не коммунист, заявите». Естественно, опротестовывать сделанный им выбор никто не решался из страха пострадать самому. Отобранных расстреляли, но позже оставшиеся в живых счастливики говорили Рябухину, что их убитые товарищи, как и они сами, были насильно мобилизованными крестьянами Иркутской и Томской губерний и ровно ничем не отличались от тех, кому Унгерн даровал жизнь.

Способность, которую он себе приписывал, считалась обычной для тибетских носителей тайного знания. В фантастическом романе донского атамана и писателя Петра Краснова «За чертополохом» (1922 год)

будущий спаситель России, генерал Аничков, после победы большевиков уходит в Лхасу и здесь, в буддийском монастыре, обучается «читать в душах людей и узнавать их помыслы, глядя в их глаза». Прототипом героя послужил атаман Анненков, но многое в нем взято и от Унгерна.

В Азиатской дивизии все знали, что при первой встрече с ним нужно держаться настороже. Это было своего рода испытание. «Унгерн долго смотрел в глаза при первом знакомстве», — пишет Шайдицкий, гордясь, что достойно выдержал экзамен и заслужил доверие. «Взгляд его холодных серых глаз как бы просверливал душу, — вторит ему Князев. — После первой же встречи с бароном для большинства делалось очевидно, что в глаза ему не солжешь». В действительности Унгерна постоянно обманывали, и сам он обманывался в людях едва ли не чаще, чем те, кто вовсе не числил за собой подобных талантов.

КРОВЬ НА ЛОТОСЕ

1

Осенью 1913 года, когда Унгерн, не сумев поступить на службу к Джа-ламе, жил в Кобдо, на западе Халхи постоянно шли столкновения между монголами и алтайскими казаками, приходившими из соседнего Синьцзяна. Они нападали на кочевья, угоняли скот. Самое деятельное участие в этих стычках принимал отряд Джа-ламы. Его приближенные рассказали Бурдукову эпизод одной из таких стычек: «После боя киргизы (казахи. — Л. Ю.) разбежались, оставив несколько человек раненых. Один, очевидно, тяжело раненный, статный и красивый молодой киргиз сидел гордо, опершись спиной о камень, и спокойно смотрел на скачущих к нему монголов, раскрыв грудь от одежды. Первый из подъехавших всадников пронзил его копьем. Киргиз немного наклонился вперед, но не застонал. Джа-лама приказал другому сойти с коня и пронзить его саблей. И это не вызвало у него стоны. Джа-лама велел распластать киргизу грудь, вырвать сердце и поднести к его же глазам. Киргиз и тут не потерял угасающей воли, глаза отвел в сторону и, не взглянув на свое сердце, не издав ни звука, тихо свалился».

Джа-лама распорядился целиком снять с мертвого кожу и засолить ее для сохранения. Через полгода эту кожу, скатанную в рулон, нашли у него при аресте, сфотографировали и увезли в Россию как вещественное доказательство его садистских наклонностей^[148]. На самом деле подоплека этой варварской акции была иная. От своих информаторов Бурдуков узнал, что при

совершении некоторых обрядов на полу храма расстилается белое полотно, вырезанное в виде человеческой кожи и символизирующее побежденного демона-*мангыса*; Джа-лама решил претворить эту символику в реальность. Беспримерная сила духа, которую перед лицом смерти выказал убитый казах, выдавала в нем великого батора, однако вражда к монголам-буддистам доказывала, что он связан с темным, демоническим началом мира и, значит, является мангысом. Следовательно, его кожа годилась для того, чтобы заменить полотняные имитации. Джа-лама со свойственной ему примитивной религиозностью материализовал метафору борьбы со злом, тем самым изменив заложенный в ней смысл на прямо противоположный.

Очень может быть, что Унгерн слышал об этой коже, а то и видел ее своими глазами, но вопрос о том, как подобное живодерство сочетается с «милосердным» учением Будды, перед ним, видимо, не вставал. Наверняка он имел представление о тантризме — эзотерическом учении, трактующем возможность избежать долгого пути самосовершенствования в течение ряда перевоплощений и на протяжении одной жизни достичь совершенства путем особых практик и ритуалов; считалось, что с их помощью человек вступает в мистическую связь с бодисатвами или эманациями будд вплоть до безраздельного с ними слияния и получает доступ к любой цели. Под таким углом зрения буддизм Махаяны, включающий в себя тантру, для дилетанта становился разновидностью магии, способом воздействия на сверхприродные силы и одновременно опытом каждодневной жизни вблизи этих сил. Богослужebные духовые инструменты из костей человека или изготовленные из того же материала зерна дамских четок, наконец, *габала* — ритуальный сосуд из оправленного в серебро

человеческого черепа — все это призвано было напоминать верующим о тленности земного бытия, но у европейцев, незнакомых с буддийской символикой, вызывало зловещие ассоциации.

Как и христианство в Европе, буддизм в Тибете и Монголии вобрал в себя местные добуддистские верования. При начале войны с китайцами эти древние шаманские практики с их кровавыми жертвоприношениями вновь стали актуальны, как всегда бывает во времена исторических катаклизмов, и один из лам, перешедший на сторону красных, в победном экстазе съел вырванное из груди соратника барона, есаула Ванданова, еще трепещущее сердце. С буддизмом тут нет ничего общего, но следы такого рода архаики, пусть преображенной и перетолкованной, можно заметить в популярном культе «Восьми Ужасных», то есть восьми главных дхармапала (докшитов), стражей и хранителей «желтой религии»^[149]. Они стояли на страже светлого начала мира, но изображались в таком обличье, что вызывали не столько благоговение, сколько страх.

Откровением для Унгерна мог стать тот факт, что учение Будды с его основополагающей заповедью «Щади все живое» охраняют устрашающие божества вроде Чжамсарана или Махакалы, не имеющие аналогов среди христианских святых. Георгий Победоносец на русских иконах отрешенно спокоен даже в тот момент, когда поражает копьем дракона^[150]; архангела Михаила, архистратига небесных легионов, при всей его воинственности трудно представить в диадеме из отрубленных голов или сжимающим в зубах окровавленные сердца и почки противников христианства. Хотя все это символизировало чисто духовную борьбу с собственными заблуждениями и пороками, язык буддийской иконографии должен был

волновать Унгерна. Ему могло казаться, что существование «Восьми Ужасных» в лоне учения о «восьмеричном пути» и «четырех благородных истинах» оправдывает крайние меры по отношению к врагам всякой религии, а не только буддизма. Способность христианства спасти мир от революционного наваждения вызывала сомнения потому хотя бы, что в нем не нашлось места для таких фигур, с которыми Унгерн, похоже, соотносил себя самого. «Барону доставляло неизмеримое удовольствие, когда монголы видели в нем что-то неземное», — пишет Голубев. И задается вопросом: «А может быть, он действительно верил, что он — перерожденец?»

Увлеченность Унгерна буддизмом сливается с его идеалами «нового Средневековья». Ведь если в средневековой Европе с ее грубостью и первобытной свирепостью люди тем не менее постоянно ощущали рядом присутствие Божества, а теперь — нет, значит, между Богом и человеком стоит не варварство последнего, не проливаемая им кровь, а, напротив, гуманность и прогресс.

Алешин, рассказав, как в забайкальском селе Булуктай по приказу Унгерна несколько русских крестьян были заперты в амбаре и сожжены вместе с ним, замечает: «Во время этой массовой экзекуции барон молился своему Будде». Утверждение сомнительно, однако оно показывает, что свирепость Унгерна связывали с его изменой христианству. В обыденном сознании двоеверие часто приравнивается к вероотступничеству, поскольку тем самым человек, разрывая кровно-родственные отношения с божеством, изначально вложившим в него понятие о нравственном законе, заменяет их рациональными, основанными на сознательном выборе и, следовательно, лишенными родовой памяти о добре и зле.

В протоколе одного из допросов Унгерна записано с его слов: «Свою жестокость и террор в отношении людей не считает противоречащими учению Евангелия». Противоречит ли это буддизму, его не спрашивали, но когда Бурдуков задал похожий вопрос Джа-ламе, тот ответил: «Эта истина («Щади все живое». — Л. Ю.) для тех, кто стремится к совершенству, но не для совершенных. Как человек, взошедший на гору, должен спуститься вниз, так и совершенные должны стремиться вниз, в мир — служить на благо других, принимать на себя грехи других. Если совершенный знает, что какой-то человек может погубить тысячу себе подобных и причинить бедствие народу, такого человека он может убить, чтобы спасти тысячу и избавить от бедствия народ. Убийством он очистит душу грешника, приняв его грехи на себя».

Джа-лама недвусмысленно проводит аналогию между собой и бодисатвами, отказавшимися от нирваны, дабы служить людям на пути к спасению, но еще в большей степени — с божествами типа «Восьми Ужасных». Настаивая на собственном «совершенстве», он объявляет, что готов пожертвовать личным спасением во имя всеобщего блага. Разница с Унгерном здесь только та, что один говорил о «народе», а второй — о «человечестве». Разрешая вечный вопрос о цели и средствах, оба они стремились представить свою власть как религиозное подвижничество: то, что для других — грех, для них — подвиг самоотречения [\[151\]](#).

2

Нищенствующий монах, объявивший себя реинкарнацией жившего полтора века назад джунгарского князя Амурсаны, враг Пекина и ойратский националист, мечтавший объединить под своей властью

населенные западными монголами территории, Джа-лама не скрывал и антирусских настроений. «Вы, русские, что? Камыш! Подожду, и вас не останется здесь, как нет и китайцев» — такую угрозу слышал от него казачий офицер Сокольников в 1914 году. Тогда же Джа-лама был арестован казаками в своей ставке близ Кобдо и увезен в Россию. Сначала его держали в томской тюрьме, оттуда перевели в Якутию, потом — опять в тюрьму, уже астраханскую; после Февральской революции он вышел на свободу, вновь объявился в Кобдоском округе и повел партизанскую войну с китайцами, но центральному правительству в Урге так и не подчинился. Как и Унгерна, монголы считали Джа-ламу существом сверхъестественным, чего он сознательно добивался для упрочения своего авторитета и чему немало способствовали его железная воля, актерский дар и умение выдать себя за человека, посвященного в таинства тантры.

Когда летом 1921 года Монголию заняли советские войска, Джа-лама с отрядом воинов и тремя сотнями данников ушел в Южную (Черную) Гоби, в предгорья Шацзюныпаня. Здесь он основал собственный хошун, по сути дела — независимое государство, гибрид разбойничьего лагеря и миниатюрной теократии. Средства добывались набегами на соседей и грабежом караванов. Пленников обращали в рабов, их руками Джа-лама строил уникальную для Монголии каменную крепость со стенами и башнями. Она получила название Тенпей-байшин и представляла собой причудливую смесь элементов тибетской, китайской и мусульманской архитектуры. Внутри располагались казармы, жилые и хозяйственные постройки, но сам Джа-лама предпочитал жить в юрте. Здесь, окруженный пустыней, горами, крепостными стенами и защищавшими его не менее надежно, чем стены,

мрачными легендами, он чувствовал себя в безопасности.

Пока Сухэ-Батор и его соратники делили между собой крохи той власти, что оставила им Москва, а московские эмиссары осваивались в неожиданно свалившейся им на голову огромной стране, в Урге было не до Джа-ламы, но затем взялись и за него. План операции разработал комендант Улясутая калмык Харти Кануков, кавалер ордена Красного Знамени, герой боев с Деникиным и Унгерном. В январе 1923 года служившие под его началом офицеры-монголы Дугорбэйсе и Нанзад в сопровождении трех цириков, которые были выданы за их слуг, прибыли в Тенпей-байшин, объяснив свой визит тем, что разочаровались в новом режиме. Они предложили Джа-ламе принять участие в заговоре против правительства Сухэ-Батора и застрелили его во время конфиденциальной беседы. Охрана разбежалась, никто не пришел ему на помощь, кроме любимой собаки. Подданных Джа-ламы тут же согнали на митинг и, как докладывал начальству Кануков, собравшиеся «не только изъявили покорность, но были очень рады освобождению от деспота-изверга».

Храбрый Нанзад когда-то воевал с китайцами под знаменем Джа-ламы и был хорошо с ним знаком, что не помешало ему вырезать и съесть сердце убитого, дабы завладеть его силой и мудростью. Отрубленную голову владыки Тенпей-байшина увезли в Улясутай, насадили на пику и выставили на базаре, чтобы исключить возможные слухи о его чудесном спасении.

Не стоит считать это чисто монгольской практикой; в том же 1923 году и с той же целью в Петрограде, в обращенной к Невскому проспекту витрине Елисеевского магазина была выставлена голова знаменитого бандита Леньки Пантелеева. Он погиб в перестрелке с сотрудниками угрозыска, но поскольку в

его смерть не верили, под этим грозным именем в городе скоро начали орудовать другие налетчики^[152].

Из Улясутая голову Джа-ламы отослали в Ургу, и, по легенде, Сухэ-Батор скончался в тот самый день, когда она прибыла в столицу. Там голова переходила из рук в руки, из канцелярии в канцелярию, пока не попала в исторический музей, разместившийся в Зеленем дворце умершего к тому времени Богдо-гэгэна. Оттуда она вскоре непонятным образом исчезла, но это уже ничем не грозило новым властителям Халхи. Не будь Джа-лама реинкарнацией Амурсаны, народное сознание нашло бы способ воскресить этого человека, вселив его дух в чье-нибудь тело, однако после того, как китайцы ушли, а с севера, провозгласив себя освободителями Монголии, явились красные, миф о «северном спасителе» был обречен на забвение.

В 1985 году Инесса Ломакина обнаружила пропавшую голову Джа-ламы в коллекции Музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. Мумифицированная по-монгольски, просоленная и подкопченная, с дырой от пики, она числилась экспонатом № 3394. Оказалось, в 1925 году студент Ленинградского университета Владимир Казакевич, в будущем известный монголист, нелегально вывез ее из Улан-Батора в запломбированном ящике, с сопроводительными документами от советского полпредства, разрешавшими провоз багажа без таможенного досмотра. В Ленинграде он сдал голову Джа-ламы в музей, где ее оприходовали как «Голову монгола», но с какой целью была проведена эта секретная операция, неясно. Скорее всего, причина заключалась в характерном для тех лет интересе к особенностям строения мозга неординарных личностей. Эти исследования поощрялись в связи с популярными в СССР нео-евгеническими идеями о возможности

«научными методами» создать «нового человека», однако до содержимого черепной коробки Джа-ламы ни у кого из таких специалистов руки так и не дошли^[153].

Спустя шесть лет после его смерти мимо Тенпей-байшина проходила экспедиция Рерихов, и Юрий Рерих осмотрел легендарный замок «хозяина» Гоби. Он был совершенно пуст и уже начал разрушаться.

Джа-лама заложил эту крепость не раньше лета 1921 года, когда на западе Халхи начались столкновения между остатками Оренбургской армии Бакича и отрядами Карла Некундэ (Байкалова). Белый генерал-черногорец пришел сюда из китайского Синьцзяна, краском-латыш — из Сибири. Именно тогда Джа-лама и откочевал в Гоби. Подобно беглому унгерновскому есаулу Тапхаеву, он, видимо, надеялся, что в конце концов «красные и белые дьяволы истребят друг друга», после чего наступит его звездный час. До этого ареной его деятельности был Кобдоский округ, а Унгерн ни разу не выезжал из Урги западнее Ван-Хурэ. Если в 1913 году их встреча могла и состояться, то сейчас они точно не встретились. Поначалу Унгерн питал иллюзии насчет возможности привлечь Джа-ламу к борьбе с красными и отправил ему пару писем, наверняка похожих на те, какие он рассылал многим племенным лидерам от Барги до Казахстана, но очень скоро понял, что это не тот человек, с кем можно иметь дело. Тем не менее сходство между ними было подмечено многими и позднее породило романтическую легенду о их своего рода посмертном свидании.

В 1935 году в харбинском журнале «Луч Азии» ее изложил некто Борис С.^[154], пополнив тот слой созданной русскими беженцами в Китае интеллигентской мифологии, где Унгерн был

центральной фигурой. Он, как главная опорная колонна, поддерживал своды этого призрачного мира.

История вложена в уста маньчжурского зверопромышленника Петра Сальникова, в прошлом — офицера Азиатской дивизии. О нем говорится как о человеке реально существующем, хорошо известном и фигурирующем под своим собственным, а не вымышленным именем, но это ровным счетом ничего не значит. В борьбе за немногочисленного читателя, невысоко ценившего правду художественную, тогдашняя эмигрантская беллетристика часто маскировалась под журналистику.

В зачине Сальников вместе с женой-монголкой принимает у себя гостей, в том числе автора, и за ужином рассказывает им феерический эпизод из своей жизни.

Завязка следующая: весной 1921 года, когда Азиатская дивизия двинулась в Забайкалье, Сальников с небольшим отрядом был оставлен охранять Ургу. Узнав, что Унгерн попал в плен, он решил вести отряд на восток, в Маньчжурию, но наткнулся на красных. В бою все его люди погибли, спасся лишь сам Сальников. Тяжело раненный, он был придавлен мертвой лошадью, поэтому его не заметили. Не в силах выбраться, он потерял сознание и очнулся уже ночью, почувствовав, что его куда-то везут. Кто? Куда? Ответа нет, Сальников опять впадает в беспамятство.

Дальше — временной пробел, отточие. Проходит месяц или немного больше, Унгерн уже казнен, красные давно заняли Ургу. Где находится Сальников, по-прежнему не известно, тем временем в монгольской степи объявляется расстрелянный в Новониколаевске барон. Его видят то в одном улусе, то в другом. Обычно под вечер, в сумерках, в полном одиночестве он медленно проезжает верхом возле юрт, не обращая внимания на потрясенных кочевников, иногда

направляет своего черного коня к ночным кострам, где греются пастухи, в ужасе падающие ниц при его появлении, молча присаживается к огню, потом вновь садится в седло и пропадает в темноте. Слух о воскресшем Боге Войны мгновенно облетает всю Монголию. Очевидцы, среди которых немало тех, кто совсем недавно служил в войсках Унгерна, клянутся, что это, несомненно, сам барон, в точности такой, как прежде, лишь с необыкновенно белым потусторонним лицом.

Спустя какое-то время в Урге, в казармах расквартированных там красномонгольских частей, происходит несколько загадочных убийств. Они следуют с промежутками в два-три дня. Все убитые — монголы, все так или иначе причастны к пленению Унгерна, и все гибнут одинаково: ночью их закалывают кинжалом. Орудие убийства всякий раз остается в теле мертвеца, причем к рукояти прикреплена записка с одним и тем же текстом: «Предателю от ожившей жертвы». Комиссар «монголо-советской дивизии» Моисей Коленковский^[155] смеется над суеверным страхом подчиненных, в оживающих покойников он не верит и пытается найти убийц, но однажды утром его самого находят мертвым. Комиссар заколот в собственной постели, на рукояти кинжала, всаженного ему в грудь, обнаруживается записка с теми же словами. Эта смерть — заключительный аккорд. Месть свершилась, отныне призрак барона исчезает навсегда.

Теперь наконец выясняется, что раненого Сальникова подобрали люди Джа-ламы и увезли в Тенпей-байшин. Там Джа-лама заметил, что этот офицер внешне очень похож на Унгерна — у него такие же опущенные вниз рыжеватые усы, тот же тип лица, которое, будучи натерто мукой, приобрело оттенок мертвенной бледности. Идея принадлежала Джа-ламе,

его люди и отомстили предателям, а сам Сальников успешно сыграл роль привидения. Выполнив свою миссию, он возвращается в Тенпей-байшин, где его ждет прекрасная дочь Джа-ламы. Она ухаживала за ним, раненым, они полюбили друг друга.

Комедия масок завершается идиллией. Закончив рассказ, Сальников уже в новом качестве представляет гостям хозяйку дома: оказывается, она и есть та самая дочь Джа-ламы. Получив благословение страшного хозяина Гоби, Сальников увез ее в Харбин, она приняла православие и стала его верной женой.

В рассказе Бориса С. месть Джа-ламы без затей объясняется тем обстоятельством, что и он, и Унгерн — враги красных. Однако их роднило и другое — при том, что оба считали себя буддистами, кровь на лепестках буддийского лотоса казалась им чем-то вполне естественным и отнюдь не противоречащим самому духу «желтой религии».

РЕЖИМ

1

Однажды Алешин наблюдал, как сподвижник Унгерна, князь Мерен Дугарчжаб (Дугар-Мерен), наказывает своего провинившегося всадника: «Дверь юрты открыла чья-то невидимая рука, и мы увидели снаружи небольшую группу людей. Дугар-Мерен по-прежнему спокойно восседал на своей подушке. Тот же самый человек, который недавно докладывал ему (о монголе, загнавшем коня. — *Л. Ю.*), вновь на коленях вполз в юрту, держа руки так, словно готовился что-то получить. Когда он приблизился к Дугар-Мерену, князь торжественно положил ему в протянутые руки черный лакированный ящичек, и человек также на коленях, пятясь задом, пополз обратно. У входа в юрту он сел на землю, открыл ящичек, достал оттуда какую-то завернутую в материю вещь и начал медленно разворачивать ее. Вначале он снял слой синего шелка, потом — красного и, наконец, желтого. На свет явилась бамбуковая палка. Отполированная, она блестела, как некий священный предмет. По внутренней ее стороне, которой наносится удар, тянулась вырезанная полая бороздка (для стока крови. — *Л. Ю.*)».

Князь наблюдал за экзекуцией не вставая с места, сквозь открытую дверь юрты. Виновного разложили на земле прямо перед входом, он получил всего пять ударов, но спина его была в крови. Экзекутор «вытер бамбук, тщательно отполировав его халатом жертвы, и вновь медленно завернул палку сначала в желтый, после — в красный и синий шелк; ящичек был закрыт и с прежними церемониями возвращен Дугар-Мерену».

У экзекуторов Азиатской дивизии «бамбуки» были березовые или камышовые, их не хранили в лакированных пеналах, не обматывали шелками разных цветов — от нейтрального синего до священного желтого, непосредственно покрывающего этот атрибут княжеского сана, но пороли с восточной изобретательностью, нередко забивая человека насмерть. На смену патриархальной казачьей нагайке пришли куда более разнообразные и экзотические методы поддержания воинской дисциплины.

Собственно нагайки в дивизии были упразднены, их место занял монгольский ташур — специфическая плет с несколькими длинными, ременными или плетеными хвостами на довольно коротком деревянном черне дюймовой толщины («в два пальца»); к другому его концу крепилась петля для подвески к седлу или дверной притолоке^[156]. Однако погонщики верблюдов пользовались только чернем, без самой плети. Такая палка с темляком на рукояти и небольшим утолщением на ударном конце достигала в длину полутора аршин (около метра). Именно эту разновидность ташура Унгерн сделал обязательной принадлежностью экипировки офицеров и всех вообще всадников некоторых привилегированных частей.

В парадном строю всадник, сидя в седле, должен был нижним концом упереть ташур в левое стремя, а на верхний положить руку. В походе предписывалось употреблять его вместо нагайки, но для лошадей он не слишком годился и по сути дела не имел практического применения. Ташур был отличительным знаком принадлежности к касте избранных и при этом, подобно прообразу всякого державного жезла, являлся орудием наказания. Существовал даже глагол «ташурить», то есть пороть ташуром. Отношение к этой бесполезной и неудобной палке в дивизии было резко отрицательным,

но роптать никто не смел, пока в августе 1921 года не вспыхнул мятеж. После убийства Резухина офицеры и казаки его бригады первым делом избавились от ненавистных ташуров — они были свалены в кучу и под крики «ура» торжественно сожжены как символ свергнутого режима.

Унгерн почти никогда не расставался с ташуром, ставшим, по словам Князева, «одной из существенных причин развала всего дела барона и гибели его самого». Лыстецы сравнивали его ташур с дубинкой Петра Великого, который тоже был скор на расправу. Если Унгерну казалось, что кто-то игнорирует его приказы или проявляет недостаточное усердие, он «налетал как шквал» и несколькими быстрыми ударами ташура сшибал виновного с коня. Ташур был тяжелым, рука у барона — тоже нелегкая. При этом бил он обычно по голове, зачастую разбивая ее в кровь. Бывалые унгерновцы советовали новичкам на всякий случай класть в шапку или под донце фуражки толстую рукавицу на меху. Этот оригинальный способ сделать удары ташура менее болезненными и не опасными для жизни был позаимствован у монголов. Они издавна использовали его для защиты от гнева китайских чиновников.

Публичное избиение не только солдат и казаков, что принято было и в семеновских частях, но офицеров, до полковников включительно, стало единственным прецедентом такого рода за все годы Гражданской войны. Унгерн любил оправдывать свою жестокость ссылкой на «обычаи Востока», но здесь это объяснение не срабатывало: у монголов со времен Чингисхана старший нойон мог приговорить младшего к смерти, но не унижить его физическим наказанием.

По Князеву, Унгерн бил ташуром «в минуты высшего напряжения своей начальнической энергии или же почти отчаяния, что никто его не понимает, никто не

проявляет должной жертвенности, и видя вокруг себя только шкурный интерес». Это комплиментарное оправдание привычки разбивать головы подчиненным не стоит принимать всерьез. Поплатиться можно было за пустяковую оплошность. Хитун, например, пострадал за то, что, имея Унгерна пассажиром, слишком близко подъехал на автомобиле к предназначенному для дивизии табуну и напугал лошадей ревом мотора. Подлинными причинами той легкости, с какой Унгерн пускал в ход свой ташур, были обостренная постоянным нервным напряжением психическая неуравновешенность и отношение к своим офицерам и всадникам как к «сброду», который другого языка попросту не понимает. Впрочем, если при угрозе получить ташуром по голове кто-то из офицеров хватался за револьвер, Унгерн отступал и в дальнейшем с уважением относился к таким смельчакам [\[157\]](#).

В беседе с Тизенгаузеном, как ее передает Голубев, он говорил, что в его окружении «одни — жулики, другие — пьяницы, третьи — развратники, четвертые — уголовные преступники, пятые — вздорные люди или просто дураки», и «моральная чистота им не знакома». Барон уверял собеседника, что «всей душой» ждет того момента, когда на русской территории сможет «пополнить дивизию элементом чистых светлых людей», а из нынешних ее бойцов «не оставить ни одного человека», ибо они годятся лишь в качестве «тарана для разрушения». Предполагалось, что для управления этими новыми «светлыми людьми» ташур уже не понадобится.

Другим обычным наказанием было «сажание на крышу». Неизвестно, кто подсказал Унгерну этот оригинальный способ карать виновных, но точно не монголы. Скорее всего, однажды он употребил его по вдохновению, а затем ввел в систему. «Любопытную

картину представляла в то время Урга. В районах расположения воинских частей тут и там по крышам домов разгуливали, стояли и сидели офицеры. Некоторые просиживали там по месяцу», — вспоминал Макеев.

Это наказание было дисциплинарным, применялось в основном к офицерам и являло собой нечто среднее между заключением на гауптвахте и выставлением у позорного столба. Правом прибегать к нему обладали только сам Унгерн и Резухин. Першин, проходя мимо здания штаба, не раз видел на крыше «десятки людей, ровно стаю голубей». Они «жались друг к другу, кутались в халаты, чтобы как-то спастись от холода, а скользкая и крутая крыша усугубляла их мучения». Пьяных привязывали к трубе, чтобы не упали и не покалечились. Легче приходилось тем, кто попадал на плоские земляные кровли китайских фанз. Одежд не полагалось, пищу раз в день подтягивали в корзине на веревке, но пронырливые вестовые ухитрялись доставлять своим офицерам все необходимое, от теплых вещей до алкоголя. Наказанные были молоды, жизнь брала свое, и «нередко с крыши неслась залихватская песня».

Некоторые приговаривались к сидению без пищи и воды, однако за исполнением таких приговоров никто не наблюдал, и если товарищей по оружию поблизости не было, среди горожан обязательно находились такие, кто за скромную плату или по доброте душевной снабжали страдальцев провизией. Угодивший на крышу Хитун сидел вместе с юным монгольским князем, пропившим выданные ему на агитацию в кочевьях казенные деньги. Пьяный, он катался по Урге на автомобиле, одной рукой обнимая сидевшую рядом «даму», а другой гордо поднимая национальный флаг. Древком этого флага князь был выпорот и отправлен на крышу. Третьим в их компании оказался артиллерист,

чьи батарейные верблюды загадили священную землю возле Ногон-Сумэ. Всех троих бескорыстно подкармливал штабной повар-китаец. Он украдкой бросал им то хлеб, то вареный картофель, и Хитун, вспоминая жестокость своих китайских тюремщиков, размышлял о том, «какие бывают различные китайцы».

Гораздо страшнее, чем голод и жажда, были мороз и пронзительный ветер без малейшей возможности от него укрыться. Зимой простужались, обмораживали пальцы на руках и ногах, а сотник Балсанов, опальный любимец Унгерна, умер от полученной на крыше пневмонии. В летний зной сидение на раскаленной железной крыше становилось настоящей пыткой, но бежать никто не решался — это уже считалось дезертирством. Все были парализованы страхом перед «дедушкой», и единственным человеком, кто ночью не побоялся слезть с крыши и удариться в бега, стал не офицер, а обвиненный в финансовых махинациях старшина мусульманской общины Сулейманов, на пару с которым Першин после взятия Урги посетил ставку барона.

В лесистой местности вместо крыш использовались деревья. Во время привалов наказанные просиживали на ветвях по несколько часов, а иногда и с вечера до утра. Если бивак разбивали надолго, деревья вокруг лагеря были усеяны скрючившимися фигурками. Однажды «на кустах» очутился весь штаб дивизии, включая Макеева, вспоминавшего об этом не без умиления оригинальностью начальственных причуд: «Сидеть было тяжело, в мягкую часть впивались сучья, ветер покачивал ветки, а перед глазами был шумный лагерь, откуда кучки людей с любопытством наблюдали новую позицию, занятую штабом». Все это было вовсе не так весело, как по прошествии многих лет представлялось ностальгирующему по временам молодости Макееву. Полковник Львов, один из

последних в длинной череде начальников штаба Азиатской дивизии, во сне упал с высоты на землю, сильно расшибся и чудом остался жив.

В степи провинившихся зимой сажали на лед, не разрешая разводить костер на тридцатиградусном морозе, летом ставили без оружия в тысяче шагов от лагеря. Такие меры воздействия, включая порку, Унгерн признавал нормальными, говорил о них спокойно и сравнивал себя с Николаем I и Фридрихом Великим — тоже сторонниками палочной дисциплины. Однако его прихотливая фантазия во всем, что касалось казней и экзекуций, их поразительное разнообразие, строгая классификация вплоть до «смертной казни разных степеней», индивидуальные кары для того или иного грешника — от перетягивания на веревке через ледяную реку до сожжения заживо, все это вызывает в памяти не прусского короля и не российского императора с их ранжирами и шпицрутенами под барабанный бой, а тени властителей тех отдаленных эпох, которые Унгерн считал золотым веком человечества.

2

Волков пишет: «Тысяча с небольшим русских и монголов побеждают 13-тысячную, хорошо вооруженную китайскую армию, захватывают громадные запасы продовольствия и вооружения, берут столицу Монголии, где сосредоточены сотни белых, для которых возвращение на родину возможно только с оружием в руках. Впереди — родина, здесь — страна, в несколько раз превышающая площадью Францию. Ее население боготворит имя русского, степи изобилуют скакунами, баранами, быками. А что нужно всаднику-партизану? Конь, трава, мясо. Успех казался и был

возможен. Необыкновенный подъем охватывает белых, но Унгерн, вождь нарождающегося движения, в корне задушил его».

Не будь Унгерна, рассеянные по Монголии бывшие колчаковцы вряд ли сумели бы организовать в сколько-нибудь значительную силу, но вот насчет «необыкновенного подъема», быстро сошедшего на нет — все верно. Беженцы и офицеры разгромленных сибирских армий с энтузиазмом встретили появление барона под Ургой, однако восторги быстро прошли, надежды сменились недоумением, разочарованием и озлобленностью. Позднее, оказавшись в эмиграции, эти люди наперекор общему мнению утверждали: «Мы, белые, должны радоваться его гибели».

Павел Милюков назвал четырехмесячное пребывание Унгерна в Урге «самой удручающей страницей в истории Белого движения». Чтобы так сказать, у него были все основания. Он мог бы доказать это с фактами в руках, ибо в течение многих лет вырезал из газет и хранил в своем архиве воспоминания участников и свидетелей монгольской эпопеи барона [\[158\]](#).

Унгерн не был всего лишь логическим завершением «уродливого явления атаманизма», как полагал Волков. Его пламенный монархизм — это форма бунта против общества, идеи вселенского порядка — род наркотика, позволявшего переступать, не замечая, те кажущиеся ничтожными по сравнению с высотой цели нравственные барьеры, перед которыми в годы Гражданской войны в нерешительности останавливались носители более скромных по размаху идеологий, будь то эсеры или строители единой и неделимой России. Недаром современники, описывая установленные им порядки, прибегали к слову «эксперимент» — ключевому понятию любой

социальной утопии, черпает ли она свой идеал в будущем или в прошлом.

Хилиастическое ожидание мировой катастрофы, космополитические планы, замешенные на ненависти к буржуазному Западу и отношении к России как элементу наднациональной конструкции, ставка на мистически идеализируемую силу, которая из ничего должна стать всем и построить новый мир на развалинах старого — всё это кажется зеркальным отражением марксизма. Правда, в отличие от большевистских деятелей, Унгерн был политическим идеологом и военным вождем в одном лице. Емельян Ярославский, сам будучи мыслителем ничуть не более тонким, высмеивал его «примитивный монархизм» и «скудный белогвардейский антураж», но степень разработанности любой революционной теории всегда прямо пропорциональна дистанции, отделяющей ее создателей от поля не умогласительного, а настоящего боя.

«Как ни странно, — замечает Волков, — многое, очень многое перенял Унгерн у своих смертельных врагов. Но все перенятое преломляется им сквозь призму собственного «я». Большевики брали заложниками семьи, и у Унгерна семья — жена, дети, родители, родственники — отвечает за преступление одного из ее членов. Как большевики, Унгерн не признает торговли, промышленности. Все должно сосредоточиваться в его интендантстве. Мужчины должны служить в отряде, женщины — во всевозможных швальнях, прачечных и т. д. Все переводятся на паек. Унгерн блестяще усвоил большевистский принцип: кто работает, тот ест. Причем работой считается только служба в его отряде, «в армии». Все прочее неслужилое гражданское население является ненужным досадным придатком, который уничтожить, к сожалению, невозможно». Сомнительна

здесь разве что идея заимствования — у большевиков Унгерн ничего не перенимал, просто режим диктатуры при манихейской картине мира и ограниченных ресурсах неизбежно вызывал к жизни политику одного типа.

Полностью запретить частную торговлю Унгерн не решился, но, подобно якобинцам, в интересах беженцев из России и собственных солдат установил твердый максимум цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Цены назначили настолько низкие, что свободная торговля практически прекратилась, никто не хотел торговать себе в убыток. Зато некоторые из соратников барона, пользуясь всеобщим страхом, который внушало его имя, закупали партии товаров по твердым ценам, а затем перепродавали по более высоким. Спекуляция процветала, как в России при военном коммунизме, считалась таким же смертельным преступлением и точно так же была неискоренима.

При командирах Красной армии состояли военспецы из кадровых офицеров, и Унгерн практиковал аналогичную систему. Полками и сотнями командовали преданные лично ему люди, а в качестве советников к ним приставлялись мобилизованные в Урге опытные колчаковские офицеры. Они руководили боевыми операциями под присмотром своих начальников. Есаул Хоботов, в прошлом извозчик, имел в помощниках фронтовика и георгиевского кавалера полковника Костери-на, бывший шофер Линьков — подполковника Генерального штаба Островского и т. д. Когда Резухин назначил ротмистра Забиякина командиром полка, Унгерн не утвердил это назначение, сказав: «Больно грамотен».

В доверительной беседе с ним Тизенгаузен предложил сместить всех пришедших из Даурии командиров, заменив их офицерами, занесенными в Ургу «волей судьбы». Унгерн отказался это сделать,

мотивируя свой отказ тем, что эти люди «недостаточно бессердечны» и не в состоянии будут наводить ужас. «Ужас был необходим, — замечает рассказавший об этом разговоре Голубев, — его банду можно было удержать в повиновении лишь сплошным ужасом».

С даурских времен в дивизии существовали осведомители, доносившие о настроениях среди казаков и офицеров, но теперь к старым шпионам прибавились новые. Даже в госпитале за разговорами раненых следили доктор Клинггенберг и его любовница, сестра милосердия Шевцова. Оба были доверенными людьми Сипайло.

3

При Унгерне в Урге действовало древнее правило, известное со времен римских проскрипций: доносчик получал третью часть имущества тех, кого казнили по его доносу. Остальное поступало в интендантство. Нарушившие этот неписаный порядок карались смертью. Так был повешен оптик и часовщик Тагильцев; вина его состояла в том, что по просьбе жены своего друга, расстрелянного владельца кузницы Виноградова, он спрятал у себя принадлежавшие покойному ценности, чтобы уберечь их от конфискации. Соответственно имущество самого Тагильцева тоже перешло в интендантство и вместе с другим конфискатом распродавалось по дешевке всем желающим^[159].

На одной такой распродаже неопытный Хитун купил теплую рысью куртку, соблазнившись ее дешевизной. О происхождении этой куртки он понятия не имел и был потрясен, когда хозяин квартиры сообщил ему, что видел ее на повешенном часовщике — в ней тот и висел на воротах собственного дома. «Я посмотрел на сразу

ставшую ненавистной куртку и расстроился», — вспоминал Хитун. Его утешил товарищ, сказавший: «Все картежники только и мечтают о возможности приобрести хоть кусок веревки от удавленника, приносящий удачу и выигрыш, а у вас целая пушистая теплая куртка — это же гора счастья!» Аналогия не вполне корректна, тем не менее Хитун, постоянно терзаемый невеселыми мыслями о будущем, почувствовал, как эти «легкомысленные» слова отозвались в нем «суеверной надеждой на спокойную и счастливую жизнь впереди». Портной перекрыл кожей наружный мех куртки, после чего горожане «перестали испуганно таращить глаза» на ее нового владельца.

Другие, менее совестливые, охотно приобретали за бесценок вещи казненных. Появились охотники за богатыми людьми. Чтобы подвести их под расстрел и получить положенную долю имущества, применялся следующий способ: купца, не желавшего торговать по новым правилам и приберегавшего товар до лучших времен, уламывали продать что-либо по ценам выше максимума, а затем доносили об этом в штаб дивизии или в комендатуру. Оправдаться было трудно; Унгерн с подозрением относился к жившим в Монголии русским купцам и промышленникам, не без оснований считая их жуликами, разбогатевшими на обмане монголов. «Честному человеку и у себя на родине можно хорошо прожить», — говорил он.

Соглядатаи, приставленные к столичным коммерсантам, ловили их на запрещенных торговых операциях, просто на неосторожно оброненном слове. Такие приемы открывали простор для вымогательства, позволяли пополнять дивизионную казну и поощрялись если не самим Унгерном, то его приближенными. Последние брали с непосредственного доносителя процент в свою пользу. Известный всей Монголии скупщик пушнины Носков, доверенное лицо лондонской

фирмы Бидермана, был обвинен не кем иным, как Сипайло, в результате получившим 15 тысяч долларов отчислений с выручки за имущество Носкова и фирмы.

С началом Первой мировой войны в Европе стал популярен мех тарбагана, недорогой и практичный. На западном пушном рынке Бидерман считался «королем сурка». Носков начал у него службу простым возчиком и дослужился до главного резидента. Это был маленький щуплый человечек, фанатически преданный своему английскому хозяину. За прижимистость, склонность к обману и привычку чертыхаться монголы прозвали его *орус шорт* — «русский черт». Под этим прозвищем он был известен всей Урге; в городской телефонной книге с фамилиями абонентов значилось: «Орус шорт, так называемый Носков». Каждый день с раннего утра, в любую погоду он появлялся на Захадыре и скупал всё, что мог купить у монголов, безбожно при этом торгуясь и ругаясь. Весь базар был у него в руках. О нем говорили: «После Носкова на рынке не пообедаешь».

Когда в Азиатской дивизии возникли финансовые трудности, Носкова сделали дойной коровой. У него несколько раз требовали крупные суммы якобы займы. Отказать было нельзя, он давал, но однажды не утерпел и в сердцах выложил все, что думает о бароне и его компании. В тот же день Сипайло предъявил ему обвинение в большевизме, предложив откупиться за 50 тысяч долларов. Носков заявил, что наличных денег у него нет, тогда приступили к пыткам. Его жгли раскаленным железом, подвешивали за пальцы к потолку, изрубили «бамбуками» так, что мясо клочьями свисало со спины, на ночь бросали в подвал с неубранными трупами, но ничего не добились — где спрятаны деньги, Носков не сказал. На восьмой день пыток он сошел с ума и был застрелен. Труп выбросили на свалку возле Сельбы.

Пушнину со складов продали за копейки, но на дома, составлявшие собственность фирмы Бидермана, покупателей не находилось. Гарантиям Унгерна не доверяли, поскольку не верили в прочность его власти; никто не хотел приобретать недвижимость у продавцов, которые не имели на нее прав. В конце концов эти дома силой навязали нескольким ургинским купцам. Отказаться — значило подписать себе смертный приговор. Ходили слухи, что в число покупателей Унгерн включил и Сипайло, таким образом наказав его за неудачу с Носковым.

Сам барон историю преступления и гибели «орус шорта» излагал иначе. Когда они с Оссендовским на автомобиле ехали к радиостанции на горе Мафуска, Унгерн, указав в сторону от дороги, сказал: «Здесь стояла юрта богатого монгола, поставщика русского купца Носкова. Этот Носков был ужасный человек и заслуженно носил прозвище «черт». Китайские власти секли беспощадно его должников-монголов и сажали их в тюрьму. Так был разорен и монгол, о котором я говорю. У него отобрали все, что он имел, после чего он перебрался отсюда миль за тридцать, но Носков разыскал его и там и захватил остатки имущества и скота, обрекая его самого и семью на голодную смерть. Когда я занял Ургу, ко мне пришел этот монгол в сопровождении еще тридцати разоренных Носковым людей; они требовали его смерти. Я повесил «черта».

Заботой о монголах можно было оправдать смерть Носкова, но никак не убийство боготворимого ими ветеринара Гея, которого заподозрили в связях с большевиками и сокрытии денежной кассы Центросоюза (донос оказался ложным). По приказу Унгерна убийцы нагнали его в сопках, когда он вместе с семьей выехал из Ван-Хурэ, и повесили на придорожной сосне. Жену, тещу и трех маленьких дочек задушили.

Расправа с ними была продиктована не просто желанием избавиться от свидетелей. Родственники казненных по обвинению в большевизме тоже подлежали смерти. Жену и дочерей доктора Цыбиктарова, убитого сразу после взятия Урги, ждала участь семьи Гея, если бы за них не вступился сотник Балсанов, любимец Унгерна. Известного своей храбростью офицера Азиатской дивизии расстреляли только за то, что его живший в Харбине брат имел там какие-то контакты с большевиками. Подобное случалось и у красных, и у белых, но даже негласно не было узаконено ни теми, ни другими. Все зависело от конкретных людей, и колчаковцы в Екатеринбурге оставили на свободе Эстер Юровскую, мать убийцы Николая II и его семьи, а Каландаришвили и Строд, захватив родную станицу Семенова, не тронули ближайших родственников атамана.

Когда в плену на допросе Унгерна спросили, для чего в Забайкалье семьи сельских активистов уничтожались поголовно, включая малолетних детей, он ответил попросту: «Чтобы не оставлять хвостов». Впрочем, в другой раз, отменяя упрек в терроре по отношению к невинным, заявил, что убийство членов семьи за преступление, совершенное ее главой, «это не террор, а обычай Востока». Однако ссылка на восточные обычаи была не более чем попыткой набросить флер на политику устрашения и возмездия. Ни одна сколько-нибудь продолжительная лагерная стоянка Азиатской дивизии не обходилась без казней. «Земля крови просит», — приводит Аноним присловье, которое, по его словам, любил и часто повторял Унгерн.

Об одном специфическом способе устранения неугодных рассказал Волков: человеку приказывали доставить в какую-нибудь часть, обычно туземную, запечатанный пакет, где содержался его собственный смертный приговор. Этот способ применялся в тех

случаях, если требовалось убрать кого-то без лишней огласки. Так погиб отправленный в Тибетскую сотню полковник Зезин, адъютант и друг генерала Ефтина, после взятия столицы предложившего Першину спрятать зубного врача Гауэра. Ефтин позволял себе во всеуслышание осуждать действия барона, и Зезин, вероятно, придерживался тех же убеждений. Самого Ефтина защищали генеральские погоны; по одним сведениям, Унгерн спровадил его в Маньчжурию, по другим — он умер в Урге при неудачной операции, сделанной доктором Клингенбергом^[160]. Зато бежавший в Монголию из советского концлагеря под Красноярском подполковник Яхонтов, 24-летний боевой офицер, обладатель золотого оружия, тоже протестовавший против ургинских насилий, был убит без затей — его задушили во время допроса.

Многих беженцев из России погубили найденные у них документы с печатями советских учреждений. Такие бумаги получали за взятку, иначе не стоило и думать о том, чтобы добраться до монгольской границы. Жена Торновского в Иркутске обзавелась удостоверением от политотдела 5-й армии, якобы командировавшего ее в Троицкосавск. Перейдя границу, она немедленно порвала свой пропуск, но не все были так предусмотрительны; некоторые забывали избавиться от компрометирующих документов. Если бы в доме Торновского нашли удостоверение жены, он, по его словам, «не писал бы свои воспоминания».

Лишь маниакальным убеждением Унгерна в тайной виновности всех и каждого можно объяснить тот факт, что при нем погибла примерно десятая часть трехтысячного русского населения Урги. Более лояльные ему мемуаристы уменьшают это число втрое, говоря приблизительно о сотне жертв, но сюда нужно еще прибавить убитых в Улясутае и других местах. В

любом случае цифра, казалось бы, в сравнение не идет с количеством жертв ЧК в любом регионе России, но в относительном исчислении процент весьма высок. Как обычно при Большом терроре, его изначальные цели скоро забылись, и со временем он начал черпать оправдания в самом себе: очередное убийство становилось объяснением предыдущего и доказывало необходимость следующего.

За все четыре месяца, пока Азиатская дивизия находилась в Урге, там не было создано даже подобия суда, приказы о казнях и экзекуциях отдавались преимущественно устные. В столице хотя бы поддерживался относительный порядок, но в *худоне* (провинции) мародерство стало нормой, отряды бароновцев угоняли у монголов скот, грабили, насиловали, и Унгерн при всем желании бессилён был с этим справиться. Есаул Тапхаев, отправленный утвердить его власть на севере Халхи, оставил за собой сотни трупов, в итоге Унгерн приказал его убить и даже назначил крупное вознаграждение за его голову, которое, впрочем, так никому и не досталось.

ВЛАСТЬ И БЕССИЛИЕ. ПОЧВА КОЛЕБЛЕТСЯ

1

Сразу после ухода китайских войск с необычайной для монголов оперативностью, стоившей Унгерну немало трудов и нервов, было создано Монгольское правительство под верховной властью Богдо-гэгэна. Первым своим указом оно аннулировало все долги туземного населения китайским кредиторам и провозгласило восстановление автономии — с оговоркой, что Монголия будет управляться самостоятельно вплоть до реставрации маньчжурской династии в Китае. Впрочем, декларация, направленная в Пекин, президенту Сюй Шичану, была более дипломатичной: в ней выражалась готовность признать власть Китайской республики при условии сохранения автономии, а изгнанные китайские генералы объявлялись общими врагами монголов и Пекина. В этой декларации даже отъезд Чэнь И из Урги трактовался как его похищение мятежными Го Сунлином и Чу Лицзяном.

Новое правительство, как и уничтоженное Сюй Шучжэном в декабре 1919 года, состояло из пяти министерств: иностранных и внутренних дел, финансов, юстиции и военного. Последнее возглавил только что вышедший из тюрьмы Хатон-Батор Максаржав. Премьер-министром стал влиятельный перерожденец Джалханцза-хутухта, один из немногих среди высшего ламства монголов, к тому же чингизид, представитель династии тушету-ханов. С прошлой весны он

отсиживался в монастыре и не запятнал себя сотрудничеством с гаминами. Джалханцза имел кое-какой опыт светской политики; шесть лет назад он участвовал в Кяхтинской конференции, где добивался присоединения к Халхе соседнего Урянхая. Вероятно, поэтому русские дипломаты считали его самым способным из государственных деятелей Монголии. Ставший его заместителем выдающийся философ Маньчжушри-лама пользовался огромным авторитетом, но в мирских делах разбирался плохо и нечасто покидал свою обитель на вершине Богдо-Улы. Всеми делами в министерствах заправляли чиновники старой цинской выучки. Для присмотра за ними и за членами кабинета Унгерн ввел в состав правительства своего верного Джамба-лона, получившего пост министра без портфеля.

Сам Унгерн, осуществив мечту Семенова о должности «главковерха» при Богдо-гэгэне, стал главнокомандующим Монгольской армией, которая пока что состояла из Азиатской дивизии и отрядов монгольских князей. Формально главком подчинялся военному министру, но, разумеется, никому в голову не приходило, что Максаржав будет отдавать Унгерну приказы, а тот — послушно их выполнять. На первых порах барон сосредоточил в своих руках всю полноту военной и гражданской власти. «Богдо-гэгэн обособился в своем дворце, остальная Урга жила и дышала только Унгерном», — вспоминал Першин.

Экономическую политику правительства направляли двое русских советников — тесть Волкова, барон Витте^[161], и бывший глава ургинской конторы Центросоюза Иван Лавров. После взятия Урги он попал в проскрипционные списки, но ему повезло. Когда его вели на расстрел мимо штаба дивизии, он вбежал туда на глазах оторопевших от такой наглости конвойных и,

наткнувшись на самого Унгерна, которого по близорукости не узнал (очки у него разбились при аресте), возмущенно заговорил с ним в повышенном тоне. Это его и спасло — барон ценил смелых людей. По другой версии, за Лаврова ходатайствовали китайские коммерсанты, а также трое ургинских баронов — Витте, Тизенгаузен и Фитингоф, знавшие его как опытного финансиста. После беседы с ним Унгерн поручил ему помочь монголам в финансовой и налоговой неразберихе. Он настолько нуждался в профессиональном опыте Лаврова и Витте, что прислушивался к их просьбам за арестованных русских и даже евреев.

Уже к началу весны Лавров организовал выпуск первых монгольских ассигнаций^[162]. При расчетах они получили преимущество перед весовым серебром и перед серебряным китайским долларом, хотя их внешний вид оставлял желать лучшего. «Эти банкноты, — вспоминал Першин, — являли собой печальное зрелище. Напоминали они лубочные картинки, вышедшие из самой захудалой типографии, но монголам льстило, что на деньгах изображены их домашние животные». Купюру достоинством 10 янчанов (долларов) украшал баран, 15 — верблюд, 25 — бык, 50 — лошадь. Для обеспечения их золотом Лавров собирался возобновить разработку заброшенных золотых приисков в горах Хэнтея. Предполагались создание национального банка и чеканка монеты, о чем Унгерн мечтал еще в Даурии.

«На монгол я особенно не жал, — говорил он на допросе в плену, — и в их работу старался не вмешиваться. Помогал лишь советами, ибо они очень медлительны в своих действиях, и если ищешь пользы дела, то их приходится всегда раскачивать». Его советы часто носили ультимативный характер, но он искренне

стремился к укреплению Монголии не только как базы Азиатской дивизии, но и как независимого государства. Даже Голубев, относившийся к нему резко отрицательно, признавал, что барон хотел видеть Монголию «правлящей, а не униженной Востоком и Западом», ибо страна, «давшая Чингисхана», не может «сойти с политического горизонта, а должна постепенно приходить к прежнему величию».

Оссендовский, приписывая Унгерну роль европейского цивилизатора, сообщает, что барон приказал прорыть вдоль улиц сточные канавы, провел телефонную связь, наладил автобусное сообщение между центром Урги и Маймаченом, возводил мосты, строил ветеринарные лаборатории, школы и больницы. На самом деле он главным образом лишь восстанавливал разрушенное или пришедшее в упадок, для более солидных проектов у него не было времени. При нем, правда, бригады из пленных гаминов очистили сроду не знавшие метлы столичные улицы. Другим новшеством стал скипидарный завод — скипидаром рассчитывали заменить стремительно убывающие запасы бензина для автомобилей. Вообще война вдохнула новую жизнь в принадлежавшие выходцам из России и зачахшие при китайцах мастерские, швальни, полукустарные заводи. В невиданных для Монголии масштабах здесь шилось обмундирование русско-восточного образца, «строилось» шелковое белье, тачались сапоги, изготавливались трафареты для погон, полковые значки, знамена. В перспективе это производство должно было обслуживать Монгольскую армию, о создании которой мечтал Унгерн.

Торновский пишет, что ее численность планировалось довести до ста тысяч. Эта цифра фигурировала в его докладных записках Унгерну, никак им не оспаривалась и, следовательно, считалась вполне реальной. Между тем по первой переписи населения,

проведенной в 1919 году, по заданию Центросоюза меньшевиком Иваном Майским (Ляховецким)^[163], на территории Внешней Монголии проживало всего 492 тысячи человек, причем более 40 процентов мужчин составляли ламы. Лишь поголовная мобилизация всех остальных, включая стариков и детей, дала бы желанную сотысячную армию. Унгерн или не знал этих данных, или, что вероятнее, в первые недели после взятия Урги еще надеялся быстро объединить в одно государство Халху и Внутреннюю Монголию. Тогда приводимая Торновским цифра уже не представляется фантастической.

Для подготовки офицеров открыли военное училище. Начальником стал полковник Лихачев, буян и пьяница, во хмелю развлекавшийся тем, что шашкой рубил на улицах бродячих собак. Он избивал юнкеров, среди которых были отпрыски знатнейших княжеских фамилий, те подали жалобу. Наконец Сипайло по приказу Унгерна задушил Лихачева; его место занял прапорщик Толмачев из бывших вахмистров, служивший инструктором в монгольских частях еще до Первой мировой войны. При нем до лета 1921 года училище успело выпустить около сотни офицеров.

Хуже обстояло дело с их подчиненными. По настоянию Унгерна правительство Джалханцза-ламы объявило частичную мобилизацию, но добиться, чтобы Богдо-гэгэн утвердил этот указ, оказалось много труднее. Когда наконец согласие было получено, хошунные и аймачные начальники пригнали в Ургу требуемое количество людей. Однако, как и следовало ожидать от монголов, веками унижений приученных не опротестовывать неудобные приказы, а выполнять их по-своему, одна часть новобранцев оказалась физически непригодна к военной службе, другая — заражена сифилисом (бытовой сифилис был бичом

Монголии). Их возвращали и требовали замену; все это осложнялось монгольской «медлительностью», на которую не напрасно сетовал Унгерн. В конце концов стали хватать первых попавшихся — тех, кто приехал в Ургу по делам или поклониться столичным святыням. Многие пытались бежать, пойманные и повешенные дезертиры исчислялись десятками. Сначала Унгерн хотел сформировать из монголов отдельную кавалерийскую бригаду, но пришлось ограничиться дивизионом и несколькими мелкими отрядами.

2

В конце февраля, став начальником штаба у Резухина, Торновский подал ему записку с анализом сложившейся ситуации и прогнозом на будущее. Он предсказывал, что красные не оставят Унгерна в покое и в течение ближайшего года, «придравшись по незначительному поводу к Монгольскому правительству», силами 5-й армии Восточного фронта перейдут границу; Азиатская дивизия не сможет противостоять десяткам тысяч красноармейцев, а создать за это время полноценную монгольскую армию не удастся. Торновский рекомендовал заключить соглашение с Чэнь И, предложив следующие условия: Монголия признает власть республиканского Китая и доверяет ему ведение своей внешней политики; Чэнь И возвращается в Ургу как полномочный представитель Пекина, но китайские войска должны покинуть страну, поручив охрану ее границ монгольским частям с инструкторами из Азиатской дивизии. Тогда Москва «не рискнет на осложнения с Китаем», в противном случае в войну с красными вмешается китайская армия, что является «мечтой Белого движения».

Унгерн одобрил этот проект, и Торновский написал письмо Чэнь И с предложением вступить в переговоры на указанных условиях. Доставить его в Троицкосавск поручили ламе Бодо, бывшему преподавателю школы переводчиков и толмачей при русском консульстве, одному из первых монгольских журналистов — при автономии он издавал ежемесячный журнал «Шинэ толь» («Новое зеркало»). Ни Торновский, ни Унгерн не подозревали, что их курьер связан с большевиками, и ему нет никакого резона мирить барона с китайцами. Письмо к Чэнь И, на глазах у Торновского бережно завернутое им в пояс дэли, Бодо так и не передал по назначению, но с радостью воспользовался случаем выбраться из Урги и спокойно доехать до русской границы.

Чуть раньше по инициативе коминтерновца Бориса Шумяцкого из группы эмигрантов была создана Монгольская народно-революционная партия (МНРП), а затем образовано Временное народное правительство в изгнании. Бодо занял в нем пост премьера, а военным министром и главкомом стал Сухэ-Батор, 27-летний выпускник первой военной школы в Урге, пулеметчик распущенной китайцами монгольской армии. По словам Першина, это был человек, «беззаветно любящий свой несчастный народ», храбрый, «чистый сердцем, с неподкупной совестью, но сущий ребенок в политике». Его марксистские убеждения — позднейшая выдумка. Все члены Временного народного правительства, включая Сухэ-Батора, были пылкими националистами с долей либерального просветительства. Своей целью они ставили полное освобождение страны от чужеземцев, равно гаминов и белых русских, для чего хотели опереться на большевиков, чтобы потом избавиться и от них.

Непосредственный контроль за Бодо и его министрами осуществлял коминтерновский деятель

Борисов, алтаец по происхождению, выбранный на эту роль в силу относительной этнической близости к подопечным. Когда он предложил им сразу после победы над Унгерном низложить Богдо-гэгэна и провозгласить Монголию республикой, ему прямо заявили, что Халха должна остаться монархией, а если большевики думают иначе, придется обойтись без их услуг. В результате Кремль со своей обычной тактической прагматичностью согласился и на монархию.

В марте 1921 года цирики Сухэ-Батора в ожесточенном сражении, как трактовала это событие монгольская и советская историография, отбили у китайцев Маймачен-Кяхтинский. В действительности они практически без боя заняли и разграбили его после ухода китайских войск, вскоре затем окончательно разбитых Унгерном и Резухиным близ уртона Цаган-Цэген. Город немедленно получил новое имя — Алтан-Булак, что значит «золотой ключ»^[164].

Кое-где на севере и на западе Халхи появились «красномонгольские» кочевья. Агитация в пользу Временного народного правительства шла тем успешнее, чем активнее проводилась мобилизация, чем больше скота и лошадей для Азиатской дивизии угоняли в столицу. Написанные по подсказке Унгерна пропагандистские циркуляры от имени правительства Джалханцза-хутухты рассылаются по хошунам, но барон уповает и на более привычные методы борьбы с революционной заразой. Оперирующий на севере Найдан-ван получает от него письмо с наказом «выгнать» к Урге откочевавших из ДВР бурят (около шестисот юрт). «Они, — пишет Унгерн, — совершенно развращены большевиками и распространяют их подлое учение. Я тут их кончу, а стада отберу для войск».

Разумеется, эти бурятские беженцы понятия не имели о «подлом учении» Маркса. Они лишь стремились втиснуться в строго упорядоченную систему халхинских кочевий и надеялись, что забайкальские большевики им в этом помогут.

На поддержку красных рассчитывают даже некоторые монгольские князья. Одни склонны к сепаратизму, другие недовольны всевластием духовенства или головокружительной карьерой не слишком родовитых, но первыми поддержавших Унгерна выходцев из Цеценхановского аймака. Кто-то обижен самим бароном, как Максаржав, отставленный с поста военного министра и замененный Джамбалом; наиболее проницательные начинают понимать, что «белые дьяволы» обречены, будущее — за дьяволами «красными». Многоопытный Джал-ханцза-хутухта, оставаясь премьером, на всякий случай ищет способ вступить в переговоры с людьми Сухэ-Батора, а князья Тушетухановского аймака во главе с Беликсай-гуном открыто провозглашают в своих владениях «революционный строй», едва ли, впрочем, понимая, что это такое.

Большевики используют и старые феодальные распри, и легенды, которые обращаются против Унгерна с той же легкостью, с какой служили ему полгода назад. Циркуляры, декларации, партийные съезды — это лишь видимая, надводная часть айсберга. Настоящая борьба идет в глубине, там, где коммунистические и любые другие политические лозунги ничего не значат. Кочевники выбирают путь по ориентирам, существующим в течение столетий. Отныне уже не Унгерну, а его врагам выгоден миф о «северном спасителе», и ставка делается не только на Сухэ-Батора, но и на Хас-Батора, вслед за Джа-ламой объявившего себя реинкарнацией Амурсаны. Неизвестно, откуда взялся этот бывший лама (скорее

всего, тоже из калмыцких степей), однако в Сибири властям предписано оказывать ему всяческое содействие вплоть до предоставления особых вагонов на железной дороге. С почетом принятый дербетскими князьями, давними противниками Урги, Хас-Батор развернул над своим отрядом знамя революционного буддизма — красное, но не со звездой, а с черным знаком «суувастик»^[165].

Кажется, в эту войну втягивается весь буддийский мир. Эскадрон единокровных и единоверных калмыков, с Кавказа переброшенный к границам Халхи, становится ударной силой Сухэ-Батора, как Тибетская сотня — самой надежной из унгерновских туземных частей. Все чаще вспоминают о благословенной Шамбале, появляются якобы побывавшие там не то визионеры, не то жулики; какой-то бродячий лама под Ургой торжественно вбивает в землю колья, огораживая пространство, где будет возведен новый храм — нечто вроде дипломатического представительства Шамбалы в этом мире. Наступившие смутные времена доказывают, что пришествие Майдари не за горами, и, как обычно, в атмосфере брожения и невротического ожидания будущего обнажаются самые темные пласты коллективной памяти. Вновь, как девять лет назад при штурме Кобдо, из тьмы столетий выплыла память о человеческих жертвоприношениях, и казачий вахмистр кровью своего вырезанного из груди сердца освящает монгольское знамя, на сей раз — красное.

3

«Красномонгольские» части Унгерн, по его словам, «за противника не считал», а возможность открытого советского вторжения рассматривал как маловероятную. Ему казалось, что пока белые владеют

Приморьем, Москва не решится на прямую интервенцию, ведь следствием такого шага стал бы военный конфликт с Китаем, считавшим Монголию своей провинцией. Чжан Цзолина он тоже не слишком опасался, полагая, что рано или поздно тот придет к мысли о необходимости союза с ним для совместной борьбы с южнокитайскими революционерами.

Унгерн был плохим политиком, но эти его расчеты имели под собой основания. Пока что ни китайские, ни советские войска, ни части Народно-революционной армии ДВР не пытались перейти границы Халхи. Внимание Чжан Цзолина было отвлечено попытками южан установить контроль над Пекином, а Москва еще в феврале решила, что борьба с Унгерном на монгольской территории чревата опасностью восстановить против себя монголов — на них неизбежно лягут тяготы содержания экспедиционного корпуса. Разумнее подождать, пока Унгерн сам испортит с ними отношения. По опыту Гражданской войны в России все прекрасно знали, что любая армия, вынужденная проводить мобилизации и реквизиции, вызывает недовольство населения, какой бы идеологии ни придерживались ее вожди. Шумяцкий предсказывал развитие событий именно по такому варианту. Он предлагал дождаться, пока Унгерн потеряет опору в Монголии, затем выманить его к границе и разбить в пограничных боях, после чего, чтобы избежать обвинений в интервенции, послать в Ургу цириков Сухэ-Ба-тора. Этот сценарий и был утвержден Москвой.

В апреле 1921 года, после побед под Чойрин-Сумэ и на Улясутайском тракте, Унгерн чувствовал себя увереннее, чем когда-либо прежде, но подпочвенные воды уже начали размывать фундамент его власти. В зените могущества он столкнулся с проблемой, которую двумя столетиями раньше столь похожий на него

шведский король-воитель Карл XII, имевший с ним немало общего, выразил шекспировским по экспрессии жестом.

Есть полулегендарный рассказ о том, как однажды, преследуя армию Августа II Сильного, он вынужден был прекратить погоню из-за недостатка продовольствия. В приступе ярости Карл упал с коня на землю, вырвал клочок травы, запихал ее в рот и принялся жевать. «О, если бы я мог научить моих солдат питаться травой! Я был бы властелином мира!» — якобы воскликнул он в ответ на недоуменные вопросы сподвижников. Подобные чувства испытывал, видимо, и Унгерн.

Он говорил, что жалованье офицерам и казакам платил, «когда деньги были», но кормить их нужно было всегда. По указанию Богдо-гэгэна монгольские князья еще до взятия Урги обязались бесплатно снабжать его всем необходимым; правительство Джалханцза-хутухты подтвердило эти обязательства, однако исполнять их становилось все тяжелее. В месяц Азиатской дивизии требовалось примерно две тысячи быков, лишь в ургинское отделение дивизионного интендантства их ежедневно пригоняли по 60–70 голов. А еще верблюды, овцы, лошади, подводы, фураж. Официально суточное содержание всадника с конем обходилось по местным ценам в один китайский доллар. Даже исходя из этой цифры, хотя ее считали явно заниженной, на три с лишним тысячи бойцов Унгерна, включая набранных по мобилизации, ежемесячно расходовалось около 100 тысяч долларов. Для более чем скромного бюджета Монголии это была колоссальная сумма.

В бесконечных экспедициях уничтожался конский запас. Легендарная быстрота переходов Азиатской дивизии зачастую объяснялась тем, что отряды пользовались подменными лошадьми на уртонах или

двигались от табуна к табуну^[166]. Мародерство, несмотря на грозившие виновным кары, приняло массовый характер, что тоже не способствовало взаимопониманию.

При всех своих благих намерениях Унгерн стал тяжким бременем для истощенной трехлетней смуты нишей страны.

В плену его спросили: «Почему вы потеряли авторитет в Урге?» Он ответил честно: «Кормиться надо было. Это трудно выразить... Если бы я мог прокормиться сам или на них (на мародеров. — Л. Ю.) шапки-невидимки надеть!»

Это идея одного порядка с мечтой Карла XII о том, чтобы научить своих солдат питаться травой.

Опасным сигналом для Унгерна мог послужить следующий инцидент. В столичное интендантство пригнали стадо в три сотни бычьих голов, но в нем обнаружилась чума, и быков отправили на прививку в ветеринарный пункт в 30 верстах от Урги. Это означало, что в течение двух недель (срок прививки, путь туда и обратно) дивизия останется без мяса. Встревоженные интенданты бросились в Министерство финансов и потребовали других быков. Им отказали в грубой до неприличия форме. Произошла ссора, наконец кто-то из министерских чиновников поставил вопрос ребром: «До каких пор русские будут сидеть у нас на шее?»

«Это было начало конца, — замечает Волков. — Азия говорит грубо и резко только в том случае, если чувствует за собой силу».

Казни, реквизиции, упадок внутренней торговли, торговая блокада со стороны Китая, пугающая перспектива войны с Советской Россией, наконец, известия о том, что Унгерн в обход правительства ведет переписку с Чжан Цзолином и другими китайскими генералами, из чего делался вывод о его готовности

сделать независимость Халхи разменной картой в собственной игре — все это сказывалось на отношении к нему монголов. Он тоже имел причины быть недовольным политикой им же и созданного правительства. Чтобы на законных основаниях вмешиваться во внутренние дела Монголии, ему следовало найти для себя новое место в ее государственной структуре, более определенное и дающее больше возможностей, чем пост главкома.

В конце апреля 1921 года он обратился к Богдо-гэгэну с пространным посланием. Оно не сохранилось, но общий смысл этого письма передает Волков, читавший его в бытность служащим Министерства внутренних дел в Урге: «В длинной последней бумаге своей к Богдо, начинавшейся словами «Ваше Высочество», Унгерн подробно останавливается на той распущенности, которая царит якобы среди монгольского чиновничества, обвиняет министров, что они превыше всего ставят личное благополучие, а интересы родной страны отходят для них на задний план. По его словам, среди чиновников процветает взяточничество и казнокрадство».

На самом деле их бездеятельность скрывала под собой трезвый расчет. Монголов больше всего пугала возможность возвращения китайцев, и они готовы были сотрудничать с любой русской властью, способной гарантировать независимость страны. Когда выяснилось, что большевики не намерены помогать гаминам, хотя Унгерн постоянно твердил об их идейной и духовной близости, а соотношение сил между Азиатской дивизией и стоявшей по ту сторону границы 5-й армией перестало быть тайной, Богдо-гэгэн, министры, князья и ламство выбрали пассивность как способ сохранить нынешнее положение вещей. Другого выбора у них не было, но Унгерн продолжал верить, что

хутухта просто не видит грозящей стране и ему лично опасности.

Покончив с обличениями чиновничества, он переходит к программной части письма: в ситуации, когда Богдо-гэгэн окружен подобными людьми, ему необходимо «иметь вблизи себя безусловно честного, горячо любящего Монголию и ее народ человека», чтобы во всем полагаться на него как на единственного надежного советника. Таким человеком, который будет «верной, безукоризненной в своей стойкости опорой престола», мог бы стать сам Унгерн со своим «войском»^[167].

В сущности, он выдвинул себя на роль диктатора, чья власть должна быть освящена авторитетом Живого Будды. Тот, однако, понимал, что звезда барона неумолимо клонится к закату, и не счел нужным ответить на его письмо. Так, во всяком случае, пишет Волков, утверждая, что об этом ему говорил Джамбалон, выступавший в роли посредника между Унгерном и Богдо-гэгэном, причем говорил «с большой иронией».

Гость предложил хозяину помочь ему навести порядок в доме, но ответом было многозначительное молчание. Нужно было срочно что-то предпринимать, тем более что застоявшееся «войско» начало разлагаться от бездействия, и как раз в это время подоспела депеша от Семенова. Атаман сообщал, что в мае, при поддержке японцев, открывают широкомасштабные военные действия против красных на фронте от Забайкалья до Приморья: генерал Сычев выступит с Амура, генерал Савельев — из Уссурийска, генерал Глебов — со станции Гродеково под Владивостоком, а сам Семенов из Маньчжурии двинется на Читу. Унгерну с его конницей предлагалось

перерезать Транссибирскую магистраль в районе Байкала и наступать на Верхнеудинск.

Силы Семенова были ничтожны — до четырех тысяч бойцов, считая офицеров, составлявших несоразмерно большой процент от общей численности войск, чудовищно раздутые штабы и контрразведывательные отделы. Задуманное наступление не имело ни малейших шансов на успех и, как вскоре выяснилось, ни один из перечисленных Семеновым генералов, включая его самого, не тронулся с места. Возникает подозрение, что этот лихой прожект — фикция, и атаман опять, как минувшей осенью, обманул старого друга. Какие-то совещания тогда проводились, какие-то планы строились, но не исключено, что Семенов с помощью Унгерна хотел спровоцировать японцев на новое выступление против Советской России, а заодно выманить его из Монголии, чтобы очистить ее для Чжан Цзолина, на чье содействие атаман в то время рассчитывал.

«Барон испытывал нужду буквально во всем, — пишет Першин, — но ни от кого не слышно было, чтобы он обращался за помощью к Семенову». Формально он подчинялся атаману, носил на погонах литеры «АС», имел даже радиошифр для связи с владельцем этих инициалов, но регулярно ее не поддерживал. «Сейчас же посыплются советы, приказания, указания, — объяснял Унгерн, почему он этого не делал. — Все это не нужно. А что нужно, денег, все равно не дадут». Свою связь с атаманом он называл «платонической», то есть не подкрепленной финансовыми отношениями. Иногда Семенов присылал в Ургу курьеров с различными просьбами, однажды попросил переслать пакеты атаману Кайгородову в Кобдо и «кому-то еще»; Унгерн отправил их обратно с тем же нарочным, предложив с каждым пакетом присылать по 30 тысяч рублей за доставку. Этот жест как нельзя лучше

характеризует его отношение к атаману, но в тот момент ему больше не на кого было надеяться. Маленькая победоносная война за пределами Халхи могла упрочить его положение внутри страны. Покидать ее навсегда он вовсе не хотел, собираясь после первых успехов вернуться обратно и воплотить в жизнь свою восточную программу.

«Переход к активным действиям против Совроссии и ДВР предпринял ввиду того, что в последнее время он со своим войском стал в тягость населению Монголии», — записано в резюме протокола одного из его допросов. Это не преувеличение. Даже Князев, приписывая монголам безграничное уважение к Унгерну и готовность «с сердечным трепетом благоговейно преклониться перед его волей», важнейшей причиной похода в Забайкалье называет то обстоятельство, что «барон стал чувствовать себя в Урге неуютно»: в его отношения с Бог-до-гэгэном и правительством Джалханцза-хутухты «вкрались ноты взаимного охлаждения». Прочие мотивы были второстепенными. В той безвыходной ситуации, в какой он очутился, Унгерн ухватился за предложение Семенова как за спасительную соломинку.

БАКИЧ И ДРУГИЕ

1

Водоворот монгольских событий втягивает в себя сотни и тысячи русских изгнанников. Утончившиеся нити их судеб скручиваются, рвутся или, оставляя за собой кровавый след, через пустыни Джунгарии и хребты Алтая тянутся в Синьцзян; через пески Гоби — в Тибет и в Индию; через степи Восточной Монголии — в Китай.

Один из уцелевших — Константин Носков, однофамилец «орус шорта». В 1929 году он издал в Харбине книжечку под названием «Джян-джин (*монг. генерал. — Л. Ю.*) барон Унгерн, или Черный для белых русских в Монголии. 1921-й год». На титуле помещена фотография автора — наголо обритая голова, молодое изможденное лицо с изуродованными глазницами. «Кто я в прошлом? — риторически вопрошает он во вступлении к своим запискам. — Рыцарь индустрии, жрец ли богини Мельпомены, потомок Марса или Аполлона — все равно; в настоящем я больной слепой человек, потерявший зрение если не во имя каких-то общественных идеалов, то, во всяком случае, защищая женщин и детей от нападения диких орд».

Осенью 1921 года, когда остатки белых отрядов из Кобдо решили пробиваться на запад, в Синьцзян, в горах им преградили путь всадники Хатон-Батора Максаржава, перешедшего на сторону красных. «В роковую для меня ночь на 13-е ноября, — вспоминал Носков, — наши боевые части бросаются на монголов, которые заняли позицию на высоком скалистом гребне. Я помню ясно последнюю картину, запечатлевшуюся в

моем мозгу. Дикое ущелье Ценкера. Наша сотня рассыпалась по каменистому крутому гребню. Впереди перед нами поднимается еще более высокий хребет, на нем — монголы. Отчетливо и резко звучат выстрелы в холодном воздухе осенней ночи, бессчетное число раз повторяет их горное эхо. Подобно спине сказочного дракона, мрачным черным силуэтом вырисовывается горный хребет на фоне яркого лунного неба. Яркие вспышки выстрелов там и сям прорезывают тяжелую зловещую громаду гор, поднимающихся перед нами. Откуда-то снизу, из погруженной в глубокий мрак долины, доносится глухое ворчание Ценкера. Вот что я видел в последний раз. Тяжело раненный в голову, в эту ночь я лишился зрения».

Позднее, поселившись в Харбине, Носков выработал «медицинскую концепцию» об излечимости любой слепоты. Суть ее такова: если жизненно важные органы человека находятся в состоянии абсолютного здоровья, то «разумные силы природы», действуя «от центра к периферии», постепенно устраняют все внешние телесные повреждения. Через восемь лет после того, как он ослеп, Носков был уверен, что в его организме уже идет «процесс возрождения глазной роговицы».

«Но здесь-то, — продолжает он, — и начинается трагедия моей души. В настоящий момент я не имею тех благоприятных условий жизни, которые необходимы мне для медленного движения из царства могильной тьмы к столь желанному свету. Я не могу поставить крест на моих идеях и отказаться от возможности снова быть зрячим. Отказ от всего этого равносителен добровольному уходу в четвертое измерение. Я должен вернуться к активной жизни, должен рассеять мучительную тьму, окутывающую меня и тысячи несчастных людей, которые, как я сейчас, бродят во мраке ночи. Я должен торопиться, я должен иметь средства, и вот с этой целью я подошел к

настоящему изданию... Думаю, что тот доллар, который я хочу за свою книгу, не выведет никого из бюджета, а мне даст возможность прийти к желанной победе. Я хочу, чтобы каждый проникся сознанием и подумал о том, что если здесь, на далекой чужбине, зачастую зрячие здоровые люди гнутся под давлением жестокой действительности и с трудом отстаивают свое право на жизнь, то как же трудно и тяжело отстоять это право слепому человеку. Я жду, что читатель не будет строго судить меня за эту книгу и посоветует друзьям приобрести ее, помня, кому и на какое дело дает он свой доллар».

Книге предпослан портрет Унгерна, но о самом бароне в ней почти не говорится. Носков никогда с ним не встречался. Он жил на западе Халхи, где главными действующими лицами монгольской трагедии стали два других человека — генерал Бакич и есаул Кайгородов.

В начале 1920 года Оренбургская (Южная) армия под командой Бакича, сменившего атамана Дутова, перешла китайскую границу и была интернирована в Синьцзяне, вблизи города Чугучак. Здесь, на реке Эмиль, построили лагерь из хибар и землянок; лагерные линейки ностальгически называли именами улиц Уральска и Оренбурга, а четыре главные линии — Атаманской, Невским проспектом, Поэзии и грусти и Любви. Когда была объявлена демобилизация, многие, как Хитун, ушли отсюда в расчете добраться до Китая или до Индии, чтобы оттуда попасть в Европу, кто-то вернулся на родину, но большинство предпочло остаться на обжитом месте. Кормились поденными заработками у местных торговцев, батрачили, продавали последнее; жили надеждой на возвращение в Россию, где, казалось, вот-вот вспыхнет всеобщее восстание против большевиков.

Один из беженцев вспоминал, как «во время парадов перед Бакичем выстраивались люди в шкурах, без шапок, кто в штанах, а кто без штанов; они стояли, вытянувшись, изобразив на лице верноподданнические чувства, а генерал Бакич с блестящей свитой, под гром шпор, проходил вдоль шеренги», за которой «торчали кривые, готовые рухнуть крыши, развевались по ветру повешенные вместо дверей овчины и кошмы, стояли оборванные женщины и хилые больные ребятишки».

Весной 1921 года начался голод, сотни людей умерли, оставшиеся едва держались на ногах, все оружие было сдано, тем не менее китайские власти побаивались интернированных, подозревая их в намерении силой изменить ситуацию в свою пользу. Два события усилили эти подозрения: появление в Чугучаке большой группы сибирских крестьян-повстанцев, которые разоружиться отказались, и падение Урги. Напуганные победами Унгерна, опасаясь развития событий по монгольскому варианту, китайцы втайне открыли границу красным. Узнав об этом, Бакич предложил казакам или сдаться на милость победителей, или уходить вместе с ним «для продолжения борьбы». Большая часть предпочла капитуляцию, но около восьми тысяч самых здоровых, решительных и непримиримых последовали за командующим. Безоружные, многие с женами и детьми, без подвод, без лошадей, почти без продовольствия они пешком двинулись на восток, в Монголию. Перед уходом лагерь подожгли, спустя несколько часов его дгорающие развалины были заняты советскими войсками.

Отряд красноармейцев, вскоре преградивший оренбуржцам дорогу, бежал перед безумной атакой многотысячной массы отчаявшихся людей, вооруженных камнями и самодельными копьями. Начался беспримерный переход через пустынные,

безводные степи Джунгарии. Третья часть всех ушедших из Чугучака погибла в пути от голода и лишений, но остальных Бакич привел к Шара-Сумэ, последнему китайскому городу у границ Халхи, и захватил его после трехнедельной осады. Винтовки имелись у немногих счастливицев, сумевших разжиться ими еще в начале пути, после победы над красноармейцами, но гарнизон не выдержал противостояния с людьми, которым нечего было терять.

Ворвавшись в город, оренбуржцы искали только еду; «дорогие шелка, предметы роскоши бросались как ненужный хлам». Хватали все, что выглядело съедобным. Тонкие храмовые свечи принимали за вермишель, мыло — за куски хлеба. Сальные свечи считались изысканным лакомством.

Тем не менее Бакичу достались трофеи из местного арсенала, и он стал готовиться к походу на Россию. Очень скоро его бойцы опять начали голодать, в Шара-Сумэ были съедены все собаки, все кошки, но, по словам Носкова, «окружающая печальная действительность не обескураживала воинственного генерала». Его решимость подогревали приносимые беженцами слухи о крестьянских восстаниях на Тамбовщине и в Сибири.

Часть оренбуржцев он выслал дальше на восток, с гор Алтая они спустились на равнины Джунгарии. Очевидно, через них Унгерн и пытался связаться с Бакичем, отправив ему несколько писем, но ответа не получил. Унгерн с его бескомпромиссным монархизмом для Бакича был неудобной фигурой. Сам он взял на вооружение эсеровские лозунги, за которые в Урге расстреливали без суда. Азиатская дивизия вступила в Забайкалье под знаменем с двуглавым орлом и вензелем «императора Михаила II», а над штабом Оренбургской армии развевалось красное полотнище, лишь в верхнем его углу, возле древка, был нашит

трехцветный прямоугольник. Бакич хотел даже отменить погоны как символ приверженности старому режиму, но возмутилось офицерство. Пришлось оправдываться: «Погоны мы носим не для оддания чести, а чтобы отличать своих». В прокламациях, рассчитанных на повстанцев из крестьян, слышатся те же заискивающие ноты: «В наших рядах не редкость встретить полковника с одной, двумя или тремя нашивками, что означает, что полковник служит чуть ли не рядовым бойцом, а бывший пахарь командует им».

Унгерн мог заставить полковника служить не только рядовым, но и пастухом, однако сентенция о «бывшем пахаре» и вообще любые игры в народовластие для него были неприемлемы. Бакич более прагматичен и гибок, менее талантлив и склонен к позерству, но последняя принятая им поза вызывает уважение. Рассказывали, будто уже в Монголии, после неудачных боев с красными, когда оставалась надежда только на чудо, он демонстративно отбросил револьвер и пошел впереди колонны с большим деревянным крестом в руках. Скорее всего, это лишь красивая легенда, но показательно, что ни одной подобной истории, связанной с Унгерном, нет. Невозможно представить его делающим этот по-своему величественный жест смирения, который на фоне снежной монгольской степи отнюдь не кажется театральным.

2

Главные силы Бакича пришли в Монголию, когда Унгерн уже попал в плен, но другие белые отряды появились на западе Халхи гораздо раньше. Они пришли из Сибири или постепенно выкристаллизовались из аморфной массы беженцев,

оказавшихся здесь после поражения Колчака. Самым крупным из них был отряд Александра Кайгородова.

В его жилах текла смешанная, русско-алтайская кровь, до войны он учительствовал и служил в горной полиции на Алтае, в 1915 году окончил школу прапорщиков, воевал, после революции с фронта вернулся в родные края. Удалец, георгиевский кавалер, Кайгородов из-за своего независимого характера не поладил с большевиками, но и у колчаковцев был на дурном счету: ему не простили разговоров о необходимости большей самостоятельности для национальных окраин. Держался он особняком — при белых на свой страх и риск воевал с красными партизанами, при красных сам ушел партизанить в горы, но под натиском советских войск отступил в Монголию. Когда в Кобдо узнали о падении Урги и китайский гарнизон начал резню местных русских, Кайгородов со своими людьми поспешил на помощь, прогнал китайцев и обосновался в городе. К весне под началом у него собралось более трехсот бойцов.

Как об Унгерне рассказывали, будто он возглавлял личный конвой Николая II, так легенда назначала Кайгородова на ту же должность при Колчаке. Вытесненным на край света русским беженцам хотелось видеть в своих вождях людей более значительных, чем те были на самом деле. В их мимолетной власти пытались различить отблеск легитимности, а красные охотно подхватывали такие легенды, чтобы приписать себе честь победы над бывшим начальником императорского или адмиральского конвоя.

Для солидности Кайгородов называл себя есаулом и атаманом, хотя к казакам никакого отношения не имел. Этот грубый и властный, отчаянной храбрости и огромной физической силы человек лично вершил кулачную расправу над строптивыми или чересчур

вольнолюбивыми подчиненными, но обладал врожденным чувством справедливости^[168]. Он принимал под защиту бежавших в Кобдо евреев, старался не допускать насилий над монголами и единственный из белых вождей в Халхе до конца сохранил с ними относительно мирные отношения.

«Мы, как песчинка в море, затеряны среди необъятной шири Монгольского государства» — так начинается один из приказов, которые от его имени сочинял начальник штаба отряда, полковник Сокольницкий. Между двумя песчинками — ургинской и той, которую ураганом революции занесло в Кобдо, пролежала тысяча с лишним верст. На такой дистанции Кайгородов спокойно мог фрондировать и вести самостоятельную политику. Формально подчинившись Унгерну, получив от него винтовки для отряда и даже одну старую пушку, он игнорировал, а то и опротестовывал его директивы, чувствуя себя при этом в безопасности. «Громовые приказы не выполнялись, — пишет Носков. — Люди, которым в Улясутае или в Урге грозила бы верная смерть как большевикам, преблагополучно сидели в Кобдо. Не только лица, носящие еврейские фамилии, но самые подлинные евреи оставались нетронутыми и были в рядах отряда».

В Улясутае, расположенном на 450 верст восточнее, Унгерн утвердил свою власть с помощью есаула Казанцева. Сформированный им отряд вошел в Азиатскую дивизию на правах отдельной боевой единицы. Казанцев был кряжистый рыжебородый енисейский казак, свирепый и честолюбивый. Унгерн подкупил его еще и тем, что обещал создать на юге Красноярской губернии особое Урянхайское казачье войско, а самого Казанцева сделать войсковым атаманом. Пока он, сидя в Улясутае, примерял на себя эту роль и обсуждал с помощниками размеры душевого

надела в будущем войске, прибывший из Урги капитан Безродный очистил город от «вредных элементов». Были перебиты все евреи и все, в ком подозревали таковых. Из русского населения Улясутая погибли 42 человека — каждый пятый, в том числе ряд видных колчаковских офицеров, не сразу и без должного энтузиазма изъявивших готовность подчиниться Унгерну. Здесь полностью восторжествовал принцип семейной ответственности, в Урге знавший немало исключений. Мужей с женами связывали попарно и рубили по очереди, «чтобы видом смерти дорогого человека еще более углубить мучения жертвы». В числе прочих погиб капитан Зубов, чья вина состояла лишь в том, что он приходился племянником «предателю России», председателю Государственной думы Родзянко. Жена и пятилетняя дочь Зубова разделили его участь.

У Казанцева было примерно полторы-две сотни всадников. Немногим больше отряд полковника Казагранди, базировавшийся в поселке Ван-Хурэ на тракте между Улясутаем и Ургой. Казагранди происходил из итальянской семьи, осевшей в России еще во времена Екатерины Великой, окончил юридический факультет Казанского университета, в 1915 году ушел на фронт, дослужился до капитана, дважды был ранен, награжден орденами, включая Святого Георгия 4-й степени, а после развала армии оказался в Тюменской губернии. Здесь он организовал и возглавил белопартизанский отряд, при Колчаке ставший прославленным 16-м Ишимским полком. Когда под Красноярском его солдаты начали сдаваться в плен, Казагранди с кучкой людей ушел на север, был схвачен, сидел в иркутской тюрьме, ждал расстрела, но в конце концов сумел бежать в Монголию.

Вблизи озера Хубсугул он наткнулся на группу бывших колчаковцев и был избран их командиром после

короткой борьбы за власть с прежним начальником; вскоре к нему присоединились сотник Сухарев с полусотней казаков-забайкальцев, 70 крестьян-повстанцев из села Голумедь под Черемхово, еще несколько десятков иркутян. С этими силами Казагранди вторгся на юг Иркутской губернии, но потерпел неудачу, снова отступил за спасительную монгольскую границу и был призван в Ван-Хурэ тамошними русскими, опасавшимися, что в отместку за взятие Урги китайцы их не пощадят. Казагранди разоружил китайский гарнизон, затем направил Унгерну письмо, признав себя его подчиненным, а взамен получил 200 винтовок и 250 комплектов трофейного теплого обмундирования.

Мемуаристы описывают Казагранди как храброго, интеллигентного и порядочного офицера, но Алешин, одно время служивший у него в отряде, именует его «кровавой бестией», а поэт Арсений Несмелов — «жестоким героем»^[169]. Чтобы в то время и в тех обстоятельствах стать партизанским вожаком, нужно было обладать определенным набором качеств, в число которых интеллигентность и порядочность не входили. Сам Унгерн в плену говорил, что имел конфликты с Казагранди из-за жестокостей последнего по отношению к китайцам.

При первой же личной встрече Унгерн его невзлюбил. Как полагали многие, причиной послужила попытка Казагранди защитить своего друга и благодетеля, ветеринара Гея, обвиненного в связях с большевиками. Лишь Князев, принимая, как всегда, сторону Унгерна, объясняет эту неприязнь иначе: «Казагранди не смог взять верный тон. Он явно трепетал перед бароном и заискивающе любезничал, то есть вел себя несолидно и в том именно стиле, который барону чрезвычайно не нравился».

Такую манеру поведения Унгерн считал признаком нечистой совести, но, возможно, в данном случае все обстояло сложнее. Ужасная смерть Гея и его семьи могла сказаться на отношении Унгерна к Казагранди, хотя психологическая подоплека была другой. Унгерну пришлось признать это убийство напрасным, а донос — ложным, но признавать собственную вину он не желал и предпочел переложить ее на Казагранди, якобы не сумевшего проявить твердость и отстоять невинного. Представление о нем как о человеке, способном на предательство, и предопределило его участь: спустя два месяца по приказу Унгерна он был убит «за измену».

По монгольским меркам отряды Кайгородова, Казанцева, Казагранди представляли собой серьезную силу, но помимо них к северу и к северо-западу от Урги действовали мелкие группы казаков, беженцев и русских колонистов — они защищались от насилий китайских солдат и сами грабили китайских поселенцев. Самой многочисленной из этих полуразбойничьих ватаг, в лучшие времена достигавшей семидесяти человек, командовал вахмистр Шубин, в прошлом — скупщик пушнины. Никаких боевых заслуг за ним не числилось, кроме утопления двух еврейских семей. Барону он подчинился беспрекословно, поскольку получил от него оружие, серебро на расходы и чин прапорщика, о котором мечтал всю жизнь.

После боев на Улясутайском тракте Унгерн разделил дивизию на две бригады. Одну возглавил он сам, вторую — Резухин. В середине апреля он выступил из Урги на северо-запад, к русской границе, чтобы построить мост через Селенгу и провести разведку боем в долине реки Желтуры, где располагались значительные силы красных.

В начале мая Резухин с верховьев Селенги прискакал в Ван-Хурэ, и туда же на автомобиле прибыл Унгерн, чтобы вместе с ним утвердить план предстоящей операции. Тогда и состоялась его первая и последняя встреча с Казагранди — тот был приглашен участвовать в совещании. Все трое собрались в одной из госпитальных палаток, и Резухин первым высказал свои соображения. Суть их заключалась в том, чтобы свести отряды Кайгородова, Казагранди, Казанцева и Шубина в отдельную, третью бригаду, которая подчинялась бы непосредственно ему. Во главе этих объединенных сил он по западному берегу Селенги перейдет границу, дойдет до Байкала и осуществит давнюю мечту Семенова — взорвет кругобайкальские тоннели, отрезав тем самым Забайкалье от Восточной Сибири, а 5-ю армию красных — от ее штаба в Иркутске. Одновременно Унгерн со своей бригадой двинется к Троицкосавску и Кяхте, захватит их и далее будет развивать наступление на Верхнеудинск. Таким образом советские войска и части ДВР окажутся в мешке — при условии, разумеется, что Семенов, как то было обещано, оттянет на себя те силы красных, которые размещены в Чите и вдоль линии Забайкальской железной дороги.

Общая диспозиция была выработана еще в Урге, новым был лишь пункт о создании третьей бригады и присоединении ее к бригаде Резухина, но как раз он-то и вызвал возражения Казагранди. План, выдвинутый им самим, предполагал, что все мелкие отряды, включая его собственный, должны действовать порознь, чтобы дезорганизовать советский режим на возможно большем пространстве. Кайгородову отводилось то направление, на которое он единственно мог согласиться — из Кобдо на Бийск, в его родной Алтай; Казанцев пойдет в верховья Енисея и поднимет енисейских казаков, а Шубин и сам Казагранди начнут оперировать на юге Иркутской губернии с

последующим выходом к тем же кругобайкальским тоннелям. В остальном план Унгерна и Резухина оставался без изменений.

Расчеты Казагранди строились на том, что после первых успехов будет «колоссальный приток» восставших крестьян и перебежчиков. Как человек, хорошо знающий обстановку по ту сторону границы, он заверил Унгерна, что переход красноармейцев на его сторону — «пустяк». Впрочем, сам барон, подобно многим в те месяцы, разделял эти иллюзии. По его собственным словам, он был убежден, что Забайкалье — «это как пороховой погреб», нужна только искра. В ходу был и другой образ: считалось, что на советской территории Азиатская дивизия притянет к себе массу повстанцев и будет расти «как снежный ком, катящийся по рыхлому зимнему полю».

В итоге Унгерн принял план Казагранди. Наутро он выехал обратно в Ургу, а бригада Резухина вскоре начала движение на север.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИЛИ «КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ»?

1

«Люди стали корыстны, наглы, лживы, утратили веру и потеряли истину, и не стало царей, а вместе с ними на стало и счастья», — писал Унгерн баргутскому князю Цэндэ-гуну в мае 1921 года. Как многие подобные места в его посланиях, сентенция ритмизована в стиле псевдосвященных текстов эпохи декаданса и напоминает проповеди Заратустры у Ницше, которого Унгерн наверняка читал. Такого рода рассуждения — не редкость в его письмах, но обычный для него пассаж завершается неожиданно: «И даже люди, ищущие смерти, не могут найти ее».

Кажется, это признание, столь не похожее на предыдущие клише, вырвалось непроизвольно — как знак глубоко личного переживания. Смысл фразы очевиден и заставляет подозревать автора в сознании обреченности своего дела, в стремлении к смерти как единственному спасению от ужаса жизни, принявшей противоестественные формы, но все принимает совсем иной вид, если вспомнить, что это скрытая цитата из «Откровения Иоанна Богослова»: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр. 9:6).

То, что Цэндэ-гун не читал Библии, Унгерну не важно. Он пользуется привычной системой образов, не задумываясь, как их воспримет адресат. Его эсхатологические настроения были ненаигранными и органичными, современность казалась ему прологом

вселенской битвы между темными и светлыми силами, после чего человечество узрит «новую землю и новое небо». Ключевые слова «Интернационала» о «последнем и решительном бое» давали основания полагать, что большевики тоже рассматривают происходящее как постепенно разворачивающийся Армагеддон.

По замечанию Волкова, Унгерн намеревался «доказать на основании Священного Писания близкий конец мира или тождество большевизма с Антихристом». Аналогичные попытки предпринимались в те годы многими, но ему хотелось найти в Библии еще и подтверждение своих идей о скором столкновении Востока и Запада, белой и желтой рас. Для решения этой задачи требовалась подтасовка фактов или параноическая одержимость, когда доминантная идея настолько сильна и так прочно сцементирована с жизнью ее создателя, что вбирает в себя самый разнородный материал.

«В буддийских и христианских книгах, — говорил он Оссендовскому, — предсказывается время, когда вспыхнет война между добрыми и злыми духами». Похоже, именно так и было сказано; Унгерн писал генералу Чжан Кунъю, что революционеры всех наций «есть не что иное, как нечистые духи в человеческом образе». Борьба с гаминами и русскими большевиками, которых он считал разными проявлениями одной и той же сущности, была для него частным случаем вечного сражения между «плюсами» и «минусами», как он выразился однажды на допросе. Дословно и в кавычках приведя это выражение, протоколист сопровождал его пометой: «Точное значение терминов «плюс» и «минус» Унгерн не объяснил, придавая им религиозно-мистическо-политическое значение».

Уже не на допросе, а на судебном заседании в Новониколаевске его спросили: «Скажите, каково ваше

отношение к коммунизму?» Непонятно, с какой целью был задан вопрос и на что рассчитывал спрашивающий, но услышал он явно не то, что хотел услышать. «По моему мнению, — ответил Унгерн, — Интернационал возник в Вавилоне три тысячи лет назад».

Ответ серьезен, ирония ему вообще была чужда. Конечно, он имел в виду строительство Вавилонской башни, но и не только, ведь Вавилон — «мать всякого блуда и всех ужасов на земле», родина апокалиптической «вавилонской блудницы»; там появился Интернационал, и в точности на такую же временную дистанцию в «три тысячи лет» Унгерн относил в прошлое возникновение «желтой культуры», которая, по его словам, с тех пор «сохраняется в неприкосновенности». Не существенно, откуда взялась именно эта цифра. Суть в том, что две полярные силы были сотворены одновременно, и ныне их трехтысячелетнее тайное противостояние вышло на поверхность жизни.

Рассказав, как желтая раса двинется на белую, как «будет бой, и желтая осилит», Унгерн заключил: «Потом будет Михаил». Кажется, речь идет о великом князе Михаиле Александровиче Романове; так и отнеслись к словам барона те, кто его допрашивал в плену. Они знали, что на знамени Азиатской дивизии присутствовал недвусмысленный вензель: буква «М» с вплетенной в нее римской цифрой «II», то есть Михаил II^[170]. Да и в последнем письменном приказе Унгерна говорилось: «В народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя одно — законный хозяин Земли Русской Император Всероссийский Михаил Александрович, видевший шатанье народное и словами своего Высочайшего Манифеста мудро воздержавшийся от осуществления

своих державных прав до времени опаматования и выздоровления народа русского».

2

В начале 1918 года великий князь Михаил Александрович Романов, младший брат Николая II, после революции взявший фамилию жены и ставший «гражданином Ерасовым», был выслан из Петрограда на Урал, в Пермь. Там спустя три месяца его ночью вывезли из гостиницы за город, убили, тело облили керосином и сожгли, но официально было объявлено, что он совершил побег. Инспирировались публиковавшиеся в советских газетах сообщения вроде того, что великого князя видели в Мурманске, откуда он отплыл в Лондон на британском военном корабле. В его чудесное спасение охотно поверили, версию о побеге мало кто подвергал сомнению. Те, кто покрывал убийц, могли быть довольны, однако их подстерегал неприятный сюрприз. Они учли все, кроме иррациональности народного сознания, и не предвидели, что ими же порожденный призрак, выйдя из-под контроля, начнет многолетние скитания по России, Европе и Азии.

Как всегда в смутные времена, когда правит бал архаика и вступают в силу законы давно минувших эпох, в годы Гражданской войны старинное русское самозванчество стало массовым явлением. Чудом спасшиеся «дети» государя обнаруживались то в Перми, то в Берлине, то в Омске и Забайкалье. Все они рано или поздно подвергались разоблачению, но Михаил Александрович так ни разу и не появился во плоти, что делало его совершенно неуязвимым. В том, что он жив и где-то скрывается, в белой Сибири были уверены чуть ли не все — от простых казаков до

генерала Сахарова, от городских обывателей до министров Омского правительства, на банкетах поднимавших тосты за его здоровье. Михаил Александрович стал чем-то вроде национального мессии, чье возвращение из небытия будет предвестием восстановления прежнего миропорядка. Лишь после разгрома Колчака вера в него начала слабеть, и фельетонист читинской газеты уже мог позволить себе поиронизировать на эту тему. Герой фельетона сидит дома, вдруг вбегает взволнованная квартирная хозяйка и кричит с порога: «Идите скорее на базар, вся первая необходимость в цене упала. Должно, Михаил Александрович близко!»

Однако полностью эта вера исчезнуть не могла, ибо, по сути, была религиозной и в доказательствах не нуждалась. Ее фундаментом стало библейское пророчество Даниила: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени» (Дан. 12:1).

В России этот текст впервые вспомнили в начале XVII века, в связи с избранием на царство Михаила Романова^[171]. Через три столетия, подкрепленное исторической аналогией, предсказание Даниила обрело популярность после загадочного исчезновения Михаила Александровича. О нем знали многие, но Унгерн единственный возвел его в ранг идейной доктрины и воспроизвел соответствующее место в приказе по дивизии накануне похода в Забайкалье. Цитата предварялась пояснением: «Народами завладел социализм, лживо проповедующий мир, злейший и вечный враг мира на земле, т. к. смысл социализма — борьба. Нужен мир — высший дар Неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о ком говорит Св. Пророк Даниил, предсказавший жестокое время гибели

носителей разврата и нечестия и пришествие дней мира».

Примерно так же уральские крестьяне из секты «михайловцев» почти через полвека после смерти Михаила Александровича, в 50-х годах XX века, продолжали верить в его скорое воскресение и второе пришествие. Правда, в отличие от этих обитателей таежных скитов на севере Прикамья Унгерн надеялся, что великий князь жив и ему нет нужды воскресать, чтобы явиться своему страдающему народу. Возможно, эту надежду укрепил в нем Оссендовский.

Их знакомство, как следует из книги «Звери, люди и боги», состоялось в Ван-Хурэ, в начале мая 1921 года. Оссендовский с группой спутников оказался здесь по дороге из Улясутая в Ургу как раз в то время, когда Унгерн прибыл сюда на свидание с Казагранди и Резухиным. В ожидании последнего барон прилег отдохнуть в юрте Рябухина, в то время — врача 2-й бригады. В эту юрту и велено было явиться Оссендовскому^[172].

У входа стоял адъютант Унгерна, капитан Веселовский. За поясом у него был заткнут револьвер без кобуры, в руке он держал обнаженную шашку, которой только что зарубил заподозренного в шпионаже полковника Филиппова, спутника Оссендовского. Лужа крови еще не впиталась в землю перед юртой.

«Не успел я переступить порог, — вспоминал Оссендовский, — как навстречу мне кинулась какая-то фигура в красном монгольском халате. Человек встряхнул мою руку нервным пожатием и так же быстро отскочил обратно, растянувшись на кровати у противоположной стены. «Кто вы такой? — истерически

крикнул он, впиваясь в меня глазами. — Тут повсюду шныряют большевистские шпионы и агитаторы!».

Все это очень правдоподобно, многие мемуаристы весьма похоже описывают свою первую встречу с Унгерном. Все они утверждают, что в этот момент находились на волосок от смерти и остались в живых благодаря способности выдержать взгляд барона или с достоинством ответить на его вздорные обвинения. Оссендовский тоже уверяет, что спасся благодаря привычке к самообладанию, сохранить которое было нелегко — во время разговора Веселовский стоял у него за спиной, ожидая приказа поступить с ним так же, как с Филипповым, и не вкладывая шашку в ножны. Однако ему не пришлось пустить ее в дело. В конце разговора Унгерн извинился перед Оссендовским за нелюбезный прием и даже отдал ему для дальнейшего путешествия своего белого верблюда.

Следующая их встреча произошла уже в Урге. Проезжая по улице, барон заметил Оссендовского, пригласил его сесть в автомобиль и привез к себе в юрту. Там гость осмелился напомнить хозяину, что в Ван-Хурэ тот обещал помочь ему добраться до какого-нибудь порта на тихоокеанском побережье. Унгерн ответил по-французски: «Через десять дней я начну действия против большевиков в Забайкалье. Очень прошу вас до той поры оставаться при мне. Я столько лет вынужден находиться вне культурного общества, всегда один со своими мыслями. Я бы охотно поделился ими».

Оссендовский, естественно, согласился. «Напоследок, — пишет Першин, — он сделался чем-то вроде советника при Унгерне и усиленно подогревал его оккультизм». Сочувственно выслушивая монологи барона о «проклятии революции», предсказанном Данте и Леонардо да Винчи, Оссендовский преследовал цель сугубо утилитарную — понравиться собеседнику, чтобы

с его помощью вырваться из Урги в Китай, к железной дороге, к морю. Иначе об этом нечего было и мечтать.

Оссендовский не скрывает этих планов. Он сообщает, что перед тем, как выступить в поход, Унгерн сдержал обещание и в благодарность за десять дней, проведенных в «культурном обществе», отправил его на восток с торговым караваном, идущим к китайской границе. Через 12 дней караван достиг Хайлара, там Оссендовский сел на поезд и с комфортом отбыл в Пекин, откуда затем перебрался в Америку.

Поговаривали, впрочем, что из Урги он выехал не на верблюде, а в автомобиле с личным шофером Унгерна, с охраной и крупной суммой денег. Першин слышал, будто барон дал ему какое-то «важное задание», но не знал, какое именно. Сам Оссендовский впоследствии говорил, что должен был передать деньги жившей тогда в Пекине жене Унгерна. Другую версию излагает Бурдуков — тот самый колонист, который в 1913 году сопровождал барона в трехдневной поездке от Улясутая до Кобдо. Он пишет, что Оссендовский сумел внушить Унгерну, будто знает место, где скрывается Михаил Александрович, обещал доставить его в Монголию и получил деньги на расходы, связанные с выполнением этой миссии^[173]. Не известно, так ли это, но в пользу версии Бурдукова говорит одна фраза из письма Унгерна своему пекинскому агенту Грегори: «Верьте профессору!» Именно так называли Оссендовского в Урге. Предполагалось, видимо, что они с Грегори будут действовать совместно. Для передачи денег Елене Павловне такого рода предупреждений не требовалось, золото само по себе служило лучшей рекомендацией.

Тем самым Оссендовскому удалось увильнуть от другого, куда более опасного поручения. Служивший в Азиатской дивизии его соотечественник и хороший

знакомый, поляк (точнее, польский татарин) Камиль Гижицкий, сообщает, что в то время Унгерн собирался направить кого-нибудь послом в Тибет, к Далай-ламе XIII, и в поисках подходящей кандидатуры остановил выбор на Оссендовском. Само собой, такая перспектива его ничуть не прельщала.

Обмануть Унгерна было нетрудно, маниакальная подозрительность уживалась в нем с доверчивостью. Это типично для людей с осознанием своей особой, свыше предопределенной миссии: они уверены, что видят окружающих насквозь, и гордятся этой прозорливостью как свидетельством собственной избранности. Презирая большинство соратников, называя их «толпой голодных кровожадных шакалов», Унгерн время от времени приближал к себе кого-то из них, кто казался ему исключением из общего правила. В последние месяцы жизни барона его фавориты сменяли друг друга с невероятной быстротой. Почти все они проходили один путь — от демонстративной близости до неизбежной опалы. Оссендовского ждала та же участь, просто за десять дней Унгерн не успел в нем разочароваться. Ему тоже предстояло пасть под бременем возложенных на него и не оправдавшихся надежд, но он виртуозно сыграл на слабых струнах своего покровителя^[174]. Если Бурдуков прав, расчет Оссендовского строился не на пустом месте: по слухам, Михаил Александрович после долгих странствий нашел приют в Шанхае, в доме заводчика Путилова. Назывались и другие его китайские адреса — Пекин, Тяньцзинь. Маршрут Оссендовского пролегал через эти пункты, но конечной точкой имел Нью-Йорк.

Перед походом в Забайкалье в дивизии распространялось известие, будто Михаил Александрович, ожидая первых успехов в борьбе с красными, находится на пришвартованном во

Владивостоке японском броненосце. Слух явно был инспирирован сверху. Трудно сказать, насколько реальной считал Унгерн перспективу появления в Сибири «законного хозяина Земли Русской», но Михаил Александрович и грядущий спаситель человечества «Михаил, князь великий» из «Книги пророка Даниила» для него не сливались воедино. Их тождество декларировалось в пропагандистских целях, сам Унгерн в него не верил. На допросе он прямо заявил, что под библейским Михаилом не подразумевал Михаила Романова, и «Михаил, указанный в Священном Писании, ему неизвестен». Тем не менее кое-какие догадки на этот счет у него имелись.

3

«Великий Дух мира, — воспроизводит Оссендовский монолог Унгерна, — поставил у порога нашей жизни карму, которая не знает ни злобы, ни милости. Расчет будет произведен сполна, и результатом будет голод, разрушение, гибель культуры, славы, чести и духа, гибель государств и народов среди бесчисленных страданий. Я вижу эти ужасные картины развала человеческого общества».

Оссендовский — мастер дешевых эффектов, но если убрать отсюда теософский «Дух мира», при всей литературности этого монолога он имеет под собой реальную основу: в посланиях разным лицам Унгерн писал примерно то же самое.

Среди тех, кто предсказывал грядущие бедствия, наряду с Иоанном Богословом, Данте, Гёте и Достоевским был упомянут тибетский таши-лама, он же — панчен-лама, второе лицо в иерархии северного буддизма. В отличие от далай-ламы, обладавшего правами светского владыки, панчен-лама был

авторитетом исключительно духовным, зато здесь он не имел себе равных. Его резиденция Ташилхунпо близ Лхасы считалась центром изучения тантрийской доктрины Калачакра и связанного с ней культа Шамбалы. По традиции всем панчен-ламам приписывалось мистическое участие в делах этой скрытой от смертных подземной страны и знание ведущих туда путей. Самый известный из «путеводителей» в Шамбалу составил Панчен-лама III, живший в XVIII веке. В 1915 году, в Мюнхене, тибетолог Альберт Грюнведель опубликовал немецкий перевод этого сочинения, но маловероятно, что Унгерн его читал. Кое-что он, видимо, знал о Шамбале и раньше, остальное услышал от своих монгольских соратников и советников.

Ивановский рассказывал Хитуну о каком-то ламе, предсказавшем Унгерну «абсолютную победу во всех его военных начинаниях», если тот пошлет «драгоценные подарки хану подземного царства». Лама клялся, что он один знает, где расположен вход в это царство. Поверив ему, Унгерн отправил с ним дары владыке «подземелья», но прикарманить их послу не удалось. Приставленные к нему казаки, убедившись, что найти вход в Шамбалу он не может, доставили его обратно к Унгерну, и тот велел выпороть обманщика. Подлинность этой истории сомнительна, но никому бы в голову не пришло рассказать ее о Семенове, Резухине или Сипайло. Любой исторический анекдот достоверен в том смысле, что рождается из ауры, окружающей его героя.

Считалось, что ханы Шамбалы властвуют по сто лет, и Панчен-лама III объявил, что он сам в одном из своих будущих перерождений станет последним, 25-м ханом Шамбалы под именем Ригдан-Данбо (по-монгольски — Ригден Джапо) и начнет священную «северную войну» с неверными-лало. Это произойдет на восьмом году его

правления, по христианскому летоисчислению — в 2335 году. Вначале будут побеждать ладо, но в конце концов победа останется за воинством Шамбалы, «желтая религия» распространится по всему миру, после чего сойдет на землю Будда Майтрейя — буддийский мессия и владыка будущего.

В августе 1921 года, при занятии Урги красными, среди брошенных в штабе Азиатской дивизии бумаг нашли русский перевод обращенной к Майтрейе «Молитвы о рождении в Шамбале». Ее автором был все тот же Панчен-лама III Лубсан Балдан Еше, а в число штабных документов она попала потому, видимо, что в ней содержалось детальное описание «северной войны». Предсказывалось, что сам Ригден Джапо сразится *слало* «на каменном коне, сильном, как ветер, с коротким копьем в руках», с ним будет 40 тысяч «больших слонов диких», четыре миллиона «слонов бешеных» и воины «на золотых колесницах»^[175]. Возможно, та гордость, с какой Унгерн подчеркивал многонациональный состав своего «войска», связана не только с его стремлением показать, что большевистскому интернационализму он способен противопоставить свой собственный, но и с приводимой здесь характеристикой войска Ригден Джапо: оно будет состоять «из различных национальностей».

Отсюда же Унгерн почерпнул свои сведения об «огненных телегах», на которых желтая раса двинется в поход на белую — под ними надо понимать «золотые колесницы». Вероятно, эти «телеги» первоначально фигурировали в устном переводе «молитвы», сделанном для него кем-то из монголов, кто знал тибетский язык, но кому русское слово «колесница» было попросту не знакомо. Затем Унгерн поручил письменный перевод человеку более образованному, однако злополучные «телеги» так и засели в его памяти.

В то время многие воспринимали Тибет как очаг будущих мировых потрясений. Не случайно в фантастическом романе Петра Краснова «За чертополохом» (1922) именно здесь, в одном из монастырей, умирает великий князь Михаил Александрович, и отсюда же возрожденная Белая армия отправляется освобождать Россию от большевиков.

Оссендовский мог рассказать Унгерну то, о чем написал позже со ссылкой на перерожденца Нарабанчи-хутухту. Излагая свое видение, тот якобы говорил: «Вблизи Каракорума и на берегах Убса-Нора вижу я огромные многоцветные лагеря, стада скота, табуны лошадей и синие юрты предводителей. Над ними развеваются старые стяги Чингисхана... Я не слышу гула возбужденной толпы, певцы не поют монотонных песен гор, степей и пустынь. Молодые всадники не радуются бегу быстрых коней. Бесчисленные толпы стариков, женщин и детей стоят одиноко, покинутые, а небо на севере и на западе, всюду, куда достигает глаз, покрыто красным заревом. Слышен рев и треск огня, и дикий шум борьбы».

Это же предсказание слышали, но не поняли Гюк и Габе, а Владимир Соловьев преобразил его в пророчество о завоевании Европы народами желтой расы из «Краткой повести об Антихристе». Позднее оно было взято на вооружение Николаем Рерихом, пытавшимся заинтересовать Москву обещанием скорого пришествия Майтрейи, которое толковалось как начало коммунистической революции в Азии. Посетив Улан-Батор в 1926 году, Рерих фиксировал им же распространяемые слухи о том, что «Шамбала идет», подарил Монгольскому правительству свою картину с изображением вестника Ригден Джапо под красным знаменем и сочинял стихи от лица Майтрейи: «Знаком семи звезд открою врата, огнем явлю моих подданных». В надежде на поддержку Москвы супруги Рерихи

готовы были объявить большевиков воителями Шамбалы, в то время как Унгерн видел в них ее демонических врагов. Авангардом интернациональной армии Ригден Джапо он считал монголов. В надвигающейся эсхатологической войне светлых и темных сил им, отверженным и нищим, отводилась та же судьбоносная роль, какую марксизм признавал за пролетариатом — роль главного могильщика старого мира. Это представлялось тем очевиднее, что в Монголии начала XX века на должность главного полководца Ригден Джапо, Хануманды, ученые ламы единодушно назначали ургинского хутухту в одном из его перерождений. Находясь рядом с ним, Унгерн чувствовал себя в эпицентре близящихся мировых потрясений.

Русскую революцию он считал началом конца всей западной цивилизации. Разрушить ее должно было апокалиптическое столкновение «двух враждебных рас», причем, по его словам, «собравшихся вкупе». После победы желтой расы ожидалось явление Михаила, но возможность этой победы Унгерн соотносил с буддийской экспансией на запад. В плену он говорил, что кочевники смогут покорить Сибирь только при условии «проникновения буддизма в среду русских». Предполагалось, надо думать, и его дальнейшее триумфальное шествие на запад.

Казалось бы, у тех, кто допрашивал пленника, подобные мысли не могли не вызвать сомнений в его вменяемости, однако по протоколам это не заметно. Время было такое, что самые безумные идеи не выглядели ни фантастическими, ни даже просто неосуществимыми. Спустя пять лет Елена Ивановна Рерих, соблазняя Чичерина перспективой «буддийской революции», совершенно в духе Унгерна писала, что «учение Гаутамы должно легко проникать в народ» и

что Европа будет потрясена «союзом буддизма с ленинизмом».

На первый взгляд нет никакой логики в том, что библейский Михаил появится на руинах России и Европы, поглощенных «желтым потоком» и обращенных в «желтую веру». Однако противоречие исчезает, если на место «Михаила, князя великого», в ком Унгерн не мог не узнать архангела Михаила, предводителя небесного воинства в последней битве сил Света и Тьмы, поставить не Михаила Романова, а Будду Майтрейю, по-монгольски — Майдари. В китайской транскрипции — Милэ, имя буддийского мессии и вовсе приближается к имени спасителя из Книги пророка Даниила.

О существовании этого чрезвычайно чтимого в Монголии и Тибете божества Унгерн, безусловно, знал и по крайней мере однажды, в день коронации Богдо-гэгэна, побывал в столичном Майдари-Сум. Вряд ли ему известны были все детали пребывания Майдари на небе «Тушита» — в мире богов на вершине горы Сумеру, где ныне он находится в чине бодисатвы, но достаточно было усвоить главное: его явление человечеству состоится после триумфа Шамбалы, когда «колесо учения» прокатится по всему миру и все народы земли объединятся под скипетром праведного властителя-*чакравартина*, каковыми в прошлом признавались Чингисхан и Хубилай. Затем наступит вселенское царство Майдари — принципиально новый период всемирной истории, своего рода постистория. Поэтому Майдари изображался восседающим на лotosовом троне со спущенной вниз одной ногой — в знак готовности сойти на землю.

Ожидалось, что воинство Шамбалы выйдет из недр земли не раньше, чем нарастающая с каждым поколением испорченность мира достигнет того предела, за которым он просто не сможет

существовать. Приходу Майдари будут предшествовать обычные перед концом света бедствия: эпидемии, смуты, войны, голод, упадок нравов, физическое вырождение человека и животных — словом, всё то, что, по пророчеству Даниила, предвещало пришествие Михаила и что Унгерн в годы Гражданской войны наблюдал в настоящем или предвидел в ближайшем будущем.

Он, возможно, со всей определенностью так и не сформулировал для себя тезис о том, что «северная война» и Армагеддон, архангел Михаил и Ригден Джапо как воплощение Майтрейи-Майдари есть не более чем разные имена одних сущностей, и уж тем более не хотел распространяться об этом перед красными командирами и политработниками, но если это так, тогда разнородные элементы его сумбурной эсхатологии уже не кажутся противоречащими друг другу. Реставрация европейских монарших домов и династии Цин становится прологом вселенской теократии синкретического толка, вера в богооткровенность Священного Писания легко согласуется с прогнозом о близком конце христианского Запада и торжестве буддизма, а сведения о возникшем в Вавилоне «еврейском интернационале» — с представлениями об издавна противостоящих ему и действующих в столь же глубокой конспирации обитателях Шамбалы. В этом случае система взглядов Унгерна обретает завершенность, цельность и абсолютную самодостаточность, свойственные продуктам параноидального мышления. Она мало отличается от аналогичных концепций легиона доморощенных мистиков теософской закваски, скучных психопатов или энтузиастов-самоучек, и не представляла бы никакого интереса, если бы ее автор складывал эти кубики за письменным столом, а не в

монгольской степи, ощущая себя и пророком, и первой зарницей близящейся грозы.

НАКАНУНЕ

1

Вернувшись из Ван-Хурэ в Ургу, Унгерн продолжил подготовку к походу на Советскую Россию. Тогда же он задумался о необходимости идеологического обоснования этой акции, в итоге появился программный «Приказ русским отрядам на территории советской Сибири», известный как «Приказ № 15». Отпечатанный в консульской типографии в большом количестве экземпляров, он, в отличие от других связанных с Унгерном документов, не был погребен в архивах и не раз воспроизводился в советской и эмигрантской печати. Кто-то называл его «мистическим», кто-то — «живодерским», а Рябухин рассматривал этот странный циркуляр как «продукт помраченного сознания». Здесь, несомненно, отразились идеи Унгерна, хотя сам он едва ли приложил к нему руку, выступая, главным образом, в роли заказчика и редактора. Непосредственное авторство принадлежало, по одним сведениям, Оссендовскому и полуфиктивному начальнику штаба дивизии Ивановскому, по другим — приказ был плодом коллективного творчества не только этих двоих, но еще и Войцеховича, и Тизенгаузена, и его жены Архангельской — ургинской симпатии барона. Голубев сообщает, что пятеро соавторов трудились над ним в течение трех дней, распределив, очевидно, между собой параграфы чисто военного и политического содержания. Результатом их усилий и стал знаменитый «Приказ № 15», «равного которому не помнит русская история».

«Вы, кажется, воевали на своем веку порядочно и знаете, что этот приказ является совершенно необычным», — обращаясь к пленному барону, констатирует один из членов следственной комиссии. «Думали ли вы, что он будет распространяться помимо ваших войск, попадет к населению?» — спрашивает другой. Утвердительный ответ не избавляет следователей от недоумений: «Вы знали состав населения: казаки и инородцы. Разбираться в такой отвлеченной философской штуке, как этот приказ, для них трудно». Следует еще несколько аналогичных соображений, призванных уличить Унгерна в нежелании раскрыть подлинные мотивы издания «Приказа № 15», наконец тот не выдерживает и отвечает коротко: «Судьба играет роль. Приказ остается бумагой».

На другом допросе Унгерн объяснил, что издал этот приказ с целью «придать большее значение походу», однако особых надежд на него не возлагал, и вообще — «бумага все терпит». Сам же он надеялся не на приказ, а на «военное счастье, всегда ему сопутствовавшее и лишь теперь изменившее».

В преамбуле чувствуется легкое перо Оссендовского. Литературную карьеру он начинал как русский, а не польский писатель, к тому же набил руку на таких воззваниях, когда служил в Осведомительном отделе у Колчака. Впрочем, и Архангельской с ее бойким умом вполне по силам было имитировать стиль тогдашней казенной публицистики правого толка: «Россия создавалась постепенно, из малых народностей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии особенностью государственных начал. Пока не коснулись России в ней по ее составу и характеру не применимые принципы революционной культуры, она оставалась могущественной, крепко сплоченной Империей.

Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд. Народ, руководимый интеллигенцией, как общественно-политической, так и либерально-бюрократической, сохраняя в недрах своей души преданность Вере, Царю и Отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной, теряя прежнее, давнее величие и мощь страны, устои, перебрасываясь от бунта с царями-самозванцами к анархической революции и потерял самого себя». И т. д.

Затем идут параграфы, определяющие маршруты движения войск, способы создания повстанческих отрядов, их тактику, порядок снабжения и пр. Их автором были, вероятно, Ивановский и Войцехович, но наверняка дело не обошлось без подробных устных, а то и конспективных письменных указаний Унгерна.

В этой части приказа наибольшую известность приобрели два пункта, посвященные методам санации захваченных территорий.

Это 9-й: «Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями. Все имущество их конфисковывать».

И 10-й: «Суд над виновными м. б. или дисциплинарный, или в виде применения разнородных степеней смертной казни. В борьбе с преступными разрушителями и осквернителями России помнить, что по мере совершенного упадка нравов в России и полного душевного и телесного разврата нельзя руководствоваться старой оценкой. Мера наказания может быть лишь одна — смертная казнь разных степеней. Старые основы правосудия изменились. Нет «правды и милости»^[176]. Теперь должны существовать «правда и безжалостная суровость». Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе

человека, должно быть вырвано с корнем. Ярости народной против руководителей, преданных слуг красных учений, не ставить преград. Помнить, что перед народом встал вопрос «быть или не быть». Единоличным начальникам, карающим преступников, помнить об искоренении зла навсегда и до конца, и о том, что справедливость — в неуклонном суде».

Все это — идеи самого Унгерна. Эксцентричный 18-й пункт тоже не мог возникнуть без его вмешательства, здесь ощущается типичная для фронтовика неприязнь к штабным, усилившаяся в годы Гражданской войны, когда штабы в белых армиях разрослись до немыслимых пределов. На такие должности рекомендовалось назначать «поляков, иностранцев и инородцев», а для того, чтобы отделить «эту сволочь», как называл Унгерн тыловиков, от строевых солдат и офицеров, им предписывалось носить погоны не вдоль плеча, а поперек.

Завершается приказ предсказанием пророка Даниила о «Михаиле, Князе Великом» и сроках его пришествия: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1330 дней»^[177].

Далее между этими словами и подписью Унгерна содержится лишь заключительный краткий призыв к «стойкости и подвигу».

Те, кто допрашивал его в плену, поинтересовались, естественно, почему он не оборвал цитату раньше, для чего счел нужным привести эти две цифры. Унгерн ответил, что 1290 дней должны пройти «с момента издания декрета о закрытии церквей до начала борьбы, а 1330 — до освобождения от большевиков».

Имеется в виду изданный 20 января (2 февраля) 1918 года Декрет об отделении церкви от государства.

Однако если считать с этого дня, то «до начала борьбы», то есть до выступления Азиатской дивизии из Урги, прошло не 1290 дней, а приблизительно на три месяца меньше. Зато эти недостающие месяцы как раз появляются, если вести счет с октябрьского переворота. В таком случае все совпадает практически день в день.

Сомнительно, чтобы Унгерн сам, с карандашом в руке, занимался подобными подсчетами. По-видимому, кто-то подсказал ему возможность соотнести эти цифры с датой похода в Забайкалье, а он не стал вдаваться в детали. Достаточно было и того, что реальные сроки приближаются к указанным в Священном Писании.

Отношения Унгерна со временем складывались непросто. Его планы были настолько грандиозны, что недели и месяцы мало что значили, все было погружено в вечность. Вдобавок в Монголии он с европейского времяисчисления постепенно перешел на восточное, чтобы удобнее было иметь дело с ламами и чиновниками и не путаться со старым стилем и новым, который к 1921 году одни эмигранты начали признавать, а другие по-прежнему отвергали. Три календаря — юлианский, григорианский и лунный — наложились друг на друга и произвели окончательную сумятицу в его памяти, без того не блестящей во всем, что касалось чисел. Нередко на допросах ему не удавалось вспомнить точные даты даже относительно недавних событий. «Мне трудно восстановить, — признался он однажды, — я все лунными месяцами считал».

Воссоздать посуточную хронологию своего похода ему было тем сложнее, что у монголов и тибетцев счет дней в лунном месяце идет не по порядку. Астрологи заранее определяют неблагоприятные совпадения чисел с днями недели, и такие числа попросту исключаются из общего счета. Скажем, после 1-го числа какого-то месяца следует 3-е, поскольку 2-го в этом

месяце быть не должно во избежание возможных в этот день несчастий. Соответственно, чтобы не нарушался календарный цикл, какое-нибудь число удваивается, и два дня в месяце фигурируют под одной и той же датой.

К этим астрологическим ухищрениям Унгерн, вне всякого сомнения, относился серьезно, как и к цифрам, упомянутым в его приказе. Будучи не в ладах с календарем, он жил в мире разного рода цифровых соответствий, чисел благоприятных и опасных, сулящих успех или неудачу. В частности, издание «Приказа № 15» сопровождалось определенными условностями, о которых Унгерн предпочел умолчать.

Во-первых, приказ получил номер 15, хотя, как пишет Голубев, он «не был очередным номером исходящего журнала» (в этом легко убедиться, просмотрев нумерацию предыдущих приказов), да если бы и был, ему полагалось иметь номер 1, потому что в нем Унгерн впервые обратился не к одной лишь Азиатской дивизии, но ко всем «русским отрядам на территории советской Сибири». Во-вторых, опрометчиво выпущенный из типографии 13 мая, приказ был помечен не следующим или предыдущим днем, поскольку Унгерн как истинный европеец считал число 13 крайне опасным, а почему-то 21 мая 1921 года. Этот же день он выбрал для выступления из Урги к русской границе, что тоже не случайность. Здесь опять сыграла свою роль цифра 15 — фиктивный исходящий номер приказа. Причина в том, что по восточному календарю 21 мая приходилось на 15-й день IV Луны, а число «15»^[178] ламы определили как счастливое не то лично для барона, не то вообще для начала новых дел в текущем году (недаром именно в 15-й день I Луны состоялась вторичная коронация Богдо-гэгэна). Все

этой цифрью заклинались и нейтрализовывались враждебные темные силы [\[179\]](#).

Накануне похода страсть Унгерна к гаданиям превращается в манию. Он хочет знать, что ждет его по ту сторону границы. В письме к Грегори он просит, чтобы тот обратился к какому-то знакомому им обоим пекинскому «предсказателю» (очевидно, Унгерн встречался с ним в 1919 году); жена хорунжего Немчинова, находясь в Дзун-Модо, за 20 верст от Урги, на картах или каким-то другим способом гадает о будущем барона и ежедневно телефонирует результаты гаданий в штаб дивизии, откуда их немедленно, как важнейшие новости, пересылают адресату. При этом цифры становятся неизменным итогом всех гадательных процедур. Они могли представляться Унгерну тем универсальным, как в пифагорействе, языком, на котором изъясняются незримые хозяева мира.

Роковым для себя он считал число 130 — видимо, как удесятеренное 13. Оссендовский рассказывает, что при ночном посещении Гандана, выйдя из храма Мэгжид Жанрайсиг, барон повел его в «часовню пророчеств»: «В часовне оказались два монаха, певшие молитву. Они не обратили на нас никакого внимания. Генерал подошел к ним. «Бросьте кости о числе дней моих!» — сказал он. Монахи принесли две чаши с множеством мелких костей. Барон наблюдал, как они покатались по столу, и вместе с монахами стал подсчитывать: «Сто тридцать... Опять сто тридцать!»

А через несколько дней, тоже ночью, Джамбалон привел к нему в юрту популярную в Урге гадалку — полубурятку-полуцыганку. Оссендовский находился здесь же и все видел: «Она медленно вынула из-за кушака мешочек и вытащила из него несколько маленьких плоских костей и горсть сухой травы. Потом,

бросая время от времени траву в огонь, принялась шептать отрывистые непонятные слова. Юрта понемногу наполнялась благовонием. Я ясно чувствовал, как учащенно бьется у меня сердце и голова окутывается туманом. После того как вся трава сгорела, она положила на жаровню кости (бараньи лопатки, по трещинам на которых производится гадание. — Л. Ю.) и долго переворачивала их бронзовыми щипцами. Когда кости почернели, стала внимательно их рассматривать. Вдруг лицо ее выразило страх и страдание. Она нервным движением сорвала с головы платок и забилась в судорогах, выкрикивая отрывистые фразы: «Я вижу... Я вижу Бога Войны... Его жизнь идет к концу... Ужасно! Какая-то тень... черная, как ночь... Тень! Сто тридцать шагов остается еще... За ними тьма... Пустота... Я ничего не вижу... Бог Войны исчез».

Гадалка появилась в юрте барона в ночь на 20 мая, но Оссендовский, забегаая вперед и включаясь в привычную для него игру (в его книге сбываются все такого рода предсказания), замечает, что она, как и ламы из «часовни пророчеств», не ошиблась: Унгерн был казнен приблизительно через 130 дней. На самом деле, поскольку его расстреляли 15 сентября того же года, прошло на 12 дней меньше.

2

В эти же дни Унгерн нанес прощальный визит Богдо-гэгэну — «без определенной цели», как он говорил на допросе. Скорее всего, ему хотелось при личном свидании еще раз проверить, так ли уж безнадежны перспективы дальнейших отношений с Живым Буддой.

Если верить Оссендовскому, Унгерн пригласил его с собой. Тот знал, что добиться такой аудиенции чрезвычайно трудно, и очень обрадовался «представившемуся случаю». На автомобиле прибыли к Святым воротам Ногон-Сумэ, отсюда ламы провели их в тронную залу дворца — «большую палату, чьи жесткие прямые линии несколько смягчались полумраком». В глубине ее стоял пустовавший сейчас трон с обтянутыми желтым шелком подушками на сиденье. По обеим сторонам от него тянулись ширмы с резными рамами из черного дерева, а перед троном находился низкий длинный стол, за которым сидели «восемь благородных монголов». Это были члены правительства во главе с Джалханцза-хутухтой. Он предложил Унгерну кресло рядом с собой; Оссендовского усадили в стороне. Сев, барон произнес короткую речь. Он сказал, что «в ближайшие дни покидает пределы Монголии и поэтому призывает министров самим защищать свободу, добытую им для потомков Чингисхана, ибо душа великого хана продолжает жить и требует от монголов, чтобы они снова стали народом могучим и самостоятельным, соединив в одно целое среднеазиатские государства, которыми некогда правил Чингисхан».

На слушателей речь Унгерна большого впечатления, видимо, не произвела, всё это они слышали не раз. Джалханцза-хутухта благословил барона, затем обоих гостей проводили в рабочий кабинет Богдо. Комната была обставлена просто: китайский лакированный столик с письменным прибором и шкатулкой, где хранились государственные печати, низкое кресло, бронзовая жаровня с железной трубой. За креслом — маленький алтарь с позолоченной статуей Будды. Пол устилал пушистый желтый ковер, на стенах виднелись изображения знака «суувастик», монгольские и тибетские надписи. Хозяина кабинета на месте не было,

он молился в соседней комнате. Там, как объяснил секретарь, «происходила беседа между Буддой земным и Буддой небесным». Пришлось подождать около получаса. Наконец появился Богдо-гэгэн, одетый в простой желтый халат с черной каймой. Не видя, но чувствуя, что в комнате кто-то есть, он спросил у секретаря, кто это. «Хан цзянь-цзюнь, барон Унгерн, и с ним иностранец», — ответил секретарь. Оссендовский был представлен, хотя в дальнейшей беседе участия не принимал. Унгерн и Богдо-гэгэн о чем-то «говорили шепотом», без переводчика^[180]. Наконец барон «склонился перед Богдо»; тот возложил руки ему на голову, прочел молитву, потом снял с себя «тяжелую иконку» и повесил ее на шею Унгерну, сказав: «Ты не умрешь, а возродишься в высшем образе живого существа. Помни об этом, возрожденный Бог Войны, хан благодарной Монголии!» Не известно, каким образом Оссендовский понял эту речь, но ему «сделалось ясно, что живой Будда благословляет «кровавого генерала» перед его смертью».

Позднее, когда Азиатская дивизия уже двигалась к русской границе, в Цогчине и в храмах Гандана служили молебны о даровании барону победы, и ламы были искренни в своих молитвах — не только потому, что перед выступлением Унгерн пожертвовал столичным монастырям 10 тысяч мексиканских долларов. В его успехе они видели возможность избавиться от него. От поражения ничего хорошего ждать не приходилось, в таком случае или он сам должен был вернуться обратно, или на смену ему прийти красные. Однако Богдо-гэгэн, его министры и ламы заблуждались, полагая, что при победе Унгерн навсегда останется в России. Он вынашивал совсем иные планы.

Перед походом его терзали дурные предчувствия и мысли о смерти, но Оссендовский сгущает краски, рассказывая о якобы всецело владевшем им чувстве обреченности. Под его пером Унгерн, как герой античной трагедии, твердо идет навстречу року, хотя сознает, что впереди его ждет неминуемая гибель. На самом деле при всех колебаниях и сомнениях он не переставал верить в успех. Правда, использовать его он собирался иначе, нежели предполагали и его собственные соратники, и монголы.

За день до выступления из Урги, 20 мая, Унгерн писал Грегори: «Я начинаю движение на север и на днях открою военные действия против большевиков. Как только мне удастся дать сильный и решительный толчок всем отрядам и лицам, мечтающим о борьбе с коммунистами, и когда я увижу планомерность поднятого в России выступления, а во главе движения — преданных и честных людей, я перенесу свои действия на Монголию и союзные с ней области для окончательного восстановления династии Цинов, которую я рассматриваю как единственное орудие в борьбе с мировой революцией».

Победа над красными в Забайкалье была для Унгерна не целью, а средством воплотить в жизнь «выстраданный кровью», как он говорил, и «стоивший ему целого ряда мучительных бессонных ночей» давний план создания Центральноазиатской федерации под эгидой возрожденной Поднебесной империи. Затяжная война в Сибири, на Урале и на русских равнинах должна была продолжаться уже без него. На допросах он откровенно признавался, что долго воевать в России не хотел, а рассчитывал лишь «укрепить свое положение в Урге», где последнее время «нетвердо себя чувствовал». Поэтому на отвоеванных территориях не предполагалось ни образование какого-то временного правительства (по скептическому замечанию Унгерна,

«правительство всегда найдется»), ни формирование гражданских органов власти. Что касается общих принципов государственного строительства, тут он ограничился единственным кратким соображением: Россия должна «устроить внутреннюю жизнь по расам»^[181].

3

Действовать предстояло на русской территории, поэтому Унгерн впервые озаботился тем, чтобы его разноплеменное войско имело хотя бы видимость православного воинства. У Татарской сотни имелся мулла, у бурят и монголов — ламы, но у служивших в Азиатской дивизии русских вплоть до весны 1921 года не было ни походной церкви, ни священника. В Урге богослужения тоже не проводились с тех пор, как убили Федора Парнякова. Заменить его было нечем, и это мало кого тревожило, но теперь из Ван-Хурэ привезли иеромонаха Николая, заброшенного туда беженской судьбой и окормлявшего живших там русских. Перед этим он отслужил пасхальную службу^[182] в бригаде Резухина, которая выдвигалась на северо-запад, к Селенге.

Еще в начале апреля Унгерн вспомнил, что вскоре после взятия Урги его ординарец Чистяков «при разборе китайского хлама» обнаружил икону святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца. Сам Чистяков едва ли мог сказать, когда именно это произошло, но из пропагандистских соображений дату находки приурочили к 22 февраля — дню коронации Богдо-гэгэна, случайно совпавшему с Днем обретения мощей святителя Иннокентия. Полтора месяца до этой иконы никому не было дела, зато сейчас ее с помпой передали

в батарею полковника Дмитриева. В приказе Унгерна предписывалось хранить ее не только как православную святыню, но и как знак счастливого «совпадения двух великих торжеств монгольского и русского народов».

Позже, однако, в разгар приготовлений к «походу на Русь», эту икону не то по размерам, не то по значению изображенного на ней святого сочли не совсем подходящей для предназначенной ей роли и заменили другой — большой и высокочтимой иконой Богоматери «Споручница грешных» из консульской церкви. В духе монголов, сочинявших древние пророчества-тиуку, чтобы придать больший вес текущим событиям и согласовать их с вечным порядком вещей, для иконы придумали подходящую легенду, существовавшую якобы с давних времен, но забытую. Похоже, она была творением кого-то из компании соавторов, трудившихся над составлением «Приказа № 15», и гласила, будто безымянный «старец-епископ» некогда принес эту икону в ургинское консульство, предсказав: «Лютые испытания постигнут нашу родину. Когда пробьет час, то в Ургу явится полководец, призванный спасти Россию. Он пойдет на север, и успех будет сопутствовать ему при условии, что он возьмет с собой этот образ».

Для иконы «Ургинской Богоматери» сколотили специальные дроги с киотом, на которых ей предстояло сопровождать Азиатскую дивизию в походе, и торжественно перенесли опять же в расположение батареи Дмитриева — вероятно, по той причине, что в отличие от других частей в артиллерии служили почти исключительно русские.

Рано утром 21 мая 1921 года части дивизии построились в каре на площади Поклонений, с трех сторон окруженной буддийскими храмами. Для совершения христианских обрядов место было не

совсем подходящее, но отец Николай отслужил напутственный молебен. Унгерн, безразличный к официальной церковности и эмоционально с православием не связанный, на молебне отсутствовал. Он загодя уехал на автомобиле на ближайший к городу перевал Тавын-Ула, чтобы там приветствовать проходящие перед ним войска.

В 9 часов утра дивизия начала вытягиваться в походные порядки, выходя на Кяхтинский тракт. Даже не склонный к восторгам Торновский отметил, что «проводжавшие любовались войском, так оно было красочно и внушительно». В голове колонны ехали трубачи, за ними — музыканты, «исполнявшие брагурный марш», дальше — штаб Унгерна во главе с полковником Львовым (Ивановский остался в Урге) и его личный конвой из корейцев и маньчжур, «имевший распущенное знамя с вензелем и инициалами» Михаила Александровича. Следом на подобранных по мастям лошадях («если не по всей сотне, то повзводно») двигался Татарский полк Парыгина (светло-синие тырлыки, зеленые погоны и башлыки), потом — полк Маркова (темно-синие тырлыки, желтые погоны и башлыки). «Солидно громыхали пушки в верблюжьих запряжках, чинно выступавших по гладкой ровной дороге».

Торновскому вторит Голубев, оставшийся в столице и наблюдавший всю картину со стороны: «Мерно громыхая, шагом проезжала артиллерия, имея у себя в обозе громадную икону, взятую из русского консульства. Вновь сформированные китайские части оставляли желать много лучшего; посаженные на лошадей, они имели весьма печальный вид. Прошли обозы 1-го и 2-го разрядов, проехала комендантская команда, все скрылось за горами, улеглась поднятая пыль — и в Урге наступила тишина. Перестали гудеть рожки автомобилей, не слышно стало конского топота,

пьяных песен, и город обратился в тихий аул, затерянный в степях».

Для Першина это событие «прошло как-то незаметно», а Макеев пишет, что проводить унгерновцев собрался чуть не весь город, женщины плакали, расставаясь с мужьями и кавалерами. Сотни людей прожили здесь несколько месяцев, и отнюдь не все были извергами. Как всегда в такое время, люди тянулись к уюту, к старым — пусть только по наименованию — формам быта, и невенчаные пары часто считались мужем и женой.

Многие втайне радовались уходу бароновских головорезов — как, например, немка Ида Павловна, жена советника по юстиции Монгольского правительства, бурята Цогто Бадмажапова, и их дочери-подростки, которых родители от греха подальше держали взаперти, не выпуская на улицу все четыре месяца пребывания Азиатской дивизии в городе. Или как художник Владимир Шенауэр, с помощью полковника Хитрово бежавший в Ургу из семеновской тюрьмы в Троицкосавске и чудом уцелевший после убийства своего благодетеля.

Однако большинство горожан не испытывали ни печали, ни радости избавления. Одни думали, что Унгерн еще вернется, другие предвидели, что его конец неизбежен, вопрос лишь в том, сколько продлится агония. В любом случае ничего хорошего для себя не ждали. Из когда-то кипучего торгового города словно бы ушла жизнь, и кто бы ни победил — барон или красные, Урга равнодушно готовилась встретить победителя и стать его жертвой.

В самой дивизии воодушевления не наблюдалось, но чувства обреченности тоже не было. В удачу Унгерна продолжали верить, а численность противника в расчет не принималась. Взятие Урги, когда китайцы были побеждены вдесятеро меньшей армией, наглядно

показало бессмысленность подобных расчетов. Сама жизнь заставляла полагаться, как говорил Унгерн, на «случайность и судьбу». Время крови, дикости, всеобщего озверения было одновременно эпохой чудес. Гири, склонявшие чаши весов то на одну, то на другую сторону, не имели постоянного веса, словно в разное время сила земного притяжения действовала на них по-разному. Эта сила — сочувствие населения. Поэтому в считанные дни рушились режимы, казавшиеся незыблемыми, рассеивались и переставали существовать многотысячные армии, горстки фанатиков поднимали мятежи и почему-то побеждали. Причиной успеха победители выставляли правоту собственных идей и насилия побежденных, но вера в чудо не умирала ни в тех, ни в других.

«С несколькими тысячами, — пишет Волков, — из которых едва одна треть русских, остальные же — только что взятые в плен полухунхузы, полусолдаты-китайцы, необученные монгольские всадники, разрозненные шайки грабителей — чахар, харачинов, баргутов, типа шайки знаменитого Баир-гуна, — объявить войну всей России! Обладая жалкой артиллерией и боевым снаряжением, выступить против великолепно оборудованной в техническом отношении советской армии... Что это? Великий подвиг или безумие?»

Ни то и ни другое, сам же отвечает Волков на свой вопрос. Ставка вновь сделана была на иррациональную, как Божий промысел, народную стихию, но ни сам Унгерн, ни его соратники не понимали, что прежняя игра кончена, времена изменились, Азиатская дивизия идет не в ту страну, которую оставила полгода назад. Отныне там нет места чудесам, и каждая гиря на весах истории весит ровно столько, сколько на ней написано.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА

1

В плену Унгерн с гордостью говорил, что под началом у него служило «16 национальностей». Из них главные: русские, буряты, монголы всех племен, китайцы, тибетцы, татары, башкиры, чехи и японцы (последних к моменту похода в Забайкалье оставалось 60 человек). Сюда следует добавить небольшие группы корейцев, маньчжур и эвенков, а также сербов, поляков, немцев из бывших военнопленных и даже будто бы двоих англичан, неизвестно каким образом попавших в Монголию.

Впоследствии красные командиры стремились преувеличить силы Унгерна, чтобы оправдать собственные неудачи и сделать конечный успех более масштабным. Завышенные данные стекались, видимо, с разных участков фронта, в результате возникла фантастическая цифра — 10 тысяч 500 сабель. В ней отразилось не только желание победителей списать свои промахи на фантомную мощь Азиатской дивизии, которую они при этом называли не иначе как «бандой», но еще и невозможность поверить, что с такими ничтожными силами бешеный барон сумел доставить им столько хлопот.

На самом деле у него было приблизительно вдвое, а на главном направлении — втрое меньше бойцов, чем проходило по сводкам штаба 5-й армии. Общую численность дивизии перед наступлением в Забайкалье сам Унгерн определял в 3300 бойцов.

Торновский со всей доступной ему детальностью произвел подсчеты по обеим бригадам, полкам,

дивизионам, отдельным ротам и командам. Из них явствует, что непосредственно у барона было 2100 бойцов, включая пулеметчиков и артиллеристов, у Резухина — 1500. В сумме получается 3600 — чуть больше, чем называл Унгерн. При этом нужно учитывать, что от трети до половины его сил составляли монголы, способные преследовать бегущих, но отступавшие при малейших признаках сопротивления, и пленные китайцы, не от хорошей жизни пошедшие к нему на службу. Отряды Казагранди, Казанцева, Тубанова и других командиров рангом пониже насчитывали еще до тысячи сабель, но все они после первых неудачных стычек с красными не принимали участия в дальнейших боях. Кайгородов подчиниться Унгерну отказался и действовал самостоятельно.

Пехотных частей в дивизии не было, пулеметов имелось десятка три, орудий около дюжины, в основном трофейные — горные пушки и так называемые «аргентинки», закупленные китайцами в Южной Америке. Снаряды были только «горные»; к «аргентинкам» они подходили весьма относительно и при установке прицела на пять верст ложились в версте с небольшим. Винтовок и патронов хватало с избытком, но ни радиостанций, ни полевых телефонов не было. Походные кухни отсутствовали. Монголам выдавался так называемый чингис-хановский паек — три барана в месяц на человека; остальные получали по четыре фунта мяса и золотник чая в день и котелок муки на два дня. Из нее пекли лепешки.

Пункт 18 «Приказа № 15» (о ношении поперечных погон теми, кто состоит на нестроевых должностях) вызвал «бурю возмущения», к Унгерну явилась депутация от обиженных, и он это распоряжение отменил, но сама идея демонстрирует свойственное ему стремление как можно более точно обозначить ранг

подчиненных с помощью внешних символов, трактуемых как выражение их человеческой сути (штабные были для него существами низшего порядка). Вообще он придавал огромное значение покрою и цвету обмундирования и всяческим знакам различия. За этим скрывалась, может быть, не только необходимость как-то упорядочить свое полуанархическое «войско», но еще и потребность в строгой ранжированности окружающего пространства, потому лишь и способного противостоять агрессивному хаосу жизни, что в нем все определено, названо, расставлено по местам. В этом он тоже напоминал Павла I, с которым его неоднократно сравнивали.

На марше Унгерн попеременно шел то с одной частью, то с другой, чтобы, по его словам, «подтягивать людей». При переходах полагались главным образом на проводников, карты были не у всех командиров, а многие вообще не умели по ним ориентироваться. Сам Унгерн не очень-то владел этим искусством штабных умников.

У Резухина и нескольких колчаковских офицеров имелась самая точная на тот момент карта Монголии, вычерченная инженером Лисовским, который изобрел способ лить пули из стекла, но Унгерн ею не пользовался. «В отношении карт барон был большим оригиналом, — с добродушной иронией пишет Князев. — Он постоянно держал в кармане своего тарлыка свернутую рулоном полосу, вырезанную, вероятно, из карты Российской империи. На этой «походной» карте он в любой момент мог легко отыскать и Владивосток, и Москву, и Варшаву, и все крупные промежуточные города. При грандиозности планов барона ему неудобно было пользоваться картами иного, более крупного масштаба»^[183].

Чтобы иметь достаточно подножного корма для лошадей, дивизия шла на север несколькими колоннами параллельно Кяхтинскому тракту, рядом с которым травяной покров был потравлен до голой земли. В долине Хары, где жили китайцы и приученные ими к земледелию монголы, Унгерн пополнял запасы муки, тем временем отряд Тубанова пересек границу в районе Акши, а Казагранди — на юге Иркутской губернии. Расстояние между этими крайними флангами составляло сотни верст, чтобы восстания вспыхнули одновременно в разных местах, но оба отряда почти сразу были разбиты и отброшены обратно в Монголию.

В Кяхте-Троицкосавске, куда направлялся сам Унгерн, находились цирики Сухэ-Батора, 200–300 пехотинцев из бывших партизан и Сретенская кавбригада войск ДВР — всего около полутора тысяч штыков и сабель. Силы Советской России, располагавшиеся в нескольких десятках километров к западу, были гораздо значительнее. Из сосредоточенных здесь частей 5-й армии самой крупной была 35-я стрелковая дивизия. В ней на 19 тысяч едоков приходилось до восьми тысяч строевых бойцов, 24 орудия и 150 пулеметов. «Партийная прослойка» достигала 13 процентов.

Оборона приграничных районов строилась в три эшелона, по всем правилам военной науки: на границе — небольшие заслоны, в полусотне километров от них — отряды силой до батальона, а еще на таком же расстоянии вглубь советской территории — до пехотного полка на каждом из возможных направлений прорыва. Определить их было несложно, все пути из Монголии на север проходили по речным долинам. Штаб 5-й армии и командарм Михаил Матиясевич, бывший полковник, находились в Иркутске.

О том, с каким противником ему предстоит встретиться, Унгерн не имел ни малейшего понятия.

Раньше он воевал или с партизанами, или с не многим отличавшимися от них войсками «буферной» Дальневосточной республики и считал, что регулярные части Красной армии представляют собой примерно то же самое. Ему казалось, что в России все обстоит как при Керенском — банды мародеров, «штабы в вагонах», не способные управлять ничем и никем, и такая же анархия, если не хуже. «Я это первый раз вижу, — признал он в плену, имея в виду организацию и боевые качества советских войск. — Я с «буфером» все время воевал. Получались белые газеты, но там говорится, что в Красноярске женщин по карточкам выдают, и тому подобные сведения». Его спросили: «Вы этому верите?» Он ответил уклончиво: «Все может быть».

Напротив, в Забайкалье неплохо были осведомлены о том, что творилось в Урге, и не в последнюю очередь — из харбинских газет. Унгерн говорил, что эти газеты «ненавидят его больше, чем красных». Китайские беженцы и дезертиры тоже немало о нем порассказали. В городах барона боялись, как огня, а на сочувствие крестьян тем более рассчитывать не приходилось. Семеновщину в этих местах еще слишком хорошо помнили.

На протяжении четырех месяцев истребляя мнимых большевистских агентов, до настоящих Сипайло так и не добрался. В Иркутске и Чите знали о приготовлениях и передвижениях Унгерна, но полагали, видимо, что дело не пойдет дальше пограничных провокаций с целью заманить советские войска в Халху, а затем обвинить Москву в покушении на ее независимость. Что он решится на открытое вторжение, мало кто верил. Такая авантюра лишила бы его всех политических козырей, да и в военном отношении представлялась абсолютно безнадежной.

Торновский рассказывает, что по дороге к границе дивизию нагнал прискакавший из Урги сотник Еремеев,

агент барона в Хайларе. Он будто бы привез Унгерну письмо Семенова с предложением уступить Монголию китайцам и уйти в Маньчжурию; взамен Чжан Цзолин гарантирует им свое содействие при наступлении в Забайкалье. Унгерн, однако, на это не пошел и продолжил движение на север.

«Пожалуй, у него и не было другого пути, раз им была приведена в действие большая и сложная машина. Остановить и изменить ее работу было трудно без поломки», — резюмирует Торновский, вспоминая при этом сентенцию о брошенном жребии и перейденном Рубиконе, которая в этой ситуации не кажется ни выпренней, ни банальной.

2

1 июня бригада Резухина, пройдя вдоль рек Темур и Желтура, первой перешла границу ДВР. Монголы, окончательно удостоверившись, что их ведут на войну с Россией, заупрямились было, но каратели Безродного, «взяв в сабли» первых попавшихся четырех всадников, подавили бунт в зародыше.

Глубокая разведка не велась; на следующий день, продвигаясь на север, Резухин обнаружил, что узкая, не более версты шириной, долина Желтуры перегорожена окопами с проволочными заграждениями. Командир 35-й дивизии, 24-летний латыш Константин Нейман стянул сюда три стрелковых полка с артиллерией, а на второй день сражения на помощь им подходит кавалерийский полк его тезки и ровесника, будущего маршала Рокоссовского. За этот бой Рокоссовский получит второй орден Красного Знамени, в приказе будет отмечено, что он «во главе кавполка врезался в самую гущу противника, лично зарубив 9 человек». У него три с половиной сотни сабель, но всего под станицей

Желтуринской сосредоточивается до двух тысяч красноармейцев. Как отмечают советские сводки, унгерновцы в бою «проявляют большое упорство», тем не менее прорваться вглубь Забайкалья им не удастся. Ночью Резухин уходит обратно на юг, а затем поворачивает к востоку. Раненный в ногу Рокоссовский бросается в погоню, однако пехота за ним не поспевает. Оторвавшись от преследователей, проделав стремительный переход по монгольской территории, Резухин вновь пересекает границу, отбрасывает редкие красноармейские заслоны и устремляется к долине реки Джиды. На этот раз наступление идет успешно: его здесь не ждали.

Тем временем Баир-гун с чахарами^[184] и частью монгольской конницы подошел к Маймачену-Кяхтинскому, он же — Алтан-Булак. Чуть севернее, но уже по другую сторону границы, лежала старинная купеческая Кяхта, рядом — Троицкосавск. В сущности, это был один город, вытянутый вдоль тракта между Верхнеудинском и Ургой.

Маймачен находился на монгольской территории, частей ДВР там не было, лишь три-четыре сотни плохо вооруженных цириков Сухэ-Батора. Их воинские умения считались в высшей степени сомнительными, но Баир-гун не знал, что они усилены пулеметной командой и калмыцким эскадром. В преддверии революционных потрясений в Халхе калмыков, хорошо зарекомендовавших себя в боях с Деникиным на Кавказе, заблаговременно перебросили сюда за неимением в Красной армии собственно монгольских формирований.

31 мая в Маймачене состоялся митинг: Сухэ-Батору вручают какую-то «почетную саблю», его цирики в строю присутствуют на этой торжественной церемонии, а спустя три дня чуть ли не четвертая их часть,

стоявшая к югу от города, в поселке Ибицик, без малейшего сопротивления переходит на сторону Баиргуна. Что произошло дальше, не совсем понятно. Не то чахары в едином порыве идут дальше — грабить Маймачен, где после двух недавних погромов все еще есть чем поживиться, и Баир-гун поневоле следует за движением масс, не то, воодушевленный легким успехом при взятии Ибицика, он сам отдает приказ об атаке, рассчитывая с налету, без поддержки главных сил, захватить резиденцию Сухэ-Батора и Временного народного правительства. Во всяком случае, днем 6 июня его конница оказывается на городских окраинах. Ядро ее составляют чахары, прочие — мобилизованные халхасцы, в том числе юноши и подростки из ургинской офицерской школы.

С юго-востока между городом и ближайшими сопками расстиралось гладкое поле шириной версты в две с половиной. На нем и разыгрались главные события дня. С бешеным воем, наводившим ужас на китайских солдат, 600 всадников Баиргуна карьером понеслись к Маймачену. Сам князь мчался в общем потоке. Им, видимо, владело упоение собственным могуществом. С китайцами он воевал уже 15 лет, начав борьбу с ними под знаменем легендарного Тогтохо, потом состоял при Найдан-ване, но самостоятельно командовать таким войском ему еще не доводилось. Всякая осторожность была забыта, в азарте атакующие проскакали мимо сидевшей в засаде пулеметной команды, однако уже в городе передовые всадники начали останавливаться, заметив приближающуюся кавалерию Сретенской бригады. В этот момент замешательства пулеметчики открыли по скупившейся коннице убийственный фланговый огонь. Монголы и чахары немедленно обратились в бегство. Напрасно Баир-гун, пытаясь удержать бегущих, метался по полю, пока под ним не убило коня и не ранило его самого.

Коновод, скакавший рядом с запасной лошадью, пытался вывезти смертельно раненного князя с поля боя, но был убит.

Теперь наступает черед Сухэ-Батора. Во главе своих цириков, оправившихся от первого испуга, он бросается в погоню. Обок с главкомом скачут «наличные члены Монгольского правительства»: кто с саблей, кто с маузером, а лама Бодо, два месяца назад отправленный из Урги в Кяхту с письмом к Чэнь И, вооружен только ручной гранатой. Впрочем, едва ли им удалось пустить в ход это оружие. Союзники Унгерна, с которыми он мечтал дойти до Лиссабона, бегут без оглядки. Один из калмыков позднее вспоминал, как, погнавшись за монголом с унтер-офицерскими погонами на халате, крикнул ему: «Стой, не то зарублю!» Тот с трудом остановил коня, прижался к гриве, с ужасом глядя на занесенную шашку, и преследователь опустил ее без удара — он увидел залитое слезами детское лицо.

Попавший в плен Баир-гун умер на койке кяхтинской больницы, его всадники рассеялись в окрестных лесах. Узнав об этом вечером того же дня, Унгерн пришел в ярость. Подвернувшийся под горячую руку командир 4-го полка Марков был избит ташуром — за то, что не удержал монголов от атаки или, наоборот, не действовал вместе с ними, но ситуацию это не исправило. Рассчитывать на внезапность нападения было уже нельзя.

3

Войска ДВР, оборонявшие Маймачен и Кяхту-Троицкосавск, не могли противостоять Азиатской дивизии, но Унгерн не стал спешить со штурмом. Дождавшись, пока соберутся все части, он занимает лесистые высоты к востоку от Троицкосавска и в

течение двух суток ничего не предпринимает, хотя разведка доносит, что красноармейцы митингуют на площади, требуя сдать город ввиду явного преимущества противника. «Я на митинги не хожу и тебе не советую», — отвечает Унгерн доложившему об этом офицеру. Спасительная для красных пауза объяснялась тем, что ламы-прорицатели предсказали ему победу 13 июня (по лунному календарю число было счастливым), если до определенного дня не будут применяться пулеметы и артиллерия.

Между 1-й и 2-й бригадами Азиатской дивизии не поддерживалось никакой связи, но у красных она была налажена отлично. Пока Резухин развивает свой бессмысленный, как оказалось, успех, понятия не имея, где находится Унгерн и как у него обстоят дела, Нейман быстро движется к Кяхте с запада, его пехота переправляется через Селенгу. Сюда же спешит партизанская конница Петра Щетинкина, успевшего отбросить Казагранди назад в Монголию, но первым с севера подходит комбриг Глазков с двумя стрелковыми полками, несколькими эскадронами и полковыми батареями. Когда утром 11 июня Унгерн дает сигнал к штурму, его сотни, нарвавшись на шквальный пулеметный и орудийный огонь, откатываются обратно в сопки. Наступление Глазкова тоже отбито после пятичасового боя, затем до вечера следующего дня продолжаются беспорядочные схватки на разных участках растянувшегося на 12 верст фронта. В плену, излагая эпизоды этого сражения, Унгерн задним числом пытался ввести его в рамки якобы имевшейся у него тактической логики, но в реальности он уже ничем не управлял; штаб как таковой отсутствовал, плана не было или командиры полков и сотен о нем ничего не знали и действовали по собственному разумению. Барон руководил боем в своей обычной манере: «как метеор», за день загнав трех лошадей, носился под пулями из

конца в конец 12-верст-ной боевой линии, ташуром подбадривая бойцов и увлекая их в контратаки. Тогда он еще мог отступить, но, как говорил на допросе, не сделал этого «принципиально».

Наступила короткая июньская ночь. Было холодно, дул северный ветер, и Унгерн, неожиданно проявив милосердие, увел дивизию ночевать в распадок между сопками. Утром он собирался возобновить наступление в расчете на обещанную ламами победу. «Барон первый раз пожалел своих соратников», — подтверждает Макеев рассказы других мемуаристов. Он запомнил, как «внизу горел огнями заманчивый Троицкосавск», унгерновцы надеялись завтра быть в городе, поэтому «нервы у всех были приподняты, и в душе у каждого ликовала буйная радость». В качестве сторожевого охранения оставили китайский дивизион, мгновенно разбежавшийся, когда на рассвете 13 июня Глазков начал занимать высоты над лагерем, скрытно приблизившись к ним в темноте. Одновременно с другой стороны ударила артиллерия Сретенской бригады — ночью она обходным маневром зашла в тыл Унгерну. Красная пехота и спешенные кавалеристы открыли ружейный и пулеметный огонь с вершин соседних холмов.

Азиатская дивизия сгрудилась на небольшом пространстве, боевые сотни перемешаны с обозами, пушками, верблюдами и бессильны против стрелков на горных склонах. Началась паника, а затем и бегство. В страшной давке две тысячи всадников, бросая раненых, устремились к узкой горловине — единственному свободному выходу из горного дефиле, ставшего для них западней. «Магия бараньих лопаток, — замечает Алешин, сам участвовавший в этом бою, — была побеждена здравым смыслом большевиков».

Возможно, Унгерн сумел бы навести порядок, но накануне он получил «слепое» ранение в ягодицу, пуля

застряла у основания позвоночника. Он с трудом держался в седле и не в состоянии был забраться на лошадь без посторонней помощи. Ранение в «позорное», как он говорил, место еще и угнетало его, мешало проявить всю свою бешеную энергию.

Полного разгрома все же удалось избежать. Командир Сретенской бригады побоялся, видимо, дробить свои силы в погоне за рассеявшимися унгерновцами, а пехота не могла за ними угнаться^[185]. На следующий день, верстах в двадцати от злополучной пади, Унгерн собрал беглецов и убедился, что людские потери не столь огромны, как казалось. Хотя врагу достались вся артиллерия, обоз с боеприпасами, две сотни верблюдов, денежный ящик и икона Богоматери «Споручница грешных», Унгерн решил, что катастрофы не произошло, противник не смог воспользоваться плодами успеха. «За пять лет русские не научились воевать. Если бы я так окружил красных, ни один ни ушел бы!» — передает Волков произнесенную им «наполеоновскую» фразу.

В начале XVIII века грек Савва Рагузинский, «пленец гнезда Петрова» и основатель Кяхты, решив заложить город на китайской границе, выбрал место для него на речке Кяхтинке, текущей не с юга на север, как все здешние реки, а в противоположном направлении. По преданию, выбор был сделан из того расчета, чтобы в случае войны китайцы не могли отравить речную воду.

Теперь, расположившись в районе Ибицика, Унгерн, как рассказывает Аноним, велел отравить цианистым калием окрестные водоемы, дабы затруднить противнику движение на юг. По свидетельству Голубева, барон, уговаривая монголов не бояться красных, успокаивал их тем, что на подходах к Иро заложены «фугасы с удушливыми газами». Той другое

кажется неправдоподобным, но основания для таких разговоров имелись: инженер Войцехович доставил в Ибицик большое количество цианистого калия, захваченного на китайских складах в Урге. Возможно, лишь с этого времени Унгерн стал носить в кармане ампулу с этим ядом, чтобы не попасть в руки красных живым.

При подготовке к походу, полагая, что для войны с «нечистыми духами в человеческом облике», то есть большевиками, годятся любые средства, он решил применить против них химическое оружие. Похоже, эту радикальную мысль подсказал ему Оссендовский, химик по образованию. В качестве исходного реактива предлагалось использовать цианистый калий, который имелся в изобилии. Идею начинить им артиллерийские снаряды взялся осуществить другой поляк, Камиль Гижицкий, служивший у Колчака и через Урянхай попавший в Монголию. С Оссендовским они были знакомы по Улясутаю. В своих мемуарах Гижицкий пишет, что «первые опыты дали неплохие результаты», но тогда Унгерну некогда было дожидаться их окончания. Зато сейчас тотальная война встает на повестку дня. Он срочно вызывает к себе Гижицкого, оставшегося в Урге, однако продолжение экспериментов пришлось отложить — в данный момент ни снарядов, ни пушек не было в наличии.

В Ургу отправлен курьер с приказом монгольскому дивизиону немедленно выступить на охрану границы. Остановить Глазкова и Неймана эти три сотни всадников не могли ни при каких обстоятельствах, но Унгерн, видимо, еще надеялся, что Москва не посмеет ввести войска в Монголию и будет действовать через Сухэ-Батора.

Дивизионом командовал хорунжий Немчинов, которого в феврале, перед штурмом Урги, китайцы подослали к Унгерну с заданием отравить его все тем

же цианистым калием. Он выступил на север, но по дороге монголы начали разбегаться, дивизион таял с каждым ночлегом. Наконец, узнав о поражении Бога Войны и о неисчислимом русском войске с множеством *ухырбу*^[186], монголы вообще отказались идти вперед под предлогом, что, во-первых, Богдо-гэгэн не благословил их перед походом; во-вторых, идет сильный дождь, а у них нет «дождевиков». Двинуться дальше Немчинову удалось лишь после того, как он вывел из строя двоих человек, избил их шашкой и арестовал.

Унгерн помчался навстречу дивизиону, встретил его на Кяхтинском тракте и, узнав о попытке неповиновения, произнес речь перед строем. Он сказал, что сам тоже ехал под дождем без дождевика, но дождевиков очень много в Троицкосавске, и когда город будет захвачен, пусть один дождевик пришлют и ему. Затем, перейдя на серьезный тон, призвал монголов храбро защищать Богдо от большевиков, а напоследок велел расстрелять тех двоих бунтовщиков, которых арестовал Немчинов. Поддержав таким образом дисциплину, он выделил ему в помощь своих тибетцев, приказал охранять переправы на Иро, а сам увел дивизию на юго-запад, к Ван-Хурэ. Там заранее была создана тыловая база с солидными запасами оружия, снаряжения и провианта.

Через разлившийся Орхон переправились вплавь, при этом Унгерн, со времен Морского корпуса отличный пловец, спас тонущего монгола. Лагерь разбили вблизи древнейшего и прекраснейшего в Халхе монастыря Эрдэни-Дзу («Сто драгоценностей»), Его храмы были построены из камней Каракорума, столицы Чингисхана и Угэдэя, разрушенной китайцами после свержения монгольской династии Юань.

Голубев точно подметил, что для стоянок дивизии Унгерн старался выбирать места, связанные с «монгольскими сказаниями». Развалины дворца Тумэн-Амалган и Каракорума с громадной каменной черепахой, когда-то охранявшей город от наводнений, для монголов были священны. Унгерн всегда пытался ассоциировать себя с их великим прошлым, но теперь он утратил ореол непобедимости, окружавший его имя после взятия Урги. Гонцы Сухэ-Батора со скоростью 200 верст в сутки за считанные дни разнесли по стране весть о поражении Бога Войны.

Прибывшему из Бангай-Хурэ, где год назад учительствовал Алешин, князю Панцуг-гуну предложено провести мобилизацию у себя в хошуне и примкнуть к Азиатской дивизии. Князь осмелился выразить сомнение в целесообразности дальнейшей борьбы с Красной армией, «снаряженной всеми необходимыми для войны машинами», а вдобавок без должного пиетета отозвался о «войске» самого барона. Взбешенный Унгерн велел его задушить, но, понимая, какое впечатление произведет на монголов расправа с хошунным князем, приказал сделать это незаметно, после того как гость покинет лагерь. Тело закопали, чтобы Панцуг-гун считался не убитым, а исчезнувшим, однако труп вскоре был найден.

Получив из Ван-Хурэ боеприпасы и пушки, Унгерн выступил дальше на запад, на соединение с Резухиным. Тот с боями сумел довольно далеко продвинуться на советскую территорию, но когда до него дошли слухи о неудаче под Троицкосавском, повернул обратно. Ему удалось сохранить все орудия и весь обоз. В конце июня 1-я и 2-я бригады Азиатской дивизии встретились в глубине Монголии, на Селенге. Унгерн вышел к ее правому берегу, Резухин — к левому.

КРУШЕНИЕ МЕЧТЫ. НА СЕЛЕНГЕ

1

В мае 1921 года среди русского населения Урги начали курсировать слухи о готовящихся убийствах всех тех, кто не выказал должного патриотического усердия или был невольным свидетелем преступлений барона. Одни говорили, что казни намечены на последние дни перед выступлением Азиатской дивизии на север, другие — что Сипайло получил от Унгерна список лиц, подлежащих уничтожению сразу после того, как войска покинут город. Едва ли не каждый состоятельный, занимавший какую-то должность и просто образованный человек, в том числе Першин, допускал, что в этом списке есть и его фамилия.

Слухи отчасти подтвердились. Унгерн привычными методами решил обеспечить спокойствие в тылу, и как только дивизия ушла из Урги, по ней прокатилась последняя полоса репрессий. Погибли несколько «маленьких», то есть в небольших чинах, офицеров, по разным причинам не принявших участия в походе (среди них должен был оказаться Волков), началась охота за семьей Мариупольских, но убийства прекратились так же внезапно, как начались. Многие были уверены, что спасением обязаны Джамбалону — как начальник столичного гарнизона он пресек попытки Сипайло вернуться к террору первых дней после взятия Урги. В частности, он спас от смерти Лаврова, которого Унгерн в телеграмме, отправленной с одной из станций на Кяхтинском тракте, приказал «кончить».

Как сообщает Голубев, примерно тогда же Джамбалон, Ивановский, Войцехович, интендант Коковин и Вольфович организовали заговор против Сипайло. За громким словом скрывался следующий осторожный план: заговорщики решили изъять награбленные Сипайло ценности и представить Унгерну в доказательство, что «самый верный его человек был таким же грабителем, как и другие, понесшие уже за грабежи наказания». Однако ящик с ценностями найти не сумели (хозяин успел его перепрятать) и после поражения под Троицкосавском послали присмирившего в отсутствие барона Сипайло сопровождать отправленные из Урги в Ван-Хурэ пушки — в расчете, что или Унгерн его «кончит», или по дороге он попадет в руки красных, но этот план тоже не удался. Макарка-душегуб, имея от своих информаторов точные данные, что на сей раз не вернется от барона живым, бросил доверенные ему орудия и бежал на восток.

Ему удалось добраться до Буир-Нора, но там его подстерег еврей Жуч, унгерновский агент в Хайдаре. С группой всадников он специально караулил беглеца вблизи китайской границы, чтобы отомстить за убитых в Урге соплеменников. Жуч жестоко избил пойманного Сипайло и, видимо, не по доброй воле передал подоспевшим китайцам. При аресте тот слезно жаловался на «сумасшедшего кровопийцу» барона, который «втянул его, мягкого гуманного человека, в свои дела»^[187].

Первым перейдя границу, Унгерн оказал своим врагам бесценную услугу: он дал им долгожданный предлог для вторжения в Монголию. Год назад Москва на это не рискнула — еще не была создана дипломатическая ширма в лице Временного народного

правительства, существовала опасность военного конфликта с Китаем, но победами под Ургой, в Гоби и на Уля-сутайском тракте барон сам расчистил советским войскам путь в Халху. Отныне Пекину не оставалось ничего иного, как со стороны наблюдать за новым поворотом событий в безвозвратно утраченной провинции.

В то время, когда обе бригады Азиатской дивизии соединились на Селенге, экспедиционный корпус 5-й армии красных под командованием Неймана перешел границу и двинулся на юг, легко сбив Немчинова с переправы на Иро. Монголы его дивизиона в беспорядке отступили и направились к Урге, но на полпути наткнулись на русско-монгольский отряд подполковника Циркулинского. Тот не без труда уговорил их присоединиться к нему.

При первом штурме столицы в ноябре прошлого года Циркулинский был тяжело ранен в грудь, в дальнейших сражениях не участвовал и по выздоровлении отправился в Хайлар за медикаментами для госпиталя. Там китайцы его арестовали, обратно он прибыл уже после того, как дивизия ушла из Урги на север. За неимением других старших офицеров Джамба-лон поручил ему руководить обороной города. Теперь, собрав всех, кого мог, Циркулинский выступил навстречу красным.

Те продвигались к столице относительно медленно. Для них главная трудность этой экспедиции состояла не в боевых действиях, а в самом процессе движения — на каменистой дороге у пехотинцев сразу начала разваливаться хлипкая обувь.

У Неймана было до восьми тысяч штыков, две с половиной тысячи сабель, 20 орудий, 200 с лишним пулеметов и четыре аэроплана. Остановить эту армаду Циркулинский, естественно, не рассчитывал; его целью было задержать противника, чтобы тыловые службы в

Урге успели провести эвакуацию. На реке Харе он решил принять бой, занял позицию и открыл огонь из своей единственной пушки, но пушка была японская, а снаряды к ней — «подпиленные» русские; они не долетали до цели, да еще и не разрывались. Монголы очень надеялись на эту пушку, и когда в ответ на ее бессильные выстрелы два шрапнельных снаряда, «со свистом разрезая воздух, разорвались над сопками, засыпав защитников Богдо свинцовым дождем», они «дрогнули и начали стекаться к лошадям». Скоро закончились патроны в пулеметных лентах, дело дошло до ручных гранат. Монгольский дивизион «распылился», а Циркулинский с оставшимся при нем маленьким отрядом «отступил в порядке» и вернулся в Ургу.

Там монголы только что отметили праздник круговращения Майдари, по традиции завершившийся скачками, состязаниями борцов и стрелков из лука. Лучники расстреливали глиняные головы китайцев, которыми в этом году заменили прежние аполитичные мишени. В монгольской и китайской части города жизнь шла обычным порядком, но в русской колонии тревога перешла в панику.

Комендантство и штаб исчезли, не позаботившись о лошадях даже для офицерских семей, не говоря уж обо всех тех, кто имел основания бояться неумолимо приближающихся победителей. Раздобыть лошадь с телегой было невероятно трудно, но и таких счастливиц не выпускали из города. Монголы, отыгрываясь за мобилизации, реквизиции и унижения со стороны русских начальников, требовали предъявить разрешение на выезд. Некоторых при этом «обобрали до верхнего платья включительно». К кому нужно обращаться за этими разрешениями, никто не знал. Богдо-гэгэн был вне досягаемости, министры ни во что не вмешивались и ни на какие просьбы не реагировали.

Осторожный Джалханцза-хутухта вообще предпочел переждать смутное время вдали от столицы.

Все доверенные лица Унгерна, включая начальников «тылового» штаба Ивановского и Войцеховича, на автомобилях бежали на восток, оставив штабную канцелярию со всеми документами, но захватив личное имущество и дивизионную казну. Старший врач Клингенберг, в обмен на деньги и драгоценности обещавший ургинским евреям спасение, а потом наводивший на них убийц, увез все награбленное, но бросил на произвол судьбы госпиталь с более чем сотней раненых. Для них не нашлось ни лошадей, ни подвод. Раненые «метались, просили, чтобы их вывезли из города, молили, грозили — все напрасно». Героем этих дней стал все тот же Циркулинский. Он провел эвакуацию госпиталя и, как капитан тонущего корабля, последним покинул столицу вечером 6 июля, когда на окраинах уже появились красные разъезды.

7 июля в Ургу вступили Нейман и Сухэ-Батор. Перед этим начальник дворцовой стражи Богдо-гэгэна, почтительно сообщая о готовности Живого Будды признать Народное правительство, встретил их в десяти верстах от города, как в былые времена встречали пекинских наместников. В тот же день Сухэ-Батор под красным знаменем, сопровождаемый непрерывно трубящим трубачом, со своими цириками триумфально проехал по главной торговой улице Урги, а затем с группой соратников отправился во дворец Богдо-гэгэна. Красноармейцы входили в город не строем, а скромными цепочками тянулись вдоль домов и лавок. Нейман прекрасно понимал, что главная роль в этом спектакле отведена не ему и не его бойцам.

Прежде всего монгольские революционеры сделали то же самое, что четыре месяца назад предпринял Унгерн: спустя три дня после занятия Урги состоялась очередная, третья по счету, коронация Богдо-гэгэна. В

отличие от двух предыдущих церемония носила камерный характер и не выходила за пределы дворцового комплекса Ногон-Сумэ, хотя точно так же символизировала избавление хутухты от чужеземцев (теперь не гаминов, а «белых бандитов») и возрождение независимой Монголии. Правда, на этот раз Многими Возведенный был утвержден на престоле в качестве уже не абсолютного, но ограниченного монарха.

Для Унгерна это было крушение мечты о средневековой буддийской теократии со стотысячной современной армией. Его любимое детище, Монгольское государство, ценой невероятных усилий созданное им в походах и сражениях, залог восстановления империи Цинов, ядро будущей Центральноазиатской федерации кочевых народов, плацдарм для борьбы с большевизмом и западным либерализмом, перестало существовать.

2

После боев под Троицкосавском проходит больше месяца. Унгерна никто не ищет, никто не гоняется за ним по горам и лесам Северной Монголии. Он предоставлен самому себе. Лишь изредка в окрестностях его лагеря на Селенге, в хошуне Ахай-Гун, появляются ватаги конных партизан и скрываются после скоротечных перестрелок. Они ведут себя, как собаки, которые нашли логовище медведя и облаивают его, но напрасно: охотника поблизости нет.

И Нейман в Урге, и Матиясевич в Иркутске, и Василий Блюхер в Верхнеудинске, недавно сменивший Эйхе на посту главкома ДВР, уверены, что опасаться нечего, смертельно раненный зверь не сумеетлизать свои раны. Между тем Азиатская дивизия все еще представляет собой грозную силу. Хотя она

уменьшилась почти на треть, ее боеспособность не слишком пострадала. В ней около двух с половиной тысяч бойцов с артиллерией и пулеметами (Торновский, после ранения ставший интендантом, выписывал мясные порции на 2700 едоков). Казначей Рерих выдал всем жалованье; из Ван-Хурэ прибыли обозы с боеприпасами и снаряжением. Патронов теперь достаточно — свыше двухсот штук на винтовку. Часть монголов разбежалась, других Унгерн сам отпустил, остальных влил в монгольский дивизион из бригады Резухи-на. Его командиром назначен князь Сундуй-гун, он же Бишерельту-гун. Унгерн полностью ему доверял, не подозревая, что через месяц тот сделает его своим пленником.

Как всегда, лагерь содержался в образцовом порядке, дисциплина поддерживалась железная. По сигналу учебной тревоги всадники в полной амуниции должны были вплавь переправляться через Селенгу. Тем, кто при этом не замочит седельную подушку, выдавалась награда. После каждого такого учения монголы недосчитывались нескольких человек — пугаясь глубины, они хватались за головы лошадей, топили их и тонули сами. Тем не менее все это продолжалось до тех пор, пока, по словам Рябухина, разлившаяся от паводка Селенга «не положила конец диким развлечениям сумасшедшего маньяка».

Когда появились пушки, Гижицкий вместе с приданным ему в помощь артиллерийским капитаном Оганезовым продолжил опыты по созданию химического оружия. Шрапнельный снаряд разряжался, внутрь зарядного стакана вкладывали цианистый калий и трубку с серной кислотой. Если такой снаряд перевернуть незадолго до выстрела, кислота растворяла тонкую перегородку из цинка и в результате реакции с цианистым калием давала синильную кислоту. При разрыве она рассеивалась над

противником, действуя как отравляющее вещество. Во время Первой мировой войны немцы по такой технологии заряжали ручные гранаты, но для снарядов она оказалась непригодной — концентрация кислоты в воздухе была слишком незначительной. Гижицкий с Оганезовым испытали это сверхоружие на пасшихся в стороне от лагеря лошадях, однако на них оно никакого впечатления не произвело.

Опыты прекратили, но Унгерн оставил Гижицкого при себе. Он всегда нуждался в культурном человеке одного с собой круга, способном не только выслушивать его монологи, но и вежливо оппонировать. В Харбине эту роль играл при нем Саратовский-Ржевский, которому Унгерн впервые рассказал о возможности с помощью монголов вернуть Европу к ее «золотому веку»; в Урге — Ивановский, Архангельская, Тизенгаузен, Оссендовский. С ними он мог позволить себе роскошь беседы о своих предках-рыцарях, о буддизме, о «проклятии Вавилона», Достоевском и Ницше.

Первое время бригада Резухина располагалась на левом, луговом берегу Селенги, а части, пришедшие с Унгерном — на правом, высоком и каменистом. Распадки между холмами здесь кишели гадюками, ежедневно кто-нибудь страдал от их укусов. Воспаление переходило в лихорадку с высокой температурой, а иногда заканчивалось временным параличом конечностей. На лошадей яд действовал сильнее, некоторые умирали, но Унгерн строжайше запретил убивать змей: ламы предсказали ему неудачу в войне, если будет убита хоть одна змея. Вероятно, они же определили место для лагеря, поэтому на все просьбы перевести бригаду на другой берег, где змей было меньше, барон отвечал отказом и сделал это лишь после того, как начались налеты красных аэропланов. На левом берегу можно было укрываться от них в лесу,

но сам Унгерн так и остался на правом. Он купался, вечерами читал при свече в палатке. Погода стояла прекрасная. Это были последние спокойные дни в его жизни.

Мост, еще в апреле построенный Резухиным, снесло паводком; для доклада командиры частей переплывали реку на лодках и высаживались у обрыва, на вершине которого разместился Унгерн с синклитом своих лам, комендантской командой Бурдуковского и штабом нового состава. Прежний был разогнан за то, что не позаботился зарыть или убрать подальше от лагеря разлагающуюся на солнце тушу мертвого быка.

Поскольку Унгерн находился на одном берегу, а боевые части — на другом, это давало относительную свободу от его надзора. Возможно, уже тогда среди бывших колчаковцев, хорошо знавших друг друга по службе у Дутова и Бакича, сложились зачатки той конспиративной организации, которая позднее поднимет мятеж в Азиатской дивизии. Очевидно, это имел в виду Рябухин, писавший, что «конец барона и всей его авантюры мог бы наступить гораздо раньше, если бы он не втянул дивизию в новые походы и сражения».

Поначалу, отступая не прямо к столице, а в базовый лагерь Резухина на Селенге, Унгерн собирался ударить во фланг красным, когда те начнут продвигаться на юг. Он не думал, что это случится так скоро. Ему казалось, что цирики Сухэ-Батора не посмеют сразу наступать на Ургу, а регулярные советские войска будут входить в Халху отдельными группами под видом «партизанских отрядов», как то было и раньше. Стремительный марш 11-тысячного экспедиционного корпуса Неймана, за десять дней дошедшего до Урги, стал для Унгерна полной неожиданностью.

Новое правительство уже издает первые указы, а он только получает известия о падении столицы. Перед

ним встает роковой вопрос: что делать дальше? Часть офицеров, многие казаки и почти все мобилизованные в Урге колонисты и беженцы оставили там свои семьи, но на вопрос об их будущем Унгерн отвечает, что «настоящий воин не должен иметь никаких близких», так как тревога за них уменьшает храбрость. Вторичный штурм Урги не входил в его расчеты, в то же время нужно было куда-то идти, чтобы «войско» не разложилось. Все надеялись, что теперь, лишившись поддержки Богдо-гэгэна и монгольских князей, он поведет дивизию на восток, в Маньчжурию, но к середине июля у него созрел другой план.

Тогда же Унгерн узнал, что Казагранди, потерпев неудачу в первых боях, не выполнил приказ идти на соединение с главными силами, а решил отказаться от дальнейшей борьбы и уходить в Тибет. Об этом сообщил один из его офицеров, сотник Сухарев, прискакавший на Селенгу с группой казаков. Торновский видел, как они с Унгерном, о чем-то разговаривая, долго сидели вдвоем на берегу, «на круче обрыва». К вечеру Сухарев покинул лагерь, увозя с собой «листочек полевой книжки» барона с лаконичным приказом расстрелять Казагранди как изменника, возглавить отряд и привести его на Селенгу. Чтобы Сухарева самого не обвинили в измене, приказ был отдан не в устной, как обычно, а в письменной форме. Позднее выяснилось, что Сухарев исполнил только первую его половину. Он убил Казагранди, о чем Унгерн уже не узнал, но, заняв место убитого, вполне этим удовлетворился и повел отряд на восток.

«Удивляет во всей истории то, — замечает Князев, — что безусловно храбрый и решительный в прошлом боец Казагранди позволил себя легко, без борьбы, арестовать, отлично сознавая, что вслед за арестом обязательно и быстро последует смерть. Но таково уж

свойство настоящего большого террора, что он прежде всего парализует желание бороться за свою жизнь, а затем — даже и за честь»^[188].

«В каком месте сотник Сухарев нашел отряд Казагранди, точно не известно, — пишет Торновский. — Каким образом он сумел убить начальника отряда среди многих преданных ему офицеров и бойцов, тоже не известно, так как я в эмиграции не встречал людей из его отряда — свидетелей кровавой драмы, но не подлежит сомнению факт смерти доблестного полковника Казагранди»^[189].

Лишь в 1940 году подробности раскрыл Алешин в своих мемуарах, изданных в Лондоне и через фронты Второй мировой войны не дошедших ни до Харбина, ни до Шанхая. Он рассказывает, что Унгерн отправил его с Селенги в группе сопровождавших Сухарева казаков. В районе Эгин-Дабана, догнав уходивший на юг отряд Казагранди, они ночью, на биваке, сняли часовых, завладели оружием отряда, проникли в палатку спящего командира, под дулами винтовок разбудили его и на коне вывезли в сопки. Там казаки насмерть забили Казагранди ташурами: «Тело посинело, затем покраснело, а затем из ран хлынула кровь»^[190].

Жестокость расправы Алешин объясняет местью за расстрелянных весной двоих офицеров, братьев Филипповых, но версия сомнительна — все знали, что Филипповы убиты Безродным. Алешин ненавидел Казагранди и мог свалить на него этот грех, чтобы оправдать безжалостность палачей, ведь он сам был пусть не участником, но свидетелем казни. Почему она оказалась столь чудовищной, не понятно. Если исключить чьи-то личные счеты, возможны два варианта: или у Казагранди хотели добиться сведений о зарытом им кладе, или казаки-забайкальцы, не оставившие надежду вернуться домой и не желавшие

уходить далеко от родных станиц, расправились с ним за попытку насильно увести их в Тибет. В таком случае по иронии судьбы его гибель предвещала конец самого Унгерна, павшего жертвой аналогичных планов. Сейчас он счел их изменническими, но позже ситуация заставит его выбрать тот же маршрут.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

1

19 июля Унгерн отправил в Ургу кого-то из монголов с письмом Богдо-гэгэну. «В настоящее время, — писал он хутухте, — узнав о положении дел вообще и, в особенности, о Джамболон-ване^[191], мне чрезвычайно стыдно не только перед Богдо-ханом, но перед последним монголом, и было бы лучше, если б поглотила меня земля. О том, что нужно делать в будущем, ведают только особы высокого происхождения. Мне, простому смертному, не ведомо повеление Бога. Думая умом простого человека, полагаю, что занятие Урги русскими красными войсками весьма опасно для Богдо-хана, Маньчжуши и других праведных чиновников. Наконец они (красные. — Л. Ю.) всех ограбят и оставят нищими. Так они делают не только в России, но и в других многих государствах. А потому, по моему мнению, будет лучше, если Богдо-хан на время переедет в Улясутай».

Этот город, куда отступил отряд Казанцева, Унгерн хотел сделать своей новой базой. Он не мог знать, что через три дня после отсылки этого письма Улясутай будет захвачен цириками Хатон-Батора Максаржава, уже перешедшего на сторону красных.

«В настоящее время, — продолжал Унгерн, объясняя нежелание идти на Ургу, — для меня лучше вступить в пределы России и увеличить свои силы надежными войсками, которые не будут поддаваться обману красной партии. Увидев это, красные, боясь быть отрезанными, наверное, вернутся обратно (в Россию. —

Л. Ю.). Правительство Сухэ-Батора и другие будут легко ликвидированы, если не будет помощи красных».

Попутно вкратце разъяснялись «сущность и задачи» большевизма: «Эта партия является тайной еврейской партией, возникшей 3000 лет назад для захвата власти во всех странах, и цели ее теперь осуществляются. Все еврейские государства тайно и явно пошли за ней, осталась только Япония. По заветам нашего Бога, Он должен услышать мучения и страдания народа и разбить голову этого ядовитого змея. Это должно случиться в 3-м месяце этой зимы»^[192].

Затем Унгерн счел нужным опровергнуть мнение, что он же и стал причиной нынешних бедствий: «Если распространяются злые слухи, что я, выгнав гаминов и сопротивляясь красным, вызвал вхождение их в Монголию, то это не правда, потому что вне зависимости от этого красные для распространения своих законов должны были войти в религиозную и богатую Монголию».

Напоследок он возвратился к тому, с чего начал: «Еще раз повторяю мое личное мнение, что было бы лучше Богдо-хану с надежными людьми передвинуться на запад. Дальнейшее многословие считаю излишним».

Унгерн тешил себя надеждой, что Богдо-гэгэн в плену у китайцев и он же в руках большевиков — это почти одно и то же, можно с его помощью вернуть себе симпатии монголов. План был абсолютно нереальный, но сама идея начать войну на советской территории, чтобы оттянуть силы красных из Монголии, лишний раз показывает, какое значение имела она для Унгерна: поход на Россию рассматривался им как средство сохранить за собой центральноазиатский плацдарм.

На новый поход Унгерн решился после того, как вслед за дурными новостями из Урги в лагерь на

Селенге с полуторамесячным опозданием пришли и обнадеживающие — о событиях в Приморье. Правда, первые достоверны, а вторые искажены до полной неузнаваемости: сообщения о перевороте, 26 мая при поддержке Токио совершенном во Владивостоке братьями Меркуловыми, преображаются в благую весть о том, будто японцы вновь, как в 1918 году, начали наступление от Тихого океана на запад. Отрезанный от всего мира, ничего не знавший даже о событиях в Улясутае, Унгерн считал, что наконец-то исполнились обещания, данные ему Семеновым.

В тот же день, когда было написано письмо Богдо-гэгэну, Азиатская дивизия в долине реки Байн-Гол вступила в бой с частями 30-й стрелковой дивизии 5-й армии. Красные отчаянно сопротивлялись, к вечеру Унгерн отступил, потеряв около восьмидесяти бойцов убитыми и до сотни ранеными^[193]. После этого он едва ли не впервые нарушил указание лам, предписавших ему двигаться по левому берегу Селенги, и через два дня свернул от нее на север вдоль русла одной из речушек, берущих начало на Цеженском гольце — лесистом и диком скальном массиве, считавшемся непроходимым для войск. За ним лежала плодородная, густонаселенная долина Джиды.

Перед подъемом на перевал Унгерн дал людям отдых, а утром задержался на уже покинутом дивизией биваке. Этот момент в жизни своего начальника Князев описывает с неподдельным чувством трагичности и непоправимости принятого им решения: «Ушли полки. Скрылась длинная вереница обоза. С железным тарахтением укатили пушки. Замолкли шумы. Там, где недавно кипела лагерная суэта, сидел одинокий человек в засаленном тарлыке. Подле него паслась стреноженная лошадь. Медленными затяжками тянул он свою неизменную трубку, время от времени

привычными пальцами доставая из догоравшего костра уголек, сверкающий злым красным блеском. Барон задумчив. Сегодня у него еще имелся выбор — уходить в знакомую и не вполне еще чуждую Монголию или же прыгнуть через каменные барьеры в Забайкалье».

Выбор был сделан, дивизия начала труднейший переход через Цеженский голец. Впереди, прокладывая дорогу в зарослях, посменно шли 200 человек с топорами, кирками, лопатами. Поклажу навьючили на лошадей, число подвод Унгерн свел к минимуму. Пушки тянули на руках, временами — таким образом, что одно колесо шло по горной тропинке, а второе, зависшее над пропастью, поддерживали веревками и баграми.

«Каким образом вы проделали этот маршрут?» — допрашивая Унгерна в плену, не без уважения поинтересовались командиры 5-й армии. Он ответил: «Тропы там есть. Вообще во всей Монголии есть тропы. Нет ни одной пади, где нельзя пройти, но это зависит от энергии».

Энергии у него хватало. Две с половиной тысячи людей с лошадьми и обозом, при восьми орудиях, одолели Цеженский голец за сутки, тогда как впятеро меньшему и имевшему всего одну пушку отряду Щетинкина, который вскоре двинулся тем же путем, на это понадобилась неделя.

Рассеивая мелкие красноармейские отряды, Унгерн молниеносными по местным условиям переходами выходит в долину Джиды. Через разлившиеся реки артиллерию переправляли первобытным способом: забивали быков, ждали, пока туши раздуются под июльским солнцем, затем связывали их вместе и на этих зловонных понтонах устанавливали орудия.

«Вы знали этот район?» — спросили Унгерна в плену. Он объяснил, что нет, не знал, лишь однажды проезжал на пароходе. Имелась в виду его первая поездка в Монголию в 1913 году, когда он пароходом

добирался от Верхнеудинска до Усть-Кяхты. Память у него была специфическая, как у охотника или таежного бродяги. Он забывал имена, путал даты, но помнил места, мельком виденные восемь лет назад. Многих поражали его чутье и умение безошибочно ориентироваться на местности даже в темноте.

Согласно «Приказу № 15» карающий меч барона опускается на «преданных слуг красных учений», а также их жен и детей. В Богом забытых деревнях и улусах Селенгинского аймака евреев нет, настоящих коммунистов и комиссаров — тоже. К ним причисляют любых сельских активистов вплоть до работников местной потребкооперации^[194]. Какой-то «бурятский староста», по причине своей должности заподозренный в большевизме, после пыток брошен на тлеющие угли костра; зарублена деревенская учительница, про которую кто-то донес, что она коммунистка, хотя вся ее вина состояла, видимо, в том, что имела несчастье учиться на каких-нибудь советских курсах. Перед смертью, пишет Рябухин, она «была изнасилована всеми нашими контрразведчиками».

2

Внезапное появление Азиатской дивизии в самом сердце Забайкалья для Матиясевича и Блюхера было полной неожиданностью — к ним поступали оптимистические донесения, что силы барона уменьшились до нескольких сот человек и продолжают таять. Лучшие части 5-й армии и Народно-революционной армии ДВР ушли в Монголию, остановить Унгерна некому^[195]. Он стремительно движется на север и к концу июля выходит к Гусиному озеру. Здесь полтора года назад чахары во главе с

Нэйсэ-гэгэном на ночном привале предательски вырезали казаков и офицеров Левицкого.

По округе рассылаются агитаторы — вербовать волонтеров. Опираясь на казачью верхушку, Унгерн мог бы объявить мобилизацию в занятых станицах и улусах, но не сделал этого, желая выглядеть освободителем, а не таким же насильником, как его враги. Особые надежды он возлагал на селенгинские станицы, где, по его словам, «живут самые верные казаки», однако и тут «ни один человек не присоединился». На сходах вербовщики начинали свои выступления перед толпой любопытных, а заканчивали при пустой площади. Слушатели расходились к концу речи, теряя к ней всякий интерес. Советскую власть здесь не любили, но воевать с ней не хотел никто, тем более в самую страду. Успех был маловероятен, а опасность подвергнуть свои семьи мести со стороны коммунистов — вполне реальной. Напрасно унгерновцы щедрой рукой раздавали станичникам серебро и сигареты, а казачек одаривали шелками, сахаром и чаем, надеясь, как пишет Князев, «создать представление о широком довольстве Азиатской дивизии, чтобы этим жестом привлечь добровольцев». Единственными, кто вступал в нее добровольно, были пленные красноармейцы — из страха, что за сдачу в плен расстреляют свои.

«К вам бароновцы идут, наливайте чары!» — занимая очередную станицу, запевали бойцы Унгерна неизвестно кем сочиненную «отрядную» песню, но даже казаки особой радости не выказывали. Крестьяне, памятуя о семеновских зверствах и страшась репрессий в том случае, если дадут унгерновцам приют, скрывались в сопках, дивизия занимала пустые заимки и села. Планы поднять здесь всеобщее восстание построены были даже не на песке, а в воздухе.

Довольно скоро в этом убедившись, Унгерн тем не менее продолжил движение на север. До начала

августа у него еще сохранялись иллюзии относительно японского наступления. Они даже укрепились после того, как от пленных стало известно, что армейские политработники, выступая на митингах, говорят о поддерживающих барона японцах. На самом деле это был обычный пропагандистский прием — ораторы называли его «японским ставленником» и «марионеткой Токио», но красноармейцы понимали эти обвинения буквально, а Унгерн, лишенный других источников информации, интерпретировал их рассказы в том смысле, что японцы объявили войну Советской России и находятся уже где-то близко. Когда над колоннами Азиатской дивизии показались советские аэропланы с красными кружками на нижней плоскости крыльев, эти опознавательные значки приняли за изображение солнца — эмблему императорской Японии. Поднялось всеобщее ликование, кого-то осенила мысль разложить на земле простыни, обозначив таким образом удобную полосу для посадки. Летчики пошли на снижение, приветствуемые восторженными криками унгерновцев, и начали бомбардировку.

На восточном берегу вытянутого с севера-востока на юго-запад Гусиного озера находился крупнейший дацан Забайкалья — Тамчинский, резиденция Пандито Хамбо-ламы. Здесь укрепились два стрелковых батальона 232-го полка с четырьмя орудиями. Приказав обозу и подводам с ранеными открыто двигаться по дороге прямо к дацану, чтобы отвлечь на них артиллерийский огонь, Унгерн неожиданно бросил вперед скрытые за холмами сотни. Их поддержали пушки капитана Оганезова; от обстрела вспыхнули деревянные строения. Пока осажденные, укрывшись за монастырскими оградами, отбивали пешую атаку с одной стороны, конница ворвалась в дацан с другой. Красные упорно оборонялись; артиллеристы вели огонь

до последней возможности и были изрублены возле орудий. Завязался рукопашный бой среди охваченных пожаром бревенчатых домиков, юрт и храмов. Центральная площадь монастыря перед каменным Цогчином покрылась телами красноармейцев со страшными ранами от шашечных ударов. Остальные, прижатые к озеру, начали сдаваться; кое-кто попытался вброд уйти по мелководью на другой берег залива, но это мало кому удалось. Некоторые пустились вплавь, над водой виднелись только их головы, и казаки, целясь в них, говорили, что стреляют «по арбузам».

Комиссары и военспецы смерть предпочли плену, самоубийство — пыткам с неминуемым концом. Один застрелился, войдя по горло в озеро, чтобы не надругались над трупом; другой — когда не сумел поднять в атаку залегшую под пулями цепь. Ничего подобного Унгерн раньше не видел. «Отстреливаются до последнего, а потом стреляют в себя», — в плену ответил он на вопрос, как, по его мнению, показал себя в боях «комсостав» красных, и назвал это поведение «шикарным». Так записано в протоколе, хотя само слово кажется неуместным, подходящим для какой-то другой войны, на которой рыцарственные офицеры стреляются, дабы не унижить себя сдачей оружия столь же щепетильному противнику, а не для того, чтобы избежать четвертования или поджаривания на костре.

В дацане захвачено 400 пленных. Из них около сотни (по другим сведениям, 20–30), «по глазам и лицам» определив якобы добровольцев, Унгерн велел расстрелять, а раненую в ногу сестру милосердия, которая «вела себя вызывающе», — зарубить. Прочих отпустил как вестников его милосердия к сложившим оружие.

Найденные в штабе советские деньги сожгли, а большую партию новых трофейных карабинов и 12 пулеметов закопали на будущее, пометив это место на

карте. Погибших при штурме 30 «казаков» (видимо, бурят и всадников Татарского полка), двух японцев и сто с лишним монголов и китайцев похоронили в одной общей могиле, а четырех офицеров — в другой, с воинскими почестями. Над ними поставили крест, сверху засыпав его землей, чтобы, как поясняет Гижицкий, «большевики не уничтожили этого ненавистного им знака».

На следующий день дивизия достигла поселка Загустай у северной оконечности Гусиного озера. До Верхнеудинска, где уже объявлено осадное положение и началась эвакуация советских учреждений, остается 80 верст — два-три перехода. Чуть большее расстояние — до станции Мысовая на Байкале. Весной, когда разрабатывался план совместного с Семеновым вторжения в Советскую Россию, Мысовая считалась важнейшей целью; Резухин должен был захватить ее и взорвать железнодорожные тоннели, тем самым отрезав Забайкалье от Сибири, но теперь это не имеет смысла. Народного восстания не предвидится, а из рассказов пленных и местных жителей Унгерну становится окончательно ясно, что поблизости нет ни Семенова, ни японцев. Впервые, по его признанию, сделанному в плену и зафиксированному в протоколе допроса, он «пал духом».

Красные опомнились и обкладывают Азиатскую дивизию со всех сторон. По пятам за ней идет неутомимый и отчаянный Щетинкин со своими конными партизанами, из Монголии подходит Кубанская кавалерийская дивизия в тысячу сабель. С севера движутся шесть пехотных полков, отряд особого назначения, и еще новые части перебрасываются по железной дороге из Иркутска. Среди унгерновцев ползут панические слухи, будто командование 5-й армии стянуло сюда 60-тысячную группировку с мощной артиллерией, броневиками и аэропланами, что

переправы через Селенгу прикрыты флотилией канонерских лодок. Все это — сильное преувеличение, хотя общая численность противостоящих Унгерну войск достигает пятнадцати тысяч. Соотношение сил примерно такое же, как при штурме Урги, но противник далеко не тот.

Опаснее всего были кубанцы. С их прибытием менялся расклад сил, конница Унгерна уже не могла использовать преимущество в скорости и свободно маневрировать между скованными в своих действиях пехотными частями, громя их поодиночке. Получив от Резухина эти новости, Унгерн после суточного раздумья отказывается от дальнейшего наступления и по западному берегу Гусиного озера направляется обратно на юг. По рассказу Рябухина, решение было принято не без тайного вмешательства группы офицеров, обеспокоенных перспективой угодить в западню при прорыве к Мысовой. Они вступили в сговор с любимым вестовым барона, бурятом Цаганжаповым, и тот поведал ему, что найденные в Гусиноозерском дацане священные книги сулят беду в случае продвижения к Байкалу. Едва ли, впрочем, Унгерн сам не понимал гибельности этого плана в сложившейся обстановке; возможно, апелляция к священным книгам понадобилась ему, чтобы сохранить лицо перед монгольскими союзниками. С той же целью, сообщает Князев, он довел до сведения своих русских соратников, что диверсии на железной дороге проводиться не будут, поскольку она скоро «потребуется для наступающих на Иркутск войск атамана Семенова». Вряд ли этому кто-то поверил; после поворота на юг все поняли, что, несмотря на победы, поход окончился провалом.

Отступая, озлобленные бароновцы не только реквизируют скот, но начинают грабить станицы и деревни, где их никто не поддержал. Все маски

сброшены, громкие лозунги забыты. Коней пускают пастись на посевы; то, что нельзя увезти с собой, уничтожают или сжигают, вызывая ответную ненависть. Возле Цэженской станицы какой-то храбрец-бурят, оставшийся безымянным, предпринял самоубийственную попытку покончить с самим Унгерном, чтобы вырвать корень зла. Он разрубил саблей челюсть некоему «добровольцу Бергу», приняв его за барона, и был сожжен заживо.

Слишком быстро Унгерн двигаться не может — мешают обоз, пушки и, главное, скот, без которого его всадникам станет нечего есть. Щетинкин пытается опередить барона, чтобы закрыть ему выход из долины Джиды по пади реки Темник. Туда же и с теми же намерениями устремляются кавалеристы Кубанской дивизии. Возможно, им удалось бы достичь цели, но азарт погони и накал страстей был так велик, что, столкнувшись по дороге, Щетинкин и кубанцы принимают друг друга за казаков Унгерна, завязывают бой и ведут его в течение трех с лишним часов.

Жара и ясное небо последних недель сменились густой облачностью. Аэропланы не летают, разведка затруднена. Зато унгерновцам достается ценнейший «язык» — бывший офицер вермахта, ныне штабист 113-й бригады Майер, кавалер Железного креста и ордена Красного Знамени. При нем найдены карты и оперативные документы с планами по окружению Азиатской дивизии. Они помогают Унгерну ускользнуть от погони.

В плену он говорил, что ему «странно казалось намерение окружить его пешими частями», но это касается только боевых действий. На маршах красноармейцы теперь передвигаются на мобилизованных по станицам и селам подводах с возницами и почти не уступают в скорости коннице Азиатской дивизии, отягощенной обозом и мясным

скотом. Лавируя между наступающими с разных направлений полками и бригадами 5-й армии, Унгерн рвется на юг, к монгольской границе. Изнурительные 12-часовые переходы с краткими стоянками, во время которых люди не могут толком ни поспать, ни сварить себе пищу, позволяют оторваться от преследователей, но возле села Новодмитриевка он вынужден принять бой с преградившей путь пехотой. Конная атака опрокидывает стрелковые цепи, скакавший впереди Унгерн видел, как перепуганные артиллеристы рубят построики орудий, чтобы ускакать на запряжных лошадях, однако появившийся из-за сопки «бронепоезд» пулеметным огнем на ходу решил исход сражения не в его пользу. Тем не менее окружить Азиатскую дивизию красные командиры так и не смогли, хотя были близки к этому, загнав ее в болота реки Айнек, где едва не увязли артиллерия и обоз. Напоследок Унгерн наносит им ощутимый удар в кровопролитном бою под Капчеранкой и горными падями вновь уходит в спасительную Монголию.

За ним остаются стравленные посевы и покосы, его путь по Забайкалью отмечен вспышками занесенной сюда коровьей чумы — от нее до конца года пало свыше пяти тысяч голов скота. Из станиц, сел, бурятских улусов угнаны сотни лошадей, тысячи быков и овец. Из конюшен вывезены хомуты, дуги, седла; из лавок — мануфактура и деньги; из домов — медная посуда. Мобилизованные красными крестьяне с подводами вернулись домой осенью, кое-где сено докашивали в октябре. Под Троицкосавском и западнее вдоль границы, где боевые действия шли в июне, сеяли поздно и собрали немного, а в районах Селенгинской операции Унгерна не успели запасти паров, сеять пришлось на старых жнивах, и засушливое лето 1922 года погубило не стойкие к засухе посевы. На круг по

аймаку урожай вышел «сам-два», а местами не взяли даже затраченных семян.

ЗАГОВОР

1

Унгерн ушел в Монголию без больших потерь, сохранив все полки, дивизионы и сотни, шесть пушек и весь обоз, включая четыре-пять десятков подвод с тяжелоранеными, составлявших ведомство доктора Рябухина. Все, кто мог держаться в седле, считались ранеными легко. В дивизии по-прежнему насчитывалось свыше двух тысяч бойцов.

Теперь можно было сбавить темп, накормить отощавших лошадей, отоспаться и поесть самим, а то последние две недели спали в седлах и питались полусваренным или подложенным под седло и провяленным в конском поту сырым мясом. Люди почувствовали себя спокойнее, но как только отодвинулась внешняя угроза, перед всеми, от неграмотного бурята до офицера-генштабиста, встал вопрос о собственном будущем. Оно зависело от того, куда Унгерн поведет дивизию. Выбор был не богат и сводился к двум вариантам — или на запад Халхи, где еще не появились красные, или в Маньчжурию. Все надеялись, что барон выберет второй вариант.

Однако восточное направление не устраивало его по многим причинам. В гарантии, якобы полученные Семеновым от Чжан Цзолина, он, скорее всего, не верил, как не верил и самому атаману, обманувшему его перед походом в Забайкалье. Маньчжурия была для него опасной зоной, белое Приморье — тоже. В первом случае его ждала китайская тюрьма, во втором — отставка, а то и арест. Если во Владивостоке каппелевцы не позволили Семенову даже сойти на

берег с японского корабля, а когда он все-таки высадился, едва его не арестовали, с Унгерном подавно никто бы церемониться не стал. При удачном стечении обстоятельств ему, может быть, удалось бы сохранить жизнь и свободу, но оставить в своем распоряжении Азиатскую дивизию не было ни малейшей надежды. Никаких личных средств Унгерн не имел и не лукавил, говоря в плену, что он «беднее последнего мужика». Клад, якобы зарытый им под Ургой, скорее всего — легенда; его имущество на станции Маньчжурия, как и склады дивизионного интендантства в Хайдаре, было пущено с молотка, чтобы возместить убытки пострадавших в Монголии еврейских и китайских коммерсантов, семьей он не обзавелся, единственным его сокровищем оставалась власть над двумя тысячами вооруженных людей, пока еще покорных ему. Вложить этот капитал было некуда, но и терять его Унгерн не желал.

На реке Эгин-Гол в тылу Азиатской дивизии появился нагнавший ее Щетинкин, в прошлом — лихой штабс-капитан, выслужившийся из солдат, полный георгиевский кавалер и, по слухам, добрый знакомый Унгерна по фронтам Первой мировой войны. Его отряд, насчитывавший четыре сотни всадников, по инерции продолжал считаться «партизанским», хотя на деле подчинялся штабу 104-й бригады. Появление Щетинкина означало, что на подходе и пехотные части красных.

Унгерн не особенно встревожился этой новостью, но чтобы иметь в арьергарде не обремененные большим обозом лучшие сотни, а заодно упорядочить управление растянувшимися на десять верст колоннами, опять разделил дивизию на две бригады. Резухину с двумя полками предстояло задержаться на биваке, а сам барон с главными силами, монгольским дивизионом, артиллерией и госпиталем наутро должен был

выступить из лагеря и в дальнейшем двигаться впереди, на расстоянии одного-двух переходов.

В ночь перед тем, как дивизия разделилась, доктор Рябухин, спавший в своей палатке, был разбужен земляком и сослуживцем по армии Дутова, молоденьким казаком Иваном Маштаковым. Незадолго до того Унгерн, по-прежнему имевший слабость то и дело проникаться к кому-то внезапной, обычно недолгой симпатией, присвоил ему офицерский чин и приблизил к себе. Маштаков был введен в небольшую группу офицеров во главе с полковником Островским, которые исполняли обязанности порученцев, но именовались «штабом».

Взволнованный, возбужденным шепотом он сообщил Рябухину, что стоял возле палатки, где находились Унгерн с Резухиным, и подслушал их разговор. Оказывается, барон решил идти не в Маньчжурию, а на юг, в Тибет. Он намерен пересечь Гоби, привести дивизию в Лхасу и поступить с ней на военную службу к далай-ламе. Резухин «робко возразил», что без запасов продовольствия и воды едва ли удастся пройти через Гоби. На это Унгерн ответил, что и в Маньчжурии, и в Приморье им обоим появляться небезопасно, а людские потери его не пугают, принятое им решение — окончательное.

Свидетельство Рябухина — не единственное. Аноним считал, что само разделение дивизии на две бригады произошло из-за ссоры Унгерна с Резухиным, не одоббившим плана похода в Тибет. После этого барон будто бы даже отобрал у него все географические карты — видимо, чтобы они не смущали его помощника расстоянием до Лхасы вкупе с отмеченными на них горными хребтами и пустынями, через которые предстояло пройти. По Анониму, почва для похода в Тибет была подготовлена давно: Унгерн еще в Урге установил «прочную связь» с Далай-ламой

XIII, поддерживал с ним переписку, послал ему «ценные подарки из монгольской добычи», а взамен получил «священные талисманы», призванные «охранять его жизнь и приносить успех в делах». От имени барона полковник Львов «строчил на пишущей машинке длинные послания», пугая правителя Тибета «стремлением коммунистов уничтожить всех служителей религиозного культа, где бы они ни находились». В свою очередь, тот якобы жаловался Унгерну на притеснения китайцев и англичан.

Машинок с монгольским или тибетским шрифтом не существовало в природе, да и ни одним из этих языков Львов не владел; сочиненные им послания должен был кто-то переводить, но в остальном все похоже на правду. В плену Унгерн называл Далай-ламу XIII в числе своих адресатов. Об ответных письмах ничего сказано не было, но накануне второго похода в Забайкалье лагерь Азиатской дивизии на Селенге посетили посланцы владыки Тибета. Об этом визите упоминает только Гижицкий, зато ему можно доверять. Даже после неудачи с производством химического оружия он остался любимцем барона, в числе немногих находился при нем на правом берегу Селенги и, вероятно, знал о его делах больше других офицеров, за исключением разве что Резухина. Князев, однажды зайдя с докладом в палатку Унгерна, был неприятно удивлен тем, что этот поляк, имевший всего лишь чин поручика, «в непринужденной позе» лежит на походной койке, тогда как в присутствии барона заслуженные полковники и садиться-то не смели. Одной из причин столь фамильярных отношений могло стать близкое знакомство Гижицкого с родным братом Унгерна, Константином.

Прибывшие на Селенгу тибетцы голов не брили и носили косы, значит, были не духовными особами, а светскими. Тем не менее монголы из дивизиона Сундуй-

гуна относились к ним с благоговением, целовали края одежд, собирали землю из их следов, чтобы использовать для ворожбы и приготовления лекарственных снадобий. Это объяснимо лишь в том случае, если речь идет не об остатках тибетской сотни, а о представителях самого Далай-ламы XIII, аристократах или чиновниках высокого ранга. Иначе они бы не стали обещать Гижицкому, который с ними подружился, свободный въезд в закрытую для европейцев Лхасу и пристанище в Потале. Гижицкий, страстный путешественник, впоследствии много лет проживший в Африке, был счастлив, предвкушая возможность побывать в «сердце тайн», но так туда и не добрался.

Он ничего не говорит о том, с какой целью появилась на Селенге тибетская миссия, однако можно допустить, что уже тогда Унгерн получил предложение перейти на службу к Далай-ламе XIII. Ничего фантастического в этом нет, позднее наемные отряды из казаков и бывших белых офицеров служили многим китайским генералам и очень ими ценились. После того как в 1913 году была провозглашена независимость Тибета, Далай-лама XIII при активном содействии англичан создал армию европейского типа и начал проводить модернизационные реформы, но у него имелось немало противников среди консервативно настроенного духовенства. Оппозицию возглавил панчен-лама, второе лицо в тибетской духовной иерархии. В ситуации, когда внутри страны было неспокойно, а Китай и Англия пытались подчинить ее своему влиянию, Азиатская дивизия с сильным монгольским контингентом пригодилась бы энергичному хозяину Поталы. Тот давно мечтал иметь казачий конвой и просил об этом еще Николая II. С помощью Унгерна он мог бы противостоять Пекину, но уменьшить зависимость от высших офицеров

собственной армии, обучавшихся в Индии и служивших проводниками британских интересов.

О тибетском плане Унгерна рассказывают лишь Аноним и Рябухин, зато независимо друг от друга. Их записки не были опубликованы, списать один у другого они не могли, тогда как другие участники монгольской эпопеи при работе над воспоминаниями пользовались трудами предшественников. Торновский, например, читал книгу Князева; часто трудно судить, где он пишет по личным впечатлениям, а где — заимствует факты, но освещает их по-своему. О возможном походе в Тибет ему не было известно, он передает слух о том, что Унгерн собирался вести дивизию в Урянхайский край, перезимовать там за стеной неприступных гор, а весной вновь начать войну с красными в Сибири. Последнее вызывает сомнения, но первая часть этого плана не противоречит тибетскому варианту: Урянхай мог стать этапом на пути в Лхасу. Дело происходило в середине августа, а осенью, пока не выпадет снег, Гоби — неодолимое препятствие даже для небольших караванов на верблюдах, тем более — для двух тысяч всадников со скотом и обозом. Прежде чем идти в Тибет, нужно было где-то отсидеться до зимы.

Существование такого плана косвенно подтверждает сам Унгерн. В протоколе одного из допросов записано: «Считает неизбежным рано или поздно наш (Красной армии. — *Л. Ю.*) поход на Северный Китай в союзе с революционным Южным, и, говоря, что ему теперь уже все равно, что дело его кончено, советует идти через Гоби не летом, а зимой, при соблюдении следующих условий: лошади должны быть кованы, продвижение должно совершаться мелкими частями с большими дистанциями — для того, чтобы лошади могли добывать себе достаточно корму; что корма зимой там имеются, что воду вполне

заменяет снег, летом же Гоби непроходима ввиду полного отсутствия воды».

Вероятно, Унгерн навел справки о способах и оптимальных сроках перехода через Гоби ^[196]. На том же допросе он сказал, что «намеревался уйти через всю Монголию на юг», не уточняя, впрочем, куда именно. Во-первых, по его словам, он хотел «дать здесь пережить красное», то есть не думал весной продолжать войну ни в России, ни в Монголии; во-вторых, его целью было «предупредить красноту на юге, где она только начинается». Как записано в протоколе, имелась в виду революция в Южном Китае, но это выглядит нелогично: там «краснота» существовала давно. Местом, где она только начинала зарождаться, был именно Тибет, точнее — те области Малого Тибета, где росло влияние китайских республиканцев. Не случайно еще в мае Унгерн собирался отправить послом в Лхасу не кого-нибудь, а Оссендовского, лучше других способного убедить тибетцев в реальности большевистской угрозы. К тому времени отношения Унгерна с Монгольским правительством испортились вконец; не исключено, что в его планах на будущее Тибет занял такое же место, как у Семенова — Монголия: это был запасной вариант судьбы.

Как раз в то время остатки Оренбургской армии Бакича появились на западе Халхи, в районе Кобдо, но Унгерн об этом не знал. Надежда на Джа-ламу растаяла, оставался один путь — на юг. Решение идти в Лхасу, если оно в самом деле было «окончательным», кажется вынужденным, принятым под давлением обстоятельств, хотя оно естественным образом вытекало из идеологии Унгерна. Если под натиском революционного безумия пала Монголия — внешняя стена буддийского мира, следовало перенести линию обороны в цитадель «желтой религии». Не он один

тогда полагал, что из Халхи фронт мировой революции скоро переместится в Тибет. Правда, остается неизвестным, получил ли Унгерн приглашение Далай-ламы XIII поступить к нему на службу; сообщение Гижицкого не позволяет утверждать этого наверняка. Возможно, новый план был такой же импровизацией, как все прочие, одним из многих возведенных Унгерном воздушных замков, для строительства которых ему никогда не требовалось много материала. Зато для забайкальских и оренбургских казаков, офицеров и мобилизованных в Урге колонистов этот план означал беспримерные лишения, а то и смерть, не говоря уж о том, что они должны были проститься с надеждой увидеть близких, попасть на родину или вернуться к мирной жизни хотя бы в Харбине или Хайларе. Для них Тибет был не опорным пунктом в борьбе с «краснотой», как для Унгерна, и не «сердцем тайн», как для Гижицкого, а дикой горной страной, где русскому человеку совершенно нечего делать. Сама идея похода через Гоби вызывала ужас^[197].

2

С того момента, как от Загустая повернули обратно на юг, Унгерн начал отыгрываться на подчиненных. Его боялись «как сатаны, как чумы, как черной оспы». Он был взбешен неудачей, вдобавок лишь сейчас до него дошли известия, что Хатон-Батор Максаржав, переметнувшись на сторону красных, захватил Улясутай. Этот город, крупнейший в Монголии после Урги, Унгерн собирался сделать своей базой, туда были отправлены обозы с боеприпасами и снаряжением, и туда же он пытался заманить Богдо-гэгэна, но теперь приходилось менять планы.

Максаржав устроил резню находившихся в Улясутае унгерновцев и вообще всех русских; в отместку Казанцев, с частью отряда сумевший выбраться из города, принялся громить попадавшиеся по пути монастыри^[198]. Его зверства лишали последней надежды на поддержку монголов, и так-то слабой после того как Богдо-гэгэн признал правительство Сухэ-Батора. Наследники Чингисхана оказались недостойны своей глобальной миссии, многие князья с необычайной легкостью перекрасились в красный цвет. Недавно Богдо-гэгэн заверял Унгерна, что его слава «возвысилась наравне со священной горой Сумбур-Ула»^[199], а теперь «возродивший государство великий батор», хан и цин-ван, обладатель трехочкового павлиньего пера и желтых поводьев на лошади, спаситель Живого Будды, вернувший ему свободу и престол, изгнавший из страны ненавистных гаминов, сделался просто неудачливым военным вождем, которого победили другие русские генералы.

Унгерном владело отчаяние; приступы апатии, когда он в полном одиночестве ехал отдельно даже от своего конвоя, сменялись припадками ярости. Исхудавший, почерневший от загара, он сумасшедшим галопом носился вдоль колонн, избивая всякого, на ком останавливался его взгляд. Не спасали ни прошлые боевые заслуги, ни возраст, ни чины. Начальник артиллерии полковник Дмитриев, командиры полков Хоботов и Марков ходили с перевязанными головами. Даже Резухина барон впервые избил, не то застав его спящим возле лагерного костра, не то вообще без причин. По рассказам, попало и Торновскому, хотя сам он утверждает, что когда налетевший сзади Унгерн внезапно обрушил на него ташур, ему удалось уклониться, и все удары достались лошади.

В эти дни он лютовал как никогда прежде, убивали при малейшем подозрении в готовности дезертировать. Промежуточной стадией между жизнью и смертью стало разжалование в пастухи. Идея принадлежала Бурдуковскому, чья команда наряду с палаческими функциями ведала скотом и конским запасом; он уговорил Унгерна не «кончать» виновных сразу, а отдавать ему в помощники. Число офицеров «с хворостинами» доходило до двадцати восьми человек. После боя под Новодмитриевкой среди них оказался и капитан Оганезов, вместе с Гижицким пытавшийся начинить снаряды цианистым калием. По одной версии, он по ошибке обстрелял сопку, где находился барон; по другой — вел огонь с закрытой позиции, и когда Унгерн набросился на него с обвинениями в трусости, ответил с достоинством профессионала: «Я, ваше превосходительство, одинаково хорошо стреляю как с закрытой, так и с открытой позиции, и, как изволите видеть, снаряды ложатся среди цепей красных». За это Оганезов был избит ташуром и отправлен в погонщики скота. Через несколько дней он представлял собой «босую растерзанную фигуру», в которой Князев «с трудом признал brave капитана, еще недавно щеголявшего своими тишкетами».

С тех, кто подвергался такому наказанию, снимали мундир и сапоги. Когда это было сделано с первой партией, Макеев, подойдя к этим офицерам, увидел: «Все они были босы, в одних рубашках, порванных штанах, сидели кружком, молча и мрачно резали сырую коровью кожу на четырехугольники, углы которых связывали кожаными полосами. Они шили себе онучи, надеясь, что, быть может, какое-нибудь чудо спасет их от неминуемой смерти». Большинство этих «босоногих оборванцев» погибали в первые дни, лишь немногим удавалось «зацепиться за жизнь» в предвидении неизбежного конца.

Стали поговаривать, будто «дедушка» потому так зверствует, что решил перейти к красным и зарабатывает себе прощение. Даже Князев, самый последовательный из его апологетов, признает, что едва давление красных ослабло, Унгерн «использовал свой относительный досуг для того, чтобы со всей энергией заняться внутренними делами дивизии: выражаясь деликатно, он усилил репрессии».

Наутро после первой монгольской стоянки, когда снимались с лагеря, были найдены изуродованные шашками трупы нескольких офицеров и казаков. Все они лежали неподалеку от того места, где ночевали каратели Бурдуковского. В чем состояло их преступление, никто не знал, но с тех пор мертвецов находили на каждом ночлеге. Некоторых, как сообщает Аноним, убивали спящими.

«Дивизия доживала последние дни, — вспоминал Макеев, — и это инстинктом чувствовал последний из диких монголов. А барон продолжал зверствовать, и его палач Бурдуковский ходил ошалелый от ежедневной кровавой работы».

Однако маньяком-убийцей, жаждущим крови как таковой, Унгерн все-таки не был. Он не хуже любого «дикого монгола» ощущал нарастающее недовольство и пытался подавить его, без лишнего шума избавляясь от «ненадежных элементов». Расправы потому и производились втайне, что Унгерн признавал шаткость своего положения. Кто-то, вероятно, становился жертвой его пресловутого умения «читать по глазам и лицам», на кого-то указывали осведомители, среди которых, кстати, были Макеев и Князев. Не случайно они рассказывают об этих убийствах больше, чем остальные мемуаристы. Ни тот ни другой не хотели признавать свое в них участие, если оно имело место, и списывали их на неумолимость барона. Князев пишет, что отсутствующий взгляд и «помутившиеся зрачки»

придавали ему «вид сумасшедшего». Между тем Унгерн, похоже, догадывался о зреющем заговоре. Недаром он впервые изменил привычке никогда не иметь оружия и на ночь клал рядом с собой заряженный браунинг. Когда мятеж уже вспыхнул, он успел сказать Гижицкому: «Итак, это (курсив мой. — Л. Ю.) началось. Интересно, чем кончится». Значит, происходящее не стало для него неожиданностью.

3

«Заговор назревал, — пишет Торновский, — я это видел и чувствовал. Кто положил ему начало, трудно сказать, скорее всего, он зародился в головах многих».

По Князеву, инициатива шла снизу, от оренбургских казаков; еще в Забайкалье они решили бежать в Маньчжурию, но не были уверены, что доберутся туда без предводителя, и пригласили на эту роль своего земляка Слюса — «храбрейшего из храбрых», как характеризует его Торновский^[200]. Этот двадцатилетний юноша настолько хорошо зарекомендовал себя в боях, что Унгерн произвел его из младших офицеров сразу в войсковые старшины. Слюс согласился возглавить побег и, в свою очередь, предложил старшему другу, полковнику Костерину, тоже принять в нем участие. Костерин, однако, раскритиковал проект как «недостаточно продуманный», указав, что уходить нужно не одной сотней, а с такими силами, чтобы «не бояться встречи с красными». В течение следующих дней они со Слюсом вовлекли в заговор ряд офицеров-оренбуржцев, служивших в других частях, в том числе начальника пулеметных команд, полковника Евфаритского, человека умного и волевого. Он подал идею, которая наверняка приходила в голову не ему одному, но до сих

пор казалась чересчур радикальной: убить Унгерна, командование предложить Резухину и уходить на восток всей дивизией.

Покончить с бароном должен был его новый любимчик — Маштаков. Не то он сам вызвался это сделать, поскольку имел близкий доступ к нему, не то на него пал жребий. Маштаков подъехал к Унгерну днем, «на походе», чтобы застрелить его в упор, но, как излагает дело Торновский, «не имел силы воли выполнить свое намерение и с поджатым хвостом отъехал».

Рябухин, сам участник заговора, вовлеченный в него Евфаритским, с которым они вместе учились в оренбургской гимназии, ничего не говорит о первой попытке Маштакова убить Унгерна. Вторая, по его рассказу, была совершена в ночь перед тем, как дивизия разделилась на две бригады^[201]. Разбудив Рябухина и сообщив о подслушанном разговоре между Унгерном и Резухиным, Маштаков сказал, что сегодня же ночью застрелит барона, когда тот ляжет у себя в палатке после «совещания» с ламами.

«При свете умирающего лагерного костра, — продолжает Рябухин, — Маштаков тщательно проверил свой маузер, пожал мне руку и скользнул во тьму так же бесшумно, как вошел. Разумеется, спать я больше не мог и начал ходить среди палаток и подвод, на которых раненые проводили ночь, напряженно прислушиваясь и стараясь различить звук выстрелов сквозь шум и плеск быстрого Эгин-Гола, бегущего по своему каменистому ложу. Примерно треть мили отделяла меня от палатки барона».

Выстрелы так и не прозвучали. Скорее всего, Маштакову опять не хватило духу застрелить барона, хотя сам он рассказывал, что, войдя в его в палатку, нашел ее пустой; Унгерн все еще сидел с ламами, и

охрана получила строжайший приказ никого к нему не допускать. Это бдение затянулось до рассвета, лагерь начал просыпаться; в итоге Маштакову пришлось уйти. Первый вариант больше похож на правду. Видимо, что-то в поведении фаворита насторожило Унгерна, и утром он отослал его из штаба обратно в полк.

В этот же день дивизия разделилась. Костерин, Слюс, примкнувший к ним Хоботов и ударная сила заговора — оренбургская сотня, где служил Маштаков, оказались в бригаде Резухина, а Евфаритский, Рябухин и остальные заговорщики ушли с Унгерном. Действовать согласованно они теперь не могли.

МЯТЕЖ

1

16 августа бригада Резухина осталась на Эгин-голе, а Унгерн с главными силами выступил дальше на юго-запад. Возможно, прежде чем идти через Гоби, он собирался добыть скот, пополнить конский запас и дожидаться зимы во владениях Джалханцза-хутухты на западе Халхи. О своем намерении уйти в Урянхай он никогда не говорил, но по мере того как все явственнее намечался западный вектор движения, в дивизии нарастала тревога; на биваках офицеры кучками сходились у костров без вестовых, чтобы не было лишних ушей, и «обсуждали безысходность». Почувствовав усилившееся брожение, Унгерн поручил Князеву собрать сведения о настроении офицеров и доложить ему.

Князев пышно именовался «комендантом дивизии», что на практике означало нечто среднее между начальником военно-полицейской службы и главным осведомителем. Офицеры ему не доверяли, при его приближении смолкали все разговоры. Раньше он этим пренебрегал, зато сейчас был крайне озабочен «пикантностью собственной позиции». Попросту говоря, не выполнить поручение Князев боялся, но и честный доклад барону страшил его не меньше. Чрезмерное усердие могло для него плохо кончиться, если замыслы тех, кого он подозревал в активном недовольстве, увенчаются успехом. В конце концов Князев нашел безопасный для себя выход — он поскакал в бригаду Резухина и осторожно, не называя ничьих имен,

рассказал ему, что люди настроены против похода в Урянхай.

Резухин, как все, был бесконечно измучен боями и переходами. Уже не стесняясь подчиненных, он вслух мечтал хотя бы месяц пожить под крышей, а «чистая простыня рисовалась ему недостижимым идеалом блаженства». Урянхай и Тибет пугали его не меньше, чем других, но он хорошо знал Унгерна и не думал, что настроения в дивизии могут изменить принятое им решение. Князев рассчитывал, что Резухин, встревожившись, доложит обо всем барону, но тот велел сделать это ему самому. Князев помчался обратно в бригаду Унгерна, повторил свой рассказ начальнику штаба Островскому и попросил его «принять на себя тяжесть доклада барону». Островский отказался наотрез, сказав, что «не имеет желаний быть повешенным». В итоге Князев все же пошел к барону, но рассказать ему правду не посмел, понимая, что Унгерн потребует от него конкретных имен, а назвать их — значит погубить себя, если заговорщики добьются успеха раньше, чем будут арестованы. На следующий день, 18 августа, он опять полетел назад, к Резухину, в надежде, что тот передумает и доложит барону о сложившейся обстановке.

К этому времени Резухин был уже мертв, а Князев уцелел, может быть, благодаря своим суевливым метаниям взад-вперед. В момент накала страстей при мятеже в обеих бригадах, когда многие подручные Унгерна были убиты или скрылись в лесах и позже погибли от рук красных, он оказался не там и не здесь.

Торновский — единственный из мемуаристов, кто в ночь с 16 на 17 августа находился в бригаде Резухина. «Настроение в лагере было жуткое, — вспоминал он канун мятежа, — не слышно было ни песен, ни шуток. Молитва в этот вечер пелась с каким-то особым вдохновением».

Едва лагерь затих, к Хоботову, командиру 2-го полка, пришли Слюс и Костерин. Втроем они окончательно решили, что предлагать командование Резухину бессмысленно, против Унгерна он не пойдет, поэтому как его ни жаль, но, «спасая жизни двух тысяч пятисот всадников и офицеров, нужно пожертвовать и им, другого пути нет». Они были правы: преданность Резухина барону не поколебалась даже после того, как Унгерн избил его ташуром. Считалось, что он, как все, трепещет перед ним, но, кажется, Резухин не только боялся его, но и любил, иногда, может быть, жалел и все ему прощал.

Привести приговор в исполнение вызвался Слюс. Он пошел выбрать себе помощников, тем временем Хоботов приказал 5-й сотне, состоявшей из оренбуржцев, находиться в боевой готовности. Ночь выдалась теплая, Резухин со своим начальником штаба, ротмистром Нудатовым, легли не в душной палатке, а возле нее и, по словам Князева, «задремали под нежный шелест листьев и мягкие всплески реки о прибрежные камни». Эта мирная картина призвана усилить впечатление от последующей трагедии. Князев любил такого рода эффекты и в самом начале рассказа о смерти Резухина не преминул указать, что для последнего в жизни ночлега генерал выбрал «очаровательный уголок».

Драматизируя действие, он пишет, что Слюс и трое бывших с ним казаков сначала «кralись», потом «поползли», потом, набросившись на генеральских ординарцев, разоружили их. По Торновскому, заговорщики спокойно пришли, отобрали у сонных конвойных оружие и забросили его в кусты. Между делом дается подробность, своей грубой достоверностью впечатляющая куда сильнее, чем все князевские ухищрения: «Резухин спал с обутой одной ногой, а сапог с другой ноги был у входа в палатку».

Очевидно, он так устал, что уснул, не успев разуться до конца.

Все-таки кто-то из его ординарцев оказал вялое сопротивление или подал голос. Проснувшись, Резухин спросил: «Кто здесь?» Тут же по нему открыли огонь из захваченных в Гусиноозерском дацане карабинов. Раненный в предплечье (это была его семнадцатая рана), Резухин в одном сапоге побежал в сторону лагеря, крича: «Хоботов! Второй полк, ко мне!» Заговорщики, стреляя, бросились за ним. Он отстреливался из браунинга, одна пуля раздробила кому-то из преследователей ложе карабина.

Стрельба переполошила весь лагерь. Думали, что напали красные. Первым сориентировался Безродный — бывший помощник Сипайло и палач Улясутая, состоявший при Резухине в той же роли, что Бурдуковский при Унгерне. Понимая, что ему грозит, он вскочил на коня и мгновенно скрылся в лесу. Его «контрразведчики» последовали за ним.

Оренбургская сотня, по тревоге поднятая Хоботовым, уже сидела в седлах, но казаки-забайкальцы, настроенные к Резухину более или менее лояльно, окружили его плотным кольцом, «выражая свое соболезнование». Появился фельдшер, начали делать перевязку. В этот критический момент Слюс не решился выстрелить сам и передал свой маузер одному из пришедших с ним казаков, приказав стрелять генералу в голову. По одной версии, тот выстрелил прямо поверх голов; по другой — начал пробираться сквозь толпу, приговаривая: «Ох, что же сделали с голубчиком! Что сделали с нашим генералом-батюшкой!» Подойдя вплотную к Резухину, он внезапно сменил тон: «Будет тебе пить нашу кровь! Пей теперь свою». И «почти в упор хлестнул его выстрелом в лоб»^[202]. Подоспевший Нудатов направил на убийцу

револьвер, но нажать на спуск не успел. Слюс отвел его руку со словами: «Успокойтесь, успокойтесь... Все кончено».

Потрясенная толпа молча разошлась, возле трупа остались только заговорщики. Утром Костерин отправил к Евфаритскому казака-татарина с сообщением о перевороте и, прежде чем вести бригаду к бродам на Селенге, распорядился вырыть Резухину могилу. Убитого обыскали, но в карманах ничего не обнаружили. Снятую с шеи ладанку взял Торновский на память о покойном и позднее нашел в ней указ Богдо-гэгэна о возведении Резухина в княжеское достоинство. Это было все, чем он дорожил. В его личных вещах никаких ценностей не оказалось, в бумажнике лежали 100 китайских долларов и серебряная мелочь.

Гроб сколачивать было некогда и не из чего. Когда тело Резухина уже начали засыпать землей, кто-то спохватился, сбегал к генеральской палатке и принес оставшийся там второй сапог. Натягивать его на ногу не стали, просто положили в могилу.

2

Чтобы идти в Маньчжурию, надо было переправиться на правый берег Селенги, но пока что шли по ее левому, западному берегу. Под вечер 17 августа, на второй день после разделения с Резухиным, передовая бригада миновала храм Чулгын-Сумэ, он же Бурулджинская кумирня, или Джаргалантуйский дацан, и вступила в долину, окруженную лесистыми сопками. Среди них вилась узкая «дорога-лазейка», по ней предстояло идти дальше на юго-запад, прочь от Селенги. Расстояние до нее составляло 10-12 верст, и неподалеку имелись удобные для переправы броды. На карте это была точка примерно в двух сотнях верст к

северо-западу от Ван-Хурэ и в четырех — к северо-востоку от Улясутая. Здесь Унгерн приказал разбить бивак для длительной стоянки. Его тревожило, что от Резухина нет вестей.

На посторонний взгляд, в лагере все обстояло как всегда — горели костры, варилось мясо, кипятился чай, в стороне мирно паслись лошади, однако разговоры у костров были далеки от обычных тем. Направление похода не объявлялось, возбуждение росло. Поползли слухи, будто в бригаде Резухина произошло что-то важное, но что именно, никто не знал. Унгерн уединился с ламами-прорицателями для гадательных процедур. Создается впечатление, что без этого он не мог заснуть, как без наркотика. О чем бы конкретно ни вопрошались правящие миром незримые силы, эти ежедневные многочасовые «совещания», на время которых откладывались все дела, служили для него не только способом получить рекомендации свыше, но, видимо, и психотерапевтическим средством успокоения.

Весь следующий день Унгерн бездействовал. Всегдашнее чутье ему изменило, сказывалась крайняя степень нервного истощения и физической усталости от напряжения последних недель. Он с утра до вечера сидел со своими ламами, а заговорщики украдкой сходились в соседнем лесу. Все нервничали и ждали известий из 2-й бригады. Навстречу ей была выслана группа разведчиков, но возле дацана они наткнулись на разъезды красных и вернулись назад, привезя одного раненого. Унгерн не знал, что один из его ординарцев, отправленный к Резухину с письменным приказом немедленно присоединиться к нему, перехвачен партизанами Щетинкина. Он решил не трогаться с места, пока не подойдет Резухин, а Евфаритский, взявший на себя руководство заговором, склонился к

тому, что пока нет вестей от Костерина и Слюса, выступать преждевременно.

Высланный ими курьер-татарин тоже, видимо, боялся нарваться на красных и переживал опасность. Лишь вечером он добрался до лагеря, но здесь его задержали часовые из Бурятского полка. Костерин учел такую возможность и сочинил для него историю, будто он заболел и направлен в госпиталь, к доктору Рябухину. Однако и курьер, и задержавшие его буряты плохо говорили по-русски. Он не смог внятно изложить им свою легенду и был доставлен к Унгерну. Единственное, что ему удалось сделать, это уничтожить записку Костерина к Евфаритскому.

Когда его поставили перед страшным бароном, татарин совершенно потерялся. Говорить о своей болезни он не посмел, вместо этого сказал, что у них ночью был бой, он убежал и больше ничего не знает. Его рассказ показался Унгерну подозрительным; Бурдуковскому велено было посадить татарина под арест и наутро приступить к пыткам. Присутствовавший при этом командир 4-го полка Марков известил обо всем Евфаритского; вскоре заговорщики собрались в госпитале у Рябухина. Ясно было, что татарин пыток не вынесет, нужно действовать незамедлительно. Пока обсуждали варианты, явился второй гонец от Костерина, высланный вслед за первым. После разговора с ним постановили выступать прямо сейчас.

С недавних пор Унгерн на ночлегах начал принимать кое-какие меры предосторожности. Он, в частности, ставил свою палатку и палатки штаба таким образом, чтобы между ними и расположением русских и бурятских частей находился монгольский дивизион, но в этот раз Сундуй-гун разбил бивак немного в стороне. Это облегчало заговорщикам их задачу. На тот случай, если монголы попытаются прийти на помощь барону, Евфаритский развернул фронтом к ним четыре

пулемета с готовыми к бою расчетами, а чтобы обезвредить Бурдуковского, стоянку его команды решили обстрелять из пушек сразу после убийства Унгерна. Орудийные выстрелы должны были послужить сигналом к общему выступлению.

Около полуночи Евфаритский, капитан Сементовский^[203], еще трое офицеров и полдесятка пулеметчиков отправились к генеральской палатке; прочие разошлись по своим частям и начали поднимать людей. При любом исходе покушения решено было двигаться обратно, к Джаргалантуйскому дацану и бродам на Селенге. В записке Костерина сообщалось, что он с бригадой три дня будет ждать на правом берегу, потом уйдет.

«В чернильной темноте, — вспоминал Рябухин, — мы стали быстро седлать и запрягать лошадей. Люди работали без огней, настороженно прислушиваясь, чтобы не пропустить звук судьбоносных выстрелов. Не меньше часа прошло в ожидании. Я и лечившиеся в госпитале раненые офицеры обсуждали, что мы будем делать, если наши планы провалятся, наконец до нас донеслись приглушенные звуки револьверной стрельбы, а затем раздались четыре орудийных выстрела. Их огонь прерывистым светом озарил мрачную лесную долину». Это подпоручик Виноградов с дистанции в полверсты обстрелял бивак Бурдуковского.

Тут же пулеметчики Евфаритского для острастки дали несколько очередей по биваку Сундуй-гуна. Монголы, в панике открыв беспорядочный ответный огонь, вскочили на коней и поскакали подальше от того места, где, как им казалось, начинается бой с неожиданно напавшими красными. Минут через десять стрельба утихла, но теперь уже поднялась вся бригада. Части начали стекаться к дороге. Лошади, быки, пушки, обоз, подводы с ранеными, разноплеменные и

разноязыкие всадники — все сгрудилось и перемешалось. Большинство не понимали, что случилось, куда их ведут, где барон, где красные. В суматохе заговорщики растеряли друг друга. Они понятия не имели, убит Унгерн или нет. Евфаритский куда-то пропал, его спутники тоже не показывались. Наконец появился один из ушедших с ним офицеров, от него Рябухин узнал следующее: «Когда они подошли к палатке Унгерна и позвали барона, вместо него выглянули Островский и Львов. Оказалось, накануне вечером барон поменялся палатками со штабом и находился в соседней. Один из заговорщиков, в темноте приняв Островского за барона, выстрелил в него, но промахнулся и был остановлен другими, прежде чем успел выстрелить еще раз».

Никто из мемуаристов при этом не присутствовал, случившееся все описывают по-разному. Кто-то сообщает, что на зов Евфаритского выглянул один Островский, а Львов, напротив, сам был в числе заговорщиков; кто-то пишет, что Унгерн поменялся палатками не со штабом, а с корейцами из своей личной охраны. По Князеву, заговорщики и не думали вызывать барона к себе, а без лишних разговоров обстреляли его палатку и кинули в нее ручную гранату. Метили, надо полагать, в полог, однако от волнения не попали. С силой брошенная граната, спружинив от палаточного полотна, отскочила к ногам Евфаритского с товарищами, но, к счастью для них, не взорвалась, не то вся затея на этом бы и кончилась.

Простое соображение, что Унгерн мог спать на обычном месте, а заговорщики в темноте перепутали палатки, не принималось в расчет. К тому времени, когда постаревшие участники монгольской эпопеи засели за мемуары, барон окончательно стал фигурой мифической, соответственно и должен был поступить подобно сказочному герою, который вместо себя кладет

в постель полено, чтобы ночью злой великан ударил по нему топором, а утром предстает перед ним целый и невредимый.

Нетрудно представить, как испугались заговорщики, обнаружив, что Унгерна в палатке нет. Его исчезновение грозило им арестом, пытками и мучительной смертью. Аналогичные чувства испытали граф Пален^[204] и его сообщники, в ночь на 12 марта 1801 года ворвавшись в спальню Павла I и увидев, что императорская постель пуста. Параллель тем очевиднее, что сходство Унгерна с Павлом было подмечено еще при его жизни. Их роднили одиночество среди своего окружения, эксцентричное реформаторство, тяга к утопии, к рыцарским идеалам, вырождающимся в режим казармы, и все это — под знаком присущего им обоим истероидного синдрома всеобщего порядка. Оба эти заговора, в центре Санкт-Петербурга и в глубине Монголии, при несоизмеримости масштабов имеют немало общего: там и тут типичная российская неразбериха, огромное число заговорщиков, из которых ни один до последнего момента толком не знает, что надо делать, постоянные колебания, убивать ли тирана сразу или вначале предъявить ему ультиматум, суеверный страх перед ним и одновременно отношение к нему как к опасному для нормальных людей безумцу, чья гибель является вынужденной необходимостью^[205].

Чувствуется, что Евфаритский и вся компания были сильно не в себе. Сначала один из них промазал, с двух шагов стреляя в Островского, затем все они, паля из револьверов и карабинов, не сумели попасть в барона, парой секунд позже появившегося примерно на таком же расстоянии.

«На звук выстрела, — продолжает Рябухин, — из соседней палатки выскочил Унгерн с двумя ламами и

был встречен градом пуль. Барон упал на четвереньки и быстро пополз в кусты, окружавшие лагерь монгольского дивизиона. Заговорщики еще несколько раз выстрелили наугад по кустам, затем приказали штабу садиться в седла и следовать за бригадой. Вслед за тем они поскакали каждый в свою часть».

Эти кусты, куда на четвереньках юркнул грозный барон, упоминаются только у Рябухина. Он его ненавидел, никогда этого не скрывал, чувства вины перед ним не испытывал, ностальгии — тоже, поскольку его жизнь в эмиграции сложилась благополучно, и не считал нужным утаить настолько же колоритную, как и унижительную для Унгерн подробность. Князев пишет, что барон побежал «в гору» и исчез в темноте.

Тем временем офицеры сумели успокоить людей. Некоторые части, на ходу перестраиваясь в походный порядок, потянулись по направлению к дацану, другие еще оставались на месте, но вскоре остановились и те, что ушли вперед. В крошечной тьме невозможно было двигаться по узкой дороге среди сопот. Решили подождать рассвета.

Появившийся к этому времени Евфаритский приказал выставить в оцепление сотню казаков и пулеметы — из опасения, что Унгерн с помощью монголов попытается переломить ход событий. Никто понятия не имел, где он, всеми владело страшное возбуждение. Вдруг послышался стук копыт по каменистой дороге. Шепот пронесся по рядам: «Барон! Барон!»

Объехав заградительную цепь, Унгерн спустился по склону холма и направился к изменившему ему войску. «Офицеры, окружавшие меня, — вспоминал Рябухин, — поспешно бросились в сторону, на бегу выхватывая револьверы и щелкая затворами карабинов... Я вытащил мой старый кольт, решив скорее выпустить

себе мозги, нежели подвергнуться пыткам, которые ожидали всех нас, если мы попадем в руки барона».

Через минуту выяснилось, что рядом с Унгерном никого нет. Он ехал абсолютно один и, впотьмах не понимая, какие части находятся перед ним, спрашивал: «Кто здесь? Какая сотня?» Никто не отвечал. Узнав Очирова, командира Бурятского полка, Унгерн крикнул ему: «Очиров, куда ты идешь?» Не дождавшись ответа, скомандовал: «Приказываю тебе вернуть полк в лагерь!» — «Я и мои люди не пойдем назад, — сказал Очиров. — Мы хотим идти на восток и защищать наши кочевья. Нам нечего делать в Тибете». Ничего не добившись, Унгерн подъехал к 4-му полку и стал уговаривать казаков продолжать войну, говоря, что если они пойдут в Маньчжурию, то «от голода будут глотать кости друг друга, что красные завтра же истребят их всех до одного». В ответ — ни звука. Барон поскакал дальше и, перемежая угрозы руганью, произнес такую же речь перед артиллеристами. Ответом было «все то же упрямое грозное молчание». Тогда Унгерн начал выкликать имена тех, кого он не видел, но полагал, что они где-то здесь. «Доктор, — издали крикнул он Рябухину, — поворачивайте госпиталь и раненых!» Потом: «Рерих, я приказываю вам повернуть обоз!» Никто не отвечал, никто не двигался с места. Все замерли в оцепенении.

В этот момент у Евфаритского, Львова, Маркова и еще нескольких главных заговорщиков не выдержали нервы. Полагая, что все кончено, они вскочили на коней и скрылись в лесу, а Унгерн в полном одиночестве продолжал объезжать ряды недвижимо замерших сотен и команд, убеждая их возвратиться в лагерь. Ему по-прежнему не отвечали, но, казалось, вот-вот автоматически сработает привычка повиноваться каждому его слову. Начал оживать неизбытый ужас перед ним. Рябухин и другие участники заговора

затаились, сжимая в руках оружие. Выстрелить никто не решался.

Первым очнулся Макеев, да и то не раньше, чем Унгерн в потемках нечаянно толкнул его лошадь грудью своей Машки. Он пальнул в барона из маузера, с испугу промахнулся, хотя стрелял почти в упор, но этот выстрел разорвал заколдованный круг страха. Примеру Макеева с тем же результатом последовали несколько офицеров, вслед за ними начали стрелять поставленные в оцепление пулеметчики. Унгерн метнулся прочь, осыпаемый пулями, ни одна из которых и на этот раз его не задела. Машка стремительно взлетела на вершину холма и унесла его назад, в долину, все еще погруженную в глубокий мрак.

Сам Унгерн в плену излагал события этой ночи весьма похоже, хотя кое-какие обстоятельства сознательно опускал. В краткой протокольной записи его рассказа эта мрачно-эффектная сцена выглядит несравненно проще. Услышав стрельбу у соседней палатки, он подумал, что возле лагеря появились красные, вышел, спокойно сел на лошадь и поехал к войскам сделать соответствующие распоряжения. Внезапно по нему начали стрелять, но и тогда он не сразу догадался, что стреляют свои, что это бунт, хотя на всякий случай спросил: «Что, вы бунтуете?» Ему ответили: «Нет, ничего». Потом стали стрелять чаще, он сообразил, в чем тут дело, и ускакал к монгольскому дивизиону.

На другом допросе Унгерн рассказал обо всем более пространно: «Я лежал в своей палатке ночью. Ничего еще не знал про Резухина. Вдруг — стрельба. Уже было темно. Я выскочил. Кто-то еще крикнул: «Ваше превосходительство, берегитесь!» А я думал, что красный разъезд. Подбежал к монголам и сказал, чтобы они собрали человек двадцать. Они вернулись и коня

привели мне. Я сел и поехал, а войска уже не было на старом месте. Это мне показалось очень подозрительным. Я встретил казака и спросил, что он делает. Он сказал: «Я должен палатки собрать». — «А где войско?» — «Дальше уходит». Я проехал верст десять и вижу: одна сотня стоит лицом ко мне. Я все еще думал, где-нибудь красные. Я спросил: «А много красных?» — «Не знаем». Я поехал дальше, к артиллерии. Они стояли резервом. Я подъехал к Дмитриеву, командующему артиллерией, спросил: «Кто приказал двигаться?» Он сказал: «Приказ из вашего штаба». — «А кто посыльный?» — «Не знаю». Я поехал дальше, к 4-му полку, сказал, что на восток идти нельзя, что там будет голод, надо идти на запад. Когда я ехал мимо пулеметной команды, мне сказали, что офицеров нет. Это мне показалось странным. А когда я проехал весь полк, где раненые были, — ночью это было — слышу, стали стрелять. Я думал опять — разъезд. Проехал мимо. Вижу, пули все около меня. Тогда я понял, в чем дело, и поехал к монголам, но в ночной темноте я проскочил. Они огней не держали. В это время стало рассветать, я поехал к ним, а они уже ушли тоже на запад. Я подъехал к князю и говорю, что войско плохое. Он говорит, что русские все вообще — плохой народ...»

В обоих вариантах рассказа отсутствует одна существенная деталь: Унгерн умалчивает, что в него стреляли еще до того, как он сел на коня и поехал к своему «войску». Ни слова не сказано и о том, что ему пришлось бегом или ползком спасаться от заговорщиков, хотя в противном случае совершенно непонятно, почему он вдруг побежал к монголам и послал их не только за подмогой, но и за своей собственной лошадей. Вспоминать эти малоприятные детали Унгерн явно не хотел.

ОДИНОКИЙ ПЛЕННИК

1

В 1929 году Павел Милюков, давно интересовавшийся Унгерном, в парижских «Последних новостях» перепечатал из немецкой «Берлинер тагеблат» заметку под названием «Как погиб барон Унгерн-Штернберг». В ней якобы со слов очевидца рассказывается, что это произошло в те дни, когда Азиатская дивизия, отступая, «залегла в степной долине к югу от Байкала». Красные находились поблизости, но тоже были обессилены непрерывными боями. Ни одна из сторон не рассчитывала на победу, и обе жестоко страдали от голода. Наконец большевистский парламентар предложил Унгерну начать переговоры на следующих условиях: к нему пришлют двоих комиссаров, если им будет обещана неприкосновенность, они останутся в лагере барона как гаранты его безопасности, а сам он прибудет в лагерь красных. Парламентар, в прошлом офицер и сослуживец Унгерна, тем легче убедил его принять предложение, что предназначенные в заложники комиссары Розенгольц и Флонимович считались видными деятелями. По прибытии они были посажены под караул в одну из лагерных палаток, тем временем Унгерн, дожидаясь, пока ему приведут коня, чтобы ехать к красным, беседовал с офицерами. Среди них был английский капитан Пэльгем, прибывший из Владивостока по поручению генерала Айронсайда. Уже стемнело. «Видите эту звезду, господа? — спросил Унгерн, указывая на небо. — Это Альфа из созвездия Центавра. В здешних местах ее можно видеть только в

мае»^[206]. Далее в полном согласии с книгой Оссендовского, упоминавшего об увлечении Унгерна астрономией, автор заметки поясняет: «Астрономия была слабостью барона».

Пэльгем уговаривал его отказаться от переговоров с большевиками, но Унгерн не внял предостережениям и уехал. Через какое-то время поручик, охранявший Розенгольца и Флонимо-вича, получил приказ барона: «Комиссаров прогнать нагайками до линии огня красных». Под крики и смех казаки погнали их по степи до передовых постов противника, а затем отпустили. Узнав об этом, Пэльгем заподозрил неладное и распорядился вернуть заложников, но было уже поздно, Розенголец и Флонимович находились вне досягаемости. «Что же будет с его превосходительством?» — спросил карауливший комиссаров поручик. «Он теперь на пути к Альфа Центавра», — философически ответил Пэльгем.

Эта история, как и другая того же рода — будто на смотре Унгерн был внезапно окружен, схвачен и похищен китайцами, мстившими ему за прежние поражения, — относятся не столько даже к мифологии, сколько к беллетристике. Они заполняли лакуны между мятежом в Азиатской дивизии и появлением пленного Унгерна в Троицкосавске. Обстоятельства, при которых он попал в плен, в эмиграции долго оставались неизвестны. После того как верная Машка унесла своего седока в темноту августовской ночи, никто из мемуаристов больше не видел своего начальника; источником их сведений служил рассказ двоих русских офицеров, служивших у Сундуй-гуна и нагнавших дивизию на правом берегу Селенги. Они тоже не были свидетелями пленения Унгерна, но им доверяли уже по одному тому, что эти двое ближе других стояли к эпицентру событий.

«После напрасной попытки заставить нас вернуться, — пишет Рябухин, — барон поскакал обратно к монгольскому дивизиону. Измученный, он прилег в княжеской палатке, чтобы немного отдохнуть. Позже, с наступлением утра, монголы навалились на него спящего, связали и умчались на юг, оставив связанного барона в палатке. Спустя несколько часов его нашли красные разведчики».

Макеев украшает эту краткую версию выразительными деталями: «Унгерн до рассвета метался по горам, наконец, совершенно измучившись, двинулся к опушке, где стояла группа монголов. Они начали стрелять, но он не обращал на это внимания, ибо пули не страшны Богу Войны. Когда он подъехал, монголы пали перед ним ниц и стали просить прощения. Унгерн выпил жбан воды, немного водки и уснул в палатке. Убить его монголы не решались. Они бесшумно вползли в палатку, накинули ему на голову тырлык, скрутили руки и ноги и, отдавая поклоны, исчезли. Вскоре на палатку натолкнулся конный разъезд красных. «Кто ты?» — спросил командир. «Я — начальник Азиатской конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн-Штернберг!» — ответил связанный человек».

У Алешина та же история рассказана еще более красочно: «Монголы не посмели убить Цаган-Бурхана, своего Бога Войны. К тому же они твердо верили, что не в силах это сделать: он не может быть убит. Разве они не получили только что верное тому доказательство? Не только русские казаки, но целый полк бурят дал по барону несколько залпов, и каков результат? Их пули не причинили вреда Цаган-Бурхану. Теперь несколько сотен монгольских всадников, простершись на земле, обсуждали ситуацию. Наконец к измученному барону выслали храбрейших. Приблизившись к Богу Войны, они вежливо связали его и оставили там, где он лежал.

Затем все монголы галопом помчались в разные стороны, чтобы дух Цаган-Бурхана не знал, кого преследовать... О чем думал барон в ту одинокую ночь? Страшная боль от впивающихся в тело веревок вместе с голодом, жаждой и холодом оживили, может быть, в его воспаленном мозгу воспоминания о тех, кого он сам заставлял так страдать. Смерть таилась во тьме, ибо окрестные леса кишели волками. Может быть, он вспоминал свору собственных волков, которых держал в Даурии и на растерзание которым бросал иных из своих пленников. Извиваясь в муках, он должен был пережить несколько смертей, пока не взошло солнце. Но вслед за утром наступил день, палящие лучи солнца безжалостно жгли его голову и язвили тело невероятной жаждой. Я представляю, как вновь и вновь он впадал в бред, и тогда ему мерещилось, что его живьем сжигают в стоге сена, как он сам приказывал поступать с другими людьми... Между тем небольшая группа красных разведчиков двигалась по долине. Вдалеке они увидели лежащего на земле человека. Он слабо стонал и ворочал головой из стороны в сторону, пытаясь избавиться от муравьев, облепивших ему лицо и поедавших его заживо. Красные подъехали ближе. Один из них спросил: «Ты кто?» Барон пришел в себя и своим обычным громоподобным голосом ответил: «Я — барон Унгерн!» При этих словах разведчики так резко дернули поводья, что их кони взвились на дыбы. В следующее мгновение они отчаянным галопом в ужасе бросились прочь. Такова была слава барона».

От раза к разу история становится все фантастичнее, но развивается в одном направлении. Параллельно с мучениями Унгерна, оставленного в палатке или брошенного в степи, растет и суеверный ужас перед ним. Целые полки стреляют в него и не могут убить, монголы кланяются ему даже связанному и страшатся мести его гневной души, а красноармейцы в

страхе бегут при звуке имени этого человека, бессильно распростертого перед ними на земле. Именно таким хотели видеть Унгерна ушедшие от него соратники — униженным, страдающим, жалким, на себе испытывавшим хотя бы ничтожную долю тех мук, что пришлось вынести его жертвам, но одновременно и Богом Войны, служить которому было преступлением против совести, кошмаром, несчастьем и при всем том — честью. Для тех, кто участвовал в последнем походе Азиатской дивизии на север, легенда о пленении Унгерна стала и возмездием ему, и формой самооправдания, и способом поставить на место надменных победителей, чья заслуга в том только и состояла, что им посчастливилось встретить своего грозного врага уже поверженным. Захватить его в бою они, разумеется, не могли.

2

В 1930-х годах Князев разыскивал осевших в Маньчжурии ветеранов Азиатской дивизии, развязывал им языки с помощью ханшина^[207], если они не отличались словоохотливостью, и записывал их рассказы. Среди прочих ему попался хорунжий Шеломенцев. В августе 1921 года он служил в монгольском дивизионе, поэтому стал чуть ли не единственным русским свидетелем последних часов, проведенных Унгерном на свободе. С его слов, дополнив услышанное предполагаемым внутренним монологом барона и столь же гипотетическим изложением его беседы с коварным Сундуй-гуном, Князев пишет: «Унгерн был взбешен. Соскочив со взмыленной лошади, он с рычанием сорвал фуражку и стал топтать ее ногами. «Мерзавцы, — кричал он, — обманули казаков и погнали их на Дальний Восток, чтобы глодать кости...»

Много чрезвычайно красочных выражений, на которые, к слову сказать, барон был превеликим мастером, вылилось тогда из глубины его оскорбленного сердца по адресу восставших против него офицеров. Монголы с неподдельным страхом наблюдали с почтительной дистанции эту бурную вспышку гнева своего вчера еще очень могущественного хубилгана. Наконец Унгерн несколько поуспокоился. Снова заработала его постоянно творческая мысль... «Не все еще потеряно, — вероятно, думалось барону, вновь охваченному никогда не покидавшей его энергией, — ведь со мной целый, в сущности, полк верного мне князя и десятка два казаков, русских и бурят, готовых разделить мою судьбу до конца. Я пройду с ними в Тибет. Там живут воинственные племена, не чета этим вот монголам, разбежавшимся от нескольких выстрелов взбунтовавшихся дураков. Я объединю тибетцев. Мне поможет Далай-лама, которому не напрасно же я послал в подарок 200 тысяч даянов...» Таков был, вне сомнения, ход мыслей барона, потому что за чаем, остро смотря в глаза, он в упор спросил монгольского князя, пойдет ли тот за ним в Тибет. Не заметил на этот раз барон быстрой искры мрачного огонька, тотчас же утонувшей в глубине непроницаемых зрачков степного хищника, за тот короткий момент, пока он с почтительностью склонял голову в знак своей неизменной готовности следовать за бароном-джянджином хоть на край света».

Через несколько дней, уже в плену у красных, Сундуй-гун написал пространное объяснение, с простодушной хитростью уверяя, будто он, «не выдержав унижений и деспотизма барона», решил уничтожить его еще накануне мятежа в Азиатской дивизии. Якобы он с восемью своими людьми подкрался к палатке Унгерна и увидел, что тот «сидит, подогнув колени, в глубокой задумчивости». Князь дал сигнал

схватить его, но «он услышал и убежал, рукой откинув задний полог палатки». Поймать сбежавшего от них барона монголы не смогли, однако утром, когда дивизия ушла на восток, увидели «на склоне горы» одинокого всадника. Узнав Унгерна, Сундуй-гун подъехал к нему и сказал: «Великий главнокомандующий, ваши русские вас и меня хотели убить, мы с ними сражались за ваше спасение... Вот я вас нашел, прикажите присоединиться к главнокомандующему».

Унгерн ему поверил и стал расспрашивать, как идти во владения Джалханца-хутухты, но при этом все время держал наготове револьвер. Сундуй-гун попросил спички, чтобы закурить; Унгерн полез в карман за спичками, тогда монголы набросились на него и связали ему руки и ноги. Уже связанный, Унгерн спросил, почему его схватили. Сундуй-гун будто бы ответил развернутой, политически выдержанной тирадой, резюмировав: «Мы отдадим тебя в руки властей Советской России и будем открывать дружбу между двумя народами, и мы, незначительный народ монголов, будем бороться за свое освобождение». Он послал к красным эвенка Гомбожава, говорившего по-русски; красные приехали, «помахали белым флагом», и когда им передали пленника, поблагодарили Сундуй-гуна с его людьми и всех накормили [\[208\]](#).

Правдой здесь является только уловка со спичками; Унгерн тоже о ней упоминал, но всю историю излагал несколько иначе. Делать это ему пришлось неоднократно. Те, кто его допрашивал после Щетинкина, не вполне понимали, каким образом достался им столь драгоценный трофей, и пытались выяснить это у самого барона. Он отвечал всякий раз немного по-разному, но если суммировать, дело обстояло следующим образом: Унгерн, «обстрелянный

своим войском», прискакал в расположение монгольского дивизиона и стал уговаривать Сундуйгуна помочь ему подавить мятеж. Монголы, притворно согласившись, поехали с ним «по старым следам». Он был настороже и все время держал за пазухой руку с револьвером. Чтобы отвлечь его, Сундуй-гун то ли попросил у него спички, то ли предложил кисет с табаком, а кто-то из монголов сзади с седла прыгнул ему на плечи и вместе с ним упал с коня на землю. Тут же навалились и остальные.

Связанного Унгерна посадили на подводу и продолжили движение. Заметив, что взяли неверное направление, он предупредил монголов об опасности нарваться на красных. Те никак не прореагировали на его слова. Заблудились они едва ли, но Унгерн отказывался верить в намерение Сундуйгуна выдать его красным. Ему хотелось думать, что все вышло по ошибке, случайно. Предательство князя он отрицать не мог, однако степень измены могла быть различной^[209].

Вскоре монголы натолкнулись на конный разъезд. Красных было всего десятка два, но они поскакали в атаку лавой, с криками «ура»; всадники Сундуйгуна, в несколько раз превосходившие их по численности, немедленно побросали оружие. На Унгерна вначале никто не обращал внимания, наконец кто-то из кавалеристов подъехал к нему и спросил, кто он такой. Услышав ответ, спрашивающий, как записано в протоколе допроса, «растерялся от неожиданности»; затем, «придя в себя, он бросился к остальным конвоирам, и все они сосредоточили свое внимание на пленном Унгерне».

За обтекаемыми протокольными формулами чувствуется потрясение этих людей, обнаруживших, что худой грязный человек в поношенном монгольском халате есть не кто иной, как сам «кровавый» барон.

Наверняка они представляли его себе по-другому. Рассказывали, будто когда Унгерн сказал им, кто он такой, первая реакция была: «Врешь!»

Начальник штаба экспедиционного корпуса 5-й армии Черемисинов писал приблизительно то же самое: «Унгерн... лежал связанный в повозке, а по окончании схватки услышал, что кто-то подошел и шарит в повозке, думая, что там лежат кули. Он окликнул его, а тот, в свою очередь, спросил его: «Кто ты?» Унгерн отвечал: «Генерал-лейтенант барон Унгерн». Тогда пришедший отскочил и зарядил винтовку, а потом побежал сказать своим. После этого прибыла целая группа, и Унгерн был взят в плен».

Кто именно захватил его, не совсем ясно. Скорее всего, это были конные разведчики 35-го кавполка (его командир Рокоссовский после госпиталя догнал полк буквально на следующий день), но их нечаянную заслугу Щетинкин приписал себе. Как сообщается в его донесении, утром 19 августа он узнал от пленных о мятеже в Азиатской дивизии и местонахождении Унгерна, после чего всем отрядом (около четырехсот сабель) «двинулся к месту его дневки, имея целью, воспользовавшись в его банде разложением, захватить его». Ближе к вечеру разведгруппа из 17 человек заметила «беспорядочную группу конных» человек до восьмидесяти, которые, «стоя на месте, были чем-то заняты». Разведчики «лихим налетом» атаковали их, при этом связанный Унгерн, лежа на подводе, командовал рассыпаться в цепь и отражать атаку, крича во весь голос: «Красные идут! В цепь!» Однако «монголы от неожиданности парализовались, что и способствовало захвату всех без потерь».

Все это, по-видимому, рассказали Щетинкину кавалеристы 35-го полка, которые наткнулись на его партизан и вынуждены были передать им свой трофей, едва ли сделав это добровольно. После «краткого

опроса» Щетинкин под конвоем из двадцати человек отправил пленника в штаб 104-й бригады с приказом «в случае попытки со стороны бандитов произвести нападение и отбить Унгерна расстрелять последнего в голову»^[210].

Тех, кто потом его допрашивал, очень интересовало, почему он не покончил с собой. Унгерн отвечал, что пытался сделать это дважды. Первый раз — в «момент пленения», когда люди Сундуй-гуна бросились на него и свалили с коня на землю. Он тогда успел сунуть руку в карман, где всегда лежала ампула с цианистым калием, но она куда-то пропала — очевидно, «была вытряхнута денщиком, пришивавшим к халату пуговицы». Позднее, уже со связанными руками, он каким-то образом хотел удавиться конским поводом и тоже неудачно, повод оказался «слишком широким». В результате произошло то, чего Унгерн боялся больше всего: он не погиб в бою, как «18 поколений его предков», а достался врагу живым^[211].

Иван Павлуновский, полномочный представитель ВЧК по Сибири, хвастал, что поимка барона — его личная заслуга, он якобы все спланировал и организовал через своих агентов, но вряд ли ему можно верить. Это была скорее случайность, хотя советская пропаганда постаралась представить ее как подвиг красных бойцов. Обстоятельства, при которых Унгерн попал в плен, не афишировались, в сибирских газетах появились сообщения, будто вместе с бароном захвачен весь его штаб, 900 всадников и три боевых знамени.

3

На следующий день Азиатская дивизия подошла к Селенге и начала переправляться на другой берег.

Красные пытались помешать переправе, но попали в ловушку в узком ущелье и отступили под огнем артиллерии и пулеметов с вершин соседних сопок. Правда, с бригадой Резухина соединиться не удалось, она форсировала Селенгу ниже по течению и сразу взяла курс на Хайлар. Те части, которыми до переворота командовал Унгерн, избрали другой, более длинный, зато менее опасный обходной маршрут — сбивая с толку преследователей, они направились в сторону Урги, чтобы обойти ее с юга, а уже затем повернуть на восток. Это был тот путь, по которому почти полгода назад пытались уйти в Китай остатки войск Чу Лицзяна, Го Сунлина и Ма.

Тем временем Унгерна из 104-й бригады передали в штаб 35-й дивизии, а оттуда пароходом по Селенге отправили в Троицкосавск. Перед начальником конвоя, комбатом Перцевым, стояла задача не допустить самоубийства пленника. «При движении парохода, — предписывалось в полученной им инструкции, — не давать возможности прогулки барона по палубе, как верхней, так и нижней. Ни в коем случае не впускать барона одного в ватерклозет и уборную, а приставлять к нему в это время кроме часового, стоящего у дверей, еще невооруженного красноармейца». Когда возле Усть-Кяхты пароход из-за мелководья не мог причалить к пристани, Перцев сам на закорках перенес связанного Унгерна на берег. При этом будто бы сказана была «историческая» фраза: «Последний раз, барон, сидишь ты на рабочей шее».

В Троицкосавске располагался штаб экспедиционного корпуса. Здесь Унгерна дважды допросили уже официально, с протоколом. На допросах присутствовали комкор Гайлит, его предшественник на этой должности Нейман, наштакор Черемисинов, начальник политуправления Берман и представитель Коминтерна при Монгольском правительстве Борисов.

Вначале Унгерн отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы, но на следующий день передумал. Методы, которые использовал он сам, чтобы заставить пленных говорить, к нему не применялись; более того — конвойным приказывалось «не допускать в его присутствии колкостей и грубостей, направляемых по адресу пленного». С ним обращались подчеркнуто вежливо, со своеобразным уважением, что, видимо, произвело на него впечатление. Согласно выбранной роли он должен был молчать до конца, как если бы врагам досталось его мертвое тело, поэтому следовало найти какой-то предлог, оправдывающий и естественное любопытство, и понятное желание в последний раз поговорить о себе, о своих идеях, «толкавших его на путь борьбы». Вскоре оправдание было найдено: Унгерн заявил, что поскольку «войско ему изменило», он больше не чувствует себя связанным какими-либо принципами и готов «отвечать откровенно».

Позднее, в Иркутске и Новониколаевске, его допрашивали еще несколько раз, причем вопросы часто задавались одни и те же. Он всегда отвечал терпеливо и спокойно. С удовольствием рассказывал, как к нему переходили «красномонгольские» части, как хорошо воевали зачисленные в Азиатскую дивизию красноармейцы. О репрессиях предпочитал говорить кратко: да, нет, не помню. Ургинский террор объяснял желанием «избавиться от вредных элементов», а когда ему напоминали о тех или иных убийствах, нередко отговаривался незнанием или самоуправством подчиненных. Даже тот несомненный факт, что семьи коммунистов вплоть до детей расстреливались по его личному приказу, он поначалу отрицал и признал это лишь под напором приведенных доказательств.

В первые дни плена Унгерн искал смерти. «Что, бабам хотите меня показывать? Лучше бы здесь же и

расстреляли, чем напоказ водить», — будто бы говорил он конвоирам, но в последующие недели смирился и, может быть, находил своеобразное удовлетворение в том, что, по словам современника, с ним «носятся как с писаной торбой». Рассказывали, что с началом боев на монгольской границе по войскам был разослан приказ штаба армии, предписывающий в случае поимки барона «беречь его как самую драгоценную вещь».

Барона не только не оскорбляли, напротив — оказывали всяческие знаки внимания, демонстрируя твердость режима, не имеющего нужды унижать побежденного врага. Красные командиры и политработники хотели поразить его блеском новой власти, разумностью построенного ею порядка. Этот пленник возвышал их в собственных глазах. Прежние победы Унгерна в боях с китайцами доказывали доблесть и профессионализм нынешних победителей, его зверства оттеняли их относительную мягкость. Как военные они уважали в нем достойного и храброго противника, а будучи людьми молодыми, не прочь были пофорсить перед ним, пустить ему пыль в глаза.

Русские эмигранты легко поверили в рассказы о том, что из города в город Унгерна перевозили в железной клетке, поставив ее на открытую железнодорожную платформу^[212]. Приятно было думать, что, приравняв его к дикому зверю и выставив на потеху толпе, большевики мстят ему за тот страх, который он им внушал. При этом невольно возникали ассоциации не только с Емельяном Пугачевым, но и с Наполеоном. Наверняка были люди, знавшие, что когда низложенный император бежал с Эльбы и высадился во Франции, маршал Ней обещал Людовику XVIII доставить его в Париж в клетке, как теперь Унгерна якобы возили по Транссибирской магистрали. Ни подтвердить, ни опровергнуть это нельзя, документов нет, но по другим,

более правдоподобным известиям, из Верхнеудинска в Иркутск, а затем в Новониколаевск он был отправлен в отдельном пульмановском вагоне. С ним обращались вежливо, хорошо кормили, приносили советские газеты. Как сообщает Першин, в Иркутске барона «всюду возили на автомобиле, точно хвастаясь, показывали ему ряд советских присутственных мест, где заведенная бюрократическая машина работала полным ходом». Унгерн «на все с любопытством смотрел», но своего отношения к увиденному никак не выражал, разве что, намекая на засилье евреев, «резко и громко» говорил: «Чесноком сильно пахнет».

Возможно, впрочем, ничего такого не было, поскольку в Иркутск его привезли 1 сентября и в тот же день, после допроса в штабе Уборевича, отправили в Новониколаевск. И уж совсем невероятными кажутся рассказы о том, будто красные официально предлагали ему перейти к ним на службу, но он отказался.

В эмиграции рассказывали, что в плену он вел себя надменно и вызывающе, но писатель Владимир Зазубрин, в то время — редактор армейской газеты «Красный стрелок», присутствовал на допросе Унгерна в Иркутске и нарисовал иной его образ: «Он сидит в низком мягком кресле, закинув ногу на ногу. Курит папиросы, любезно предоставленные ему врагами. Отхлебывает чай из стакана в массивном подстаканнике... Ведь это совсем обиженный Богом и людьми человек! Забитый, улыбающийся кроткой, виноватой улыбкой. Какой он жалкий. Но это только кажется. Это смерть, держащая его уже за ворот княжеского халата. Это она своей близостью обратила тигра в ягненка».

Как многозначительно отмечает Зазубрин, упирая на символичность своих сопоставлений, усы Унгерна растрепаны и концами опущены вниз, а у того, кто ведет допрос, они «острые, холеные, задорно лезущие

кверху». Все эти наштакоры и начпоармы полны витальной силы, а у барона «сухая тонкая рука скелета с длинными пальцами и плоскими желтыми ногтями с траурной каемочкой»; он жадно тянется к коробке с дорогими папиросами, каких ему давно не доводилось курить, и на вопрос, можно ли его сфотографировать, отвечает с любезностью едва ли не подбострастной: «Пожалуйста, пожалуйста, хоть со всех сторон»^[213].

Конечно, Зазубрин увидел то, что хотел, а написал еще более того, что смог увидеть, но в наблюдательности ему не откажешь. По протоколам допросов тоже заметно: кроме понятной в его положении подавленности Унгерн испытывал уважение и чувство признательности к своим врагам, оказавшимся вовсе не такими чудовищами, какими они ему представлялись. За неожиданно джентльменское с собой обращение он платил почти полной откровенностью, делал комплименты тем, кому сам же сулил «смертную казнь разных степеней», и даже давал им советы относительно того, когда и каким образом лучше будет пересечь Гоби при походе Красной армии в Китай. Унгерн вообще охотно делал политические прогнозы; он предвидел, например, войну между США, с одной стороны, и Японией в союзе с Англией — с другой, но вряд ли надеялся дожить до предсказанных им мировых потрясений. Относительно собственного будущего у него никаких иллюзий не было.

СУД И КАЗНЬ

1

Советские газеты в это время об Унгерне вспоминают часто, но, в традициях новой прессы, информацию дают минимальную. В обычном, пока еще не казенном, а надрывно-пародийном стиле тех лет сообщается, что «железная метла пролетарской революции поймала в свои твердые зубья одного из злейших врагов» и т. п. Заодно, путая или сознательно смешивая барона с другим Унгерн-Штернбергом, передавшим секретные документы австрийскому военному агенту Спанокки, утверждают, будто он еще в 1909 году был сослан в Сибирь как австрийский шпион.

Совсем недавно старых генералов, арестованных у себя дома, в ЧК избивали и рубили шашками^[214], но отныне жертвами бессудных расстрелов становятся люди безвестные. Новая власть почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы не бояться открытых судебных процессов по политическим делам. При умелой организации, исключая случайности, они могли стать мощным пропагандистским оружием. Впервые такой процесс прошел в Омске, в мае 1920 года, над министрами и чиновниками правительства Колчака. Его инициатором выступил личный друг Троцкого, предсибревкома Иван Смирнов («сибирский Ленин»), и теперь, пафосно телеграфируя в Москву о поимке Унгерна («окружен нашим авангардом и вместе со своим штабом взят в плен»), он предложил предать пленного барона суду Сибирского отделения Верховного трибунала.

На этот счет 26 августа были опрошены по телефону члены политбюро ЦК РКП(б). Каменев, Зиновьев, Сталин и Молотов ответили, что не возражают; Троцкий оставил на протоколе собственноручную пометку, состоящую всего из одного слова: «Бесспорно». Мнение Ленина было более пространным: «Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения и в случае, если доказанность полнейшая, в чем, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять». Иными словами, если материала для смертного приговора достаточно, можно судить; если нет — лучше казнить без суда.

За три с половиной года Гражданской войны в Сибири красным не удалось пленить ни одного белого генерала. Колчака выдали чехи, Зиневич в Красноярске сам отказался воевать^[215]. На Южном фронте наблюдалась та же картина: все крупные военные деятели Белого движения погибли или ушли в эмиграцию. В Екатеринодаре на всеобщее обозрение сумели выставить лишь выкопанное из могилы тело Лавра Корнилова, публично сожженное затем на костре из железнодорожных шпал. Унгерн стал первым пленником с генеральскими погонами, захваченным в боевой обстановке, поэтому со второй половиной поступившего от Смирнова предложения дело сладилось не сразу. Нашлись люди (Дзержинский в том числе), решившие, что для вящего пропагандистского эффекта суд должен пройти в Москве. Реввоенсовет РСФСР распорядился доставить барона в столицу, но сибирские деятели упорно продолжали добиваться разрешения судить его в своей вотчине. Аргументация была следующая: судебный процесс в Новониколаевске «будет иметь большое общественное значение, в отличие от Москвы, где Унгерна знают немногие лишь

по газетным сообщениям и где суд пройдет незаметно». По этой логике процесс следовало устроить в Чите, Верхнеудинске или хотя бы в Иркутске, поскольку в Новониколаевске, за тысячи верст от Забайкалья, об Унгерне тоже знали исключительно по газетам, но для местной партийной и чекистской верхушки тут был вопрос престижа. В итоге просьбу удовлетворили, для чего понадобился еще один телефонный опрос членов политбюро.

В ночь на 7 сентября Унгерна привезли в Новониколаевск, ставший официальной столицей Сибири вместо опального Омска, исполнявшего эту роль при Колчаке. Последние восемь дней жизни он провел не в подвалах здешней ЧК и не в тюрьме, а в отдельном доме, где кроме него и караула никого не было. За все эти дни его допросили только один раз, следствие использовало материалы предыдущих допросов. Чтобы, согласно указанию Ленина, закончить дело «с максимальной скоростью», предполагалось единственное судебное заседание. Свидетелей решили не приглашать, так как подсудимый не скрывал своих преступлений. Его признаний с избытком хватало для заранее известного приговора.

Пока местные чекисты во главе с Павлуновским готовили обвинение, был сформирован состав Чрезвычайного трибунала. Председателем стал старый большевик Опарин, начальник Сибирского отделения Верховного трибунала при ВЦИКе, членами — профсоюзный деятель Кудрявцев, новониколаевский военком Габишев, некто Гуляев и, наконец, легендарный партизанский вожак Александр Кравченко, агроном и крестьянский утопист, создатель эфемерных таежных республик, основанных на началах мужицкой «правды», как Беловодское царство. Защитником назначили бывшего присяжного поверенного Боголюбова, а общественным обвинителем

— секретаря ЦК РКП(б) Емельяна Ярославского (Губельмана), незадолго перед тем переведенного в Москву из Омска. С учетом того, что он — сибиряк, его прислали для «усиления» суда, в порядке компромисса между провинцией и центром, уступившим по вопросу о месте проведения процесса, но намеренном придать столичный блеск предстоящему спектаклю. Ярославский должен был сыграть в нем важнейшую роль, и выбор не случайно пал на этого человека.

Уроженец Забайкалья, что в данном случае тоже было немаловажно, в 43 года партиец с громадным стажем, уходящим, по тогдашним понятиям, во времена доисторические, говорун, журналист, публицист, умевший свою эмоциональную подвижность принимать и выдавать за страсть, он, похоже, с радостью согласился выступить обвинителем, а то и сам выпросил эту почетную роль. Будущий главный государственный атеист, автор «Библии для неверующих», редактор журнала «Безбожник», на страницах которого карикатуристы изображали Саваофа вдувающим в Адама душу через клистирную трубку, Ярославский уже тогда считался экспертом в вопросах религии. Суд над бароном-мракобесом давал ему возможность лишний раз показать себя как блестящего полемиста и оратора.

2

Судебное заседание открылось в полдень 15 сентября 1921 года, в здании театра в загородном саду «Сосновка». Театр известен был в городе под тем же названием. Входные билеты заранее распространялись по учреждениям, воинским частям и среди немногочисленного пролетариата, публику подбирали соответствующую, но в числе зрителей оказались и те, кто никак не должен был здесь находиться. Как обычно,

деньги открывали и эти двери. Билеты были бесплатные, но именные, в зал пропускали по удостоверениям, тем не менее бывший колчаковец Михаил Черкашин сумел проникнуть туда по чужим документам. По рассказу Шайдицкого, на процессе присутствовали и корейцы, служившие в Азиатской дивизии еще в Даурии. Якобы подполковник Ким, любимец Унгерна, специально отправил их в Сибирь, чтобы узнать о его судьбе, и они ухитрились пробраться из Харбина в Новониколаевск, а потом вернуться обратно.

Многие, не имея билетов, надеялись хоть мельком увидеть барона, когда его будут вводить в театр. С утра у театрального подъезда собралась толпа любопытных. По свидетельству репортера, в зале преобладали мужчины, среди них — рабочие и красноармейцы, а в саду — женщины и обыватели. В ожидании Унгерна разговоры о нем сводились главным образом к одному вопросу: «Каков он из себя?»

Газета «Советская Сибирь» в трех номерах опубликовала почти полную стенограмму процесса, а оценочный репортаж, учитывая, что его будут читать и в Харбине, и в белом Приморье, написал Иван Майский, в недавнем прошлом меньшевик и министр труда Самарского правительства, в скором будущем — советский полпред в Лондоне. В 1919 году он провел перепись населения Монголии, поэтому считался специалистом во всем, что с ней связано.

«Узкое длинное помещение «Сосновки», — повествует Майский, — залито темным, сдержанно-взволнованным морем людей. Скамьи набиты битком, стоят в проходах, в ложах и за ложами. Все войти не могут, за стенами шум, недовольный ропот. Душно и тесно. Лампы горят слабо». Возбуждение зрителей понятно, ведь перед ними сейчас пройдет «не фарс, не

скорбно-унылая пьеса Островского, а кусочек захватывающей исторической драмы».

Судя по сохранившейся фотографии, декорации таковы: нечитаемый лозунг вдоль рамп, внизу — длинный стол под красным, видимо, сукном, стулья для председателя трибунала и его помощников. На авансцене, на выдвинутом в зал помосте — скамья для подсудимого. Сцена пока пуста. Вокруг нее, пишет Майский, снуют люди с фотоаппаратами. Наконец члены трибунала занимают места за столом. При их появлении все встают и снова усаживаются. Воцаряется тишина, затем из-за кулис двое красноармейцев выводят Унгерна.

Он «высок и тонок», у него «белокурые волосы с хохолком вверху», отросшая за месяц рыжеватая борода, большие усы. Одет в «желтый, сильно потертый и истрепанный халат с генеральскими погонами», который «болтается» на его худой фигуре. Устроители процесса показали себя неплохими режиссерами и для большего театрального эффекта оставили Унгерну его княжеский дэли.

На груди у него — Георгиевский крест^[216], на ногах — перетянутые ремнями мягкие монгольские сапоги. Унгерн садится на скамью и потом, в течение всего заседания, «смотрит больше вниз, глаз не поднимает даже в разговоре с обвинителем». На вопросы отвечает «достаточно искренне», говорит «тихо и кратко». Он выглядит «немного утомленным», но держится спокойно, только «руки все время засовывает в длинные рукава халата, точно ему холодно и неудобно». Вообще на нем лежит «отпечаток вялости», и Майский «невольно» задается вопросом: «Как мог этот человек быть знаменем и вождем сотен и тысяч людей?»

Впрочем, ответ находится быстро: «Он знает, что судьба его решена, и это не может на нем не

отражаться. Еще большее значение имеет то, что он находится в странной, непривычной для него атмосфере. Унгерн — человек военный и ни в малой мере не политический, а сейчас он в чисто политической обстановке. Это громадное собрание, этот революционный трибунал, эти речи и вопросы обвинителя и защитника — как все это непохоже на вздвоенные ряды, — щеголяет Майский красивым, но не вполне к месту употребленным военным термином, — на свист пуль в бою, на шумную оргию после успешного набега, — добавляет он еще одну живописную деталь бандитского быта, упустив из виду, что барон был абсолютным трезвенником. — Это смущает Унгерна больше, чем стоящая перед ним смерть. Он теряется и не знает, как себя вести. Но Унгерн не всегда таков, о, конечно, не всегда! Даже сейчас, моментами, когда он подымает лицо, нет-нет да и сверкнет такой взгляд, что как-то жутко становится. И тогда получается впечатление, что перед вами костер, слегка прикрытый пеплом».

3

Для начала председательствующий Опарин задает подсудимому несколько вопросов, призванных охарактеризовать его как личность. «К какой партии принадлежите?» — спрашивает он, в частности. «Ни к какой», — отвечает Унгерн, что не помешало суду в своем приговоре записать его «по партийности монархистом».

Затем зачитывается следственное заключение с обвинением из трех пунктов: первый — действия под покровительством Токио, что выразилось в планах создания «центральноазиатского государства» и пр.; второй — вооруженная борьба против советской власти

с целью реставрации Романовых; третий — террор и зверства.

Опарин: Признаете себя виновным по данному обвинению?

Унгерн: Да, за исключением одного — в связи моей с Японией.

Он, безусловно, искренен. За несколько часов до смерти никакие политические резоны над ним уже не властны, но он хочет сам отвечать за дело своей жизни. Уходить из нее с клеймом японской марионетки для него уничительно.

Очередь задавать вопросы переходит к обвинителю. Как вспоминал сидевший в зале Черкашин, Ярославский держался «с большой важностью, желая показать себя очень значимым человеком». Он сразу перевел ход процесса в принципиально иную плоскость. Его задача — выставить Унгерна типичным представителем не просто дворянства, но именно дворянства прибалтийского, самой, как он выражается, «эксплуататорской породы». Еврей Ярославский решил сыграть на русских национальных чувствах в их низменном варианте, поэтому происхождение Унгерна не должно остаться без внимания.

Ярославский: Прошу вас более подробно рассказать о своем происхождении и связи между баронами Унгерн-Штернбергами германскими и прибалтийскими.

Унгерн: Не знаю.

Ярославский: У вас были большие имения в Прибалтийском крае и Эстляндии?

Унгерн: Да, в Эстляндии были, но сейчас, верно, нет.

Никаких имений лично у него никогда не было, он следует выбранной еще в юности роли классического аристократа, землевладельца и воина.

Ярославский: Сколько лет вы насчитываете своему роду?

Унгерн: Тысячу лет.

«Тысячелетняя кровь имела для палачей особый букет, как старое вино», — не совсем верно прокомментирует эту реплику один из эмигрантов. На самом деле обвинителя интересовал не «возраст крови», а ее состав. Как Унгерн заявлял, что все главные большевики — евреи, так Ярославский счел нужным подчеркнуть, что в верхах Белого движения немало немцев.

Ярославский: Один из ваших родственников судился с Мясоедовым за измену?

Унгерн: Да, дальний.

Имеется в виду Альфред Мирбах, муж его единоутробной сестры. Вопрос рассчитан на публику, еще не забывшую громкого процесса по делу Мясоедова; шесть лет назад этот жандармский полковник был повешен как немецкий шпион. Поскольку большевиков объявляли агентами германского Генштаба, Ярославский намекает, что предателями России были как раз такие, как Унгерн и его окружение.

Ярославский: Чем отличился ваш род на русской службе?

Унгерн: Семьдесят два убитых на войне.

Ответ не дает желаемого результата. Ярославский оставляет эту, как выясняется, невыигрышную тему и сосредоточивается на нравственном облике подсудимого с упором на его уже не национальной, а классовой сущности. Всплывает аттестация, в 1917 году выданная Унгерну полковым командиром, бароном Врангелем. В ней говорится, что он «в нравственном отношении имеет пороки — постоянное пьянство, и в состоянии опьянения способен на поступки, роняющие честь мундира».

Ярославский: Судились вы за пьянство?

Унгерн: Нет.

Ярославский: А за что судились?

Унгерн: Избил комендантского адъютанта.

Ярославский: За что?

Унгерн: Не предоставил квартиры.

Ярославский: Вы часто избивали людей?

Унгерн: Мало, но бывало.

Ярославский: Почему же вы избили адъютанта? Неужели только за квартиру?

Унгерн: Не знаю. Ночью было.

Это кажется диалогом из пьесы абсурда, но малозначащий эпизод пятилетней давности нужен Ярославскому, чтобы перейти к событиям более близким, более страшным и, как он стремится доказать, имеющим корни в предшествующей жизни подсудимого.

Ярославский: Когда вы ушли на Мензу, вы уничтожали деревни и села. Вам известно было, что трупы людей перемалывались в колесах (мельничных. — Л. Ю.), бросались в колодцы и вообще чинились всякие зверства?

Унгерн: Это неправда.

Ярославский просит зачитать показания, подтверждающие его слова, после чего конкретными вопросами воссоздает картину ургинского террора: убийства евреев и служащих Центросоюза, насилия над китайцами, расстрелы, виселицы, палки, сажание на лед, на раскаленную крышу. Унгерн все признает.

По рассказу Черкашина, он называл евреев «трупными червями», прогрызшими государственное тело России, «зычным командным голосом» винил их в смерти Александра II, Столыпина, Николая II с семьей, в «развязывании братоубийственной войны, искусственно разделившей народы империи на два непримиримых лагеря», и, обращаясь к сидящим в зале, предсказывал, что «через 10–15 лет все они поймут, в какую бездну бесправия тащат их большевики-евреи»^[217].

В опубликованной стенограмме процесса ничего этого нет. Возможно, было вычеркнуто цензурой, оставившей только слова Унгерна о том, что он «считает причиной революции евреев и падение нравов, которым евреи воспользовались». Вероятнее, впрочем, что именно так он и говорил, а узоры по этой канве расшивал уже сам Черкашин. «Зычный голос» и апелляция к публике тем более сомнительны. Легенд о бесстрашном поведении Унгерна во время процесса было множество; корейцы Кима, вернувшись в Харбин, будто бы рассказали, что со скамьи подсудимых он «издевался над судьями и большевистской властью до тех пор, пока один из комиссаров не выстрелил ему в затылок» прямо в зале суда.

На самом деле перед лицом неминуемой и близкой смерти человек редко выступает в роли обвинителя. Земной суд, каковы бы ни были судьи, должен казаться ему прологом другого, высшего, перед которым он скоро предстанет, и где его смирение, как и честность ответов на этом, предварительном суде, тоже будут учтены. Непримиримость — доблесть тех, кто надеется получить отсрочку, и утешение для их оставшихся на свободе соратников.

Ярославский: Вы признаете себя верующим человеком, христианином-лютеранином. Как у вас вяжется понятие о религии как основе нравственности с такими жестокостями, как убийство бурят, китайцев и даже детей?

Унгерн: Это грех.

Ярославский: Как же вы могли писать, что посланы самим богом для спасения Монголии?

Унгерн: Писал для красного слова.

После выяснения его политических взглядов и обстоятельств мятежа в Азиатской дивизии Ярославский спрашивает, не рассматривает ли он свою попытку восстановить монархию как последнюю в ряду

ей подобных. «Да, последняя, — соглашается Унгерн. — Полагаю, что я уже последний».

Добившись эффектной итоговой реплики, Ярославский садится на место. Теперь свою скромную лепту в ход процесса должна внести защита. Боголюбов интересуется, не страдал ли Унгерн нервными расстройствами, не было ли такого рода больных среди его родственников. Все ответы — отрицательные, тем не менее Боголюбов просит суд назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени его нормальности. «Так как процесс имеет историческое значение, — объясняет он правомерность своей просьбы, — он должен быть проведен с исчерпывающей полнотой и быть исторически объективным».

Это входит в правила игры. Получив соответствующие инструкции, члены трибунала делают вид, что совещаются, и лишь потом отклоняют ходатайство защиты. После 15-минутного перерыва выступает Ярославский с обвинительной речью.

В газете она занимает почти целую полосу и, судя по размерам, длилась не меньше часа, но смысл ее прост: суд над Унгерном есть суд не над личностью, а «над целым классом общества — классом дворянства». Как в публицистике, темы тут связаны между собой не логикой, а пафосом. От Крестовых походов с их «ужасными грабежами», истреблением «огнем и мечом магометанских народов и сел», в чем повинны далекие предки подсудимого, Ярославский вновь переходит к прибалтийским баронам последних поколений, которые «в буквальном смысле как паразиты насели на тело России и в течение нескольких веков эту Россию сосали». Отсюда он виртуозно возвращается все к тому же побитому в Черновцах комендантскому адъютанту: «Унгерн бьет его по лицу, потому что привык бить людей по лицу, потому что он барон Унгерн, и это положение позволяет ему бить людей по лицу».

Его жестокость объясняется двумя главными причинами: классовой психологией дворянства и религиозностью, в изложении Ярославского представляющей набором кровавых суеверий. Если иудеев обвиняли в человеческих жертвоприношениях, в использовании крови христианских детей для приготовления мацы, то и он бросает аналогичное обвинение своим идейным противникам в лице Унгерна: «Они считают, что не только нужно установить некий ряд обрядов, они верят в какого-то бога, верят в то, что этот бог посылает им баранов и бурят, которых нужно вырезать, и что бог указывает им звезду, бог велит вырезывать евреев и служащих Центросоюза, все это делается во имя бога и религии»^[218].

И вывод: «Приговор, который будет сегодня вынесен, должен прозвучать как смертный приговор над всеми дворянами, которые пытаются поднять свою руку против власти рабочих и крестьян... Мы знаем, что все дворянство с исторической точки зрения является в наше время совершенной ненормальностью, что это отживший класс, что это больной нарыв на теле народа, который должен быть срезан. Ваш приговор, — обращается Ярославский уже не к публике, а к членам трибунала, — должен этот нарыв срезать, где бы он ни появился, чтобы все бароны, где бы они ни были, знали, что их постигнет участь барона Унгерна».

В то время в газетные стенограммы произнесенных речей еще не вставляли набранное жирным шрифтом и заключенное в скобки слово «аплодисменты», но они наверняка были. Затем слово предоставляется Боголюбову.

Начинает он с комплимента предыдущему оратору («великолепная и совершенно объективная речь обвинителя») и оправданий собственной незавидной роли ссылкой на законность: «Там, где есть

государственный обвинитель, должен быть и защитник. Того требует равноправие сторон». Тем не менее Боголюбов позволил себе сказать ту правду об Унгерне, которая абсолютно не нужна была устроителям процесса.

«Серьезный противоборец России, — вольно пересказывает он формулировки обвинения, — проводник захватнических планов Японии». Но так ли это? Нет: «При внимательном изучении следственного материала мы должны снизить барона Унгерна до простого, мрачного искателя военных приключений, одинокого, забытого совершенно всеми даже за чертой капиталистического окружения».

Надо отдать должное смелости Боголюбова. Он, пусть осторожно, подверг сомнению выводы представительства ВЧК по Сибири, которое готовило обвинительное заключение. Не слишком убедительным показался ему и основной тезис речи Ярославского, объявившего Унгерна типичным представителем своего класса. «Можно ли представить, — вопрошает Боголюбов, — будь то барон Унгерн или кто-нибудь другой (то есть вовсе не обязательно выходец из дворянства, хотя бы и прибалтийского. — *Л. Ю.*), чтобы нормальный человек мог проявить такую бездну ужасов? Конечно, нет. Если мы, далекие от медицины и науки люди, присмотримся во время процесса, то мы увидим, что помимо того, что сидит на скамье подсудимых представитель так называемой аристократии, плохой ее представитель, перед нами ненормальный, извращенный психологически человек, которого общество в свое время не сумело изъять из обращения».

По мнению Боголюбова, возможны два варианта приговора.

Первый: «Было бы правильнее не лишать барона Унгерна жизни, а заставить его в изолированном

каземате вспоминать об ужасах, которые он творил». Увы, «кольцо капиталистического окружения» делает этот вариант сугубо предположительным.

Остается второй: «Для такого человека, как Унгерн, расстрел, мгновенная смерть, будет самым легким концом его мучений. Это будет похоже на то сострадание, какое мы оказываем больному животному, добывая его. В этом отношении барон Унгерн с радостью примет наше милосердие».

Опарин: Подсудимый Унгерн, вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать в свое оправдание?

Унгерн: Ничего больше не могу сказать.

Трибунал удаляется на совещание. Процесс продолжался пять часов. В 17.15 объявляется приговор: Унгерн признан виновным по всем трем пунктам обвинения, включая сотрудничество с Японией, и приговорен к расстрелу.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Расстреляли его в тот же вечер или рано утром следующего дня. Обычно в таких случаях приговоренных вывозили за город, закапывали на месте расстрела, а могилу сравнивали с землей. Могли бросить тело и в реку, как поступили с Колчаком (в таких случаях новониколаевские чекисты говорили о своих жертвах, что отправили их «караулить воду в Оби»), но это делалось преимущественно зимой, когда течением не могло прибить труп к берегу.

При одиночных казнях смертника ставили на колени и убивали выстрелом в затылок. Скорее всего, с Унгерном именно так и поступили. Кто-то уверял, что его застрелил сам Павлуновский, представитель ВЧК по Сибири, но ходили слухи и о том, будто в порядке исключения барону позволили умереть, как в старые

добрые времена — перед шеренгой стрелков. Расстрельная команда якобы состояла из взвода красноармейцев с винтовками и командира с маузером. Грянул залп, Унгерн упал, однако при осмотре тела обнаружили единственную рану — от пули из маузера. Она оказалась смертельной, но больше ни одной раны не было. То есть попал лишь взводный, остальные или промахнулись от волнения, или из суеверного страха перед Унгерном нарочно выстрелили мимо.

Я слышал об этом в 1972 году, в Забайкалье, а спустя 20 лет, в Москве, почти то же самое рассказал мне А. М. Кайгородов. Он ссылаясь на какого-то бывшего чекиста, утверждавшего, что командир расстрельного взвода потом тоже был расстрелян. Смертный приговор могли вынести ему только в случае, если, как выяснилось на допросах, несчастный взводный сам запугал подчиненных историями о сверхъестественных способностях inferнального барона.

Скорее всего, это легенда — одна из многих, окружавших Унгерна при жизни и после смерти. Зато известно, что когда весть о его гибели дошла до Урги, Богдо-гэгэн повелел служить молебны о нем во всех монастырях и храмах Монголии.

РАССЕЯННЫЕ И МЕРТВЫЕ

1

Через месяц после убийства Резухина его бригада, удачно избежав столкновений с красными, достигла пограничного озера Буир-Нор. К тому времени в ней осталось около пятисот человек, в основном русские, татары и башкиры. Монголов отпустили восвояси, буряты и некоторые забайкальские казаки решили пробираться в родные станицы, а Китайская сотня перебила русских инструкторов и бежала (часть беглецов догнали, офицеров убили, остальных оставили в степи без коней и винтовок). Вблизи границы Торновский сложил с себя обязанности колонновожатого и 16 сентября, на другой день после казни Унгерна, вступил в переговоры с генералом Чжан Кунъю о сдаче оружия, лошадей и амуниции. Безвыходность положения заставила согласиться на то, что предложили китайцы. Чжан Кунъю всячески распинаясь в любви к Унгерну и называл его «братом», но на финансовых условиях сделки это не отразилось: офицеры получили по 100 долларов, простые всадники — по 50.

Главные силы дивизии после переправы через Селенгу возглавил полковник Островский. Обманывая красных, он обошел Ургу с юга и по Старокалганскому тракту, разорвав на нем телеграфную связь, чтобы сообщения о его маршруте не попали в столицу, через северную окраину Гоби направился к Чойрин-Сумэ. Вместе со всеми шли и зачисленные в дивизию пленные красноармейцы — они боялись попасть в плен больше, чем сами унгерновцы. Выдержав несколько стычек с

красномонгольскими отрядами^[219], уменьшившись почти вдвое, но сохранив пять орудий и все пулеметы, эта группа организованно вышла к Хайлару спустя десять дней после остатков бригады Резухина. За сданных коней, оружие и снаряжение китайцы заплатили по той же таксе, а за пушки полковник Костромин, в дороге сменивший «не имевшего волевой жилки» Островского, выговорил право бесплатного проезда в Приморье для тех, кто пожелает «продолжить борьбу с комиссародержавием на Руси»^[220].

После этого безоружным унгерновцам позволили войти в Хайлар. Там они встретили товарищей из резухинской бригады, начались дружеские застолья с рассказами о том, что им пришлось пережить по отдельности. Это вылилось в «безудержный разгул»; пропивали полученный от китайцев аванс и награбленные в Монголии ценности, за гроши скупаемые местными коммерсантами. Питейные заведения и японские публичные дома «брались с бою». Попутно шло выяснение отношений, находились сторонники и противники Унгерна, о казни которого узнали только сейчас. Забайкальцы винили оренбуржцев в убийстве Резухина. «Затевались драки, — пишет Аноним, — летела посуда со столов. Лилась кровь. Сокрушалась мебель. На улице благим матом вопили перепуганные хозяева. Прибегали китайские солдаты и с трудом разнимали дерущихся».

Евфаритский, Львов и еще несколько заговорщиков, в ночь мятежа обстрелявших палатку барона, а позже, при его появлении перед строем дивизии, ускакавшие в лес, пропали бесследно. Никто из унгерновцев никогда больше с ними не встречался. Правда, был слух, будто какая-то забайкальская газета напечатала сообщение о их поимке и казни: якобы Евфаритский и его товарищи

пытались напроситься на службу к красным, ставя себе в заслугу организацию заговора против Унгерна, но им указали, что если они изменили одному начальнику, изменят и другим. Эта фольклорная история, в которой слугу-предателя наказывает благородный враг преданного господина, выглядит слишком красивой, чтобы быть правдой.

В начале октября 1921 года примерно 500 человек из обеих бригад (половина всех пришедших в Хайлар) особым эшелоном были отправлены в Гродеково. Там генерал Глебов, опасаясь держать у себя эту вольницу в виде отдельного формирования, раскидал их мелкими группами по разным частям. Уже в ноябре они участвовали в каппелевском наступлении на Хабаровск. После падения белого Приморья многие поступили на службу к Чжан Цзолину и составили значительную часть входившей в его армию Русской бригады. Ее командиром был Костромин, погибший в сражении с войсками У Пейфу под Шанхайгуанем.

Большинство унгерновцев^[221] «рассосались» в зоне КВЖД. Кто-то обосновался в Харбине, другие со временем подались в Тяньцзин, Пекин, Шанхай, а оттуда постепенно рассеялись на пространстве от Австралии до Сан-Франциско и от Японии до Парагвая.

2

Захваченный на границе Сипайло скоро был отпущен, а затем, уже в Харбине, вновь арестован по обвинению в убийстве жившего в Урге датчанина Ольсена (Олуфсена), у которого он по своему обыкновению вымогал деньги и, ничего не добившись, задушил. Родственники десятков его жертв, русских и евреев, не смогли возбудить против него дело, но датское консульство сумело настоять на своем. В 1922

году состоялся судебный процесс, какая-то инициативная группа приглашала унгерновцев прибыть на него и дать показания о других преступлениях Макарки-душегуба, но, кажется, желающих не нашлось.

Сипайло приговорили к десяти годам каторги. Многие жалели, что этот палач так легко отделался, другие утешали себя тем, что «китайская каторга — вещь пострашнее смерти». Все эти годы он будто бы содержался в изоляции, поскольку и русские, и китайские заключенные грозили учинить над ним самосуд. Впрочем, Торновский сообщает, что в тюрьме ему жилось совсем недурно: «Он оказался образцовым арестантом, за почтительность и благонравие был назначен старшиной. Заведовал библиотекой, тюремной церковью». Рассказывали и о том, что стараниями заинтересованных лиц Сипайло отбывал срок вблизи Дайрена, где жил Семенов; подкупленная стража отпускала его к атаману, и он помогал ему по хозяйству. В газетах писали, будто активное участие в его судьбе принимал капитан Судзуки — сбежавший от Унгерна командир Японской сотни. Даже освобождение Сипайло из тюрьмы в 1932 году связывали не с тем, что истек десятилетний срок его заключения, а с вступлением в Харбин японских войск. Куда он потом делся и как прожил остаток жизни, никто не знал. Скорее всего, Макарка-душегуб сделался мирным обывателем и умер в своей постели, тем самым в очередной раз подтвердив, что никакой высшей правды в этом мире не существует.

Зато все его ближайшие помощники кончили плохо. Панкова уже в Китае настигла пуля одного из офицеров Азиатской дивизии, отомстившего ему за прошлые дела. Безродный, после убийства Резухина пытавшийся скрыться в лесу, был пойман; унгерновцы собирались его судить, однако он снова от них сбежал, при переправе через Селенгу бросившись в воду и

«симулируя потопление», но через несколько дней попался партизанам Щетинкина. Тот приказал его расстрелять.

Бурдуковский и 11 человек из его карательной команды погибли той же смертью, только их на острове посреди Селенги казнили свои. Когда после импровизированного суда Бурдуковского уводили на расстрел, он заметил поблизости Рябухина и крикнул ему: «Доктор, куда нас ведут?» — «Туда, — ответил Рябухин, — куда ты отправил столь многих». Возможно, впрочем, что и вопрос, и свою столь удачно найденную ответную реплику он выдумал задним числом. Князев рассказывает, что в ночь мятежа Бурдуковский без всякого суда был «взят в шашки налетевшими на него всадниками и разрублен на части за тот короткий промежуток времени, пока падал с коня на землю». Унгерновцам хотелось думать, что он не избежал заслуженной кары, но согласно другим, тоже не слишком достоверным сведениям, ему удалось уцелеть, в середине 1920-х годов агенты ГПУ в Китае пользовались его услугами.

Любимец барона, доктор-убийца Клингенберг был расстрелян по пути к китайской границе. По одним сведениям, приказ об этом отдал полковник Циркулинский, взбешенный тем, что Клингенберг, вывозя награбленное в Урге имущество, отобрал подводы у раненых; по другим, более вероятным, — именно эта добыча, на которую зарились многие, и стала причиной его смерти. Вместе с ним погибла сестра милосердия Швецова, его любовница и соучастница его преступлений. Клингенберг успел принять несколько таблеток морфия из походной аптечки и по пути к месту расстрела насвистывал шансонетки. Нога, сломанная ему Унгерном, еще не зажила, он опирался на костыль, а Швецова поддерживала его под руку. «Когда они отошли от

дороги шагов на двадцать пять, — со слов очевидцев пишет Голубев, — их остановили. Швецова обняла Клинген-берга, поцеловала, и они встали на колени. Раздались два выстрела, и оба, пораженные в затылок, упали на землю».

Гибель Джамбалона была менее драматичной, но тоже связанной с монгольской добычей. По рассказам, почти у самой границы его настиг красный разъезд; он еще мог ускакать, но пытался отстоять верблюдов с вывезенным из Урги добром и был убит в перестрелке.

Ивановский, считавшийся начальником «тылового» штаба Азиатской дивизии, доехал до Хайдара на автомобиле. Позднее жил в Трехречье, в станице Покровской, работал учителем в местной школе. Поскольку при Унгерне он считался полковником, Ивановский, как тогда поступали многие, из тщеславия не то сам присвоил себе чин генерала, не то получил его от какого-то эмигрантского «штаба». Это его и погубило. В той же Покровской, женившись на юной казачке Фросе, проживал старый семеновский генерал Мациевский, и когда в конце 1920-х годов ГПУ решило его похитить и вывезти в СССР, вместо него диверсионная группа по ошибке выкрала Ивановского^[222].

Лев Вольфович, «собственный жид» Унгерна, в 1926 году был схвачен в Монголии, куда пробрался из Китая. Что ему там понадобилось, непонятно; возможно, хотел разыскать золото барона, зарытое не то под Ургой, не то на Буир-Норе. Монголы выдали его советским представителям в Улан-Баторе, Вольфовича увезли в СССР и, скорее всего, расстреляли^[223].

Тубанов, непутевый сын ургинской портнихи, при штурме столицы выкравший из Зеленого дворца Богдо-гэгэна с женой и награжденный за это княжеским титулом, отличился чудовищными зверствами во время

похода возглавляемого им отряда на Мензу. После того как Азиатская дивизия ушла на восток, он около года скрывался в Урге, но в конце концов был пойман и расстрелян, несмотря на личное заступничество хутухты.

Богдо-гэгэн Джебцзун-дамба-хутухта VIII, он же Богдо-хан, «Многими возведенный» и Живой Будда, как называли его европейцы, в то время еще считался монархом, давал аудиенции, восседая на «двойном» троне рядом с женой, к нему еще являлись на аудиенции члены революционного правительства и подносили дары — тем меньшие, чем выше было место дарителя на лестнице власти, но в этом старце видели теперь только мумию прежнего священного величия. Он был не столько символом власти, сколько ее ширмой, обветшавшей до полной прозрачности и не способной скрыть то, что за ней происходит. Ему оставалось лишь превратиться в мумию настоящую, что и случилось в 1924 году.

Высказываются догадки, будто большевики ускорили его конец, чтобы побыстрее превратить монархию в социалистическую республику, но, может быть, он просто не смог жить без умершей годом раньше любимой жены Дондогдулам, с которой никогда не расставался. Его высушенное и покрытое золотой краской тело (шарил) торжественно поместили сначала в Майдари-Сум, затем перенесли в храм при дворце Шара-ордо, откуда оно бесследно исчезло в середине 1930-х годов, когда начались предсказанные Унгерном гонения на «желтую религию». Еще раньше, в 1928 году, VII съезд МНРП запретил искать его девятое перерождение^[224].

Унгерн был уже мертв, когда Бакич с остатками Оренбургской армии появился на западе Халхи и вместе с Кайгородо-вым осадил монастырь Сарыл-Гун, где укрепился едва ли не вдесятеро меньший отряд сибирского латыша Карла Байкалова (Некундэ). Жестоко страдая от голода, красные героически оборонялись в течение почти двух месяцев, пока с севера не подошли подкрепления. Бакич вынужден был снять осаду и в начале зимы, окруженный советскими и красномонгольскими отрядами, сдался Хатон-Батору Максаржаву, в итоге нарушившему все условия, на которых Бакич согласился сложить оружие. Есть известия, что он имел возможность бежать, но мужественно предпочел разделить судьбу своих солдат. В мае 1922 года Бакича, начальника его штаба генерала Степанова и 16 высших офицеров судили в Новониколаевске. Всех приговорили к расстрелу. Суд состоялся в том же театре «Сосновка», и общественным обвинителем снова выступил Ярославский. Правда, пропагандистской шумихи было теперь поменьше. Унгерн с его монархизмом, свирепостью и аристократической родословной стал настоящим подарком для большевиков, а Бакич, выдвигавший эсеровские лозунги и воевавший под красным флагом, был фигурой не столь удобной для показательного процесса.

Караван из более чем семисот русских беженцев, поселенцев с семьями, а также ушедших от Бакича и Кайгородова офицеров и казаков, покинул Кобдо раньше, чем его заняли красные. Эту группу с боями вывел в Китай полковник Сокольников, но атаман Казанцев, палач Улясутая, громивший монастыри и поголовно вырезавший их обитателей вплоть до мальчиков-хуврэков, был схвачен советским отрядом. По просьбе монголов Казанцева выдали им на расправу, и они подвергли его мучительной казни.

Кайгородову посчастливилось избежать плена, он вернулся на Алтай, с небольшим отрядом скрывался в горах и сумел причинить немало хлопот местным властям, пока его не выдал предатель. Дом в селе Катанда, где он заночевал 10 апреля 1922 года, был окружен «истребительным отрядом» краскома Ивана Долгих, бывшего жестянщика, в будущем — начальника ГУЛАГа; Кайгородов отстреливался до последнего, а затем застрелился. Долгих лично отрубил ему, еще живому, голову, которую триумфально провезли по селам и привезли в Барнаул, как голову Джа-ламы — в Ургу, но не на пике, а в ящике со льдом. Здесь ее предъявили жене Кайгородова, сидевшей в городской тюрьме. После того как она опознала мужа, комдив Овчинников в большой кастрюле со спиртом принес эту голову прямо на заседание Алтайского губисполкома. В той же таре трофеей отправили в Новониколаевск, где им любовалось вышестоящее начальство. Потом, видимо, голову Кайгородова закопали в одной из неизвестных могил вместе с телами жертв тамошней ЧК.

Казагранди по приказу Унгерна был убит в июле — августе 1921 года. Приговор инспирировал и привел в исполнение сотник Сухарев, мечтавший занять его место. Он добился желаемого, но ни для него самого, ни для его людей ничего хорошего из этого не вышло. Приняв командование отрядом, Сухарев решил идти не на соединение с Азиатской дивизией, а на восток, в Китай. Оставшиеся под его началом полтора человека с невероятными лишениями добрались до Буир-Нора, и тут китайцы отыгрались на них за все прежние поражения. Отряд был почти полностью уничтожен; сам Сухарев пустил себе пулю в лоб, перед этим застрелив сестру милосердия, с которой жил.

Лаврову и Витте, двум помощникам Унгерна в его попытках наладить экономику Монголии, добраться до Китая тоже не удалось, но оба остались в живых.

Выехав с семьями на восток, они узнали, что на границе китайские солдаты грабят, а то и убивают русских беглецов, и разбили лагерь на Орхоне, решив подождать, пока все успокоится. Здесь их захватили красные монголы, доставили в Ургу и сдали властям. Некоторое время они просидели под арестом, потом были увезены в Новониколаевск — вероятно, чтобы использовать их как свидетелей на суде над Унгерном, но это не понадобилось. Витте сразу отпустили, а Лаврова как эсеровского деятеля отправили в Москву, где готовился процесс правых эсеров. В Лубянской тюрьме он ждал смерти, однако через год его освободили. Как раз тогда была образована Бурят-Монгольская автономия, и старые знакомые Лаврова по Иркутску (в том числе, вероятно, Шумяцкий), которым он был известен как прекрасный финансист, добились его отправки в Улан-Удэ. Из смертника он превратился в министра финансов, спустя два года из-за потери зрения вышел в отставку и в благодарность за труды был отпущен к обосновавшимся в США взрослым детям.

Витте с женой из Новониколаевска предусмотрительно не поехал ни в Москву, ни в Петроград, а подался в провинциальный Новочеркасск. Там он всю оставшуюся жизнь, до конца 1940-х годов, спокойно проработал в Институте риса и Мелиоративном институте [\[225\]](#).

Его дочь, жена Бориса Волкова, соединилась с мужем в Китае, после многолетних мытарств они оказались в Америке, где вскоре развелись. Елена Витте вышла замуж за выходца из Одессы, удачливого бизнесмена Натана Силвермастера, не подозревая, что этот болезненный человек, страдавший тяжелой формой бронхиальной астмы — резидент советской разведки в Вашингтоне. Позднее муж обо всем ей рассказал, и она до самой его смерти помогала ему в

делах. Умер он неразоблаченным. Его портрет — в музее ФСБ на Лубянке.

Тизенгаузен, арестованный в Урге, через месяц в Новониколаевске был отпущен на свободу вместе с Витте и со своей гражданской женой Архангельской, ургинской симпатией барона, поселился в Иркутске. Здесь эта черноглазая красавица, приложившая руку к созданию «Приказа № 15», со свойственной ей практичностью открыла «салон дамских нарядов». Муж, в прошлом оренбургский вице-губернатор, служил у нее рассыльным^[226].

Ненавистная Унгерну «атаманша» Маша, она же Мария Розенфельд, кафешантанная «цыганка» и патронесса Иудейской роты, перебралась в Париж, вела там бурную жизнь; из-за любви к ней застрелился какой-то офицер. Есть известия, что незадолго до начала Второй мировой войны она уехала в Палестину, постриглась в монахини и окончила свои дни на Святой земле.

Елена Терсицкая, вторая законная жена Семенова, мать двоих его детей, не принесла ему семейного счастья. На восьмом году брака, в Токио, она завела роман с японским принцем Фумимара Каноэ, ушла от мужа, а позже вышла замуж за работавшего в Китае немецкого бактериолога Эрика Хайде. После его смерти вернулась в СССР и, почему-то избегнув лагерей, скончалась в Челябинске в 1982 году.

Сам атаман, в 1945 году арестованный у себя дома под Дайреном, по приговору военного трибунала был повешен в хабаровской тюрьме.

Как прожила жизнь маньчжурская принцесса Цзи, она же баронесса Елена Павловна Унгерн-Штернберг, не известно. Последний раз ее видели в 1941 году, в Чаньчуне, где она состояла при дворе Пу И,

марионеточного императора созданного японцами государства Маньчжоу-Го. Вряд ли он знал, кем был муж этой придворной дамы, и уж тем более понятия не имел, что когда ему было 12 лет, ее супруг пытался завязать с ним переписку, предлагая свою помощь в деле возрождения Поднебесной империи. Теперь последний отпрыск династии Цин восседал на троне, но совсем не в том качестве, как это представлялось Унгерну, верившему, что «спасение человечества произойдет из Китая».

Все эстляндские родственники барона постепенно покинули землю предков. Осенью 1939 года, после того как Гитлер в рейхстаге произнес речь с призывом ко всем прибалтийским немцам выехать в Германию, из таллинского порта отплыли последние 32 представителя рода Унгерн-Штернбергов. В 1950-х годах одного из них правительство ФРГ собиралось назначить послом в СССР, но Хрущев будто бы заявил: «Нет! Был у нас один Унгерн, и хватит». Позднее это уже никого не смущало, и через 40 лет, в середине 1990-х годов, другой Унгерн-Штернберг оказался на должности немецкого консула в Санкт-Петербурге.

Единственный родной брат Унгерна, Константин, был инженером, после революции жил в Маньчжурии, в 1930-х годах уехал в Австрию, во время войны дослужился до полковника вермахта. Весной 1945 года, в Вене, накануне вступления в нее советских войск, его нашли мертвым в номере отеля. Вместе с ним была убита его жена Леония, автор книги «Смысл социализма», дочь Германа Кайзерлинга, по матери — правнучка Отто Бисмарка. Скорее всего, супруги пали жертвами грабителей, но в неразберихе тех дней подлинные обстоятельства их смерти остались невыясненными. Кайзерлинг умер годом позже, в Инсбруке.

Макеев, Князев и Рябухин из Хайлара отправились в Приморье воевать с красными; после падения Владивостока все трое оказались в Китае. Дальнейшая жизнь Макеева покрыта туманом, а Князев прочно осел в Харбине, был агентом железнодорожной полиции, конторским служащим. Если он дожил до 1945 года, то, видимо, был вывезен в СССР и умер в лагерях. Самой счастливой оказалась судьба Рябухина. Он уехал в Америку, в Лос-Анджелес, превратился в доктора Рибо, переделав свою неблагозвучную для английского уха фамилию на французский манер, и со временем стал модным врачом. В 1930— 1940-х годах у него лечились многие голливудские звезды.

В той же Калифорнии глубоким стариком скончался Сергей Хитун, личный шофер Унгерна, автор искренних, человеческих и честных мемуаров о своих приключениях в Монголии.

Торновский в 1941 году, через харбинскую газету «Заря», публично объявил, что выходит из всех белоэмигрантских организаций в Китае, членом которых он был, в знак протеста против их решения оказать поддержку Германии против СССР. После войны он с семьей добровольно вернулся на родину, работал табельщиком и бухгалтером на строительстве Камской ГЭС в Молотове (Перми). Через год его арестовали; в мордовских лагерях он просидел до 1955 года, на свободу вышел инвалидом и вскоре умер. После него остался посвященный русскому продвижению на восток и до сих пор не опубликованный историко-философский труд «От Господина Великого Новгорода до Великого океана».

Давно овдовевший Першин при красных остался в Урге. Лишь три года спустя он уехал в Калган, к

единственному сыну, талантливому скрипачу и запойному пьянице, но пережил его и в 1935 году скончался там в нищете и одиночестве.

Еще один мемуарист — Бурдуков, знавший Унгерна дольше всех остальных, со времени его первой поездки в Монголию «для совершения смелых подвигов», переселился в Ленинград, преподавал монгольский язык в университете, составил монгольско-русский словарь. Был арестован и умер в тюрьме.

Алешин находился в отряде Сухарева, но избежал гибели. По дороге на восток он вошел в группу офицеров и казаков, которая отделилась и двинулась по маршруту, выбранному сначала Казагранди, а позже и самим Унгерном — через Гоби в Тибет. Оттуда они хотели попасть в Индию, что годом раньше удалось служившим у Колчака белым латышским стрелкам во главе с генералом Гоппе, а годом позже не получилось у атамана Анненкова. Среди тех, кому улыбнулась удача, был и Алешин. Из Индии он добрался до Лондона, где по-английски написал и в 1940 году издал свою «Азиатскую одиссею».

В Нью-Йорке, в журнале «Азия», главу автобиографического романа опубликовал самый страстный из врагов барона — Борис Волков. Для него это был большой успех, он прислал знакомым в Прагу вырезку с газетной рецензией. Волков писал о Монголии вечной, о том, что двухвековое владычество Пекина не сумело изменить дух народа, «разжижить густую темную кровь потомков Чингисхана», но литературный обозреватель «Окленд трибюн» с грустью констатировал: «Фантастический мир, и все это теперь снесено и сжато двумя ветрами — красным вихрем, несущимся из Москвы, и раскаленным добела — откуда-то из Гобийских пустынь». Свой роман Волков назвал «В стране золотых будд», позднее изменил это название на другое — «Призванный в рай» («Conscript to

Paradise»), но опубликовать его целиком не сумел, издал лишь сборник стихов «В пыли чужих дорог»^[227]. Он был портовым грузчиком в Сан-Франциско, работал на шоколадной фабрике, преподавал русский язык курсантам военной школы в Монтерее, наконец получил место переводчика при ООН. В 1953 году умер от травм, полученных в автомобильной катастрофе.

Камиль Гижицкий, польский любимец барона, не успокоился после трехлетних скитаний по Сибири, Туве и Монголии. По природе это был авантюрист и вечный странник. В Лхасу, куда его приглашали посланцы Далай-ламы XIII, он не попал, зато в 1922 году ухитрился посетить Сахалин и Камчатку, затем вступил в Сибирскую добровольческую дружину генерала Анатолия Пепеляева, чтобы плыть в Якутию воевать с большевиками, но передумал и уехал в Польшу. Написав книгу воспоминаний «Через Урянхай и Монголию», Гижицкий вместе с Оссендовским отправился на сафари в Африку, в Камерун, оттуда перебрался в Либерию, сделался владельцем двух каучуковых плантаций и в старости вспоминал это время как счастливейшее в жизни. В сентябре 1939 года он сражался с немцами под Варшавой, потом входил в руководство подпольной Армии Крайовой, а в социалистической Польше от нечего делать занялся сочинением книжек для подростков — писал про «саванны и дебри Камеруна», про знакомую львицу Уангу, про Соломоновы острова, куда его тоже заносила судьба, но об Унгерне никогда больше не вспоминал. Умер во Вроцлаве в 1968 году.

Зато для его соотечественника и друга Фердинанда Оссендовского «кровавый» барон сделался постоянным спутником жизни — как герой написанных им книг, газетных статей и одной пьесы. Даже смерть их автора не обошлась без участия любимого персонажа;

странным образом сбылось предсказание, которое еще до своего первого свидания с бароном Оссендовский якобы получил в Улясутае, от перерожденца Нарабанчи-хутухты: тот предрек ему смерть через десять дней после встречи с человеком по имени Унгерн. Как все обстояло на самом деле, неизвестно, для красного словца Оссендовский был способен на многое, но он сам неосторожно написал об этом в одной из своих книг, упустив из виду, что подобные пророчества имеют тенденцию сбываться не совсем так, как предполагалось изначально.

Благополучно пережив десятый день после знакомства с Унгерном в Ван-Хурэ, Оссендовский уехал в Китай, затем — в Нью-Йорк; позднее, уже автором мирового бестселлера «Звери, люди и боги», обосновался в Варшаве, был хорошо известен в польских литературных и политических кругах. Умер он в январе 1945 года, в дни Варшавского восстания, а через десять лет в печати появилось сообщение, что накануне кончины к нему приходил служивший в СС двоюродный брат Унгерна. То есть смерти Оссендовского предшествовала встреча с человеком, носившим роковое для него имя.

Еще полтора десятилетия спустя Витольд Михаловский, автор книги «Завещание барона», выяснил, что Оссендовского посетил некий Доллердт, двоюродный племянник, а не брат Унгерна, сын одной из его кузин. Какую цель он при этом преследовал, осталось тайной — то ли надеялся выведать что-нибудь о зарытых где-то в Монголии сокровищах барона (молва упорно приписывала Оссендовскому знание места, где погребен этот клад), то ли имел задание предложить ему войти в польское правительство, о создании которого подумывали тогда в Берлине, то ли просто хотел расспросить о своем знаменитом родственнике.

Статья Михаловского была напечатана в газете «Жиче Варшавы», и вскоре на нее откликнулся сам Доллердт, проживавший в Швеции. По его версии, встретиться с Оссендовским он не сумел, поскольку тот был тяжело болен, лишь побеседовал с соседями, да и то как Доллердт, не называя девичьей фамилии своей матери, так что Оссендовский никак не мог связать его визит с предсказанием Нарабанчи-хутухты. Нашлись, однако, свидетели, утверждавшие, что их встреча состоялась, и Оссендовский, будучи абсолютно здоров, наутро вдруг плохо себя почувствовал, был увезен в больницу и умер чуть ли не на десятый день, как то и было предсказано. История эта мутная, но есть ощущение, что в любом случае Оссендовский пал жертвой собственных игр, которые он в реальности и на бумаге вел с Унгерном при его жизни и после смерти.

В 1922 году по обвинению в измене был казнен премьер-министр Бодо, одним из первых осознавший, чем грозит Халхе «революционный» строй. Против обыкновения его труп и трупы расстрелянных вместе с ним еще четырнадцать человек (в их числе был прославленный Тогтохо-гун) не оставили на съедение ургинским псам-трупоедам, тогда еще не уничтоженным, а зарыли в общей могиле. Где она — не известно.

Через год, не дожив до тридцати лет, умер или был отравлен Сухэ-Батор. Тело первого председателя МНРП покоилось в мавзолее на площади его имени в Улан-Баторе, но в 2005 году было перенесено на кладбище Алтан-Улгий («золотая колыбель»).

В том же Улан-Баторе, в 1927 году, при темных обстоятельствах погиб Петр Щетинкин, полный георгиевский кавалер, за пленение Унгерна получивший от Монгольского правительства титул Железный Батор, а от ВЦИКа — орден Красного Знамени. Незадолго

перед тем он стал главным инструктором Государственной внутренней охраны Монголии (аналог ГПУ), сменив на этом посту Якова Блюмкина. Щетинкин был застрелен будто бы в пьяной драке, но к его смерти могли быть причастны крайне левые из Восточного отдела Коминтерна. Поговаривали, впрочем, что в то время он начал спиваться; возможно, убийство не имело отношения к политике, хотя его приписывали то белогвардейским агентам, то японским наймитам. Могила — в Новосибирске, в сквере Героев революции. После смерти судьба вновь свела его с Унгерном, закопанным где-то неподалеку.

Другой партизанский вождь, Александр Кравченко, член трибунала на процессе в Новониколаевске, в 1923 году умер от туберкулеза в крымском санатории, но многие верили, что его конец был более трагическим. Казалось, этот идеалист не мог смириться с советскими порядками, мало похожими на те, о которых он мечтал, воюя с Колчаком. По легенде, Кравченко добровольно сложил с себя все дарованные ему новой властью чины и должности, вернулся в родное село, чтобы снова стать простым агрономом, и был убит бандитами на лесной дороге.

В 1936 году был расстрелян Смирнов, инициатор суда над Унгерном в Новониколаевске, через год — Павлуновский, будто бы организовавший поимку барона, что очень маловероятно, и лично убивший его выстрелом в затылок, что гораздо больше похоже на правду.

Борис Шумяцкий, закулисный основатель МНРП, побратим Сухэ-Батора, точно предсказавший, как будут развиваться события в Монголии при Унгерне, с трудом добился в Москве признания Бурят-Монгольской автономии, но поссорился с возражавшим против этого Сталиным, угодил в опалу и навсегда отошел от большой политики. Был полпредом в Персии, затем

возглавил «Союзкино», мечтал построить «советский Голливуд» в устье Волги, в заповеднике Аскания-Нова. В 1938 году его расстреляли.

Тогда же в Лефортовской тюрьме под пытками умер сын русского крестьянина Василий Блюхер; годом раньше были расстреляны такие же крестьянские сыновья, только из Белоруссии и Латвии — Иероним Уборевич и Константин Нейман, юным комкором воплотивший в себе «красный вихрь» над Ургой. Где истлели их тела, неизвестно.

Ярославский скончался в 1943 году от рака желудка. Урна с прахом — в Кремлевской стене.

СОКРОВИЩЕ

1

Во время Гражданской войны и в последующие годы легенды о спрятанных сокровищах возникали не только вокруг имени Унгерна. Иногда в них фигурировали колчаковские генералы, пытавшиеся спасти часть золотого запаса России, но чаще всего героями таких легенд в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке становились те из белых вождей, кто был слабо связан с омской государственностью, свирепые и эксцентричные казачьи атаманы, куда больше похожие на Кудеяра или Стеньку Разина, чем на защитников попорченной большевиками демократии. Ни Дутов и Бакич, ни Каппель и даже Семенов не годились на роль хозяев подземного клада, зато такие истории рассказывали про Анненкова. О золоте, будто бы зарытом близ Хабаровска атаманом Калмыковым, писали в газетах, а смерть Казагранди легенда связывала с его драгоценной добычей, которую он спрятал в одном из монгольских монастырей. В этом ряду Унгерн был фигурой самой яркой и экзотической, в оставшееся после него сокровище верили так же, как верят в сокровища майя, клады вест-индских пиратов или Емельяна Пугачева. Не зря золото барона всегда искали и продолжают искать под землей или под водой, а золото Колчака и Семенова — на засекреченных счетах в иностранных банках.

В начале 1920 года, когда через Читу проходил эшелон с золотым запасом России, отправленный Колчаком на восток, атаман изъясил часть груза в свою пользу. Это золото стало и предметом вожделений, и

темой фельетонов. Его якобы без конца пересчитывают, перевешивают, но толком не могут ни взвесить, ни сосчитать. Для пущей надежности к нему приставлен караул, состоящий из одних генералов, но все равно оно тает, расхищается, сомнительные личности получают его по подложным документам и бегут с ним в Японию. Оно погружено в хаос агонизирующего режима, за него цепляются, как за обломки разбитого бурей корабля. Это уже не государственное достояние, каким золотой запас был у Колчака, его не окружает ореол былого величия империи. Семеновское золото — лишь средство спасения в надвигающейся катастрофе, столь же неверное и зыбкое, как все прочие. Оно манит, но не пугает; никакой тайны в нем нет, есть большой секрет, о котором знают все.

Золото Унгерна окружено историями совсем другого рода. Оно не украдено, а завоевано, хранится не в казначействе, а в кибитке, в сундуке или вообще неизвестно где, и внезапно возникает как награда за голову предателя, как причина чьей-то казни, как сумасбродный по щедрости дар какому-нибудь монгольскому монастырю. На нем лежит кровь, и его блеск несет смерть. В рассказах о том, как оно было спрятано, часто присутствует классический фольклорный мотив: тех, кто закапывает клад, потом убивают по приказу Унгерна. Он не доверяет никому, сам остается единственным хранителем тайны и уносит ее с собой в могилу или перед смертью раскрывает неким загадочным ламам. «Ключ к этой тайне находится в Гумбуме, одном из буддийских монастырей Тибета», — многозначительно извещал читателей харбинский «Рупор»^[228].

Кроме того, в этих рассказах появляется сюжет вовсе архаический — о сокровище, скрытом на дне реки, как «золото Рейна». Будто бы, отступив на юг

после поражения под Троицкосавском, Унгерн велел бросить все имевшееся у него золото и серебро в воды Орхона неподалеку от Эрдэни-Дзу. В эту легенду вплеталась другая, гораздо более давняя. Согласно ей, когда в конце XVII века вторгшиеся в Халху джунгары дошли до Эрдэни-Дзу, святой покровитель монастыря предстал перед ними со свитой из небесных львов; джунгары в страхе бежали и многие утонули в Орхоне. За такую заслугу император Канси возвел потопившую их реку в ранг тушегуна, то есть князя 5-й степени, с жалованьем 400 лан серебра в год. Ежегодно из Пекина сюда приезжали императорские чиновники и с соответствующими церемониями кидали деньги в Орхон, так что за два столетия на речном дне скопилось около 60 тысяч фунтов серебра. «Вместе с тем, что добавил к ним барон, — замечает Алешин, рассказавший эту историю, — река хранит настоящее сокровище».

Акция кажется бессмысленной, но легенда помимо воли рассказчика раскрывает заложенный в ней тайный смысл. Именно так с награбленным золотом и серебром поступали викинги, а еще раньше — варвары. Для них драгоценный металл, символизирующий сияние солнца и мерцание луны, был ценностью не только экономической, но и сакральной. Клад предавали земле или воде не для того, чтобы когда-нибудь его оттуда достать; ему надлежало остаться там навеки. Потаенное сокровище воплощало в себе жизненную силу, храбрость, военное счастье хозяина, притягивало к нему благосклонность богов, как принесенная жертва. Жертвами были и рабы, зарывшие его, а после убитые. Погребенное на дне реки или в болоте, такое золото было недоступно для хозяина, но хранило его надежнее, чем если бы находилось в его власти. Напротив, кем-то найденное, оно сулило прежнему владельцу несчастье и гибель.

Разумеется, сам Унгерн ни о чем таком не думал и, скорее всего, при мучившем его хроническом безденежье никакое золото нигде не зарывал, тем более не топил в Орхоне. Такие легенды больше говорят не о нем, а о породившем их времени. Коллективная память прочнее, глубже, но и темнее индивидуальной. Смутные эпохи обнажают в ней самые глубинные пласты; в ее иррациональной стихии, где продолжает жить забытое каждым в отдельности, как эхо иных времен возникают мифы о «золоте Орхона», о смертниках, зарывающих клад под Ургой, и за всем этим, как за многим другим в мифологии монгольской эпопеи, стоит не сформулированное, но хорошо знакомое современникам барона ощущение, что человек не так уж сильно изменился за последнюю тысячу лет. Из таких легенд, как из трещин в утончившемся слое цивилизации, проглядывает древний ужас вечно повторяющейся истории.

2

Перед уходом из Даурии в Акту на выплату жалованья офицерам и всадникам ушло пять мешков с золотом «русской монетой», по 10 тысяч рублей в каждом. В обозе, в знаменитой «черной телеге» (кибитке черного цвета), везли еще 300 тысяч ^[229]. Тогда же из-за этого золота пролилась кровь: Китайская сотня пыталась им завладеть, часть охраны погибла, но нападение было отбито, китайцы бежали и рассеялись в лесах.

За четыре месяца почти все вывезенные из Даурии 360 тысяч рублей золотом были истрачены на жалованье и прочие надобности, других денег Унгерн тогда не имел. Накануне штурма Урги у него оставалось не более 60–70 тысяч, но при взятии столицы ему

достались огромные ценности. Весомую их часть составляли деньги, которые китайцы успели выколотить из монголов в счет невыплаченных за несколько лет долгов.

«В Урге, — пишет Князев, — барон получил значительный денежный приз. Китайское командование успело вывезти из города лишь часть наличности своего банка. Семьдесят верблюдов, навьюченных каждый десятую пудами банковского и билонного русского серебра^[230], брошено было китайцами во дворе банка в Ямыне (700 тысяч рублей по номиналу); да в самом здании банка осталось несколько пудов золота, 500 тысяч китайскими серебряными долларами и банкнотами и около 2 тысяч — американскими долларами». В другом месте Князев уточняет, что золота было четыре пуда, но все цифры весьма относительны. Точную сумму не знал, кажется, и сам Унгерн.

С этого времени он стал выплачивать жалованье серебром, золото отпускалось в исключительных случаях и только по его собственноручным запискам. При поражении под Троицкосавском чуть ли не все находившиеся при нем ценности достались красным, к моменту мятежа в денежном ящике хранилось лишь билонное серебро на несколько тысяч рублей.

Другую часть дивизионной казны, в том числе золотой запас, Унгерн перед походом на север оставил в Урге. По рассказу Князева, интендант Коковин с Ивановским вывезли ее на восток и вблизи Буир-Нора честно сдали бежавшим туда из столицы унгерновцам, но их альтруизм вызывает сомнения. «Специально организованная комиссия, — в идиллическом тоне повествует Князев, — приняла по акту от Коковина нижеследующие ценности: 3 пуда 37 ф. золота, 4 пуда билонного серебра, 18 тысяч руб. банковским серебром,

2 пуда ямбами и рубленным серебром^[231] и 1400 американских долларов. Часть золота роздана была чинам буир-норского отряда, а также прибывшим из Урги раненым (по 50 р. на человека); 20 фунтов золота взяли себе Коковин и Ивановский, 20 фунтов получил комендант Урги, подполковник Сипайло».

Каким образом в этой компании оказался Сипайло и куда делись остальные пуды, Князев не объясняет, ограничившись морализаторской сентенцией: «Слишком, видно, много было крови на этих деньгах, потому что никому они не пошли впрок». В одном месте своей книги он пишет, что у Сипайло местонахождение его доли попытались китайцы, применив к нему те же методы, какие он сам использовал в подобных случаях; в другом — что они конфисковали вообще все золото, лишь полпуда сумели увезти Коковин с Ивановским. Как все обстояло в действительности, Князев не знал или предпочитал помалкивать. Между тем Сипайло не зря вышел из тюрьмы сразу после того, как в Харбин вступили японские войска.

По рассказу работавшего в Монголии чекиста Вячеслава Гриднева, как раз в это время стало известно, что Сипайло с буровой установкой и группой из шестнадцати человек на двух автомобилях пересек границу и разбил лагерь возле Буир-Нора. Во главе эскадрона Монгольской армии Гриднев попытался ночью захватить кладоискателей врасплох, но те полуодетыми попрыгали в грузовики и бежали в степь, бросив все снаряжение, в том числе буровую установку. В одной из палаток монголы нашли двоих крепко спавших японцев. По документам это были сотрудники исследовательского бюро Южно-Маньчжурской железной дороги, а на самом деле — офицеры японской разведки.

«При дальнейшем обследовании местности, — вспоминал Гриднев, — было установлено, что люди Сипайло пробурили несколько скважин, но клада не нашли. По всей видимости, у них не было точных ориентиров, а главное — они не учли, что за прошедшие годы отлогие берега озера заметно изменили свои очертания под воздействием сезонных колебаний уровня воды». Надо полагать, снаряженная вскоре советско-монгольская экспедиция все это учла, но также ничего не обнаружила.

Многие считали, что часть ценностей была спрятана Унгерном еще до вторжения в Забайкалье, и не под Хайдаром, а под Ургой или в районе Ван-Хурэ. Будто бы первым об этом сказал все тот же Сипайло. В газетах промелькнуло сообщение, что при аресте он спас себе жизнь хитроумным способом героя авантюрного романа: обещал указать место возле Урги, где зарыты четыре ящика с золотом.

С тех пор число этих ящиков непрерывно росло, и в конце 1920-х годов директор харбинской польской гимназии Гроховский писал уже о двадцати четырех ящиках, в каждом из которых находилось по три с половиной пуда золотых монет, и о сундуке с драгоценностями весом в семь пудов, принадлежавшем лично Унгерну.

В феврале 1924 года харбинская газета «Свет» в полутора десятках номеров опубликовала приключенческую повесть «Клады Унгерна». Ее автором был Михаил Ейзенштадт, писавший под псевдонимом Аргус. Сюжет — история двух кладоискателей из эмигрантов, которые нелегально проникают в Монголию, попадают в лапы ГПУ, ловко обманывают чекистов, пустив их по ложному следу, и невредимыми возвращаются в Китай, хотя тоже без добычи. Сокровище барона ускользает от тех и от других.

В предисловии автор утверждал, что в основу его сочинения легли действительные события. Возможно, так оно и есть, подобных попыток было много. Как рассказывает Першин, примерно через год после казни барона кто-то из бывших унгерновцев, знавший, где спрятан клад, но опасавшийся ехать за ним в красную Монголию, познакомился с жившим в Китае французом по фамилии Персондер и объяснил ему, как найти нужное место под Ургой. За это он, видимо, должен был получить свой процент. Персондер, однако, не желая рисковать, решил действовать официально. Он явился в советское полпредство в Пекине и обещал по прибытии в Монголию указать местонахождение сокровищ, если ему гарантируют его долю. Соглашение было достигнуто, но когда Персондер прибыл в Ургу, от него стали требовать предварительных точных указаний. Подозревая, что его хотят надуть, француз отказался что-либо говорить и настаивал на том, что расскажет всё только на месте. К нему приставили следователя по фамилии Шлихт с охранником, и они втроем отправились на «мотокаре». По дороге Шлихт все же сумел усыпить бдительность француза, выпытал подробности, затем ссадил его где-то на полпути, а сам поехал дальше. Через какое-то время он вернулся и доложил, что никакого клада там нет, сведения оказались ложными.

Першин был уверен, что с Персондером «разыграли комедию» и клад обманом заполучили большевики, но как все было на самом деле, сказать трудно. Сохранилось письмо Персондера советскому полпреду в Монголии, в котором он назвал имена своих информаторов — это хорунжий Немчинов, чья жена гадала Унгерну на картах, и один из ближайших помощников Сипайло, тогда еще живой Панков. Первый якобы говорил о кладе в доме Тимоновича (бриллианты, 20 фунтов золота, 2 пуда серебра) и о закопанных на

Желтуре сорока двух ящиках с золотом, второй — о ценностях китайских банков, зарытых близ Урги (бриллианты, золото, до десяти миллионов долларов). Впрочем, если верить Трилиссеру, начальнику ИНО ОГПУ, в указанных местах ничего найти не удалось. Самого Персондера он охарактеризовал как «тип авантюриста, бывавшего везде и всюду ищущего заработка на такого рода вещах, как слухи о кладях».

Тем не менее поиски продолжались еще долгие годы. Повезло ли кому-то, неизвестно, при успехе никто бы не стал хвалиться удачей, но охотники за сокровищами Унгерна не перевелись до наших дней.

По гипотезе Витольда Михаловского, барон посвятил в свою тайну двоих поляков — Оссендовского и Гижицкого, которым доверял больше, чем русским. В конце 60-х годов XX века Михаловский тщательно изучил архив автора «Зверей, людей и богов», обнаружил фотографии каких-то степных ландшафтов, по его мнению, указывающие на место захоронения клада, и непонятные планы на клочках бумаги — вроде тех, что описаны у Эдгара По или в «Острове сокровищ», однако применить свои находки на практике ему не удалось. Оссендовский давно умер, Гижицкого он тоже не застал в живых, но сумел побеседовать с вдовой. На вопрос, не собирался ли ее муж съездить в Монголию, не было ли у нее такого ощущения, будто его там что-то привлекает, вдова отвечала, что нет, о Монголии он никогда не вспоминал, зато часто говорил о своих либерийских плантациях и очень хотел увидеть их перед смертью, но осуществить эту мечту так и не смог.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

1

Разговоры о том, что Унгерн жив, пошли почти сразу после его казни. Выдвигалась следующая версия: красные не сумели его захватить, процесс был искусной мистификацией, в Новониколаевске под видом барона судили другого человека. Тогда же начали курсировать слухи, в основе которых лежала идея менее экстравагантная: судили действительно Унгерна, но в ночь после суда ему удалось бежать.

Вскоре после того как ДАЛ БТА, телеграфное агентство ДВР, распространило отчет о новониколаевском процессе, во владивостокской «Вечерней газете» появилась заметка под характерным названием «Унгерн или двойник?». Ее автор, скрывшийся за псевдонимом «П. Кр-сэ», утверждал, что лично знал барона в Харбине, и по пунктам перечислил все странные, на его взгляд, детали этого отчета, вызвавшие у него сомнения в подлинности фигуры подсудимого.

1. Говорится, что Унгерн — высокого роста, с большими «казацкими» усами, с бородкой. «Ладно, — замечает по этому поводу П. Кр-сэ, — борода могла отрасти, но усы так быстро не растут, у него были интеллигентные усы. И он был среднего роста!»

2. Унгерн сказал, что до революции был войсковым старшиной, а от Семенова получил чин генерал-лейтенанта. Однако правда такова: в 1917 году барон был есаулом, и Семенов произвел его только в генерал-майоры [\[232\]](#).

3. «Что за чушь о создании Срединной монгольской империи? Ведь Монголия была для Унгерна лишь базой для операций против ДВР!»

4. Почему барона судили в Новониколаевске, а не в Чите? Не потому ли, что там его многие знают в лицо?

Утвердительный ответ на последний вопрос, резюмирует П. Кр-сэ, разрешает и все предыдущие недоумения. Очевидно, что суд был фарсом, умелой инсценировкой; барон ушел на запад Монголии, как и собирался это сделать, а перед трибуналом предстал загримированный под него актер или двойник. Двойничество — не столь уж редкое явление природы. Всем харбинцам известен один железнодорожный служащий, который является буквально копией Николая II. Тем проще было найти человека, похожего на Унгерна: его внешность представляет собой «обычный интеллигентский тип, каких тысячи».

Эта версия рухнула, когда унгерновцы появились в Харбине и в Приморье, но слухи о побеге проверке не поддавались и оказались куда более живучими. Рассказывали, будто сразу по окончании процесса барон симулировал психическую невменяемость, причем настолько натурально, что исполнение приговора решено было отложить. Такую форму поведения подсказала ему действовавшая в Новониколаевске белогвардейская подпольная организация. Унгерна поместили в тюремную больницу, откуда он той же ночью бежал с помощью члена этой организации, фельдшера Смольянинова (конкретная фамилия придавала убедительность всей истории). Чтобы избежать скандала, администрация тюрьмы скрыла побег, вместо барона расстреляли очередного смертника, а самого Унгерна поймать не смогли ^[233].

Иногда организатором побега выступал не кто иной, как главком ДВР Василий Блюхер. Его немецкая

фамилия, чье происхождение тогда не было широко известно, служила весомым аргументом в пользу данной версии^[234], хотя она могла возникнуть и много позже — после того, как в 1938 году фотографии арестованного Блюхера появились в немецких газетах, и денщик ротмистра австро-венгерской армии, графа Фердинанда фон Галена, погибшего в Карпатах во время Первой мировой войны, опознал в нем своего бывшего начальника. Можно предположить, что дожившая до наших дней легенда, будто Блюхер — это и есть попавший в русский плен и ставший красным маршалом фон Гален, породила легенду о спасении им Унгерна: один германский аристократ не мог не помочь другому^[235].

Особый вариант этой версии изложен в воспоминаниях португалки Бьянки Тристао. Она была сестрой милосердия у белых, потом какое-то время прожила в Харбине. По ее уверениям, Блюхер не только устроил Унгерну побег, но еще и помог ему уехать за границу. Как Борман и Берия, которых легенды объявляли спасшимися и переселяли в Южную Америку, барон обосновался в Бразилии. Это доказывалось приложенной к запискам Тристао фотографией — на ней мужчина, похожий на Унгерна, ласкает ручную пуму^[236].

Другую фотографию такого типа Торновскому в 1937 году показывали в Шанхае. Она запечатлела троих мужчин в одежде буддийских монахов: слева — «благообразный и почтенный» старик, настоятель монастыря где-то в Бирме, справа — «ламенок» лет пятнадцати или немного больше, а между ними — «высокий худой лама лет сорока двух — сорока пяти и до по-разительности похож на Р. Ф. Унгерн-Штернберга». Про подростка с чертами «завки»

(полукровки) сказано было, что это сын барона от маньчжурской принцессы.

Фотография демонстрировалась как иллюстрация к рассказу даже не о побеге Унгерна, а о воскрешении его из мертвых. «Легенда говорит, — приводит Торновский пояснения тех, кто показал ему этот снимок, — что высшие ламы Монголии не остались безучастны к судьбе Бога Войны. Они следили за его жизнью, и когда его привезли в Новосибирск, то, зная заранее, что его там расстреляют, купили алтайских шаманов, чтобы они теплое, еще не подвергшееся разрушению тело Бога Войны вывезли в горы, где их ожидали искуснейшие да-ламы. Они оживили его, залечили раны и через Тибет доставили в один из почитаемых и стариннейших монастырей Бирмы». Туда же из Пекина был привезен его сын.

Справедливо полагая, что едва ли ГПУ было так наивно, чтобы не удостовериться в смерти барона и не закопать тело «скрытно», Торновский тем не менее отмечает: «На фотографии, несомненно, подлинный Унгерн. Если это искусная инсценировка фотографа по чьему-то заданию, то ее нужно признать весьма удачной»^[237].

Заказчиками «инсценировки» могли быть японцы, а ее целью — пропаганда среди русских эмигрантов паназиатской идеологии, связанной с буддизмом, и попытка представить образование Маньчжоу-Го как победу того дела, за которое боролся породнившийся с маньчжурской династией Унгерн. Вероятнее, впрочем, что фотографом двигал чисто коммерческий интерес. В середине 1930-х годов, после выхода книжки Макеева, подзабытый к тому времени барон вновь сделался популярной фигурой, и такие снимки в духе романтических легенд о нем должны были пользоваться спросом.

Буддийский монастырь — обычное место его обитания в эмигрантской мифологии. Там он, по Макееву, вместе с ламами «молится о спасении всего человечества от нашествия красного кровожадного зверя», а по Князеву — «ищет покоя для своей мятущейся средневековой души». Ни тот ни другой, разумеется, в это не верили, но чувствуется их восхищение самой способностью Унгерна стать героем такого мифа.

Параллельно существовал он и совсем в другой ипостаси. Новая волна слухов о его спасении поднялась, пишет Першин, в то время, когда в эмиграции «всюду стали говорить о масонах», то есть в начале 1930-х годов. Соответственно из буддиста и панмонголиста барон превратился в русского патриота. Утверждали, что ему чуждо было не только «желание нажиться», но даже властолюбие, и у него не имелось иного интереса, кроме «борьбы с большевизмом для спасения родины». Теперь он будто бы «опростился», отпустил бороду, примкнул к тайной организации под названием «Сыны России», где-то скрывается и «ждет удобного момента»^[238].

Считалось, что благодарные Унгерну монголы тем более верят в его второе пришествие, связывая с ним надежды на лучшее будущее. Правда, монгольские сказания о нем, как их передает Князев, кажутся не более чем вариантом хрестоматийных легенд о великих государях-воителях западного Средневековья. «Для монголов он не умер... Подвиги барона сделались любимой темой их эпоса, — завершает Князев свою книгу, ссылаясь при этом на Юрия Рериха. — По многочисленным айлам (становищам) монголов звучат песни о том, что барон-джанджин чутко спит в недоступном для смертных убежище в самых глубинах Тибета, в царстве Шамбалы. В предначертанный день

этот могучий батор, огромный, как гора, пробудится, встряхнется так, что заколеблется мир, и поведет сплотившиеся под его знаменами народы всего монгольского корня на подвиги небывалой Славы и Чести».

«Кто путешествовал по Центральной Азии, — подхватывает эту тему земляк Унгерна Александр Грайнер, — тот мог слышать заунывную песню, которую поют у костра проводники и пастухи. Она о том, как один храбрый воин освободил монголов, был предан русскими и взят в плен, и увезен в Россию, но когда-нибудь еще вернется и все сделает для восстановления великой империи Чингисхана».

«Этот сибирский кондотьер и через столетия будет жить в песнях номадов, которыми он командовал», — писал Кайзерлинг.

Тот же мотив использовал Арсений Несмелов в «Балладе о даурском бароне»:

*Я слышал,
В монгольских унылых улусах,
Ребенка качая при дымном огне,
Раскосая женщина в кольцах и бусах
Поет о бароне на черном коне.*

Эти якобы необыкновенно популярные в Монголии народные песни, о которых много писалось и которые ни один из мемуаристов не слышал сам, входили в состав эмигрантского мифа об Унгерне.

Действительно, память о нем никогда не исчезала в монгольских и бурятских степях, но здесь его помнили прежде всего не как освободителя от китайцев и воплощение не то Чжам-сарана, не то Далай-ламы V, а как борца с Советской Россией. Здесь не было нужды сочинять истории о его побеге или восстании из

мертвых, для буддиста он без того мог возродиться в любой момент и под любым обликом. Когда в 1971 году, в разгар советско-китайского противостояния, пастух Больжи из улуса Эрхирик объявил Мао Цзэдуна родным братом Унгерна, тут имелось в виду не что иное, как новое перерождение Бога Войны в образе «председателя Мао». Кровные узы, якобы связывающие этих двоих, были только данью условностям, удобным способом избавиться от недоумения профанов и выразить сверхъестественное родство в естественных категориях.

2

Мифы всегда возникают вокруг тех исторических фигур, чья сущность и жизненная задача не поддаются рациональному осмыслению. Относиться к Унгерну просто как к эксцентричному психопату мешали его успехи в Монголии; предпочтительнее казалось объявить его живым анахронизмом, выходцем из давно минувших эпох, тогда этот феномен получал хоть какое-то объяснение.

Эмигрантский журналист писал о нем: «Если бы море внезапно отхлынуло, на месте его черных глубин люди увидели бы страшных, фантастических чудовищ — так из-под волн Гражданской войны вынырнули какие-то палеонтологические типы, до того скрытые в недрах жизни, в клетках быта».

«Бывает и в наши дни, — вторил ему Иван Майский, — что по какой-то случайной игре природы рождаются люди, тело которых густо покрыто волосами. Эти люди напоминают о далеком прошлом человека, когда он, подобно зверю, жил в лесах и расщелинах гор. Такой человек с волосатым не телом, а душой — Унгерн. Он весь в прошлом и, слушая его слова

и рассказы о нем, невольно удивляешься, как могло это странное существо появиться на свет в 1887 году на одном из островов Эстляндского побережья (Унгерн родился в 1885 году, в Австрии. — Л. Ю.)».

Кажется, Майский не чужд желанию подчеркнуть устремленность в будущее тех, кто заказал ему репортаж из зала суда, но сравнения того же ряда использовали и в эмиграции. Враги называли Унгерна «доисторическим типом», «первобытным чудовищем», «Аттилой XX века», почитатели — «человеком Средневековья» и «последним рыцарем». Это не только красоты стиля, но и стиль эпохи, когда в Сибири, на Волге и в донских степях братья Гракхи сражались против Суворова, крестоносцы — против Разина и Пугачева, ратники Минина и Пожарского шли на санкюлотов Робеспьера, Жанна д'Арк — на Гришку Отрепьева, а «Город Солнца» Кампанеллы со всех сторон был окружен пылающей Вандеей. В хороводе личин и призраков Унгерн выделялся тем, что его маскарадный наряд прирос к коже, а созданный им фантом налился живой кровью. Феномен этого «сумрачного героя» с химерически слитыми чертами реликта и предтечи порожден временем и географическим пространством, где он попытался наложить на реальность отнюдь не ему одному присущее убеждение в том, что современная западная цивилизация должна погибнуть, как погибла подточенная собственными пороками Римская империя. Кто выступит в роли разрушителя, новые гунны — монголы, или восставшие рабы — пролетарии, было не суть важно. Унгерн и большевики с разных сторон взялись разрешить эту двуединую задачу. Задачником, откуда они ее почерпнули, была вся европейская культура рубежа веков, от которой обе стороны отрекались так безоглядно, как отрекаются лишь от

чего-то бесконечно родного, потому и ненавидимого, что невозможно забыть о своем с ним родстве.

Когда Ленин в 1916 году писал, что капитализм вступил в свою высшую и последнюю стадию — империализм, что теперь начнется период постоянных войн между империалистическими государствами, произойдет «обнищание народных масс» и т. д., подобный взгляд на историю вытекал не столько из классического марксизма, сколько из эсхатологических настроений русской интеллигенции. Все это не сильно отличалось от прогнозов Владимира Соловьева и от стремления Унгерна рассматривать современность как пролог вселенской катастрофы, преддверие тех времен, когда после ужасных войн, гибели государств и народов обновится лицо земли. Безземельный эстляндский барон увидел себя Аттилой, как какой-нибудь аптекарский ученик из черты оседлости — Спартак. Эти злейшие враги возвращены были одной духовной почвой.

Саратовский-Ржевский, любимый харбинский собеседник Унгерна, утверждал, что еще во время Гражданской войны барон дальновидно «предвидел будущую роль того общественного течения, которое теперь получило название фашизма». Он мог примкнуть к этому «течению», если бы получил австрийскую визу и уехал «на родину», как собирался поступить в 1920 году.

Унгерн, безусловно, протофашист — в той же степени, в какой это можно сказать о многих заметных фигурах на политической и культурной сцене тогдашней Европы. В немецкой прессе 1930-х годов публиковались апологетические статьи о нем, вышла книга Берндта Краутхоффа [\[239\]](#), где на обложке рядом с его именем стояло слово «трагедия», посвященная ему

пьеса годами не сходила со сцены театров Третьего рейха. Кайзерлинг поселил его душу «в пустынных областях между небесами и адом», а восхищавшийся им Юлиус Эвола говорил, что «великая страсть выжгла в нем все человеческие элементы, и осталась только великая сила, стоящая выше жизни и смерти».

Эта ледяная надмирная «сила» — признак идеальной личности фашистского типа, но интерес к Унгерну в нацистской Германии породила не только она, пусть вместе с его недоверием к христианству, ненавистью к буржуазии, презрением к мещанской массе, отношением к войне как к арене наивысших взлетов человеческого духа, а к верности — как к величайшей из добродетелей. Даже происхождение и тотальная борьба с евреями сыграли, может быть, не главную роль. Среди вождей Белого движения было немало прибалтийских немцев, но и Врангель, и Каппель, и прочие генералы с немецкими фамилиями в большинстве своем были русскими патриотами, либералами и западниками, а Унгерн — ни тем, ни другим и ни третьим. Возможно, в русле идей Хаусхофера в нем увидели еще и арийца, который с мечом в руке вернулся на свою священную прародину, ведомый тайными силами и мистическим голосом крови.

В СССР он тоже стал видным персонажем официальной мифологии, только с обратным знаком. Монархист, мракобес, идеолог террора, Унгерн принял правила игры, согласно которым истинный контрреволюционер должен быть именно таким, и за это ему позволено было остаться в истории с чертами отчасти романтическими — мрачными, но по контрасту оттеняющими светлый романтизм красных героев. В фильме «Исход» (1968) он бесстрашно пьет из одной чаши с прокаженным, демонстрируя монголам свою к ним любовь, и говорит, что остзейский немец — больше русский, чем сами русские. Сергей Марков сочинял

роман о нем, который вполне мог быть напечатан, если бы автора не арестовало ГПУ. Под его пером Унгерн то задумчиво бродит ночью среди скелетов казненных им людей, то, будучи кадетом Морского корпуса в Петербурге, бросается в ледяной канал, чтобы спасти тонущего котенка.

Спустя много лет после его смерти эмигрантский журналист написал о нем: «Истерик на коне, припадочный самодержец пустыни, теперь из мглистой дали Востока он смотрит на нас своими выпученными глазами страшилища».

Эта фраза, для объективной характеристики слишком броская, не выражает ровным счетом ничего, кроме, может быть, чувства, что безумный барон все еще присутствует в мире на правах не только призрака прошлого. Унгерн принадлежит к породе воскресающих мертвецов, время от времени обреченных вставать из могил, чтобы напомнить нам, что породившие их обстоятельства имеют продолжение в истории.

Впрочем, тиранов такого типа всегда запоминают хорошо, в народной памяти они — долгожители. В конце концов из этого можно вывести одно утешительное соображение: добро, следовательно, соприродно человеку, естественно для него, раз мы удивляемся ему меньше, чем злу, и забываем скорее.

НА РАССТОЯНИИ

1

Унгерн не смог ни восстановить маньчжурскую династию, ни создать Центральноазиатскую федерацию кочевых народов, но парадоксальным образом ему все же удалось осуществить часть своей программы: если бы не он, Внешней Монголии суждено было навсегда остаться под властью Пекина. В этом случае она разделила бы судьбу Тибета и Монголии Внутренней, где китайцы ныне — большинство населения, а традиционная культура неуклонно растворяется в великоханьской.

«Советская власть, — писал Торновский, — не только в 1921 году, когда она дышала на ладан, не посмела бы отбирать Монголию у Китая, но и много времени позднее... Монголия как спелое яблочко подкатилось ей, разутой, раздетой и болящей России, и это яблочко подкатили ей унгерновцы». Халха-Монголия (МНР) превратилась в сателлита СССР, в 1930-х годах пережила период религиозных гонений, о чем барон неустанно предупреждал Живого Будду и его министров, но в результате, при всех потерях, все-таки стала частью современного мира и сохранилась как национальное государство.

Однако об Унгерне в Монголии вспоминают едва ли не реже, чем в советское время. Раньше говорить о его заслугах мешала идеология, теперь — национальная гордость, не позволяющая признать за чужеземцем ключевую роль в монгольской истории^[240]. Все рассказы о том, как чтят барона нынешние монголы — легенда. Когда-то маршал Чойбалсан писал, что в боях при

штурме Урги впереди шли монгольские цирики, а унгерновцы трусливо прятались за их спинами; сейчас изгнание китайских войск из Халхи объясняется подъемом национально-освободительного движения, а роль Азиатской дивизии сводится к минимуму, по крайней мере — на официальном уровне. В обширном историческом очерке, предваряющем путеводитель по музейному комплексу Зеленого дворца Богдо-гэгэна VIII, имя Унгерна не упоминается даже в рассказе о похищении хутухты из-под стражи и его вторичной коронации. Правда, новый государственный праздник Монголии — День национальной свободы (учрежден в 2007 году), приуроченный ко дню первой коронации Богдо-гэгэна и отмечаемый 29 декабря, совпадает с днем рождения Унгерна, но это — случайность, хотя и знаменательная.

От грозного Бога Войны в Монголии остался один сапог. Заскорузлый и ссохшийся, он выставлен в одном из залов Музея национальной истории в Улан-Баторе, за стеклом маленькой стенной ниши. Это не монгольский ичиг, а обыкновенный солдатский сапог, и если он вправду принадлежал Унгерну, размер ноги у него был не больше 41-го. Откуда он тут взялся, неизвестно, пояснений нет. Рядом помещена фотография его владельца. Воспаленный взгляд барона устремлен в пустоту, редкие посетители — в основном иностранцы и дети — равнодушно проходят мимо его сапога, чтобы почтительно замереть перед восковой персоной восседающего на троне Чингисхана. Потрясатель вселенной изваян в натуральную величину и раскрашен, как на продажу. В отличие от Унгерна он взирает на экскурсантов с добрым отеческим прищуром. Правда, распростертая у его ног волчья шкура с реконструированной головой выглядит куда менее благодушно. Ощеренная пасть и стеклянные глаза

древнего тотема чингизидов говорят об ужасе власти, подчинившей себе полмира.

С легкой руки Оссендовского, чья книга до сих пор переиздается на разных европейских языках, Унгерн известен на Западе больше, пожалуй, чем другие белые генералы. Особенно популярен он во Франции. Здесь помимо биографических книг и статей ему посвящены три романа. Первый выпустил русский эмигрант Владимир Познер (Без удил. 1929; под разными названиями переведен на несколько языков); автором второго (Унгерн, Бог войны. 1964) был историк Жан Мабир, изобразивший барона как одержимого, но благородного воина, рыцаря и героя. Видимо, в пику ему Серж Девилль четырьмя годами позже издал роман «Солдаты и боги», в котором представил Унгерна абсолютным чудовищем, насильником и убийцей. В начале 1990-х годов, прочитав эти книги, Унгерном увлекся датский режиссер Ларс фон Триер; он собирался снимать о нем фильм по сценарию эмигрировавшего из СССР и жившего в Берлине писателя Фридриха Горенштейна, но проект остался неосуществленным^[241].

С середины 1980-х годов Унгерн окончательно становится персонажем массовой культуры, закрепившись в ней как инфернальный злодей с мистическим уклоном. В 1987 году во Франции появился комикс, где он срисован с Клауса Кински, как Семенов — с Юла Бриннера. Недавно барон стал одним из главных героев франко-итальянского анимационного фильма из серии о приключениях мальтийского рыцаря^[242], а затем — центральным действующим лицом компьютерной игры «Железная буря» («Iron Storm»), созданной фирмой «Wanadoo Edition» в жанре альтернативной истории. В ней Унгерн противостоит

западному миру в роли тиранического правителя могущественной Русско-Монгольской империи, включающей в себя также и германский рейх. Он, естественно, стремится к мировому господству и разрабатывает секретное оружие, призванное воплотить эту мечту в жизнь. Создатели игры читали кое-какую литературу об Унгерне, придуманный ими мегало-маньяк имеет некоторое идейное сходство со своим прототипом. Он, в частности, заявляет: «Если моральное разложение и упадок духа будут продолжаться, Азиатская империя положит конец этим деструктивным процессам».

Биографии Унгерна появляются на Западе и сейчас, но все они носят компилятивный характер и опираются на общеизвестные факты^[243]. Иногда их авторы пытаются ввести идеологию Унгерна в русло традиции, идущей от Данилевского и Леонтьева, хотя чаще нарисованный ими образ барона не слишком сильно отличается от того, каким он предстает в мультфильмах и комиксах^[244].

2

В России рубежа тысячелетий Унгерн стал знаменем националистов и неонацистов, на соответствующих сайтах в Интернете можно найти его портреты в лубочно-иконописном или, наоборот, демоническом стиле. В первом случае он изображается как ангелоподобный субъект с кротким взором небесно-голубых глаз, во втором — как апокалиптический воитель, освещенный заревом пожаров. Попадаются выполненные готическим шрифтом лозунги типа «Барон Унгерн — наш фюрер!».

У правых радикалов почитание Унгерна приобрело истерический характер, а сам он сделался чем-то вроде святого, патронирующего борьбу не только с либералами и евреями, но и с иммигрантами. Существовавшая в 2001 году в Хабаровске маргинальная «партия» его имени ставила целью очищение «евразийского пространства» от евреев и китайцев, а двумя годами раньше неонацистское «Общество Нави», оно же — «Церковь священной белой расы», включило его в свой пантеон и провело в Москве, в Музее Маяковского на Лубянке, «обряд преклонения» перед памятью барона. Побывавшая на нем журналистка рассказывает: «В маленьком зале, освещенном красным светом, висел плакат, призывающий применить к недругам «смертную казнь разных степеней», стоял черный алтарь с фотографией Унгерн-Штернберга, дымились благовония и звучала странная музыка, создавая атмосферу мрачноватого мистического действия». Ораторы говорили о «закабалении благородных народов чужеродными и высших рас — низшими», о «христианской чуме, распространяемой враждебными Расе силами», и о том, что Унгерн — идеал истинного арийца-мистика, борца с иудаизмом как воплощением мирового зла. Он, по словам одного из выступавших, являет собой «кристалл, собравший в себе всю энергетику белой борьбы, какой она должна быть на самом деле — очищенной от либерального мусора».

Последнее высказывание типично скорее не для неонацистов, а для патриотов правого толка. Они стремятся представить Унгерна центральной фигурой Белого движения, стоящей на такой высоте, до которой другие его вожди подняться не сумели. Их задача — очистить репутацию своего кумира от всевозможных «наветов», каковыми считаются любые упоминания о его жестокости. В 1934 году есаул Макеев признавал,

что «на фоне жестокой гражданской борьбы» Унгерн все-таки «переступил черту дозволенного даже в этой красно-белой свистопляске», но теперь все свидетельства современников и соратников барона, не устраивающие его апологетов, объявляются «тенденциозными». Выискиваются причины, как правило — надуманные, чтобы уличить того или иного мемуариста в корыстной склонности к искажению правды, после чего сообщаемые им неудобные факты признаются не заслуживающими доверия. А поскольку полностью отрицать их нельзя, забайкальский и ургинский террор провозглашаются «чистилищем, через которое должна была пройти Россия, дабы смыть с себя иудин грех предательства Царя, скверну большевизма и обрести утраченный Золотой Век». Предъявляемые Унгерну обвинения с легкостью снимаются заявлениями о том, что он — фигура, «недоступная пониманию современного человека», поэтому «наше зрение, напрочь искаженное оптикой современного мира, видит в рыцаре Белой идеи маньяка-убийцу». Единственное, что иногда все же ставится ему в вину, это «пренебрежение русскими людьми» и предпочтение, отдаваемое азиатам.

Более осторожные поклонники барона простодушно оправдывают его преступления количеством жертв красного террора, забывая, что невинная кровь всегда остается на совести убийцы, пусть он пролил ее меньше, чем противник.

Левые радикалы такими вопросами не задаются, их любовь к Унгерну не требует его реабилитации с точки зрения обывательской морали. Для них он — символ яростного бунтарства против буржуазного миропорядка, что, в сущности, не так уж далеко от истины. Здесь барона помещают в один ряд с такими деятелями, соседство с которыми никак не может порадовать его почитателей из правого лагеря. Эдуард

Лимонов причислил Унгерна к «священным монстрам» вместе с маркизом де Садом, Лениным, Мао Цзэдуном, Фрейдом, Хлебниковым, Радованом Караджичем и другими значимыми для него персонажами, а в ночь на 1 марта 2005 года в Латвии, в Даугавпилсе, были расклеены листовки со списком кандидатов в члены городской думы от «Партии Мертвых» (нулевой номер в избирательном бюллетене). Здесь Унгерн фигурировал в компании с Савинковым, Че Геварой, Чапаевым, Яковом Блюмкиным, Маяковским, Махно и т. д. Листовку иллюстрировала всадница Смерть с флагом национал-большевистской партии в руке.

У евразийца, традиционалиста и «консервативного революционера» Александра Дугина (в числе прочего он написал об Унгерне радиопьесу, где главную роль исполнял Лимонов) идеализация барона приобрела оттенок отчасти комический. Для него это предвестник «Десятого Аватара, Мстителя — Триумфатора — Грозного Судии». Подобно другим «избранным и жертвенным людям, ханам по предопределению», этот «герой-кшатрий» еще в ранней юности, в Петербурге, получил посвящение при посредстве одного из «инициатических центров, которые хранили великие секреты Евразии». Его приказ в наказание за пьянство протащить двоих офицеров на веревке через ледяную осеннюю реку, а затем оставить их на ночь на берегу без права развести костер, всерьез трактуется как «своего рода насильственное обращение казаков в шаманизм, ведь типичной шаманской практикой является купание зимой в реке в одежде и путем внутреннего жара (тапас) высушивание одежды на берегу теплом своего тела». По Дугину, в Унгерне «заново сошлись воедино те тайные силы, что оживляли высшие формы континентальной сакральности — отголоски древнейшего гото-гуннского союза, русской преданности Восточной Традиции, сакрально-

географической значимости земель Монголии — родины Чингисхана». Сообщается, что «руна УР — знак Космической Полночи — личный штандарт Бога Войны, барона Унгерн-Штернберга», что «в часы медитации барон созерцал символ Свастики, печать Великого Чингисхана, знак Полюса и неподвижного центра вещей, который стоит вне изменчивого и хаотического потока времени как последний ориентир Судьбы».

Эта барабанная мистика вызвала ответную реакцию, и в 2003 году в Интернете появилась, например, следующая пародия безымянного автора: «Таинственное Телецкое озеро было подернуто мелкой рябью. Легенда гласит, что Азиатская конная дивизия барона фон Унгерна была окружена возле этого озера и взята в плен большевиками, решившими всех воинов-буддистов этой дивизии насильно обратить в иудаизм. Они были связаны возле Транссибирской магистрали, а крайнюю плоть их половых членов прикрепили сургучом к рельсам, по которым проехал на полной скорости бронепоезд. Однако дух воинов не был сломлен, барону удалось поднять восстание в лагере пленников и вырвать почти всех на свободу. Понимая безвыходность сложившейся ситуации, Унгерн решил организовать акт массового самоутопления. Он знал, что вода Телецкого озера обладает таинственной силой. Имея не до конца известный химический состав, она постоянно находится на уровне ниже нуля и при этом не превращается в лед. Все болезнетворные бактерии погибают в этой воде, процессы гниения и разложения в ней не действуют. Человек, погруженный в эту воду, не умирал, а засыпал загадочным сном... Унгерн верил в приближающийся конец света и считал, что главной силой в этом событии будет его конная дивизия, пробудившаяся из вод Телецкого озера. Он хотел создать невидимую армию, подобную терракотовым воинам Цинь Шихуанди».

Тогда же в Абакане две журналистки сочинили и опубликовали в первоапрельском номере газеты «Хакасия» удивительную историю некоей Александры Печерской из Минусинска. Будто бы ее мать в Петербурге была прислугой на квартире юного Унгерна, когда тот учился в Морском корпусе, и забеременела от него. Родившуюся дочку Сашеньку она увезла в родной Минусинск и никогда больше не видела ее отца, но сохранила подаренный им для девочки золотой нательный крестик. Шли годы, в 17 лет Сашенька превратилась в «мечтательную девушку со скрытой, но осязаемой страстностью». Однажды ее увидел режиссер местного театра, угадал в ней талант и сделал из нее актрису. В этом качестве она попала на глаза Семену Михайловичу Буденному, в 1929 году приехавшему в Минусинск ревизовать ход хлебозаготовок. Он с первого взгляда пленился исполнительницей главной роли в показанном ему спектакле, но не мог прямо на месте дать волю своим чувствам. Государственному деятелю его ранга следовало быть осмотрительным, поэтому пришлось действовать иначе: «Для Сашеньки была организована поездка в Москву, после которой она уже знала, что усы у Буденного совсем не колючие, а душисто и вкусно пахнущие одеколоном. Губы у него твердые и требовательные. А еще — она желанна и любима». Таких поездок в столицу было несколько, в итоге Сашенька родила девочку, названную Сталининой. Буденный заботился о ней до конца жизни, но понятия не имел, чьей внучкой является его дочь. «До сих пор в шкатулке у Сталининой Семеновны хранится нательный крестик барона Унгерна и два колечка, подаренные маршалом Буденным: одно тонкое, похожее на обручальное, другое — с небольшим изумрудиком», — очень по-женски завершают авторы свою очаровательную и настолько хорошо стилизованную

мистификацию, что хочется поверить в правдивость этой истории. В ней, помимо всего, чувствуется невысказанная ирония по отношению к длящемуся поныне и нередко принимающему анекдотические формы противостоянию «красных» и «белых».

Идейные баталии вокруг Унгерна продолжаются и сейчас, хотя в последние годы он все явственнее перемещается из политической сферы в те области массового сознания, где его место рядом уже не с Семеновым и Колчаком, а с Алистером Кроули и пророчицей Вангой. Недавно в Интернете появилась фотография изваянной из льда бутафорской «зимней могилы» Унгерна, размещенная там под меткой «колдовство»; ему приписываются пророческий дар, знание будущего, владение секретами восточной магии. Его характер и перипетии биографии трактуются в духе бульварного оккультизма. Свирепость связывается с фамильным проклятием рода Унгерн-Штернбергов, чьи представители часто «страдали вампиризмом», а появление барона в Монголии объясняется тем, что еще мальчиком он «расшифровал тайные знаки в дневнике своего деда, указавшие ему путь на Восток». Одновременно имя Унгерна превратилось в успешный коммерческий бренд, способствующий сбыту любой продукции — от телевизионных сериалов до «радикального омолаживающего средства», состав которого тибетские мудрецы якобы открыли бывшему офицеру Азиатской дивизии.

С Унгерна давно сняты все табу. Как историческая фигура он не нуждается ни в панегириках, выдаваемых за объективные исследования, ни в обвинительных вердиктах, столь же бессмысленных, как требования его официальной реабилитации^[245]. Осуждать и оправдывать, превозносить и проклинать —

прерогатива современников. Одно несомненно: мрачное обаяние этой фигуры, которое действовало и продолжает действовать на людей самых разных убеждений, не сводится только к «обаянию зла». Помимо прочего, Унгерн волнует нас еще и потому, что его жизнь легко укладывается в схему очень важного для XX столетия эскапистского мифа о Белом Вожде — если воспользоваться названием романа Майн Рида о белом американце, ставшем вожде краснокожих и с их помощью отомстившем своим обидчикам. В более сложном варианте такой герой-одиночка, оказавшись среди якобы дикого, а на самом деле — непорочного, благородного и одухотворенного народа, страдающего от вторжения современной цивилизации, но бессильного ей противостоять, приходит к пониманию ценности туземных идеалов и увлекает приютивших его детей природы на праведную борьбу со своим собственным, прогнившим и развращенным миром. Подобный сюжет, для западного сознания почти архетипический, лег в основу многих знаменитых голливудских фильмов — от «Человека по имени Конь» до «Последнего самурая» и «Аватара». Эта красивая история безотказно трогает наши сердца, и Унгерн — если не единственный, то уж точно один из редчайших ее фигурантов, чья подлинность неоспоримо доказывает, что такое в принципе возможно.

ЭПИЛОГ

Я никогда не встречал людей, лично знавших Унгерна. Теперь таких уже не осталось, а те возможности, что у меня бывали раньше, я упустил. Не побывал, например, в русских селениях, которые до начала 80-х годов XX века еще существовали в Монголии. Мне рассказывали, что старики там сразу откликались на имя Унгерна. Чуть ли не каждый имел родственника, соседа, просто знакомого, кто видел барона в Халхе, в Забайкалье или в Иркутске, уже плененного красными. У некоторых имелись и собственные детские воспоминания — о том, как рассказчик вместе с другими детьми бегал за околицу, где остановились на привал казаки, и те бросали на землю лепешки или серебряные монеты, но когда дети тянулись за ними то ли не в очередь, то ли без разрешения, их били нагайками по рукам; потом в стороне кто-то проехал на лошади, и все стали говорить: «Барон! Барон!»

Позднее Инесса Ивановна Ломакина собиралась познакомить меня с одной старой женщиной из Петербурга, которая девочкой однажды видела Унгерна вблизи (в 1921 году она жила с родителями в Урге, барон приезжал к ним помыться в бане), но знакомство так и не состоялось.

Зато я держал в руках чашку, из которой он, может быть, пил. В Екатеринбурге, тогда еще Свердловске, мне показала ее поэтесса Майя Никулина. Эта чашка старинного фарфора досталась ей от прибалтийской немки, после войны высленной из Китая. Она умерла на Урале, но до этого четверть века прожила в Харбине; Унгерн бывал там у нее в гостях и пил чай. Они знали друг друга еще по Ревелю. По ее словам, это был очень

воспитанный и приятный молодой человек, а все, что о нем рассказывают нехорошего, выдумано большевиками.

В 1983 году я написал повесть об Унгерне. Одним из ее героев был выдуманный мною монгольский лама Найдан-Доржи, наставник барона в вопросах веры. Повесть называется «Песчаные всадники», в ней есть такой эпизод (дело происходит в Новониколаевске спустя несколько дней после казни Унгерна):

«В полдень Найдан-Доржи вышел из тюрьмы на улицу. Было тепло, бабье лето. Еще в камере ему сказали, что расстрелянных зарывают на пустыре за городом, и объяснили, как идти, но он добрался туда лишь к вечеру. По дороге зашел на рынок, приобрел там зеркальце с ручкой и горсть конопляного семени.

Как везде, на закате здесь тоже подул ветер, остудил голову, чисто выбритую тюремным парикмахером. В домишках на окраине розовым закатным огнем полыхали окна. Пустырь служил и кладбищем и свалкой, кругом громоздились кучи мусора, поросшие лопухами и крапивой. Мусор был старый, почти опрятный. Свежий теперь вывозили редко, а еще реже довозили до этого места. Чаше сваливали где-нибудь по пути. Пахло чужой травой, чужой осенью, и все-таки запах тления витал над пустырем — кажущийся, может быть, проникающий в сознание не через ноздри, а через глаза, которые видят эти подсохшие глиняные комья над телом Цаган-Бурхана. Солдатик-бурят из конвойной команды рассказал, как найти его могилу. Найдан-Доржи думал увидеть хоть какой-нибудь бугорок, но увидел плоское, чуть более светлое, чем земля вокруг, пятно плохо утрамбованной глины с торчащим вместо креста черенком сломанной лопаты. Невдалеке валялся искалеченный венский стул, Найдан-Доржи добил его о землю и развел из обломков небольшой костерок. Затем

достал свое зеркальце, высыпал на него из кармана немного конопля. Осторожно водил по стеклу пальцем, как делают женщины, когда перебирают на столе крупу, выложил из конопляных зернышек фигурку скорпиона и долго шептал над ней, пока все грехи тела, слова и мысли покойного не переселились в этого скорпиона, сотворенного на поверхности зеркала. Стекло под ним отражало небо с проступающими кое-где звездами.

Стемнело, тогда Найдан-Доржи начал сбрасывать коноплю в огонь, но не всего скорпиона разом, а по частям — сначала левые лапки, потом правые, потом загнутый хвост и туловище. Он сбрасывал их осторожными ловкими щелчками, и грехи его ученика сгорали вместе с конопляным скорпионом, обращались в дым, рассыпались пеплом в этом костре на окраине Новониколаевска. Найдан-Доржи сел на землю и запел, раскачиваясь: «Ты, создание рода размышляющих, сын рода ушедших из жизни, послушай... Вот и спустился ты к своему началу... Плоть твоя подобна пене на воде, власть — туман, слава и поклонение — гости на ярмарке... Все собранное истощается... высокое падает... живое умирает... соединенное разъединяется... Все обманчиво и лишено сути... Не стремись к лишнему сути, ибо новое твое перерождение будет исполнено ужаса...»

Его ученик хотел покорить полмира, как Чингис, а теперь лежал в могильной глине, и наконец-то Найдан-Доржи, всегда знавший, как печально любое завершение, мог сказать ему об этом прямо.

«Пусть огонь победит деревья... вода победит пламя... ветер победит тучи... Боги да укрепятся истиной, истина да правит, а ложь да будет бессильна», — пел Найдан-Доржи. Он ждал, что вот сейчас одна звезда над ним вспыхнет ярче прочих — из сердца Будды исторгнется белый луч, ослепительно

сияющий и полый внутри божественный тростник, растущий вершиной вниз, пронижет землю, и душа Цаган-Бурхана, покинув мертвое тело через правую ноздрю, с тихим свистом, который слышат лишь посвященные, втянется в сердцевину этого луча и умчится по нему к звездам, как пуля по ружейному стволу. Найдан-Доржи смотрел вверх, но пусто было в небесах. Все сильнее дул ветер, догорал костер, клочья сухой травы проносились над его синеющими языками и пропадали во тьме».

Напоследок позволю себе привести стихотворение, написанное мной в то время, когда я думал, что навсегда расстался с безумным бароном:

*Там, где желтые облака
Гонит ночь на погибель птицам,
Всадник выткался из песка,
Вздыбил прах и распался прахом.*

*И дыханьем зимнего дня
В пыль развеяло до рассвета
Сердце всадника и коня
От Байкала и до Тибета.*

*Даже ворону на обед
Не подаришь желтую вьюгу.
Здравствуй, время утрат и бед!
Око — северу, око — югу.
Эту степь не совьешь узлом,*

*Не возьмешь ее на излом,
Не удержишь бунчук Чингиза —
Не по кисти. Не повезло.
Что ж, скачи, воплощая зло,
По изданиям Учпедгиза.*

*Чтобы мне не сойти с ума,
Я простился с тобой. Зима.
Матереют новые волки,
Не щенята, как были мы.
А на крышу твоей тюрьмы
Опадают сосен иголки.*

1988-1990, 2006-2009, 2014-2015 годы

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р. Ф. УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГА

1885, 17(29) декабря — в Граце (Австро-Венгрия) в семье барона Теодора Леонгарда Рудольфа Унгерн-Штернберга и Софи Шарлотты, урожденной фон Вимпфен, родился сын Роберт Николай Максимилиан (позже по документам — Роман Федорович).

1887 — переезд семьи в Ревель Эстляндской губернии.

1891 — развод супругов Унгерн-Штернберг, Роман и его двухлетний брат Константин остаются с матерью.

1894 — второй брак Софи Шарлотты с бароном Оскаром Хойнинген-Хюне.

1900 — после нескольких лет домашнего обучения Роман поступил в Николаевскую гимназию в Ревеле.

1902 — исключение из Николаевской гимназии. Поступил в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге.

1904 — не окончив младшего специального класса, прекратил обучение в Морском корпусе.

1905, июнь — вольноопределяющийся в 91-м Двинском пехотном полку на Дальнем Востоке.

1906 — поступил в Павловское военное училище в Санкт-Петербурге. Гибель Т. Л. Р. Унгерн-Штернберга в ходе крестьянских беспорядков в Эстляндской губернии (по другим сведениям, отец Унгерна умер в 1918 году в Петрограде).

1908 — после окончания Павловского военного училища произведен в хорунжие 1-го Аргунского полка

Забайкальского казачьего войска. Прибыл для прохождения службы на станцию Даурия.

1910 — перевелся из Даурии в Благовещенск, в Амурский полк Амурского казачьего войска.

1911 — присвоение чина сотника (общееармейское поручик). Уезжает в Ревель в полугодовой отпуск.

1913, июль — подает прошение об увольнении в запас. С намерением поступить на службу в отряд Джаламы прибывает в Монголию и поселяется в Кобдо.

1914, 19 июля — в ходе всеобщей мобилизации зачислен в 34-й полк Донского казачьего войска.

Август — сентябрь — воевал в составе 2-й армии Самсонова. Получил ранение.

Начало декабря — после госпиталя зачислен командиром сотни в 1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска.

1915, весна — лето — воевал на Западном фронте в составе 10-й Уссурийской дивизии, конного резерва 5-й армии. Ранение.

1916 — переброска полка на Юго-Западный фронт, в Карпаты.

Октябрь — за нарушение дисциплины отчислен в резерв. В качестве резервиста попадает на Персидский фронт.

1917 — представлен к чину войскового старшины, но получить его не успел (позже носил это звание самовольно).

Осень — Унгерн появляется в Иркутске.

Конец ноября — начало декабря — присоединяется к атаману Семенову.

1918, январь — назначен военным комендантом Хайлара.

Май — формирование Азиатской бригады (5 февраля 1920 года переименована в Азиатскую конную дивизию).

Сентябрь — назначен военным комендантом станции Даурия.

1919, 16 августа — венчание в Харбине с маньчжурской принцессой из императорской фамилии Цин (в крещении Елена Павловна).

Осень — массовая проверка беженцев в Маньчжурию с применением репрессивных методов.

1920, лето — борьба с партизанами. Планы каппелевцев арестовать Унгерна. Намерение поселиться в Австрии.

Конец августа — передислокация Азиатской дивизии в Акту.

1 октября — Унгерн с дивизией переходит границу с Монголией по реке Букукун.

27 октября — 4 ноября — первая попытка штурма Урги (Нийслэл-Хурэ).

1921, 1-4 февраля — взятие Урги.

4-5 февраля — начало репрессий в Урге.

20 февраля — повторная коронация Богдо-гэгэна Джебцзун-дам-ба-хутухты VIII.

Март — поход Азиатской дивизии против китайцев. Взятие Чойрин-Сумэ. Сражение под Цаган-Цэгеном. Атаман Семенов присвоил Унгерну чин генерал-лейтенанта.

Май — поход Азиатской дивизии в Забайкалье.

1-2 июня — бригада Резухина переходит границу ДВР и возвращается на территорию Монголии.

13 июня — неудачный штурм Кяхты-Троицкосавска.

7 июля — в Ургу входят экспедиционный корпус 5-й армии и цюри-ки Сухэ-Батора.

19 июля — бой Азиатской дивизии в долине реки Байн-Гол с частями 30-й стрелковой дивизии 5-й армии красных.

Конец июля — Унгерн с дивизией выходит к Гусиному озеру (Бурятия). Победный бой в Тамчинском дацане.

Начало августа — бой под Новодмитриевкой. Отход Азиатской дивизии в Монголию.

16 августа — разделение дивизии на бригады Резухина и Унгерна.

17 августа — мятеж в Азиатской дивизии. Гибель Резухина.

Конец августа — барон Унгерн захвачен в плен красными. Допросы в Верхнеудинске и Иркутске.

15 сентября — заседание Чрезвычайного трибунала в Новониколаевске. Унгерн признан виновным по трем пунктам (сотрудничество с Японией, вооруженная борьба против советской власти с целью реставрации Романовых, террор и зверства) и приговорен к расстрелу. Вечером того же дня или ранним утром следующего приговор приведен в исполнение, тело захоронено тайно.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Роман Федорович Унгерн-Штернберг.

Даурия. 1917 или 1918 г.



Герб остзейских баронов Унгерн-Штернбергов



***Роберт Николай Максимилиан (Роман) Унгерн-Штернберг в
семилетием возрасте.***

Ревель. 1893 г.



***Роман Унгерн-Штернберг в форме вольноопределяющегося 91-го
Двинского пехотного полка. 1905 г.***



Маяк на Хинумаа (Даго).

Эстония. Современный вид



Р Ф. Унгерн-Штернберг посла окончания Павловского военного училища и производства в хорунжие. 1908 (?) г.



Офицеры 1-го Аргунского полка.

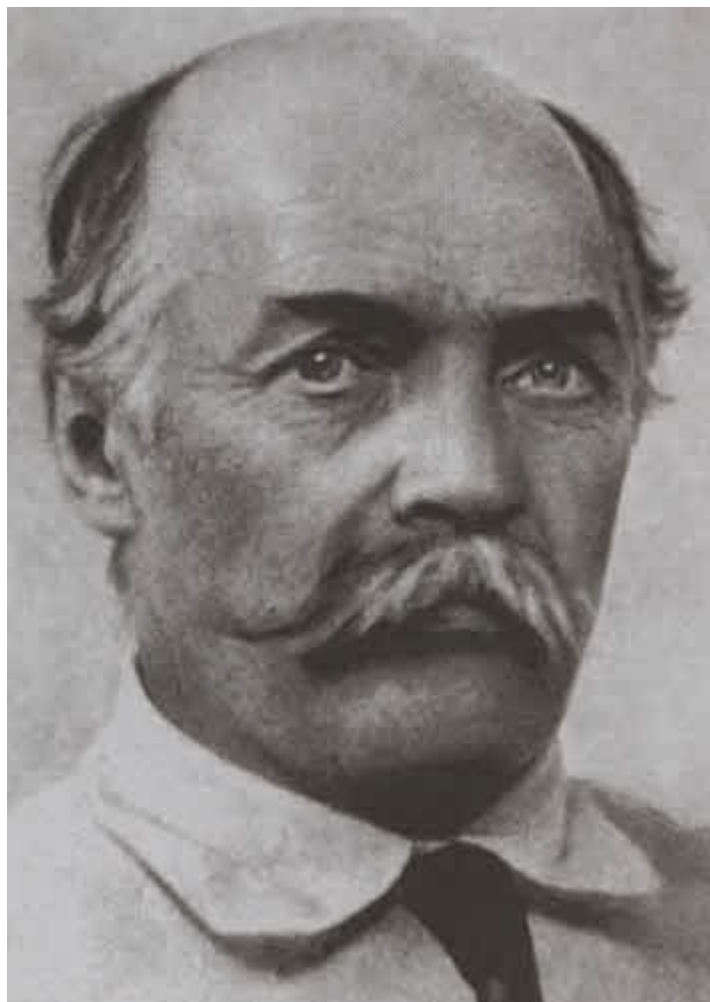
Даурия. 1909 г.



Казнь. Монголия. 1900-е гг.



Передвижная тюрьма. Монголия. 1900-е гг.



А. В. Бурдуков, русский колонист в Монголии



Развалины замка Джа-ламы в Гоби



Джа-лама. 1913 г.



Китайские чиновники в Урге. 1900-е гг.



Монастырь Да-Хурэ. Урга. 1910-е гг.



Монгольские князья на празднике в Урге. 1900-е гг.



***Князья Топохо-гуи и Баир-гуи, деятели национальной революции
1911 года, во Внешней Монголии.***

1910-е гг.



***Р. Ф. Унгерн-Штернберг в мундире Нерчинского казачьего полка.
1914 г.***



Г. М. Семенов (в центре) с офицерами. 1918 г.



***Чжан Цзолин (в центре) с сыном Чжан Сюэляном (слева) и
американским советником. 1910-е гг.***



Григорий Семенов. 1918 г.



«Атаманша» Мария Глебова



Чита. Амурская улица. 1920-е гг.



Генерал В. О. Каппель. 1919 г.



Адмирал А. В. Колчак. 1918 г.



Азиатская конная дивизия. 1918-1920 гг.



Здание гауптвахты в поселке Даурия, где в 1918 году был застеноч барона Унгерна



Есаул А. П. Кайгородов



Генерал А. С. Бакич в плену. 1921 г.



***Нэйсэ-гэгэн, глава временного правительства «Великой
Монголии»***



Князь Лувсанцэвэн



Храм Мэгжид Жанрайсиг в Гандане. Улан-Батор



***Командир Азиатской конной дивизии, генерал Роман Федорович
Унгерн-Штернберг в плену.***

Иркутск. Сентябрь 1921 г.



Китайский губернатор «Северной провинции» (Монголия) Чэнь И



Премьер-министр Монгольского правительства Джалханцза-хугухта



Генерал Го Сунлин



Китайская тюрьма в Урге



Хатон-Батор Максаржав



Генерал Сюй Шучжэн



Генерал Б. П. Резухин (?). 1910-е гг.



Храм Майдари-Сум.

Урга. Разрушен в 1930-е гг.



Дом, в котором размещался штаб Унгерна.

Улан-Батор. 2000-е гг. Фото С. Л. Кузьмина



***Полковник Н. Н. Казагранди (сидит в центре) среди бойцов 16-го
Ишимского полка.***

1918 или 1919 г.



Златоверхий дворец Богдо-гэгэна.

Урга. Разрушен в 1930-е гг.



***Богде-гэгэн VIII, возведенный на монгольский престол после отмены
пинского правления. 1911 г.***



Дондотйулам, жена Богдо-гэгэна VIII. 1911 г.



Летняя резиденция Богдо-гэгэна VIII.

Улан- Батор. 2007 г. Фото С. Л. Кузьмина



Богдо-гэгэн VIII и Великая дакини Дондохдулам.

Художник Балдугийн Шарав. 1920-е гг.



***Борис Волков (в центре) с женой Еленой Витте и инженером
Всеволодом Лисовским.***

Урга. 1920 г.



Здание компании «Монголор».

Урга. 1920-е гг.



Н. Н. Князев, первый биограф Р. Ф. Унгерна. Харбин. 1930-е гг.



Полковник М. Г. Торновский в лагере. 1940-е гг.



***Монгольская купюра достоинством 10 долларов (янчанов),
выпущенная при Унгерне***



Джамболон-ван (крайний слева) в автомобиле



Княжеский халат, принадлежавший барону Р Ф. Унгерн-Штернбергу.

Москва, Центральный музей Вооруженных сил



Писатель А. Ф. Оссендовский



Маньчжушри-лама



Далай-лама XIII



Главком армии Дальневосточной республики В. К. Блюхер



П. Е. Щетинкин



***Константин Рокоссовский (второй ряд, в центре) среди участников
борьбы с Унгерном. 1921 г.***



Сухэ-Батор. До 1923 г.



Сухэ-Батор (дальний ряд, четвертый справа) среди советских командиров и политработников. Иркутск. 1920 г.



Р. Ф. Унгерн на допросе и штабе 5-й красной армии.

Иркутск. Сентябрь 1921 г.



Борис Шумяцкий, премьер-министр Дальневосточной республики



Р. Ф. Унгерн в плену.

Забайкалье. Август 1921 г.



Р. Ф. Унгерн во время суда в Новониколаевске (Новосибирске).

Сентябрь 1921 г.



Суд над Р. Ф. Унгерн-Штернбергом. Выступает общественный обвинитель Е. М. Ярославский.

Новониколаевск. 15 сентября 1921 г.



Барон Унгерн — герой анимационного фильма о приключениях мальтийского рыцаря в Сибири. 2002 г.



Обложка комикса об Унгерне. Париж. 1988 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Документы

Послужной список Р. Ф. Унгерн-Штернберга (1912) // РГВИА. Ф. 5288. Оп. 1. Д. 62.

Послужной список Г. М. Семенова (1913) // РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 324, 372.

Документы штаба Приамурского военного округа (1911-1913) // РГВИА. Ф. 400. Оп. 11. Д. 409.

Материалы Даурской конференции; Донесения о панмонгольском движении (1919) // РГВИА. Ф. 3954. Оп. 1. Д. 68; ГА РФ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 7, 406, 421.

Материалы «Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц» (1919) // ГА РФ. Ф. 178. Оп. 1. Д. 1, 2, 2-а, 10.

Протоколы допросов Р. Ф. Унгерн-Штернберга и других пленных; Документы, захваченные в штабе Азиатской дивизии в Урге // РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 222; ГА РФ. Ф. Varia. Д. 392.

Мемуары. Дневники. Путевые очерки. Письма

[Аноним] Барон Унгерн [рукопись] // Личный архив В. И. Юдина. *Балдаев Д. С.* Воспоминания [рукопись].

Барон Унгерн в документах и мемуарах / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Боголепов М. И... Соболев М. Н. Очерки русско-монгольской торговли. Томск, 1911.

Брежнев В. И. Воспоминания [рукопись] // Личный архив В. Е. Чурова.

Бурдуков А. В. В старой и новой Монголии. М., 1969.

Волков Б. Об Унгерне (Из записной книжки белогвардейца) // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Stanford University, California, USA. CSUZ36008-A.

Врангель П. Н. Воспоминания. М., 1992.

Голубев. Воспоминания // Барон Унгерн в документах и мемуарах / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Даурец Н. П. Семеновские застенки. Харбин, 1921.

Еловский И. Голодный поход Оренбургской армии. Пекин, 1921. *Емельянов А. Г.* Персидский фронт (1915–1918). Берлин, 1923.

Зазубрин В. Я. О том, кого уже нет // Литературное наследство Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1972.

Казанин М. И. Записки секретаря миссии: Страничка истории первых лет советской дипломатии. М., 1963.

Кейзерлинг А. Воспоминания о русской службе / Пер. Н. Федоровой; коммент. Е. И. Кононенко, М. Ю. Катин-Ярцева. М., 2001.

Кислицын В. В огне Гражданской войны. Харбин, 1936.

Князев Н. Н. Легендарный барон // Легендарный барон: Неизвестные страницы Гражданской войны / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Козлов П. К Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. Пг., 1923. *Лаврентьев К. И.* Взятие г. Урги бароном Унгерном // Барон Унгерн в документах и мемуарах / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Макеев А. С. Бог Войны — барон Унгерн: Воспоминания бывшего адъютанта начальника Азиатской конной дивизии. Шанхай, 1934.

Марковчин В. В. Три атамана: Книга создана на основе рассекреченных документов из архива ФСБ: Действующие лица: А. Дутов, Г. Семенов, Д. Тундутов-

Дундуков. М., 2003 (XX век: История: Лики, лица, личины).

Никитин В. П. Ритмы Евразии // Евразийская хроника. Вып. 9. Париж, 1927.

Носков К. Джан-джин барон Унгерн, или Черный для белых русских в Монголии. 1921-й год. Харбин, 1929.

Оссендовский Ф. Звери, люди и боги. Рига, 1925.

Першин Д. П. Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак: Записки очевидца о смутном времени во Внешней (Халхаской) Монголии в первой трети XX века / Подг. текста, вступ. очерк, послесл., коммент. И. И. Ломакиной. Самара, 1999.

Рерих Н. К. Сердце Азии. Нью-Йорк, 1929.

Рерих Н. К. Основы буддизма. Улан-Батор, 1926.

Розенфельд М. На автомобиле по Монголии. М., 1931.

Савинцев П. Дневник. 1920 г. // ГА РФ. Ф. 5873. Оп. 1. Д. 4.

Сахаров К. В. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923.

Семашко Г. Ф. Ургинские застенки. Шанхай, 1922.

Семенов Г. М. О себе: Воспоминания, мысли и выводы. М., 2002.

Случайный. В осажденной Урге (Впечатления очевидца) // Барон Унгерн в документах и мемуарах / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Сокольников Ю. В. Воспоминания // ГА РФ. Ф. 5873. Д. 5-6.

Солодовников Б. Сибирские авантюры и генерал Гайда. Прага [Без года издания].

Торновский М. Г. События в Монголии-Халхе в 1920-1921 годах. Военно-исторический очерк (Воспоминания) // Легендарный барон: Неизвестные страницы Гражданской войны / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири. М.; Пг., 1923.

Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири. 1918–1922 годы: Впечатления очевидца. Париж, 1985.

Хитун С. Е. Дворянские поросята [1975, рукопись]. - <http://www.ldn-knigi.narod.ru>.

Цыбилов Г. Ц. Дневник поездки в Ургу в 1927 году // *Цыбилов Г. Ц.* Избранные труды: В 2 т. Новосибирск, 1991. Т. 2.

Шайдицкий В. И. Отдельная Азиатская конная дивизия. Генерал-лейтенант барон Р. Ф. Унгерн-Штернберг // На службе Отечества. Сан-Франциско, 1963.

Шкловский В. Б. Сентиментальное путешествие. СПб., 2008.

Alioshin D. Asian Odissey. London, 1940.

Geleta J. The New Mongolia. London; Toronto, 1936.

Gizycki K. Przez Urianchaj i Mongolje. Lwow; Warszawa, 1929.

Greiner A. Meine Erinnerungen uber Baron Ungem-Stenberg // Исторический архив Эстонии в Тарту. Ф. 1423. Он. 1. Д. 192.

Ignota. Роман Николай Унгерн-Штернберг // Русская мысль. Прага, 1922. № 1–2.

Riabukhin (Ribo) N. M. The Story of Baron Ungem-Stenberg Told by his Staff Physician // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Stanford University, California, USA. CSUZH697-A.

Roerich G. N. Trails to Inmost Asia: Five Years of Exploration with the

Roerich's Central Asian Expedition. New Haven; London, 1931.

Ungem-Stenberg A., Ungem-Stenberg E. Die Briefe // Исторический архив Эстонии в Тарту. Ф. 1423. Он. 1. Д. 191–192.

Volkov B. A Descendant of Chinghis-Khan. Asia. New York, 1931. № 11.

Газеты

Вечерняя газета. Владивосток, 1921. 10 ноября.
Власть труда. Иркутск, 1921. 19, 31 августа.
Военная мысль. Харбин, 1920. 27 сентября.
Возрождение Азии. Тяньцзин, 1933. Июль — август.
Вперед. Харбин, 1929. 6 августа, 29 сентября.
Голос России. Берлин, 1919. 16 ноября.
Дальне-Восточный телеграф. Чита, 1921. 25 сентября.
За свободу. Варшава, 1923. 10 июля.
Забайкальская новь. Чита, 1918. 24 декабря; 1919. 7 января.
Заря. Харбин, 1920. 15 и 30 сентября, 15 и 27 октября, 8 ноября.
Казачье эхо. Чита, 1920. 9 апреля, 16 июля.
Красное Прибайкалье. Верхнеудинск, 1921. 3 марта.
Накануне. Берлин, 1922. 12 сентября.
Наш путь. Харбин, 1933. 19 декабря; 1934. 14 января.
Новая жизнь. Харбин, 1924. 14 декабря.
Новое время. Харбин, 1928. 25 февраля.
Новое русское слово. Нью-Йорк, 1935. 25 мая.
Новости жизни. Харбин, 1923. 17 июля.
Последние новости. Париж, 1921. 22 декабря; 1929. 12 августа; 1935. 21 марта.
Правда. Москва, 1946. 26 августа.
Прибайкальская жизнь. Верхнеудинск, 1919. 7 марта.
Россия. Шанхай, 1924. 22 сентября, 27 октября.
Русская армия. Чита, 1920. 14 октября.
Русский голос. Харбин, 1920. 21, 26 сентября.

Свет. Харбин, 1920. 13 и 21 октября, 11 ноября.
Свободный край. Иркутск, 1919. 4 апреля.
Слово. Шанхай, 1921.12 апреля; 1934.16 октября.
Советская Сибирь. Новониколаевск, 1921. 25 июля,
28 августа, 16–20 сентября.
Утро России. Владивосток, 1994.15 октября.
Уфимец. Чита, 1920. 13 октября.
Хакасия. Абакан, 2003. 1 апреля.

Jycie Warszawy. 1977. 20 kw.
North China Herald, 1921. 3 March.
Millard's Rewie. Peking, 1919. 29 March.

Литература

Адгоков (Турунов) А. Потери Гражданской войны по Селенгинскому аймаку Бурят-Монгольской автономной области. Иркутск, 1923.

Арендт Х. Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме. М., 2008.

Бажов П. П. Бойцы первого призыва. Свердловск, 1958.

Балакшин П. Финал в Китае: Возникновение, развитие и исчезновение Белой эмиграции на Дальнем Востоке // Дальний Восток. Хабаровск, 1991.11–12; 1992.4–7.

Белов Е. А. Барон Унгерн фон Штернберг: Биография. Идеология. Военные походы. 1920–1921. М., 2000.

Борисов Б. Дальний Восток. Вена, 1921.

Бурдуков А. В. Человеческие жертвоприношения у монголов // Сибирские огни. Новосибирск. 1927. № 3.

Вампилов Б. Д. От Алари до Вьетнама. М., 1986.

Василевский В. При дворе атамана // Слово. Чита, 2006.

Вишняков М. «Расстреляйте меня на рассвете...» // Сибирские огни. 2006. № 5.

Владимирцов Б. Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов: В 2 т. М., 2002.

Волков Е. В, Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. М., 2003.

Ганин А. В. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004.

Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск, 1989.

Герасимова К. М. Ламаистская трансформация анимистических представлений // Материалы по истории и филологии Центральной Азии. Вып. 4. Улан-Удэ, 1970.

Гольман М. И. Изучение истории Монголии на Западе. М., 1988.

Гришаев В. Ф. «За чистую советскую власть...» Барнаул, 2001.

Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. М. [Без года издания].

Дамдинсурэн Ц. Миф о счастливой стране Шамбале // Цэндийн Дамдинсурэн: К 100-летию со дня рождения. М., 2008.

Дмитриев С. В. Политическая культура тюрко-монгольских кочевников в историко-этнографической перспективе // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002.

Дугин А. Г. Мистерии Евразии. М., 1996.

Железняков А. С. Монгольский полюс политического устройства мира. М., 2009.

За кулисами царизма: Архив тибетского врача Бадмаева. Л., 1925.

Зашихин Е. С. Казагранди Николай Николаевич // Большая Тюменская энциклопедия. Т. 4 [Дополнительный]. Тюмень, 2009.

Кислов А. Ликвидация Унгерна // Война и революция. 1931. № 3.

Кислов А. Н. Разгром Унгерна. М., 1964.

Колбенеv Э. К. Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. М»1999–2006. Т. 4.

Кручинин А. С. Атаман Г. М. Семенов и союзники. М., 2002.

Крючков М. Картография Монголии // Красная армия на Востоке. Иркутск, 1921.

Кузьмин С. Л. Деятельность барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга и его роль в истории // Барон Унгерн в документах и мемуарах / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Кузьмин С. Л. Забытые мемуары о бароне Унгерне // Легендарный барон: Неизвестные страницы Гражданской войны / Сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 2004.

Кузьмин С. Л. История барона Унгерна: Опыт реконструкции. М., 2011.

Кузьмин С. Л., Оюунчимэг Ж. Последний великий хан Монголии // Азия и Африка сегодня. 2009. № 1.

Куликов А. Атаманшина // Слово. Чита, 2006.

Ломакина И. И. Голова Джа-ламы. Улан-Удэ; СПб., 1993.

Ломакина И. И. Грозные махагалы Востока. М., 2004.

Ломакина И. И. Монгольская столица, старая и новая. М., 2006. *Майский И.* Монголия накануне революции. М., 1960.

Манн Т. Фридрих и большая коалиция // Манн Т. Аристократия духа. М., 2009.

Марков С. Н. Рыжий Будда // Марков С. Н. Избранные произведения: В 2 т. М»1990. Т. 1.

Мелентьева Н. Фашизм как стиль // Элементы. М., 2000. № 4.

Милюков П. Н. Россия на переломе: В 2 т. Париж, 1927. Т. 2.

Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии. СПб., 1887.

Позднеев А. М. Ургинские хутухты в их прошлом и настоящем. СПб., 1880.

Попова А. П. Общественная мысль Монголии в эпоху «пробуждения Азии». М., 1987.

Савелли Д. Дракон, гидра и рыцарь // Новый мир. 1996. № 2.

Сергеев [Б. З. Шумяцкий]. Унгерниада // Народы Дальнего Востока. Иркутск, 1921. № 5.

Серебренников И. И. Великий отход: Рассеяние по Азии белых русских армий. Харбин, 1936.

Соколов Б. В. Барон Унгерн: Черный всадник. М., 2007.

Сокровенное сказание монголов / Пер. С. А. Козина. М., 2002.

Солонин Ю. Н., Аркан Ю. Л. Между созерцательностью и активизмом: Жизнь и труды графа Германа Кайзерлинга // *Кайзерлинг Г.* Америка: Заря нового мира. СПб., 2002.

Степанов В. В. Правда об атамане Семенове. Будапешт, 1921.

Тепляков А. Г. Процедура исполнения смертных приговоров в 1920-1930-х годах. М., 2007.

Унгерн-Штернберг Ф. Р. О виноделии на Южном берегу Крыма. СПб., 1888.

Устрялов Н. Под знаком революции. Харбин, 1925.

Хейдок А. П. Звезды Маньчжурии. М., 2001.

Цендина А. Д. Легенда о Гэргэр-хане в монгольской письменной традиции // Цэндийн Дамдинсурэн: К 100-летию со дня рождения. М., 2008.

Цибикив Б. Разгром унгерновщины. Улан-Удэ, 1947.

Чойбалсан Х. Краткий очерк истории Монгольской народной революции. М., 1952.

Чуров В. Е. Тайна четырех генералов. М., 2005.

Юзефович Л. А. Начало панмонгольского движения и атаман Семенов // Гуманитарная наука в России. М.,1996.

Bourdier J., Grey M. Les Armies blanches. Paris; Stock., 1968.

Deville S. Les Soldats et les Dieux. Paris, 1968.

Grochowski K. Polacy na Dalekim Wschodzie. Harbin, 1928.

Mabire J. Ungem, le dieu de la guerre. Paris, 1964,1987.

Maclean F. To the Back of Beyond. London, 1974.

Michalowski W. Testament barona. Warszawa, 1977, 2000.

Onon U. Mongolian Heroes of 20th Century. New York, 1976.

INFO

Юзефович Л. А.

Ю 20 Барон Унгерн: Самодержец пустыни.
Р. Ф. Унгерн-Штернберг и мир, в котором он жил
/ Леонид Юзефович. — М.: Молодая гвардия,
2015. — 456[8] с.: ил. — (Жизнь замечательных
людей: сер. биогр.; вып. 1536).

ISBN 978-5-235-03819-6

УДК94(47)(092)"18"

ББК 63.3(2)612-414.81

знак информационной продукции 18+

Юзефович Леонид Абрамович
БАРОН УНГЕРН: САМОДЕРЖЕЦ ПУСТЫНИ.
Р. Ф. УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ И МИР,
В КОТОРОМ ОН ЖИЛ

Редактор *Е. С. Писарева*
Художественный редактор *Г. П. Демчев*
Технический редактор *М. П. Качурина*
Корректор *Т. И. Маляренко*

Сдано в набор 12.03.2015. Подписано в
печать 13.05.2015. Формат 84x108/32. Бумага
офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура
«Newton». Усл. печ. л. 24,36+1,68 вкл. Тираж
3000 экз. Заказ № 1507990.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес
издательства: 127055, Москва, Сущевская ул.,

21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail:
dsel@gvardiva.ru

arvato BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с
качеством предоставленного электронного
оригинал-макета в ООО «Ярославский
полиграфический комбинат» 150049, Ярославль,
ул. Свободы, 97

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

И. Н. Вирабов
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Когда-то молодой поэт Андрей Вознесенский потребовал: «Уберите Ленина с денег!» Сановные ленинцы от такой ереси онемели, Сбербанк призвал автора к ответу. Времена сменяются, и за те же строки поэта обвинят в «пособничестве режиму». «Убирайтесь вон из страны!» — громыхал в его адрес Хрущев. Поэт не «убрался». Вознесенский прожил 77 лет (1933–2010), и судьба его навсегда переплелась с судьбой страны, где для одних он — слишком «западник», для других — слишком «патриот». Собратья-ровесники будут спорить за звание «ученика» Пастернака, но лишь Вознесенскому он напишет: «Счастлив, что дожил до Вашего первого успеха». Знаменитая четверка поэтов-шестидесятников, собиравшая стадионы поклонников, обросла мифологией, но вопросы остались. Вознесенский и Евтушенко были друзьями или недругами? Что находили в молодом Вознесенском поэт Арагон и художник Пикассо, экзистенциалист Сартр и битник Гинзберг, философ Хайдеггер и драматург Миллер? Почему Вознесенскому не дали Нобелевскую премию, хотя собирались?.. Об Андрее Вознесенском известно всё — и о нем неизвестно ничего. Попробуем познакомиться с Вознесенским заново!

Г. И. Чернявский, Л. Л. Дубова
МИЛЮКОВ

Событий жизни Павла Милюкова — историка, журналиста, политолога, лидера кадетской партии, министра Временного правительства — с лихвой хватило бы на несколько биографий. Он встречался с Львом Толстым, беседовал с Лениным, дискутировал с Троцким. Основоположник российского либерализма сидел в царской тюрьме за антиправительственную агитацию, за твердую внешнеполитическую линию получил ироничное прозвище Дарданелльский, а в эмиграции пережил покушение монархистов. С его газетой «Последние новости» сотрудничали Надежда Тэффи, Марк Алданов, Иван Бунин. Спектр его научных интересов был чрезвычайно широк: от землевладения времен Ивана Дюного до геополитических проблем на Балканах. Он положил начало новой научной дисциплине — культурологии, свободно говорил на нескольких иностранных языках, еще до эмиграции читал лекции в Болгарии, США, Англии. Являясь признанным научным авторитетом, он так и не получил звание профессора и, по его собственным словам, остался последним русским приват-доцентом.

О. И. Елисеева
РАДИЩЕВ

Биография «первого русского революционера», как называли Александра Николаевича Радищева в советской историографии, всегда привлекала к себе пристальное внимание публики. Это действительно трагическая фигура в нашей истории. Но до сих пор непонятно: зачем именно он издал свою главную книгу — «Путешествие из Петербурга в Москву», призывавшую к свержению правительства, да еще в момент бомбардировки Северной столицы шведской эскадрой? Стремился перенести на отечественную

почву Французскую революцию? Вызвать бунт? Рассказать современникам о «плачевном состоянии крестьянского сословия»? Или был настолько поглощен собственными страданиями, что не замечал пушечной канонады, от которой в доме дрожали стекла?

На эти и многие другие вопросы, касающиеся биографии Радищева и особенностей зарождения в императорской России европеизированного интеллектуального слоя, отвечает автор книги — историк и писатель Ольга Елисеева.

О. И. Киянская ДЕКАБРИСТЫ

Дореволюционная официальная идеология называла декабристов изменниками, а советские историки изображали их рыцарями без страха и упрека, тогда как они не были ни теми ни другими. Одни были умны и циничны, другие честны, но неопытны, третьи дерзки и безрассудны, а иные и вовсе нечисты на руку. Они по-разному отвечали на вопрос, оправдывает ли высокая цель жестокие средства. Но у столь разных людей было общее великое стремление — разрушить сословное общество и отменить крепостное право.

В поле зрения доктора исторических наук Оксаны Киянской попали и руководители тайных обществ, и малоизвестные участники заговора. Почему диктатор Трубецкой не вышел на площадь? За что был казнен Рылеев, не принимавший участия в восстании? Книга, основанная на опубликованных документах и архивных материалах, восстанавливает реальную историю антиправительственного заговора, показывает связь его участников с общественным мнением, создает свободный от идеологических штампов коллективный портрет деятелей декабристского движения.

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

С. Михеенков «ЖУКОВ»
В. Порудоминский «БРЮЛЛОВ»
О. Елисеева «РАДИЩЕВ»
В. Полушин «НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ»
О. Киянская «ДЕКАБРИСТЫ»
А. Бондаренко «ФИТИН»
А. Тимифеев «ПОКРЫШКИН»
В. Старк «НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА»
В. Наумов «ЦАРЕВНА СОФЬЯ»
П. Люкимсон «ЦАРЬ ИРОД»
Е. Трефилов «ПУГАЧЕВ»
И. Вирабов «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ»

notes

Примечания

В 1918 году этот особняк заняла семеновская контрразведка, превратив его в один из самых страшных застенков. — *Здесь и далее примечания автора.*

Недаром во время Гражданской войны китайцам отводилась роль чуть ли не главных союзников евреев в деле разрушения российской государственности, что плохо соотносилось с их реальной численностью в Красной армии.

Впоследствии значение слова «панмонголизм» сузилось. Так стали называть политическое течение, ставящее целью объединить в одном государстве всех монголов и бурят, разделенных между собственно Монголией, Китаем и Россией. То, что имел в виду Соловьев, обозначалось термином «паназиатизм».

О нем известно только то, что до революции он входил в штат русского дипломатического агентства в Урге.

Понятие «белой опасности» (*хакабату*) было важнейшим элементом идеологии японского паназиатизма.

Этот список из 197 названий приведен в книге польского историка и журналиста Витольда Михаловского «Testament barona Ungema». Warszawa, 2000.

Альбер Камю заметил, что религия Гитлера «совмещала в себе обоготворенную судьбу с божествами Валгаллы». Про Унгерна можно сказать то же самое, заменив последних фигурами буддийского пантеона.

8

Кто он такой, мне установить не удалось.

Среди Унгерн-Штернбургов, давших России, Швеции и Германии немало военачальников, администраторов, дипломатов, ученых и людей искусства, были такие, о ком Унгерн предпочел бы не вспоминать. Один из его родственников опустился до содержания пивоваренного завода и выпускал популярное в начале XX века пиво «Замок Феллин»; другой, будучи послом в Португалии, первым из русского дипломатического корпуса за границей признал советскую власть; третий, известный режиссер, в 1919 году ставил спектакли в Еврейской театральной студии в Петрограде.

Про барона-пирата де Кюстину рассказал граф Козловский. Он же, как считается, сообщил эту историю Байрону, с которым был знаком.

Именно в этом качестве он многократно упоминается Достоевским в черновиках к «Преступлению и наказанию» и «Подростку». В последнем намечалась сцена, где герой «разговаривает про Унгерн-Штернберга и рубит вдруг образа». Для героев Достоевского этот человек — «затаенное существо», обладающее скрытым от мира могуществом: «Жребий Унгерн-Штернберга лучше Наполеонова».

Результаты его разысканий публиковались в немецкой прессе Таллина. Вырезки с этими публикациями сохранились среди бумаг Арвида Унгерн-Штернберга, двоюродного брата Романа Федоровича.

Возможно, обвинение просто не было доказано. Николай Лесков, живший на Даго в 80-х годах XIX века, в очерке «Темнеющий берег» пишет: «Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом, все-таки еще не совсем исчезло, и малограмотный шкипер порой может принять за маяк разведенный на берегу «фальшфейер». Пират Фильзанда или Дагерорта начнет ловить на огонь морских угрей и, как пить дать, «посадит его на грядку», а потом придет его спасать... и грабить (что почти одно и то же)».

Высказывались предположения, что барон, состоявший в ложе «Астрея», пал жертвой внутримасонских интриг, поэтому процесс над ним и был окружен завесой тайны.

Эта дата фигурирует в переписке его двоюродных братьев Эрнста и Арвида Унгерн-Штернбергов, так что вряд ли в ней можно усомниться.

Франко-немецкий (гугенотский) род баронов фон Вимпфенов дал Франции двух знаменитых генералов — один возглавил армию, созданную жирондистами для борьбы с якобинской диктатурой в 1793 году, другой сражался с русскими в Крыму и с пруссаками под Седаном.

Ныне — Таллин, Эстония.

Сообщено В. Е. Чуровым.

С началом Первой мировой войны дуэли в армии запретили, но когда в декабре 1917 года прапорщик Крыленко стал большевистским главковерхом, несколько офицеров через газеты послали ему вызов на дуэль, соглашаясь драться в любом месте и на любых условиях. Ответа, естественно, не последовало.

Это письмо можно счесть лишним доказательством того, что в судьбе цельных натур не бывает случайностей. Через пять лет одна из таких шансонеток, «цыганка» Маша, в качестве любовницы атамана Семенова будет серьезно влиять на политику атаманской Читы, а Будберг, заняв должность военного министра у Колчака, станет убежденным врагом семеновского режима.

Халха (*монг.* щит), или Внешняя Монголия — Монголия в современных границах, в отличие от Внутренней Монголии, простирающейся к северу от Великой Китайской стены. Последняя до сих пор остается в составе КНР.

Хошун — административно-территориальная единица в Монголии.

Русские вели себя не лучше. Профессора Томского университета Боголепов и Соболев, в 1912 году изучавшие в Урге перспективы русско-монгольской торговли, писали, что купцы-сибиряки «дешевые зеркала всучивали монголам за десятки рублей, шомполы продавали по такой цене, будто они сделаны из серебра, а за пачку иголок брали годовалого бычка». Они же приводят фаталистическую монгольскую поговорку: «У купца искать правду, что у змеи — ноги».

Богдо — великий, священный. Гэгэн — владыка. Джебцзун-дам-ба-хутухта (*монг.* высочайший святой) — титул, который носили лица, занимавшие пост главы ламаистской церкви Монголии.

В то время в Монголии активно действовала германская агентура, а поскольку Унгерн был немцем, необычными обстоятельствами его увольнения в запас пристально интересовалась русская военная разведка (подробнее см.: *Чуров В. Е. Тайна четырех генералов.* М., 2005. С. 364).

Через семь лет, во время похода в Монголию, Борис Резухин станет его правой рукой, командиром одной из двух бригад Азиатской дивизии. Что касается одолженного мундира, возврату он не подлежал. Привычка Унгерна одалживать без отдачи была хорошо известна, но кредиторы не возражали, зная, что в обмен всегда могут занять у него денег — тоже без возврата. Это выглядело как проявление бескорыстной дружбы, что для Унгерна было предпочтительнее.

К тому времени Джа-лама начал обнаруживать не только антики-тайские, но и антирусские настроения. В начале 1914 года он был схвачен казаками прямо у себя в ставке и увезен в Сибирь. Некоторое время его продержали в томской тюрьме, где его навещал знаменитый путешественник, этнограф и собиратель монгольского фольклора Григорий Потанин. Цель визита кажется странной. Как рассказывал сам Потанин, он пытался разузнать у Джа-ламы подробности очень почему-то интересовавших его монгольских легенд о «людях с большими ушами».

Интерес к Монголии и Тибету мог пробудить в нем и Густав Маннергейм, будущий маршал и президент Финляндии, в 1906–1907 годах посетивший Амдо и Тибет в качестве русского разведчика. По мнению В. Е. Чурова, они были знакомы с юности, поскольку Маннергейм состоял в дружеских отношениях с семьей отчима Унгерна, Оскара Хойнинген-Хюне.

Эрнст Унгерн-Штернберг должен был вспомнить этот разговор, узнав, что в 1919 году его кузен женился на маньчжурской принцессе.

На рассказ Кряжева, записанный в 1921 году, повлияли широко известные в Монголии истории о борьбе Унгерна с пьянством, но сам он отказался от алкоголя лишь в годы Гражданской войны — не то еще в Забайкалье, не то непосредственно перед походом на Ургу.

В издании 1993 года далее говорилось: «Этот тип личности характерен не столько для тиранов патриархального толка, пусть даже самых кровавых, сколько для творцов тотальных утопий». Такого рода обобщения типичны для того времени, когда слово «утопия» казалось универсальным ключом ко всей истории XX века.

Сообщено проживающей в США Верой Хатчер, правнучкой барона П. А. Витте, который в 1921 году занимал должность советника при правительстве Богдо-гэгэна.

В краткой биографической справке, предваряющей «Результаты опроса» пленного барона, сообщается, что за избиение комендантского адъютанта он был приговорен «к трем годам крепости», но вышел на свободу осенью 1917 года, то есть после прихода к власти большевиков. В 2000-х годах Е. А. Белов задался вопросом: какова цель этой фальсификации? «Видимо, — пишет он, — хотели придать образу Унгерна негативный оттенок: мол, он пьяница и драчун, Октябрьская революция вызволила его из крепости, а он, неблагодарный, борется с советской властью».

После того как в 1915 году курды, вместе с турками ненадолго занявшие Урмию, насильствовали четырехлетних ассирийских девочек, которые тут же умирали, а женщин обливали керосином и сжигали живьем. Вообще здесь даже в регулярных армиях очень быстро перестали действовать табу, в той или иной степени сохранявшиеся на европейских фронтах. Курдские разбойники отрезали головы русским солдатам, но и русские сажали пленных курдов на кол или вешали на деревьях вниз головой.

Англичане обещали три тысячи фунтов тому, кто доставит Васмуса живым или мертвым, а через два года за его голову сулили уже в пять раз больше. Его морская разведка, состоявшая из рыбацких суденышек в Персидском заливе и связанная с германским подводным флотом, нанесла колоссальный урон идущим из Индии британским транспортам. Лишь к осени 1918 года, когда из Европы стали доходить слухи о том, что Германия близка к поражению, акции Васмуса у местных племен начали падать. После заключения Версальского мира Ахрам предусмотрительно посоветовал зятю бежать; тот внял совету и скрылся. Это последнее, что о нем известно.

В апреле 1917 года был издан приказ о выделении из частей солдат-инородцев для создания национальных формирований. Тем самым для многих открылась возможность легально покинуть опостылевшие окопы и отправиться в тыл. «После такого приказа мы рисковали не найти ни одного русского человека во всей нашей армии», — резонно замечает Семенов.

Этот буддийский символ вечного круговорота жизни был эмблемой Монголо-Бурятского конного полка имени Доржи Банзарова, чьим шефом считался Семенов.

В январе 1920 года Колчак официально назначил Семенова своим преемником.

Представление об этих суммах дает цифра, фигурировавшая на заседаниях японского парламента: только с декабря 1918-го по февраль 1920 года на Семенова было истрчено 21 миллион 110 тысяч иен. Цифра становится еще более фантастической, если учесть, что одна иена приравнивалась к 60–70 рублям.

Японский экспансионизм связан не столько с синтоизмом, сколько именно с буддизмом — религией, общей для всех народов Восточной Азии. Она призвана была стать основой их объединения под эгидой Токио.

Любопытно, что названия двух географических пунктов, связанных с именем Унгерна, фонетически созвучны его фамилии — Урга и Даурия.

Тезка атаманской «метрессы» стала любимой лошадью Унгерна и служила ему вплоть до того момента, как он попал в плен к красным.

Унгерн получил его от Семенова, задержавшего в Чите часть отправленного Колчаком на восток золотого запаса России.

В октябре 1920 года белые, отступая из Даурии, взорвали находившиеся в церкви снаряды. Разнесенное по Аргуни эхо взрыва слышно было за 200 верст.

На экзекуторских должностях и у белых, и у красных нередко оказывались китайцы, знавшие толк в палаческом ремесле. Согласно одной из легенд о гибели Колчака, его расстреляли не только вместе с премьером Виктором Пепеляевым, но и с китайцем-палачом из иркутской тюрьмы. Колчак будто бы просил не унижать его смертью рядом с таким человеком, но ему отказали.

Это китайская пытка, нечто похожее описано у Д. Оруэлла в романе «1984». Есть не поддающийся проверке рассказ о том, что Тухачевского в Лубянской тюрьме привязывали к сиденью унитаза, в который потом по водопроводной трубе запускали крыс.

В сборнике «Красная Голгофа» (Благовещенск, 1920) сообщается, будто в Маккавеевской тюрьме, на стене камеры, где он содержался, осталась сделанная им надпись: «Скорей бы окончились страдания! И predominantly откроется новый лучезарный мир».

Репейников говорил и о другой, типичной для русского национального духа форме психического расстройства — «помешательстве на желании искупить преступления, совершенные другими людьми». В эти годы колоссально выросло число душевнобольных, психиатрические лечебницы переполнены. В провинции красные нередко закрывали их, а пациентов отдавали родственникам или попросту выгоняли на улицу.

Итальянец А. Веспa, агент русской разведки в Китае, позднее работавший на Чжан Цзолина, писал, что Кислицын был «пустоголовым тщеславным паразитом», чья грудь «увешана четырнадцатью сверкающими бляхами». Эти знаки отличия он получал из Парижа, от великого князя Кирилла Владимировича; тот «присылал своим приверженцам в Маньчжурии всевозможные медали и ордена, посвящал их в фантастические рыцарские ордены, назначал командорами несуществующих легионов» и т. п. «Девизом Кислицына, — замечает Веспa, — был девиз короля Георга I: пунш и толстые женщины. Разница лишь в том, что Кислицын пил водку».

Может быть, Унгерн запустил в себе тот психологический механизм, о котором говорит Ханна Арендт применительно к офицерам СС с университетским образованием, командирам айнзацгрупп по уничтожению евреев. Они испытывали «обычную жалость нормального человека при виде физических страданий», но сумели «развернуть подобные реакции на 180 градусов и обратить их на самих себя». Тогда «вместо того, чтобы сказать: «Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!», убийца мог воскликнуть: «Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать (приказывать. — Л. Ю.), исполняя долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи!»

Возможно, это полковник Александрович (Олександрович). В 1930-х годах он жил в Ницце, от него философ-традиционалист Рене Генон получил свои сведения об Унгерне.

Приведу комментарий нижегородской журналистки Светланы Суворовой (из письма ко мне): «Нет ничего странного в том, что барон ездил наблюдать именно за филином. Крылатая кошка, так его еще называют — птица потрясающая. Это зверь с крыльями, который умеет разговаривать с людьми. Я не шучу и не нагоняю мистики, просто сама «дружу» с сычом, который обитает недалеко от моей дачи. Иду к нему в гости, и мы забавно перекликаемся: «Ху! Ху-ху-ху-ху-у-у!» Если он молчит, начинаю звать его этой незатейливой фразой (только произносить ее надо резко и высоким голосом). Тогда в сумерках, абсолютно бесшумно и призрачно, скользит большая тень. Сыч садится на дерево и отзывается».

Первое столкновение между ними произошло в начале 1918 года, когда Семенов отказался подчиниться Колчаку и даже координировать с ним свои действия. Тогда же, на станции Маньчжурия, состоялась их единственная личная встреча.

Болезнь имелась в виду нервная. Сказано было именно в то время (ГА РФ. Ф. 178. Оп. 1. Д. 2. Л. 44), в мемуарах Семенова этой характеристики нет.

В Омске известно было другое прозвище адмирала — Бука.

Христианский аналог — плат Вероники. Вся история рассказана Волосовичем в одной из его корреспонденций из Урги.

В этой похожей на папаху мохнатой шапке Семенов запечатлен на самой известной своей фотографии. Скопированная рисовальщиком, она украшала коробку выпускавшихся в Чите папирос «Атаманские».

Все это в 1994 году, в личной беседе, сообщил мне уроженец Трехречья, старый харбинец Анатолий Михайлович Кайгородов, в прошлом — главный библиограф Библиотеки иностранной литературы в Москве. В 1930-х годах он учился в Харбинском политехническом институте, где тогда преподавал Баранов, и от него услышал историю знакомства Унгерна с его будущей женой. По словам Баранова, как мне их передал Кайгородов. «это была прелестная девушка, все дальнейшее стало для нее трагедией».

Не случайно один из полков Азиатской дивизии носил имя Анненкова и имел черный полковой значок с анненковским девизом.

Более возвышенное объяснение его женофобии дает А. Дугин в очерке «Бог войны»: «В 1912 году Унгерн посетил Европу: Австрию, Германию, Францию. По сведениям, сообщенным Краутхофом в его книге об Унгерне «Ich Befehle» — «Я приказываю», в Париже он встретил и полюбил даму своего сердца, Даниэллу. Это было в преддверии Первой мировой войны. Верный долгу, по призыву царя барон вынужден был вернуться в Россию, чтобы занять свое место в рядах императорской армии. На родину Унгерн отправился вместе со своей возлюбленной, Даниэлкой. В Германии ему угрожал арест как офицеру вражеской армии, поэтому барон предпринял чрезвычайно рискованное путешествие на баркасе через Балтийское море. В бурю маленькое судно потерпело крушение, и девушка погибла. Самому ему удалось спастись лишь чудом. С тех пор барон никогда уже не был таким, как прежде. Отныне он не обращал никакого внимания на женщин». Одна деталь ставит под сомнение достоверность этой романтической истории. В армию Унгерн вернулся по мобилизации, а именно 19 июля (2 августа) 1914 года, на второй день войны. К этому времени он уже находился в России. Если перед тем Унгерн и путешествовал по Европе и прекрасная парижанка впрямь существовала, ему не было никакой необходимости везти ее из Франции «на баркасе». Они еще свободно могли плыть до Ревеля парохомом или ехать через Германию по железной дороге. Книга Краутхофа — не образец исторической точности. Неудивительно, что никто из мемуаристов и родственников барона ни словом не обмолвился о несчастной утопленнице.

В конце концов Сибирское правительство утвердило поправки к злополучной 207-й статье, но сделало это лишь незадолго до падения Омска.

Но образ прекрасной незнакомки в разных ипостасях витал над отступающими, измученными и завшивевшими, потерявшими веру в победу армиями Колчака. Во многих сибирских газетах имелся специальный раздел «Почтовый ящик фронта». В нем публиковались адреса полевой почты тех, кто желает обзавестись крестной матерью по переписке. При этом, естественно, каждый надеялся, что напишет ему такая женщина, которой по возрасту он не будет годиться в сыновья. Адресов печаталось много, спрос на заочных крестных матерей велик. В это же время в кинематографах Забайкалья и Дальнего Востока с огромным успехом шел фильм «Гамлет» с Астой Нильсен в главной роли. По сценарию Гамлет — девушка, чем объясняется и нерешительность принца, и популярность фильма. В финале Горацио расстегивает рубашку на груди раненого Гамлета и понимает все.

Закрадывается мысль, что это не кто иной, как Альфред Хейдок, харбинский литератор латышского происхождения, известный своим интересом и к буддизму, и к Унгерну.

Ныне — Улан-Удэ.

Миссия носила секретный характер, о ней известно из отправленного в Омск донесения русского консула в Хайларе (ГА РФ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 421. Л. 44-44 об.).

Китаец по отцу и монгол по матери, он был «плебейского» происхождения и выдвинулся исключительно благодаря собственным талантам. Позднее занимал тот же пост в правительстве Сухэ-Батора. Написал первые на монгольском языке сочинения о международном праве и парламентской демократии. Как заметил большевик Б. З. Шумяцкий, применительно к Монголии это звучит юмористически, но все же указывает на значительное развитие автора».

Последнее маловероятно, и его внучка, Светлана Андреевна Шерстенникова из Екатеринбурга, сообщила мне, что, по словам жившего в Австралии участника этих событий И. Е. Писарева, Левицкий в ту ночь был убит харачинами. Однако его жена, Лидия Ивановна, всю жизнь верила, что муж остался жив, хотя в дальнейшем от него не поступало никаких вестей

Ныне — Новосибирск.

Формально она не состоялась по той причине, что была запрещена Яну Сыровы начальством в лице Жанена.

Шайдицкий прибыл в Даурию в феврале 1920 года, когда Жанен должен был уже проехать на восток. Историк А. С. Кручинин предположил, что мемуарист ошибся, и в поезде находился кто-то из штабных чинов Чехословацкого корпуса, возможно — сам Ян Сыровы.

Подполковник Артемий Тирбах славился своим садизмом в тылу и трусостью на фронте. В эмиграции был убит ненавидевшими его трехреченскими казаками.

В 1923 году одного из офицеров Сибирской дружины, попавшего в плен в Якутии, спросили на допросе, служил ли он у Семенова. Ответ характерен: «Я атаманам не служил!» Это было то немногое, чем он мог гордиться.

Когда Шумяцкий через год предал это письмо гласности, Семенов объявил его фальшивкой. Однако публикация была проиллюстрирована фотографией текста письма, что не имело смысла, если бы оно было сфабриковано — почерк говорил сам за себя. К тому же трудно представить мотивы подобной фальсификации.

Сам он об этом умалчивает и уверяет, будто Унгерн, относившийся к нему по-отечески, отправил его в тыл с целью избавить «от того кошмара в Монгольском походе, который он, несомненно, предчувствовал».

1 Пробольшевистская харбинская газета «Вперед» откликается на это куплетом:

*В наклонности к безволию.
Предчувствуя беду,
В Монголию, в Монголию,
В Монголию пойду!*

Еще до ухода на фронт Семенов женился на казачке Зинаиде, но давно с ней не жил. Являлся ли этот брак официальным, и если да, был ли оформлен развод, мне не известно. Позднее враги атамана регулярно обвиняли его в двоеженстве.

В январе 1920 года, в Нижнеудинске, когда чехи закрыли путь на восток поезду Колчака, но сам он еще сохранял свободу действий, кто-то из его окружения предложил уходить в Забайкалье через Монголию, на лошадях. Зажегшись этой идеей, адмирал собрал свой конвой, в чью преданность «верил безгранично», и спросил, кто желает идти вместе с ним. Вызвалось всего несколько человек из пятисот. Для Колчака это стало «страшным разочарованием», после которого он впал в апатию. «Зачем только было спрашивать? — восклицает генерал Филатьев, рассказавший об этом эпизоде. — Конвой был на службе, приказал бы ему выступать, не вводя в соблазн, и пошли бы без разговоров» В аналогичной ситуации Унгерн так и поступил, потому что был человеком совсем иного типа.

Этот полет запечатлен в псевдонародной песне, сочиненной неизвестным партизанским поэтом:

*Аэроплан мой, аэроплан,
Последний трон мой, последний стан.
Аэроплан мой, аэроплан,
Живым на небо взят атаман.*

В этот же день по Урге прокатилась волна грабежей в русской колонии. Китайские солдаты врываются в дома под предлогом обыска с целью обнаружения оружия и забирали все, вплоть до посуды и полотенец. Грабежи продолжались, пока не вмешался американский консул Мильссн. Многие русские были обязаны ему спасением и в последующие месяцы осады.

Вера Хатчер, правнучка Витте, вспоминает рассказ своей бабушки (в письме ко мне): «Когда Волков въехал в Ургу в шляпе, она была потрясена не потому, что «ах, какой мужчина!», а потому что решила, что он пижон. Время было военное, и в шляпах тогда мужчины верхом не особенно ездили. У меня есть монгольские фотографии той поры. Мужчины там в военных фуражках или меховых шапках наподобие папах, но не таких высоких, а женщины в фетровых или войлочных шляпках с маленькими полями».

Опубликованы С. Л. Кузьминым (Легендарный барон: Неизвестные страницы Гражданской войны. М., 2004).

Стоит отметить, что оба главных апологета Унгерна, Князев и Макеев, были причастны к карательным акциям.

Унгерновская эпопея породила такое количество легенд и вызвала настолько полярные оценки, что многие ее участники и свидетели по разным мотивам сочли своим долгом написать о ней. Кроме тех, о ком рассказано в этой главе, до нас дошли обстоятельные и достоверные воспоминания бывшего офицера Азиатской дивизии Голубева (имя, отчество и биография неизвестны), енисейского казака К. И. Лаврентьева, колчаковцев Д. Д. Алешина, К. Гижицкого, С. Е. Хитуна и др. Многие из них, в том числе записки Голубева и Лаврентьева, впервые опубликованы С. Л. Кузьминым (Барон Унгерн в документах и мемуарах. М., 2004).

Шарил (от *санскр.* шарира) — вид мумифицирования тел монгольских правителей и представителей высшего ламаистского духовенства.

В 1930-х годах статуя была разобрана, вывезена в СССР и, по всей видимости, пошла на переплавку. Попытки разыскать ее следы, предпринятые в конце 1980-х, оказались безуспешными. В 1996 году восстановленная на средства от народных пожертвований статуя Авалокитешвары была воссоздана командой скульпторов под руководством народного художника МНР Н. Жамбы.

Будда Майдари (*инд.* Майтрейя) — владыка будущего, буддийский мессия.

Все эти храмы, как и Летний дворец Богдо-гэгэна, были разрушены в 1930-х годах.

При нем в разгар Гражданской войны выпускалась вполне аполитичная газета «Юный колонист», в кинематографе «Иллюзион» перед сеансами читались лекции типа «Любовь с естественно-исторической точки зрения» (прочитана 25 апреля 1919 года неким Барташевым). О событиях в России здесь знали мало, да и узнать было непросто; в книжной лавке Годченина бешеным спросом пользовались случайно попадавшие в Ургу отдельные номера сибирских газет.

В крупных городах Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии многие публичные дома принадлежали японцам — они славились как самые умелые и жестокие сутенеры.

Кажется странным, что китайцы отдали такой приказ, способный еще больше настроить против них монголов, но для последователей Сунь Ятсена с его декларируемым атеизмом в этом нет ничего экстраординарного. Рассказ Першина подтверждается донесением красной разведки «Религиозные обряды в храмах не исполняются, использование духовых инструментов (сан, хунчсрек, бурэ, бишхур) запрещено».

На этом фоне вполне пародийно звучит относящееся к Унгерну высказывание А. Дугина: «Чистота героя в темные времена вызывает такое сопротивление дегенеративной среды, что для ее обуздания и подчинения приходится использовать экстраординарные средства».

Далее он цитируется как Аноним. Этот офицер впоследствии, видимо, служил у красных, его неопубликованная и неатрибутированная рукопись сохранилась в личном архиве В. И. Юдина, в 1920-х годах — представителя НКВД РСФСР при частях РККА в Монголии и секретаря советского полпредства в Улан-Баторе.

Было объявлено, что она воплотилась в российской императрице, дабы «смягчить нравы жителей северных стран».

Известие заслуживает полного доверия, поскольку исходит не от русского, а от монгольского мемуариста, князя Анвана, при Унгсрне служившего в Министерстве иностранных дел (опубликовано С. Л. Кузьминым).

У Рериха чуть иначе: «Северной Шамбалы война». Изменение падежа меняет смысл — тем самым к Шамбале приравнивается Советская Россия.

Если титул «цин-ван» переводили обычно как «князь», «цзюнь- ван» — как «граф», то к «барону» мог быть приравнен «гун» или «туше-гун».

Позднее Тоггохо-гун поддержал Унгерна и был расстрелян после того, как Ургу заняли красные.

В Забайкалье он попал из Перми, где его мать была директрисой Мариинской женской гимназии.

В реестре наказаний, предусмотренных за пьянство, эта кара считалась относительно мягкой. Осенью, наткнувшись в лагере на двоих пьяных офицеров, Унгерн распорядился раздеть их догола, привязать к лошадям и на веревках перетащить через ледяную реку. Без одежды, не разводя костра, они всю октябрьскую ночь просидели на противоположном берегу, а лагерные часовые каждый час устраивали им перекличку.

Об этом рассказывает Марк Казанин, секретарь посла ДВР в Китае Игнатия Юрина (Дзевалтовского). В сентябре 1920 года его миссия останавливалась в Урге по дороге из Верхнеудинска в Пекин. На приеме, который устроил Ван Интай в честь красных дипломатов, стены были украшены цитатами из стихов Фердинанда Фрейлиграта, где в том или ином контексте фигурировало прилагательное «красный», а гостям подавалось исключительно красное вино. Все это в китайском стиле символизировало революционное гостеприимство.

Так называли его русские колонисты. Полное имя мне не известно, но, судя по его первой части, он происходил из дунган, то есть был китайцем-мусульманином (сообщено С. Л. Кузьминым).

Бодисатва Маньчжури — покровитель мудрости. Изображался сжимающим в одной руке книгу, в другой — меч, дабы рассечь «мрак неведения и заблуждений». Посвященный ему монастырь на Богдо-Уле в 1930-х годах был разрушен и ныне остается в развалинах.

Сам Дараната считался 14-м перерождением одного из первых учеников Будды Шакьямуни, его двоюродного брата Ананды (Лодон-Иши), и по этому счету Богдо-гэгэн VIII был 22-м его воплощением.

«По смерти Богдо-гэгэна, — пишет А. М. Позднеев, — тело его бальзамируют. Операцию эту производят обыкновенно ламы месяца три или даже дольше. Труп они не анатомируют, а, усадив в должную позу, натирают разного рода благовониями и спиртуозными жидкостями, потом обмазывают составом из соли и других веществ. В этом состоянии труп пребывает месяца два, пока совершенно не высохнет. Тогда от него отделяют соляной состав. Части тела, свободные от одежд, и лицо покрывают позолотою; поверх позолоты на лице разрисовывают брови, усы и губы, но глаза оставляют закрытыми. В этом виде труп Богдо-гэгэна называется «шарил», его сажают в серебряный субурган и с торжественным богослужением ставят в храме».

Русские колонисты в Урге рассказывали, будто уже в 17 лет, после смерти матери, оказывавшей на него большое влияние (отец умер семью годами раньше), Богдо-гэгэн стал устраивать попойки, ездил с веселой компанией по городу и посещал «доступных женщин».

Ныне — Аягоз, Казахстан.

Поселившись в Калифорнии, он описал свои приключения в мемуарах под названием «Дворянские поросята».

Урянхай — старое название Тувы (Тывы).

Тем не менее при Унгерне и он, и Парняков были убиты.

Его гибель была случайной и нелепой. Во время сражения за Ургу, когда казаки уже выпустили заключенных из тюрьмы, он попросил дать ему коня, чтобы уйти с унгерновцами в том случае, если китайцы вернутся, и по приказу Резухина тут же был застрелен «за распространение панических слухов».

По слухам, укрепления были возведены при участии колчаковского полковника Франкмана, военного инженера, сидевшего в тюрьме вместе с Хитуном; он помог китайцам в обмен на свободу и обещание отправить его в Маньчжурию. Возможно, это неправда или не совсем правда, поскольку после взятия столицы Франкман не пострадал.

Для этого, в частности, использовался автомобиль, захваченный на Калганском тракте. На нем установили пулеметы, и он всю ночь с потушенными фарами носился вокруг Урги, время от времени выпуская пару очередей и тут же исчезая, чтобы повторить маневр в другом месте.

Монгольские историки, не желая уступать честь этого подвига сомнительному буряту, предпочли оставить ее за соплеменником. Позднее именно Лувсанцэвэну приписывалась главная роль в освобождении Богдо-гэгэна, хотя в то время все знали, кто здесь был главным действующим лицом. После взятия столицы Тубанов получил от Унгерна чин хорунжего и спустя четыре месяца, при наступлении в Забайкалье, возглавил отряд, оперировавший вне основных сил дивизии. Авантюрист уголовного склада, он таким и остался, его поход на Мензу вылился в чудовищные расправы над жителями приграничных деревень.

Вообще-то Першин пишет, что это произошло 3 февраля. Современники и позднейшие исследователи расходятся в определении точной даты падения Урги. Разница в числах составляет один день, сторонники обоих мнений приводят свои аргументы, но в сумятице тех дней и ночей все смешалось, считать можно и так, и так. Я принимаю дату 4 февраля не потому, что считаю ее единственно верной, а для удобства изложения.

Чэнь И говорил, что отступление осуществлялось по трем направлениям — на север, на северо-восток и на запад.

Все винтовки были без затворов, и Унгерн обещал награду тому, кто сумеет их найти. Капитан Россианов, облазив чердаки и подвалы зданий китайского военного ведомства, справился с этой задачей, за что получил 500 рублей золотом.

По Князеву, были повешены десятки монголов, которые «в сладком упоении грабили и уничтожали богатейший ургинский базар», и двое увлеченных их примером европейцев.

Доступ в военные училища евреям открыла Февральская революция, но среди солдат их было много. Существовал «Еврейский союз Георгиевских кавалеров»; на начало 1918 года, когда он выразил протест против заключения Брестского мира, в нем числилось около двух с половиной тысяч человек.

Через четыре месяца, выступив к границам Советской России, Унгерн с дороги прислал Сипайло приказ задушить семью Мариупольских, но они к тому времени уже бежали в Маньчжурию.

О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

После убийства Хитрово бежали из Урги в горы Хэнтея поручик Орлов, бывший преподаватель гимназии в Чите, и сотник-забайкалец Патрин. Оба известны были «крайней враждебностью к семеновцам»; в 1919 году они самовольно уехали на фронт к Колчаку. Принятое ими решение «бежать для сохранения жизни» Торновский признавал правильным, потому что «Унгерн едва ли пощадил бы их».

Уверяли, что если бы не эта расправа, Колчак остался бы жив. Предполагалось обменять заложников на него и на омских министров, задержанных в Иркутске.

Князев пишет, что указ был издан за два дня до коронации. В оригинале он помечен 25-м днем 1-й Луны, то есть был обнародован через десять дней после коронационных торжеств, но, видимо, его содержание стало известно раньше.

Слова «армия» или «дивизия» — современные и эмоционально нейтральные, Унгерн в устной речи не употреблял.

По мнению С. Л. Кузьмина, «все обстояло куда проще: красных Унгерн считал ниже себя, был уверен, что им все равно этого не понять — вот и дал самое простое объяснение».

Князев утверждает, что это 20 февраля 1921 года, монгольский маршал Х. Чойбалсан называет дату 21 февраля, историки Е. А. Белов и И. И. Ломакина — соответственно 22 и 23 февраля. В одном из приказов Унгерна это событие приурочено к 22 февраля, но в отношении чисел он никогда не был точен. Данный ряд лишний раз показывает, насколько относительны датировки даже ключевых событий его монгольской эпопеи.

К лету Унгерн собирался переодеть своих бойцов в кожаные штаны и куртки из цветной замши, в большом количестве найденной на китайских складах. В той войне, которую он вел, защитный цвет никого ни от чего защитить не мог.

Настенная роспись в тронной зале Ногон-Сумэ, изображающая торжественный выезд хугухты, запечатлела его сидящим в запряженной четверней карете.

Все происходившее тогда в Монголии не было зафиксировано не только киноплёнкой, но даже фотоаппаратом. Нет ни одной фотографии Унгерна этого периода, самые известные его снимки были сделаны уже в плену у красных.

Имеется в виду не дата коронации, а день его освобождения из-под ареста.

Чтобы ассимилировать соседние народы, Пекин издавна запрещал китайцам селиться в Застенном Китае. В Монголии, как и везде, китайские поселенцы женились на монголках, но их дети считались китайцами.

О том, что этой группировкой командовал Ма, упоминает только Торновский, но он был начальником штаба у Резухина, принявшего на себя первый удар китайских войск, и находился в курсе всей связанной с ними информации.

Унгерн, чтобы придать большее значение своей победе, в письмах называл его «генералом».

Официально Китай признал независимость Внешней Монголии лишь в 1945 году, согласившись с решением Ялтинской конференции. Позже Мао Цзэдун обращался к Сталину и Хрущеву с просьбой о присоединении МНР к КНР, но получал неизменный отказ. В отличие от Пекина Тайбэй до недавнего времени считал Монголию частью Китайской республики.

Находившиеся среди них маньчжуры написали письмо Богдо-гэгэну с жалобами на притеснения со стороны «темного революционного правительства» и просьбой принять их на службу в монгольскую армию. Из них Унгерн отобрал 40 человек для своего личного конвоя, а затем присоединил к ним еще и группу корейцев. В телохранителях удобнее было иметь людей, национальной принадлежностью не связанных с основной воинской массой.

Вскоре после выхода первого издания этой книги мне позвонил человек, представившийся сыном поручика Попова. Его отец из Иркутска был отправлен в Ургу разведслужбой 5-й армии и без вести пропал в Монголии. Не исключено, что это и есть тот самый красный разведчик.

В 1934 году сменовеховец Евгений Яшнов писал, что белая раса со всеми ее техническими достижениями напоминает французского парикмахера, выигравшего по займу пять миллионов: «Он отрывается от привычного уклада, ссорится с женой, ругает детей и, не научившись как следует управлять «роллс-ройсом», давит встречных в своем бесцельном слонянии по свету».

Именно в этом смысле следует понимать слова Унгерна о том, что «спасение мира должно произойти из Китая».

Со слов моего деда Владимира Георгиевича Шеншева, преподававшего в КУТВ английский язык.

Отрывки из его «футурологической» статьи «Ныне и навеки» цитировал выходивший в Эрфурте нацистский журнал «Мировая служба» (1937. № 4/5) как доказательство глобально-преступных замыслов международного еврейства. Этот номер журнала я случайно обнаружил в РГВА, в папке с документами об Унгерне, но попал он туда, видимо, не случайно.

С. Л. Кузьмин считает, что эта «революционная» формула возникла в результате редактирования протокола красными.

«Киргизами», как принято было в то время, Унгерн называл казахов.

Не исключено, что именно от него Унгерн впервые услышал об Анри Бергсоне, которого упоминал в беседе с Оссендовским. Незадолго перед Первой мировой войной Кайзерлинг и Бергсон, тогда тоже увлеченный буддизмом, состояли в интенсивной переписке.

«Глубокий фатализм привел его к буддизму», — свидетельствует современник барона, знакомый с ним по Харбину.

Этот обед ургинцы с иронией называли «обедом четырех баронов», имея в виду Тизенгаузена, Витте, Фитингофа и самого Унгерна.

К подлинному буддизму она никакого отношения не имеет и представляет собой типично теософское сочинение, спекулятивное и дилетантское

Последняя фраза, видимо, неточно записана в протоколе допроса. По смыслу она должна звучать так: «Нет, воевать могут только религии с религиями».

Ныне эта кожа («тулум») хранится в Национальном музее в Праге, но как она туда попала, мне неизвестно. Вероятно, после революции была вывезена кем-то из эмигрантов.

Эти восемь: Махакала, Цаган-Махакала, Эрлик-хан, Чжамсаран (Бег-Цзе), Охин-Тэнгри, Дурбэн-Нигурту, Намсарай и Памба.

150

Наблюдение принадлежит Г. С. Померанцу.

Возникают любопытные ассоциации, если сопоставить это с наблюдениями их современника, монголиста Бориса Владимирцова: «Они (тантристы. — Л. Ю.) мнят себя иногда свободными от общего морального закона; они уже вне круговращения бытия, живут здесь только кажущимся образом, и не от них зависит, что несчастным, заблудившимся в сансаре, их поступки порой представляются непонятными, дикими, даже грешными и безобразными».

Эту параллель отметила и прокомментировала Инесса Ивановна Ломакина, замечательный петербургский монголист и писатель, автор двух книг о Джа-ламе.

Казакевич был расстрелян в 1937 году.

Возможно, литератор Борис Северов, в прошлом — летчик семеновского авиаотряда.

Лицо реальное, хотя в действительности Коленковский был командиром отряда броневиков, которые в августе 1921 года атаковали конницу Унгерна в неудачном для него бою под Новодмитриевкой.

Монголы приписывали ташуру магическую способность отгонять злых духов и вешали у входа в юрту в качестве оберега. Эта его функция тоже могла привлечь к нему внимание Унгерна.

Таких случаев было немного, по Князеву — два-три. Имена храбрецов неизвестны; Макеев хвалился, будто одним из них был он сам.

Пакет с этими вырезками я получил благодаря любезности сотрудницы ГА РФ Лидии Ивановны Петрушевой.

В годы нэпа в ЧК — ГПУ существовал аналогичный порядок наиболее ценные вещи убитых присваивали себе высшие чины или непосредственные исполнители, остальное через специальные магазины поступало в свободную продажу

Волков писал, что Клингенберг уговорил Ефтина «сделать необходимую операцию — разрез мочевого пузыря, но «забыл» предварительно выпустить мочу, и старик умер от заражения крови». Взятое Волковым в кавычки слово «забыл» предполагает сознательное убийство, но эта гипотеза маловероятна. Скорее всего, она была производным от всеобщей брезгливой антипатии к самому Клингенбергу. Его считали способным на все, в том числе на исполнение таких желаний Унгерна, которые тот предпочитал не высказывать вслух.

Монголы уважительно называли его Холзын-нойон, то есть «лысый господин». У редко лысеющих кочевников лысина ассоциируется с мудростью.

Точнее, это были краткосрочные казначейские обязательства. Широкого хождения они не имели. В 1922 году народное правительство Монголии изъяло их из обращения, но полностью оплатило серебром.

В недавнем прошлом — министр труда в самарском правительстве КОМУЧа, в будущем — советский полпред в Лондоне. Он использовал данные проведенной Монгольским правительством переписи, которые, видимо, за взятку получил у китайцев. Реально население Халхи было несколько большим — монголы, дабы избежать дополнительного налогообложения, скрывали подлинную численность своих семей.

Монгольское слово *булак* означает «ключ» в смысле «ИСТОЧНИК»

Позже он присоединился к отряду Байкалова (Карла Некундэ), вместе с ним находился в осажденном белыми монастыре Сарыл-Хурэ на западе Халхи, но не выдержал ужасов 42-дневной осады, сошел с ума и был зарублен бойцами Кайгородова.

«Вообразите, — пишет Волков, сильно, впрочем, сгущая краски, — сколько будет искалечено, загнано лошадей, если отряд в 300 всадников выедет таким образом из Урги хотя бы на Буир-Нор (32 уртона). Ведь им надо выставить 9600 лошадей!»

С. Л. Кузьмин считает, что такого письма не существовало, а Волков с большими искажениями пересказывает послание Унгерна Богдо-гэгэну от 19 июля 1921 года. Однако в то время ни Волкова, ни Джамбалона в Урге уже не было.

Его внучатый племянник Анатолий Макарович Кайгородов, рассказавший мне историю знакомства Унгерна с принцессой Цзи, утверждал, что его двоюродный дед мог перебросить двухпудовую гирю через крышу русской пятистенной избы. Я усомнился в этом, но оказалось, что автор «Князя Серебряного» и тончайший лирик Алексей Константинович Толстой без труда проделывал то же самое — «для отдыха» бросал двухпудовку через крышу флигеля, где он работал.

На Урале, где осенью 1918 года действовал отряд Казагранди, о нем сохранилась память как о «карателе», причастном к расстрелам тысяч рабочих в Тагильском и Надеждинском уездах. Павел Бажов, автор знаменитой «Малахитовой шкатулки», а в годы Гражданской войны — редактор красноармейской газеты, по рассказам очевидцев писал о нем: «Осмотрев захваченных по обвинению в большевизме в Туринской тюрьме, Казагранди выбрал единственного там еврея Кухтовича, привязал веревкой к своему коробку и стал разъезжать по городу. Бьется, конечно, человек, падает, а он его — плетью... Полуживого вытащил Кухтовича за город к Верхотурскому тракту, заставил вырыть яму, туг же расстрелял и забросал землей».

Первым считался Михаил Федорович, основатель династии.

В православной Сербии пророчество Даниила всплыло в конце XIX века, после убийства князя Михаила Обреновича. В России о нем последний раз вспомнили в 1984 году, когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев.

Правдивость его рассказа подтверждает доктор Рябухин в своих записках.

По мнению С. Л. Кузьмина, деньги предназначались для передачи Семенову.

«Оссендовскому приходилось интриговать, чтобы выжить», — справедливо пишет С. Л. Кузьмин.

Опубликовано С. Л. Кузьминым. Он же отметил связь этого текста с рассказом Унгерна о том, как «желтая раса двинется на белую — частью на кораблях, частью на огненных телегах» и с Книгой пророка Даниила: «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями» (Дан. 11:40).

Подразумеваются известные слова Александра II:
«Правда и милость да царствуют в судах».

В Библии (Дан. 12:12) не 1330, а 1335. Скорее всего, это ошибка или опечатка, но Унгерн запомнил неверную цифру и на допросе называл именно ее.

В монгольской астрологии все цифры от 1 до 9 имеют цветовые эквиваленты. Единица, в частности, есть знак белого цвета, пятерка — желтого. Не настаивая на данном толковании, можно тем не менее заметить, что составленное из них число 15 соединяет в себе два знаменательных для Унгерна цвета: он белый генерал и защитник «желтой религии».

Е. А. Белов и С. Л. Кузьмин считают все это домыслами, хотя, кроме Голубева, то же самое писал и Алешин. В принципе, даже той краткой аргументации, которая здесь приведена, достаточно, чтобы всерьез отнестись к их рассказам.

Насчет того, насколько Унгерн владел монгольским языком, есть разные мнения. Одни утверждали, будто он говорил на нем чуть ли не свободно, другие — что знал всего несколько слов. Надо думать, истина лежит где-то посередине.

В машинописи — «по рекам», но это очевидная ошибка, возникшая при перепечатке рукописного текста протокола. Возможно и другое прочтение — «по родам».

Через два месяца Унгерн изгнал его из дивизии за «проповедническую деятельность» Она заключалась в том, что «простец-инок» повел чересчур решительную борьбу с матерщиной

У красных с картами дело обстояло немногим лучше. Бывший поручик Владимир Брежнев вспоминал, что позднее, при вступлении на монгольскую территорию, советские войска имели только схемы маршрутов, примитивные и неточные. «На этой почве, — пишет он, — можно было видеть и слышать немало курьезов. Так, например, при постановке задачи указывалось, что часть должна к такому-то времени выйти к букве «я» надписи «Монголия» на карте».

К тому времени чахарский дивизион был расформирован за попытку мятежа, а его командир, Найдан-ван, отослан на восток, охранять границу с Китаем

Сыграла свою роль и счастливая для Унгерна случайность. Глазков и Нейман пользовались составленной в 1881 году сорокаверстной картой Монголии, схематичной и неточной; на ней река Иро (Еро-гол) была обозначена неверно. С этой картой в руках они полагали, что Унгерн задержится при переправе, и упустили время, дав ему оторваться от погони (*Крючков М. Картография Монголии // Красная армия на Востоке. Иркутск, 1921*).

Дословно — «бычье ружье». Такое название закрепилось за артиллерией, поскольку в старину тяжелые пушки перевозили на быках.

В 1920-х годах некий Жуч служил в ГПУ на Дальнем Востоке. Он командовал одним из диверсионных отрядов, которые скрытно переходили китайскую границу и совершали устрашающие рейды по казачьим поселениям в Трехречье, убивая бывших офицеров и эмигрантских активистов. Скорее всего, этот Жуч и тот, что арестовал Сипайло — один человек.

Последняя фраза с ее выразительной характеристикой психологии жертв явно навеяна не жестокостями времен Гражданской войны, а Большим террором в СССР конца 1930-х годов, когда Князев заканчивал свою книгу.

Арсений Несмелое писал о нем:

*В кровавой круговерти
Туманятся хребты.
Эгин-Дабан бессмертен.
Полковник, смертен ты.*

*Сыграй нам, Бога ради,
Трубы военной медь.
Полковник Казагранди,
Сумей же умереть!*

*В хурэ свой клад зароешь
И потеряешь след.
Жестокие герои
Жестоких наших лет.*

*Вся Азия — темница,
Кровав ее ковыль,
И жестью на ресницах
Соленой Гоби пыль.*

Жена Казагранди жила в Харбине и уже после смерти мужа родила их единственного сына. В 1995 году у меня дома в Москве побывал внук Казагранди. Он приехал из Усть-Каменогорска в Казахстане, где отбывал ссылку его отец, и должен был навсегда улетать в Австралию — к сыновьям и внукам тех, кто воевал вместе с его дедом.

Несмелое считал, что Казагранди был расстрелян, и просил себе у судьбы такой же романтической смерти:

*Дожить бы до расстрела
Среди Эгин-горба,
Чтоб ярой медью пела
Расстрельная труба.*

Подразумеваются бегство Джамбалона и сдача Урги без боя.

Что имеется в виду, непонятно — то ли срок, указанный в пророчестве Даниила, то ли какое-то предсказание оракулов. Не исключено, что последнее сознательно было дано таким образом, чтобы совпало с первым.

Раненых «на бычьем обозе» отправили в Улясутай, но по дороге все они были зарублены бойцами Щетинкина.

Один из них, бурят Дамдин Буянтуев, будто бы перед смертью сказал унгерновцам: «Ваша жизнь так же недолговечна, как жизнь комаров».

В ближайшее время за недооценку его сил поплатится командарм Матиясевич; на смену ему придет 25-летний Иероним Уборевич, летом 1919 года остановивший наступление Деникина на Москву. Командир экспедиционного корпуса Нейман тоже будет сочтен виновным и заменен другим латышом — Яном Гайлитом.

«Здесь все проще, — считает С. Л. Кузьмин. — В походе на За-мын-Удэ он увидел, когда и как удобнее идти через Гоби. Наверное, думал, что красные пойдут в революционный Южный Китай через Гоби, а не через Дальний Восток: там ведь японцы, Чжан Цзолин и белые».

Лишь страстные поклонники эзотерика Николая Гурджиева могли поверить, что примерно в это же время по пути в Тибет он легко пересек Гоби на ходулях, благо при таком способе передвижения ему не страшны были песчаные бури, бушующие только над самой поверхностью земли. По Гурджиеву, «трудности перехода через Гоби сильно преувеличены»; в частности, нет никакой проблемы с кормом для лошадей и овец — они могут питаться песком, поскольку на месте этой пустыни когда-то находилось море, и гобийский песок представляет собой необыкновенно богатые витаминами останки обитателей морских глубин.

В одном из них, вырезав всех лам, он не пощадил даже стоявших перед ним на коленях мальчиков-хуврэков. «До сих пор в ушах звучат их раздирающие вопли о пощаде, — через восемь лет вспоминал свидетель этой бойни. — Упали на колени, протягивая руки с искаженными ужасом смерти лицами, говоря: «Нойон, нойон!» Но «нойон» был неумолим. Сверкнули клинки... и все было кончено. Дикая расправа свершилась перед глазами всего отряда. И люди, привыкшие к виду крови, испытавшие весь ужас Мировой и Гражданской войны, были смущены. Одни отвернулись, другие уставились в землю. Все молчали, но у всех была одна мысль: надо положить конец этому кошмару».

В буддийской космологии гора Сумеру — столп мироздания, место обитания богов.

Слюса и тех заговорщиков, кто в 1930-х годах был еще жив, Торновский, как и Рябухин, и Князев, обозначает начальными буквами фамилий. В эмиграции Унгерн считался героем; офицеры, организовавшие заговор против него, предпочитали об этом не вспоминать, а мемуаристы — не называть их полных имен.

По Князеву, это произошло неделей раньше, еще в долине Джиды.

Хитун пишет, что убийца Резухина отомстил ему за расстрел своего сослуживца по Оренбургской армии, полковника Дроздова (см. главу «Тюрьма»).

У него были причины ненавидеть барона. При разгроме под Троицкосавском, проявив колоссальную выдержку, Сементовский спас часть обозных верблюдов, но Унгерн обвинил его в потере остальных и приказал выпороть.

Между прочим, прапрабабка Унгерна была родной сестрой Петра Палена.

Другая историческая параллель, более отдаленная во времени, но не менее выразительная — Квинт Серторий. Мятежный проконсул Иберии эпохи гражданских войн, в борьбе с Римом он так же пытался опереться на племена иберов, как Унгерн — на монголов, и после ряда военных неудач тоже пал жертвой заговора среди своих соратников-римлян, недовольных его тиранической властью.

Вся история отнесена почему-то к маю, а не к августу 1921 года.

Ханшин — китайский алкогольный напиток типа водки, изготавливаемый из проса гаолян и чумизы.

По-русски впервые опубликовано С. Л. Кузьминым в переводе Ж. Оюунчимэг.

Куда на самом деле направлялся Сундуй-гун, не совсем понятно. Вряд ли он хотел догнать ушедшую дивизию и передать Унгерна заговорщикам, как со слов пленных докладывал Щетинкин; гораздо выгоднее для него было выдать барона Максаржаву или увезти его в Ургу, чтобы купить себе прощение у новой власти.

Шелковую княжескую безрукавку с генеральскими погонами (курму), которую Унгерн носил поверх дэли, Шетинкин оставил себе и позднее отослал в родной Минусинск. «Посылку передайте в музей, — писал он председателю уездного исполкома. — Это будет служить памятью борьбы трудового народа против угнетателей темных масс. Пусть знает контрреволюция, что рука трудящихся сломит голову тому, кто посягнет на его свободу». Ныне эта безрукавка на почетном месте выставлена в городском музее.

Пленного Унгерна отправили в штаб 104-й бригады, а незадолго до того живший в Китае некий «земляк» и хороший знакомый барона, тревожась о судьбе своей служившей у красных дочери, сообщал ему, что она служит как раз в этой 104-й бригаде, и просил: «Если она попадет (в плен. — *Л. Ю.*), не откажите как-нибудь переправить ее домой». Просьба была передана через одного из агентов Унгерна в Маньчжурии.

Возможно, источником этих слухов была карикатура в одной из советских газет, на которой Унгерн изображался сидящим в клетке (сообщено С. Л. Кузьминым).

«Писатель Зазубрин, — пишет Светлана Суворова, — сравнил Унгерна с тигром — образ яркий и, наверное, для советской публицистики единственно правильный. Со своим одиночеством, пристальным тяжелым взглядом, неуловимостью, непредсказуемостью, репутацией убийцы, к тому же облаченный в красно-желтый халат, Унгерн походил на хозяина уссурийской тайги. Этот халат потом содрали с него, как шкуру, и в качестве охотничьего трофея отправили в музей. У Зазубрина была своя задача: дать образ сильного, злобного врага, вдохновенного палача. Он отмечает забитость, затравленность барона, его растерянную жалкую улыбку, но тут же оговаривается, что это лишь кажется, это близкая смерть схватила Унгерна «за шиворот». Но кажется ли? Я уверена, что вместо тигра белогвардейско-красноармейской шпаной был пойман и замучен обычный бесхозный рыжий кот. У кота очень похожие повадки, у него есть зубы и когти, он тоже убивает, но не в таких масштабах. До крупных сородичей этому зверю далеко. Только кто же будет хвастать тем, что пристрелил кота?» (Из письма ко мне.)

Так в 1918 году в Таганроге погиб Эдлер фон Реиненкампф — дальний родственник и, возможно, покровитель Унгерна по службе в Забайкалье.

Позднее попали в плен генералы Андрей Бакич и Анатолий Пепеляев.

Рассказывали, будто перед казнью Унгерн изгрыз его зубами, чтобы никому не достался после его смерти.

Балдаев Д. С. Воспоминания. Рукопись (сообщено И. В. Шушариным).

Лишь однажды в его речи прозвучала человеческая нота: «Лично Унгерн просто несчастный человек, вбивший себе в голову, что он спаситель и восстановитель монархов и на него возложена историческая миссия».

В одной из них был тяжело ранен и оставлен на поле боя поручик Маштаков, последний фаворит Унгерна, дважды неудачно пытавшийся его убить.

Половину оговоренной суммы китайцы уплатили авансом, а вторую обещали выдать при посадке в эшелон, но так и не выдали. Расчет на то, что унгерновцы предпочтут поскорее уехать, чем добиваться обещанного, оказался верным.

Одному из них, капитану Почекунину, Арсений Несмелое посвятил стихи, которые применимы и к остальным:

*Ловкий ты и хитрый ты,
Остроглазый черт.
Архалук твой вытертый
О коня истерт.*

*На плечах от споротых
Полосы погон.
Не осилил спора ты
Лишь на перегон.*

*И дичал все более,
И несли враги
До степей Монголии,
До слепой Урги.*

*Гор песчаных рыжики,
Зноя каминок.
О колено ижевский
Поломал клинок.*

*Но его не выбили
Из беспутных рук.
По дорогам гибели
Мы гуляли, друг!*

*Раскаленный добела
Отзвенел песок.
Видно, время пробило*

Преклонить висок.

Вольный ветер клонится

Замести тропу.

Отгуляла конница

В золотом степу.

Об этом мне рассказал А. М. Кайгородов, уроженец той же Покровской станицы. Недавно Б. В. Соколов, автор книги «Барон Унгерн: Черный всадник», предпринял малоубедительную попытку доказать, что настоящая фамилия Ивановского — Клуге, и раньше он был начальником штаба одной из колчаковских дивизий.

АВП РФ. Ф. 111. Оп. 10. П. 5. Д. 4; Оп. 9. П. 3. Д. 3. Речь идет о человеке по фамилии Волькович (Волькофович), но это, несомненно, Лев Вольфович. Полпред СССР, добиваясь передачи его советским представителям, писал министру иностранных дел МНР: «Гражданин Волькович будучи ближайшим помощником Унгерна в его борьбе с Правительством СССР, является соучастником всех преступных деяний последнего и должен быть судим по законам СССР». (Сообщено исследовательницей из Франции Дани Савелли.)

В 1936 году в Тибете был найден четырехлетний мальчик, признанный очередным перерождением Даранаты. Его объявили Богдо-гэгэном IX, в 1959 году он вместе с Далай-ламой XIV бежал из Лхасы в Индию. В 2010 году Богдо-гэгэн IX получил гражданство Монголии и прибыл на постоянное местожительство в монастырь Гандан-Тэгчинлин. 2 ноября 2011 года Богдо-гэгэн IX был официально провозглашен главой монгольских буддистов. Незадолго до своей смерти 1 марта 2012 года Богдо-гэгэн принял специальную делегацию монгольских государственных и культурных деятелей, изъявившую ему просьбу о будущем его перерождении в Монголии. Тело Богдо-гэгэна IX было забальзамировано.

Сообщено Верой Хатчер, его правнучкой.

В конце 1921 года его арестовала уже иркутская ЧК. Он был приговорен к «высшей мере социальной защиты», но не расстрелян, а почему-то вновь освобожден.

Чтобы дать представление о поэтическом таланте Волкова, приведу одно из них — «Пулеметчик Сибирского правительства»:

*Оставшимся спиртом грея
Пулемет, чтоб он не остыл,
Ты видишь, внизу батарея
Снялась и уходит в тыл.*

*А здесь, где нависли склоны
У скованной льдом реки,
Последние батальоны
Примкнули, гремя, штыки.*

*Простерлась Рука Господня
Над миллионом стран.
Над этой рекой сегодня
Развеет Господь туман,*

*Чтоб были виднее цели,
Чтоб быстро поймав прицел,
На гладь снеговой постели
Ты бросил десятки тел.*

*Широкие коридоры
Зданья на Моховой
Привели тебя на просторы,
Где кипел долгожданный бой.*

*В двуколке, что там, в овражке,
Шопенгауэр, Бокль и Кант.
А на твоей фуражке*

Голубой отцветает кант.

Гумбум Джамбалинг — крупнейший монастырь в Амдо, на караванных путях между Монголией и Тибетом.

Эти деньги Унгерн получил от Семенова, но можно вспомнить и о том, что еще в 1919 году атаман назначил его главным руководителем работ на золотых приисках Нерчинского горного округа.

Билонное серебро (от *фр.* billon) — низкопробное серебро. Разменная монета, номинал которой превышает стоимость содержащегося в ней металла.

Ямбы (от *кит.* юаньбо) — серебряные слитки весом 50 ланов (1 лан равен 37 граммам), ходившие в Китае и Монголии в качестве денег. При необходимости разрубались на части.

В 1917 году Унгерн был представлен к чину войскового старшины, но не получил его, а чин генерал-лейтенанта Семенов присвоил ему после взятия Урги.

Про Колчака тоже рассказывали, что он не был расстрелян в Иркутске, а бежал в Монголию и пропал без вести где-то по пути в Китай или в Тибет. В. Хатчер в письме ко мне сообщила, что братья ее бабушки, сыновья П. А. Витте, лично видели Колчака в районе Налайхи под Ургой и даже говорили с ним. Он будто бы сказал им, что был спасен теми, кому поручили его расстрелять.

Дед Блюхера, крепостной крестьянин, получил ее от помещика, поклонника знаменитого прусского маршала эпохи Наполеоновских войн.

По всей видимости, Унгерн и Блюхер никогда не встречались — нет ни одного заслуживающего доверия свидетельства о их личном свидании. Это, однако, не помешало А. Дугину воссоздать состоявшийся между ними разговор: «Оба говорят на немецком (Блюхер немецким языком не владел. — Л. Ю.) Блюхер рассказывает о евразийцах, национал-большевизме, об особой национальной линии в советском руководстве, которая лишь внешне прикрывается марксистской фразеологией, но на деле стремится построить гигантское континентальное традиционалистское государство не только в рамках Монголии, но на всей Евразии... Блюхер обещает барону полную амнистию и высокий пост». Нетрудно заметить, что главком ДВР конспективно излагает идеи самого Дугина.

Фотографию и записки Тристао разыскал чешский кинорежиссер Петр Садецки, когда после 1968 года жил в Германии и собирал материалы для документального фильма о Джа-ламе (сообщено И. И. Ломакиной).

Такие фото в то время нередко использовались в пропаганде. В 1927 году некто Поздеев на Урале снимался в роли якобы живого Михаила Романова. «Снимала меня монахиня, имя ее я не знаю, — рассказывал он на допросе в ГПУ. — Ордена были сделаны из бумаги, лента была белая, ситцевая, черная тужурка, галуны на которую пошиты из мишуры от ризы... Фотографические карточки с меня как князя Михаила, по моему мнению, распространялись среди верующего населения, так как я слышал, что многие просили эту карточку».

Во Франции похожая легенда существовала о маршале Нее, расстрелянном за то, что в 1815 году присоединился к Наполеону после его побега с Эльбы. Ходили слухи, будто Ней спасся, но никому не приходило в голову делать его тайным борцом против режима Реставрации.

Krauthoff B. Ich befehle! Kampf und Tragödie des Barons Ungern Stembere. Bremen: Carl Schünemann. 1938.

Лишь в последнее время интерес к Унгерну здесь постепенно начинает расти. В частности, изданы в монгольском переводе воспоминания Першина, Князева и Торновского, подготовленные к печати И. И. Ломакиной и С. Л. Кузьминым.

Сценарий («Под знаком тибетской свастики»), написанный на основе моего «Самодержца пустыни» (сокращенный вариант опубликован в журнале «Дружба народов». 1992. № 9), содержал множество буквальных заимствований, но Ф. Горенштейн в интервью называл себя единственным в мире специалистом по Унгерну и рассказывал, что писал свой сценарий «по мемуарам казачьих офицеров».

Criss D. Ungem Kahn — Mongolie 1921 (série «L'ombre des damnés»). Paris, 1988. «Corto Maltese. La Cour secrète des arcanes» (2002); сценарий Наталии Бородиной и Тьерри Тома, режиссер Паскаль Морелли. Унгерн как «убийца ангелов» появляется также в фантастическом романе Оливье Молина «В ожидании короля мира» (*Maulin O. En attendant le roi du monde*. Paris, 2006).

1 Люди, которые берутся их писать, часто не читают по-русски и имеют весьма туманные представления о предмете своих изысканий. В 2002 году я получил письмо от одного живущего в Испании румынского литератора, который решил написать книгу об Унгерне; он прочитал «Самодержца пустыни», изданного по-французски, и прислал мне список вопросов по теме, предварив его следующим замечанием: «Ваши ответы, господин Юзефович, будут для меня особенно ценны, потому что, как я знаю, Вы сами сражались под знаменем Унгерна».

См., например: *Middleton N.* The Bloody Baron. Wicked Dictator Of The East. London, 2001; *Palmer J.* The Bloody White Baron: The Extraordinary Story of the Russian Nobleman Who Became the Last Khan of Mongolia. London, 2008. Своей непредвзятостью и попыткой избавиться от стереотипов выделяется маленькая книжка француза Эрика Сабле (*Sablé E.* Ungem. Grez-sur-Loing. Pardès, 2006).

Первое заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о реабилитации Унтерна еще в середине 1990-х годов подал член тогдашнего руководства ЛДПР А. Д. Венгеровский, но получил отказ.